

польская
новелла

ПОЛЬСКАЯ НОВЕЛЛА



гослитиздат
1949

11 p. 50 k.

ПОЛЬСКАЯ НОВЕЛЛА

ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА
1949

Редакторы-составители
В. Э. АРЦИМОВИЧ
и
С. Д. КРЖИЖАНОВСКИЙ

Переплет и титул художника
Н. СЕМПЕР

Гравюры художницы
Л. КРАВЧЕНКО

ПУТИ ПОЛЬСКОЙ НОВЕЛЛЫ

Предлагаемый читателю сборник «Польская новелла», открывающийся новеллой великого польского поэта-романтика Юлиуша Словацкого «Пасха у князя Радзивилла Сиротки», написанной в 1839 году, охватывает собою столетний период истории польской литературы и заканчивается произведениями современных нам писателей, написанными непосредственно перед второй мировой войной, начавшейся для Польши в 1939 году. Это не случайное совпадение дат. Именно в эти годы польская проза, пришедшая на смену поэзии романтической, проявила себя с наибольшей силой и вывела на сцену, наряду с романом и повестью, новеллу и рассказ, до того почти не встречавшиеся в польской литературе.

Если мы присмотримся к тем историческим процессам, которые способствовали развитию польского искусства вообще и литературы в частности, то увидим, что на протяжении четырех столетий, начиная с XV века, главенствующую роль в польской литературе занимали поэзия и дидактическая проза, тесно связанные с условиями общественной жизни Речи Посполитой, подчиняющиеся тем задачам, которые выдвигали перед ними господствующие классы и католическая церковь. И даже те представители польской литературы прошлого, которые, как Игнаций Красицкий (1735—1801), посвятили свое творчество борьбе с католицизмом, должны были с формальной стороны ограничиваться литературными рамками, которые были общеприняты во времена классицизма и ложноклассицизма. Потребовался «бунт романтиков», возглавленный Адамом Мицкевичем, наи-

более самобытным и подлинно народным поэтом Польши, чтобы преодолеть эти глубоко укоренившиеся каноны и широко распахнуть двери для новых общественных идей и новых литературных форм.

Это, конечно, вовсе не значит, что во времена, предшествующие польской романтической поэзии, в литературе Польши не наблюдается никаких зачатков будущей новеллистики. Такое утверждение было бы в корне неверным, так как и во «Фрашках» Яна Кохановского (1530—1584), и в литературном наследстве Миколая Рея (1505—1569) есть немало произведений с остро новеллистическим сюжетом, хотя и заключенным в стихотворную форму. Подобные стихи встретим мы у Вацлава Потоцкого (1625—1696), Адама Нарушевича (1733—1796), у Красицкого и последнего из замечательных представителей польского классицизма — Юлиана Урсына Немцевича (1757—1841). Еще более ярко выступают новеллистические начала в «Воспоминаниях» Яна Хризостома Пасека (1630—1701), которым такое большое внимание уделил в своем «Курсе славянских литератур» Адам Мицкевич, именно в них видя истоки польской художественной прозы.

Период польского романтизма, открывающийся творчеством Мицкевича, а завершающийся первыми романами и повестями Юзефа Игнация Крашевского (1812—1887), Генриха Ржевуского (1791—1866), Юзефа Коженевского (1797—1863), еще не выделил новеллу как самостоятельный жанр, которому было суждено получить полное развитие в эпоху варшавского позитивизма и стать краеугольным камнем творчества неоромантиков «Молодой Польши». Однако именно в этот период были созданы предпосылки, на многие десятилетия определившие направление польской новеллы и подготовившие почву для ее расцвета.

«Пасха у князя Радзивилла Сиротки» не была задумана Юлиушем Словацким как новелла, это лишь отдельный фрагмент из его неоконченной повести, эпической по своему внутреннему складу. Но уже в этом произведении обнаруживаются особенности, которые будут характерны для всей польской новеллистики. Это прежде всего то критическое отношение к польской шляхте, которое было свойственно и Словацкому-поэту, видевшему в ней главного виновника всех бед Речи Посполитой и считавшему силой, способной возродить самостоятельную Польшу, только народ. В конце своей жизни поэт в письме к Теофилю Янушевскому из Парижа указывал на то, что для Польши наступает время крупных социальных преобразований, что капитализм, приходящий на смену феодализму, должен открыть перед польским народом новые горизонты и способ-

ствовать экономическому и культурному развитию страны. Как мы знаем, указанные идеи Словацкого были позже восприняты позитивистами—фактическими основоположниками польской новеллистики. Бурное ее развитие объясняется прежде всего тем, что новелла, как никакой другой литературный жанр, позволяла позитивистам наиболее действенно проводить свои идеи в самые широкие общественные слои, пропагандировать их в наиболее доступной читателю форме.

Чем же замечательна новелла Словацкого, эта на первый взгляд буффонадная история, описывающая пасхальную мистерию у крупнейшего магната Польши? Прежде всего тем, что показывает подлинное лицо класса, отжившего свой век, его устаревшие обычаи и традиции, утратившие всякий смысл. В то же время Словацкий даже в этом юмористическом отрывке находит слова критики, направленные и против католической церкви, и против шляхетского гонора и спеси. Особенно отчетливо звучит этот мотив в описании поступка магната Зебжидовского, затравившего медведями итальянца и пришедшего к пресвятой деве Марии искать заступничества за свою «поруганную честь». Само описание торжества, с озерами из вина и островами из марципана, также представляет несомненную сатиру на самодурство и безрассудство польских вельмож, прожигающих свои состояния и не думающих ни о народе, ни о своей стране.

Мы не склонны преумножать достоинства «Пасхи» и видеть в ней вещь, могущую служить в качестве какого-то классического образца, но она представляет несомненный интерес и может помочь читателю понять то новое, что внесла в польскую литературу новелла позитивистов, зарождение которой надо отнести к концу шестидесятых годов прошлого века, то есть ко времени, непосредственно следовавшему за крушением последних романтических иллюзий.

Как и романтизм, возникший в польской литературе в строгой зависимости от конкретной исторической обстановки—борьбы польской шляхты за сохранение своих частично утраченных вследствие разделов Польши привилегий,—польский позитивизм был детищем новых общественных сил, вступивших на политическую арену Польши вскоре после революции 1848 года и окончательно сформировавшихся и упрочившихся после восстания 1863 года. Силами этими был капитализм, пришедший на смену шляхетскому феодализму и подчинивший себе экономическую и общественно-политическую жизнь страны. Если в странах Западной Европы эта смена происходила под аккомпанемент выстрелов буржуазных революций, то в Польше явлением, им соответствующим, было январское восстание 1863 года. Но восстание только одним своим острием было

направлено против Российской империи, а вторым — не против феодализма, а против молодого польского капитализма. В этом и заключалась главная особенность последнего польского восстания, отличавшая его от революций буржуазных. Атакующим классом оказался здесь класс помещичий, считавший, что только путем отделения Польши от России ему удастся сохранить свое привилегированное положение в стране и не допустить буржуазию до занятия ключевых позиций. Используя недовольство крестьянства, наделенного свободой, но не землей, польская шляхта сумела привлечь его частично на свою сторону и повести за собой, не обещая, однако, взамен никаких реальных благ, не изменяя своего извечного к нему отношения, оставляя решение всех вопросов на далекое будущее и тем самым подрывая основу успеха восстания. Крестьянские массы, для которых главным вопросом и целью была земля, скоро поняли, что со шляхтой им не по пути, и фактически ее не поддерживали. Таким образом, идея шляхетской революции потерпела крушение, восстание окончилось неудачей, а молодая польская промышленность получила из деревни новые десятки тысяч рабочих и из среды разорившейся шляхты — будущие кадры технической интеллигенции и служащих для своих предприятий. Неудавшееся восстание ускорило процесс развития капитализма в Польше.

Новые задачи, вставшие перед польской буржуазией, потребовали создания новой идеологии, которая была бы в состоянии повести страну по пути новых преобразований, доказать их целесообразность и необходимость, привлечь на службу промышленности не только людские резервы, но и основные капиталы, все еще находившиеся в руках помещиков.

Таковыми идеологами капитализма и явились варшавские позитивисты, в большинстве своем происходившие из рядов мелкопоместного дворянства, иногда мещанства. Позаимствовав у французского буржуазного философа-идеалиста Конта его теорию «органического труда», то есть труда, направленного на совершение мелких, но общепользных дел, они атаковали последних представителей романтизма, еще удерживавших свои позиции главным образом в поэзии, противопоставляя ему новеллу (рассказ), фельетон и повесть, пропагандирующие новые формы общественной жизни. Этому способствовало прежде всего то, что большинство польской интеллигенции после поражения восстания 1863 года отвернулось от тех писателей, которые еще продолжали свою деятельность в прежнем направлении. Ей были ближе лозунги «малых дел» позитивистов, считавших, что главным условием существования и дальней-

шего развития Польши должен явиться рост польского капитализма, накопление материальных ценностей, более высокий уровень народного образования и культуры. Ей был понятен лозунг оценки людей не по аристократическому происхождению, а по их предпринимательской инициативе и «деловым» качествам.

В то же время позитивисты отлично понимали, что феодальные условия жизни тяжелым бременем ложатся на плечи крестьянства и ремесленников, ускоряют процесс их обнищания. Основатель этого течения Александр Свентоховский (1849—1938) говорил, что крестьянин должен нравственно облагородиться, но не сможет этого сделать, «пока он живет в сырой землянке с неоткрывающимися окнами, вместе со свиньями, пока он питается почти исключительно картофелем и моется только волей-неволей во время дождя...» Он указывал на идеализацию романтиками положения польской деревни.

Как справедливо говорил о позитивизме В. Воровский, это течение, «явившись реакцией против утопической романтики старой политики... сыграло бесспорно заметную прогрессивную роль в развитии польского общества, главным же образом в деле освобождения его от устарелых, отживших форм мышления». Оно понимало свою деятельность как служение обездоленным классам польского общества и стремилось выводить в качестве своих основных героев представителей этих классов, неизменно показывая, что в них таятся огромные творческие и моральные силы.

Варшавский позитивизм являлся, однако, не столько новым философским направлением, сколько литературно-пропагандистским движением, боровшимся с пережитками шляхетской отсталости и косности. Он был на первом этапе своего развития движением прогрессивным и демократичным, умевшим не только понять преимущества капитализма перед феодализмом, но и увидеть в капитализме его темные стороны — разорение крестьянства и эксплуатацию рабочих, и ярко отразить их в своих новеллах.

Как явление чисто литературное, варшавский позитивизм знаменует собой укрепление тех реалистических начал, которые выступали уже и в литературе романтической; взять хотя бы «Пана Тадеуша» Мицкевича или некоторые повести Крашевского, по своим изобразительным средствам близкие произведениям таких писателей-позитивистов, как Мария Конопницкая и Болеслав Прус. И это вполне закономерно. Трудно требовать от писателя, чтобы он, популяризируя трудовую жизнь, естественные и точные науки, основным героем своих произведений делая интеллигента, купца или крестья-

нина, писал языком романтических символов и мессианистических призывов, утративших всю свою актуальность. Сама жизнь требовала литературы реалистической, и ее создали в Польше позитивисты.

Нельзя не учесть и того явления, что в этот период особенно укрепились русско-польские культурные связи, что большинство писателей-позитивистов уже на школьной скамье были знакомы с произведениями русской демократической литературы, и это не могло не найти отклика в их творчестве. Не случайно все выдающиеся польские писатели этого времени, стоявшие на позициях реализма, являлись уроженцами русской части Польши, тогда как в Галиции все явственнее ощущались влияния западноевропейского модернизма, а впоследствии и декаданса.

Именно новелла, подчас перерастающая в небольшую повесть («Бартек Победитель» Сенкевича, «Что приключилось со Стасем» Пруса и др.), вынесла на своих плечах тяжесть первой борьбы с пережитками феодализма. Молодые в то время писатели — Ожешко, Прус, Конопницкая и ряд других, только что вступившие на литературное поприще, не имевшие еще достаточного литературного опыта и знания жизни для создания больших полотен, были, однако, способны в небольших по объему произведениях выдвигать серьезные общественные проблемы.

Среди писателей этого периода первое по времени выступления место принадлежит Элизе Ожешко. Начав свою литературную деятельность с опубликования небольшой новеллы «Картинка голодных лет», она в дальнейшем стала одной из наиболее известных представительниц польской литературной и общественной мысли. Основными темами ее творчества были прежде всего вопросы, связанные с эмансипацией женщин, и в своих произведениях она последовательно защищала мысль, что женщина должна быть готовой к тому, чтобы самой трудиться на благо общества. Такая постановка вопроса соответствовала лозунгам позитивистов и была крепким звеном, связующим писательницу с ними.

В новелле «А... В... С...» читатель увидит образ такой героини Иоанны Липской, посвятившей себя воспитанию детей бедняков, продолжающей свой опасный труд даже после осуждения ее немецким судом за незаконное содержание школы. В этом небольшом произведении мастерски сочетается реализм писательницы с ее глубокими патриотическими чувствами.

Много внимания уделяет в своем творчестве Элиза Ожешко взаимоотношениям между народами, населявшими Польшу. Она была яркой противницей всякого антисемитизма и на-

ционализма. Она считала, что каждый из граждан Польши, независимо от национальности, кровно с ней связан, что звенья, соединяющие поляков и евреев в общественной жизни, значительно прочнее, чем это кажется, что народам свойственны сходные чувства и родственные мысли. Этой идее посвящена ее новелла «Звенья» о старом польском графе, стоящем на склоне жизни, и таком же старом часовщике-еврее. Эта идиллическая новелла, где стерлись совершенно классовые границы, конечно не соответствует действительности того времени и является иллюстрацией к взглядам самой Ожешко. Надо заметить, что М. Е. Салтыков-Щедрин, переписывавшийся с польской писательницей, отмечал с удовлетворением гуманитарный характер творчества Ожешко.

Наиболее полное выражение нашел позитивизм, а еще вернее— вся эпоха, в произведениях крупнейшего польского реалиста XIX века Болеслава Пруса. Как никто другой, сумел он отразить все лозунги и идеи своего течения, определенные Вацлавом Воровским в статье о Свентоховском тремя понятиями: *труд, прогресс и знание*.

Если первая из его новелл — «Что случилось со Стасем» — является по существу рассказом о пробуждающейся человеческой жизни, не лишенным символического смысла по отношению к целой эпохе, рассказом, написанным с блестящим знанием детской психологии и приковывающим внимание читателя своей непосредственностью и занимательностью, то две другие новеллы — «Жилет» и «Михалко» — посвящены актуальным для того времени явлениям.

В «Жилете», например, — небольшой по размерам, но чрезвычайно характерной для писателя новелле, где ироническое трудно отделить от трагического, где глубокое чувство переплетается с самыми распространенными и обыденными фактами, — вскрыта трагическая судьба польской трудовой интеллигенции, весь тяжелый труд которой не мог обеспечить ей нормальных условий существования. Ужасна жизнь, где стакан лимонада в воскресный день является роскошью, а смерть от туберкулеза явлением, над которым не стоит задумываться, — так распространено оно и обычно. И хотя писатель не морализирует, но новелла его звучит как тягчайшее обвинение капитализму. И в то же время «Жилет» — это песнь о любви, где каждый новый прокол на поясе, сделанный рукой больного, и каждый стезок понимающей его обреченность жены — свидетельство сильных человеческих чувств.

В новелле «Михалко» Болеслав Прус дает образ одного из представителей крестьянских масс, мобилизованных капитализмом из обнищавших польских деревень, еще не сформировавшегося в про-

летария, еще не переборовшего своего страха перед городом, но уже считающего, что дом, выстроенный его руками, — это его дом. В недавно изданной повести современного польского писателя Люциана Рудницкого «Старое и новое», получившей первую государственную литературную премию народно-демократической Польской республики, показан процесс превращения подобных Михалко выходцев из деревень в сознательных пролетариев — борцов революции.

Прус не мог нарисовать дальнейший путь своего героя, более того — он не мог переступить рамок капиталистического общества и в конце своей жизни был яростным противником революции 1905 года, но в своих новеллах правильно показал людей, подобных Михалко, честных и самоотверженных, простых и бесстрашных, тогда еще только приходивших на службу к капиталистам, а затем ставших их могильщиками.

Новеллой, позволяющей уяснить причины ухода крестьянства из города, является «Глупый Франек» Марии Конопницкой — талантлившей поэтессы, родственной по духу Некрасову и Шевченко, смелой новеллистки, вскрывающей всю нужду и горе послереформенной польской деревни. Но не менее содержательна и вторая ее новелла — «Дым», — рассказывающая о трагедии матери, потерявшей на фабрике единственного сына. Как и в «Жилете» Пруса, вывод из этой новеллы напрашивается сам по себе, хотя Конопницкая не высказывает прямого обвинения. Для характеристики ее творчества, ясного в своей основе, надо добавить лишь то, что в своем монументальном произведении — поэме «Пан Бальцер в Бразилии», — посвященном польским крестьянам-эмигрантам, в одной из последних сцен поэтесса показывает, как ее герой участвует в портовой забастовке, шагая в рядах демонстрантов под красным знаменем пролетариата.

К писателям, на первом этапе своего творчества примыкавшим к варшавским позитивистам, относится и Генрих Сенкевич, именно в новеллах проявивший лучшие стороны своего таланта. Рассказы его, в частности «Янко-музыкант», широко известны советскому читателю, но здесь следует подчеркнуть некоторые особенности его творчества. Сенкевичу, писателю широкого эпического дарования, всегда было свойственно любованию прошлым своего народа и идеализация патриархальных форм жизни, что нашло свой отзвук и в новелле «Старый слуга», рисующей уже исчезающий в те дни тип старых слуг, с таким мастерством изображенных Мицкевичем в «Пане Тадеуше» в образе ключника Гервазия.

Новелла «Бартек Победитель» — произведение, насыщенное по-

литическим содержанием, остро критикующее положение польского крестьянства под немецким владычеством. Трагизм новеллы заключается в том, что герой ее—Бартек Словик, призванный на прусскую военную службу и отличившийся в войне с Францией в 1870 году, вместо награды теряет свою землю, захваченную немецкими колонистами. В новелле разоблачаются методы, при помощи которых проводилась германизация польских земель.

Путь Генриха Сенкевича от позитивизма к неоромантизму характеризует собой то новое, что происходило в польской литературе и общественной жизни конца восьмидесятых годов прошлого столетия. Польский капитализм укрепился на своих позициях. Вопрос: имение или капитал — окончательно разрешен в пользу последнего, и теперь буржуазия всецело поглощена уже другим: борьбой с возрастающим значением организованного рабочего класса, который, как это показывает процесс первой польской рабочей партии «Пролетариат», готовится к будущим боям за свои политические и экономические права, для того, чтобы завоевать их, идти дальше к свержению буржуазного строя. И в противовес этому идеологи польского капитализма выдвигают теорию «внеклассовой» борьбы за национальную свободу, пропагандистом которой и становится Сенкевич. Это путь, который позже приведет к социал-шовинизму, к профашистской идеологии Пилсудского.

С другой стороны, для польской литературы того периода характерно измельчание социальной темы в творчестве таких писателей-позитивистов, как Адольф Дыгасинский, перерождающейся в поверхностную, незлобивую критику мещанских пороков (новеллы Дыгасинского «Автобиография осла» и «Философ и прачка»). Дистанция, отделяющая их от новелл Ожешко и Пруса, огромна. И если они еще не лишены для читателя своего интереса, то не потому, что темы, затронутые в них, серьезные, волнующи, а скорее благодаря мастерству рассказчика, умеющего дать довольно точный анализ поступков своих героев, находящего порой острые сатирические моменты в сюжетной ситуации. В еще большей степени относится сказанное к новеллам Гавалевича и Запольской, интересным как критика псевдоморали мещанства. Габриэля Запольская, посвятившая этой теме свой незаурядный драматургический и писательский талант, умела нарисовать потрясающую картину разложения мещанства, воспроизвести всю затхлость атмосферы, в которой оно существовало, но, борясь с ним, очень редко выдвигала положительные образы, которым мог бы следовать читатель или зритель.

Реакция против идей и лозунгов позитивизма особенно четко

проявилась среди писателей Кракова и вообще Галиции, где он принял свои особые формы, превратившие литературу австрийской части Польши в модернистическую, лишенную каких-либо прочных прогрессивных основ, скорее развлекательную, чем воспитывающую. Даже такие талантливые писатели, как Казимеж Тетмайер или Владислав Оркан, начавший свою литературную деятельность с сильной реалистической повести «Коморники», в новеллистике ограничивались внешним изображением жизни жителей польских Карпат, умелой стилизацией подменяя внутреннее содержание своих произведений. И хотя выбранные для сборника новеллы «Как умер Якуб Зых» Тетмайера и «Свадьба Прометея» Оркана не лишены определенного социального смысла, они ни в коей мере не характеризуют всего творчества этих писателей, так же как и произведения новеллистов следующих десятилетий, чья деятельность связана с Краковом. В их творчестве слишком заметны те модернистские влияния, которые были привнесены в польскую литературу с Запада. Именно поэтому мы ограничиваемся показом того лучшего, что осталось в польской новеллистике от этих писателей, интересных главным образом с точки зрения развития литературного стиля.

Писателем, заслуживающим особого внимания читателя, является Густав Даниловский с его новеллами «Поезд» и «Пан Тонкий». Первая из них выдвигает нового героя — рабочего, спасающего от катастрофы мчащийся без управления поезд, — поезд, в котором нетрудно угадать символ будущего Польши, в то время как буржуазия и интеллигенция не видят возможности это сделать и целиком полагаются на «волю господню». В новелле «Пан Тонкий» писатель резко обрушивается на мещанство, нищее духом, лишенное всяких чувств и мыслей. Оба эти произведения Даниловского показывают его как тонкого новеллиста, умеющего сочетать острую социальную проблематику с замечательным описанием, фантастику с реальными жизненными явлениями. Можно еще добавить, что Даниловский вместе со Стефаном Жеромским и Анджеем Стругом составили то прогрессивное ядро течения «Молодой Польши», пришедшего на смену позитивизму, которое имело непосредственное влияние на развитие современной польской литературы. Надо сказать, что литературное течение «Молодая Польша», возникшее в конце прошлого века, объединяло в своих рядах писателей самых различных направлений: неоромантиков, натуралистов, декадентов и эстетов и не имело какой-либо четкой общественно-политической программы. Многие из его участников впоследствии перешли на позиции пилсудчины, в частности и Густав Даниловский.

Если Владислав Реймонт, пришедший в литературу, как говорится, от сохи, остался в ней до конца своей жизни представителем мелкого крестьянства («На вырубке» и «Суд»), то путь Стефана Жеромского был неизмеримо сложнее. Начав с натуралистических новелл, близких по своему духу творчеству Реймонта, он уже вскоре вводит в свои новеллы такие образы, взятые из действительности, которые могут быть восприняты как символ целой эпохи. А время, изображаемое Жеромским, отличается жесточайшей эксплуатацией батраков и крестьянства владельцами капитализированных имений, той шляхтой, которая после 1863 года восприняла основы буржуазной экономики и научилась выжимать из батрака последние жизненные соки, действуя способами, значительно более жестокими, чем во времена крепостничества. Батрак в новелле «Сумерки», работающий с утра до ночи вместе с женой, бросившей своего ребенка без присмотра в запертом доме, трудится с остервенением, желая во что бы то ни стало вырваться из гнетущей его кабалы. Беспросветная жизнь крестьянина Обали в новелле «Забвение», где даже доска на гроб для сына должна быть украдена из-за отсутствия у голодающего отца двух-трех рублей, а зуботычина воспринимается как справедливое возмездие, независимо от того, последуют дальнейшие наказания или нет. Не случайно судьба Обали сравнивается с судьбой вороны, у которой крестьянские дети в погоне за грошом убивают воронят. Мрак жизни — вот характеристика, данная писателем своей ужасной эпохе.

В одном ошибался тогда Жеромский. Замученный панским гнетом, Обали не отличался такой забывчивостью, какую приписывал ему или стремился увидеть в его характере писатель. Он хорошо запомнил все: и смерть умершего от голода сына, и тяжесть кулаков лесничего Лялевича, — ведь время, которое описывал, например, Струг в своей новелле «Пан и батрак», где слуга остается до гроба верным своему пану Злотовскому, источнику всех бед крестьянина, давно прошло.

Но пройдет еще несколько лет, и Жеромский познакомится с учением Карла Маркса и выступит со своей замечательной реалистической новеллой «Доктор Петр», в которой потребует возвращения рабочим украденного у них заработка, причем потребует этого усами представителя молодой трудовой интеллигенции, для которой еще Даниловский не находил выхода. Как и наследство Пруса, новеллистическое наследство Жеромского представляет огромную ценность для всей польской литературы, являясь вместе с лучшими новеллами Анджея Струга из его цикла «Подпольщики» наиболее

полным отображением борьбы польского рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции за свое социальное освобождение.

Творчество Жеромского и Струга объединяет два периода истории Польши: капиталистической Польши до первой мировой войны, еще не имевшей своей государственной самостоятельности, и «свободной» Польши 1918—1939 годов, принесшей обоим писателям глубочайшее разочарование. Им, мечтавшим о «стеклянных домах» для рабочих, верившим в то, что наступает время справедливости, пришлось увидеть лагеря и тюрьмы для подлинных демократов в Бресте и Березе-Картузской, социальную и национальную измену Пилсудского — Бека, удушение всякой прогрессивной литературы.

Но несмотря на все это, передовая польская литература, а с ней и новелла, осталась верна традициям лучших ее представителей в прошлом, смело продолжая и развивая социальную тематику, выступая против капиталистического и помещичьего гнета. К таким писателям в области романа принадлежали в первую очередь Ван-да Василевская и Леон Кручковский, в новеллистике — Мария Домбровская, Адольф Рудницкий и Густав Морцинек.

Печатаемые в этом сборнике новеллы периода между первой и второй империалистическими войнами показывают, как развивалась классовая борьба в городе и деревне, завершившаяся созданием народно-демократической Польской республики, претворившей в жизнь мечты борцов за свободу и счастье польского народа.

Совсем недавно народно-демократическая Польша торжественно отпраздновала пятую годовщину своего свободного существования. Были подведены итоги этих первых пяти лет новой жизни польского народа, показавшие, что Польша достигла огромных успехов во всех отраслях своей хозяйственной и культурной жизни. Литература, для которой в Польше созданы все условия дальнейшего расцвета, прочно встает на позиции социалистического реализма и активно участвует в борьбе польского народа за социализм. Она использует богатейший опыт советской литературы и традиции своих писателей прошлого, создавая новые выдающиеся произведения. И как прежде, почетное место принадлежит в польской литературе новелле, ее традиционному демократическому жанру, заботливо пестуемому современными польскими писателями.

Валериан Арцимович

Юлиуш Словацкий

**ПАСХА У КНЯЗЯ
РАДЗИВИЛЛА СИРОТКИ**



ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ

Юлиуш Словацкий (1809—1849), великий польский поэт-романтик, родился в городе Кременце на Волыни в семье преподавателя лицея. После окончания Виленского университета целиком посвятил себя литературной деятельности, создавая многочисленные поэмы, стихи и драмы. В связи с восстанием 1830—1831 годов поэт, выступивший с циклом патриотических стихотворений («Ода к свободе», «Кулиг», «Песня литовского легиона» и др.), эмигрировал за границу и поселился в Париже. В 1832 году выпустил здесь первые тома своих сочинений.

Наибольшей известностью пользуются его драмы в стихах: «Кордиан», «Балладина», «Лилля Венеда» и «Фантазий». В них, как и в своих поэмах «Ангелли», «Беневский» и ряде стихов, Словацкий резко критиковал польскую шляхту, которая, по мнению поэта, была главным виновником потери Польшей своей независимости. Особенно значительны в этом отношении его стихи «Гробница Агамемнона» и «Автору трех псалмов», где Словацкий, приветствуя будущую преображенную Польшу, заявляет себя сторонником народной и крестьянской революции.

В 1842 году поэт попадает под пагубное влияние мистика Товианского, что заметно сказывается на его дальнейшем литературном творчестве, но в дни революционных событий 1848 года он принимает активное участие в политической жизни, организует Союз молодежи и выезжает в Познань бороться в рядах революционных отрядов. Преследуемый прусской полицией, Словацкий переезжает во Вроцлав, откуда возвращается в Париж, где и умирает.

Как прозаик Словацкий почти не выступает и не публикует своих произведений, хотя в наследстве его остается несколько незаконченных повестей. Печатаемая нами новелла «Пасха у князя Радзивилла Сиротки», широко известная польскому читателю, является самостоятельным фрагментом одной из незаконченных повестей Словацкого.



ПАСХА У КНЯЗЯ РАДЗИВИЛЛА СИРОТКИ

...Постясь всю великопостную неделю, я подкреплял себя лишь книжной пылью княжеской библиотеки. В страстную субботу, когда пан Гармидер¹ вместе с пушками и пушкарями двинулся на всенощное бдение, и я тоже отправился в Несвиж с целью присутствовать при псалмах радости и аллилуиях. Богослужение прошло как должно,— пан князь вместе со своим приятелем Абрагамом Душным, подचाшином литовским, стояли коленопреклоненные у первой костельной скамьи, обитой малиновой тканью, а во время процессии несли над священником балдахин; весь же просторный двор перед храмом был выстлан коврами и листьями аира, являя себя глазу как цветистый луг. Как только во воротах костела показался свершающий мессу с золотой чашей причастия,

¹ Шум, суматоха (польск.).

² Польская новелла

идущий под покровом малинового балдахина, золоти́стые древка которого были несомы самым сиятельным князем и воеводой Клиничем, владельцем городка Мир, дан был залп из двенадцати пушек, а вдобавок и с колокольни выпалили из двух орудий, да еще все молящиеся стреляли — кто из пистолетов, кто из двустволок, и поднялся такой грохот, что рухнул потолок в доме одного мещанина. Впоследствии мещанин затеял процесс с монастырем, и иск его был удовлетворен князем уже после его возвращения из паломничества в Святую землю. С одной стороны, князя беспокоило то, что своими пушками он нарушил *tempore pacis*¹, с другой — его радовала эффективность собственной артиллерии.

По завершении служения, когда было уже около полуночи и все мы, покончив с молитвами, собрались возле князя-пана, он обернул к нам свое лицо и, говоря «Христос воскрес», перецеловался со всеми, после чего воскликнул:

— Господа, бернардинские монахи, отплясывая на хорах, порастеряли свои туфли. Покажем им, что и в радости должно соблюдать меру и такт,— прошу за мной к воротам города на литанию².

Говоря так, он зашагал — через весь город — к воротам, где находился образ божией матери. Ворота были узкие и темные, точно пещера,— единственная лампа освещала икону; там, на голых камнях, засунув шелковую шапку подмышку, склонил колени светлейший князь. Мы — рядом. Тогда мальчик-сирота, которого князь воспитывал и любил за его искусство петь и играть на лютне, выступил в своем белом одеянии вперед и запел почти соловьиным голосом, в котором смешались и грусть и радость.

Князь обнял дитя и поцеловал его, а затем, погладив ус, стал читать нараспев — бернардинским складом — литанию.

Но в самый разгар песнопений, когда мы проливали слезы у «*Terris eburgae*»³, со стороны ворот раздался силь-

¹ Покой мирного времени (лат.).

² Л и т а н и я — пение псалмов.

³ «Башня из слоновой кости» — акафист (лат.).

ный шум и в толпу коленопреклоненных людей врезался воз, влекомый двумя медведями. Звери шли на задних лапах, подпираясь палками, словно люди, на возу же помещалась большая бочка, перехваченная серебряными обручами, на ней восседал хвостатый возница с красными рогами на голове. Я сразу понял, что это кротохвиля, фарс, исполняемый по воле князя. Все мы успели посторониться, давая дорогу телеге «дьявола», но князь не поднялся с колен. Видя, что ему угрожает опасность от надвигающейся колесницы, один из дворян схватил его за плечи, пробуя оттянуть в сторону, но в благодарность получил затрещину — «не путайся не в свое», после чего князь, протирая глаза, будто спросонок, спросил, указывая на воз и медведей:

— Это что же такое?

Дьявол, сидящий на бочке, ответил:

— Пропусти меня, княже, это пречистая дева шлет бочку воды из почаетовского источника отцам бернардинам за то, что хорошо пропели всенощную — пусть прополощут горло, не то помрут и не отведать им завтра колбасы.

— Лжешь! — воскликнул пан Сиротка. — Это черти прислали ксендзам бочку с вином — им бы отравить весь монастырь! Но я не позволю, пока я зовусь Сироткой! Будь это подарок пресвятой девы, в упряжке шли бы христовы кони, а не мои медведи.

— Что делать, если в Литве нет коней Христа?

— Вранье! — крикнул князь. — Если святая дева соблаговолит поискать ослов, она найдет их в Литве, разве не так, пане коханку?¹ — обратился он к Дунину. — Ведь каждый новопосвященный епископ должен в первую неделю въехать в храм на осле; и хотя виленское vysokoпресвященство и не нашло такого зверя, чем было весьма огорчено, я дал совет оседлать преосвященству шею своего племянника, и епископ внял мне. Не будь я бедным Сироткой, если святая дева восседала когда-нибудь на медведях.

¹ Любимый мой пан — отмеченное историей присловье кн. Радзивилла, Карла-Станислава (1734—1790).

— Светлый князь,— отозвался Дунин,— а откуда же тогда взялся герб Шантыров?

— Замолчи,— последовал ответ,— разве ты не видишь, что это краденое добро и подлежит конфискации. *Et confiscatur.*

Тут в спор вмешался ксендз-гвардиан¹, который, успев снять облачение, прибежал на шум голосов.

— Князь! раз уж эта бочка у нас, дьяволова она или нет, пусть катит в монастырь, мы ее освятим экзорцизмами².

— И выпьем,— добавил князь.

Гвардиан кивнул головой в знак согласия, князь же распорядился:

— Чорту сбросить бочку, а самому убираться ко всем чертям, потому что, пока я зовусь Сироткой, истинно, истинно говорю вам — легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем вот этой бочке во врата пресвятой и непорочной Девы.

Пока длилась дискуссия меж отцом гвардианом, отстаивавшим права монастыря, и князем, не отдававшим бочки, ее вскрыли, и новая партия дьяволов подошла с подносом, полным кубков, которые быстро разошлись по рукам. Наполнив их, мы снова стали на колени, чтобы закончить песнопения.

Завершилось святое служение, и началось пиршество. Князь порассылал людей по всем дорогам и перекресткам, чтобы хватать проезжающих и силой доставлять к месту пира. Накапливалось все больше и больше таких пленников, приворотная площадь еле уже вмещала их, когда розоперстая Аврора глянула на торжество, где все мы, как и она, были румяны и веселы,— и под карканье проснувшихся с зарей ворон мы двинулись всей толпой к замку, причем на возу, на месте опустевшей бочки, восседал сам князь-триумфатор.

В замке ждало нас нечто неожиданное. Как только открылись двери первого зала, навстречу нам пахнуло ароматами пасхальных кушаний, изготовленных главным поваром светлейшего, итальянцем Лога.

¹ Ксендз-гвардиан — блюститель (польск.).

² Экзорцизм — молитва, изгоняющая дьявола.

В первой же зале стояло три громадного размера паштета. Увидав их, князь-хозяин воззвал: «Господа, в атаку!» и снял покрывку с первого паштета; оттуда тотчас выпорхнуло множество куропаток, голубей, рябчиков, овсянок. Проклевывая окна, птицы вырывались во двор, где их встречали выстрелами влет, поскольку многие из шляхты, не успевшей еще протиснуться в замок, были вооружены. Случалось, что ружейная дробь залетала в залу и, отскакивая от потолка, сыпалась на лысины пирующих. Но на это мало кто обращал внимание.

Тут князь, призвав повара, стал его распекать за то, что мясо недопечено. Повар оправдывался по-итальянски, а так как этот язык мне не чужд, я понял смысл его ответов, заставивший меня заинтересоваться содержимым других паштетов. А именно, итальянец разъяснил князю, что в большой паштетной пирамиде справа скрыт целый Лаокоон, вместе с опутавшими его змеями.

Стоило мне сказать об этом соседям-шляхтичам, многие из которых знали историю Энея, воспетую стихом Вергилия, как все они, удивленные, стали дожидаться появления Лаокоона¹. И вскоре князь, взяв со стены железную булаву, набитую гвоздями, ударил ею по пирамиде с такой силой, что вся она рассыпалась — и нашим глазам явился сидящий на руинах паштета карлик, в одежде телесного цвета, весь окруженный колбасами, подобно Лаокоону, борющемуся с гадами Минервы.

— Но и этот не испечен, жив! — выкрикнул с притворным гневом князь.

На что последовал ответ Логи:

— *Decoctus erat sed resurrexit*².

— Допустим, так, — протянул пан Сиротка; — ну, а что в третьем паштете?

Повар объяснил, что там сокрыта Андромеда, прикованная цепями к скале и отданная в жертву чудищу³.

¹ Лаокоон — жрец в осажденной Трое, на которого одна из враждебных Трое богинь наслала двух змей, задушивших его.

² «Хоть и зажарен, а воскрес» (лат.). Пародия на текст католической пасхальной песни.

³ Андромеда за проступок матери, Кассиопы, была прикована к скале у моря, куда Посейдон выслал чудище, готовое ее пожрать. Освобождена мечом Персея.

И действительно, после вскрытия третьего паштета мы обнаружили в нем карлицу князя, прозванную Дианкой, привязанную за руки... освященными сальцессонами к паштетной корке; перед Андромедой лежала огромная щука с головой дикого вепря, разверстая пасть которого, без сомнения, могла бы вместить тельце карлицы. Сиятельный князь все еще притворялся рассерженным, мы же точно диву давались изобретательности итальянца, умевшего дразнить аппетит, держа его в напряжении. Но тут выступил ксендз Рылло — он не разыгрывал гнева, а был сердит всерьез:

— Не годится, светлейший князь, — воскликнул он, — превращать создания божии в предмет глумления! Ведь я, не зная, что в этих паштетах, освятил их, и выходит, что живые твари предназначены на съедение, — как же я могу взять такой грех на свою совесть?

— Это моя фантазия, — парировал князь, — а мой грех — мое и покаяние. Кстати, я ведь вот-вот еду в Иерусалим, а эти карлики еще вчера были у исповеди и причастия, так что святая вода и не капнула на дьявола; жаль только, что, вместо этих трех паштетов, я не распорядился сделать одного — с шляхтичем Джималой вместо начинки, он ведь и носа не кажет в костел, — хорошо бы ему хоть раз хлебнуть святой воды — может, сбавил бы жиру. Но это еще не потерянное дело: мы найдем его в другой зале внутри голландского сыра. Он, этот Джимала, проник туда, уступая просьбе панны Анны, в которую влюблен.

Пан Джимала, стоявший рядом со мной, стал пунцовым от гнева, но, очевидно, боясь потерять свое место на пиру, не вымолвил ни слова и только что-то пробурчал себе под нос.

Вскоре мы покинули первую залу, где еще остались недоеденными щука и сальцессоны, и вышли — вместе с хозяином — во вторую, где нас дожидались дочери и жены господ, приглашенных на разговенье. Князь склонился в низком поклоне, а затем стал всем своим гостям поочередно целовать руки, что тянулось довольно долго, поскольку к поцелуям ручек присоединялись и обязательные комплименты; после этого князь еще раз обошел собравшихся и, подавая каждому пасхальное яйцо,

высказывал благопожелания, полные чувства. Наконец подошел он и к своей няне, древней старушке, которая, стоя в уголку, сладко плакала. Он передал ей крашенку и поцеловал худые руки старушки, обнявшей его голову, как голову дитяти.

— Бабуля,— сказал князь,— на будущую пасху твой вскормленник будет качаться там, далеко на волнах морей, как на качелях, но ты мне, что ни год, готовь куличи и жди, и с кутьей тоже жди, что ни год, пока не уйдут рождественские звезды — потому что, кто знает, вдруг я вернусь проголодавшимся. Оскоромившись в масленичный четверг Джималой, питаюсь весь пост сухим, как треска, Скорульским, куда уж мне... Но я все же вернусь, если только меня не съест пан Гармидер вместе с великим Турком, если меня насмерть не изведет своим дурным поведением пан Дунин или если пан Иисус не прикажет мне стать королем Иерусалима — назло вот этому ксендзу Рылло, который считает меня дьяволом худшего сорта, чем староста Зыгвульский.

Старушка застонала от жалости и покинула зал — а князь, сам немного растроганный, обратился к нам:

— Господа, может быть, это последняя пасха, которую встречаем мы вместе; может статься, никогда уже вам не узнать радзивиловского гостеприимства; но пусть это, милостивые господа, вас не смущает и не портит аппетита... Прошу покорно.

Тогда мы стали разглядывать пасхальное угощение, и было тут чему удивляться, потому что повар, выполняя волю князя, изготовил все так, чтобы пища телесная была в то же время и пищей уму. В зале этом находился среди множества деревьев пруд, заполненный липовым медом, с островком, покрытым зелеными всходами овса, на котором находился святой агнец с хоругвью, с сверкающими глазами-карбункулами, взятыми из сокровищницы сиятельного князя. Агнца подстерегало четыре огромных вепря, зажаренных в целом виде, а двенадцать испеченных оленей с золоченными рогами (им были приданы различные позы) как бы выскакивали из чащи леса, созданного из апельсиновых деревьев, увешанных всяческими сластями. Если здесь было изобилие мясных туш, то в соседней комнате помещались сплошь изделия

из теста и напитки в не менее удивительных сочетаниях. Тут уж не леса, а огромные, как скалы, женщины-кариатиды несли на головах, сделанных из миндаля, подобия городов и крепостей. Виделось даже нечто, напоминающее Иерусалим: там, среди сахарных домиков, скрывались ананасные деревья, серыми своими кронами сходные с пальмами, а в воротцах виднелись фигурки в блестящих панцырях и с красными крестами на груди — совсем как иерусалимские рыцари времен Готфрида, отбывающие стражу. И я пожалел, что не было со мной моего маленького Михаса: показать бы ему и объяснить, раньше чем все это рухнет в желудки.

Не буду описывать множества различных изображений, золотых, серебряных и хрустальных чаш, многообразия вин и медов, и мальвазий, которых было тут в изобилии, — я и так уж слишком долго задержался на этой материи: возможно, оттого, что не раз впоследствии, терпя голод среди земных пустынь, я вызывал в памяти это пиршество с сожалением и жадностью, неприличествующими и истинному философу.

Князь, который своим выдумкам никогда не отрубал хвоста, приступил — с ножом в руке — к огромному голландскому сыру, разрезал его надвое и спросил:

— А где же пан Джимала? Панна Анна, — добавил он, повернувшись к дочери маршалка, — я думал, что твой пленник здесь, хотел освободить его, но...

— Пан Джимала в сыре, — вмешался Дунин, — но я вложил тайком ему в карман чудесный камешек, делающий человека невидимым, — так что, вполне возможно, Джимала уже и вышел из всколотого тобой сыра и стоит среди нас, а мы его — увы! — не видим.

Князь моргнул глазом, и мы поняли, в чем тут дело, тем более что Дунин уже успел шепнуть кой-кому, как мы должны себя вести. И даже те, кто стояли рядом с паном Джималой, притворялись, что его не видят, и обеспокоенно спрашивали друг друга:

— Где наш высокочтимый Джимала? где пан-регент Джимала? Где уважаемый пан-шляхтич Джимала, наш дорогой приятель?

— Я здесь! — рявкнул, как из бочки, сам Джимала. — Вольно вам шутить!

— Пане! — отозвался с самым серьезным видом князь Сиротка. — Слышали твой голос, а тебя и виду не видать: вынь камешек из кармана, или я выстрелю в сторону, где наши носы чуют тебя по запаху сыра. Закрывать все входы и выходы, пока этот невидимка не натворил бед и не скрылся! Пане Джимала, заклиная тебя милосердием божьим, сбрось с себя чары. Во имя отца и сына и духа, пане Джимала, явись нам.

— Пане Джимала, явись нам! — подхватила шляхта, глядя на пана Джималу, который стоял у всех на виду, похожий на рака, сваренного в горшке, так как и лицо и жупан его были одного цвета.

— Господин подचाший, — обратился светлый князь к Дунину, — прошу простить меня: вчера, когда ты толковал мне об этом чудодейственном камешке, я отозвался словом «ложь», а теперь вижу, что это святая правда. Одно лишь ставлю тебе в укор, что силу его ты испытал на пане Джимале, которым я так всегда восхищался — ведь это же красавец, да и панна Анна опечалится, не видя его. Я не боюсь, что пан Джимала ограбит нас — нет, это честный человек. Но опять-таки панна Анна, ввиду его невидимости, может потерпеть урон — ведь в литовском статуте нет статьи, гласящей что *si qui incarnatione invisibilis factus pater fit*¹.

Тут пан Дунин, видя, что князь в своей шутке заходит слишком далеко, поскольку и сам маршалек, отец панны Анны, стал уже морщить брови при одной только мысли о воображаемом позоре дочери, которая могла бы, если бы... поспешил спасти положение:

— Милостивый княже, мне кажется, что пана Джималы действительно нет среди нас, поскольку я, помню, оставил его у врат пречистой богородицы, погруженного в глубокий сон, — и я позволил себе разыграть безобидный фарс, пользуясь отсутствием, с тем...

— Ну, если так, — молвил князь, — моей совести стало чуть-чуть легче. Пусть себе пан Джимала высыпается, а когда проспится — ни слова ему о случившемся, не то еще разгневается: это человек крайне обидчивый.

¹ Даже и невидимый может быть признан отцом (лат.).

По знаку хозяина, шляхта снова принялась за блюда и бокалы, действуя так, как если б пана Джимала не было и в помине. То и дело поэтому доставалось ему по лбу чашей или тарелкой, а то и локтем в бок. Оставалось — отодвигаться в молчании. Был Джимала обжорой, каких мало, и многое прощал во имя своего желудка. В конце концов ему удалось отыскать свободное место за столом. Усевшись здесь, он набрал в фарфоровую тарелку побольше мяса, наполнил свой кубок до краев венгерским и, в стороне от людей и их шуток, стал вкушать божьи дары.

Но длилось это недолго. Внезапно князь-пан, протянув свой указательный палец в сторону прибора пана Джималы, воскликнул с притворным ужасом:

— Ксендз Рылло, возьми епитрахиль и кропило и освяти стол, глядите, дьяволы сидят среди нас и жрут куличи. Никогда не видал я человека, который поглощал бы пищу так, как вот эта тарелка; конечно, это один из тех дьяволов, которых Иисус Христос загнал в свиное стадо, еще тогда, у Генисаретского озера. — Всякое дыхание да славит господа! Пане коханку! смотрите — эта тарелка сама покидает стол.

И действительно, пан Джимала, терпение которого иссякло, пробирался к дверям, неся тарелку с мясом перед собой; но князь, который привык, захмелев, стрелять по дамским каблучкам, схватив заряженный штуцер, прицелился и вышиб пулей из рук пана Джималы, подходившего уже к порогу, и тарелку и ее содержимое. Несчастный пан-регент, ошеломленный, остановился как вкопанный. Он уже не мог дальше переносить такого посмеяния и, со слезами на глазах, обратился к собранию:

— Господа панове, зову вас в свидетели моего протеста против подчашого Дунина: нельзя безнаказанно потешаться над человеком тихого нрава и урожденным в дворянстве. Требую сатисфакции.

Дунин не замедлил с ответом:

— О тень человека, голос из бездны! Надеюсь, хоть брюхо-то у тебя человечесье, а лоб кругл — этого хватит для моей сабли, я согласен на поединок, хотя и мог бы отговориться примером несчастного Аякса, который, бұ-

лучи отделен от врага облаком, порожденным гневом богов, вместо рыцарей, изрубил в куски стадо быков и овец. Пусть даже эта дуэль повлечет за собой трагедию, подобную уже созданной Софоклом,— я готов. Обнажи же свою саблю и дай знать голосом, где ты,— и если мне суждено сойти в Эреб¹, прошу князя, чтобы в память обо мне заказал он сто сорок четыре панихиды, раз уж я умру не как добрый католик, а от руки зачарованного комбатанта.

Сабли уже сверкнули в руках, когда ксендз Рылло, выступив вперед, сказал, взвешивая каждое слово:

— Князь, ты собрался в паломничество ко гробу господню, а допускаешь здесь — так, ради шутки — пролитие крови. Не пристало и тебе, и твоей учености, досточтимый Дунин, вышучивать грешника, не бывшего у исповеди и святого причастия в страстную неделю, а теперь — в угоду своему брюху и гневу — готового принять смерть без покаяния...

— Молчи, ты, поп! — закричал князь. — Это тебе не великий пост, чтобы тут читать нам проповеди, как с амвона, — а что скрестятся сабли — в этом нет греха; гораздо хуже поступил пан Самуэль Зборовский, который натравил бешеного медведя на итальянца Кандиана, приказав раньше вымазать его медом, а потом не принял дуэли от оскорбленного. Не видать бы Зборовскому рая, если бы ему не пришлось на ум швырнуть свою отрубленную голову через райский порог, — а там, за головой, ступил он и сам, как будто в поисках своего черепа. Это понравилось святой деве, позволившей ему остаться, видно потому, что был защитником шляхетской чести, да и загрызли-то итальянца королевские зубы. Пан Зборовский был мучеником идеи, — и я там, у гроба христового, буду молить, чтобы ему было позволено снова носить свою голову на плечах, а не подмышкой, как какую-нибудь, прости господи, немецкую шляпу. Пане Дунин, вложи, брате, саблю в ножны, и ты, дорогой Джимала, брось сердиться. Поединок же отставить: ведь и так мало у нас шляхты осталось, а так ее и еще убавится, пойдет под палаш палача, отточенный о голову пана Самуэля.

¹ Эреб — преисподняя, ад.

Ну, а пока нас достаточно и мы в добром согласии, так и самому пану Замоискому не мешает нет-нет да проверить: есть ли у него голова на плечах. Знаете ли вы, что он мне советовал избрать путь в святую землю через Турцию,— и сам король Стефан сулил мне охранную грамоту от султана; да, да, но я, не будь дурак, пане коханку, отклонил эту честь, помня прецедент, когда еще Ян Кохановский ходатайствовал за Подледовского,— увы! — благополучно уже зарезанного в Турции. Пожалуй, если бы пан Джимала одолжил мне свой волшебный камень, я бы и рискнул пообедать с самим султаном, но так как пан Джимала никогда и никому тынфа¹ не дал в долг, об этом не стоит и заикаться. Держи крепче, пане Джимала, то, что в твоих руках,— я завирую тебе, как обладателю сокровища. Но поскольку у тебя прекрасная наружность, чудесный камень скорее тебе вредит, чем помогает, — уж не поменяться ли нам с тобой? (Тут князь снял с пальца большое бриллиантовое кольцо с сапфиром и вложил его в жадно протянутую ладонь Джималы.) Итак, твой чудо-камень куплен, но я не беру его сейчас, потому что было б невежливо мне, хозяину, исчезнуть из глаз всех этих господ, оказавших честь моему дому, но раз твой камень стал моим, сдай его в мою сокровищницу.

— Если сиятельный князь, — сказал окончательно примиренный Джимала, — всегда будет покупать невидимое, то и сокровищница князя станет вскоре незримой.

На этом и закончилось шуточное действие в день встречи светлой пасхи в доме князя Радзивилла Сиротки.

¹ Ты н ф — старинная польская монета.

Элиза Ожешко

З В Е Н Ь Я

А... В... С...



ЭЛИЗА ОЖЕШКО

Элиза Ожешко (1841—1910), крупнейшая польская писательница-позитивистка, родилась в имении Мековщизна близ Гродно, в семье помещика Павловского, бывшего наполеоновского офицера и деятеля польского национально-освободительного движения. Среднее образование получила в Варшаве и рано вышла замуж за будущего участника восстания 1863 года помещика Петра Ожешко. В доме его сблизилась с группой польской демократически настроенной молодежи, что наложило значительный отпечаток на всю ее последующую литературную деятельность. После поражения восстания, в котором Элиза Ожешко принимала активное участие, она переселилась в Гродно, где и начала писать свои первые рассказы. В 1866 году в варшавском журнале «Иллюстрированный еженедельник» была опубликована её новелла «Картинка голодных лет».

Первые крупные произведения Ожешко («Марта», «Дневник Вацлавы» и др.) посвящены вопросу эмансипации женщины. Писательница считала, что одной из главных обязанностей общества является воспитание в женщине любви к труду.

В наиболее известной своей повести «Над Неманом» Ожешко дает широкую картину польской деревни и, осуждая тунеядство шляхты, требует коренных преобразований в сельском хозяйстве, которое, по ее мнению, должно базироваться на распространении агротехнических знаний среди крестьянства и мелкой шляхты.

Много внимания уделяет Ожешко национальному вопросу («Меир Эзефович», «Сильный Самсон» и др.), требуя равноправия для всех народов, населяющих Польшу. В своей замечательной повести «Хам» писательница создает глубоко волнующий образ белорусского крестьянина, раскрывая все лучшие черты его характера.

В последние годы жизни Ожешко в творчестве ее все явственнее звучат тона либерализма, темы становятся менее интересными, лишены той непосредственности восприятия жизни, которая так характерна для ранних повестей и новелл писательницы.



ЗВЕНЬЯ

Едва снег, покрывавший крыши и улицы, начал темнеть в ранних зимних сумерках, окна большого красивого дома озарились ярким светом. На золотом их фоне обрисовались пышные фестоны занавесей, стройные подставки ламп, группы растений и замелькали движущиеся силуэты человеческих фигур.

Когда на улице затих стук колес, сквозь двойные рамы окон стали долетать слабые звуки фортепьяно. Нетрудно было угадать, что люди там веселятся, что, встав из-за стола, они развлекают себя музыкой и разговорами.

Несколько экипажей с роскошной упряжкой стояли у ворот. Кучера в ливреях дремали, свесив головы, или хлопали себя по плечам и бокам изысканными руками. Но вот из ворот выбежал лакей во фраке и дал приказ, чтоб кучера разъезжались по домам.

Колеса заскрипели по снегу; кареты, подхваченные застоявшимися лошадьми, гуськом покатались вдоль улицы, на которой как раз в это время стали зажигать два ряда фонарей, висящих между небом, еще голубым, и темнеющим снегом. Потом на улице все стихло; только одноконные санки порой проносились с тихим звоном колокольчиков; на белые тротуары из окон магазинов яркий свет падал неподвижными полосами, в которых мелькали профили прохожих, проходящих группами и в одиночку.

Из ворот ярко освещенного дома вышел мужчина, седая борода которого напоминала снежный ком, осевший у него на груди.

Меховая шуба с дорогим воротником плотно окутывала его высокую, слегка согбенную фигуру; край меховой шапки касался золотой оправы очков. Одежда, движения, даже манера натягивать перчатки выдавали в нем человека, принадлежащего к высшим слоям общества. Он шел по белому тротуару быстрым шагом, противоречащим всем признакам старости.

В его походке, в жестах чувствовалось раздражение, нечто вроде желания очутиться как можно дальше от покинутого им дома.

Ведь каждый раз, когда салоны его дочери наполнялись шумом разговоров, легких, блестящих, пустых, а на половине зятя расставлялись ломберные столики, он испытывал неприятное ощущение, грусть, скуку и, если было возможно, уходил из их дома, который был также и его домом. Быть может, что теперь, состарившись, он отвратил свое сердце от мира или мир отвернулся от него.

Оба эти предположения не лишены были истины. Ему, деду взрослых внуков, даже отцы и матери семейств казались молодежью.

Это бы еще ничего: ведь можно любить молодежь и быть любимым ею; но он уже плохо понимает жизнь этих молодых поколений.

Некогда были у него идеалы, служившие ему мерилom суждений о людях и вещах. Если подойти с этой меркой к дочери, зятю, внукам, они окажутся чрезвычайно мизерными. Он не хочет быть несправедливым, да и отцовские чувства говорят в нем. Ведь и дочь и зять,

так же как внучки и внуки, отнюдь не воплощение одних теневых сторон. У них свои достоинства и способности, однако он редко может в чем-либо согласиться с ними.

Они заснули бы от скуки, если бы он попробовал рассказать им о том, что днем и ночью занимает его воображение.

Он живет с дочерью и зятем в роскоши и богатстве, а дни свои сбрасывает со счетов жизни, словно тяжелую ношу с плеч, и жизнь его приближается к концу почти так же медленно, как он идет в эту минуту по тротуару. Выйдя из ворот своего дома быстрым шагом, теперь он шел, едва передвигая ноги.

Когда он пересекает места, залитые ярким светом, льющимся из витрин магазинов, его бобровый воротник отликает серебристой искрой, блестит золотая оправка очков и резной набалдашник палки. Когда же он проходит по местам, погруженным в полумрак, блики света перестают играть, и он, словно тень, скользит мимо бодро снующих пешеходов, сгорбленный, со снежно-белой бородой и снежно-белыми волосами, спускающимися из-под шапки.

Но освещенные места попадаются все реже, а промежутки, погруженные в полумрак, становятся все длиннее. Уличное движение стихает, грохот колес не слышно вовсе, и звон колокольчиков раздается лишь изредка. Даже свет фонарей за мутными стеклами кажется здесь менее ярким; тротуары здесь уже безлюднее, дома ниже, а за окнами хотя и виднеются огоньки, но их немного, и не видно вовсе высоких ламп, роскошных ваз, не слышно звуков музыки.

Эта часть города значительно беднее той, где живут его дети и он сам. Здесь обитает беднота. Скромные лавчонки заняли место магазинов с великолепными витринами, — мелькают яркие вывески, слабо освещенные фонарями у ворот и скупым светом небольших окон; некоторые из них, раскачиваемые порывами ветра, скрипят над головами прохожих.

Раскачивается и поскрипывает время от времени и доска, на темном фоне которой изображен огромный белый циферблат часов, напоминающий старческое лицо. Выцветшие цифры и стрелки кажутся морщинами, из-

борожденными временем, а летняя пыль и осенние дожди оставили на них множество черных точек, напоминающих засохшие слезы.

Взгляд старого господина в бобровой шубе случайно упал на этот циферблат, слегка качнувшийся и заскрипевший от порыва ветра. Это было нечто вроде приглашения войти, выраженного жалобным голосом. Часы на вывеске. Часовщик! Это очень хорошо!

Его часы как раз нуждаются в починке. С некоторых пор они постоянно отстают на несколько минут в сутки. Он уже сам то и дело заводит их, чинит, передвигает то вперед, то назад, и все напрасно. А ведь он великолепно разбирается в часовых механизмах, и все часы в доме находятся исключительно под его опекой. Но его собственным часам, его старому другу, необходима помощь врача.

Он поднялся по ступенькам, открыл дверь лавочки, а закрыв ее за собой, не сразу отошел от порога. Несколько минут стоял, прислушиваясь и осматриваясь.

Каморка была маленькая, низкая, сверху донизу наполненная странным, монотонным и вместе с тем беспокойным, быстрым шумом. Это был шум негромкий, однообразный, не нарастающий и не затихающий никогда, без промедления наполняющий помещение — минутами и секундами — снизу доверху. Больше здесь ничего не было слышно: ни уличного движения, ни скрипа вывесок, ни какого бы то ни было звука из мира живых. Ничего. Только от потолка до пола и от стены к стене — то ли разговор, то ли переключка часов, висящих по стенам и сухо выстукивающих одни за другими на разные голоса: так-так... так-то-так... так-то-так...

А в этой многоголосой переключке, казавшейся извечной, у единственного окна, за столиком, на котором горела лампа с высоким стеклом и лежало множество блестящих колесиков, пружинок, крючков, сидел человек в долгополой потертой одежде, с белой, как снег, бородой и такими же волосами, спускающимися из-под бархатной ермолки. В огромных очках, с тонким инструментом в руке, он склонялся над мелкими блестящими деталями. Лоб его был покрыт морщинами, губы оттопырены, словно все его естество было сосредоточено в гла-

зах, сверкающих серебряной искрой из-под седых бровей и покрасневших век.

Быть может, слух его так привык к шумной разногласице часов и так с нею сжился, что другие звуки с трудом до него доходили; он не услышал, как вошел посторонний.

Минутой позже среди шума раздался голос, громкий, звонкий, удивительно живой и свежий, прокричавший на все помещение: «ку-ку!» и продолжавший повторять: «ку-ку! ку-ку!», пока, после восьмого удара, не смолк и лавка не наполнилась снова трескучей, несмотря на всю ее четкую размеренность, торопливой, беспокойной переключкой часов.

Старый еврей с седой шевелюрой и седой бородой, спутниками его старости, поднял голову; выпяченные его губы растянулись в блаженной улыбке, он повел вокруг довольным взглядом и неожиданно встретился с лицом прибывшего, на котором также разлилась улыбка.

Он слегка приподнялся с табурета, коснулся пальцами ермолки и начал:

— Что вельможному пану?..

Но, обратив внимание на дорогую шубу, на золотую оправу очков и фигуру, хотя и сгорбленную, но все еще величественную, он изменил обращение:

— Что угодно ясновельможному пану?

Но ясновельможный пан вместо ответа направился прямо к стене с тикающими часами и остановился у тех, которые только что прокуковали.

— Откуда у тебя эти часы? старинные!.. циферблат особенный!.. Откуда они у тебя? Чьи они?

Еврей, будто его подбросило пружиной, соскочил с табурета и, быстрым шагом приблизившись к вошедшему, остановился рядом с ним у высокого шкафчика красного дерева, в отверстие которого виден был циферблат часов с кукушкой.

— Чьи это часы? А чьи же они могут быть? Они мои! Как сын для отца, как друг для своего друга, так они для меня! А ясный пан думал, быть может, что эти часы отданы мне в починку? Что кто-нибудь сейчас придет и возьмет их отсюда? Ай, ай! Я бы поискал того, кто попытался бы взять их у меня! Если бы у меня кто-

нибудь стал отнимать их, так я бы такого шуму наделал, что люди бы сбежались и прогнали его... потому что часы мои!

Он говорил весьма оживленно, с увлечением и вместе с тем с плутоватой улыбкой, но вдруг замолк и стал внимательно всматриваться в посетителя; а тот, не обращая на часовщика внимания, с поднятой головой, с полуоткрытым ртом, разглядывал часы и вдруг воскликнул:

— Дай-ка табурет и лампу, я не могу разглядеть пейзаж на циферблате. Вижу, что это пейзаж, но не разберу, какой...

При последних словах он взобрался на табурет, подвинутый ему евреем, и сделал это с такой легкостью, будто он никогда до сих пор не волочил ноги.

— Давай сюда лампу! — воскликнул он.

— Сейчас, сейчас, ясный пане!

И, произнося эти слова, старый еврей с лампой в руке очутился рядом с гостем на другом табурете.

— Женева! — воскликнул старый пан, — так, так! Швейцарская фабрика; не знаешь какая?

— Почему же мне не знать? Могу ли я чего-нибудь не знать о них?

И с торжествующим видом часовщик произнес название давно уже не существующей фабрики.

— Это была такая фабрика, каких уже нет на свете!

— Это верно, ах, как это верно, что такой фабрики уже нет на свете! А как они заводятся?

Словно по мановению волшебной палочки, в руках старого еврея очутился ключ. Он извлек его из потайного ящика, находящегося в шкафчике.

— Вот как они заводятся! Ясный пан видит! И как хорошо, что я их еще не заводил сегодня, так могу ясному пану показать. Ай, файн! такой старый ключ, а ходит как по маслу.

— Так! Ага! А я думал, что их заводят с той стороны, потому что такие часы...

— Ясный пан ошибается... такие часы никогда не заводятся с той стороны... это совсем не те, что заводятся с другой стороны... А теперь я покажу ясному пану эти карнизы на шкафчике: ясный пан видит, какая это тонкая работа и какая здесь резьба и позолота. Файн!..

— Амбир! — шепнул старый господин.

— Амбир! ха-ха-ха-ха! Даю честное слово, ясный пан разбирается в часах, как, с позволения сказать, заправский часовщик. Чистейший амбир! Им уже около ста лет...

— Погоди, погоди! А это что за пружина?

— Ну, это такая пружина, что если я ее нажму, так из часов сейчас же выскочит птица, захлопает крыльями и начнет кричать.

— Ага! Верно! Я уже видел однажды такой механизм.

— Если ясный пан уже видел раз, так я ясному пану покажу еще раз...

Они стояли рядом на табуретах, не похожие друг на друга: хозяин был худощавее и ниже ростом. Свет от лампы, которую еврей держал в высоко поднятой руке, освещал два лица, столь различные, но покрытые множеством сходных морщин. Глаза обоих сквозь очки с одинаковым благоговением разглядывали часы.

Вдруг над их головами, над их морщинистыми лицами выскочила из часов металлическая птица, выброшенная пружиной, захлопала крыльями и звонким чистым голосом прокричала на все помещение: «Ку-ку! ку-ку!»

Еврей первым слез с табурета и помог гостю сойти, затем, позабыв поставить лампу на стол, снова стал вглядываться в гостя.

— С позволения ясного пана, — прошептал он несмело, — может, я себе ошибаюсь, но мне кажется, что мои старые глаза узнали ясного пана...

— Постой, постой, — живо откликнулся старый господин, — и мне что-то вспоминается. Я, кажется, встречал тебя когда-то?

— Ясный пан — граф Ксаверий из Струменицы...

— Ну, а ты? Никак не могу вспомнить...

— Я Берек, сын Шимшеля, что был арендатором в Струменицах.

— Берек! Может ли быть? Я ведь хорошо помню! Ты позировал сестре моей для какой-то картины.

Еврей утвердительно кивнул головой, затем поставил лампу на стол, так как у него стали дрожать руки, вытащил из угла старое кресло с продавленным сиденьем и сломанной ручкой и пригласил посетителя сесть.

Он прищмокивал губами, смеялся; его красные веки быстро мигали под седыми бровями, словно от яркого света. Наконец он сел, продолжая разглядывать гостя и издавая неопределенные возгласы, в которых слышались радость и удивление. Но и старый господин всматривался в него с удивлением.

— Может ли это быть? Ты Берек? Ты... тот Берек с вьющимися золотыми волосами, с лицом, румяным как у девушки, с глазами как бирюза? Сестра писала с тебя какую-то фигуру для картины, потом ты часто приходил к нам в дом. Значит, это ты?

— Я... я сам, ясный пан! А ясный пан тот самый панич, который взбегал по лестницам струменецкого дома не иначе, как перескакивая сразу через четыре ступеньки. Когда ясная панна графиня меня рисовала, а пан Ксаверий входил в ту комнату, где мы находились, казалось, будто солнце восходит. Ай, разве я не помню, как ясный пан Ксаверий ездил верхом и как танцевал с барышнями! Сколько бы паничей верхом ни ездило, ясный пан Ксаверий опережал всех, и сколько бы ни было барышень, все хотели танцевать только с ним. Я все это видел, стоя у изгороди или под окнами...

— Да, да! — подхватил граф, — я тебя тоже лучше всего помню стоящим в саду у решетки, смотрящим на все глазами, полными удивления и радости... Мы не раз говорили с сестрой, что у тебя такой вид, будто ты радуешься всему миру и никак нарадоваться не можешь.

Еврей тихо засмеялся.

— А ясный пан разве не радовался тогда всему миру?

Граф задумался и вздохнул.

— Конечно, — ответил он, — молодость!.. Мы вместе были молоды, мой Берек!

Не спуская с него глаз, еврей снова тихо спросил:

— А теперь?

— Теперь! Что ж? Теперь мы вместе стали старыми.

Еврей оперся ладонями о колени, взгляд устремил в землю, сгорбился, стал меньше.

— Цы-цы! — причмокнул он, — отчего бы нам не состариться вместе, если мы вместе были молоды? Каждый человек — еврей или христианин, большой или ма-

ленький — переживает молодость, переживает и старость... и для каждого молодость это радость, а старость это такая печаль, которую до самой могилы нельзя с себя сбросить. С каждым так бывает...

Он умолк.

Граф тоже молчал, и только часы на стенах переговаривались, издавая сухой и тревожный стук: так-так! так-то-так! так-то-так! так-то-так!

Одни из них густым басом начали отбивать время: раз, два, три! После третьего удара откликнулись другие и тоненьким голоском пробили: раз, два; на шестом ударе присоединился третий голос, а на седьмом их было уже шесть-семь, восемь-девять прозвучали хором, который постепенно стал редеть, дойдя до трех, затем двух голосов. Так пробило девять часов.

Граф с улыбкой оглядывался вокруг.

— Концерт! — прошептал он.

А потом в раздумье добавил:

— Мой Берек, сколько часов уже пробило время для тебя и для меня!

— Ну, — ответил еврей, — почему бы ему не пробить? Мы находились порознь, не виделись никогда и забыли друг о друге, а время отбивало час за часом для ясного пана и для меня, потому что оно отсчитывает часы для всех.

Немного помолчав, он поднял взгляд на гостя и робко начал:

— А ясный пан знает, что я помню родителей ясного пана, как будто я их только что видел? Пан граф-отец был низкого роста, но с такой гордостью в лице, а у пани графини были такие руки, что я всегда думал, что это белые цветы... те, которые росли в саду и садовник называл их лилиями. Может, я плохо помню... лилии... лилии. Такие белые прекрасные цветы с сильным запахом... Руки пани графини были похожими на эти лилии; пусть ясный пан не сердится, если я спрошу, живы ли еще отец и мать?

На этот раз граф ответил с горькой усмешкой:

— Где там, мой Берек! Возможно ли, чтобы мои родители были еще живы? Те белые лилии, о которых ты говоришь, давно уже в земле.

Голос его дрогнул, но, сдерживая волнение, вызванное воспоминанием, он приветливо спросил:

— А твои родители? Отца я почти не помню, но мать представляю себе очень хорошо. Худошавая, небольшая женщина, измученная работой, с увядшим лицом, но еще прекрасными глазами, черными и яркими, как пламя...

Еврей помолчал мгновенье, затем, опуская книзу палец, сухой и темный, тихо сказал:

— Это пламя, которое ясный пан помнит, давно уже в земле!

Часы все отстукивали: так-так! так-то-так! так-то-так! А люди сидели молча, и души их были погружены в шест бегущего времени.

Еврей первый очнулся от задумчивости и сказал:

— А чем я заслужил эту милость у господ бога, что он привел ко мне такого старого знакомого?

Граф извлек из кармана старинные часы и положил их на стол.

Еврей с удовольствием взял их в руку и, с улыбкой разглядывая, спросил:

— А в чем их вина? Чем они согрешили? Они отстают? Ясный пан пробовал исправить их, но безуспешно? Цы-цы! Я уже вижу, что их дело плохо, они очень больны. Их нужно разобрать и лечить...

Глаза графа блеснули из-за очков. Он забеспокоился и вместе с тем обрадовался.

— Ты можешь это сделать сейчас же?

— А почему бы нет? Я буду очень рад, если ясный пан посидит у меня немного и сам увидит, что я этому больному не причиню зла. Только я зажгу себе большую лампу, потому что при этом вот свете мои глаза слишком слабы для такой тонкой работы...

Граф, приходя в хорошее расположение духа, воскликнул:

— Тебе хорошо, ты можешь зажечь большую лампу, а у меня нет с собой тех очков, которые я надеваю при починке часов.

— Ай, ай! что за беда? У меня несколько пар разных очков: пусть ясный пан подберет себе, какие подойдут лучше. Значит, и глаза просятся в отставку?

— О да, мой Берек, и даже очень просят... Это мне чертовски мешает. Без очков ни шагу, да и в очках иной раз трудно...

Еврей достал из ящика несколько пар очков и сказал:

— Это точь-в-точь как со мной. Наши глаза тоже вместе состарились.

Через несколько минут оба сидели, наклонившись над столиком, погруженные в разборку часов, и рассматривали отдельные детали. Роговая оправка очков темными линиями перерезала их морщинистые лбы, виски и пропадала за ушами в седых волосах. Глаза за большими стеклами становились все более сосредоточенными, а свет лампы зажигал в них серебристые огоньки. За работой они разговаривали, но уже только о лежащем перед ними предмете, ибо в эту минуту все прочее исчезло бесследно из их сознания. Порой они умолкали и, рассматривая, пробуя, мастера, начинали протяжно и громко дышать от большого напряжения. Иногда обменивались отрывистыми фразами:

— Видишь, видишь, вот где лихо засело!

— Если здесь, так мы его отсюда и выгоним! Но мне кажется, что оно в другом месте.

Иногда же начинали спорить:

— Что ты делаешь? Это не так! — с беспокойством говорил граф.

Еврей отвечал успокаивающе:

— Пусть ясный пан не беспокоится. Сейчас он увидит, что из этого выйдет...

— Но из этого ничего не выйдет! Нажми здесь... вынь оттуда...

Тогда еврей повышал голос и почти кричал:

— Ясный пан ошибается... тут имеются такие тонкие пружины, что он их не видит.

Но граф возражал повышенным тоном:

— Вот это мне нравится! Чтобы я не заметил чего-либо в этих часах...

Однако поняв, что еврей хотя и по-своему, но делает правильно, бормотал потихоньку:

— А правда, правда! Ты был прав.

Тот, тоже уже успокоившись, бурчал:

— Когда дело касается моей работы, то я всегда прав.

Они снова умолкали, разглядывали, мастерили, сближались лбами, изрезанными морщинами и темными линиями очков, сплетали над столом старческие руки, сухие пальцы которых проделывали осторожные движения; громкое и протяжное дыхание сливалось с шелестом часов.

Вдруг из этого шелеста, сухого и торопливого, выделился очень чистый бас и стал вызванивать: раз, два, три! После четвертого удара ему начал вторить, словно юноша зрелому мужу, тоненький дискант, прокричавший: раз, два! После третьего его удара опять присоединились другие голоса, которым стали помогать все новые и новые, пока весь хор, дружно ударив несколько раз, не сошел на три, затем на два голоса, закончивших возвещать десять часов.

Старшки подняли головы от работы и опустили руки на колени.

Еврей проговорил с улыбкой:

— Ну, ясный пан хорошо разбирается в часах... Я уже вижу, что он питает к часам такую же слабость, как некогда — к быстрым коням и прекрасным паненкам.

Граф тоже весело ответил:

— Это правда, мой Берек, это правда, что у меня появилась такая слабость — неведомо как и зачем? Разные странности бывают у стариков.

Еврей сделал гримасу и стал недовольно ворчать:

— Странности? Какая же это странность? Зачем считать это странностью? Часы — это прекрасная машина, и она приносит честь тому уму, который ее придумал. Разве она кого убивает, как, к примеру сказать, ружье или пушка? Разве она кого-нибудь отравляет, как те машины, что на больших заводах отравляют людей ередными испарениями? Часы — друг человека; они с ним, когда ему весело и когда грустно; они ему показывают, что в какое время надо делать; они говорят тогда, когда никто не заговорит с человеком; они его учат, что время течет и что он в этом времени, словно по большой реке, тоже плывет в огромное море...

Он махнул рукой и закончил:

— А ясный пан знает? Они для человека иногда лучший друг, чем другой человек, потому что они никогда не ужалят. Хи-хи-хи!

Он тихонько засмеялся, а граф задумчиво слушал его речь и, поддакивая ему, отвечал:

— Ты умно сказал: эта говорящая машина бывает вместе с человеком, когда ему весело и когда грустно. Знаешь ли ты, что эти часы были со мной уже тогда, когда я, как ты говоришь, имел пристрастие к быстрым лошадям и прекрасным паненкам.

— Ай, ай! — чмокнул еврей. — Такой молодой панич уже имел такие дорогие часы!

Граф улыбнулся.

— Я никогда не ощущал недостатка в дорогих вещах, но мне не раз доставало дорогих лиц. Никогда не забуду последних часов моей матери... Доктор сказал, что смерть станет приближаться с того момента, когда начнет слабеть пульс, и пошел отдохнуть. Он был сильно утомлен. Я остался у ее постели и, держа в одной руке часы, а в другой ее руку, следил... не приближается ли? Чем ближе оно подходило, тем реже становились удары пульса, и мне казалось, что тем быстрее двигалась стрелка часов; она шевелилась, а у той лилии, которую ты помнишь, пульс все слабел, слабел, пока не остановился. Наступило то, что близилось, то, что было неотвратимо. Часы показывали пять минут и три секунды после полуночи.

Еврей с глазами, влажными от слез, кивал головой, а часы на стенах жалобно вторили хором: так-так! так-то-так! так-то-так! так-то-так!

Поддавив в себе волнение, граф пошутил:

— Ты не поверишь, мой Берек, какая прыть на них порой находила! Как-то я был влюблен в одну даму; наши встречи бывали очень непродолжительны. Каждый раз, когда я украдкой взглядывал на часы, мною овладевала такая злоба, что если бы я не постеснялся, я швырнул бы их на землю. Мысленно я ругал их: «Не бегите так, глупые! Постойте, отдохните, и пусть вместе с вами остановится время!» Но они не слушались, бежали — и счастье мое... улетадо!..

Еврей тихо спросил:

— А всегда ли вы, ясный пан, хорошо спали по ночам?

Граф сделал иронический жест.

— А когда ясный пан не спал, были ли мысли его всегда веселые? Ну, я и сам знаю, что они порой, должно быть, были невеселые. А когда ясный пан лежал в темноте с невеселыми мыслями в голове, так, может, тогда часы шли очень медленно?

— Но все же шли, — ответил граф, — и черные ночи проходили. Как и все проходит, — добавил он и глубоко задумался.

Он почувствовал досаду, зачем он так долго сидит здесь и так фамильярно беседует с этим бедным евреем. Он некогда знал его! Что ж из этого? Ведь они не могут иметь общих воспоминаний, да и ничего общего. Он не был надменным и отличался врожденной приветливостью к людям. Но он также отлично знал, какая пропасть всевозможных различий отделяет его от Берека, сына арендатора, ставшего часовщиком в бедном квартале города. И вообще они отличались друг от друга во всем, и не было между ними ничего сходного. Он зашел сюда, чтобы отдать часы в починку, а просидел несколько часов, и, более того, ему почему-то не хотелось уходить; почти неожиданно для себя он спросил:

— А как тебе жилось, мой Берек? Как живется тебе теперь? Есть ли у тебя семья и средства к существованию?

Еврей вежливо поблагодарил за участие и стал отвечать довольно пространно.

Богатым он не был, капитала не сколотил, но кое-какими средствами к существованию обладал и нужды не испытывал. Он еще работал и зарабатывал столько, сколько требуется на жизнь — а много ли ему теперь нужно, когда он остался один с внучкой, которая присматривает за ним и немного зарабатывает шитьем! Есть и семья, несколько человек детей, еще больше внуков, но это все...

Старик махнул рукой.

— Знаете что, ясный пане? Есть такая загадка, и мне очень любопытно, знает ли ее ясный пан? Как это

могло случиться, чтобы у человека была семья и вместе с тем ее не было?

Говоря это, он устремил на лицо графа испытующий и немного плутоватый взгляд.

— Ну, знаете вы эту загадку?

По губам графа скользнула ироническая улыбка.

— Я знаю эту загадку, Берек, очень хорошо знаю...

Еврей стукнул обеими ладонями по коленям и с огорчением воскликнул:

— Ой, зачем ясный пан ее знает? Лучше ее не знать! Ну, если мы оба знаем ее, так уж я о моей семье рассказывать не буду. Они люди порядочные и честные, некоторые из них даже образованные и богатые, но они не мои, все они принадлежат теперь самим себе и миру, а не мне...

— У меня, — продолжал Берек, — было несколько дочерей, но только одна из них принадлежала мне. Любила меня и заботилась, была светом и радостью очей. Но я давно уже ее не видал и никогда больше не увижу. В торговле ей сопутствовали неудачи и несчастья. Она уехала с мужем и детьми в Америку в поисках лучшей судьбы... Иногда приходят от нее письма, но что такое письма? Мне никогда ее не увидеть, и это такое большое горе, которое можно перенести спокойно и терпеливо только потому, что оно исходит от бога. Что делать?

На глазах его, некогда голубых, как бирюза, — по словам графа, — а теперь серых, мутных, с красными веками, заблестели слезы. Но скоро он преодолел волнение и, в благодарность за доброжелательные вопросы, проговорил несмело:

— Не рассердится ли ясный пан, если я спрошу о сестре, о той ясной паненке графине, которая когда-то меня, бедного еврейского мальчика, рисовала на картине. Ай, какая это была прекрасная паненка! Я помню ее, — могу ли я ее не помнить, когда я такой прекрасной паненки никогда уж потом не видал? Это был ангел. Она была такая добрая, такая тихая и нежная, как ангел! Я помню, что ясный пан был с ней в большой дружбе. Почему бы мне не помнить этого, когда такой дружбы я больше никогда не видал? Жива ли она? Где она теперь? Что делает? Как ей живется?

После минутного молчания граф с взглядом, устремленным в пол, ответил:

— У меня было три сестры, но ту, о которой ты спрашиваешь, я любил больше всех. Она живет хорошо, но я давно ее не видел и, может быть, никогда не увижу. Она вышла за англичанина, живет в Англии; никогда сюда не приезжает, а мне, уже близкому к великому пути, трудно отправиться даже в небольшой... Она умерла для меня, хотя и жива. Ничего не поделаешь.

Еврей слушал внимательно и грустно покачивал головой.

— У вас, ясный пане, та же печаль, что и у меня. И вы правильно сказали: она умерла, хотя и жива. Я то же самое о моей Малке думаю. Я думаю, что люди по-разному умирают: одни от болезни, другие из-за отдаленности, третьи из-за того, что становятся иными, четвертые... Но зачем я это говорю, когда ясный пан и сам знает.

Он махнул рукой и замолчал, а граф, продолжая глядеть вниз, коротко ответил:

— Знаю.

Оба замолчали, а часы вокруг говорили непрерывным шорохом: так-так! так-то-так! так-так! — пока вдруг не раздался звонкий голос, кричащий на все помещение: «Ку-ку! ку-ку!»

Граф встал и, приблизившись к часам, остановился перед ними. Шуба его была распахнута, так как ему стало жарко в душном помещении, а на глазах его опять были очки в золотой оправе.

Подняв голову, он долго смотрел сквозь очки на старинные часы, потом проговорил:

— Сколько ты возьмешь за эти часы?

Сидевший у стола еврей поднял голову и, улыбаясь, ответил:

— Сколько я за них возьму? Я ничего не возьму.

— Как? Вель ты торгуешь часами?

— Ясный пан сказал правду. Я торгую часами. Но эти часы не продаются.

Граф с удивлением обернулся к нему.

— Почему? Ведь это вещь, имеющая большую ценность. Я охотно приобрел бы их.

Еврей утвердительно кивнул головой:

— Я знаю, что это дорогие часы и что я за них мог бы взять большие деньги, но я их не продам. Слышал ли ясный пан когда-нибудь, чтобы друг продавал своего друга?

Граф смотрел на говорившего с недоумением.

— Может ли это быть? — воскликнул он, — ведь ты не богат, ты еврей, а евреи только гроши ценят!

Часовщик тихо ответил:

— Ясный пан ошибается.

А граф продолжал, слегка смеясь:

— В чем моя ошибка? Почему ты так высоко ценишь эти часы, что даже продать их не хочешь? У тебя ведь так много других! Почему тебе так дороги именно эти, и какое особое значение имеют они для тебя?

Он был до того заинтересован, что опять уселся в кресле с продавленным сиденьем и сломанной ручкой.

Еврей стал говорить не спеша:

— Если ясный пан станет слушать мою болтовню, то я все расскажу. Скоро будет уже сорок лет, как я владею этими часами. Я купил их дешево и купил для того, чтобы продать подороже! Но в то время мой Моше, который стал теперь купцом и ведет крупное хлебное дело, был таким маленьким мальчиком, что еще ходил в хедер, а у меня больше сыновей не было, и я очень боялся, что бог не даст мне других. Я горячо любил его. Ай, что это был за ребенок, этот мой Моше. Если бы ясный пан его знал, то сам дивился бы, что может быть на свете такой ребенок. И когда я купил эти часы, в тот же именно день мой Моше вернулся из хедера такой слабый, грустный и худой, что меня страх охватил, чтобы он не заболел и чтобы бог у меня не отнял этого единственного сына.

Пришел мой Моше из хедера, сел в углу, кушать не хочет, уставился в землю и говорит, что у него болит голова и что он очень устал, что меламед очень строг и что ему, Моше, уже не хочется жить. Ай, ай! Чтобы такой ребенок уже не хотел жить! Это странно, это ужасно, и это большой грех! Когда он сказал так, я схватился за голову, а его сестры стали плакать. И все мы сидим, держась за головы, и раскачиваемся в вели-

ком горе. Вдруг, неожиданно, эти вот часы закуковали. А было тогда десять часов, так что куковали они долго, все десять раз. После первого удара Моше поднял голову и удивился, после второго он уже не смотрел в землю, а на часы, после третьего глаза у него заблестели, и он крикнул: «Ай, ай! Папа, что это? Где ты это взял?» И стал улыбаться часам так, как человек, которого долго держали в темноте и который смеется, увидев солнце. Я очень был рад, вскочил на табурет и нажал ту пружину, что ясный пан знает, а когда я ее нажал, из часов выскочила птица и стала хлопать крыльями и куковать еще громче. Ну, как только он ту птицу увидел, этот мой Моше, так он уже совсем из угла выскочил, старшую сестру обеими руками обхватил и стал с ней перед часами плясать, и когда он со старшей сестрой танцевал, то и две младшие, такие маленькие, что едва от земли видны, схватились за руки и тоже стали танцевать. Они не только танцевали, но от большой радости, что увидели такую прекрасную птицу, хохотали на всю комнату, и так они смеялись, что и мать, готовившая обед, стала смеяться. Я не слезал с табурета и смотрел, как все они плясали и смеялись. Птица куковала, а я, стоя на табурете у этих часов, мысленно благодарил бога, что Моше уже не болен и уже хочет жить и что в моем доме такая большая печаль сменилась такой большой радостью.

Должно быть, это и в самом деле была большая радость, так как и теперь еще, по прошествии сорока лет, она сиянием озаряла густую сеть морщин на лице часовщика и эхом откликалась в его смехе, тихом и протяжном.

Повеселевший, с блестящими глазами и широко раскинув руки, он продолжал:

— Ну, мог ли я тогда продать эти часы, когда благодаря им бог одарил меня своей милостью? Я немного боялся продавать их, чтобы не отогнать от себя это счастье, и немного оттого, что жалел детей, для которых эта поющая птица была таким развлечением, что как только она начинала куковать, они тотчас же пускались перед ней в пляс... Покупателей на них было много, но я всегда думал: «Пусть это будет позже! Пускай они

себе еще немножко у нас побудут!» Но вот бог наслал на меня тяжелую болезнь...

Он глубоко вздохнул и, подняв глаза к потолку, продолжал:

— Когда бог на меня эту болезнь наслал, то я, может, целый месяц не спал. Знает ли ясный пан, что это такое, когда человек, имеющий ужасные боли во внутренних частях и черные мысли в голове, целую ночь лежит с открытыми глазами и смотрит в темноту! Я в этой темноте видел много таких вещей, что не приведи бог увидеть их ни одному доброму человеку! Я видел свою смерть и своих детей, которые без меня будут в большой нужде, и свои грехи, которыми я оскорбил бога, и те ужасы, что меня ждут на том свете... Но как только на этих часах птица — кто бы мог поверить — закукует, — картины, наполнявшие темноту, сразу сменялись другими. И я видел тогда Струменицу, и себя самого у изгороди усадьбы, и тот сад, такой зеленый, и на фоне его белый дворец. Так я на эти картины смотрел, радовался им, как дитя, когда ему покажут игрушку, и благодарил бога, что он дал мне такую вещь, которая в темноте рисует предо мной такие светлые картины.

Он умолк и довольно долго сидел, положив руки на колени и опустив голову.

Граф, подперев голову рукой, сосредоточенный, заслушавшийся, молчал, — седые склоненные головы стариков глубоко погрузились в шорох времени, неустанно твердящий: так-так! так-то-так! так-то-так!

Граф встал в раздумье.

— Мой Берек, — сказал он, — я хорошо понимаю, почему ты не хочешь продать свои часы. Ты читаешь по ним прошлое так же, как я по своим.

Они стояли теперь друг против друга, минута расставания была близка, но они не спешили прощаться, ощущая присутствие незримого кузнеца, кующего звенья, так неожиданно связавшие их... А вокруг их фигур, сгорбленных и дряхлых, волна времени катилась с непрерывным, отстукивающим шумом: так-так! так-то-так! так-то-так! так-то-так!

.....
Прошло несколько месяцев. Весна была ранняя, яс-

ная, солнечная. Старый Берек вышел из помещения, наполненного вечным шумом часов, и остановился у двери на ступеньках, возвышающихся над тротуаром. Его озаарило яркое солнце, в золотых лучах которого отчетливо выделялась невысокая, щедушная, слегка сгорбленная фигура в долгополой псношенной одежде, в сплюсненной шапке с искривленным козырьком. Из-под козырька, тоже в сиянии солнца, виднелось лицо круглое, увядшее, с небольшим румянцем на сморщенных щеках, в очках, роговая оправа которых пересекала черными линиями его лоб, виски и терялась за ушами в седых волосах. Седая борода поблескивала на груди, как серебряная пряжа.

Он стоял в солнечном свете и тепле, согретый, повеселевший, поглядывая через большие стекла очков на узкую улицу, полную света, вверху украшенную лентой синего неба. Время было послеполуденное, люди двигались бодро; с соседних улиц, более оживленных, чем эта, долетал хорошо знакомый шум голосов и стук колес, но вскоре ухо еврея стало различать менее обычные звуки. Это было пение низких голосов, то усиливающееся, то утихающее, то снова выделяющееся торжественной нотой в уличном шуме.

Берек минуту прислушивался, потом кивнул головой в знак того, что ему понятно значение этого пения. Погребальная процессия все приближалась. На узкой улице возникло движение, какое обычно бывает, когда народ спешит увидеть интересное зрелище. По тротуарам застучали торопливые шаги, донесся шум возбужденных голосов.

Берек спокойно стоял на ступеньках, возвышающихся над тротуаром, и смотрел туда, откуда близились торжественное пение. Расстояние в несколько сот шагов отделяло его от конца улицы, где обычно проходили похоронные процессии.

Из-за высокой стены каменного дома появилось сначала несколько фигур в белом, черный крест проплыл в золотых лучах солнца, в воздухе зареяли красные и сапфирные хоругви, зажженные факелы сверкнули цепью огней, желтых, мертвенных, печальных. Похоронное пение слилось с шумом колес, медленным и приглушенным. Зачернели погребальные покровы. На высоком катафал-

ке, запряженном шестеркой лошадей и окруженном людьми, одетыми в траур, стоял гроб, сверкающий серебром... И опять под звуки постепенно удаляющегося пения проплыли хоругви, факелы, затем длинный ряд пар, в глубоком, но нарядном трауре медленно движущихся за пышным катафалком. Тяжелые женские платья, волочащиеся по мостовой, черные вуали, ниспадающие до самой земли, черный креп на блестящих цилиндрах мужчин, молитвенники с переплетами, сверкающими слоновой костью и золотом, в руках, обтянутых черными перчатками. Бесконечная колонна таких пар тянулась между двух рядов горящих факелов и между двух шпалер людей, толпящихся на тротуарах и по краям мостовой.

Это были одни из наиболее пышных и богатых похорон, какие когда-либо бывали в этом городе.

Сквозь большие стекла очков Берек издали спокойно наблюдал за движущейся процессией и время от времени задумчиво покачивал головой. Но когда из уличной толпы долетело несколько слов и коснулось его слуха, он вздрогнул, выпрямился и стал расспрашивать прохожих:

— Вос? Вос? Вер? Кто такой? Граф? Какой граф? Что такое? Кто это умер? Чьи похороны?

С этими вопросами, срывавшимися с обескровленных губ, он очутился на тротуаре и преградил путь какому-то прохожему.

— Ну что? Не задерживай меня, еврей! Чьи похороны? Графа Струменецкого! Ну, так что ж? Что ты меня все держишь за полу? Какого Струменецкого? Отца... отца... старого графа Ксаверия!.. Пусти, я тороплюсь.

Берек выпустил полу прохожего, откинул назад голову и, глядя на лазурную полосу неба, стал недоуменно восклицать:

— Он умер? Пан граф Ксаверий умер? Как это может быть? Почему он умер? Он был совсем здоров, когда приходил ко мне! Он был когда-то такой молодой, такой красивый и такой веселый, а теперь он умер? Как это так, что он умер?

Прохожие, спешащие увидеть пышные похороны, задевали его и с удивлением смотрели на старика с торчащей серебряной бородой, который, глядя сквозь большие очки в самое небо, причитал и вопрошал. Он задавал

вопросы неизвестно о чем и неизвестно кому. Кто-то, размашисто шагая, оттолкнул его к самой стене; несколько еврейских подростков, пробегая, закричали: «зи, зи, а мышугенер!» Но все это продолжалось недолго, потому что старый еврей, подхваченный какой-то непреодолимой силой, заторопился в ту сторону, куда направлялась погребальная процессия. Подбирая руками полы длинной одежды, он бежал с тротуара на тротуар, с улицы на улицу. Сгорбленный, с жилистой шеей, вытянутой вперед, с торчащим клоком серебряной бороды, он безумно торопился. Он думал лишь о том, чтобы догнать погребальное шествие.

Шествие двигалось медленно, догнать его не было трудно. Берек вскоре достиг последних рядов, но не удовольствовался этим. Он продолжал бежать, ловко протискиваясь сквозь толпу; там, где было тесно, он действовал даже кулаками и вскоре очутился рядом с дамами и мужчинами, идущими парами за гробом.

На тротуарах, по обеим сторонам катафалка, покрытого черным, и движущихся за ним пар, одетых в траур, тянулись две полосы мостовой, пустые, залитые светом солнца. Берек замедлил шаги и пошел по одной из этих полос, параллельно колонне дам и мужчин. Они шли размеренно-торжественным шагом; он тащился, порой спотыкаясь о камни. На фоне их черных нарядов его потертая одежда казалась лохмотьями. На его сплюсненной фуражке не было крепа, а из-под искривленного козырька видны были лишь черные линии очков, пересекающие сморщенную кожу лба и висков.

Но он все же шел. Быть может, на него обращали внимание и удивлялись, откуда он взялся и зачем идет, но он шел. Впереди шествия высоко в прозрачном воздухе виднелись черные линии креста и звучало торжественное церковное пение; однако он шел.

Вскоре он сам стал думать: «Ну, откуда я здесь взялся? Чего я бежал, как полоумный? Зачем я иду?» Но шел.

«Ну, зачем он сидел тогда у меня столько часов, почти всю ночь? Зачем он со мной разговаривал, как с братом? Зачем я побежал за этим катафалком? Зачем я теперь за ним иду?»

Так он думал, но шел.

За городом было просторно, ясно, чисто и прохладно. Поля, покрытые зеленью всходов, лежали по обе стороны дороги, молодые березы серебрились белой корой и шелестели каскадами листочков, легкий ветерок проносился в золотистом воздухе, поднимая с земли аромат трав, река сверкала вблизи такой яркой лазурью, что казалась кусочком неба, упавшим за волнистыми холмами.

Берек давно уже не покидал города, и теперь, как только он вышел за его пределы, на него сразу повеяло Струменицей. Ветер, березы, лучи, пронизывающие воздух, шептали ему со всех сторон: «Струменица! Струменица!» Вот он стоит у забора, окружающего усадьбу, смотрит на такие же березы, на такую же лазурь воды и слушает, как в лесу кукует птица...

Он устремил глаза на гроб, сверкающий серебром.

— Это было начало — твое и мое.

Через ворота, открытые настежь, шествие вошло на кладбище, могилы которого усеяны были фиалками, и рассыпалось среди памятников и крестов. Тогда Берек, почувствовав внезапную тревогу, остановился, а когда людская волна прошла дальше, остался один. На кладбище было много деревьев; старый еврей подошел к березам и, с опущенной головой, с растопыренными пальцами свисших рук, бродил минуту среди плакучих ветвей, о чем-то раздумывая и бормоча вполголоса:

— Ну, зачем я сюда пришел? Откуда я здесь взялся? Зачем я сюда забрел?

Но он не уходил и чувствовал, что незримый кузнец выковывает звенья, связующие его с гробом, опущенным в землю.

На противоположном конце кладбища стояла пестрая толпа людей, слышалось торжественное пение, сверкал крест на высокой могиле. Еврей с опущенной головой бродил среди берез и разговаривал сам с собой... Кладбищенские ворота все еще были открыты настежь, но он не уходил; даже уселся под березами.

Под березами, плачущими дождем мелких листочков, среди белых стволов, у могилы, усеянной фиалками, темнела серая фигура старого еврея, склоненная к земле, в

плоской шапке, в больших очках с роговой оправой, с серебряной пряжей на груди.

Кладбище спускалось по высокому косогору к реке, за которой виднелись зеленые поля и желтые пески.

Еврей, вытянув шею, смотрел на пески.

— Что это? — пробормотал он, — что это значит? Разве это оно? Я не знал, что его отсюда видно.

На желтых песках выделялось место, окаймленное низкой каменной оградой и заполненное торчащими камнями. Там не было ни деревьев, ни склепов, ничего, — кроме множества камней, краснеющих в лучах солнца, и желтых песков вокруг. Еврейское кладбище.

Берек облокотился о колено и, поддерживая голову рукой, медленно раскачивался — то взад, то вперед — в такт молоту, кующему невидимые звенья, связавшие его с гробом, засыпанным землей.

И тихо проговорил:

— Здесь конец твой и мой.

Он перестал бормотать, но все еще сидел под березами, серый на фоне зелени, окруженный птицами, щебечущими над усеянной фиалками могилой.

И два кладбища, одно покрытое деревьями и крестами, другое — голыми камнями на желтых песках, были скованы вместе одним общим небом, словно звеном цепи, высоким и безбрежным.

А...В...С...

В огромном городе огромной Германии, мимо огромного здания, фасад которого в то время отделялся заново, ежедневно проходила Иоанна Липская, не обращая на него ни малейшего внимания. Огромно было это государство, и огромно построенное им здание суда, но что общего могло быть у нее, Липской, с такими громадными величинами? Она знала, что за этими массивными стенами, перерезанными рядами просторных, светлых окон, решаются судьбы тех, кто ведет имущественные тяжбы, нарушает законы или совершает преступления. Имущественного процесса она вести не могла, потому что ничем

не владела; а если бы ей когда-либо пришла в голову мысль, что ее могут обвинить в преступлении, она бы просто расхохоталась. Но такая мысль ей никогда в голову не приходила, и огромное здание суда никогда не привлекало ее особого внимания.

Она была так мала и невзрачна — с ее бедностью, с ее тонкой девичьей фигуркой и безвестным именем. Она всегда носила черное шерстяное платье и черную немодную шляпку без всяких украшений, из-под которой виднелись густые, прекрасные, светлые, как лен, волосы, гладко зачесанные спереди, а сзади собранные в косу, заколотую на затылке. У нее было бледное, утомленное лицо, маленькие розовые губы и громадные серые глаза, напоминающие своей кристальной прозрачностью глаза ребенка. Девушка эта была молода и несомненно красива, но тот, кто разбирается в людях, узнал бы в ней сразу одну из тех девушек, каких много в каждом городе: они никогда не развлекаются и не наряжаются, едят мало, дышат воздухом узких улиц и тесных каморок. Такой образ жизни препятствует расцвету красоты, скрывая ее от людей. Они не имеют возможности заботиться о своей внешности и незаметно увядают, не успев полностью расцвести, словно выросшие в тени цветы, мелкие и неяркие. Часто их затмевает лопух, свободно и пышно разросшийся под солнечными лучами.

Девушка с льняными волосами и нежной девичьей фигурой была бы, пожалуй, даже очень красива, если бы цвет лица ее был более свежим, движения свободнее, одежда изящнее, если бы, наконец, у нее было желание и умение проявлять кокетство и смелость в обращении с людьми. Но было совершенно очевидно, что это желание и умение у нее отсутствовало.

Бледная, со следами раннего увядания, затерянная в уличной толпе, в своем неизменно черном платье, она шла по городским улицам всегда поспешно, всем корпусом подавшись несколько вперед, с головой, чуть склоненной к земле. Своими маленькими стройными ножками в грубой, некрасивой обуви она быстро ступала по неровным плитам тротуара, не заботясь об изяществе движений; теперь ей каждый день приходилось сходить с тротуара, чтобы обойти леса у стены судебного здания.

Только раз она подняла голову и взглянула на людей, работающих высоко на лесах, остановилась на минуту и побежала дальше. Что же общего могло быть между нею и этим огромным зданием, наполненным мрачными отголосками тяжб и преступлений?

Никто, совершенно никто не обратил внимания на то, что с некоторых пор выражение лица ее стало грустным и озабоченным, а подол черного платья был обшит белой тесьмой. Она носила траур по отцу и неотступно думала о том, что ей необходимо найти возможность зарабатывать на жизнь, чтобы не обременять и без того тяжелую жизнь брата. Это была будничная, прозаическая мысль, тем не менее она часто проводила глубокую морщину на ее юном лбу. В то время Иоанне было очень нелегко, и она много размышляла не только о своей судьбе, но и обо всем мире и его устройстве.

Иногда у нее был такой вид, будто она чего-то стыдится, и тогда глаза ее, казалось, покорно говорили:

— Простите мне, что я существую.

Пока жил ее старый отец, она знала, что живет для него, и не ведала тяжелой нужды. Теперь она ходила по земле с неотступной мыслью: «Кому и зачем я могу быть нужна?»

Часто голодная, в худых башмаках, мечтая о куске хлеба или новой паре обуви, она в то же время думала:

— Ведь у бедного Мечека и у самого не всегда есть мясо, да и рубашки его уже изорвались в клочья. А тут я еще сижу у него на шее!

Это была забота будничная, повседневная, облекавшаяся в голову девушки в форму тривиальных слов; когда никто ее не видел, она в отчаянии заламывала свои маленькие руки и обильные слезы текли по ее юным щекам, а дрожащие от обиды губы шептали:

— Кому и зачем я нужна?

Были у нее знакомые и ровесницы, которые, находясь в подобном положении, жили совершенно спокойно, а иногда даже и весело. С жадностью, ловко ловили они маленькие радости жизни, насыщались ими, ждали лучшего будущего и не считались ни с чем; жилось им недурно. Она так не могла. Почему? Быть может, сама природа создала ее несколько иной; может быть, этому

способствовали слышанные ею разговоры, прочитанные книги, образ жизни окружающих ее людей, небольшие знания, полученные ею от отца, который, прежде чем удалиться из этого мира, был удален с должности учителя местной мужской школы. Если б он дольше удержался на службе... О! совсем иначе жилось бы теперь его детям. Но удержаться он не сумел. Почему? В далеком будущем этому будут удивляться, а пока это легко понять каждому. В расцвете сил он услышал, что не имеет права работать так, как хочет и умеет, не должен, следовательно, и пожинать плоды своих трудов. Возможно, и до этого он много перенес и надорвал здоровье. Он сразу уступил и вскоре покинул этот мир. Не выглядит уже из могилы преждевременно поседевшая голова педагога с покрасневшими от работы глазами и густою сетью нестираемых морщин, нанесенных на его лоб не годами, нет — а тем мгновением, когда ему сказали в школе: «Уйдите прочь». Он ушел, а с его исчезновением перед дочерью его встали вопросы: «Что делать: остаться с братом, готовить ему, чинить белье, развлекать чтением книг по вечерам после канцелярской работы в ланд-ратуре?»

Она делала все это охотно, ничем не пренебрегая, но эта его канцелярская работа... Едва одному на пропитание и приличную одежду хватит. Наконец, хотя варка пищи, уборка, чинка белья не были для нее ни трудной, ни унижительной работой, душа ее не могла успокоиться на этом,— она рвалась ввысь все дальше и выше... Несмотря на все эти будничные заботы и трудности, Иоанне присуща была своеобразная гордость и поэзия. Она жаждала деятельности и определенного места в жизни.

Довольно долго билась Иоанна со своими мыслями и планами, пока однажды не вбежала в свою маленькую кухонку заметно взволнованная. В руках она держала корзину с бельем, которое обычно отдавала катать. Несмотря на тяжесть, девушка быстро взбежала по узкой и крутой лесенке и легко поставила корзину на стол. Худенькая и бледная, она обладала, однако, силой, свойственной нервным и деятельным натурам. Поставив носу на стол, Иоанна застыла в неподвижности и задумчивости. Она стояла на полу из грубых досок с торчащи-

ми в них черными головками гвоздей; над нею нависал низкий бревенчатый потолок, черный от пыли и дыма; у стен, оклеенных дешевыми пестрыми обоями, стояли стол и деревянная скамейка, шкафчик с кухонной и столовой посудой, кровать с бедной, но белоснежной постелью. Здесь она спала; соседняя комнатка служила спальней и кабинетом брату,— это была вся их квартира, расположенная в верхнем этаже дома, имевшего такой вид, словно он был построен по проекту пятилетнего архитектора из семи игральных карт, сложенных в два треугольника внизу и один наверху. В этих верхних треугольниках городских домов находятся обычно самые дешевые квартиры, поэтому Липские после смерти отца заняли именно такую. Внизу помещался трактир с лавчонкой, выходившей на улицу, и квартирой семьи трактирщика, откуда узкая дверь вела во двор.

Двор кишел жильцами разного пола и возраста.

Луч заходящего солнца, проникавший через маленькое окно, золотом обдавал голову неподвижно стоявшей девушки и безжалостно освещал тщательно заштопанные дырки на черном ее платье. Руки ее свесились вдоль платья, веки были опущены, на губах блуждала мечтательная улыбка. О чем мечтала она в таком упоении? О танцевальном ли вечере? О новом платье веселого светлого тона? О ласковом словечке, быть может, или пламенном взгляде возлюбленного?

Очнувшись от задумчивости, она подняла голову и громко ударила в ладоши. Это был жест радости. С детской почти веселостью бросилась Иоанна к двери, ведущей в соседнюю комнату, и приоткрыла ее. Однако тотчас же приложила палец к губам и сама себя остановила:

— Тихо!

Потом добавила шопотом:

— Спит или не спит?

В комнате, заставленной множеством недорогой, старомодной мебели, на жестком диване лежал молодой человек среднего роста, поразительно худой, с красивым продолговатым лицом, почти бумажная белизна которого создавала неприятное впечатление болезненности и даже мертвенности, тем более неприятной, что была под-

черкнута темной короткой растительностью и темными стеклами очков.

Некогда Мечислав Липский был здоровым, хотя всегда несколько вялым и робким ребенком, но это длилось недолго. Ему было шестнадцать лет и он окончил пять классов гимназии, когда цвет его лица стал приобретать этот неприятный оттенок бумажной белизны, руки исхудали, движения сделались слабыми, больные глаза пришлось — по совету врача — закрыть, словно старику, темными очками; с той поры он никогда их не снимал. Школу пришлось покинуть; слишком слабый здоровьем, чтобы заняться каким-нибудь ремеслом, он поступил в канцелярию ландратуры. Карьера его была перечеркнута навсегда. Почему? Никто этого не знал. Он просто отступил под давлением чего-то невидимого, однако существующего. Где? В школе? В доме, омраченном отставкой отца? В образе жизни бедной семьи? А может быть, в нравственной атмосфере, которой дышал весь этот город? Ответить на это можно, но не так-то легко.

— Ты спишь, Мечек? Мечек, ты спишь?

Он уже не спал. Услышав голос сестры, бедный канцелярист ландратуры, еще не выспавшийся после тяжелого труда, лениво потягиваясь на диване, бессмысленно протянул в ответ:

— Ну?

— Нашла, Мечек, я уже нашла то, что искала! нашла!

Лениво, равнодушно, но мягко он освободился из ее объятий и протяжным, несколько гнусавым голосом спросил:

— Ну, что там такого? Ты совсем сумасшедшая. Что ты нашла? Деньги, что ли?

Став сразу серьезной, она ответила:

— Работу.

Канцелярист весь выпрямился, снял очки, протер их платочком, опять надел и, глядя на сестру из-за темных стекол своими красноватыми мигающими глазами, спросил:

— Какую? А деньги это дает?

Иоанна стояла в нескольких шагах от него и впервые рассказывала ему о всех своих заботах и волнениях, ко-

торыми до сих пор ей не хотелось напрасно огорчать брата. Недавно она приняла уже было решение поехать куда-либо в качестве домашней учительницы, бонны, экономки... в качестве кого угодно и куда угодно, только бы на что-нибудь пригодиться, взяться за работу.

Но Иоанна колебалась. Она не вполне себе представляла, чем может заняться, потому что училась только дома и очень немного. То, что она знает, знает хорошо, — ведь ее учил сам отец... но недолго... К тому же ей было бы так жаль расстаться с братом! Ведь их только двое на свете, а он часто бывает нездоров и нуждается в ее заботе.

В серых глазах рассказывающей блеснули слезы, но сразу же и исчезли. Сегодня на ее долю выпало большое счастье. Рожновская, хозяйка катка¹, женщина с достатком, знающая положение Иоанны, спросила, не хочет ли она учить ее внучек, двух маленьких девочек, не нуждающихся пока в более опытной учительнице. Конечно, предложение это она с благодарностью приняла. Маленькие Рожновские на уроки будут приходить к ней, так как там под грохот катков невозможно заниматься. Но это только начало. Рожновская обещала рекомендовать ее какой-то своей знакомой, владелице двух домов на той же улице, желающей подготовить своего мальчонку в школу. Мальчик этот дружит с внучками Рожновской и будет вместе с ними приходить на уроки. Но и это только начало. Лишь бы начать!

Большому Костюсю, например, сыну того слесаря, что вечно пьет, и той женщины, что надрывает здоровье стиркой, исполнилось уже двенадцать лет, а читать он еще не умеет и вслед за отцом начинает заглядывать в трактир. Мать в отчаянии, и, если кто-нибудь возьмется учить его и оберегать от дурного влияния, она, хотя и бедная, отблагодарит по своим возможностям. В перспективе имеется еще девочка, дочь каменщика, исправлявшего им в этом году печь и приводившего иногда с собою дочурку. Да и маленькой Маньке, дочери дворника, скоро пора браться за ученье. Детей этих она уже

¹ Заведение с механическими катками для разглаживания белья перед утюжкой.

хорошо знает. Большого Костюся нередко приводила в свою кухонку, окунала в воду его всклоченную голову и так терла ее мылом, как мать мальчика терла белье. Этот смешной Костусь, такой большой, широкоплечий, с огромной головой, ходит ссутулившись, а ступает так тяжело, что даже пол дрожит; озорник, уличный мальчишка, уже водку любит,— однако с Иоанной ласков, словно барашек, позволяет себя мыть, причесывать, наставлять... Она уверена, что этого мальчика можно еще спасти от пагубного влияния улицы и трактира, а что касается маленькой Маньки, то обе они давно уже жить друг без друга не могут.

— Ты, впрочем, сам знаешь, Мечек, что я вообще обожаю детей... Не знаю, почему, но это так. Может, это от отца... Вот! я думала, думала и надумала. Рожновская мне помогла. Но это только начало. С миру по нитке — голому рубашка, а потом... потом...

Она говорила это, все больше и больше воодушевляясь.

Мечислав сидел прямо и неподвижно, напряженно глядя на нее поверх очков. Неподвижны были также черты его худого и сонного лица; трудно было определить, производило ли на него какое-нибудь впечатление то, что она говорила. Лишь глаза его не отрывались от ее оживленного лица, и тонкие пальцы длинных и белых рук, упирившихся в колени, барабанили все чаще по вытертому сукну костюма. Когда Иоанна умолкла, он своим протяжным гнусавым голосом повторил за ней:

— Потом... потом!

А затем, втягивая шею в накрахмаленный воротничок рубашки (каким-то особенным движением, не то озабоченным, не то шутливым), он не без колебания спросил:

— Ну, что ж? Ты такие отдаленные планы строишь, а замуж не думаешь выйти?

Она пожала плечами:

— Сомневаюсь, может ли это когда-нибудь произойти. Ты ведь знаешь, что мы почти ни с кем не знакомы, нигде не бываем... Так как же? Каким образом? Впрочем, может быть... но полагаться на это я не могу.

С шеей, все еще втянутой в воротник, и несколько приподнятой головой брат продолжал смотреть на Иоан-

ну попрежнему, только по его тонким губам, оттененным черными усами, проскальзывало нечто вроде шутливой улыбки.

— Ну...— начал он опять,— а тот доктор?

Теперь Иоанна покраснела и с удивлением взглянула на брата. Как! Он отгадал в ней то, о чем она никому никогда не проронила ни слова! Он, такой равнодушный и сонный, видимо внимательно наблюдал за ней, если неведомо как, разве что по глазам ее, по выражению лица, сумел отгадать...

Впрочем, не о чем было и говорить. Здесь не было никакого романа, не было даже намека на него. А так как-то сердце билось сильнее. Да и как было не забиться юному сердцу. Однако пришлось ему умолкнуть, потому что не было надежды.

Краски сбегали с лица Иоанны, выражение глаз и рта стало особенно серьезным. После минутного молчания она заговорила тише:

— Дорогой мой! ты хорошо знаешь, что это для меня несбыточная мечта... Доктор Адам был очень добр к нам во время столь длительной болезни отца... и скажу тебе откровенно, он кажется мне идеалом человека. Но именно потому, что это так, я уверена, что он не думает обо мне и не будет думать никогда.

Она склонила голову и тихо добавила:

— Только, видишь ли... город наш тесен, люди здесь всё друг о друге знают и вынуждены встречаться время от времени. Так пусть он знает... что я... отлично понимаю всю невозможность этого. Но я хочу, чтобы он знал, что я по крайней мере заслуживаю его уважения.

Она подняла голову и, глядя в окно, устремила взгляд куда-то ввысь, как будто увидела в недосыгаемой дали какую-то воображаемую радугу, озарившую ее серую жизнь. Мечислав вытянул шею из крахмального воротничка и опустил голову. Пальцы его продолжали барабанить по костлявым коленям, рот приоткрылся. Трудно было сказать, грустит ли он, скучает, или хочет спать. Неожиданно он спросил:

— Ну, а сколько тебе будут платить?

Этот вопрос мгновенно вывел Иоанну из мечтательной задумчивости. Со своей радужной высоты она тот-

час же спустилась к обыденным делам, имеющим для нее огромное значение. И снова стала весело объяснять брату, что хотя заработок ее будет невелик, все же это для них ощутимая поддержка. Впрочем, это ведь только начало... С миру по нитке — голому рубаха, а потом... потом...

Мечислав встал. Одеревенелым шагом приблизившись к сестре и обвив ее стан худыми руками, торчащими из потертых рукавов, он несколько раз крепко поцеловал ее в лоб. Она бросилась ему на шею, обрадованная и удивленная. Проявление нежности не было ему свойственно. Только потом, когда, взяв шапку, он отправился в канцелярию, а Иоанна, погрузившись в мысли, сидела одна в кухне, в голове ее промелькнуло:

«Неужели он так взволновался из-за этого ожидаемого заработка? Значит, он ни о чем больше и не подумал, только о деньгах».

Однако в этот вечер печальные мысли быстро покидали ее. В наступающих сумерках снизу из-под пола стали доноситься настойчивые, все усиливающиеся крики, стук и шум. Это было время, когда день клонился ко сну и просыпался, начиная свою жизнь, трактир. Сорвавшись с места, словно ее спугнули отзвуки этой ночной подземной жизни, Иоанна стремительно спустилась во двор и побежала к квартире слесаря-пьяницы и жены его, прачки.

По дороге за ее платье уцепилась маленькая босая девочка; толстощекая, румяная, переваливающаяся, словно уточка, с ноги на ногу, она побежала рядом с Иоанной, и они вместе скрылись за дверью темных сеней. Когда по прошествии довольно продолжительного времени обе они вышли во двор, за ними показался слесарь, человек широкоплечий, с лицом, распухшим от пьянства, слезящимися глазами и огромной растрепанной шевелюрой над низким лбом. Его одежда и вся его внешность говорили о пагубной страсти, но в этот день он не был пьян, только чем-то обрадован и растроган. За порогом своей квартиры, наклонившись и схватив руку Иоанны, он крепко поцеловал ее. В то же время большой Костусь, широкоплечий и грузный, в одежде из грубого холста, бежал, тяжело шлепая по камням босыми нога-

ми, с кувшином, полным воды, к лесенке, ведущей в квартиру Липских. Он давно уже оказывал Иоанне различные мелкие домашние услуги.

Странное дело! На лбу этого двенадцатилетнего мальчика видны уже были морщины, и смотрел он на людей исподлобья, недоверчиво, иногда с хитростью и злобой. Мать, вечно расстроенная и измученная работой, часто бранила его и даже била, отец, боготворивший Костюся, приносил ему из трактира окурки сигар и бранки, от которых разило водкой; источником развлечений, наслаждений и познания жизни был для мальчика трактир.

Однако с недавнего времени в его детском, но уже постаревшем сердце, быть может впервые, расцвело чувство иное, чем обида и боязнь, чувство, не порожденное трактирными впечатлениями и сознанием своей нищеты.

Никогда в жизни не видал он такой прекрасной барышни, какой была в его глазах Иоанна, и не слышал такого ласкового голоса, таких занимательных сказок, как те, что она ему рассказывала, готовя обед или занимаясь починкой белья, в то время как он помогал ей по хозяйству или сидел на полу у стены кухни, обхватив колени руками и глядя на нее уже не исподлобья, а смелым и осмысленным взглядом. С тех пор как Иоанна сказала ему, что он должен хорошо относиться к маленькой Маньке, он никогда больше не бил ее и не пугал; часто можно было видеть, как они с серьезным видом прогуливаются по двору, держась за руки. Часто таким же образом они подымались по лестнице и входили вместе в кухонку Липских.

Каждый день в кухонке теперь бывало очень шумно. Сквозь темную стену верхнего этажа слышны были тоненькие детские голоса, твердящие:

— А... бе... це... А... бе... це...¹

Другие, немного постарше, говорили:

— Пчела хоть и маленькое, но полезное насекомое. У нее четыре крылышка, шесть ножек, рожки и жало...

¹ Польский алфавит начинается с букв а, b, с, (а, бе, це).

Или:

— Пятью шесть тридцать... четыре из десяти... шесть, и т. д.

Большой Костусь оказался особенным любителем чистописания. Больше всего ему нравилось водить пером по бумаге, то с нажимом, то без нажима, а как только он научился выводить буквы, стал положительно любоваться своими шедеврами. Иоанна сама составила для него прописи, преследуя при этом определенную цель. Исписав всю страницу, мальчик брал бумагу обеими руками и, согнув над столом свою широкую спину в холщевой блузе, громко, с триумфом, с подлинным наслаждением прочитывал написанное:

— Не делай другому того, чего себе не желаешь...

— Без труда не выловишь и рыбки из пруда...

— Бедность не порок.

В этот период Иоанна никогда уже не бывала печальной. Даже когда она шла по улицам города, нетрудно было заметить в ее движениях, в выражении лица значительную перемену. Она выглядела бодрее, здоровой и жизнерадостной. Ботинки ее не были уже рваными и платье изношенным. Иоанна расцвела. Заработок ее был очень мал, но известно, что понятие большого и малого в этом мире чрезвычайно относительно. Для нее эта мелочь была почти спасением. От одних она получала немного денег, другие оплачивали чем могли. Прачка безвозмездно стирала им белье; каменщик, владеющий большим садом, приносил им овощи и фрукты; семья булочника, живущая напротив, сверх одного рубля в месяц ежедневно присылала небольшую буханку хлеба; дворник даром колол дрова, а иногда покупал кое-что на рынке и приносил в подарок бырышне, которая была так добра к его малышке.

Как удивилась Иоанна, когда заметила, что даже пьяница слесарь благодарил ее как умел. Всякий раз, когда, возвращаясь из города, она входила во двор, человек этот появлялся неведомо откуда. Густая шевелюра и низкий темный лоб склонялись перед ней, а желтые вздутые губы запечатлевали на ее руке долгий поцелуй. В сущности это был отвратительный поцелуй пьяницы, следы которого она, оставшись одна, как можно быстрее

стирала с руки, но который — блеском алмаза освещал ее сердце.

И как алмазы, радостью сверкали ее глаза, когда она однажды принесла и показала брату полдюжины белоснежных новых рубашек, заменивших те... изорвавшиеся в клочья. В тот же день к своей неизменно черной шляпе она приколола веточку искусственных цветов. Теперь она смотрела на людей смело и спокойно. Был в городе такой человек, со взглядом которого она жаждала встретиться, хотя старалась об этом не думать. Он был очень добр к ее отцу во время его долгой болезни. Она тогда видела его часто, слушала разговоры, которые он любезно вел с ученым педагогом, потом явился на похороны и, когда она, пошатываясь, шла за гробом, вел ее под руку.

И больше ничего между ними не было, но и этого она никогда не забывала. Теперь она встречала его только на улице, издали, когда в изящном одноконном экипаже он объезжал своих пациентов. Заметив ее, он всегда вежливо кланялся. Ничего более. Однако какая-то струна в ее сердце настойчиво продолжала дрожать при каждой встрече с ним и напевать о нем в часы одиночества.

Она сказала себе: невозможно! Но никто, кроме него, не производил на нее и тени впечатления, а порой, в лунную ночь после трудового дня, лежа в постели, она, перед тем как заснуть, сквозь стекла маленького окна смотрела в небо...

То огромное счастье, о котором она не смела мечтать, казалось ей тогда чудесной радугой, распростертой над серой землей. Порой ей казалось, что она лишь маленький червячок, извивающийся у основания высокого, уходящего в небо здания.

«У основания»¹ — выражение это она где-то слышала или вычитала. Вот и она теперь здесь, «у основ». А выше так солнечно, так великолепно. Люди добывают и обрабатывают ценные породы мрамора, снимают с неба солнечные лучи и ищут драгоценности, одевают и мир и себя в сияние. Она вместе с множеством крошеч-

¹ Автор, вероятно, вводит ассоциацию с лозунгом позитивистов, пропагандировавших «работу у основ».

ных, себе подобных существ собирает здесь, в тени, мелкие пылинки и настолько удовлетворена этим, что будущее в ее воображении ясно и полно счастья, и даже с высокой радуги непознанного и никогда не высказанного чувства не упала на ее уста ни единая капля горечи, только приходит иногда легкая грусть и тоска...

Часто поздним вечером непристойные песенки, омерзительные голоса, нестройный топот и другие трактирные шумы врывались снизу, из-под пола, в темную или освещенную луной кухонку. И этот дикий гомон нависал над белой постелью, над мыслями, мечтаньями и детски чистым, спокойным сном Иоанны.

* * *

Несмотря на то, что у нее было много маленьких учеников, Иоанна не переставала заботливо вести свое небольшое хозяйство. Поэтому ежедневно, иногда по два раза в день, отправлялась она в город за провизией и другими покупками. И тогда ей чаще всего случалось проходить мимо огромного здания суда, но она никогда не обращала на него ни малейшего внимания. Здание было так огромно, а она была так мала! Внутри его наполняли отголоски тяжб и преступлений. Что же общего с ним могла она иметь? И все же — трудно определить, как это произошло — однажды она вошла в один из мрачных залов этого здания, и ей тотчас же указали место, которое должно ей было занять. Это была скамья подсудимых.

Иоанна никогда потом не могла себе представить, каким образом она пробилась сквозь толпу и добралась до этого места. Ей тогда казалось, что вся кровь прилила к ее голове и жгла словно раскаленным железом щеки и лоб. Люди, стены, вещи туманились и расплылись перед ее глазами так, что вокруг себя она видела только какую-то пеструю мелькающую массу.

Когда она разглядела, наконец, что у массы этой несколько сот человеческих глаз, смотрящих на нее с напряженным любопытством, она испытала такое чувство, как если бы, сорвав с нее одежды, поставили ее вдруг посреди городской площади.

Страстно захотелось вскочить и убежать, но какое-то смутное чувство говорило о невозможности этого. Те, что в это мгновение смотрели на нее, видели худенькую, хрупкую девушку, в черном скромном платье, испуганную и покрасневшую до корней волос.

Это был самый большой зал огромного здания. Высокий словно храм, он выглядел величественно: впечатление торжественности производили ковры и сукно, покрывающее длинный стол, за которым восседали судьи. Толпа людей разных сословий заполняла ряды скамей. Четыре огромных, высоко расположенных окна бросали утомительно-однообразный свет на белые стены, на строгие фигуры судей, на пеструю, беспокойную, глухо шумящую толпу, заполнившую половину зала.

То тут, то там вспыхивал яркий цветок на женской шляпе, эхом отзывалось у потолка каждое громко произнесенное слово.

Вдруг судейский чиновник отчетливо произнес несколько слов, и в наступившей тишине прозвучал голос председателя суда:

— Дело Иоанны Липской, обвиняемой в содержании школы без разрешения властей.

От этих слов Иоанна пришла в себя. Она встала и на несколько вопросов председателя ответила негромко, но внятно. Потом снова села. Огненный румянец исчез с ее лица, уступив место обычной бледности. Вместе с тем видно было, что ее стала одолевать тоска, такая назойливая и непреодолимая, что взгляд и слух Иоанны отрывались от разыгрывающейся перед нею и так близко касающейся ее сцены. В ее широко раскрытых глазах застыло изумление. Иоанна подняла их вверх к лепным карнизам противоположной стены; время от времени она делала такие движения головой, словно всем своим существом пыталась понять что-то очень странное и — никак не могла. Трудно было с уверенностью сказать, прислушивалась ли она к показаниям свидетелей. Однако показания эти произносились громко и были длинными.

Полная седая Рожновская в старомодной мантилье и с плоским красным цветком на шляпе, вытирая платком потное большое добродушное лицо, несколько раз

повторяла, что главной виновницей является она сама. Совесть ей не позволяет говорить иначе. Она принесла присягу, что будет говорить правду, и действительно говорит ее — она первая подала Липской мысль о школе. Девушка, бедная сирота, нуждалась в работе. А у нее, Рожновской, внучки. Знай она, что в этом есть что-то дурное, она, конечно, не посоветовала бы этого девушке, но она клянется Христом-богом, что ей и в голову не приходило, будто она советует дурное. У нее — вот — седые волосы, вся ее жизнь протекла в этом городе, и пусть все подтвердят, уговаривала ли она хоть кого-нибудь поступать нечестно. Захлебываясь от слез, свидетельница стала повторять, что это она — именно она — уговаривала Иоанну... даже упрасивала... Ей не дали кончить и знаком предложили сесть.

Приятельница хозяйки катка, владелица двух домиков, маленькая, сухонькая женщина, блистающая в этом обществе кашемировым платьем и изысканными манерами, заявила приглушенным голосом, но с заискивающей улыбкой, что книжки, лежащие на судейском столе в качестве вещественного доказательства, действительно куплены ею и подарены Липской, так хорошо подготовившей ее сына в первый класс, что, будь он постарше, его бы, может, и во второй приняли. Очень добросовестно учила, очень добросовестно... так добросовестно, что она сочла своим долгом увеличить ей плату. Если бы она знала, что в этом есть что-то дурное, ни за что не стала бы этого делать, но, честное слово, она не знала. Что ж? У кого есть ребенок, тот должен заботиться об его образовании, а тут под боком честная, добросовестная учительница и дешевле других, потому что — бедная сирота... Сказавши это и проделав перед судьями изящный и преисполненный почтения книксен, продолжая любезно улыбаться, но со слегка дрожащими губами и веками, сухонькая женщина села возле Рожновской.

От допрашиваемой вслед за ними прачки, жены пьяницы слесаря, мало что можно было узнать: в грубой короткой юбке и большом платке, накинутом на голову, с лицом, изнуренным заботами и горем, она была так растеряна и испугана, что, кроме нескольких невнятных, едва уловимых слов, ничего сказать не могла. Плечи

ее вздрагивали, из глаз, изъеденных горячим паром и жаром утюгов, градом катились крупные слезы и падали на загрубелые, обожженные, скрещенные на груди руки. Из всего, что она говорила, можно было уловить только следующее: двенадцатилетний сын, отец пьяница, трактир в том же доме, учение, добрая барышня... Ей скоро велели сесть, а ее место занял каменщик... Этот говорил и за себя, и за свою предшественницу, много, быстро и так громко, что ему несколько раз предлагали понизить голос, чему он тотчас же подчинялся, но вскоре, теребя жилистой и сильной рукой латунную цепочку от часов или ероша копну жестких волос на голове, снова увлекался и доказывал громче, чем следовало, что если за учение своей дочери он платил барышне картошкой и зеленью, так, видно, для него было уж очень важно, чтобы дочка чему-нибудь научилась. А отдать ее в школу для него слишком дорого. Что ж ему делать, и в чем он виноват? Или хотя бы эта барышня: в чем она провинилась?

Задав этот вопрос, он так развел руками и так вытаращил глаза, будто вот здесь, у него на глазах, весь мир перевернулся вверх дном, а он никак не возьмет в толк, отчего это, собственно, произошло. После каменщика давали еще показания: булочник, дворник, какой-то извозчик и вдова чиновника, наконец, и дольше всех, тот, кто сделал открытие, что в верхнем этаже домика, нижний этаж которого был занят под трактир, группу маленьких детей учили, что вот, мол, у пчелы четыре крылышка, шесть ножек, рожки и жало, что четыре из десяти—шесть, что не надо делать другому того, что нам самим неприятно, и т. д.

Когда умолк голос последнего из свидетелей и в зале на минуту воцарилась тишина, Иоанна медленно перевела взгляд вниз на толпу, заполняющую половину зала. Все сидели молча и внимательно следили за ходом процесса. Над пестрой и неподвижной в эту минуту толпой возвышался человек, не сидевший, а стоявший. Чтобы лучше видеть все происходящее, он поместился позади скамей, на каком-то небольшом возвышении, так крепко прижавшись спиной к стене, словно прирос к ней. Во взгляде Иоанны появился испуг. Это был ее брат. Но

какой у него был вид! Свои худые руки в потертых рукавах он скрестил и крепко прижал к груди, на бумажной белизне его щек проступили красные пятна. Он дышал учащенно; рот его был полуоткрыт, что, впрочем, случалось с ним часто, но в данный момент эта характерная черта лица Мечислава не придавала ему тупого и безжизненного выражения, а свидетельствовала о невыразимом страдании. С напряженным вниманием слушал он краткое, но энергичное обвинение, предъявленное императорским прокурором, и сбивчивый испуганный лепет защитника. Потом председатель суда обратился к Иоанне и, объявив, что она имеет право на последнее слово, спросил, может ли она сказать что-либо в свое оправдание.

У высокого тяжелого барьера, отделяющего скамью подсудимых, вновь поднялась хрупкая светловолосая, одетая в черное девушка. Веки у нее были опущены; она казалась спокойной, и только тихий ее голос слегка дрожал.

— Я учила детей и думала, что поступаю хорошо.

В этот момент лицо ее внезапно преобразилось, будто ею овладело какое-то нахлынувшее чувство. Она подняла голову, глаза ее сверкнули, по губам прошла дрожь, и, исправляя свою последнюю фразу, она громко, решительно произнесла:

— Я думала и думаю, что поступала хорошо.

Она, безусловно, была виновна. Странно, однако, что председатель суда не сразу поднялся, чтобы удалиться с товарищами в совещательную комнату, а продолжал сидеть, не сводя глаз с обвиняемой. С каким выражением смотрел он на нее? Этого, вследствие расстояния, никто из публики заметить не мог. Смотрели на нее и его товарищи, один из которых крепко сдвинул брови. Это продолжалось очень недолго, минуту, самое большее две, потом они встали и удалились. И долго не возвращались. Дело было просто и ясно. Почему же они совещались так долго?

Судейский чиновник объявил громовым голосом, что суд идет.

Все встали; раздавшийся при этом шум был подобен шелесту деревьев. Председатель с членами суда остано-

вился у покрытого сукном стола и начал читать приговор. Заметно было, что он читал его несколько более тихим голосом, чем говорил раньше. Иоанна Липская была приговорена к денежному штрафу в 200 талеров, а в случае неуплаты — к трем месяцам тюремного заключения.

Судебное заседание кончилось, публика покидала зал. То тут, то там юристы шептались между собой, что девушка повезло, очень повезло, она дешево отделалась.

Однако дешево и дорого понятия весьма относительные. Так, вероятно, думал Мечислав Липский, который, услышав приговор, не сделал ни единого движения и стоял попрежнему у стены, прижимая к груди скрещенные руки. Какой-то чиновник с жиденьким золотым шитьем на воротнике проходил мимо и, будучи, видимо, знаком с ним, остановился и заговорил с любезной улыбкой:

— Ну, что же, пан Липский? Все это удачно кончилось. Но как же дальше? Штраф или тюрьма? Завтра утром я сам к вам зайду. Но лучше заплатите... Двести талеров — дело небольшое, а паненку жаль...

И побежал дальше.

В ту же минуту Мечислав рванулся от стены и бросился к выходу. Несколько сослуживцев пытались остановить его и поговорить о чем-то, быть может дать совет... Но глаза Липского так горели, что даже сквозь темные очки виден был их блеск, а острые локти расталкивали всех и все вокруг. Так он достиг длинной и светлой галлерей с рядом огромных светлых окон, по которой двигалась публика, медленно растекаясь внизу на лестнице. Тут он оглянулся и в одной из оконных ниш увидел Иоанну, стоявшую там, быть может в ожидании его, а может, не имевшую сил или мужества пробиваться сквозь толпу. В этот момент она провожала взглядом группу людей, находившихся уже на противоположном конце галлерей. Это были две женщины и мужчина, хорошо известный в этом городе, интересный, популярный среди пациенток, всеобщий любимец, доктор Адам. Как и многие другие, он пришел сюда послушать интересное судебное дело, и нетрудно было заметить, что, уходя, он был грустен и, видимо, растроган. Однако когда одна из его спутниц, высокая, нарядно одетая барышня, улыбаясь, заговорила с ним, он тоже улыбнулся и, подходя к

лестнице, поспешил взять ее под руку. Иоанна почувствовала в эту минуту, что кто-то схватил ее за руку, и увидела Мечислава, который, нагнувшись к ней, быстро и тихо проговорил:

— Иди домой, одна. Я сейчас не могу проводить тебя. У меня в городе срочные дела. Вернусь через несколько часов. Иди домой одна.

Он вглядывался в нее все еще горящими глазами и, крепко сжимая ее руку, добавил:

— Не бойся... только не бойся!

* * *

Спустя несколько часов Мечислав Липский усталым шагом поднимался по лестнице, ведущей в их квартиру; он медленно прошел через кухню и с громким вздохом сел в соседней комнате на жесткий старомодный диван. Он, видимо, был очень утомлен, лицо его вновь приобрело свой обычный бумажно-белый цвет.

Задумчиво, озабоченно потирал он своей длинной белой рукой изборожденный морщинами лоб и не был вовсе удивлен, не застав Иоанну в кухне: Она была, вероятно, во дворе у прачки, а может быть, и добрая Рожновская взяла ее к себе на этот день.

Но Иоанна была здесь, на кухне. Она сидела в темном уголку, скрытая высокой спинкой кровати. Увидев вошедшего брата, она не вскочила, как прежде, чтобы поздороваться с ним и спросить, не надо ли ему чего-нибудь. Может, она не сразу очнулась от задумчивости или чувствовала некоторую досаду — ведь он так долго не возвращался. Однако через несколько минут она встала и медленно, бесшумно вошла в соседнюю комнату.

— Ты здесь, значит? Где же ты была? — спросил Мечислав.

— Я была дома, но ты меня не заметил. Рожновская присылала за мной, приглашая посидеть у нее до вечера, но мне не хотелось. Я думала, что ты скоро придешь... а ты возвратился так поздно.

— Ага, поздно, — согласился канцелярист.

Это равнодушие брата к ее судьбе больно кольнуло

Иоанну. Она стояла в нескольких шагах от него, на осунувшемся ее лице светились глубоко запавшие глаза.

— Я думала, ты захочешь поговорить со мной в последний день.. перед разлукой.

— Какой последний день? Какая разлука? — буркнул брат.

— Неужели ты уже позабыл, что завтра меня отведут в тюрьму?

По лицу ее пробежала нервная дрожь. Но она продолжала:

— Три месяца — это долгий срок... да и потом я, скорей всего, не вернусь к тебе после этого, — поступлю куда-нибудь на работу. Так надо подумать о твоём хозяйстве. Вечером я составлю точный список белья и одежды, чтобы ты знал, что у тебя есть, и не давал себя обкрадывать. Я договорюсь с матерью Костюся, чтобы она приходила каждое утро убирать твою квартиру и ставить самовар. Обедать дома тебе уже не придется, кто тебе теперь будет готовить? Но я зайду на минутку к Рожновской и узнаю, не согласится ли она давать тебе обеды за плату. Это была бы более здоровая пища, чем в столовой. Помни также, когда садишься вечером писать, аккуратнее зажигай лампу, а то у тебя привычка так как-то делать, что комната наполняется копотью и чадом. А это очень вредно для твоих глаз. В чуланчике возле кухни есть немного масла, крупы и муки, а в погребе порядочно картофеля и других овощей... Ты хорошо сделаешь, отдав все это Рожновской, если будешь у нее столоваться. Все же это сэкономит тебе хоть немного денег.

Пока она говорила, Мечислав смотрел на нее каким-то странным взглядом. В его утомленных и больных глазах было столько радости и вместе с тем скорби, что трудно было понять, разразится ли он смехом или слезами. Когда Иоанна умолкла, он спросил:

— Ты кончила?

— Да, — ответила она, — впрочем, за сегодняшний вечер и завтрашнее утро я, может быть, успею еще что-нибудь вспомнить...

Не спуская с нее глаз, он несколько секунд качал головой, словно удивлялся чему-то или сожалел о чем-то. Потом своим протяжным, усталым голосом стал говорить:

— И ты серьезно могла подумать, что я позволю, чтобы ты шла в тюрьму и три месяца просидела с ворами и надшими женщинами, в грязи и сырости...

Теперь в свою очередь удивилась Иоанна:

— Как же иначе? Судебный приговор... окончательный...

— Разве ты не слышала? Двести талеров штрафа или тюрьма... Двести талеров! ясно: двести! Разве ты не слышала?

Она улыбнулась и пожала плечами.

— Да. Но это не меняет дела. Мне не достать такой суммы, как не достать звезд с неба; я и не думаю об этом.

— Ага, не думаешь,—крикнул канцелярист и, вскочив с дивана, выпрямил свою худую и высокую фигуру и широко развел длинными костлявыми руками, что придавало ему некоторое сходство с ветряной мельницей. Стоя в такой позе и размахивая руками, словно мельничными крыльями, он восклицал:

— Не видать им тебя, как своих ушей! Я плюю на деньги, когда дело касается чести, а может быть, и жизни моей сестры! Шутка ли! Три месяца в сырых стенах! Мы тоже не лыком шиты! Ты дочь учителя, девушка благовоспитанная и нежная. Если мы обеднели, это еще не значит, что мы должны таскаться по тюрьмам. Ха-ха-ха!

Иоанна широко открыла глаза.

— Господь с тобой, Мечек! Что ты болтаешь? Где тебе взять столько денег! Это немыслимо!

Мечислав остановился и ударил по столу кулаком:

— А вот и взял! А вот и достал! Теперь ты убедишься, что я вовсе уж не такой растяпа, как это кажется, и ты не так одинока на свете!

Она порывисто бросилась к нему и крепко сжала его руки: неожиданная надежда на освобождение от того, что ее ждало и перед чем она в тайниках души трепетала, радость, вызванная проявлением братского чувства, отразились на ее лице.

— Откуда ты взял эти деньги, Мечек? Каким образом? Родной мой, что ты сделал?

Он попытался освободить свои руки, но она сжимала их все крепче.

— Откуда я взял? Уж, конечно, не украл. Взял взаймы, только и всего.

Иоанна вздрогнула всем телом.

— Взаймы?! — воскликнула она. — Но это же тебя окончательно погубит! Как же ты сможешь возратить такую большую сумму? Разве только живя на хлебе и воде! А у кого ты занял? Среди наших знакомых нет богачей. Уж Рожновская бы первая не отказала, но у нее самой нет. И ни у кого из этих бедных людей нет таких денег. Так кто ж тебе их дал? Кто? Скажи мне. Кто?!

И она до тех пор осаждала его своими настойчивыми, упорными вопросами, до тех пор не сводила с него своих горящих и встревоженных глаз, пока он, нехотя и почти сердито, не назвал фамилию одного из самых известных в городе ростовщиков.

Иоанна громко всплеснула руками и спрятала в них лицо.

— О боже, — промолвила она, — боже!

В течение нескольких минут она не в состоянии была произнести ничего более. Бедный брат: жизнь его и так исковеркана из-за нее, а теперь он еще попадет в кабалу к ростовщику, погрузится в пропасть долгов, забот, нищеты... Она отняла руки от лица и, обнимая брата, стала умолять, чтобы он разрешил ей идти в тюрьму. Она уверяла его, что здорова, сильна, молода и может все перенести, что справедливость требует, чтобы она понесла наказание за свои поступки, что этот долг принесет ей больше волнений и мук, чем три месяца... там. А когда он продолжал отрицательно качать головой и, растроганный, но с большой твердостью повторял: «нет, Иоася, нет! я не могу согласиться на это», — она опустилась на колени и, обхватив его ноги, стала бурно умолять. Поток ее слов переходил в страстные выкрики:

— Мечек! дорогой! Позволь, позволь мне пойти туда, а деньги отнеси обратно тому, у кого ты их взял. Сейчас же, сейчас же отнеси! Позволь мне, братец, золотой мой, позволь мне пойти туда.

Слезы градом катились из ее глаз. Длинная светлая коса спустилась с ее головы, расплелась, растрепалась и золотой волной рассыпалась по грубой обуви канцеля-

риста. А он, быстро наклонившись, поднял ее с колен и крепко прижал к груди своими длинными костлявыми руками.

— Это невозможно, дорогая моя. Я не могу отдать этих денег. Они уже у того чиновника, который должен был притти завтра утром, чтобы увести тебя в тюрьму,— а теперь ему и приходить-то незачем! Ха-ха-ха-ха!

Он смеялся несколько придурковато, чуть нервно, со смешанным чувством торжества и горечи. Она всхлипывала на его груди глубоко и тихо. Свершилось! Значит, он не возвращался несколько часов домой, оттого что был занят поисками денег, а затем отнес их, куда следовало. Беспредельная благодарность, радость освобождения, жалость к брату и беспокойство о его будущем глубоко взволновали девушку, потрясенную впечатлениями этого дня.

Она прижалась губами к его руке и тихо произнесла: — Так пусть же будет по-твоему.

Усталый Мечислав прилег на диван, около стола, заваленного канцелярскими бумагами. Иоанна вернулась в кухню и принялась ставить самовар. Наполнив его водой, она на мгновение застыла в неподвижности с кувшином в руке. Потом, с видимым усилием заставив себя взять углей из печки и бросить их в самоварную трубу, снова опустила руки вдоль платья и, прямая, неподвижная, остановившимся взглядом всматривалась в шкафчик у стены. Предмет этот, видимо, напомнил ей о чем-то, так как она приблизилась и стала вынимать стаканы и ложечки. Но ложка выпала у нее из рук, она же, вместо того чтобы ее поднять, схватила нож и булку. Двигалась она то быстро и порывисто, то останавливалась в раздумье. И вдруг, закрыв лицо руками и прижавшись лбом к дверце шкафа, разразилась бурными, долго сдерживаемыми рыданиями. Что ей теперь делать? Какое будущее ее ожидает? Ох! Как тягостна и беспросветна будет теперь ее жизнь. Разорение! Иоанна подавила рыдания, боясь, чтобы ее не было слышно в соседней комнате. Но делать ничего не могла; буквально не могла. Ей оставалось только думать, думать, думать и растравлять думами сердце. Сев на скамейку под окном, она погрузилась в раздумье. Ее неживой взгляд скользил по

окну, не замечая ничего, кроме нескольких отвратительных черных крыш и полосы неба, застилаемого густым дымом, валившим из труб. Этот пейзаж не мог ни развлечь ее, ни утешить, и лицо Иоанны все более мрачнело. Слезы иссякли, а ее всегда бледное лицо приобрело какой-то неприятный желтый оттенок. По бесцветным губам впервые проскользнула злая усмешка.

Вдруг кухонная дверь скрипнула: появился большой Костусь в одежде из грубого холста, босой, грузный, сгорбленный; он вел за руку маленькую толстошекую Маньку, быстро перебирающую босыми ножками, выглядывающими из-под полинявшего платья. Не прошло и несколько секунд, как мальчик, пугливо поглядывая из-под насупленных бровей, опустился перед Иоанной на пол, а девочка, взмахнув ручонками и тихо смеясь, вскочила к ней на колени. У ног Иоанны лежали ветки цветущей черемухи, которые сын слесаря нарвал, вероятно, в чужом саду и теперь молча положил перед ней. Кухонка наполнилась сильным ароматом снежно белых весенних цветов. А Костусь, продолжая поглядывать на Иоанну исподлобья взглядом привязанного и пугливого зверька, вынул из-за пазухи толстую тетрадь и, раскрыв ее, стал медленно читать:

— Лень мать всех по-ро-ков. Кто рано вста-ет, тому бог по-да-ет.

А маленькая Манька тоже вынула из-под платья старый букварь, испачканный и измятый, и, раскрыв его на той странице, где была азбука, начала:

— А... бе... це...

Иоанна тихо засмеялась и поцеловала мальчика в темный, нахмуренный от напряжения лоб, а девочку чмокнула в крепкую румяную щечку. Дети очень обрадовались этому. Возник небольшой шум. Из соседней комнаты послышался заспанный голос:

— Кто там, Иоася? С кем ты разговариваешь?

Лицо Иоанны вспыхнуло темным румянцем. Отвернувшись к окну, она ответила:

— Дети.

— Дети? — крикнул Мечислав и тут же появился на пороге. На его лице снова выступили багровые пятна и глаза загорелись гневом. Собственно говоря, гнев его

был вызван испугом, который ясно был виден на лице канцеляриста, в его позе и всех движениях.

— Опять дети! — повторил он сердитым тоном, — что же, мне окончательно пропадать из-за этих противных ребятишек? Разве мало было горя? Может, мне и службу и последний кусок хлеба терять из-за них?!

Он возбужденно жестикулировал и топал ногой. Страх придал его голосу неожиданную силу. Он резко, почти крича, сказал:

— Прочь отсюда, мелюзга! Чтоб ноги вашей с нынешнего дня здесь не было; если я еще раз увижу кого-либо из вас, разотру в порошок. Вон, вон отсюда!

Мальчик и девочка исчезли мгновенно.

Иоанна зажгла лампу, налила чаю, отнесла его, вместе с нарезанным на тарелке хлебом, брату. Тот уже сидел за столом и усердно строчил при свете лампы. Он ежедневно проводил за перепиской бумаг долгие часы и в канцелярии и дома. Поставив на стол стакан и тарелку, она нагнулась и поцеловала склоненную голову брата. О! у нее не было ни малейшей обиды на него. Он вправе был так поступить: ведь он был напуган, она прекрасно понимала это. Но все же чувствовала, что ей необходимо что-то предпринять. И как можно скорее!

Иоанна опять уселась и стала метить носовые платки Мечислава.

Черемуха, принесенная большим Костусем, наполняла кухню одуряющим ароматом; самовар, стоящий около печки, шумел и выпускал клубы пара; снизу из-под пола доносился глухой шум, прерываемый иногда то стуком перевернутого стула, то бранным или разгульным окриком. Трактир начинал свою ночную подземную жизнь.

Но что это зашуршало там за высокой спинкой кровати и стало выползать из темноты, пригнувшись к полу, такое беспомощное?.. Зверек? Ребенок? Чьи-то ручки упирались в пол... Какие-то светлые волосы бледным золотом отразились на фоне грязной стены, чья-то пара глаз блеснула чистой лазурью... Это был ребенок, тихонько пробиравшийся на четвереньках и вдруг с взрывом смеха вскочивший на колени застывшей в своем горе девушки.

Большой Костусь убежал, а маленькая Манька толь-

ко спряталась за кроватью и ждала, пока «пан» перестанет сердиться и кричать. Она здесь и сегодня будет ночевать, как ночевала уже не раз; а теперь ей хочется немножко почитать по букварю, показать, что она уже знает... Все, от «а» до «п», а дальше от «щ» еще не умеет, но «вчера» научится...

Она, верно, хотела сказать «завтра», а сказала «вчера», но это ничего! Иоанна снова стала ее целовать и спросила, знают ли родители, что она собирается здесь ночевать?

Из соседней комнаты донесся вопрос:

— Кто там опять? С кем ты разговариваешь, Иоася?

Негромко и в большом смущении Иоанна ответила брату:

— Это Манька... сказать ей, чтоб уходила прочь?

В соседней комнате с минуту длилось напряженное молчание, затем прежний мужской голос проговорил:

— Дай ей чаю.

Внизу, под полом, снова раздался громкий стук и поднялся нестройный шум. Может, какой-нибудь пьяница упал и ударился головой об угол скамьи? Может быть, человек поднял на человека кулак и свалил его на пол, покрытый мусором, залитый водкой? Может, этот стук и крик были лишь проявлением бесшабашного веселья?

Над шумом трактира, в кухонке, освещаемой маленькой лампой и наполненной ароматом черемухи, бледная девушка с усталым лицом и заплаканными глазами держала на коленях босого, толстощекого, смеющегося ребенка. Из-под короткого полинявшего платица толстая красная ручка ребенка снова достала маленький, грязный, измятый букварь, и серебристый голосок зазвонел долгим лукавым смехом.

Из соседней комнаты раздалось протяжное:

— Ти-и-и-хо!

— Ти-и-и-хо! — повторила склонившаяся над ребенком Иоанна.

Малютка, глуша серебристую звонкость своего голоса и ударяя толстым, коротеньким пальчиком по очереди по каждой букве, тихонько, почти шопотом, читала:

— А... б... ц...

Болеслав Пурс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СО СТАСЕМ

Ж И Л Е Т

МИХАЛКО



БОЛЕСЛАВ ПРУС

Болеслав Прус (1847—1912), самый выдающийся представитель польского позитивизма, глава польской реалистической прозы, родился в городе Грубешове, Люблинского воеводства, в семье мелко служащего. Настоящая фамилия писателя Александр Гловацкий. Рано потеряв родителей, Прус воспитывался у своих родственников и учился в гимназии в Седлеце. Шестнадцатилетним юношей он принимает участие в восстании 1863 года и подвергается за это аресту. После окончания гимназии в Люблине поступает в Варшавский университет на физико-математический факультет, но в связи с тяжелыми материальными условиями прерывает учебу, дает уроки, работает фотографом, рабочим на механическом заводе.

Литературную деятельность начинает во второй половине семидесятых годов на страницах позитивистского журнала «Еженедельное обозрение», а затем и в ряде других журналов и газет, где печатает свои новеллы, фельетоны и публицистические статьи. Сразу выступает как последовательный защитник и теоретик позитивизма, выдвигающего лозунг «органического труда», вместо прежних романтических лозунгов. Наиболее полное выражение теория позитивизма нашла именно в новеллах, повестях и романах Пруса.

Одним из более известных произведений является повесть «Форпост», в которой писатель противопоставляет трудовое крестьянство прожигающим жизнь помещикам, утверждая, что именно крестьянство является форпостом народа. Крупнейший роман писателя «Кукла» посвящен развитию польского капитализма. В этом романе Прус нарисовал целую галерею типов, представляющих все слои польского общества. Роман «Эмансипантки» посвящен вопросу женского воспитания, а «Фараон» — истории древнего Египта.

К концу своей литературной деятельности Болеслав Прус теряет связь с жизнью народа, скатывается на реакционные позиции и в дни революции 1905 года публикует повесть «Дети», являющуюся откровенным контрреволюционным памфлетом.



ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СО СТАСЕМ

Герой моего рассказа — личность около 30 фунтов весу и чуть повыше локтя ростом, а совершает она свой жизненный путь всего полтора года. Эту разновидность населения взрослые люди называют детьми и, вообще говоря, относятся к ней недостаточно серьезно.

Поэтому, представляя читателям маленького Стася, я испытываю некоторые опасения и прежде всего взываю к их терпению. Дитя это настолько красивое и чистенькое, что его могла бы расцеловать любая дама, носящая перчатки на четырех пуговках. У него льняные волосики, большие синие глаза, холщевая рубашонка и ровно столько зубов, сколько необходимо ребенку в его возрасте. Кроме того, у него имеется колыбелька, расписанная черными и зелеными цветами по желтому полю, а также колясочка с тем единственным недостатком, что каждое ее колесо как будто катится в свою сторону.

Я был бы безутешен, если бы вышеупомянутые достоинства не завоевали симпатий Стасю, у которого, к несчастью, помимо них, нет ни одной необыкновенной черты. Стась не подкидыш, а законнорожденный ребенок, он не проявляет ни малейших способностей ни к воровству, ни к игре на каком-либо инструменте, и — что хуже — даже тень придурковатости не дает ему права претендовать на принадлежность к знатному роду.

И все же это незаурядный ребенок; так по крайней мере утверждают отец его, Юзеф Шарак, по профессии кузнец, мать его, Малгожата, в девичестве Ставинская, и его дед, мельник Ставинский, не считая кумовьев, приятелей и других весьма почтенных лиц, имевших возможность утратить обычное свое хладнокровие, участвуя в церемонии святого крещения.

Само рождение Стася явилось следствием неправдоподобного стечения обстоятельств. Ибо прежде всего господь бог должен был сотворить два семейства: кузнецов Шараков и мельников Ставинских; во-вторых, сделать так, чтобы в одном из них был сын, а в другом дочь; в-третьих, сломать в мельнице какую-то железную часть и для починки ее привести молодого Шарака именно в ту пору, когда сердце Малгоси распустилось, как цветок водяной лилии на пруду ее отца. «Поистине чудо!..» — как справедливо замечала старая Гжыбина, делившая свой досуг между заговариванием болезней и нищенством, то есть двумя специальностями, позволяющими деревенским старухам знать толк в чудесах.

По единодушному мнению многоопытных женщин, Стась «пошел» в мать, а потому мы осмеливаемся в первую очередь несколько слов посвятить ей. Это тем более необходимо, что кузнечихе предстоит сыграть роль героини в событии, которое (мы с грустью признаем это!) не будет ни уголовным преступлением, ни романом, взывающим к небу о мщении.

У плотины, проезжей разве только в зимнее время года, возле большого пруда, в который сквозь чашу водорослей гляделась ольховая роща, стояла мельница. То было старое почерневшее строение, с мелкими стеклышками в окнах; в правой его части вращались два огром-

ных колеса, благодаря которым оно тряслось и клокотало уже лет тридцать, накручивая немалые деньги своему владельцу, Ставинскому.

У мельника были сын и дочь, уже известная нам Малгося. Сына он послал в люди учиться, как делать муку самого тонкого помола, а дочь держал при себе. Недостатка она не знала ни в чем: ни на девичьи тряпки, ни на домашнее устройство отец не жалел денег. Недоставало ей только ласки.

Старик был не злой человек, но суровый в обращении; целиком погруженный в дела, разговаривал он редко и резко. То ему нужно было присмотреть за батраками, чтоб не воровали у людей зерно, то позаботиться, чтоб ни у кого не забыли отсыпать десятую долю отрубей для боровков, хрюкающих под полом мельницы, то исчислял проценты на одолженные деньги, одни суммы получал, другие отдавал в рост...

В этих условиях Малгосе оставалось жить только природой и любить свою мельницу... Днем — работала ли она в огороде, кормила ли кур и больших, жирных уток, или ласково гладила коров, которые сбегались на ее зов, как собаки — мельница гроыхала и гудела торжественные, доселе неслыханные мелодии. В рокоте ее слышались все инструменты: скрипки, барабаны, орган; но то, что они играли, не мог бы повторить ни один оркестр, ни один органист.

Природа представлялась Малгосе огромным озером; гладь его простиралась до самого неба, а каплями были: деревушки, разбросанные среди полей, ольховая роща, луг, мельница, грушевые деревца на межах, цветы в ее саду, птицы и она сама... Порой, глядя на облака, которые выходили из-за черного частокола лесов и, посмотревшись в пруд, убегали за зубцы холмов, слушая шум ветра, который рябил воду и хлеба в полях, или стоны тростника, колышущегося на болоте, Малгося задавалась вопросом: не было ли и ее существование лишь отражением всего, что она видела и слышала вокруг, как изображения вот этих деревьев и неба, которые отражались в водах пруда?.. и вдруг, без всякого повода, слезы наворачивались у нее на глаза. Она потягивалась, словно ждала, что из плеч у нее вырастут крылья и унесут ее в

облака, и пела на незнакомый мотив слова, которых не было ни в одной народной песне. Тогда отец выходил из мельницы и угрюмо брюзжал:

— Ты что это, девка, распелась?.. Помолчала бы лучше, а то люди засмеют!..

Малгося сконфуженно замолкала, зато приятельница ее, мельница, повторяла каждое ее слово, каждую нотку, но только еще складней, еще красивей. Так можно ли было ее не любить, хоть и похожа она была на невиданное чудище с страшной головой, насаженной на множество ног, и хоть из пасти ее извергались пыль и жар, а выла она и тряслась так, словно хотела огромными своими колесами сокрушить вдребезги всех, кто проезжал по плотине?

По праздникам мельница затихала. Лишь заржавевшие флюгера на крыше жалобно скрипели, а у шлюзов журчали тонкие струйки воды, с плачем падая на осклизлые колеса. Летом, если вечер был теплый, Малгося садилась в челн и уплывала далеко-далеко, на огромный пруд, откуда видна была только крыша мельницы.

Тут, задумчиво склонясь над пучиной, где как тени мелькали круглоокие рыбы, она слушала шорох камыша на отмелях и крики водяных птиц или, свесив голову через борт челна, смотрела, как одна за другой выплывают звезды со дна, а на поверхности волн трепещет длинный серп лунного света. Не раз случалось ей видеть прозрачные, тоньше паутины, одежды, которые русалки развешивали на каплях ночной росы. Вот подвенечная фата... а вот плащ, а тут... платье со шлейфом... Она гребла к ним, но ветер отгонял ее к лугам, где вдруг возникало озеро серебристо-белого тумана, в котором кружились огоньки и тени... Кто же там плясал, и почему ее туда не пускали?..

Между тем наступала полночь. Лодка подрагивала, меж отмелей раздавался тихий плеск, в камышах вспыхивал бледный таинственный свет. Коварный туман застилал Малгосе путь, и чудилось, будто на отмелях, в кустах, кто-то шептал: «Эге! Не уйти девушке отсюда!..»

Но Малгосю в ее одиночестве оберегал верный друг — мельница. Вдруг ее окошки-глаза метали огонь в завесу

тумана, черная многоногая туша сотрясалась, и в ту же минуту до слуха одурманенной девушки доносился знакомый зычный голос, который звал ее с лихорадочной поспешностью:

— Малгось!.. Малгось!.. Малгось!.. Малгось!..

Теперь девушка могла спокойно бросить весла: течение воды, подхваченной огромной пастью мельницы, само несло к шлюзам ее челн. Растянувшись на дне лодки, как сонное дитя в мягко покачивающейся колыбели, она с улыбкой смотрела на бледные огоньки, мечущиеся в гневе над трясинной, и на холодные мокрые сети русалок, которыми ее хотели опутать. А старая мельница, тревожась за свою девушку, сердилась все сильнее и кричала: «Малгось!.. Малгось!.. Малгось!.. Малгось!..» Наконец лодка ударялась носом в устой моста.

Однажды ночью, выскочив после такого путешествия на берег, она увидела на мосту отца. Он стоял, облокотясь о перила, и пристально смотрел на рассыпающуюся брызгами воду. У Малгоси сердце дрогнуло при мысли, что и он беспокоится о ней, хотя с виду так равнодушен. Она взбежала на мост, прильнула к плечу отца и, разнежась, тихо спросила:

— А кого же это вы там высматривали, отец?

— Подумалось мне, мужики рыбу воруют! — ответил старик и зевнул.

Потом, почесавшись, не спеша побрел в хату.

Никогда еще Малгося не чувствовала себя такой одинокой и никому не нужной, как в эту минуту, и никогда не хотела так сильно, чтоб и ее кто-нибудь любил. Теперь даже столяр из местечка, скупой и безобразный вдовец, с впалой грудью, кривыми, как вилы, ногами, евший за троих, — даже этот столяр казался ей весьма приличным человеком. А уж о мукомоле, который арендовал ветряк в двух милях от них, непрестанно смеялся и вообще слыл придурковатым, она и думать не могла без волнения!.. Даже похожие на кули с мукой батраки ее отца, грубияны и зубоскалы, показались ей в этом настроении людьми с немалыми достоинствами, хотя еще два-три месяца назад она смотреть на них не могла без отвращения.

В эту тяжелую минуту мельница снова решила притти ей на помощь, и в один прекрасный день внутри ее что-то лопнуло с оглушительным треском... Перепаханные в муке подручные мельника побледнели от страха, а сам Ставинский швырнул шапку оземь!.. Немедля остановили воду и стали раздумывать, что делать, обращаясь за советом ко всем, кто проезжал по плотине. Весь дом пришел в смятение. Батраки препирались на мосту, к соблазну проезжих. Старик не пожелал обедать, клянясь всеми святыми, что, наверное, скоро помрет, а боровки, жившие под мельницей, видя, что никто им не подсыпает отрубей, верещали так, словно началось светопреставление.

В этой сумятице раз сто упоминалось имя кузнеца Шарака, и наконец один из батраков впряг лошадку в телегу и поехал по направлению к городу. Малгосю охватил ужас, совсем как в тот день, когда она, простудившись, ждала фельдшера, который должен был поставить ей банки. Она причесалась, обула новые башмаки и побежала к мельнице которая стояла, преспокойно развалилась над плотиной, и с довольным видом скалила зубы.

Стемнело, настала ночь, подул холодный ветер, и девушке пришлось отправиться к себе в светелку. Едва она улеглась, во дворе что-то затарахтело, и с мельницы донесся какой-то чужой голос. «О Иисусе!..» — подумала Малгося, мигом оделась, — и ну доставать водку, да раздувать огонь, да разогревать колбасу с подливкой. За пятнадцать минут было готово все, чего разоспавшаяся служанка не сделала бы и за час.

Тем временем кузнец осмотрел мельницу, словно бабка недвижного, и пошел со Ставинским в хату. Уже в сенях на него повеяло благоуханием жаркого; кузнец ухмыльнулся, — так ему было приятно, что мельник уважает его и до полуночи поджидает с ужином. Однако он был весьма удивлен, увидев в горнице прекрасно накрытый стол, на нем дымящееся блюдо и два стула один против другого, а хозяйки — ни следа!

Озабоченный мельник выпил с ним водки, потчевал его, ел и сам, но все это молча, как и всегда. Только после ужина позвал:

— Малгось! надо бы там на мельнице постлатъ для пана кузнеца, он ночует у нас. Подушку и попону надо дать.

Появилась Малгосья — вся красная от смущения. Досадуя сама на себя, она мяла в руке фартук, не подымая глаз от земли. Но когда, взметнув ресницы, увидала молодое, веселое лицо кузнеца и его глаза, блестящие из-под черных бровей, прыснула смехом и побежала в сени — распорядиться. Смеялся и кузнец, сам не зная отчего, а вечно сумрачный Ставинский проворчал:

— Ну! чем не коза?.. Редко людей видит, оттого и смешлива... Зелено еще... всего-то восемнадцать...

На другой день с раннего утра кузнец взялся за работу, но прежде чем успел наладить наковальню и поставить у огня мех, ему уже подали завтрак. Первый раз в жизни Ставинский признал, что его дочь хорошая хозяйка и заботится о гостях! Но сердце мельника не могло не растрогаться, когда он увидел, как заботится Малгосья о мельнице, как часто туда заглядывает и обо всем расспрашивает Шарака. Уже меньше ему нравилось, что кузнец во время работы болтает или показывает всевозможные фокусы вроде того, что хватает голыми руками раскаленное добела железо. Однако старик помалкивал, видя, что работа так и горит в руках мастера и что, хоть он и непрочь немного потрепать языком, зато как начнет ковать, так земля стонет...

Починка продолжалась несколько дней. За это время кузнец и мельникова дочь очень подружились, а вечера непременно проводили вместе и только вдвоем, так как Ставинский, успокоившись, снова занялся делами и на дочь меньше обращал внимания. И вот, в последний вечер, сидя перед хатой на лавочке, молодая чета вела следующий разговор — правда, вполголоса, потому что так у них складней получалось.

— Так вы, пан Юзеф, живете не доезжая полмили до города, на горке? — спросила девушка.

— Вот, вот!.. На этой самой. Это где итти к лугам да где загорожено плетнем и стоят деревца, — ответил кузнец.

— А какой бы там был огород! Я бы сейчас посади-

ла свеклы, картошки, фасоли да всяких цветиков, будь это мое!

Кузнец опустил голову и промолчал.

— И хата у вас хорошая. Это ведь та, где колодец с журавлем?

— Та самая. Только что в ней хорошего? Некому о ней позаботиться...

— Приведись это мне, — заявила Малгося, — я бы выбелила ее — заглядение, окна бы убрала занавесками, поставила бы горшки с цветами, а в горнице повесила бы все, какие у меня есть, картинки... Почему бы вам так не сделать? Сразу бы у вас стало куда веселей!..

Кузнец вздохнул.

— Эх, Малгося! — наконец заговорил он. — Жили бы мы с вами поближе, вы бы сейчас и приохотили меня, и научили, как да что сделать!..

— Ох! Да я бы и сама все вам сделала, пока вы уходите в кузницу...

— Но при такой дальности, — продолжал кузнец, беря девушку за палец, — вы, верно, не захотите оставить старика?

Теперь уж промолчала Малгося.

— Ужасно, до чего вы мне нравитесь, это я вам по справедливости говорю!.. Чорт возьми!.. Теперь воротись домой, так и места себе не найдешь... Да вам-то что до этого!.. Вам, наверно, какой-нибудь управляющий — тот приглянулся бы?..

— Да что вы, пан Юзеф, я-то знаю, чего вы стоите! — прикрикнула на него девушка отворачиваясь. — И никаких управляющих у меня и в мыслях нет, а только...

Она снова умолкла, но теперь кузнец взял уже всю ее руку.

— А что, Малгося, — неожиданно спросил он, — пошли бы вы за меня?..

У нее дух захватило.

— Да я уж и не знаю!.. — ответила она.

В ту же минуту Шарак прижал ее к себе и поцеловал в полуоткрытые губы.

— Ну-у-у... Ну вас с такими шутками! — обиделась девушка, вырвалась из его объятий и убежала в хату, задвинув дверь засовом.

В эту ночь они оба не спали.

На другой день завинтили последние винты и открыли шлюзы. Поток воды с шумом хлынул на высохшие со скуки колеса, они поколебались и завертелись. Мельница отлично работала!..

Ставинский прикусил губу, чтобы не выдать своих чувств, но у него руки дрожали от радости. Он все осмотрел, отругал батраков, наконец пригласил кузнеца в хату для расчета и поставил бутылку меду.

Пока он выкладывал на стол новенькие бумажки, Шарак почесывал затылок и мрачно усмехался. Мельник, заметив это, спросил:

— Что, сынок, никак ты же и в обиде, что вытряхнул у меня из кармана двадцать три рубля?

— За такую починку мне бы надо с вас дочку потребовать! — шепнул Юзеф.

— Что?.. — вскинулся старик, — так, может, девка тебе дороже денег?

— Дорого мне и то, и это.

Ставинский пристально поглядел ему в глаза.

— Только сейчас я за ней денег не дам, это уж после моей смерти, — сказал он.

— Мне-то дольше, чем вам, жить на свете! — ответил Шарак и поцеловал ему руку. — Без приданого вы девку не отдадите, а мне одному до того скучно, особенно как придет зима, что...

За открытым окном мелькнула голова Малгоси.

— А ну-ка поди сюда! — позвал ее отец.

— Не пойду я!.. — отнекивалась девушка, закрывая руками глаза, — вы уж сами договаривайтесь!..

Ставинский покачал головой.

— Ай да кузнец!.. — сказал он, — ну, вижу, не терял ты тут времени даром. Что ж, коли на то воля божья, отдам я тебе девку за то, что ты мастер хороший и знаю, что живешь в достатке... Но смотри, не обижай мое дитя, а то этого я тебе не прощу...

Несколько недель спустя сыграли свадьбу Малгоси с кузнецом, причем изрядно поели, выпили и поплясали. По этому случаю помирились двое издавна враждовавших соседей, а перессорилось четверо. Один из батраков Ставинского, слегка подвыпив, поклялся, что утопится с

горя, и утешился лишь тем, что выпил еще основательней. А какой-то хозяин, давно уже давший зарок не пить водки, невзначай упал в пруд, за что и получил от своей супруги энергичное напоминание. В день свадьбы вилонгий столяр, добывавшийся руки Малгоси, так же, как и непрестанно ухмыляющийся владелец ветряка, наперебой рассказывали знакомым и незнакомым, что девушка-де с изъязном, а отец ее отдает деньги в рост и ворует из мешков зерно у людей, чем и отпугнул всех от своей мельницы. Покуда оба отвергнутых жениха уверяли, что никогда бы не женились на мельниковой дочке, новобрачные уехали к себе в кузницу...

Тут Малгося свято выполнила данный кузнецу обет. Побелила хату, увила ее плющом, убрала внутри картинками и всевозможной утварью, а также завела прекрасный огород на горке, спускавшейся к лугу. Под ее присмотром увеличился достаток кузнеца, хата стала выглядеть, как шляхетская усадьба, а сам Шарак обзавелся новым кожаным фартуком таких гигантских размеров, что из него можно было выкроить двух порядочных варшавян, да еще кое-что осталось бы на варшавянку.

* * *

За этими делами в доме молодых незаметно прошел год. Весной прилетели аисты, поселились в старом гнезде на крыше гумна да так принялись курлыкать, что в конце концов накурлыкали маленького Стася.

В этот день кузнец запер свою мастерскую, и дед Ставинский без седла прискакал за милю с гаком и от переполнивших его чувств расплакался, увидев толстого, розового внука, у которого на ручках и на ножках было столько же ямочек, сколько косточек, что не мешало ему орать, словно с него кожу сдирали.

Очутившись в подобных обстоятельствах, прекрасные дамы завешивают окна плотными шторами и, призвав на помощь всевозможных кормилиц — искусственных и естественных, месяц с лишком отдыхают, словно это они сотворили мир; все это время они утруждают себя лишь тем, что принимают в кружевном неглиже поздравителей

и поздравительниц, болтающих вполголоса по-французски. Такого рода фокусы Малгосе были неизвестны, а потому уже через сорок восемь часов она взялась за работу, а болел за нее дед — разумеется, от радости. В несколько дней он изучил своего внука до глубины, открыл в нем выдающиеся способности к мукомольному делу и первый признал, что даже у шляхты ему не случилось видеть ребенка, равного Стасю по уму!..

Между тем новорожденный пребывал в интересной, исполненной тайн стадии младенчества, которая подчас смутно вспоминается нам в сновидениях, как бы приоткрывающих завесу в подсознательную жизнь.

Представьте себе простого человека, на которого вдруг свалились все общественные проблемы. Тут и вопросы искусства и промышленности, философские и аграрные, преступления и добродетели, а наряду с ними множество дел, от которых зависит собственное его существование. Все это он должен привести в порядок, свое отделить от чужого, за один час научиться, что делать в ближайшие часы, и не упасть под бременем трудов!..

В таком положении очутился однажды Стась. После долгого сна, предшествующего вступлению в жизнь, на него сразу обрушился ураган впечатлений. Воздух раздражал его легкие и кожу, перед глазами прыгали краски — белые, серые, синие, зеленые, красные, разных оттенков и во всевозможных сочетаниях, а вместе с ними и тысячи форм — одушевленных и неодушевленных. Он слышал разговоры людей, скрип собственной колыбели, бульканье кипящей воды; слышал, как жужжат мухи и скулит щеночек Курта. Ощущал неудобство от давивших его свивальников, от колебаний поминутно менявшейся температуры, наконец — ощущал голод, жажду, желание спать и движение собственных конечностей. Все это беспорядочно, хаотично, назойливо кипело в его крохотном, едва пробуждающемся существе. Он не понимал, откуда является голод и откуда белый цвет или грохот молота в кузнице. Но это утомляло его, и бедняжка хныкал, дрожа от холода. Единственной его усладой был сон, который то и дело прерывали, да еще те минуты, когда он мог сосать. И он сосал, как пиявка, спал и кричал, а

взрослые люди качали головой, сокрушаясь над его немощностью! Вы слышите?.. Немощной называли личность, которая, очутившись в этом страшном хаосе, обязана была разрешить столько проблем!..

В этот период Стась еще не отличал своей матери от себя самого, а когда ему очень хотелось есть, сосал большой палец собственной ноги, вместо материнской груди. По этому поводу над ним смеялись, хотя мы ведь знаем людей совершеннолетних и в здравом уме, которые, вместо собственной двадцатигрошевой трости, забирают чужие двухрублевые калоши...

В результате напряженного труда и многомесячных опытов Стась достиг огромных успехов. Ему удалось уловить разницу между своей ногой и перильцами колыбели. И даже между тюфячком и грудью матери. В это время он был уже очень умен. Он знал, что голод терзает его где-то около ног, что в голове его в одном месте сосредоточиваются всевозможные шумы, в другом — всякие краски, а третьему месту нужно сосать.

В следующие месяцы он сделал еще более замечательные открытия. Теперь он отличал уже хорошие события от дурных и красивые вещи от безобразных. Прежде он плакал и смеялся, хмурил лоб и протягивал руки или ноги невпопад и как придется; проявлениями чувств он пользовался, как начинающий музыкант клавишами рояля, которые он нажимает, не зная, что из этого получится. Сейчас он смеялся только при виде матери, которая его кормила, плакал после купанья, против которого восставали все его инстинкты двуногого, хмурился, увидев свивальники, стесняющие его движения, а к кружке с подслащенным молоком тянулся ручками и ножками.

У него уже появились симпатии и антипатии, чувство страха и надежды. Он любил Курту, потому что шенок был теплый и лизал его, а морда у него была мягкая, как бархат. Боялся темноты, в которой легко было расшибиться; рвался в сад, где можно было дышать полной грудью и где гармонический шелест деревьев, повторяя ритм материнской песни, убаюкивал его ко сну. Серые цвета, напоминавшие твердый пол и не всегда сухой тюфячок, ему не нравились. Зато красные и синие цвета,

как и блестящие предметы, возбуждали в нем смех. Стась уже знал, что пламя свечи, хоть и прыгает и очень красиво, а с детскими пальчиками обходится самым бессовестным образом. Помнил он также, что у отца ноги твердые, черные и больше, чем весь Стась, а у матери ножки до того низенькие, что начинаются и кончаются у самой земли.

К матери Стась питал безграничную любовь, потому что она больше всех доставляла ему удовольствия. Что же касается отца, то он пользовался расположением Стася лишь благодаря тому, что носил очень интересовавшие его усы, а также самую заманчивую вещь в мире — часы. Зато ласки отца были для него совсем не заманчивы: он всегда забавлял ребенка, когда тому хотелось есть или спать, немилосердно царапал его колючим подбородком и мял огромными, неуклюжими руками его молоденькие, хрупкие косточки. Было лишь одно, ради чего Стась при виде отца тянулся к нему ручонками и смеялся: отец подбрасывал его кверху. Правда, ребенку было неудобно в его могучих руках, зато как высоко они его подкидывали, какой ветер поднимался вокруг, как развевал его волосики и вздувал рубашонку...

Стась уже умел играть и проказничать. Иногда мать брала его на колени, а отец садился напротив и звал:

— Иди ко мне, Стась, иди!..

Он делал вид, будто идет, протягивает ручки и — бух!.. лицом в плечо матери. И вот нет Стася, ну нигде нет, во всем доме, по крайней мере сам он никого не видит.

Потом отец ставил его на стол и держал подмышки, а мать пряталась. Спрячется мать за отца справа, а Стась — верть головкою вправо! И вот уж ее нашел... Спрячется мать за отца слева, а Стась — верть головкой влево и опять ее нашел. Ребенок готов был так играть весь день, но что же делать, если отцу нужно было идти в кузницу, а матери к ее коровам! Тогда мальчугана укладывали в колыбель — и поднимался крик на весь дом, так что даже Курта принимался лаять!..

Время от времени мальчик становился на голову, однако вскоре сообразил, что эта позиция неудобна и что наиболее свойственно человеческой природе — ползать на четвереньках. Благодаря этим передвижениям он убе-

дился, что стены, стулья и печка не торчат у него в глазу, а находятся где-то вне его, значительно дальше, чем на расстоянии вытянутой руки.

Заметно выросшая мускульная сила вынуждала его заняться каким-нибудь трудом. Чаще всего он опрокидывал маленькую скамеечку, стучал ложкой об пол или раскачивал колыбель. Одно время он спал в ней вместе с юным Куртой, и песик, видя, как покачивается его ложе, вскакивал на тюфячок и разваливался, как граф! Столь наглое злоупотребление правами возбуждало в маленьком Стасе жестокую зависть, и он орал до тех пор, пока собаку не выгоняли и не укладывали в колыбель его самого.

Позже его начали учить чрезвычайно трудному искусству ходьбы. Мальчика забавляло, что он так высоко поднимается над землей; однако он уже понимал, с какой опасностью сопряжено это удовольствие, и крайне редко предавался ему без помощи старших. В таких случаях он прежде всего вставал, потом, поднимая левую руку и правую ногу, выгибал ее внутрь и правой стороной ступни — шлеп об пол! Затем поднимал правую руку и левую ногу, выгибая ее внутрь, поджимал пальцы и левой стороной ступни — шлеп об пол! Прodelав еще несколько столь же сложных движений, он не подвигался ни на шаг вперед, зато у него кружилась голова и он падал. Ему думалось тогда, что ходьба на двух ногах несомненно льстит человеческому тщеславию, однако практическое значение имеет только ползание на четвереньках. Вид людей, шагающих на двух ногах, возбуждал в нем такое же чувство, какое испытал бы здравомыслящий человек, очутившись среди канатоходцев. По этой причине он очень уважал Курта и мечтал лишь о том, чтоб когда-нибудь сравняться с ним в беге.

Видя необыкновенное развитие духовных и физических свойств ребенка, родители стали подумывать о его воспитании. Его научили говорить «папа», «мама» и «Курта», который одно время назывался так же, как «папа»; затем ему купили высокий стульчик с перекладиной и подарили прекрасную липовую ложку, которой Стась, в случае нужды, мог бы накрывать себе голову. Отец, во всем подражавший матери, тоже захотел сде-

лать своему первенцу подарок и с этой целью принес как-то прекрасную плетку, оправленную в ножку козули. Когда Стась взял в руки ценный подарок и принялся грызть черное раздвоенное копытце, мать его спросила мужа:

— Ты зачем это принес, Юзик?

— А для Сташка.

— Вот как? Ты что же, собираешься его пороть?

— Как же его не пороть, если он будет такой же озорник, как я?

— Видали... — вскричала мать, прижимая к себе сына. — Да ты почему знаешь, что он будет озорник?..

— Пусть только попробует не озорничать... уж я его выдеру!.. — добродушно ответил кузнец.

В эту минуту Стась раскричался, что рассердило мать, и она склонилась к мнению отца. Признав это средство необходимым, родители больше не препирались и повесили плетку на стену, между святым Флорианом, который с незапамятных времен все тушил и тушил какой-то пожар, и часами, которые уже лет двадцать тщетно пытались правильно идти.

* * *

Независимо от первых принципов морали, основанных на ножке козули, кузнец хлопотал о преподавателе для сына. Правда, был у них в деревне постоянный учитель, но он больше занимался писанием доносов и дегустацией водок, чем букварем и детьми. И крестьяне, и евреи пренебрегали им, так что уж говорить о Шараке — он и не думал образование своего сына поручать подобному педагогу, а сразу обратился к органисту.

— Сейчас Сташеку пятнадцать месяцев, — размышлял кузнец, — годика через три мать выучит его читать, а через четыре надо будет отдать его органисту.

Всего четыре года!.. Значит, уже сейчас следовало снискать благоволение слуги божьего, который ходил бритый, как ксендз, носил черный долгополый сюртук и разговаривал весьма громогласно, вплетая в свою речь латинские слова из церковной службы.

Не откладывая дела, Шарак пригласил органиста распить с ним у Шулима бутылочку-другую меду. Преисполненный елейности, артист костела высморкался в клетчатый платок, откашлялся и с таким видом, словно он собирался произнести проповедь против горячительных напитков, заявил Шараку, что и ныне, и присно, и во веки веков готов ходить с ним к Шулиму пить мед.

Органист, отличавшийся гордостью и раздражительностью, был прежде всего слаб на голову. Уже за первой бутылкой он понес околесицу, а за второй стал уверять Шарака, что считает его почти равней себе.

— Ибо, видишь ли, мой... Господи владыко!.. оно обстоит так. Мне, как органисту, раздувают мехи, и тебе, как кузнецу... господи владыко!.. тоже раздувают мехи... А почему... Да ты уже никак понял, что я хочу сказать? Так вот, я хочу сказать, что кузнец и органист — они братья... Ха-ха-ха!.. братья! Я, органист, и ты, неряха!.. Да сжалится над тобой всемогущий бог! *Misereatur, tui omnipotens Deus!*¹

Шарак, будучи вообще веселого нрава, за бутылкой становился мрачен. Поэтому он не сумел оценить комплимент своего собеседника и ответил так громко, что его услышал Шулим и несколько его посетителей.

— Братья-то, положим, не братья!.. Кузнец — он больше на слесаря смахивает, а органист... как всякий органист — на нищего с паперти!..

— Что? Я — на нищего с паперти?.. — вскричал оскорбленный маэстро, испепеляя кузнеца пылающим взором.

— Уж известное дело!.. Вы молитесь-то за деньги и играете благолепнее, когда вам кто...

Шарак не кончил, ибо в эту минуту получил увесистый удар бутылкой повыше темени, так что осколки брызнули в потолок, а липкий мед залил ему лицо и праздничную одежду.

— Держи его! — крикнул пострадавший, не зная, утираться ли ему, или догонять органиста, который удирал по кратчайшей, как ему казалось, и во всяком случае очень извилистой линии.

Тут все, кто был в корчме, бросились их разнимать.

Вытолкали за дверь органиста и принялись увещевать кузнеца, который себя не помнил от гнева.

— Я тебе дам, дуделка проклятая!.. — завопил Шарак, увидев за окном еще более, чем всегда, торжествующую физиономию органиста.

— Юзеф!.. Кум!.. Пан кузнец!.. — унимали его посредники, — да успокойтесь вы!.. Охота вам сердиться на пьяного?.. Он ведь дурной, и сам не знает, что делает....

— Изобью разбойника, живого места не оставлю!..

— Да полноте, пан Шарак!.. Ну, что это — бить?.. Бить не всякого полагается... Он, как-никак, духовная особа, первая после викария!.. Как бы вас за это бог не наказал...

— Ничего со мной не сделается!.. — возразил кузнец.

— Ну, с вами, пожалуй, ничего... Так ведь у вас жена, сын!..

Последние слова оказали чудодейственное влияние. При мысли о жене и сыне взбешенный кузнец сразу успокоился и даже постарался заглушить в себе чувство мести. И впрямь, органист первое лицо после викария, — что правда, то правда; а ну господь бог за избиение его разгневается и за органистову обиду взыщет с жены его и сына?..

Он ушел из корчмы в ужасном расстройстве.

«Вот каково с этими детьми, — думал он, — тут хлопот не оберешься!.. У меня только один, а и то ломай голову, чтоб найти ему учителя, да еще приходится деньги тратить на мед!.. И меня же за это на людях срамят, а я не могу дать сдачи, потому что меня за ребенка берет страх... Ох, Стах, Стах!.. Хоть бы ты понял когда, как я из-за тебя пострадал!.. Дай бог, чтоб меня хоть жена не отчитала!..»

Дома все же не обошлось без шума, но с этого дня Шарак еще сильнее полюбил сына, образованием которого озаботился столь заблаговременно, за что и была разбита об его голову бутылка меду. Через несколько месяцев почтеннейший кузнец уже позабыл о своей обиде, но страшно досадовал, что поссорился с органистом, единственным ученым мужем, достойным руководить вос-

питанием его сына, который теперь уже сам ходил, умел говорить и вообще выказывал недюжинные способности.

Между тем подошло лето, а вместе с ним и минута, неожиданно принесшая благоприятный конец отцовским заботам кузнеца.

.....

* * *

Однажды мать уложила Стася в саду под грушей, подостлала ему холстинку, подвернула рубашонку и сказала:

— Теперь спи, малыш, и не ори, ягодка ты моя, сладчайшая из всех, какие только сотворил господь бог и пригрело солнышко! А ты, Курта, ложись возле него и карауль, чтоб его курица не поклевала да пчелка не ужалила или какой дурной человек не сглазил. Я пойду полоть свеклу, а если вы не будете тут вести себя смирно, я возьму палку и все ребра вам пересчитаю!..

Но при одной мысли об осуществлении подобной угрозы, она схватила мальчика на руки, словно кто-нибудь и вправду хотел его обидеть, прижала его к себе, расцеловала и закачала, ласково приговаривая:

— Чтоб тебя я стала бить палкой?.. Это Курту, собачьего сына, а не тебя!.. Бутончик ты мой... голубок ты мой... сыночек мой единственный, золотенький!.. Ты чего, Курта, смеешься, косматый ты пес!.. Нечего шурить зенки да вилять хвостом, сам небось знаешь, что лучше я с тебя три шкуры сдеру, а об него, о Стасеньку моего родимого, и тростинки не обломаю... А-гу!.. а-гу!.. а-гу!..

А Курта поджал под себя хвост и, разинув от жары пасть, далеко вывесил красный, как кумач, язык. Смышленный был пес и хитрый!.. Про себя он думал: «Болтать-то ты здорова, а я что знаю, то знаю: уж всякий раз, когда случалось сушить тюфячок Сташека, попадало мальчишке так, что в кузнице и то было слышно!..»

Так думал про себя нахальный Курта, однако молчал, зная, что сильней любых резонов — кочерга, которой умеряли все домочадцы и в первую очередь сама хозяйка его собачьи претензии.

Между тем Стась тер глаза пухлыми кулачками, прильнув льняноволосой головкой к плечу матери. Умей он вразумительно говорить, несомненно сейчас бы ей сказал:

— Собираетесь вы меня укладывать, так укладывайте, а то после такой кружки каши с молоком здорово спать хочется!..

Мальчик давно бы уже сам уснул, по собственному почину, но матери казалось, что его необходимо укачивать, и она снова нянчила его и баюкала, напевая:

Чего добилась,
Что находилась
По роще ольховой?
Я не таскался,
Так отоспался
На перине пуховой!..

Только когда Стась отяжелел от сна и уткнулся головой меж ее плечом и грудью, она уложила его на холстинку, дернула Курту за мокрый язык и, поминутно оглядываясь, ушла в глубь сада.

После материнских объятий голая земля, покрытая холщевой тряпкой, показалась Стасю холодноватой и жестковатой. Поэтому, хотя ноги у него крепко спали, головой он снова очнулся и приподнялся на толстых ручонках. Ребенку хотелось посмотреть, где мать, а может, и поплакать о ней. Но он был еще мал, не умел как следует обернуться и смотрел не вперед, а вниз, на траву. Тем временем честный Курта основательно облизал его загорелое личико раз и другой и принялся искать у него в голове с таким рвением, что Стась повалился на левый бок, подложив под щеку толстый локоток. Он хотел было снова приподняться, даже уперся правой рукой в холстинку, стараясь высвободить ножку, но в эту минуту пальчики его руки разжались, вишневый рот полуоткрылся, глаза вдруг сомкнулись, и он уснул. В его возрасте сон крепок, как здоровенный мужик: он сваливает раньше, чем начнешь с ним бороться...

Тогда с недавно скошенных лугов, где длинными рядами стояли, пригорюнясь, пухлые, нахохлившиеся копны, повеял ветерок, горячий, как дыхание солнца. Он пощекотал приземистые копны, посвистел в дупла истлевших верб, которые тщетно махали ветками, пытаясь его отпугнуть, просочился сквозь плетеную изгородь и понесся по саду кузнеца. Зеленые с пунцовым кантиком листья свеклы, стройный укроп и перья петрушки затряслись, как в лихорадке, должно быть со злости, потому что народ они все ленивый и не любят, чтобы их трогали. А взлохмаченная картофельная ботва, яркие подсолнухи и бледнорозовые маки закачались, как евреи в молельне, так их, видимо, возмутило легкомыслие ветра, который отогнал пчел далеко от ульев и сбил набекрень чепец у самой кузнечихи, хоть она, несмотря на двадцать один год, была ведь матерью Стася и полновластной хозяйкой всего, что только ни было в саду, в хате, на скотном дворе и на шести моргах земли!..

— Ах, проказник, проказник!.. Ах, и какой же проказник этот ветер! — ворчали красноголовые маки, заглядевшиеся в небо подсолнечники и даже грубая картофельная ботва.

А круглые листики груши, под которой мать уложила Стася спать, шептали, как и следовало добропорядочным нянькам:

— Тише!.. тише!.. тише!.. еще разбудите мне ребенка!..

Курте, который любил бурную деятельность, — на худой конец, хотя бы потрепать за уши вислоухих поросят, — стало ужасно скучно.

«Что это за мир, — думал он, — в котором дети вечно спят, хозяйка развлекается тем, что рвет какие-то листочки; деревья, вместо того чтобы честно трудиться, колышутся и шелестят; аист, надсаживая грудь, курлычет, а хозяин с подмастерьями только и делают в кузнице, что раздувают мехи и куют?.. Он стучит маленьким молоточком по наковальне: динь! динь! динь!... а подмастерья лупят большими молотами по железу: бум! бум! бум! бум!.. только искры сыплются. Я не раз простаивал перед кузницей, так навидался».

И, сокрушаясь о всеобщей лени, трудолюбивый Курта с горя повалился наземь, так что земля загудела, рас-

пластался и вытянул лапы вперед, а чтобы выказать все свое презрение к миру, закрыл оба глаза, не желая ничего видеть...

Тогда пред взором его неуголимой души раскинулось поле, засаженное капустой, принадлежащей его хозяину, а среди этой капусты паслись целые стада зайцев; они перебирали лапками и настораживали уши, которые торчали, как пальцы...

— Ох, и задам же я вам, бездельники! — тявкнул Курта — и ну разгонять их во все стороны!..

Гнал он их, гнал, а поле все тянулось — до бесконечности, зайцы множились, как капли проливного дождя, а хозяин, хозяйка и подмастерья, глядя, как он носится, восклицали: «Ай да Курта! Вот ведь какой трудолюбивый, ни минутки не передохнет!..»

А Курта вытянулся и скакал так, что даже хвост не мог за ним поспеть и остался где-то далеко позади. Он еле дышал, но гнался за зайцами.

Бдруг над головой грезившего пса стала кружиться муха и давай ругать его тоненьким голоском:

— Ах ты, дворняга бессовестный, лентяй этакий! Нажрался корма для поросят и среди бела дня, когда весь свет трудится, валяешься тут, как колода, и дремлешь!..

Пес очнулся и — лязг зубами на муху.

— Видали дармоедку!.. Вздумала меня попрекать ленью, когда я зайцев выгоняю из капусты!..

И, не желая терять время на защиту своей чести, он развалился еще удобнее и вернулся к своей полезной деятельности. А муха все кружилась над ним, хотя он хмурился и выставял когти, и пищала:

— Ах ты, дворняга бессовестный, лежебок этакий!.. Велели тебе ребенка караулить, а ты сам разоспался, лодырь!..

И с этой минуты укроп и петрушка, картофельная ботва, маки и подсолнухи, ветер на небе, дыхание спящего Стася, аисты на крыше и молоты в кузнице — все в лад повторяли:

— Ленивец Курта!.. Ленивец Курта!.. Ленивец Курта!..

Но трудолюбивый Курта не обращал на них внимания и гнал прочь зайцев!

Пока Стась и Курта крепко спали под дуновением теплого ветерка, Шаракова обобрала гусениц с капусты, прополосала свеклу и принялась рвать в решето салат к обеду. Славная эта травка жила в уголке сада, возле плетня, тянувшегося вдоль дороги. Хозяйка осторожно присела над ним и, выбирая молодые листочки, думала: вот, наверно, обрадуется салат, когда его бросят в горячую воду, смоят с него пыль, польют уксусом и заправят салом!

Она нарвала уже с полрешета—почти столько, сколько ей нужно было, когда на дороге послышалось дробное, семенящее шарканье и стук палки о землю. В ту же минуту до слуха ее донесся какой-то невнятный разговор:

— Да остепенишься ты наконец или нет?.. — спрашивал усталый женский голос.

Кузнечихе почудилось, что в ответ раздался короткий, глухой шорох, словно кто палкой провел по песку. Потом снова послышались шаги и стук, сопровождаемый этим странным шорохом.

— У, собачья вера! — говорил сердитый голос. — Так-то ты меня благодаришь за то, что я тебя вывела в свет!.. Давно бы сгнила где-нибудь под забором или сгорела в жару, как окаянная душа, если б не я... Дурища!..

Снова раздался шорох.

— Дура ты, говорю. С пастухами бы тебе быть, они для тебя подходящая компания, а не я!.. Небось была бы умней, кабы тебя собаки изгрызли или о свичячьи хребты обломали. Ишь, ковыляет!..

Кузнечиха поднялась и увидела на дороге, в нескольких шагах от плетня, дряхлую старушонку; в руке она держала длинную палку, а из-под платка у нее выбивались две седых прядки, которые тряслись вместе с головой.

— Кого это вы, мамаша, так ругаете?.. Гжыбина!.. — смеясь, окликнула ее Шаракова.

Старуха обернулась к ней.

— Это вы, кузнечиха?.. — проговорила она, повернув к плетню. — Слава Иисусу Христу!.. А я и сама хотела

к вам зайти... отец просил... да хоть убей забыла через эту Иуду!..

С этими словами она подняла свою палку, гневно ее гряся.

— Что же папаша мне наказывал? — поспешно спросила Шаракова.

— Ведь вот... путается у меня под ногами и не то, чтоб помочь, а еще мешает ходить. За то, что я ее из грязи вытащила...

— А что папаша-то передал с вами? — нетерпеливо повторила вопрос кузнечиха. — Были вы сегодня на мельнице?

— А как же, была... Ложись, мерзавка!.. — не унималась бабка и бросила палку под плетень. — Солтысяка вторую неделю лихоманка трясет, так я заговаривала, а вчерашний день по пути-то и зашла на мельницу.

— Здоров папаша?

— Ого! Только наказывал вам приехать к нему завтра со Сташеком, а ваш... чтобы тоже к воскресению был на мельнице...

Видимо, забыв о своей палке, старуха облокотилась о плетень и продолжала:

— Оно, видите, как: органист-то, стало быть, ваш, Завада, покупает землю, ну и хочет у Ставинского, стало быть у папаша вашего, занять пятьсот злотых. Приходил он в среду на мельницу и просил, а Ставинский-то ему на это: «А чего, сударь, ради я стану давать вам в долг, ежели вы, сударь, обидели кузнеца и поссорились с ним?...»

— И правильно папаша сказал!.. — не утерпела Шаракова.

— А органист на это: «Я с кузнецом помирюсь и буду его сына учить». А старик на это: «Вот, сударь, и мирись!» А он на это: «Боюсь я итти к кузнецу: изобьет он меня. У вас-то я был бы посмелей и даже бутылочку-другую меду бы поставил, чтоб только помириться...»

— Ишь, хитрец! — перебила ее кузнечиха. — А давно ли прошли те времена, когда он болтал, будто в священном писании сказано, что кузнецы и трубочисты пошли от Каина! да от Хама и что они так и рождаются братоубийцами?.. Провались он совсем!..

— Ну, если так и сказано в священном писании, то органист в этом неповинен, — заметила старуха.

— Брешет! — с жаром воскликнула Шаракова. — То же и мы знаем, где и что сказано... От Хама пошли мужики, а мой-то не мужик, а от Каина — турки, а мой-то не турок! Никого ведь он не убил!..

Гжыбина любила похвалиться своей осведомленностью относительно «потомков Хама», однако на этот раз благоразумно промолчала, памятуя, что имеет дело с таким грамотеем, как кузнечиха, которая к тому же была наследницей мельников Ставинских!

— Да вы зайдите в хату, отдохните, — радушно позвала старуху Шаракова, заметив, что она устала.

— Не могу! — отказалась бабка и схватила палку. — У Матэушовой корову раздуло, так мне надо пойти ее окурить... Ну, — прибавила она, тряся свою палку, — ты смотри, веди себя... хоть на остаток пути, не то я тебя...

— Что это вы говорите? — остановила ее кузнечиха.

— А что мне не говорить? Пусть скачет прямо, а то тащится, как пьяная...

— Это ноги у вас, мамаша, подгуляли; тут палка не поможет!

— Какое!.. — нетерпеливо махнула рукой старуха. — Ходили же они восемьдесят лет, а сейчас ни с того, ни с сего подведут?.. Ну, оставайтесь с богом!..

— Ступайте с богом!.. — ответила кузнечиха вслед бабке.

Но едва она осталась одна, как ее снова охватил гнев против органиста.

— Видали! — рассуждала она про себя. — Мужика моего обидел, одежду ему замарал, а теперь вздумал мириться, когда ему деньги понадобились... Как бы не так!.. — прошептала она, грозя кулаком в сторону серой колоколенки, — и денег не получишь, да я еще на людях тебе все припомню!.. Как раз для него папаша копил золотые... не дожدهшься ты этого, попрошайная твоя душа!..

Желая поскорей сообщить свои соображения мужу, она перескочила через плетень и побежала в кузницу. Ей казалось, что весь мир уже знает о лукавстве органиста, потому что даже раздувшиеся, залатанные мехи сей-

час как-то особенно сердито пыхтели, извергая из пасти огненные искры.

Она вызвала мужа и сообщила ему весть, принесенную бабкой.

— Ну и слава богу, раз органист хочет мириться! — добродушно ответил черный от сажи великан, выслушав рассказ жены.

Та руками всплеснула от возмущения.

— И ты с ним помиришься?.. — ужаснулась она.

— Еще бы!.. А кто будет учить Сташека? Уж не наш ли учитель?

— И ты с ним помиришься после того, как он бутылку разбил о твою башку?..

— Так ведь лопнула-то не башка, а бутылка...

— После того, что он тебя неряхой обозвал, с трубочником равнял?..

— А я, пока не умоюсь, и есть неряха; все это знают, и ты первая, — отвечал кузнец, не находя оснований для подобного ожесточения жены.

Шаракова тряхнула головой.

— Судьбина ж моя горькая! — запричитала она, — вот уж выбрала я себе долю!.. Да мужик ты или нет?.. Да твой отец с моим дядей в солдатах служили, а у тебя никакой нет гордости?.. Я баба, — говорила она задыхаясь, — но так глаза бы ему и выцарапала, а ты хочешь мириться?.. Такой-то муж у Ставинской, из шляхетского дома взял жену, а у самого и стыда нет!..

Кузнец нахмурился.

— Почему это у меня стыда нет?.. — буркнул он.

— Да ведь ты хочешь мириться с органистом?

— Чего там хотеть?

— Да ведь ты только что говорил?..

— Чего там говорить?.. Это ты болтала, что вот отец велел, ну... а нам нужно его слушаться...

— А разве мой папаша тебе отец?.. Так мне и надо его слушаться, а не тебе... Ты не должен мириться с органистом, хоть бы даже я захотела, повинуюсь папаше...

Между тем подмастерья уже несколько минут как затеяли в кузнице потасовку, производя изрядный шум, вследствие чего кузнецу не терпелось поскорей вернуться

к своей работе, а может и избавиться от хлопотливого объяснения с женой. Поэтому он решительно заявил:

— Ну, если уж так, не мирюсь с органистом! Хочет отец, или не хочет — мне до этого дела нет. Зато я не хочу!.. Не стану мириться!.. И на мельницу ни я не поеду в воскресенье, ни ты завтра со Сташкем — и баста...

— То-то и есть, что и я поеду завтра, и ты в воскресенье! — перебила его жена.

— А?.. — спросил Шарак и уже хотел было подбоchenиться, но во-время одумался.

— Оба поедем, и пускай органист тоже там будет, да только затем, чтобы на людях услышать, что я ему скажу!.. Вот как!..

Муж искоса поглядел на нее, может, хотел даже сплюнуть сквозь зубы, но махнул рукой и медленно повернул к кузнице, почесывая затылок. Подмастерья все еще драли друг друга за вихры, но Шарaku легче было их утихомирить, чем за минуту до этого понять свою жену.

Когда кузнечиха вернулась в сад, Стась уже не спал и возился с Куртой. Расцеловав резвого малыша, мать оставила его под присмотром собаки во дворе, а сама, прихватив салат, пошла в хату кончать обед. Все время до самой ночи она готовилась к завтрашнему путешествию и строила планы мщения. Только бы все удалось, а уж органист будет посрамлен навеки.

* * *

На другой день в хате кузнеца чуть свет поднялась суматоха. Хозяйка уходила на двое суток к отцу, и ей надо было позаботиться обо всем, что требовалось по хозяйству. Казалось, весь дом чувствовал, что она уходит. Курта как-то плохо ел и все прыгал вокруг Стася. Коровы, отправляясь на пастбище, жалобно мычали, а поросята — так даже вышибли дверцы хлева, так им хотелось попрощаться с хозяйкой.

Вдобавок ко всему пришлось пораньше подать обед и поссориться с мужем, который поминутно заглядывал из кузницы, ворча:

— Вот уж чорт угораздил ходить туда понапрасну! Будем мириться с органистом, тогда идем на мельницу, а не будем мириться, тогда не идем. Для чего наживать себе еще большего врага?.. Чего доброго, проклянет он нас, когда будут поднимать чашу со святыми дарами, да пожар накличет на наш дом или болезни найдет на нас и на скотину!..

Тогда кузнечиха, взяв мужа за руку, выпроваживала его вон, говоря:

— Только ты уж не суйся!.. У тебя сердце кузнецкое, зато у меня голова шляхетская, и я так ужогу органисту, что раньше он сгорит со стыда, чем мы от пожара!..

После обеда, перебив вместе с девкой посуду, Шаракова еще раз обошла все закутки, причем на прощанье ее ужалила пчела, да так, что у нее слезы навернулись на глаза. Потом она выкатила во двор возок, положила на дно тюфячок, на тюфячок подушечку, а поверх всего Сгася и, поцеловав мужа, отправилась в путь.

Все эти приготовления доставляли огромное удовольствие Курте, а когда хозяйка ухватилась за дышло возка, пес совсем ошалел. Сперва он прыгнул на Стася и сбил у него с головы платок, потом чуть не вырвал ус у кузнеца, а когда тот его обругал, бросился на хозяйку с такой стремительностью, что едва не сшиб ее с ног.

Эти бурные проявления радости не привели к добру. Шаракова вспомнила, что нельзя оставлять дом без собаки, и велела забрать его в хату. Девка Магда с превеликим трудом утащила Курту на кухню, но пес в ту же минуту выскочил во двор через окно и еще более развеселился. Кончилось тем, что бедняге попало от хозяйки платком по морде, от хозяина — каблуком в бок и от девки — поленом по спине, после чего его утащили в пустой хлев и заперли дверь затычкой. Пес скулил так, что не одна баба в поле, услышав страшный вой и предвидя беду, заходя молилась за души усопших.

День был знойный. На небе кое-где стояли белые облака, словно раздумывая: куда бы им укрыться от жары? Под ногами Шараковой и под колесиками возка тихонько поскрипывали теплые песчинки. Невидимый в вышине жаворонок приветствовал звонкой песней путницу-мать и ее сына, а маки и васильки с любопытством выглядыва-

ли из ржи, словно хотели посмотреть, не едут ли дорогой какие-нибудь знакомые?

Кузнечиха остановилась и оглянулась назад. Вот на холме их хата, одетая, словно в платье, плющом. В эту минуту склонился журавль колодца: верно, Магда пошла за водой. Перед кузницей стоит какой-то человек с лошадью, но кузнец их, должно быть, еще не заметил, потому что безумолку бьют молотки, а их стук и грохот заглушает жалобный вой Курты...

Ну, в точности картинка! Казалось, Шаракова почерпнула в ней новые силы и, ведя за собой возок, опрометью сбежала с пригорка.

Дорога вилась волнистой лентой. Что ни шаг, вырастали холмы, становившиеся все выше. Самый высокий окружала березовая роща, которая раскинулась внизу так близко, что, казалось, достаточно было протянуть руку, чтоб ухватить ветку. А ведь на самом деле до нее было добрых полчаса ходу.

Понемногу исчезли кузница и хатка, и даже завывание Курты затихло. Песок становился все глубже, солнце припекало все сильнее, облака стояли на месте, как пустые паромы на берегу Вислы, и только жаворонки, смеяная друг друга, желали странникам счастливого пути.

В эту минуту Шараковой было так хорошо на свете, что в сердце ее не было места для гнева — даже против органиста. А что, если помириться с ним?.. «Не дождешься ты этого! — пробормотала она. — Не для того я таскаюсь по жаре, чтобы заработать ему пятьсот злотых...»

Между тем Стась лежал в возке, замороженный новыми впечатлениями. Впервые он видел перед собой необъятную ширь и неизмеримую глубину синего неба. Он не умел еще ни спросить: что это такое? ни удивляться и только чувствовал нечто необычайное. Земля, по которой он до сих пор ходил, исчезла; куда ни обращался его взгляд, всюду встречал он небо. Ему казалось, что он летит куда-то и тонет в беспредельности, которой не умел еще назвать пространством. Душу его наполнял неизъяснимый покой.

Он был, как ангел, весь — голова и крылья; и он парил в безграничных просторах, не помня прошлого и не

думая о будущем, но каждую минуту ощущая бесконечность. Такова, должно быть, форма бытия вечной жизни. Вдруг небосвод застлало множеством зеленых веток, и на возок упала тень. Они въехали в рощу неподалеку от самого высокого холма.

Зной, тяжелый возок и гнев против органиста оказали некоторое влияние на кузнечиху. Она почувствовала усталость. Ей хотелось сесть под дерево и отдохнуть, но она боялась застрять в дороге, тем более в лесу... Будь она одна, лес был бы ей нипочем; но когда с ней был Стась, она становилась осторожной и страшилась всего. О волках и разбойниках тут никто и не слыхивал, но теперь, выскочи даже заяц, бабенка и его бы испугалась...

Ох, как тянется этот лес... на добрых десять молитв... Взяла бы она Курту с собой, все-таки было б веселее... Он там был взаперти, а у кузнечихи в эту минуту даже собачья обида ложилась на душу тяжким бременем.

Ох, хоть бы скорей уж выехать из лесу!.. Хоть бы взобраться на этот холм!.. Шаракова скинула шаль и положила ее в возок. Слабое облегчение. Пот лил с нее ручьями, а вместе с ним иссякали и силы. Казалось, что она уже не дотащится до холма, а о том, чтобы взобраться на вершину — и говорить нечего!

Неподалеку от холма, справа, из лесу шла другая дорога, и в эту минуту именно с этой окольной дороги донесся легкий стук колес. Шаракова приободрилась; теперь по крайней мере она не будет одна!.. Она поспешила вперед и вскоре увидела экипаж вроде таратайки, но очень красивый: крытый кожаным верхом и на рессорах. Таратайку везла прекрасная гнедая лошадь; внутри сидел какой-то господин, но Шаракова не успела его как следует разглядеть, потому что в эту минуту экипаж свернул на дорогу и оказался впереди нее.

«Ах, хоть бы меня подвез!» — подумала кузнечиха, но не посмела окликнуть владельца таратайки, хотя шла следом за ней.

Ехал в этом искусном сооружении пан Лоский, помещик и волостной судья. Он возвращался из суда домой и несомненно охотно подвез бы усталую и красивую женщину, если бы ее заметил! К несчастью, пан судья глу-

боко задумался и не только не видел Шараковой на повороте, но и не слышал ее учащенного дыхания.

Но вот наконец путники добрались до подножья холма. Таратайка едва-едва подвигалась, а следом за ней еле-еле плелась кузнечиха, тащившая свое бремя.

Холм довольно круто поднимался вверх шагов на двести. Поэтому Шараковой пришлось в голову облегчить себе труд за счет лошади. Недолго думая, она прицепила дышло возка к оси таратайки.

План был чудесный, дышло держалось великолепно, возок со Стасем ехал еще того лучше, а бабенка могла хоть передохнуть. Только бы до вершины добраться!..

Сама она шла позади возка и, поддавшись голосу усталости, крепко, обеими руками оперлась о его край. Сразу ей стало куда легче, до того легко, что таким манером она бы прошла вдвое дальше, чем от дома до мельницы. Но, увы, в этом мире радости людские столь кратковременны!.. Вот уже доехали до середины холма... Вот уж осталось шагов пятьдесят... Спаси тебя бог, лошадка, за то, что ты нас втащила!.. Пора отцеплять возок от таратайки...

Вдруг лошадь пустилась рысью, и таратайка, за ней возок, а в нем Стась поехали вниз...

Шаракова остолбенела. Не успела она крикнуть «стойте!», как таратайка судьи и возок Стася были уже внизу.

— Спасите! — простонала женщина и, простирая руки, бросилась вслед.

Молнией мелькнула у нее мысль, что возок, задев за любой камень, может опрокинуться.

Но возок плавно катился по песку, словно утопал в пуху, маленькие колесики вертелись и раскачивались, как безумные, а Стасю быстрая езда доставляла огромное удовольствие.. Ни о чем не подозревавший судья был не менее весел, лошадка же, у которой вдруг убавилось груза, фыркнула от радости и рванулась в галоп.

С минуту Шараковой казалось, что она догонит таратайку, что ее по крайней мере услышат. Но куда там!.. Она остановилась, чтобы крикнуть из всех сил, хотя бы у нее грудь разорвалась. Однако едва она открыла рот, у нее и голос замер: из возка что-то выпало. Она подбе-

жала ближе — нет, это только ее платок... Лошадь замедлила шаг... Шаракова еще немного приблизилась. Она уже отчетливо видит головку Стася и его ручки, аккуратно вытянутые по бокам...

— Стасенок мой!.. Спасите!..

Возок качнулся и покатился еще быстрее. Уже не различить ручек ребенка, уже неясно видна головка, уже совсем маленьким кажется возок...

Шаракова не могла понять, почему перед лошадью не вырастает вал земли, почему небо не преграждает им путь, почему не сбегаются деревья, чтоб остановить их. Сколько тут птиц сидит в гнездах и видит ее материнское горе, ни одна не спешит на помощь. Хоть бы какая-нибудь пташка крикнула пану: «стой!» Хоть бы какой-нибудь камень в эту ужасную минуту очнулся от своей дремоты... Но нет! Все вокруг безмолвствует...

Она взглянула на небо. Над самой ее головой белка спокойно грызла шишки. Облака все так же стояли на месте. Попрежнему припекало солнце... Взглянула на дорогу — таратайка уже смутно виднелась, и чуть желтел позади ее возок. Ей казалось, в этом злосчастном возке лежит ее сердце. Его словно вырвали из груди и безжалостно влекли неведомо куда, хотя оно было привязано к ней нитью, которая становилась все тоньше. Еще мгновение — и нить разорвется, а вместе с ней и сердце и жизнь несчастной матери!

Экипаж постепенно уменьшался, утопая в колышущейся зелени деревьев. Он уже стал — как птица. Вот он на мгновение исчез, но снова появился... И снова исчез...

Шаракова протерла глаза, покрасневшие от пыли и слез. Ничего не видно!.. Она выбежала на середину дороги. Ничего... Перешла на другую сторону... Вдали что-то мелькнуло, но тотчас же и исчезло... Подавленная горем, лишившись последних сил, она бросилась наземь, вниз лицом, и, свернувшись клубком, завывала, как самка, у которой оторвали детеныша от налитой молоком груди.

В эту минуту на холме, где ее постигло такое несчастье, показалась лошадка в оглоблях, а за ней по-праздничному выбритая физиономия, принадлежащая человеку, который сидел в небольшой, но сильно гроыхающей

бричке. Шаракова не слышала тарахтенья, не видела путешественника, зато он заметил на дороге съездившуюся женскую фигуру и остановил лошадь.

«Пьяная или мертвая?.. — раздумывал торжественно выбритый странник. — Больна холерой, или убил ее кто?.. Ехать или воротиться?..»

Муж, взиравший с высоты своего сиденья на эту юдоль человеческой скорби, более всего боялся разбойников, холеры и суда, а потому уже дернул вожжу, чтобы повернуть назад, как вдруг ему вспомнилась глава десятая евангелия от Луки, которую читают в двенадцатое воскресенье после троицына дня — а именно, о раненом и самаритянине: «И подошед, перевязал ему раны, возлив масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем».

Благодаря этому воспоминанию бричка покатила вперед, однако чрезвычайно медленно и осторожно, пока не подъехала к женщине. Потом остановилась, и сидевший в ней самаритянин, нагнувшись, легонько ткнул кузнечиху кнутовищем:

— Эй! Эй!.. — крикнул он. — *In nomine Patris et...*¹

Шаракова вскочила и, уставясь обезумевшими глазами в бритое лицо путешественника, прошептала:

— Пан органист?..

— Я самый!.. — ответил он. — А что случилось?..

— Стась у меня пропал!.. О господи Иисусе!.. — простонала она и оперлась на край брички.

— Как же это?.. Цыганы его увели?.. Господи владыко!..

В нескольких словах Шаракова рассказала ему, что случилось.

— Э! Чихать вам на это!.. — воскликнул органист. — Это ясное дело, ехал какой-то шляхтич... господи владыко!.. Ну, а такие не крадут детей. Садись-ка, пани, в бричку!.. *Et cum spiritu Tuo*².

— Зачем?

— То есть как — зачем? Господи владыко!.. Будем искать мальчика и — *amen!*..³

¹ Во имя отца и.. (лат.).

² И со духом твоим (лат.).

³ Аминь (лат.).

— Может, его уже?..

— Что — может, его уже?.. Думаете, его уже нет в живых?.. А кого же тогда я буду учить? Ежели мне суждено его учить, когда ему исполнится шесть лет, — так — господи владыко! — мальчишка уж не помрет на втором году... *In saecula saeculorum...*¹

Доводы органиста и особенно его латынь были так неопровержимы, что кузнечиха молча полезла в бричку и смиренно примостилась на козлах, лицом к органисту. Но верный, хотя и запальчивый, слуга церкви не допустил этого.

— Прошу покорнейше... Господи владыко!..—воскликнул он. — Прошу пожаловать на сиденье, а я сяду на козлы... *Introibo ad altare Dei...*²

— Пан органист, да что это вы, право?..

— А как же? Я был бы, господи владыко, последним невежей, если б вы, пани, дочь и жена моих друзей, сидели на козлах... Мне надо править, мне и сидеть на козлах... *Sicut erat in principio...*³

Шаракова исполнила приказание органиста, не смея ему в глаза взглянуть. Ведь именно затем, чтобы досадить ему, и отправилась она сегодня путешествовать!.. Но господь, пекущийся о слугах своих, расстроил планы мшнения и сделал так, что этот-то органист и избавит ее от беды.

— Видите ли, пани Шаракова,— говорил великодушный покровитель,— мне надо по делу ксендза заехать к пану Лоскому, тому, что тут, господи владыко, волостным судьей, но сперва я отвезу вас в местечко, и там мы спросим у евреев: кто из здешних помещиков ездит в простой таратайке? Потом мы разыщем Сташека, потом заберем, и я завезу вас с ребенком на мельницу. *Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum postrogi...*⁴

Но Шаракова уже не слушала его программы, возведенной на манер проповеди, а уткнулась лицом в руки и разрыдалась. Это ее немного успокоило.

¹ Во веки веков (лат.).

² И приближусь к алтарю господню (лат.).

³ Подобно тому, как было вначале (лат.).

⁴ Прощение, избавление и отпущение грехов наших (лат.).

Полчаса спустя бричка въехала на городскую площадь под аккомпанемент хлопающего бича и латыни, расточаемой еще более щедро, чем всегда, растроганным органистом.

* * *

Пан Лоский был мужчина средних лет, весьма порядочный и благопристойный; кроме этих достоинств, он отличался также своим здравым смыслом, изрядным помещьем и английскими бакенбардами. Небольшая плешь свидетельствовала о том, что сей славный муж смолоду неоднократно прошибал стену лбом и вообще вел не слишком благочестивый образ жизни. Обстоятельство это, однако, не подрывало уважения, которым он пользовался у соседей, а для жены делало его еще дороже, ибо примешивало к их нынешнему супружескому счастью капельку ревности к вчерашнему дню и капельку тревоги — относительно завтрашнего.

В качестве выборного волостного судьи пан Лоский отправлял свою должность к всеобщему удовлетворению. Не желая отрывать людей от работы, он обзавелся элегантной крытой таратайкой на рессорах и в суд, за две мили от дома, ездил один. Поэтому всякий раз, когда он возвращался из суда с опозданием, пани имела обыкновение как бы невзначай спрашивать его:

— Ты заезжал к кому-нибудь из соседей?

— Нет!.. — отвечал он. — Я прямо из суда.

— Ах!.. — кончала разговор пани, сожалея в душе, что в этот суд мужа не сопровождает кучер или по крайней мере какой-нибудь мальчишка.

Мы не уклонимся от истины, указав, что и знакомые судьи, а особенно дамы, до известной степени разделяли сомнения пани Лоской относительно безгрешного образа жизни ее супруга. Слава, раз завоеванная, живет вечно.

В тот день, когда случилось уже известное нам происшествие на дороге, пан Лоский возвращался домой около двух часов дня. В суде сегодня дел было немного, дома его ждали приехавшие в гости соседи, и он спешил

вернуться. Когда Шаракова прицепляла возок к его таратайке, он как раз задумался о тяжбе двух крестьян из-за курицы; потом размышлял о том, как развлечь своих гостей, и никак не предполагал, что может стать невольным виновником тяжелого горя кузнечихи и предметом увеселения для соседей.

В конце леса дорога в поместье судьи ответвлялась от большака влево. Лоский свернул на нее без всяких приключений и выехал в открытое поле. В одном месте какие-то люди копали ров, и судья заметил, что люди эти с большим оживлением показывают друг другу на его таратайку.

Потом повстречалась ему баба с маленьким мальчиком; они остановились посреди дороги и так широко разинули рты, словно собирались проглотить гнедую лошадь вместе с таратайкой. Столь явно выражавшееся изумление льстило судье, который с удовольствием убедился, что излюбленный им экипаж начинает обращать на себя внимание.

Стась, вначале восхищавшийся быстрой ездой и подсакиванием возка, вскоре соскучился и уснул, грезя, должно быть, о проказах Курта и поцелуях матери. Но вот таратайка, стукнувшись о подворотень, въехала во двор.

На веранде, под полотняным навесом, среди цветов сидела пани судейша, окруженная дамами и мужчинами, видимо в ожидании хозяина дома. Судья заметил это и, желая показать себя во всем блеске, решил объехать кругом большой газон. Конь, почуяв натянутые поводья, вскинул вверх прекрасную голову, перебирая в такт стройными ногами. Судья, чтоб не отстать от него, тоже напружинил ноги, изящно выпрямился и принял позу джентльмена.

Эффект, на который он рассчитывал, действительно удался. Когда, объезжая двор, судья поравнялся с верандой, все общество принялось ему рукоплескать, крича «браво!» и проявляя также и иные признаки удовольствия.

Лоский натянул поводья еще туже, конь вскинул голову еще грациозней, таратайка и прицепленный к ней возок с ребенком покатали еще торжественнее, а восторг

зрителей перешел в бешеное веселье. Это уже удивило судью, тем более, когда он заметил, что даже старый его слуга кусает себе губы, чтобы не расхохотаться.

— Браво!.. Браво!.. Поздравляем!.. Ха-ха-ха!...— кричали мужчины.

Лоский выскочил из таратайки и остолбенел, заметив, как переглянулись дамы с весьма двусмысленным видом и как у жены его, светлой блондинки и истинного ангела во плоти, появилась неопределенная улыбка на устах и очень определенные слезы в больших кротких глазах.

— Отведи лошадь в конюшню!— приказал слуге забеспокоившийся судья.

— А с этим что будем делать, ваша милость?..— спросил старый плут, указывая салфеткой на возок.

Лоский оглянулся и обомлел, увидев предмет, столь трудно совместимый с его положением мужа и стража законности. Эта злополучная история усложнялась еще более вследствие того, что у супругов Лоских не было детей.

— Поздравляем с находкой!..— хохотали мужчины.

— Так сделайте же меня хоть гласным!— кричал восьмидесятилетний экс-полковник, старый холостяк.

Между тем дамы окружили возок, в котором плакал проснувшийся Стась.

— Прелестный ребенок! — говорила одна.

— И какой нежненький!

— А ему уже по крайней мере годик, — прибавила третья.

— Так судья же ровно два года как трудится на пользу общества! — брякнул зычным голосом полковник.

— Но, господа, это, наверно, ошибка!— оправдывался изменившимся голосом несчастный судья.

— В таком адресе не может быть ошибки!— возразил неисправимый полковник.— Однако ничего не скажешь, мальчик хорошенький, как картинка!

Пользуясь кутерьмой, пани Лоская ускользнула в комнаты. Несколько минут спустя она вернулась с сильно покрасневшими глазами, но была уже спокойнее, словно примирилась с судьбой. За ней плыла старая, толстая ключница.

Когда судейша дрожащими руками вынула Стася из

возка и передала его ключнице, бедный муж спросил необычно смиренным тоном:

— Что ты думаешь с ним делать?

— Да ведь не отсылать же его в фольварк?..— тихо ответила жена с оттенком упрека в голосе.

Услышав это, молодые дамы покраснели, пожилые переглянулись и даже мужчины стали серьезны, а полковник сказал:

— Ну, дорогая пани, шутки в сторону, а вы хорошо сделаете, если сейчас покормите мальчишку,— он, наверное, проголодался. А своим чередом надо сообщить в приход и войту, потому что это очевидное недоразумение, а родители мальчугана, должно быть, чертовски беспокоятся...

Между тем ключница, пристально разглядывая ребенка, бормотала:

— Клянусь христовыми ранами, вылитый наш пан!.. Наш пан был в точности такой, когда ему исполнился годик!.. Я-то его помню: нос, глаза, даже родинка на шее!.. Точнехонько такой же! Ого!.. Это не мужицкое дитя...

Судейша, желая прервать эти неуместные замечания, легонько подтолкнула разболтавшуюся женщину к крыльцу и велела умыть и накормить ребенка. Гости уже спохватились и наперебой теперь возмущались столь очевидной небрежностью няньки, которая прицепила возок к таратайке, в то же время соболезнуя горю родителей. Судья поддакивал им, силясь угадать, в какой деревне ему прицепили мальчишку; а когда разговор перешел на другую тему и жена успокоилась, по крайней мере внешне, Лоский на минуту оставил гостей и поспешил в гардеробную.

Там, разогнав всю прислугу, обосновалась ключница; посадив ребенка на колени, она кормила его булкой с молоком. Стась ел, но в то же время беспокойно озирался в незнакомой комнате, словно искал мать. Когда вошел судья, мальчик, увидев мужчину, стремительно кинулся вперед, протягивая к нему ручонки, и закричал на своем детском языке:

— Папа!.. Папа!..

— Голос крови!.. Клянусь христовыми ранами! —

воскликнула ключница.—Ах, что это за умный ребенок... точнехонько, как пан.

Судья подошел к мальчику, внимательно поглядел на него, нежно коснулся его загорелой щеки, и вдруг, обернувшись сначала направо, потом налево, поцеловал Стася. Сделав это, к неописуемому умилению ключницы, он вышел в сени.

В сердце его проснулось странное чувство. Он был растроган, встревожен, но в то же время доволен и горд. Стась нравился ему больше, чем какой-либо иной ребенок.

В коридоре он встретил жену, но не посмел взглянуть ей в глаза. Заметив это, она протянула ему руку и вполголоса сказала:

— Я уже не сержусь.

Лоский крепко прижал ее к груди и тотчас же вышел на крыльцо, боясь, что она заметит его волнение.

* * *

Суббота в маленьких местечках — это день тишины и отдыха. По этой причине пан бургомистр городишка Х., пани бургомистерша и нотариус, их друг, отправились полудни на прогулку.

Бургомистр, маленький, пухлый человек, шел впереди. Правую руку, сжимавшую трость, он закинул за спину; а левую, согнутую в локте, нес перед собой совершенно так же, как церковный служка, собирающий на храм во время обедни, несет свой подносик. При этом он непрестанно ухмылялся и закрывал глаза; люди говорили, что он это делает, чтобы «не видеть, откуда падает» — разумеется, в эту протянутую руку.

Шагах в пятнадцати позади него следовал нотариус, долговязый стареющий холостяк, выступающий под руку с пани бургомистершей. Мы очень сомневаемся в том, чтобы такого рода прогулки удивляли кого-нибудь в местечке. Все привыкли к ним, не исключая и бургомистра, который был всегда доволен и думал лишь о том, чтобы «погуше падало».

В честь этой тройки местных знаменитостей у деревянных домишек зевало несколько шабашивших евреев,

а возле сломанного насоса лениво почесывался пес, четко обрисованные ребра которого могли послужить иллюстрацией здешнего благосостояния.

Когда гуляющие подходили к концу площади, на них едва не налетела стремительно мчавшаяся бричка органиста. Пан бургомистр отскочил в сторону, а пан нотариус, видимо от волнения, стал оправлять воротничок.

В ту же минуту бричка остановилась как раз против нотариуса.

— С ума ты, сударь, спятил, чего разогналса?— спросил тот.

— *Laudeatur*¹ Иисус Христос!..— ответил органист, притрагиваясь кнутовищем к шапке.

Бургомистр, заметив заплаканное лицо Шараковой, подошел к бричке, ухмыляясь, как всегда.

— Что такое?— спросил он,— несчастье какое случилось? Умер ли кто?.. Сгорело ли что?..

— Какой рассеянный человек!— продолжал нотариус.— Ведь чуть не задавил меня и Ю... то есть госпожу президентшу.

— Сынок у меня пропал... Стасечек мой!— вскричала кузнечиха, снова обливаясь слезами.

— Это еще что за особа?— спросила пани бургомистерша.

— Кажется, это дочь мельника Ставинского,— объяснил нотариус.

— И верно... Была Ставинская, а теперь кузнечиха. Помогите мне его найти, господа вы мои золотые!— молила Шаракова, трясясь от рыданий.

— Ха-ха-ха!— засмеялся бургомистр.— Нашла с чего плакать!.. Такая молодая,— да господь бог даст тебе еще десятерых!..

— Андрей, ведите себя прилично!— отчитала его пани бургомистерша, некогда воспитывавшаяся в институте в губернском городе.

— О, спасите меня, золотые мои господа!— простонала кузнечиха и, перегнувшись с брички, протянула руки, словно хотела обнять — сперва пани бургомистершу, а затем ее мужа.

¹ Да славится (лат.).

Но пани бургомистерша, которая окончила институт, с негодующим видом отпрянула назад, а не менее обиженный супруг ее воскликнул:

— Что это за фамильярность, чорт побери!... Ты что, не знаешь, кто я такой?..

— А как же, знаю: вы — почтеннейший пан бургомистр. Так помогите же мне найти моего сыночка... Ведь я-то, несчастная, уже и не знаю, сколько его не видала! Может, он где вылетел из возка, и еще его кто задавит!

— А мне-то какое дело? — спросил бургомистр. — Ступай себе к стражнику!.. Она воображает, что я стану за ее пащенком ходить!.. Слыхал, нотариус?

Слово «пащенок» окорбило кузнечиху. Слезы высохли у нее на глазах, к лицу прилила кровь.

— Так для чего же вы — бургомистр? — крикнула она. — Разве не для того, чтобы бедным людям помогать в несчастье?.. Это мой Сташек пащенок?.. Да вы и сами были таким, а он, может, когда-нибудь тоже, если найдется...

В этом месте рыдания прервали ее речь.

— Несознательная женщина! — пробормотал органист, очевидно, думая, что бургомистр не для того протягивает руку, чтобы помогать бедным людям в несчастье.

Как бы то ни было, ситуация могла бы стать крайне щекотливой, не вмешайся нотариус, которому приходилось иметь дело со Ставинским. Он прекратил ссору, предложив органисту рассказать, что случилось со Стасем.

Тем временем вокруг брички собралась целая толпа евреев, словно выросших из-под земли, и органист тоном проповедника поведал всем собравшимся о происшествии со Стасем. Когда в заключение он громким голосом обратился к присутствующим с вопросом, не знает ли кто помещика, который ездит в крытой таратайке на рессорах, — какой-то еврей крикнул:

— Я знаю! Это пан Лоский, судья...

— И слово стало плотью, — воскликнул органист. — Так у меня же именно к нему и было дело, и бог весть зачем только я заехал сюда!..

С этими словами он повернул коня назад.

— Так поезжайте же скорей, куманек, милый!— взмолилась кузнечиха, теребя органиста за полу длинного сюртука.

Однако о бричку облокотился какой-то еврей.

— Пани Шаракова,— сказал он.— Так вы запомните, что это я сказал... А уж я завтра приду в кузницу...

— Это еще что за мошенничество!— вскипел органист.— Да я и сам отлично знал, что пан Лоский ездит в суд в крытой таратайке, запряженной гнедой лошастью...

— Так зачем вы спрашивали, если вы сами знали?..— рассердился еврей.

— Нечего мне оправдываться перед всякими оборванцами!— высокомерно ответил органист, собираясь ехать.

— Едьте же, едьте!— просила Шаракова.

— Ай-вай! Какой важный пан!..— кричал еврей, хватая за поводья. — Пан органист! Я вам кое-что скажу!.. Может, вы будете ко мне ходить каждое воскресенье играть на шарманке?..

Толпа, окружающая бричку, покатила со смеху.

Гордый органист побледнел, уязвленный в самое чувствительное место своей амбиции, и в глазах его блеснула жажда мщения. Он поднялся на козлах и, вытянувшись во весь свой длинный рост, воскликнул зычным, торжественным голосом:

— Лейбусь! Крещу тебя... In nomine Patris...¹

— Ай-вай!.. Ду озорник! Ду свиное ухес!— закричала толпа, бросаясь врассыпную.

Органист тотчас хлестнул коня, и бричка понеслась в клубах пыли, смеха и брани.

Они ехали уже добрых четверть часа крупной рысью. Шаракова поминутно вставала и, пошатываясь в тряской бричке, смотрела на дорогу.

— Пан органист!..

— Чего там?

— Далеко еще?..

— Да меньше мили, мигом доедем!

Лошадка была сильная и резвая, но уже и на ее гладкой шерсти проступили большие пятна пота.

¹ Во имя отца (лат.).

— Ну-у, малыш!— кричал органист.

Минутами облако пыли, волочившееся за ними, как хвост, нагоняло бричку, преграждало ей путь и засыпало мелким песком три пары глаз. Тогда лошадка свешивала голову между колен и фыркала, органист протира л глаза толстым рукавом, и только бедная мать, даже не смыкая век, смотрела на дорогу.

— Пан органист!

Органист знал уже, что ей надо, и, не дожидаясь, ответил:

— Вон там, за деревьями... Видите?.. Не прочитать и десяти молитв, как доедем.

Свернули вправо. В поле какие-то люди копали ров. Бричка остановилась.

— Эй! Эй!.. — кликнул землекоп органист, закивав ему головой.

Один из работников положил лопату и пошел к бричке. У Шараковой сердце стучало, как молот в кузнице, и, хоть бричка стояла, женщина тряслась так, словно они все еще мчались.

— Что, пан воротился домой?— спросил органист подошедшего землекопа.

— Да, воротился!

— А не видали вы возка за его таратайкой?

— А как же, видали!

— И ребенок был там?

— Надо думать, был, что-то там тряслось в середке.

— Ну, спаси вас бог.

— Поезжайте с богом!.. Это ваш?

— Нет, не мой... вон этой пани!— ответил органист, показывая кнутом назад.

— Пан органист...— снова позвала его кузничиха.

— Чего вам?

— Пустите меня из брички... Я пешком пойду, думается мне, дойду-то я скорее.

— Вот еще! Не мудрите, пани... Ну-у, малыш!

— О Иисусе! Иисусе!.. да только найду ль я его!..— шептала кузничиха, преклонив колени на тряском дне брички.

Лошадь неслась вскачь.

Не доезжая до имения примерно с версту, органист

заметил какой-то серый клубок, быстро перекатывавшийся с одного края дороги на другой. Подъехав ближе, он увидел собаку, которая бежала, низко опустив морду, впереди брички.

— Курта!.. — крикнул органист. — Смотрите-ка, пани, ваш Курта здесь!

Пес, увидев кузнечиху, с лаем и визгом бросился к бричке, хватая за морду лошадь, которая, фыркая, отмахивалась от него, как могла. Верный песик, вырвавшись из хлева, по следу стасева возка прибежал в этукую даль.

— Ну, все идет хорошо, — обрадовался органист и натянул поводья.

Наконец остановились у ворот усадьбы.

Кузнечиха выскочила, прошла несколько шагов и, вдруг почувствовав головокружение, прислонилась к воротам. Органист взял ее под руку, и так они пошли к дому, сопровождаемые Куртой, который все еще лаял, скакал и кружился волчком.

Был обеденный час, и все сидели на веранде за столом. Приезжие остановились у забора, робко поглядывая издали на господ, как вдруг Курта понесся вперед. За ним, вскинув руки, побежала кузнечиха и, запыхавшись, упала на колени в конце стола, где сидел у ключницы на руках ее Стась, живой, выспавшийся и улыбающийся.

— Пошел вон! Ах ты, разбойник! — вопила испуганная ключница, отгоняя Курту, который во что бы то ни стало хотел на нее вспрыгнуть.

— Мать! Мать! — закричали гости, увидев женщину, которая повалилась наземь и плача целовала толстые ножки Стася.

Обед был прерван; все встали и окружили нижний конец стола, где в это время разыгралась забавная сцена: две женщины ссорились из-за ребенка.

Шаракова хотела забрать свою собственность, а ключница не отдавала ей мальчика.

— Это мой сын! Мой Стасенек! — зывала мать.

— Да вы кто такая?.. — с криком отбивалась от нее ключница. — Вот тоже... нахальство!.. Хватает такое нежное дитя, словно это окорок!

— Так это же мой!

— Кто ваш!.. Это сын нашего пана, и все тут могут подтвердить!.. Такой красавчик!.. Ага, видишь, пани?.. Вот наш пан пришел... Отдавай, пани, мальчика!..

Все смеялись без всяких церемоний.

— Вам-то хорошо смеяться,—негодовала ключница,— а ведь это нашего пана сын!.. Вылитый!.. Да пошел ты вон, паршивый пес!—прикрикнула она снова на Курту.

Шаракова, не вставая с колен, обернулась и с изумлением посмотрела на того, кого звали отцом Стася. Разглядев его, она сказала с наивной непринужденностью:

— Не был бы он такой красавчик, кабы был вашего пана сын. Это кузнеца сынок... Юзефа Шарака!..

Тут, наконец, вмешался органист и в проникновенно-елейной речи возвестил, что потерянное дитя, нареченное при святом крещении Станиславом, поистине было законным сыном Юзефа Шарака и супруги его, Малгожаты, урожденной Ставинской.

Известие, исходившее из столь серьезного источника, пани судейша приняла со всеми признаками глубокого удовлетворения, между тем как судья усмехался с таким видом, словно съел целую мерку неспелого терна.

— Фью-фью!—свистнул старый полковник и прибавил: — Ловко!..

Судья небрежно махнул рукой и с кислой гримасой произнес:

— Я очень рад, что этот бедный мальчик так скоро нашел своих родителей!..

— Это напоминает мне басню, которая называется «Лисица и виноград»,— снова не утерпел полковник.

Дамы кусали губы, судья ерзал, как на иголках, органист ничего не понимал, а Шаракова, ласкавшая Стася, была так им поглощена, что ничего не слышала.

Было бы излишним упоминать, что органисту пришлось во второй раз рассказать приключение Стася.

Пособолезновав его матери, все стали смеяться по поводу происшедшего недоразумения, за исключением ключницы, которая узнала с великой скорбью, что Стась не был сыном ее пана.

— А ведь какой умный!.. А как похож!.. Даже родника такая же на шейке,—бормотала старуха.

В заключение прибавим, что органист, уладив у судьи дело ксендза, отвез Шаракову к ее отцу и там в третий раз рассказал уже известную нам историю обомлевшему от страха Ставинскому. Распрощавшись с ним, он в этот же день рассказал ее в четвертый раз кузнецу и в пятый раз ксендзу.

В воскресенье после обедни Ставинский, дочь и его внук, а также все батраки высыпали на мост, завидев едущую из города одноконную бричку, в которой — о чудо! — сидели рядышком, как родные братья, кузнец Шарак и органист Завада...

Старый мельник обратился к обоим уже помирившимся противникам с длинной и скучной речью, призывая их простить друг другу обиды, что в настоящую минуту было совсем излишне. Потом он пригласил всех к обеду, а после обеда вручил органисту пятьсот злотых в виде беспроцентного займа сроком на три года. Впоследствии органист часто повторял в назидание ближним следующую сентенцию:

— Возлюбленные братья! Вспоминая свою жизнь, я вижу ясно, что милосердный господь бог никогда не покидает людей, подобных мне: добродетельных и справедливых. *In saecula saeculorum!*¹

В понедельник органист был уже у себя в костеле, Шарак в кузнице, Стась играл с Куртой во дворе, под надзором Магды, а кузнечиха работала на огороде.

Около полудня к дому их подъехала небольшая телега, и какой-то человек (не из их деревни) вытащил из нее прелестного рыжего теленка с белой звездочкой во лбу. Малолетнее четвероногое, видимо, испугалось заливавшегося лаем пса и не хотело итти, поэтому возница ухватил его одной рукой за загривок, другой за хвост и таким образом препроводил его к удивленной Шарак-ковой.

— Что такое?.. Откуда это?.. — спрашивала хозяйка.

— А это вам пани Лоская дарит в приданое вашему мальцу, — ответил нарочный.

¹ Во веки веков (лат.).

— Юзек!.. Магда... да подите же сюда!.. У Стася будет корова!.. прислали ему из имения!— восклицала кузнечиха, с восхищением целуя теленка, у которого Курта с наименьшим восхищением исподтишка ощипывал хвост.

Этим эпилогом окончилось приключение Стася.

ЖИЛЕТ

Некоторые люди имеют склонность собирать редкости, ценность которых строго соответствует содержимому их кармана. Я также обладаю такой коллекцией, правда скромной, как это обычно бывает в самом начале.

В ней находится первая моя драма, писанная еще в гимназии на уроках латыни... Есть несколько засушенных цветочков, которые придется заменить новыми, есть...

Кажется, больше ничего и нет, кроме одного очень старого и ветхого жилета.

Вот он. Перёд его выцвел, а спина протерлась. Весь в пятнах, пуговиц недостает, на полё дырочка, по всем признакам, прожженная папиросой. Но всего любопытнее—язычки пряжки. Тот, к которому она прикреплена, укорочен и пришит к жилету совершенно не по-портновски, а второй почти по всей своей длине исколот зубчиками пряжки.

Смотря на это, сразу догадываешься, что хозяин жилета день ото дня худел и наконец достиг той границы, за которой одевание это перестает быть необходимым, но появляется непреодолимая потребность иметь застегивающийся под самую шею фрак со складов похоронного бюро.

Признаюсь, что сейчас я бы охотно уступил любому эту суконную тряпку, которая мне несколько даже мешает. Шкафов для коллекции у меня еще не имеется, держать же этот многострадальный жилет среди частей личного гардероба у меня нет никакого желания. Однако было время, когда я купил его по цене, значительно превосходящей его стоимость, и заплатил бы, пожалуй, еще дороже, умей продающий торговаться. В жизни человека бывают такие минуты, когда он стремится окру-

жить себя предметами, вид которых напоминает ему о чем-то скорбном.

Печаль эта свила гнездо не у меня, но в квартире моих ближайших соседей, настолько близких, что из своего окна я мог постоянно заглядывать в глубину их комнаты.

Еще в апреле их было трое: хозяин, хозяйка и молоденькая прислуга, спавшая, насколько мне известно, на сундуке за шкафом. Шкаф был темновишневый. В июле, если не ошибаюсь, осталось их всего двое: хозяин и хозяйка, так как прислуга перешла к таким господам, которые платили ей целых три рубля в год и ежедневно варили обед.

В сентябре осталась только одинокая хозяйка. Собственно не совсем одинокая, так как в комнате сохранилось еще немало мебели: две кровати, стол, шкаф... Но в начале ноября распродали с молотка ненужные вещи, а у женщины от всего мужнина наследства остался только жилет, который теперь и составляет мою собственность.

Однажды, в конце ноября, женщина позвала в пустую квартиру старьевщика и продала ему за два золотых свой зонтик и за сорок грошей жилет — последнюю память по мужу. Затем закрыла на замок квартиру, медленно перешла через двор, отдала в воротах дворнику ключ, секунду смотрела на окно, бывшее когда-то своим, осыпаемое теперь мелкими снежинками, и тотчас исчезла за воротами.

Во дворе остался старьевщик. Он приподнял вверх большой воротник своего балахона, воткнул подмышку только что купленный зонтик и, закутав в жилет свои красные от холода руки, забормотал:

— Старье берем, старье берем!..

Я позвал старьевщика.

Через несколько минут он снова выкрикивал во дворе «Старье берем!»—и, когда я показался в окне, поклонился мне с дружелюбной улыбкой.

Снег начал падать так густо, что почти смерклося. Я положил жилет на стол и начал размышлять то о женщине, только что вышедшей из ворот в неизвестное, то о квартире по соседству, внезапно опустевшей, то наконец о хозяине жилета, которого покрывал все более глубокий пласт снега...

Всего три месяца назад я слышал, как солнечным сентябрьским днем они разговаривали между собой. Помнится, в мае женщина даже напевала какую-то песенку, а он, погруженный в чтение «Воскресной газеты», смеялся. А сегодня...

В нашем доме они поселились в первых числах апреля. Вставали довольно рано, пили чай из жестяного самовара и вместе выходили в город. Она — давать домашние уроки, он — в контору.

Он был мелким служащим, смотревшим на начальников отделов снизу вверх, как путешественник на Татары. Именно поэтому ему приходилось много работать, целыми днями. Видел я его и в полночь, согнувшимся над столом возле лампы.

По обыкновению, жена сидела возле него и шила. Иногда, взглянув на него, она откладывала работу и говорила наставительным тоном:

— Ну, хватит уж, хватит, ложись спать.

— А ты когда ляжешь?..

— Я... вот только закончу несколько стежков...

— Ну тогда и я напишу еще парочку строк.

И они снова склонялись оба над своей работой. Через некоторое время женщина опять говорила:

— Ложись!.. ложись!

Иногда словам ее вторили мои часы одним коротким ударом. Час ночи!

Это были молодые люди, не красавцы, но и не уроды, вообще спокойные люди. Насколько помню, женщина была значительно более худощава, чем ее муж, обладавший достаточно солидной фигурой по сравнению с мелкой своей должностью.

По воскресеньям, еще перед полднем, выходили они на прогулку, держась под руку, и возвращались домой поздним вечером. Обедали, вероятно, в городе. Однажды я встретил их возле ворот, отделяющих Лазенковский парк от Ботанического сада. Супруги купили себе два бокала великолепного лимонада и два больших пряника, а лица их в эту минуту были воплощением мещанского самодовольства, словно они привыкли есть за вечерним чаем ветчину с хреном...

В сущности бедному человеку не так-то много и надо для поддержания душевного равновесия. Немного пищи, вдоволь работы и побольше здоровья. Остальное приходит само собой.

Соседям моим пищи, кажется, хватало, а уж работы-то во всяком случае. Но со здоровьем не всегда обстояло так благополучно.

Как-то в июле мужчина простудился, хотя и не сильно. Но, по удивительному стечению обстоятельств, одновременно у него открылось настолько сильное кровотечение, что он даже потерял сознание.

Случилось это ночью. Жена, укутав его в постели, привела в комнату сторожиху, а сама побежала за врачом. Обращалась к пятерым, но нашла лишь одного — и то случайно встретив на улице.

Доктор, взглянув на нее при колеблющемся свете фонаря, решил прежде всего ее успокоить. Поскольку же она шаталась от усталости, а извозчика на углу не было, он взял ее под руку и объяснял дорогой, что кровотечение еще ничего не доказывает.

— Кровотечение может быть из горла, из носа, из желудка и лишь в исключительных случаях из легких. Собственно, если человек всегда был здоров, никогда не кашлял...

— О, лишь иногда! — прошептала женщина, приостанавливаясь, чтобы отдышаться.

— Иногда, это еще пустяки. У него может быть легкое воспаление бронх.

— Да... это бронхит!.. — повторила уже громче женщина.

— Воспаления легких у него, конечно, никогда не было?

— Было, но... — ответила женщина, снова останавливаясь.

Ноги не совсем крепко ее держали.

— Да, но наверно уже давно!.. — поспешил кончить за нее врач.

— О, очень... очень давно! — подтвердила она торопливо. — Еще прошлой зимой.

— Полтора года тому назад?

— Нет... Но еще перед Новым годом... О, уже давно!

— Так-с!.. Ну и темная же здесь улица, да еще и небо немного заволокло... — сказал врач.

Они подошли к дому. Женщина с тревогой спросила у дворника: что слышно? — и узнала, что ничего. В квартире сторожика тоже сказала, что ничего не слышно, а больной дремал.

Врач осторожно его разбудил, выслушал и сказал, что это ничего.

— Я ведь сразу сказал, что это пустяки! — отозвался больной.

— О, ничего!.. — подтвердила женщина, судорожно сжимая его влажные руки. — Ведь я же знаю, что кровотечение может быть из желудка или из носа. У тебя, вероятно, из носа. Ты такой полный, должен много двигаться, а ты постоянно сидишь. Не правда ли, господин доктор, что ему необходимо двигаться?

— Конечно! конечно!.. Движение вообще-то необходимо, но вашему супругу лучше несколько дней полежать. Может он уехать в деревню?

— Не может... — грустно прошептала женщина.

— Ну, нет так нет. Значит, останется в Варшаве. Я буду его навещать, а пока что пусть он немного полежит и отдохнет. Но если кровотечение повторится... — добавил врач.

— Господин доктор, что же тогда? — поспешила спросить женщина, побледнев, как воск.

— Ну и ничего. Супруг ваш отдохнет, там затянется...

— Там... в носу?.. — проговорила женщина, умоляюще сложив перед доктором руки.

— Да... в носу! Это же очевидно. Вы только поскорее успокойтесь, а в остальном положитесь на бога. Спокойной ночи.

Слова врача так успокоили женщину, что после нескольких часов испуга ей сделалось почти весело.

— Вот видишь, и что же тут особенного! — сказала она мужу, немного смеясь и немного всхлипывая.

Женщина стала на колени перед кроватью больного и принялась целовать его руки.

— Что же тут особенного! — тихо повторил он и улыбнулся. — На войне, например, человек теряет столько крови, а ведь бывает же потом здоров!

— Ты бы уж лучше не разговаривал, — попросила жена.

За окном начало рассветать. Летние ночи, как известно, очень недолги.

Болезнь протянулась значительно дольше, чем они предполагали. Муж уже не ходил в контору, что не доставляло ему никаких неприятностей, особенно потому, что, являясь наемным служащим, он не должен был стараться получить отпуск и мог начать служить, когда ему только вздумается, конечно, при условии, если бы он нашел новую должность. Поскольку же, сидя дома, он чувствовал себя значительно лучше, жена его добила несколько дополнительных уроков в неделю и при их помощи кое-как боролась с домашней нуждой.

Обычно она уходила в город в восемь часов утра. К часу возвращалась домой, чтобы сварить мужу на примусе обед, и, пробыв с ним немного, опять убегала в город.

Но уж вечера-то они проводили вместе. Женщина, чтобы не терять времени попусту, брала теперь несколько больше шитья.

Как-то в конце августа женщина встретила с врачом на улице. Они долго прогуливались вместе. Перед тем как расстаться, она схватила врача за руку и умоляюще попросила:

— Но все же, господин доктор, вы к нам заходите. Бог милостив, и может быть... Его так успокаивает каждый ваш визит.

Врач обещал, а женщина вернулась домой как будто заплаканная. В результате принудительного постельного режима муж ее стал каким-то раздражительным и мнительным. Он сделал жене выговор, что она слишком о нем беспокоится, что ему все равно суждено умереть, а в конце спросил:

— Может быть, доктор сказал тебе, что мне не протянуть и нескольких месяцев?..

Женщина онемела.

— Что ты болтаешь? — ответила она. — Откуда у тебя такие мысли?

Больной рассердился.

— Э, подойди сюда ближе, вот сюда!.. — произнес он резко, хватая ее за руки. — Смотри мне прямо в глаза и отвечай: не говорил тебе этого доктор?

И он уставился в нее своими воспаленными глазами. Казалось, что под этим взглядом даже стена раскрыла бы свои тайны, если бы имела их.

По лицу женщины разлилось удивительное спокойствие. Она нежно улыбалась, выдерживая этот дикий взгляд. Только глаза ее словно подернулись ледяной пленкой.

— Доктор говорил, — сказала она, словно отражая удар, — что все это пустяки, только тебе надо немного отдохнуть...

Муж внезапно выпустил ее руку, задрожал и засмеялся, а потом, махнув рукой, сказал:

— Ну, вот видишь, какой я вспыльчивый!.. И должно же мне было взбрести на ум, что доктор начал во мне сомневаться. Но... ты убедила меня... Теперь я спокоен.

Он потешался все веселее над своею мнительностью.

Приступ подозрительности никогда больше не повторялся. Ведь тихое спокойствие жены было для больного лучшим признаком того, что состояние его не является таким уж угрожающим.

Собственно, по какой причине могло оно стать угрожающим?

Правда, он все кашлял, но это лишь потому, что у него воспалены бронхи. Иногда после долгого сидения из носу показывалась кровь. Да, по временам у него было что-то вроде жара, но, собственно, это не был жар, а всего-навсего нервное состояние.

Вообще же он чувствовал себя все бодрее. Появлялось желание совершить какую-нибудь далекую прогулку, но сил для этого что-то нехватало. Наступило даже время, когда днем он не хотел лежать в постели и сидел в кресле одетый, постоянно готовый выйти, только бы оставила его эта временная слабость.

Его беспокоила, в сущности, лишь одна деталь.

Однажды, надевая жилет, он почувствовал, что сидит оп на нем как-то слишком свободно.

— Неужели я настолько похудел?.. — прошептал больной.

— Да это же естественно, что ты должен был не-

сколько похудеть, — ответила жена. — Но нельзя и преувеличивать...

Муж внимательно на нее посмотрел. Она даже не подняла головы от шитья. Нет, спокойствие ее не могло быть притворным! Жена ведь знает от доктора, что он не так уж сильно болен, а поэтому у нее нет причин беспокоиться.

В начале сентября нервное состояние, похожее на жар, беспокоило его все сильнее и продолжалось целыми днями.

— Глупости! — говорил больной. — При переходе от лета к осени у самых здоровых людей случаются расстройства, каждый чувствует себя неважно. Одно меня удивляет: почему жилет сидит на мне все свободней?.. Я, видимо, страшно исхудал и, понятно, до тех пор не смогу выздороветь, пока не пополнею, уж это так.

Жена внимательно прислушивалась к его словам и должна была признать, что муж ее прав.

Больной ежедневно вставал с постели и одевался, хотя без помощи жены не мог теперь натянуть на себя никакой одежды. Жена добилась лишь одной уступки, чтоб сверху он не надевал сюртука, а только демисезонное пальто.

— Что же тут удивительного, — говорил больной частенько, поглядывая в зеркало, — чему же тут удивляться, что я обессилел. У меня такой ужасный вид!

— Ну, лицо ведь всегда легко изменяется, — вставляла жена.

— Действительно, только я и телом худею...

— Не воображение ли это? — промолвила женщина с большим оттенком сомнения.

Он задумался.

— Н-да! быть может, ты и права... Так как... с некоторого времени я замечаю, что... что мой жилет...

— Да перестань ты! — перебила его женщина, — не пополнил же ты, в самом деле?

— Как знать? Вот ведь если принять во внимание жилет, то...

— В таком случае ты должен поправляться.

— Эх! Ты бы хотела так сразу... Мне прежде всего надо хоть немного пополнеть. Скажу тебе больше, что

если я и пополю, то все же силы ко мне вернутся не так-то сразу... Но что ты там делаешь за шкафом?.. — добавил он внезапно.

— Ничего. Ищу в сундуке полотенце, но не знаю... есть ли чистое.

— Только не переутомляйся так сильно, ведь у тебя даже голос изменился. Это ведь тяжелый сундук.

Действительно сундук был тяжелым, так как у нее на лице появились пятна. Но она оставалась спокойной.

С этой поры больной посвящал жилету все большее внимание. Через несколько дней он подозвал к себе жену и сказал:

— Ну... посмотри же. Убедись сама: еще вчера я мог вложить сюда палец, вот сюда. А сегодня уже не могу. Я, действительно, начинаю полнеть!

Однажды радость больного стала почти безграничной. Он встретил возвращавшуюся с уроков жену сияющим взглядом:

— Послушай меня, родная, я открою тебе один секрет... Видишь ли, с этим жилетом я несколько жульничал. Чтобы тебя успокоить, я ежедневно сам немного подтягивал пояс, и только потому жилет был все теснее... Таким образом дотянул я его вчера до конца. И уже боялся, не раскроется ли мой секрет, но вот сегодня... Вообрази себе... Сегодня я, даю тебе честное слово, вместо того чтобы подтянуть язычок, должен был немного его отпустить! Мне было форменным образом тесно, хотя еще вчера жилет был немного свободен. Ну, теперь-то и я верю в выздоровление. Лично я!.. Пусть доктор думает, что ему угодно.

Долгая речь так его взволновала, что он должен был подойти к кровати. Однако, как человек, который без подтягивания пояса начинает полнеть, он не лег на нее, но сел, как в кресле, и оперся на плечо жены.

— Ну-ну!.. — шепнул больной. — И кто бы мог подумать? Две недели я обманывал свою жену, говоря, что жилет тесен, а сегодня он действительно, кажется, тесен!.. Ну-ну!

Так они и просидели, прижавшись друг к другу, весь вечер.

Больной был растроган, как никогда.

— Боже мой! — шептал он, целуя жене руки, — а мне-то казалось, что так я и буду худеть до... конца. В течение этих двух месяцев я сегодня впервые уверовал, что поправлюсь. Ведь больных все обманывают, а жены больше всего. Но жилет, — этот уже не обманет!

Сегодня, глядя на старый жилет, я вижу, что над его язычками трудилось два человека. Муж — ежедневно передвигал пряжку, чтобы успокоить жену, а она — укорачивала язычок, чтобы подбодрить мужа.

«Сойдутся ли они когда-нибудь вместе, чтобы открыть друг другу все тайны жилета?» — думал я, смотря в небо.

Неба же над землей почти не было. Падал лишь снег — такой гутой и холодный, что даже людской пепел, наверно, замерзал в могилах.

Но кто же, однако, решится сказать, что там, за этими тучами, нет солнца?..

МИХАЛКО

Работы на постройке железной дороги закончились. Подрядчик выплатил что кому причиталось, обманул кого можно, — и люди толпами начали расходиться по своим деревням.

Возле корчмы, стоявшей неподалеку от насыпи, было шумно до самого полдня. Один наполнял бубликами кошелку, другой запасался водкой, чтобы выпить дома, третий напивался тут же на месте. Потом, наделав из грубых холстин котомки и повесив их на плечи, все шли, крича на прощанье:

— Будь здоров, глупый Михалко!..

А Михалко остался.

Остался посреди серого поля и даже не смотрел вслед уходящим, а на сверкающие рельсы, убежавшие куда-то далеко, неизвестно даже куда. Ветер растрепал его темные волосы, полоскал в воздухе белую рубашу и доносил издали последние слова затихающей песни.

Вскоре за кустами можжевельника скрылись сермяги,

парусиновые рубахи и круглые шапки. Потом затихла и песня, а он все стоял с заложенными за спину руками, так как ему некуда было идти. Так же вот, как этот заяц, прыгающий сейчас через рельсы, так и он, крестьянский сирота, гнездо имел в поле, а кладовку — где бог пошлет.

За песчаным бугром раздался свист, за клубился дым и застучали колеса. Подошел рабочий поезд и остановился возле недостроенной станции. Полный машинист и его молоденький помощник соскочили с паровоза и побежали в корчму. За ними поспешили и смазчики. Остался только инженер, задумчиво присматривавшийся к безлюдной местности и прислушивавшийся к шороху пара в паровозном котле.

Парень знал инженера и поэтому низко, до земли, ему поклонился.

— А, это ты, глупый Михалко! Что же ты здесь делаешь? — спросил инженер.

— Да ничего, господин инженер! — ответил парень.

— Почему же ты не идешь в деревню?

— А что мне там делать, господин инженер.

Инженер стал что-то напевать, а потом сказал:

— Ну, так поезжай в Варшаву. Там всегда найдется работа.

— Так ведь я не знаю, где она, эта Варшава.

— Садись в вагон, тогда и узнаешь.

«Глупый Михалко», как кот, вскарабкался на платформу и уселся на куче камней.

— А есть ли у тебя хоть немного денег? — спросил инженер.

— Малость есть, рубль сорок копеек и золотый мелочью.

Инженер снова затянул песню и начал осматриваться по сторонам, а в паровозе все шумел и шумел пар. Наконец из корчмы выбежали паровозники, с бутылками и узелками. Машинист и его помощник взошли на паровоз — и двинулись.

Проехали версты две, и на повороте показались дымки бедной, построенной среди болот деревеньки. Увидев ее, Михалко просветлел. Он принялся смеяться и кричать (хотя на таком расстоянии все равно никто бы его

не услышал), замахал шапкой... Смазчик, сидевший на высоком помосте, даже прикрикнул на него:

— Эй, чего ты там выгибаешься? Еще слетишь ко всем чертям.

— Так ведь это наша деревня. Там, вот там!..

— Ну, коли ваша, так сиди спокойно,—ответил смазчик.

Михалко уселся спокойно, как ему было приказано. Только очень уж тошно стало у него на сердце, и он принялся читать молитву. Ах, как бы ему хотелось вернуться в свою деревню, слепленную из соломы и глины, туда — в тишину болот... Но к чему ему это? Хотя его и называли «глупым», он все же понимал, что на широком свете меньше мрут от голода и легче найти ночлег, чем у них в деревне. О, на свете и хлеб белее, и на мясо можно хоть взглянуть, домов больше, и люди не такие тощие, как у них в деревне.

Пронеслась за станцией станция, на одной задерживались дольше, на другой меньше. Когда зашло солнце, инженер приказал накормить парня, а он за это поклонился ему в ноги.

Поезд въезжал в совершенно новые места. Не было здесь разливающихся болот, но зато всюду холмистые поля, извилистые и быстрые речки.

Исчезли курные избы и плетеные из лозы овины, показались красивые усадьбы и каменные постройки, полнее, чем у них костелы или корчмы.

Ночью остановились возле города, построенного на горе. Казалось, что дома взбираются один на другой, а в каждом было столько огней, сколько звезд в небе. И за сотню похорон не увидишь столько свечек, сколько горело их в этом городе...

Откуда-то доносилась музыка, такая красивая, люди ходили толпами, смеясь и веселясь, хотя ночь была такая поздняя, что на деревне в эту пору ты слышал бы только голос вампира и лай потревоженных собак.

Михалко не спал. Инженер велел дать ему фунт колбасы и каравай хлеба, а потом прогнали его на другую платформу, на которой везли песок. Здесь было мягко, как в пуху. Но парень не ложился, — он сидел на корточках, уплетал колбасу с хлебом, да так, что у него глаза вылезали на лоб, и думал:

«Не плошай! Что за удивительные вещи бывают на этом свете!»

После нескольких часов стоянки, перед рассветом, поезд двинулся вперед, и они быстро поехали. На одной из станций, среди леса, задержались дольше, и смазчик сказал парню, что инженер, верно, поедет назад, так как получил телеграмму.

Действительно, инженер позвал к себе Михалко.

— Мне надо вернуться, — сказал он. — А ты поедешь один в Варшаву?

— А кто его знает! — прошептал парень.

— Ну, да ведь среди людей не пропадешь?

— А кому меня потерять, когда у меня никого-то и нету?..

В самом деле, кому он нужен?

— Ну, так поезжай, — сказал инженер. — Там сейчас возле вокзала строят новые дома. Будешь носить кирпичи и с голоду не умрешь, только не спейся с круга. Потом тебе, может, лучше станет. На всякий случай вот тебе рубль.

Парень взял рубль, обнял инженеру колени и снова уселся на своей платформе с песком.

Поехали.

Дорогой он спросил смазчика:

— Далеко ли отсюда до нашей станции?

— Кто его знает. Верно, миль сорок.

— А пешком долго пришлось бы идти?..

— Верно, недели три. Откуда мне знать.

Беспредельный страх овладел парнем. Зачем он, несчастный, забрался так далеко, откуда целых три недели пути домой...

В деревне им не раз рассказывали о мужике, которого схватил вихрь и, прежде чем успеешь перекреститься, унес за две мили и там швырнул — уже мертвым. Не случилось ли и с ним подобное? А эта полыхающая огнем машина, которой боятся пожилые люди, не хуже ли она этого вихря?.. Куда-то она его еще забросит?

При этой мысли Михалко уцепился за край платформы и закрыл глаза. Теперь он почувствовал, как мчит его машина, как страшно гудит, как ветер хлещет в лицо и хохочет: Ху-ху-ху!.. Хи-хи-хи!..

Ой, схватила ж его буря, понесла!.. Хорошо, что не от матери, не от отца и не от собственной хаты, — сироту с широкого поля.

Понимал Михалко, что неладное с ним творится, но что же он мог теперь поделывать? Плохо ему, еще хуже, верно, будет, но так как бывало ему уже и плохо, и хуже, и еще хуже, открыл глаза и снял руки с края платформы. Видно, такова воля господня. Для того он и мужик бедный, чтобы тащить на горбу горе, а в сердце тоску и страх...

Паровоз пронзительно засвистел. Михалко глянул вперед и увидел перед собой словно лес домов, подернутых пеленой дыма.

— Что это там, пожар, что ли? — спросил он смазчика.

— Варшава это!..

Снова парню словно сдавило грудь. Как же он посмеет войти туда, в этот дым?

Вокзал. Михалко вылез. Поцеловал смазчику руку и, осмотревшись, потихоньку пошел к магазину, на вывесках которого намалеваны были кружки с красным пивом и зеленая водка в бутылках. Не охота выпить тянула его туда, а что-то другое.

Позади пивной виднелся строящийся дом, а перед магазином стояли каменщики. Михалко припомнил сразу совет инженера и пошел спросить про работу.

Каменщики, brave ребята, испачканные кирпичом и известкой, сами его задели:

— Эй, кто ты такой?.. Откуда?.. Как там тебя по матери кличут?.. Кто это тебе такую шапку сшил?..

Один потянул его за рукав, другой нахлобучил на глаза шапку. Несколько раз обернули его волчком, так что он и не знал, с которой стороны к ним явился.

— Откуда ты, парень?

— Из Вилчелыков! — ответил Михалко.

Так как говорил он особенным поющим говором и все лицо его выражало испуг, каменщики хором захохотали.

А он стоял между ними и, несмотря на то, что на него смотрели немного свысока, тоже смеялся.

«Вот это веселый народ, не плошай!» — думал он.

Его смех и почтительное выражение лица расположили к нему каменщиков. Они успокоились, начали его расспрашивать. А когда он сказал, что ищет работы, велели идти с ними.

— Глупый, бестия, но, кажется, хороший парень, — сказал один из мастеров.

— Придется его принять, — добавил второй.

— А «вкупишься» ты? — спросил у Михалко мастеровой.

— Поставишь четверть водки, — пояснил другой.

— Или получишь встряску, — со смехом вмешался третий.

Подумав, парень ответил:

— Так уж лучше мне получать, чем давать...

Каменщикам и это понравилось. Они, для порядка, несколько раз нахлобучили ему на глаза шапку, но о водке не вспоминали, не давали ему и взбучки.

Так, забавляясь, пришли они на место и принялись за работу. Мастера влезли на высокие леса, а девки и подростки взялись подносить кирпичи. Михалко, как новичка, поставили месить лопатой известь с песком.

Вот так он и стал каменщиком.

На другой день в помощь ему дали девушку, такую же бедную, как и он сам. Одеждой ей служили лишь старый платок, дырявая юбка и рубаха — сжался, господи! Она вовсе не была красивой. Лицо было худое и темное, короткий нос вздернут, а лоб низкий. Но Михалко был непривередлив. Как только она стала возле него с лопатой, он сразу проявил к ней интерес, как это бывает обычно между мужчиной и женщиной. Когда же она посмотрела на него из-под выцветшего платка, Михалко почувствовал какое-то разливающееся по всему телу тепло. Он до того осмелел, что первым решился спросить:

— Откуда будете? Давно ли вы в Варшаве? Долго ли с каменщиками работаете?

Так он допытывался у нее обо всем, вежливо обращаясь на «вы». Но так как она сразу стала говорить ему «ты», Михалко последовал ее примеру.

— Не мучайся, — говорил он, — уж я и за тебя и за себя сработаю.

И трудился он честно, так что пот с него бежал ручьями, а девушка только водила поверху лопатой, вперед и назад.

С той поры они ходили всегда вдвоем, весь день вместе и всегда наедине. Иногда присоединялся к ним еще один мастеровой. Девушку ругал, над мужиком насмехался, вот и все. По вечерам же Михалко оставался спать в строящемся доме, а подруга его шла в город вместе с другими и с тем мастеровым, который ее всегда ругал, а иногда и бил по шее.

«Что-то невзлюбилась ему девка, — говорил про себя Михалко. — Да что поделаешь! На то он и мастеровой, чтобы на нас покрикивать...»

Зато сам Михалко старался, как умел, облегчить ее судьбу. Все время работал за двоих. Завтракая, делился с ней хлебом, а в обед покупал ей на пять грошей борща, так как у девушки почти никогда не было денег.

Когда их поставили носить на леса кирпичи, парень не мог уже выручать своей подружки, так как за этим зорко смотрел мастер.

Но по гибким мосткам ходил он за нею следом, все время опасаясь, чтобы она не споткнулась и чтобы не придавило ее кирпичами.

Видя его мужицкую заботливость, злой мастеровой насмехался над парнем и указывал на него другим. Те тоже смеялись и покрикивали на Михалко сверху:

— Ну и глуп же ты!..

Однажды во время обеда мастеровой отозвал девушку в сторону, что-то от нее требовал, даже поколотил ее сильнее, чем обычно. После этого разговора, заплаканная, пришла она к Михалко с просьбой: не может ли он одолжить ей двадцать грошей.

Как же могло у него не быть для нее! Он быстро развязал узелок, в котором находились его деньги, привезенные еще со станции, и дал ей необходимую сумму.

Девушка отнесла двадцать грошей мастеровому, и с того времени почти не проходило дня, чтобы парень не давал ей займы на вечную неотдачу. Как-то он все же спросил ее робко:

— Зачем ты даешь деньги этому адову отродью?

— Да уж это так! — ответила девушка.

Как-то мастеровой, поссорившись с писарем, бросил работу. И не только сам бросил, но и девушке, словно слуге своей, приказал сделать то же и идти вместе с собой.

Девушка заколебалась. Но когда писарь пригрозил ей, что удержит за всю неделю, если она не проработает до вечера, она снова взялась за кирпичи. Простому человеку дорога каждая копейка, к тому же заработанная так тяжело.

Мастеровой рассвирепел.

— Идешь ты, собачья вера, — кричал он, — или не идешь?

— Как же я пойду, если мне за работу платить не хотят? Хорошо бы за этот рубль хоть юбчонку новую справиться!..

— Ну! — крикнул мастеровой. — Не показывайся мне теперь на глаза, и на порог не ступай, убью насмерть!..

И пошел в город.

Вечером, как обычно, каменщики разбрелись. В новом доме остались ночевать Михалко и девушка.

— Не уходишь? — удивленно спросил парень.

— Куда же пойду, если он сказал, что меня выгонит!..

Только теперь Михалко начал догадывать.

— Так ты с ним жила? — спросил он с оттенком сожаления.

— Ну да, — прошептала она стыдливо.

— И заработок весь ему отдавала, хоть и бил?..

— Ну да...

— Чего же это ты так скверно делала?

— Ведь любила же я его, — тихо ответила девушка, прячась за столбами лесов.

Парня словно кто ножом полоснул по сердцу. Недаром над ним люди смеялись!..

Михалко придвинулся к девушке.

— А теперь не будешь любить его? — спросил робко.

— Нет! — ответила она и залилась слезами.

— Только меня любить будешь?

— Да.

— Я тебя бить не буду и денег твоих не возьму.

— Неужели правда!

— Со мной тебе лучше будет...

Девушка ничего не отвечала, только плакала все сильнее и вся дрожала.

Ночь была прохладная и сырая.

— Холодно тебе? — спросил парень.

— Холодно.

Он усадил ее, всхлипывающую, на куче кирпичей. Снял сермягу и укутал девушку, сам оставшись в одной рубахе.

— Не плачь!.. Не плачь! — утешал он ее. — Только ночь одну и просидим так. Есть ведь у тебя рубль, вот завтра и снимем угол, а юбку я тебе из своих куплю. Только не плачь.

Но девушка уже не обращала внимания на его слова. Она подняла голову и прислушивалась. Ей казалось, что с улицы доносится звук знакомых шагов.

Шаги приближались. Одновременно кто-то начал свистать и звать:

— Иди домой... Слышишь!.. Где ты там?

— Я здесь! — закричала девушка, срываясь с места. Выбежала на улицу, где ждал мастеровой.

— Здесь я!

— А деньги у тебя есть? — спросил мастеровой.

— Есть! Вот они... На! — сказала, протягивая рубль.

Мастеровой спрятал деньги в карман. Потом схватил ее за волосы и принялся бить, приговаривая:

— В другой раз слушай, что говорю, иначе на порог не пушу... Рублем не откупишься... Слушайся... слушайся!.. — повторял он, помогая словам кулаками.

— Ой, боже мой!.. — кричала девушка.

— Слушай!.. Слушай, что тебе говорю...

Внезапно он отпустил девушку, почувствовав, что за ворот ухватила его чья-то могучая рука. С трудом повернув голову, он увидел злые, сверкающие глаза Михалко.

Мастеровой был мужиком сильным и так громыхнул кулаком Михалко по лбу, что у того в ушах зазвенело. Но парень не выпустил из руки ворота. Он только сжал его еще сильнее.

— Не задуши меня, ты, бандитская рожа... а то увидишь! — сиплым голосом простонал мастеровой.

— А ты не бей ее! — сказал парень.

— Не буду, — прохрипел мастеровой и высунул язык. Михалко разжал пальцы, мастеровой покачнулся. Тяжело отдышавшись, он сказал:

— Если не хочешь, чтоб я ее бил, пусть за мной и не ходит. Любит меня, так пожалуйста, но я бью, такой уж у меня обычай!.. К чему мне девка, которой и тронуть нельзя?.. Пусть идет и ломает себе шею!

— И пойдет... Подумаешь! — ответил парень.

Но девушка поймала его за руку.

— Ну, успокойся, успокойся, — сказала она, дрожа и обнимая его. — Не мешайся не в свое...

Михалко онемел.

— А ты ступай домой, идем, — обратилась она к мастеровому, беря его под руку. — С чего это всякий будет над тобой среди улицы издеваться...

Мастеровой вырвался и сказал со смехом:

— Так иди, иди к нему! Он тебя бить не будет. Он ведь тебе и деньги давал...

— И-и-и!.. Отцепись ты от меня... — рассердилась девушка и пошла вперед.

— Видишь, с бабой надо, как с собакой! — сказал мастеровой, показывая на девушку. — Бей ее, так она за тобой в огонь пойдет.

Михалко стоял, смотрел им вслед, прислушивался. Потом вернулся к лесам и долго глядел на место, где еще недавно сидела девушка.

В голове у него кружилось, а грудь не могла набрать воздуха. Только что обещала любить его одного и сразу ушла. Только что был он так счастлив, так хорошо ему было с живым существом, и к тому же с девушкой, а теперь — так пусто и грустно.

Почему она ушла?.. Видно, такова ее воля, так ей понравилось! Чем же он мог здесь помочь, хотя он такой добрый и сильный?.. Инстинктивно ему даже нравилась ее привязанность к мастеровому, не сердило, что она не сдержала обещания, он не думал силой навязывать ей своих чувств. Но, несмотря на все это, так ему было ее жаль, так жаль...

Изъеденными известью руками протер Михалко глаза, поднял свою сермягу, брошенную на куче кирпича и словно хранящую еще женское тепло. Вышел снова на

улицу, постоял там. Ничего не было видно, только во мгле поблескивали красные огоньки фонарей.

Вернулся и лег на земле среди холодных камней. Но вместо того чтобы уснуть, тяжело вздыхал, одинокий, томящийся по своей подруге.

По своей, — ведь сказала же она ему сама, что только его будет любить.

На другой день, как обычно, принялся парень за работу.

Но работа не спорилась. Он был утомлен, да и постройка эта ему осточертела. Где ни ступишь, чего ни коснешься, на что ни посмотришь, все напоминает девушку и горькое его разочарование. Люди тоже насмеялись над ним и подшучивали:

— Ну что, глупый Михалко, правда, что в Варшаве девки дорогие?

Дорогие, ой дорогие! Парень истратил на нее весь свой запас, голодал, ничего себе не справил, не имел никакой от нее радости, да еще она же его так мерзко бросила.

Плохо ему тут было, стыдно. Потому-то, услышав, что в Варшаве в других местах на стройках платят помощникам каменщиков лучше, Михалко выбрался туда впервые.

Шел он с одним мастеровым, обещавшим свести его на улицу, где больше всего ставят новых домов.

Пошли они рано утром и долго шли, пока добрались до Вислы. Увидев мост, парень от удивления разинул рот. В эту минуту даже мысль о подруге вылетела из его головы.

Возле сторожевой будки замялся.

— Ну что ты? — спросил мастеровой.

— Не знаю, пропустят ли меня туда? — ответил Михалко.

— Глупый! — накинулся на него мастеровой. — Если кто тебя спросит, скажи, что идешь со мной!

«Правда ведь», — подумал парень и удивился, что такой ответ сам не пришел ему в голову.

Потом он удивлялся баржам и пароходам, не тонувшим в воде, несмотря на свою тяжесть, а еще позже никак не мог поверить, что весь мост был из чистого железа.

«Должно быть, в этом какое-то жульничество, — рассуждал он про себя. — Столько железа и во всем мире не сыщешь!..»

Так они и шли, мастеровой и Михалко, один за другим, по мосту, по крутому въезду, по улицам. Возле замка парень снял шапку и перекрестился, приняв его за костел. Возле монастыря бернардинов едва не задавил его омнибус. Перед фигурой божьей матери возле богадельни он хотел стать на колени и прочесть молитву. Мастеровой еле его оттянул.

На улицах было шумно, мчались вереницы экипажей, люди шли толпами. Одним Михалко уступал дорогу, на других натыкался, бледнея от страха, как бы его не побили. В результате у него так закружилась голова, что он потерял мастерового.

— Где вы!.. Где вы!.. — закричал он в тревоге и бегом помчался по улице.

Кто-то задержал его, со словами:

— Тише ты, собака!.. Здесь кричать не положено!

— Так у меня же пан потерялся.

— Какой еще пан?

— Мастеровой наш, каменщик.

— Да уж это пан!.. Куда же тебе надо?

— Туда, где дом строят...

— Какой дом?

— Да такой, кирпичный, — ответил парень.

— Вот глупый!.. Так ведь и здесь дом строят... И там!

И тут!

— Да я не вижу, где...

Его взяли под руку и начали показывать.

— Смотри! Там один дом строят... Здесь второй...

— Ага! Ага! — сказал Михалко и пошел к тому, второму, так как для этого не надо было переходить улицы.

Добравшись на место, спросил про мастерового. Однако не нашел его тут, и ему указали на другой дом. Но и там о мастеровом Настазии никто не слышал; пришлось парню итти дальше.

Таким образом обошел он несколько улиц и осмотрел больше десятка строящихся домов, удивляясь в душе: где же живут те люди, для которых дома строят только теперь?

Постепенно он удалялся от центра города. Городской шум слабел, прохожих было меньше, экипажи почти не появлялись. Зато лесов, куч кирпича и красных стен было все больше.

И Михалко уже потерял надежду найти мастерового и начал подумывать о том, почему бы ему самому не подыскать работу.

Вошел на первую стройку при дороге, смешался с рабочими и стал присматриваться. Иногда вставлял в разговор словечко, иногда помогал. Одному пособил укладывать кирпичи, другому подал лопатку, а тем, кто замешивал известку, объяснил, как это лучше делать. Показывая, обрызгал мастера с головы до ног.

— Что ты тут крутишься, собачий сын?—спросил его писарь.

— Работы ищу, господин писарь.

— Нет здесь для тебя работы.

— Сейчас нет, так, может, потом найдется. Вам-то ведь не в убыток, если помогу которому...

Писарь, хитрая штука, сразу понял, что мужик не очень-то богат деньгою. Вынул свою книжицу, карандаш, стал что-то писать, подсчитывать и в результате принял Михалко.

Люди толковали позже, что зарабатывал он на парне по двадцать грошей в день.

На стройке пробыл парень до осени. С голоду не умер, за ночлег не платил, но даже и сапог новых не купил себе. Только и всего разве, что напился раз-другой, как свинья, по случаю святого воскресенья. Хотел однажды даже побуяннить в кабаке, да не успел — выбросили его за дверь.

Дом рос, словно на дрожжах. Еще каменщики не кончили флигелей, а главная часть уже была покрыта жестью, оштукатурена, застеклена, и начали там появляться первые жильцы.

В конце сентября начались дожди. Работу приостановили и всех чернорабочих уволили. Среди них был и Михалко.

Писарь с недели на неделю недодавал ему кой-что из заработка, обещая уплатить все сразу. Когда же наступил окончательный расчет, парень, хотя и неграмот-

ный, собрал все же, что писарь его одурачил. Дал парню три рубля, а причиталось Михалко рублей пять, а то и шесть.

Михалко взял три рубля, снял шапку и начал скрестить голову, переступая с ноги на ногу. Но писарь так был занят своей книжицей, что не сразу заметил парня и спросил строго:

— Ну, чего тебе еще надо?

— Выходит, господин писарь, причитается мне больше, — сказал робко Михалко.

Писарь покраснел, надвинулся на парня, толкнул его грудью и спросил:

— А паспорт у тебя есть? Ты что за птица такая?..

У Михалко даже дух перехватило. Писарь же продолжал свое:

— Ты что же думаешь, хамское отродье, обманул я тебя, что ли?..

— Так выходит...

— Ну так пойдем со мною в полицию, я тебе там документально покажу, что ты вор и бродяга...

Паспорт и полиция обеспокоили Михалко. Только и сказал:

— Пусть вам моя обида, господин писарь, пойдет на здоровье!

И пошел со стройки.

Поскольку же и писаря не очень тянуло в полицию, хотя его там и знали, все кончилось лишь угрозой...

Очутился парень теперь словно в чистом поле. Прошел свою улицу, вышел на вторую и третью, заходя повсюду, где заметил красные стены и пару вбитых в землю столбов. Но работы всюду уже кончились или подходили к концу, когда же он спрашивал, не примут ли его здесь — никто ему даже не отвечал.

Проштался так Михалко день и другой, старательно обходя городских, чтобы не спросили его о паспорте. Столовой с горячей пищей он не мог найти, поэтому питался только кровяной колбасой, хлебом и селедкой, а запивал все это водкой.

Истратил уже рубль, так ничего хорошего и не попробовав. Ночевал под заборами и тосковал по людям: обмолвиться с кем-нибудь хоть бы словом!

Пришла ему в голову мысль, что лучше, пожалуй, вернуться домой. Начал расспрашивать у прохожих, как пройти к железной дороге. Следуя их советам, попал на дорогу, но не свою.

Увидел какой-то огромный вокзал, многолюдный, вокруг застроенный высокими домами, а рельс и следа нет.

Перепугался сильно, не зная, что и думать, не понимая, что же такое случилось. Наконец одна добрая душа объяснила ему, что есть еще и другая дорога, но за Вислой.

Теперь он припомнил, что шел сюда с мастеровым по мосту. Переночевал где-то в канаве, а на другой день начал расспрашивать о дороге к мосту. Рассказали ему подробно, где надо идти прямо, где свернуть налево, а где направо. Михалко все запомнил, но как начал идти и сворачивать, вышел к Висле, а моста через реку так и не нашел.

Вернулся обратно в город. На несчастье полил дождь. Люди прятались под зонтами, а у него зонта не было, бежал сломя голову. Как тут в такую пору останавливать прохожих и спрашивать про дорогу.

Во время самого сильного ливня стоял Михалко у стены, сгорбившись, иззябший в своей мокрой сермяге и радовался лишь тому, что дождь обмоет его босые ноги.

И когда он, побледневший, стоял так, а с длинных его волос за ворот рубахи стекала вода, задержался перед ним какой-то господин:

— Что это, нищий? — спросил он у Михалко.

— Нет.

Господин сделал несколько шагов и снова вернулся с вопросом:

— Но есть тебе хочется?

— Нет.

— И не холодно тебе?

— Нет.

— Осел ты, — проворчал господин, а потом добавил: — Но десять грошей ты бы взял?

— Да уж если б дали, взял бы.

Господин дал ему пятиалтынный и отошел, что-то про себя бормоча.

Снова остановился, посмотрел на мужика, словно что-то обдумывая, потом пошел прочь.

Михалко держал в горсти пятиалтынный и говорил удивленно:

— Не бойся, не плошай, смотри, какие здесь господа дсбрые!..

Вдруг в голове у него мелькнула мысль, что такой хороший господин, наверно, показал бы ему дорогу к мосту... Но было уже поздно.

Наступила ночь, зажгли фонари, а дождь еще усилился. Парень стал искать улицу потемнее. Пошел, повернул раз и другой. Увидел новые каменные дома и вдруг узнал улицу, на которой сам работал несколько дней назад.

— Вот здесь кончается мостовая. Здесь забор. Там угольный склад, а дальше — его дом. В нескольких ок-ках горит свет, а через открытые ворота видны неоконченные флигеля.

Михалко вошел во двор. Где уж где, но здесь, по всей справедливости, ему полагается ночлег. Ведь этот дом он строил.

— Эй, эй! Куда ты там? — крикнул вслед ему с лестницы человек, одетый в добротный тулуп. Должно быть, на улице было уже холодно.

Михалко повернулся.

— Это я, — сказал он. — Иду спать в подвал.

Человек в тулупе возмутился:

— Что же, здесь гостиница для нищих, чтобы вы в подвале ночлежку устраивали?

— Так я же тут работал все лето, — смущенно ответил парень.

В сенях показалась обеспокоенная шумом дворничиха.

— Что там творится?.. Кто это?.. Может вор?.. — спрашивала она у мужа.

— Э, нет! Вот только этот болтает, что строил дом, так, видишь ли, ночлег ему здесь полагается... Глупый, видно!..

У Михалко заблестели глаза. Он рассмеялся и побежал к дворнику.

— Так вы из нашей деревни! — закричал он обрадованно.

— А что? — спросил сторож.

— Так ведь называете вы меня так же, как в нашей деревне. Ведь я глупый Михалко!

Дворничиха захохотала, а муж ее только повел плечами.

— Что глупый ты, это видно, — сказал он. — Но я не из деревни, а из города... Лапы называется! — добавил таким серьезным тоном, что загрустивший парень даже вздохнул.

— Ой-ой! Большой это, верно, город, как Варшава?

— Такой не такой, — ответил дворник, — но все же город порядочный.

Помолчав минуту, сказал:

— А ты, несмотря на это, убирайся — спать здесь не дозволено.

У парня повисли руки. Он жалобно посмотрел на дворника и спросил:

— Куда же я пойду, когда так хлещет?

Меткость этого замечания, видимо, убедила дворника. Действительно, куда же ему идти, когда так хлещет?

— Эх! — сказал он, — останься уж, когда так хлещет. Только не вздумай ночью воровать. А завтра, чуть свет, убирайся, чтобы тебя хозяин не заметил. Он у нас зоркий!

Михалко поблагодарил, пошел в подвал и наощупь нашел знакомое место.

Растер окостеневшие от холода руки, выжал намокшую сермягу и улегся на груде кирпичной пыли и стружек, которые сам же натаскал сюда раньше.

Тепло ему не было, наоборот, даже немного холодно и сыро. Но он с детства привык к лишениям и нищете и на теперешние неудобства попросту не обращал внимания. В голове его блуждала мысль: «Что делать? Искать ли работы в Варшаве, или вернуться домой. Если искать работы, то где и какой? А если вернуться домой, то как и зачем?»

Голода он не боялся. У него было еще два рубля, а вообще-то — разве голод для него новость?..

— Эх! Господня воля, — прошептал Михалко.

Перестал думать о завтрашнем дне и наслаждался сегодняшним. На улице дождь лил как из ведра. Ну и

плохо было бы спать в канаве, а здесь, в подвале, так хорошо!

Уснул он крепко, как спит обычно утомленный мужик, которому если что и приснится, так он считает, что его навестили души усопших.

А завтра... завтра что бог даст!

С утра прояснилось, проглянуло солнце. Михалко еще раз поблагодарил дворника за ночлег и вышел. Был он совсем бодрый, хотя после вчерашнего дождя еще кленлись у него волосы, а сермяга задубела, как кора.

Минуту Михалко постоял у ворот, не зная, куда б ему пойти: налево или направо? Заметил на углу открытый кабаk и зашел позавтракать. Выпил большую стопку водки и, повеселев, побрел в ту сторону, где были видны какие-то строительные леса.

«Искать работы или вернуться домой?» — раздумывал он.

Вдруг где-то неподалеку раздался гул, похожий на короткий удар грома, потом второй посильнее.

Парень пригляделся.

Шагах в двухстах, направо от него, видны были вершины лесов, а над ними словно красный дым...

Произошло что-то необыкновенное. Парня охватило любопытство. Он побежал туда, спотыкаясь и утопая в лужах.

По немощеной улице, над которой возвышалось всего несколько домов, метались встревоженные люди. Они кричали и показывали пальцами на недостроенный дом, возле которого лежали доски, исковерканные столбы и куча кирпичей. Над всем этим поднималась туча красной кирпичной пыли.

Михалко подбежал ближе. Отсюда он уже увидел, что случилось. Новый, только что построенный дом рухнул.

Одна из его стен рассыпалась сверху донизу, а вторая — в большей своей части.

Из потрескавшихся стен торчали оконные рамы, а большие, предназначенные для поддержки потолков балки упали, погнулись и потрескались, как стружки.

В окнах соседних домов показались лица перепуганных женщин. Но на улице, кроме каменщиков, было

всего несколько человек. Известие о происшедшем еще не успело достичь центра города.

Первым опомнился старший мастер.

— Не погиб ли кто из наших?— спрашивал он дрожа.

— Кажется, нет. Все завтракали.

Мастер начал считать рабочих, но все время ошибался.

— Мастеровые все?..

— Все!..

— А подсобные?..

— Здесь мы!..

— Енджей нету!.. — отозвался вдруг чей-то голос.

Присутствующие на миг онемели.

— Да он же был в середине!..

— Надо его искать!..— хриплым голосом сказал мастер.

И направился к развалившемуся дому, а за ним несколько смельчаков.

Михалко невольно пошел вслед за ними.

— Енджей!.. Енджей!..— звал мастер.

— Отойдите, господин мастер!— предостерегали его,— стена здесь еле держится.

— Енджей!.. Енджей!..

Изнутри дома ответил ему стон.

В одном месте стена была развалена на ширину дверей. Мастер вбежал на другую сторону, посмотрел и обхватил руками голову.

За стеной в муках извивался человек. Балка прижала и раздавила ему обе ноги. Над ним висел кусок стены, трещина на ней становилась все больше, и каждую секунду стена грозила рухнуть.

Один из плотников начал осматриваться вокруг, а оцепеневшие каменщики заглядывали ему в глаза, готовые пойти вперед, если помощь еще возможна.

Раненый судорожно вывернул тело и оперся на обе руки. Это был крестьянин. Губы его почернели от боли, лицо посерело, а глаза глубоко запали. Он смотрел на стоявших в нескольких шагах от него людей, стонал, но не смел звать на помощь. И только шептал:

— Боже мой!.. Боже милосердный!..

— Никак не подойти туда! — глухо сказал плотник. Толпа отхлынула назад.

Михалко стоял в толпе, перепуганный чуть ли не больше всех.

С ним творилось что-то страшное. Он словно чувствовал всю боль раненого, его страх, отчаяние, но одновременно ощущал в себе какую-то силу, которая толкала его вперед...

Ему казалось, что из всей толпы именно он должен спасти этого человека, который пришел сюда из деревни на заработки. И в тот момент, когда другие говорили себе: «лучше уйти», Михалко думал:

«Не уйду! Не хочу!»

Боязливо осмотрелся. Он стоял один впереди толпы, ближе, чем все остальные.

— Не уйду! — прошептал он и поднял шест, лежавший почти у самых его ног.

В толпе зашумели:

— Смотрите!.. Что он делает?..

— Тише!

— Боже милосердный, помилуй нас! — кричал раненый, рыдая от боли.

— Иду! Иду! — сказал Михалко и вошел в развалины.

— Оба погибнете! — крикнул плотник.

Михалко был уже возле несчастного. Увидел его поломанные ноги, лужу крови — и у него потемнело в глазах.

— Братец мой! Братец! — прошептал раненый и обнял его ноги.

Парень всунул шест под балку и отчаянным движением приподнял ее. Раздался треск, и с высоты второго этажа упало несколько кирпичей.

— Падает! — кричали каменщики разбегаясь.

Но Михалко не слышал, не думал, не чувствовал ничего. Сильным плечом он снова подпер шест и совсем сдвинул балку с раздавленных ног лежащего. Сверху посыпались кирпичи. Красная пыль за клубилась, сгустилась и наполнила все здание. За стеной слышна была какая-то возня. Раненый громко застонал и внезапно затих.

Из от­ве­р­стия в стене по­ка­зался Ми­хал­ко, сог­ну­тый, с тру­дом тя­ну­щий ра­не­но­го. По­ти­хонь­ку пе­ре­шел опас­ную чер­ту и, ос­та­новив­шись пе­ред тол­пой, с наив­ной ра­достью за­кри­чал:

— Идет!.. Идет!.. То­лько один са­пог у не­го там ос­тался!..

Ка­мен­щи­ки под­хва­ти­ли те­ря­ю­ще­го соз­на­ние ра­не­но­го и ос­то­ро­жно по­не­сли в бли­жай­шие во­ро­та.

— Во­ды!..— кри­ча­ли они.

— Ук­су­са!..

— За док­то­ром!..

— Ско­рей!..

Ми­хал­ко по­та­щил­ся за ни­ми, ше­пча:

— Ну и хо­ро­ший на­род в Вар­ша­ве!.. Не пло­шай!

Он уви­дел, что ру­ки у не­го в кро­ви, об­мыл их в лу­же и ос­та­новил­ся воз­ле во­рот до­ма, в ко­то­ром ле­жал ра­не­ный. Внутрь он не про­бо­вал про­тол­кать­ся. Раз­ве он док­тор? Чем он те­перь там по­мо­жет?

Тем вре­ме­нем ули­ца на­ча­ла бы­стро за­пол­нять­ся лю­дь­ми. Сбе­жа­лись лю­бо­пыт­ные, подъез­жа­ли из­воз­чи­ки, а из­да­ле­ка до­но­си­лись да­же ко­ло­ко­ла по­жар­ной ко­ман­ды, ко­то­рую кто-то ус­пел вы­звать.

Но­вая тол­па, со­сто­я­щая уже из лю­би­те­лей зре­лищ, со­бра­лась у во­рот, а те, кто по­го­ря­че­е, ку­ла­ка­ми про­кла­ды­ва­ли се­бе до­ро­гу в на­де­жде уви­деть кро­ва­вое про­ис­ше­ствие.

Од­но­му из них, ви­ди­мо, си­льно ме­шал сто­яв­ший у во­рот Ми­хал­ко.

— Отод­винь­ся, ты, зе­ва­ка! — кри­кнул этот го­спо­дин, чув­ствуя, что бо­сой му­жик не очень-то ус­ту­пает под на­ти­ском его ру­ки.

— А что? — спро­сил удив­лен­ный его яростью Ми­хал­ко.

— Что ты за пти­ца та­кая? На­хал! — кри­кнул зе­ва­ка. — И что это, по­ли­ции нет, что ли, что­бы разо­гнать этих лен­тяев?

— По­ли­ции? Ой, не к до­бру все это! — ре­шил Ми­хал­ко и испугал­ся, как бы его за та­кой про­ступок не по­са­ди­ли в хо­лод­ную.

И, не же­лая вы­зы­вать бе­ду, Ми­хал­ко бо­чком-бо­чком ис­че­з в тол­пе...

Через несколько минут из ворот начали звать того, кто вынес погибающего из развалин.

Никто не отозвался.

— Как он выглядел? — спрашивали в толпе.

— Мужик. В белой сермяге, круглой шапке и босой...

— Нет там такого на улице?

Начали разыскивать.

— Был здесь такой, — крикнул кто-то, — да уже ушел!

Бросилась на поиски полиция, рассыпались по улицам каменщики, но так и не нашли Михалко.

Мария Конопницкая

ГЛУПЫЙ ФРАНЕК

Д Ы М



МАРИЯ КОНОПНИЦКАЯ

Мария Конопницкая (1842—1910), замечательная польская поэтесса и новеллистка конца XIX века, родилась в помещичьей семье, в городе Сувалки. Среднее образование получила в Варшаве, где училась вместе с Элизой Ожешко. С ранних лет увлекалась поэзией, но литературную деятельность начала во второй половине семидесятых годов, после возвращения из-за границы, где она жила с 1863 года. В 1881 году выходит первая книга ее стихотворений «Картинки», по своей форме являющихся новеллами в стихах. Уже в этих своих стихах Конопницкая, как подлинная демократка, выступила на защиту польских крестьян и рабочих, угнетаемых помещиками и капиталистами. Она разоблачает власть имущих, пропагандирует революционные лозунги, остро выступает против католической церкви. Солидаризируясь с варшавскими позитивистами, Конопницкая особенно настойчиво добивается облегчения тяжелой доли пролетарских детей, считая современное ей общество ответственным за те невыносимые условия, в которых живут дети рабочих и крестьян.

В течение последующего десятилетия Конопницкая издает несколько книг стихов, новелл и публицистических статей. За это ее в 1890 году высылают из пределов Царства Польского. Поэтесса несколько лет живет в Швейцарии, Франции и Италии, а затем поселяется в Кракове, где в 1902 году, в связи с двадцатилетием литературной деятельности, общественность устраивает всенародное чествование Конопницкой.

Последним, но в то же время и крупнейшим ее произведением явилась эпическая поэма «Пан Бальцер в Бразилии», рассказывающая о невыносимых условиях жизни польских крестьян-эмигрантов в Южной Америке. Многие стихи Конопницкой заняли прочное место в польской революционной поэзии, а патристическое стихотворение «Рота» стало вторым национальным гимном. Перу Марии Конопницкой принадлежат также многочисленные переводы на польский язык славянской, а в частности русской поэзии.



ГЛУПЫЙ ФРАНЕК

Низкий берег Нарева бурлил птичьим гомоном. Вся его крутая и извилистая часть, простирающаяся от Пелчинских болот до Заек, звенела теперь, словно задетая струна.

Наступало утро, небо было чисто; юное апрельское солнце еще не поднялось над землей и, охватив пламенем лишь край горизонта, разбрасывало пригоршни золотого багрянца, который так жадно впитывают тихие воды и неподвижный воздух.

Здесь все было ясно, прозрачно, насквозь пронизано светом. Подальше, в глубине, пейзаж был уже мрачнее. Там дымили, точно кузницы, болота и трясины, тянувшиеся до самого Бебжа, там дышали теплом маленькие озера и канавки, и их испарения то поднимались синеватым столбом, то ниспадали разодранной пеленой вниз, не давая взору проникнуть в глубь зарослей очеретов, камыша и раkitника.

Из этих-то зарослей и вырывался, разносясь далеко вокруг, оглушительный птичий грай. Здесь-то и заводили свои песни бекасы, коростели, крикливые лыски и болотные кулики. Отсюда взлетали неугомонные чайки, выпи, водяные курочки, там подавали голос нырки, там драли горло назойливые кряквы, терзавшие слух однообразным кряканьем, там подымались и чирки.

Этот дикий, разноголосый гомон совершенно заглушал шум протекавшей сквозь заросли реки, которая, шипя и бурля, прокладывала себе путь, образуя среди этих зарослей маленькие, тихие, отражающие небесную лазурь островки, как бы созданные для этой пернатой оравы.

Вдруг с одного такого островка с пронзительным криком рванулось ввысь стадо диких уток, залегших на ночь в камышах. Стадо поднялось, но не улетало и тревожно хлопало крыльями, словно завидев ястреба.

Сперва ничего нельзя было разглядеть. Но вскоре из зарослей вынырнула человеческая голова, покрытая копной выцветших взъерошенных волос, почти сливавшихся с пожелтевшими прошлогодними стеблями камыша.

Голова эта была посажена на длинной, непомерно худой шее. Под лохматой льняной гривой, низко спадавшей на лоб, выделялись серые, необычайной глубины и ясности глаза. Лицо было худое и смуглое, с длинными тонкими губами, которые странная, жалостливая и озабоченная улыбка растягивала еще больше.

Вокруг головы торчали бурые стебли тростника, изломанные кусты аира, большие кисти метлицы — и все это создавало своеобразный фон для этих широко раскрытых глаз, с их вспыхивающими искорками лукавства и упрямства, глаз, на дне которых таилась давняя безутешная грусть. И глаза в оправе век, и улыбка на устах, и голова меж камышей были так неподвижны, что утки, внезапно снова снизившись, чуть ли не задевали ее своими хлопающими крыльями, покрывая весь остров своей крикливой и трепыхающейся тучей.

Повыше над этой стаей, словно молнии, реяли в воздухе темнокрылые стрижи, гнезда которых чернели в глинистом иле прибрежной возвышенности, точно пули в густо обстрелянной стене. Пронзительные голоса их врезывались в назойливое и однообразное кряканье ути-

ной стан чистыми и звонкими флейтными тонами. Они тоже испугались неведомо чего. Только маленький королек, раскачивавшийся на тоненьком стебельке бурого камыша, почти над самой головой с выцветшей копной волос, тихонько чирикал, вертя головкой и недоумевающе поглядывая то одним, то другим глазком на всполошившиеся птичьи стаи. Если бы было чуть-чуть тише, можно было бы, пожалуй, разобрать, что означало это чириканье.

— Чего перепугались? Чего перепугались?— казалось, чирикала птичка. — Это голова глупого Франека... Да это голова глупого Франека... Вот и все... Чего перепугались?.. Чего перепугались?..

...Узнаю ее... Отлично узнаю... В челне здесь каждый вечер засыпает, из челна по утрам встает... Чего перепугались?.. Чего перепугались?

...Ничего плохого он не сделает... яиц не растаскает... Птенцов не напугает... Чего перепугались?

...Да это глупый Франек... Глупый... глупый Франек!.. Чего перепугались? Чего перепугались?

Вдруг королек пронзительным писком прервал свое чириканье и, как клубок, упал в заросли. Своими маленькими глазками он заметил высоко парящего в воздухе ястреба, который, повиснув неподвижно на распростертых крыльях, высматривал добычу.

Если бы не это, щебечущая птичка, возможно, рассказала б всю историю глупого Франека. Рассказала бы, каким чудом вырос он над рекой, словно камыш или прибрежный тростник; о том, что утопленница,— так бабы говорят,— родила его в гнезде цапли; что едва из пеленок — был дурачком, да таким и остался (ни для какой работы ума нехватает); что летом кормят его река и рыболовная сеть, а зимой — доброта людская. Может быть, и о том сказала бы, какая она горькая-горькая — эта доброта... Повела б, как смеются над бедным Франеком девушки, как бегают за ним толпой деревенские дети, какой длинной и тяжелой кажется зима, когда живешь в сарае, а не в избе! Вспомнила б и о солнце, какое оно ласковое и доброе, потому что, будто позабыв что-то на земле, каждую весну возвращается оно и согревает прибрежный тростник и островки, будит рыбок в воде, окрашивает ягоды на лесных полянках и спасает

глупого Франека. Да ведь и у реки только по доброте и милосердию ее в тростниках и камышах находит Франек приют, как некогда в гнезде цапли. А разве земля не добра, не добра и ласкова, ведь это она на крестьянских полях среди тучных хозяйских колосьев родит и плохие, никлые, которые только и годны бедняку на грубые лепешки, на черный хлеб, слезами политый, и хотя и горький... ох! какой горький... но все же... хлеб, что душу в теле держит и дыхание жизни в груди хранит, правда, только до поры до времени... до поры до времени...

Рассказала бы, может, птичка и еще: как сильно любит бедный Франек эту реку, эту землю и это солнце. Как он своей худой загорелой рукой гладит бархатные палочки камыша и зеленые ленты аира; как он целыми часами смотрит на солнце и на воду, сам с собой разговаривая и проливая слезы, как потом вдруг кидается на землю и прижимается к ней, как младенец к материнской груди... Что ж, понятно,— такой уж глупый он, такой глупый этот Франек.

Меж тем в воде и воздухе становилось светлее и ярче. Все искрилось, дрожало, переливалось как будто бы вытканной тысячью мелких радуг алмазной пряжей.

Рядом с неподвижно торчащей в камышах головой показалась худая загорелая рука, заслонявшая глаза от солнца. По руке этой до самого плеча пробегала дрожь,— как видно, не очень-то много в ней было силы. А может быть, она дрожала от ночного холода и мокрого камыша...

Наконец солнце вспыхнуло огромным заревом и бросило в реку сноп огня, от которого, рассыпая миллиарды искр, побежали сапфировые и золотые волны.

Берег реки внезапно стих, как бы пораженный ослепительным сиянием солнца; только губы торчащей в камышах головы смеялись тихо, радостно и голова кивала в каком-то бесконечном и неповторимом восхищении, затем исчезла вдруг меж переливающимися серебром стеблей метлиц и камыша, темные палки которого зарделись багровым золотом.

Еще минута, и глупый Франек вылез из этих зарослей, отряхнулся, выпрямился и, вскинув на плечи сеть на длинном шесте, пустился быстрым шагом вдоль реки.

Это был худой и нищенски одетый парень.

Старая рваная куртка не слишком, видно, защищала его от холода, потому что лицо у него посинело и губы дрожали. Рубаха из грубого холста и такие же штаны, стянутые у пояса ремнем с потертой пряжкой и завязанные у лодыжек веревками, лапти из лыка, холщевая сумка через плечо — вот и все его добро. Голова была непокрыта.

Такова уж бросающаяся сразу в глаза отличительная черта всех деревенских дурачков во всех уголках нашей страны: зимой и летом бродят они по дорогам и весям без шапки, как по собственной хате.

Солнце жжет «глупого», дождь мочит, ветер сушит, мороз щиплет, а он, как бы укоряя бога за то, что он ему дал такую глупую голову, и в грозу и в ясную погоду, днем и ночью, носит ее под небом обнаженную, беззащитную, отданную на людское посмеяние, зорям и звездам открытую и у них, быть может, черпающую внезапные проблески, светлые мысли, озаряющие все, что было и что будет, о которых умным людям, в их богатых бараньих шапках, даже и не снилось.

Голова такого деревенского «дурачка» очень любопытный объект для изучения. Иногда это голова философа, иной раз поэта, но всегда голова Лазаря.

В ней, как в чудесной призме, преломляется вся нужда суровой крестьянской жизни и все их золотые, наивные, чуть ли не детские сны. С этого поблекшего лица, увядших улыбок, из этих помутневших зрачков начинается вдруг бить ключом живой родник какой-то допястовской¹, золотыми жилами пронизывающей землю мысли, какого-то чувства, озаренного утренним светом дня, о котором неизвестно, наступит ли он когда-либо.

Голова «дурачка» покрыта чаще всего густой копной льняных, выцветших волос, будто русалочьей куделью, из которой невидимая и самому «дурачку» неизвестная пряжа прядет серую, бесконечно длинную, спутанную нить раздумья над вещами, которые непонятно как в эту голову попали и копошатся там бессознательно и неумоимо, то внезапно и ярко вспыхивая, как пламя, то

¹ Пясты — основатели польского государства.

лежа в глубине спокойно и неподвижно, как озимое зерно на пашне под пластом земли.

Голова «блаженненького», с работающей в ней на свой лад фантазией, не признающая существующего порядка вещей и живущая вне его пределов,— это реторта, через которую мысль переходит из рядовых рассудочных голов в голову гения.

Деревенский народ хотя и посмеивается над «дурачком», но инстинктивно окружает его каким-то почти суеверным уважением. «Дурачок» у народа то же, что и «мудрый», даже мудрее, но только иной, особой мудростью, той, что не от мира сего.

Иногда «дурачок» оказывается вовсе не глупым, а всего лишь несчастным. Известно, что «дурачков» больше всего от рождения. Но случается, что у кого-нибудь сгорит дотла изба со всем добром, или вся семья от какой-нибудь болезни перемерет, или половодье так пашню размочит, как будто ее и не было; вот такой несчастный и попадает в число «дурачков»,— ни о чем он уже не заботится, ни над чем головы не ломает, только ходит по свету, поглядывая на землю и на небо, пока его где-нибудь не настигнет смерть.

То, что у других именуется нервами, меланхолией, разочарованием, кошунством, отчаянием, — здесь зовется «придурью».

Иногда «дурачок» так глуп, что даже сам не знает о своей глупости: это идиот, попросту дурак. К таким народ относится с презрением, приравнивает их к скоту. Но бывают и такие, что ходят по деревенским дорогам, как апостолы, пророки с печатью ангельской. В таком «дурачке» есть что-то стихийное. Он беседует и с землей, и с водой, говорит с ветром и огнем.

Жалкий, голодный, оборванный, он внушает уважение самой своей беззащитностью, своей беспомощностью, он отмечен перстом божьим, который его обрек на такую жизнь.

Из-под копны своих льняных волос «дурачок» то смотрит на мир широким, блуждающим, убегающим далеко за пределы деревни взором, кидая по сторонам быстрые косые взгляды, полные язвительной насмешки или грустной иронии, то с глубокой тоской и безмерной

жаждой смерти устремляет в землю стеклянные неподвижные зрачки, как будто глядит в собственный открытый гроб. Иногда у него бывает живой, рассеянный взгляд ребенка, которому от смеха до слез так близко, как близко от радости до горя.

Таким взглядом, идя вдоль берега Нарева, глядел сейчас на свет божий глупый Франек. Он шел на восток, прямо к солнцу, утопая в покрытой росой траве и улыбаясь голубой лазури, дышавшей утренней свежестью.

Глядя на его сухую грудь, на узкие, почти детские бедра, на его ловкие, проворные движения, можно было принять его за юнца; но когда ветер, дующий с реки, открывал из-под этой копны волос его лицо, можно было видеть, что оно изжелта-мертвенного цвета и изборождено глубокими морщинами, собиравшимися на нем, наверное, в течение долгих лет.

Отличительной чертой всех вообще «дурачков» является то, что очень трудно определить их возраст. Иногда подросток кажется стариком, а то очень старый человек носит в себе запас какой-то нерастраченной молодости, которая, кажется, не знает увядания.

О таком говорят, что на него «святая Иоанн взглянул», так как известно, что этот евангелист, сравниваемый с орлом, пророчествуя на скалах, отличался орлиной молодостью и сохранил не поддающуюся времени юношескую свежесть. Живет такой и живет, а года летят мимо, почти не касаясь его. Горе и голод поддерживают его, и какая-то духовная окрыленность не дает погрязнуть в большой беде, пронесит высоко над быстрым течением жизни, до того умеряя его потребности, что он почти и не чувствует никаких лишений.

Нуждой своей и «глупостью» держался и Франек на свете. Никто не знал, сколько ему лет, сам он высчитать не умел. То говорил, что помнит француза, когда тот под Сероцком был, то, что совсем маленьким ребенком был во времена Ирода и избивание младенцев помнит, то, что он совсем никогда не родился, а так всегда был да был — так уж сам по себе.

Дети, слушая; широко открывали рты, бабы покачивали головой, мужики посмеивались. Но когда кто-либо из них напрягал память, пытаясь все, что можно, выта-

щить из этого темного кладезя, он вспоминал, что в его молодые годы уже ходил по свету «глупый Франек». Может быть, этот, может быть, другой, этого он определенно сказать не мог, но ходил. Известно, что во все времена есть свои «дурачки», но никто не ведет записи этих несчастных, даже сам бог на небе.

Девушки подшучивали над Франеком, что этот «сын утопленницы» не стареет потому, что мать его каждый день тройной росой умывает. Да. Только не утопленница его бедную головушку росой умывала, а мать сыра-земля, да эти облака небесные, да слезы его горючие. А было их в жизни его, быть может, больше, чем росы небесной.

Люди любили Франека, хотя он часто и ворчлив бывал и к шуткам не склонен; но зато, когда находило на него, рассказывал складно, словно по книге читая, одно с другим у него вязалось, одно из другого вытекало. На людей он тогда не смотрел, будто их и не было, внутренний огонь озарял его лицо, как зори, играющие на закате, а глаза были пристально устремлены вдаль, как если б он там видел все то, о чем рассказывал, только веки и ресницы его чуть заметно вздрагивали.

Весной и летом его редко можно было встретить в деревне. Как только потянет с реки теплый ветер, он сразу почувствует его, хотя бы в это время ложку с едой корту подносил или лежал где-нибудь на нарах, зарывшись в солому. И тотчас собирался в дорогу, вешал мешок на спину, вскидывал сеть на плечо и объявлял, что он отправляется к своей «матери».

Палки у него никогда не было; говорил, что ни одна собака его не тронет, потому что покровитель его—святой Лазарь, о котором известно, что собаки ему ноги лижут.

А возвращался он «от матери» только с первыми заморозками, похудевший, еще более истощенный, обожженный ветром и солнцем. Кости у него выпирали из-под кожи, а рубаха и штаны висели лохмотьями.

Люди говорили ему:

— Неважно тебя «матенька» в свет снарядила.

А он в ответ:

— Сама в нужде. Сама в заботах и труде. Столько рыбок накормить надо, столько плотов перетащить,

столько земли кругом обойти... Ох, нелегкая у нее жизнь, нелегкая! И еще должна она на эту синюю свитку заработать, водяные нити по ниточке собрать и спрясть их на серебряном веретене...

— Ох, глупый, глупый Франек,— говорили бабы.

А он им:

— Ой и глупые же вы, бабы, если не знаете, что каждая вещь на свете свою службу несет.

— Ого-го!..—возмущалась какая-нибудь из них.—Детям рассказывай, что река прядет.

Тогда Франек впадал в гнев, бил себя кулаком в грудь и клялся смертным часом:

— Хорошей смерти не видать мне, если я вру! Что я слепой, что ли? Разве не видал я сто раз, а то и больше, как река на серебряном веретене синие нити прядет? «Глупый Франек». Подумаешь, какие мудрые. Умными себя называют, а не знают, что у каждой реки серебряное веретено есть и что река так прядет на нем, что иногда не то что на солнце, но и при луне вода сверкает. А чего бы воде сверкать, если б не это серебряное веретено?

Бабы смеялись:

— Ну уж правда!

— Разве что правда!

— Чтоб его, как складно рассказывает.

— Ну и выдумщик!

Бабы расходились смеясь. Но в воображении у них оставался образ этой тихой неутомимой пряжи, которая навивает синие струйки на прялку и прядет синие нити, прядет и днем, и ночью, так что даже веретено ее чистым серебром сверкать начинает.

Иногда Франек надолго пропадал в лесу, бродя в нем, как барсук, пока земля не замерзала. Но как только начинали чуть-чуть оживать деревья, раскрываться почки на березах и кричать чайки на болотах, он тотчас же собирал свои пожитки и, будь это даже в полночь, отправлялся в лес. Он говорил, что «отец» его зовет. Проходила весна, проходило лето, проходила осень, а глупого Франека и след простыл.

Беспокоиться о нем, конечно, никто не беспокоился. У каждого своих забот вдоволь. И только когда крестьяне уже на санях отправлялись в лес за хворостом, они

встречали Франека, пробиравшегося в деревню, жалкого, одичавшего, черного, как земля, облепленного смолой, с сосновыми иглами в волосах и еще более ободранного, чем когда с реки от «матери» возвращался.

— Как же это отец отпустил тебя так, словно нищего? — спрашивали крестьяне.

А Франек в ответ:

— Ох, и много же забот у него, у сердечного! Заботы и служба тяжелая! Разве мало муравьев прокормить ему надо? А птиц, а мошек всяких? А потом смолу топи, грибам шляпки подавай, каждой ягоде угоди, ладан и мирру готовь. Три короля ничего знать не хотят, подавай им и только! Круглый год по лесу ходят, да седыми бородами потряхивают так, что жемчужинки в мох летят.

Крестьяне смеются:

— Ох-ох-ох!.. Глупый! глупый! Так и станут тебе короли по лесу разгуливать! Жди!

А Франек в ответ:

— Руки, ноги поломать мне, если я их своими глазами не видел! Тут же на месте в землю провалиться! Что я, водку пью, туман ли у меня в глазах, чтобы у меня в них троилось?

Тут один ли, другой ли крестьянин спрашивает:

— Ты, стало быть, короля видел?

Другие:

— Чего с дураком разговаривать.

Но Франек не унимался:

— А как же! Понятно, видел. И не раз видел. Я короля Бальцера вот так видел перед собой, как вас теперь вижу. Гляжу раз, солнце заходит, а тут подле что-то огромное в золоте стоит. Дуб, думаю,— нет, не дуб. Подхожу, смотрю — король стоит, мантия на нем золотом сверкает, от короны — глаза слепит. Ну и богатство! Борода по пояс серебрится, как этот мох седой, одной рукой в бок уперся, в другой — скипетр королевский. Красота такая — прямо страх! Понятно, особа-то королевская. А вокруг войско в золоте, в пурпуре, в руках пики держат, копья, оружие там всякое. Свита огромная, страшная. Сила и мощь такая, что и не счесть. В глазах у меня белый свет затмился, когда я все это увидел.

А потом, слышу, шептаться стали: этот тому что-то говорит, тот этому, друг к другу головы наклоняют, о чем-то сговариваются и советуются... Ого! — думаю—что это тут сейчас будет. Ничего. Солнце зашло. Войско это меж деревьев попряталось, король тоже. Улегся и я, сплю. Сплю себе, как ни в чем не бывало. Вдруг как загрохочет, как затрещит, как начнет по лесу греметь, как начнет шуметь!..

— Ну и что ж это? — спрашивает крестьянин.

— Чему ж быть, как не войску! Вот тут-то я и сообразил, что это они с вечера о битве об этой договаривались... Так, скажу вам, бились они, словно самый сильный вихрь против вихря вышел, так палили, словно гром гремел, и так оружие их по лесу сверкало, словно молнии яркие. А как стрелять начали, вижу, в огне этом король Бальцер стоит в мантии из чистого золота, с золотой короной на голове и бородой трясет...

— Бай-баю! Гроза в лесу была — да и все тут, — скажет кто-нибудь из крестьян.

— А чему бы еще быть?.. — поддакивает другой.

— И зачем это войску в лесу стоять?.. — добавит третий.

— Ах, люди, люди! — кричит Франек, всплеснув руками. — Земля у вас есть, и хаты есть, хозяевами считаетесь, а сами того не знаете, что войско трех королей в лесу стоит. Ой, народ, народ!.. И когда же вы из темноты этой свет увидите? Когда?.. Уж и Иисус Христос по свету ходил, и апостолы ходили, а вам хоть бы что. Все такие же овцы глупые.

И он окинул их взглядом, полным изумления, сожаления и гнева, как варваров, которых хотел просветить, как заблудших, которых жаждал обратить на путь истины.

Крестьяне смеялись:

— Глядите-ка!

— Ну его!

— Сам дурак, а выходит, что мы глупее.

Но мальчуганы в затянутых ремнями сермягах, помогавшие отцам собирать хворост, широко раскрывали глаза и еще шире рты и, зачарованные, смотрели на Франека, как на радугу. А когда наступала весна и в чер-

ном еще лесу раздавались первые раскаты грома, ребятам грезилось несметное войско трех королей, их большие, сверкающие молниями мечи и король Бальцер в золотой мантии и золотой короне, и не один подросток поглядывал украдкой из-за угла на лес: и вправду ведь жаркая там битва шла, будто вихрь с вихрем повстречались.

Иногда, однако, Франека — ни с того ни с сего — одолевала тоска по людям. Покидал он тогда и отца своего, и мать и отправлялся вот так, как сейчас, куда глаза глядят, неведомо зачем и для чего. И так спешил он, будто кто его ждал с нетерпением или блага какие посулил. Особенно весной, когда после ясных закатов солнца воздух пропитывался запахом свежеспаханной земли, когда по небу в пламени зари летали жаворонки, а на полях лежали вывернутые пласты земли, когда от полосы до полосы разносились голоса пахарей, а тяжелые ярма волов начинали скрипеть по колесным дорогам, Франек ничего не мог с собой поделаться. Он мчался туда, где дул ветер, где светило солнце, где раздавались человеческие голоса, где на землю ложился туман, — мчался, куда глаза глядят.

Питаясь каким-нибудь налимом, выловленным в канаве и зажаренным живьем на палочке, ходил он по межам среди распаханной земли, глубоко дыша, как бы желая этой свежестью и влагой подкрепить свои силы; а когда наступала ночь, ложился между полосами, склонив свою бедную голову на первый попавшийся ком земли, и ясными глазами своими глядел в небо, не засыпая иной раз до полуночи, словно кто-то ему рассказывал что-то или чудеса какие показывал. После такой ночи Франек просыпался весь мокрый от росы, как полевой камень, усаживался на меже, обхватив руками колени, и, задрав голову, смотрел вверх, как ворона на солнце, пока не обсыхал. Он все время шевелил губами, будто разговаривал с кем-то в вышине или молился этой утренней лазури. Не раз просил он крестьян, чтобы позволили ему хотя бы полдня попахать, хотя бы выворотить один пласт земли. Не давали. «Глупому» нельзя прикасаться к тому, что должно расти. Нельзя ему ни пахать, ни сеять. Иной раз даст ему какая-нибудь баба поковы-

рять лопатой в своем огороде, и он так благодарил ее за это, так ей в ноги кланялся, как если бы его кто вкусной едой попотчевал. Так тянуло его к земле, так он ее любил. А когда шел теплый проливной дождь, он никуда от него не прятался, а только сгибался, как верба, и слушал жемчужное журчанье падающих капель, как иной не заслушался бы гусель, если бы они ему играли. А в поле стояла тишина широкая, глубокая; леса не шелохнутся, молодой лист кое-где шепнет что-нибудь, и над землей такая легкость, такая прозрачность, что только межи за межами, луга за лугами плывут по воздуху в глазах, а Франек стоит посреди поля, стоит как зачарованный, и слушает, будто голоса какие-то в тишине этой с ним разговаривают или звонят где-то к вечерне.

— И чего это ты так, Франек, заслушался? — спрашивали его пастушата, которые, накрывшись от холода мешками, играли под грушей в «орлянку».

Он не сразу отвечал им, будто не к нему обращались.

И только когда они приставали к нему, без конца повторяя свой вопрос, отвечал:

— Вы что ж, малыши, не слышите, как земля говорит?

— Как же это? — спрашивают пастушата, а сами смеются в кулак, потешаясь над Франеком. — Как же это земля говорит?

Франек рукой по воздуху водит, как бы показывая что-то вдали, на пастушат не глядит и взор свой устремляет прямо в лазурь.

— Все, что есть и что было и что еще когда-нибудь будет, все это знают огонь, ветер и земля. Но земля из всех них самая мудрая.

— Решка! — крикнул тоненьким голосом маленький пастушонок, подбрасывая вверх медяк.

— Орел! — отозвался другой.

Франек продолжает:

— Потому что ветер и огонь от живых свою силу берут, а земля от мертвых костей. Что земля от мертвых костей услышит, то живым перескажет.

Детей пробирает дрожь. Пастушонок так и замирает с поднятой в воздухе рукой, которой он встряхивал ме-

дяк, чтобы на орла не упал, и со страхом глядит на Франека. Остальные тоже поднимают головы.

— А что она говорит?— спрашивает Юзек.

Франек обводит взглядом детей, а потом, уставившись на заглядевшегося на него пастушонка, продолжает:

— Говорит, что голодному даст хлеба, жаждущему — воды, нагому — льна и конопля, хворому — зелья целебного. Говорит, что скорбящему даст утешение, обиженному — справедливость, заключенному — освобождение, а усталому — вечный покой,— аминь.

Старший из мальчиков, Михалек, хохочет, страха как не бывало, пастушата звонко и громко смеются. Только Юзек сидит под своим мешком и, широко раскрыв глаза, смотрит на Франека, удаляющегося к Бугаеву лугу.

— Глупый Франек! Глупый Франек,— горланят, как воронята, вслед ему ребяташки.

— Вернись, Франек, вернись,— кричит Михалек, — мы тебя войтом¹ выберем, раз ты такой умный.

Франек идет дальше, не ускоряя, не замедляя своих шагов, как будто все это к нему вовсе не относится.

Он знает, что и молодые, и старые, и вот пастушата даже говорят ему «ты». Кто станет с «дурачком» на «вы» разговаривать.

«Мы» — это частица общины, рода или коллективной мысли и благосостояния, это частица коллективной жизни и коллективной силы. Но «дурачок» находится вне границ рода, богатства, силы. Потому-то он и «дурачок», что у него разума нет. Он до седых волос, до гробовой доски пребывает в младенчестве, сначала растет, растет, как ветка лозы, потом клонится книзу, клонится к земле, словно стебель бесплодный, но зрелости он никогда не достигает.

Не обижается он и ни на какие прозвища. Привык. Его любви к людям не мешают никакие обиды. Он идет к людям вот так, как сейчас, с блестящими от радости глазами, с тоской и приязнью в душе.

И так спешит он, будто ждут его близкие, будто родные братья обрадуются его приходу. Спешит, будто сам

¹ Войт — сельский староста (польск.).

несет им в дар что-то очень дорогое, какие-то бесценные сокровища.

А в руке у него меж тем ничего, кроме нескольких зеленых веточек и пучка сорной травы, в которой ярко блестел желтый одуванчик и серебрились веточки вербы с полуоткрывшимися почками: Франек наломал их по дороге, так как до вербного воскресенья оставался день или два. Кое-где в воздухе расстился уже дым от можжевельника, на котором хозяйки коптили колбасу или ветчину.

Франек с наслаждением вдыхал эти запахи, и смуглое лицо его расплывалось в широкую улыбку.

Но вдруг он помрачнел. Из легкого, нависшего над берегом тумана начал выползать длинный ряд белых домиков, необыкновенная опрятность которых и форма строения говорили, что это немецкая колония.

Это действительно были лежащие на восток от Визны Олендер-Гаи, название которых отличалось от названия расположенных по другую сторону Нарева Гаев—Ляхов, так же, как отличались их обитатели происхождением, нравами и обычаями.

Франек ненавидел немцев. Он даже избегал встречи со сплавщиками на реке, потому что в конторе на плоту чаще всего работал немец.

Не раз кричал он, останавливаясь посреди дороги:

— Удирайте, детки, немец идет!

— А чего от немцев удирать? — спрашивает его какой-нибудь крестьянин.

— Потому что от немца, как от худого ветра, укрыться б подальше. Немец и ржа, — говорил он, — оба наш хлеб портят. Ржа еще, пожалуй, не столько вреда приносит, что немец.

Почувяв теперь по долетавшему дыму близость этой немецкой колонии, Франек тотчас свернул в сторону и пошел не по дороге, а наперерез, пробираясь сквозь заросли колючего кустарника. Путь был не из легких. Из года в год немцы выкорчевывали этот терновник, но его никак нельзя было выжить из его исконного гнезда, и каждой весной он выпускал свои острые клыки, угрожая ноге, которая отважилась бы босиком коснуться его. А к осени он так разрастался, что немцы вынуждены были

снова его выкорчевывать. Еще буйно разрослись там ежевика и смородина, так что Франеку приходилось каждый шаг брать с бою.

Как дикий кабан, продирался он сквозь эти заросли, то и дело сплевывая от отвращения к немцам, о которых рассказывал, что когда чорт переносил их на вилах с их земли на берег Нарева, то после каждого немца полоскал вилы в воде, и от этого подохло множество рыбы.

Прежде чем Франек выбрался из этих колючих кустов, он покалечил ноги, изодрал в клочья рубаху, исцарапал лицо и руки, и не один клочок его льняных волос остался на колючках шиповника и терновника.

Так воз с сеном, пробираясь сквозь лесную чащу, оставляет здесь и там на ветках сухие соломинки, словно пошлину в уплату мытарям за проезд. Но Франек ни на что не обращал внимания. Большими шагами продвигался он вперед, пока не обошел длинный ряд домов немецкой колонии и не оставил ее далеко позади себя. Теперь только вздохнул он полной грудью, посветлел в лице и радостно взглянул на мир. Он тотчас же, свернув к реке, вступил в ее мелкий брод и обмыл ноги после немцев, как тот чорт вилы.

Шел теперь медленней, задрав голову кверху, к солнцу, как это делают дети и птицы. Но ему сегодня не везло.

Не успел он пройти болотистый лужок, в который глубоко врежется Нарев и который носит в народе название Оснелки, как встретил костлявую белую клячу старого Гамера, медленно двигавшуюся к Олендрам, таща дорожную тележку, нагруженную всяким домашним скарбом. Рядом с телегой шел сам старый Гамер в суконной шапке с наушниками и курил трубку. Франек чуть не обомлел при этой встрече. Хотел было свернуть в сторону, но вдруг заметил на телеге большой раскрашенный сундук, который он не раз видел у Луки в Загайном, а на сундуке железный котелок, тоже оттуда (он сразу узнал его, потому что сам носил его к кузнецу в починку), потом холстяной мешок, так туго набитый льном, что его и две хороших пряжи не смогли бы за зиму спрять, и, наконец, огромную бочку капусты, пока-

чивавшуюся на узкой телеге то в одну, то в другую сторону, а за ней перевесившего через жердь голову теленка со спутанными ногами, появившегося на свет шесть недель тому назад, как раз тогда, как Франек в последний раз ночевал у Луки.

Франек остановился, вытаращил глаза и остолбенел. Не расспрашивал, не рассуждал, только почувствовал, как что-то сжало ему сердце.

Телега медленно тащи́лась мимо него. Старый Гамер шел рядом, держа трубку в руке и считая высыпанные из грязного мешочка на ладонь деньги. Франека он, возможно, даже не заметил. А тот горящим взором глядел на крестьянское добро и тихо шептал:

— Поглядите только, сколько эта немецкая сила добра у людей забрала и к себе тащит.

И с застывшим ужасом в неподвижных глазах показывал он дурной своей головой, как бы видя перед собой страшные следы пожара или наводнения.

И только когда теленок, лежавший на телеге со свесившейся головой, протяжно раз-другой замычал, исчез у Франека страх и охватила его такая жалость, такая жажда мести обуяла его, что, очнувшись от оцепенения, он бросился бежать к Загайному, точно ему нужно было спасти свое собственное добро, свою собственную скотину, свою собственную хату.

Чуть ли не птицей пролетел он оставшуюся часть пути, ворвался в деревню и очутился перед хатой Луки, стоявшей на самом краю. Здесь было шумно и людно, как на ярмарке. Гася, небольшая рыжая дворняжка, с острой, как у лисы, мордой и торчащими ушами, не знала, на кого раньше лаять: на рыжего ли готлибовского работника из Олендров, который с двумя такими же, как и он, подростками опрокидывал на ручную тележку красный стеклянный шкаф Луки, или на осматривавшего соломорезку немца с трубкой в зубах, бормотавшего что-то себе под нос, или на баб, которые с детьми на руках и у подола спрудились у плетня и что-то обсуждали, или на девчонку, помогавшую хозяйке ловить курицу, или на торгующегося Фрица, зятя Гамера, или на наседку вырвавшуюся у него из рук и удиравшую с пронзительным клекотом, или на вертевшихся под ногами детей, или, на-

конец, на чужих собак, сбежавшихся сюда вслед за немцами из Олендров, больших, сильных, лохматых, молча обнюхивавших все кругом.

Но глупый Франек ничего этого не замечал. Он искал Луку, хозяина. Увидел его. Лука стоял посреди двора в шапке набекрень и в расстегнутой поддевке. Это был крестьянин лет сорока, смуглый, сухопарый, крепкого сложения. Он держал за рога бычка, а тот вырывался и, наклонив голову книзу, грозно мычал. Перед Лукой стоял, широко растопылив ноги и заложив руки в карманы, самый богатый из колонистов, Готлиб. Он ворочал жирной шеей, поблескивая на солнце томпаковой цепочкой и раскрашенной трубкой, колышущейся на его толстом животе.

Торг приходил к концу. Крестьянин кричал все громче, продолжая возиться с бычком. Он все же выпустил один рог и протягивал через полу кафтана руку немцу; тот стоял с надутой губой, прищурил веки, поднял брови и, не вынимая рук из карманов, отрицательно шевелил шеей. И вдруг меж ними появился Франек, за Франеком дети, а за детьми Гася.

Дети давно уже не видели Франека. С новым любопытством бросились они к нему. К тому же выглядел он сегодня очень уж забавно: столько разной травы в волосах, весь ободранный, запыхавшийся, грязный.

— Франек, глупый Франек! глядите на глупого! — кричали писклявыми голосами дети, им вторил веселый лай дворняжки. Она тоже, казалось, оповещала: Франек, глупый Франек!

Но Франек ничего не слышал. Он подскочил к Луке, дернул его за рукав и задыхающимся от усталости голосом закричал:

— Хозяин!.. Хозяин!.. Лука! Лука!.. как же это так: немец окаянный и твой сундук увез, и телегу, и теленка, злодейская его душа... и капусту, и бочку с капустой...

Голос его прерывался, у него захватывало дыхание.

— Глупый Франек! Глядите на Франека! — орали с растущим весельем дети.

Крестьянин повернулся к ним.

— Тише, вы, чертенята! — топнул он ногой, — пошел вон!.. — крикнул на собаку, с лаем бегавшую вокруг бычка и хватавшую его за ноги.

Франек опять дернул Луку за рукав.

— Хозяин! Лука! — начал он снова. — Это ведь вор...

Готлиб еще больше нахмурился и отступил немного назад. Они стояли у самого колодца, а никто ведь не знает, что может дурачку в голову взбрести.

— Ступай, дурак, — отмахнулся гневно крестьянин.

Но Франек и не думал уходить. Он только стиснул кулак и, ударяя им себя в грудь, крикнул неистовым голосом:

— Не сойти мне с этого места, до ночи не дожить, если вру: сам, своими глазами видел я вора с телегой возле Оснелков, а на телеге сундук ваш, бочка и теленок.

— Да ну тебя, проклятый! — обрушился вдруг Лука не то на бычка, не то на Франека. Бабы, стоявшие у забора, начали придвигаться поближе, люди стали оборачиваться на крик, а Франек широко раскрытыми, полными ужаса глазами уставился на Луку, недоумевая, почему тот не бросает все и не мчится тотчас за вором. Ему казалось, что Лука все еще не понимает его или не верит ему. И он с еще большей силой ударил себя в грудь:

— Украл, хозяин... увез... Мне бы так счастливой смерти дожидаться, как верно то, что немец-грабитель украл и увез!

Готлиб отвернулся, плюнул и опять отступил на шаг.

Крестьянин пришел в ярость:

— Что ему было красть, пропащая твоя душа, что? Я сам ему продал... сам.

У Франека опустились руки.

— Глупый Франек!.. Глупый!.. — кричали дети, прыгая возле колодца.

Франек глядел на крестьянина тупо, непонимающе, не будучи в силах притти в себя. С раскрытым ртом и вытянутой шеей стоял он с минуту молча, пока не выдал из себя изменившимся, охрипшим голосом:

— Вы ему продали?.. Неужели вы, хозяин, сами ему продали?..

— А, песья... ты! — выругался крестьянин, удерживая вырывавшегося бычка.

Франек снова схватил Луку за рукав. Он дышал тяжело, глаза вылезали у него на лоб.

— Скажите!.. Сами продали?.. Скажите!

Он наступал на крестьянина, все сильнее дергая его за рукав.

— Убирайся, пока цел! — крикнул Лука. — Чтоб ты пропал, чума проклятая!.. — рывкнул он на все еще вырывавшегося из его рук бычка.

— А, dumme Kerl!..¹ — презрительно пробурчал Готлиб, пожимая плечами.

— Чего с дураком разговаривать, — рассмеялась одна из баб. Другие за ней. Каждой хотелось теперь показаться немцу рассудительной и учливой. Они не были в конце концов уверены, не придется ли и им самим продавать что-либо немцам; пожимали плечами, бросали сочувственные взгляды, отворачивали головы.

В эту минуту подошел в накинутах на плечи кожухе, с жнутым в руке Филипп Бодняк, зять Луки. У него не было своей земли, он занимался извозом и нанялся к немцам из Олендров, которые берегли и свое время, и своих лошадей. Это был коренастый мужик, красный, как свекла, с лицом, изрытым оспой; свою баранью шапку от сдвинул на затылок, потому что от трех магарычей, которые он ставил в кабаке, голова у него отяжелела и язык заплетался. Бедняк, не имевший собственного клочка земли, в душе досадовал на тестя и рад был задеть его колким словом, потому что глаза у него были завидующие на чужое добро.

И вот он стал перед Франеком, упершись руками в бока, и, не слишком твердо держась на широко расставленных ногах, сказал:

— Не знаешь, что ли, дурачок, какие теперь крестьяне хозяева: все продают — и добро свое, и землю...

На него напала икота, и он умолк.

Франек слушал, словно оглушенный.

— И землю... — повторил он, как эхо.

— И землю свою, и дома свои бросают, — продолжал Бодняк, — уходят, дураки, за море...

¹ Глупый парень (немецк.).

— За море... — повторил Франек.

— Говорят, туда и сухопутная дорога есть и по ней в три дня доехать можно, только никто про это не знает...

— Не знает... — беззвучным голосом повторил Франек.

— Вот и теперь идет распродажа, как с молотка, — говорил Бодняк, пытаясь подавить мучавшую его икоту, — торг идет, как в лавке.

Он поднял руку, заросшую черными волосами и покрытую сетью толстых жил, и водил ею в воздухе, указывая пальцем на собравшихся. Мутные, тупые глаза Франека кружили вслед за этим пальцем. Теперь только увидел он рыжего готлибовского батрака, и шкаф на тележке, и немца возле соломорезки, и Фрица с курицей в руках, и баб, и чужих лохматых собак, и бычка, и самого толстого Готлиба. Всё. Он смотрел, смотрел, потом вдруг опустил руки и склонил голову на грудь. Копна его льняных взъерошенных волос упала ему на глаза. У него был теперь такой смешной вид, что дети вновь разразились криком:

— Глупый Франек! Глупый Франек! Глядите на глупого Франека!

Губы у него дрожали, колени подкашивались, рубаха все выше вздымалась на его тяжело дышавшей груди.

Вдруг он разрыдался навзрыд и умоляюще обратился к Луке:

— Не продавай, хозяин, поля! Ради бога, не продавай!.. Марня, спаси нас!

Он залился горькими слезами и ухватился за полу кафтана крестьянина.

Лука старался освободиться от него и злобно ругался:

— Отстань ты, пугало!.. Чума проклятая! Чтоб тебя задавило!..

Франек, оставив Луку, подбежал к его жене. Громкие рыдания потрясали его тщедушную грудь.

— Хозяйка! — молил он прерывающимся голосом. — Не продавайте немцам хаты... Ради бога, не продавайте хаты...

— Совсем одурел малый, — шептались бабы.

— А что ж?

— К весне такому хуже всего.

— Да отвяжись ты, переметная сума! — крикнула жена Луки. — Рехнулся, что ли? Уберите-ка его отсюда.

Но делать этого не пришлось. Он сам отскочил и, вытянув вперед едва прикрытые развевающимися лохмотьями руки, громко завопил:

— Люди! Люди добрые!.. Не продавайтесь немцам... Не продавайтесь!

Он умоляюще сложил руки над своей глупой головой, и по его смуглому лицу катились слезы, тяжелые, прозрачные, горячие.

— А, *dumme Kerl!* — повторил Готлиб, затем зевнул, плюнул, надвинул на голову свою суконную шапку и собрался уходить.

Это задело Луку, который хотел поскорее продать колонисту бычка, и он с яростью накинулся на Франека:

— Уберешься ты отсюда, нечистая сила, или нет? Ребята, марш отсюда!

Но вся эта «комедия» привлекала ребят, и они и не думали трогаться с места. Толкали друг друга локтями, переглядывались и продолжали стоять.

Лука побежал за Готлибом.

— Сосед, послушайте, сосед. Прибавьте ползлотого, и по рукам. Я сегодня на дела сговорчив, как на выпивку. У меня так: день тратит, день платит. Ну что ж, пан Готлиб, идет?

Говорил он громко, быстро, многоречиво, словно стремясь загладить впечатление от глупых речей Франека.

Немец притворялся, что хочет уйти. Но он все равно не мог уйти, пока на дороге стол Бодняк со своей тележкой, из которой повернувшаяся головой к дышлу кляча таскала сочную, скошенную на болотах траву. А Бодняк вовсе и не торопился уходить.

— Ну? Ползлотого? Идет? — повторил Лука. — Покупайте, пока продаю... Ну, так как же?.. Чего на дурачка глядеть! По рукам, что ли?

Но если когда-либо стоило глядеть на Франека, то именно теперь.

Как пашня сразу высыхает после весеннего дождя, как только солнце засверкает в вышине, так и он после нахлынувших слез вдруг резко изменился: его охватила внезапная веселость. Как будто другим стал, не узнать

его, глаза кулаком вытер, рассмеялся во весь овой широкий рот и, схватив у рядом стоявшего мальчугана шапочку, напялил ее себе на голову, уперся руками в бока и весело закричал:

— Эх, ма!.. Продавать, так продавать. Одним махом. Не горюйте, хозяин, глупый Франек поможет вам. Солнышко еще не закатится, а мы уж все распродадим, все дочиста!

Громкий взрыв смеха встретил речь Франека. Даже немцы начали смеяться, и громче всех рыжие готлибовские батраки, стоявшие возле тележки. Лука покраснел и гневно сверкнул глазами, но когда он увидел, какое потешное зрелище представляет собой Франек, он тоже не мог удержаться и громко рассмеялся. Франек тем временем подбежал к избе. Там лежали разные домашние вещи, сваленные в кучу, как на базаре.

Франек нагнулся, поднял с земли старый лемех, поблескивавший на солнце, и сказал:

— Пан немец! Поглядите, какой хороший лемех. Ох, немало земли он изрезал, немало пластов выворотил, немало хлеба добыл, но теперь он нам ни к чему, и земля нам ни к чему, и хозяйство ни к чему, и ни мы, и ни дети наши больше пахать этого поля не будем. Покупайте! Смотрите, какой отличный лемех.

Раздался новый взрыв смеха. Бодняк держался за бока и хохотал до слез.

Франек меж тем схватил с земли отрез льняной ткани и, потряхивая им, выкрикивал:

— Эй!.. Продаю кусок полотна... Глядите, какой: целехонький, белехонький... На алтаре бы его разостлать под хлеб под святой. Ох, и лежал на нем хлеб святой, зерно божье лежало, ржаное и пшеничное, сам хозяин на этом поле его сеял... Ох, немало зерна в матушку-землю ушло, и немало добра из этого зерна выросло. Покупайте плат, покупайте!

Раздался взрыв смеха, но не такой уж громкий. Жена Луки глубоко вздохнула и погладила по головке своего меньшого сына, который уцепился за ее фартук и не сводил глаз с Франека.

— Хозяюшка! — крикнул вдруг Франек. — А прялка где? Продали лен, продайте и прялку. Уж вам не прять

на ней кудель, не будете серой нитки при лучине на веретене натягивать, не будете пряжу мотать и мотков считать... Не будете больше полотна ткать, не белить его вам на росе на утренней, ни рубашек из него детям не шить. К чему вам прялка? Живей, хозяйюшка, живей! Несите ее... Пусть покупают...

То, что происходило сейчас в маленьком дворике Луки, становилось все необычней, все торжественней. Мальчуганы проталкивались вперед, чтобы поглядеть на глупого Франека, а глаза стариков затуманились — то ли заботой, то ли тревогой.

Вдруг раздался звонкий детский голос:

— Аист, аист!.. Ах, аист!..

Головы поднялись вверх.

Действительно, над каменным овином Луки и над лежавшей на нем бороной, покрытой еще прошлогодним аиром, в небе плыл, широко расправив крылья, первый весенний аист.

— Аист!

— Аистенок!

— Аист! — закричали со всех сторон мальчуганы, подбрасывая шапки и хлопая в ладоши.

Аист, как бы в ответ на приветствие, весело заклекотал, очерчивая над гнездом все меньшие и меньшие круги.

— Сядет!..

— Не сядет!..

— Сядет!.. — спорили девичьи голоса. Даже внимание баб и мужиков было отвлечено на время от Франека. Но тот, задрав, подобно другим, голову вверх, покачивал ею насмешливо и презрительно:

— Ох, глупая ты, глупая птица! — промолвил он наконец. — И чего ты летела из-за моря из-за широкого, со звездами засыпая, с зарей пробуждаясь, голод терпя, не страшись ни бурь, ни гроз, ни ветров, ничего не страшись?.. Зачем летела ты прямо сюда, к Загайному, с дороги не сбиваясь, крыльев не щадя, и только у ветра у восточного, с Нарева веющего, о Загайном расспрашивая? К гнезду летела, к милому гнездышку, к дому своему родному, где аистят своих вырастила, где солнцу радовалась, и где утехой людей была, где приют и покой

находила. Ох, прилетишь ты сюда и через год, но гнезда твоего здесь уже не будет, как и нас и наших гнезд не будет... Немцы здесь будут жить, немцы заложат здесь свои гнезда, а ты, глупая птица, прочь отсюда, за море... за море!..

Он возвысил голос, и глаза крестьян снова обернулись к нему.

— Пан Готлиб,— закричал он,— пан немец, подойдите ближе, еще ближе! Тут немало еще для продажи найдется, только денежки готовьте! Видите этих ласточек над водой? Видите эту синеву небесную? Видите этот крест у дороги? Видите вот эти холмики, эти могилки наши? Живей! Живей! Все продаем, все, все! Покупайте эту синеву небесную, этот крест у дороги, эти могилки наши!

Он швырнул шапку на землю, опустил голову и замолчал. А затем, упав на колени перед грудой нагроможденных возле избы вещей, скрестил руки и проговорил громким голосом:

— Святый боже! Святый крепкий! Святый бессмертный, смилуйся над нами!

По толпе пронесся тихий шопот, будто ветер весны. Крестьяне обнажили головы, бабы стали на колени, а Франек продолжал:

— От мора, голода, огня и воды избави нас, боже!..

От нечаянной и ранней смерти избави нас, боже!..

От бурь и всяких напастей избави нас, боже!..

И мир очагам нашим, гнездам нашим человечьим ниспошли, господи!

А так как он всегда был «глупым», то, окончив на свой лад молитву, встал, поднял свои ясные глаза вверх и, пройдя сквозь толпу, побрел одиноко к реке.

Д Ы М

Когда бы она ни посмотрела в окно своей комнатки, она всегда видела, как дым валит синим столбом из огромной фабричной трубы. Нередко даже от работы отрывала она свои старые глаза, чтобы бросить на него

взгляд. И взгляд этот был удивительно ласковый, нежный. Люди шли и проходили мимо, спеша в разные стороны, и редко кто из них поднимал глаза вверх на фабричную трубу, еще реже кто замечал синюю полосу дыма. Но для нее дым этот имел особое значение; он как бы разговаривал с ней, и она, казалось, понимала его, он был для нее чуть ли не живым существом.

Когда ранним утром на пылающем радужными красками фоне неба дым начинал черными круглыми клубами подниматься над трубой, распространяя острый едкий запах сажи, она знала, что там в кочегарке стоит у топки, разжигая огонь, ее Марцись, высокий, статный, ловкий в синей полотняной блузе, стянутой кожаным ремнем, в легкой шапчонке на светлых волосах, с широко распахнутым воротом.

— Ого! — шептала она улыбаясь. — Это мой Марцись старается.

Он на самом деле старался. Гордый своим новым званием кочегара, Марцись с усердием новичка насыпал уголь в топку, корзину за корзиной, работая и за себя и за истопника. И вместе с этим огромным ярким пламенем в душе его вспыхивали песни, звучавшие в кочегарке с рассвета до поздней ночи.

Постепенно, однако, черные клубы дыма начинали светлеть, редеть, делались легче и потом тонким ровным столбом поднимались в ясную лазурь неба.

Зрелище это наполняло сердце вдовы радостью и спокойствием.

— Все хорошо... — шептала она, — слава богу, все хорошо.

Потом она принималась хлопотать в убогой комнатухе, убирая постель свою и сына, подметая старой березовой метлой сор и разжигая огонь в печке, чтобы приготовить обед своему Марцисю.

И тогда против большой фабричной трубы с огромным столбом дыма поднималась в небо тоненькая синяя полоска над крышей чердака, в котором жила вдова, чуть заметная полоска дыма, такая же слабая и бледная, как дыхание старой груди, раздувшей этот огонь.

Но молодой кочегар всегда замечал этот дымок. И не только замечал, но и улыбался ему. Он ведь знал, что

там, у печки, его старая мать в белоснежном чепце, в чистой кофте, в розовом фартуке, маленькая, худая, сгорбленная, готовит замечательный борщ или отменную похлебку. Ему иногда даже отчетливо казалось, что он чувствует вкусный запах этих блюд.

С удвоенным рвением кидал он тогда в топку новую лопату угля. Пока истопник, прервав работу, чесал в затылке, Марцись, упершись ногой в каменный рант печи, гибкий и ловкий, успевал сделать все — и за себя и за него.

И так друг против друга поднимались в небо эти два дыхания — фабрики и чердака, теряясь в прозрачной лазури, может быть даже сливаясь с ней.

К полудню фабричный дым начинал редеть, гигантские легкие машин замедляли работу, выпущенный пар с пронзительным свистом прорезал воздух — и Марцись, как ураган, влетал в комнату.

— Мама, кушать! — кричал он еще с порога и, бросив на стол шапку, бежал к висевшей у окна клетке с дроздом.

Увидев Марциса, дрозд издавал пронзительный свист, похожий на фабричный гудок, и потом начинал исполнять свои обычные песенки, которым научил его хозяин. Марцись стоял у клетки, заложив руки в карманы, и помогал птице свистеть. От этой музыки чуть ли не сотрясались стены.

А мать в это время расстилала на столе красивую желтую скатерть с изображенными на ней голубыми оленями и ставила глубокую фаянсовую миску наваристого борща, а то и горохового супа с грудинкой или лапши — что придется. Рядом с миской появлялся на столе большой каравай хлеба — главная основа этой еды. Не успевал Марцись пододвинуться к нему, как хлеб тут же исчезал наполовину. Парень отрезал ломоть за ломтем, макал в мисочку с солью и приговаривал:

— Вкусный хлеб, мама!

— Вкусный, сынок, — отвечала вдова. — Ешь, ешь на здоровье!

Марцись не заставлял себя долго просить и вместе с хлебом мгновенно исчезало и содержимое миски.

— Вкусный борщ, мама, вкусный,— говорил он.

А вдова ела все медленней, больше дула, мешала ложкой в тарелке — и борща словно и не убывало. Когда она видела, что Марцись очистил уже все, что перед ним стояло, и вытирал тыльной стороной ладони свои пробивающиеся усики, она торопливо спрашивала:

— Можеть быть, съешь, сынок, еще немного? Мне сегодня борщ что-то не очень.

Хотела сказать, что борщ ей не очень-то по вкусу, но боялась такой явной ложью прогневить бога, потому что борщ был превосходный.

— Ну, что ж,— говорил Марцись,— если тебе не нравится...

Она быстро ставила перед ним свою тарелку, приговаривая:

— Ешь, родной, ешь на здоровье!

И Марцись снова принимался за еду.

— И чего вы хотите от этого борща?— недоумевал Марцись.— Королевский борщ.

— Был бы, сынок, был бы таким,— отвечала мать, моргая глазами,— да вот лаврового листа у меня нехватило.

Случалось, Марцись не доедал.

Тогда вдова сливала эти остатки в глиняную посудину и ставила ее, стараясь, чтобы сын не заметил, в печку.

Эти остатки она считала уже своей собственностью и, когда Марцись уходил, съедала их вместе с оставшимися кусочками хлеба.

Все это совершалось с неимоверной быстротой. Молодого кочегара в полдень сменяли не надолго, и ему надо было торопиться. Едва доев последний кусок, он крестился широким крестным знаменiem, целовал натруженную, исхудалую руку матери, хватал шапочку и, свистнув на прощанье дрозду, в три прыжка сбегал с чердака вниз. Вдова останавливалась посреди комнаты со снятой со стола скатертью и прислушивалась к громкому топоту удаляющихся ног с тревожной и в то же время счастливой улыбкой.

— Святой Антоний,—приговаривала, качая головой,—

ну и несется! Еще ноги поломает, да и лестницу расшибет...

И стояла так, пока не раздавался внизу стук захлопнувшихся дверей и не стихало эхо бешеного грохота молодых и сильных ног. Тогда только принималась она снова за работу: складывала скатерть, мыла посуду, засыпала пеплом огонь в печке и, усевшись у окна, чинила одежду и белье сына.

В длинные летние дни она могла еще долго, очень долго видеть, как валит дым из фабричной трубы, и слушалось, так заглядывалась на него, что и работа выпадала у нее из рук...

Удивительные очертания и окраски принимал этот дым.

То он извивался кольцами, как железная змея, и уносился все выше и выше; то повисал в воздухе, как легкая завеса, рассыпая вокруг розовые облака; то поднимался, как из кадьницы, прямо вверх, мягко колыхаясь по краям; то сверкал золотом на солнце, как исполинский султан, развеваясь над трубой, будто над шлемом; то принимал странные очертания каких-то неземных призраков, видений...

Иногда ветер раздувал его, точно парус большого судна, иной раз рвал на части, словно пучки пакли, или гнал вдаль, как серый туман. А когда шел дождь, дым повисал над трубой тяжелой сизой тучей, падал клочьями на крыши, метался над землей, не зная, куда укрыться.

Зимой вдова зажигала лампочку, садилась у печки и вязала теплые чулки на продажу.

И хотя от окошка сильно дуло и сквозь прогнившие рамы прямо в комнатку залетал снег, вдова все же время от времени поднималась и подходила к окошку, чтобы взглянуть на фабрику.

Фабрика сверкала, прямо против чердака, длинным рядом освещенных окон, несмолкаемо гудела, работая своими гигантскими легкими, лязгала железом, звенела ударами молотов, шипела жалами расплавленных металлов. Дым, валивший теперь прямо в гранитную твердь небес, дышал пламенем и рассыпал вокруг себя снопы искр, как ракеты.

Широкие отблески его прорезали небо и там вдали отражали большое тихое зарево.

Вдова в раздумьи стояла у окна и смотрела на фабрику.

От этого раздумья пробуждал ее свист дрозда. Встревоженный светом, бьющим от фабрики в окна, он снова принимался высвистывать свои песни. В комнате становилось веселее, в печке трещал огонь, а дрозд драл горло так, что можно было оглохнуть. А когда на небе поднималась полная луна, все это огненное видение таяло в лунном сиянии.

Марцись возвращался домой только поздно вечером и снова кричал с порога:

— Мама, кушать!

Вместе с этим молодым существом в комнату врывались веселье, смех, приволье.

На этот раз Марцись ел не так торопливо, разговаривал с матерью, охотно отвечал на ее ежеминутные расспросы о прошедшем деньке, но потом начинал громко зевать, потягиваться, даже дрозд больше не забавлял его.

— Ступай, сынок, спать, ступай! — говорила мать, глядя его по голове. — Завтра снова чуть свет вставать.

— Пойду, мама, — отвечал сонным голосом Марцись. — Устал я, ох, как устал...

— Помолись, сынок, перед сном, — напоминала ему мать.

— Помолюсь, мама.

Он целовал ее руку, становился на колени перед своей постелью и, опустив голову на сложенные руки, шептал торопливо «Отче наш» и «Богородице дево», поминутно прерывая молитву протяжным зевком, потом громко ударял себя в грудь, широко крестился и, быстро скинув одежду, бросался на жесткую постель.

Марцись сразу же засыпал, и в комнате раздавалось его мерное, глубокое дыхание, в то время как мать еще долго шептала молитвы перед почерневшим ликом пречистой девы Марии, выступавшей на золотистом фоне иконы.

Наконец лампочка гасла, дрозд переставал возиться

в клетке, всё затихало, чтобы вновь пробудиться с рассветом.

Не так-то легко было поднять Марцися с постели. Вдова спала тем коротким и чутким сном старости, который как бы бережет каждый час жизни перед вечным сном в могиле. Просыпалась она всегда со вторыми петухами, задолго до первого фабричного гудка и, поднявшись с постели, суежилась по хозяйству, готовя сыну похлебку. А в окне появлялась большая и тихая утренняя звезда, роняя свет прямо в лицо Марцися. Вдова подходила к постели и смотрела на своего единственного сына. И пора бы будить его, но глубокий сон Марцися останавливал ее.

— Пусть поспит...— шептала она едва слышно, — пусть еще чуточку...

И только, когда с фабрики раздавался пронзительный свисток, она начинала:

— Марцись!.. А, Марцись... Вставай, сынок, гудит.

Марцись поворачивался к стене.

— Это дрозд свистит,— говорил он спросонья.

— Какой там дрозд! Фабрика, а не дрозд!

Марцись вытягивался, накрывался с головой одеялом, ворчал, но мать продолжала свое. Ночная смена окончилась. Кочегар раньше всех должен быть на месте, даже раньше рабочих. Повторялось это изо дня в день, не исключая воскресений.

Но однажды Марцись проснулся сам, еще задолго до рассвета, вскочил с криком и сел на постели.

Мать была уже возле него.

— Что с тобой, сынок? Что случилось?— заботливо спрашивала она.

Марцись не отвечал. Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, холодный пот выступил у него на лбу, губы дрожали, расстегнутая рубашка поднималась на груди от частого и громкого биения сердца.

— Что с тобой, сынок, что с тобой?— спрашивала мать, обнимая его и прижимая к себе, как маленького ребенка.

Марцись долго не мог отвечать.

— Ничего, мама, ничего,— выговорил он наконец с

явным усилием.— Ничего... Мне снилось, что в меня ударила молния.

Вдова похолодела от ужаса, но не показала и виду. Хотела сказать что-то, но слова застревали у нее в горле.

Марцись сидел на тапчане, неподвижный, прямой, уставившись в одну точку полным ужаса взглядом.

— Молния, мама,— сказал он тихим прерывистым голосом,— такая красная, страшная, как змея. Упала на грудь, вот сюда, мама, такая страшная, огненная...

Потом замолчал, тяжело дыша.

Вдова кое-как пришла в себя.

— Что ты, сынок, что ты,— сказала она, глядя его по воспаленным щекам.— Что ты! Страшен сон, да милостив бог. Пустое.

А когда Марцись защелкал громко зубами от страха, села возле него, прижала его голову к своей высохшей груди и начала баюкать, как в детстве.

Парень немного успокоился и лег на подушку.

— Иди, мама, ляг,— сказал он,— я засну...

Но он не заснул. Лежал на спине с широко раскрытыми глазами, вглядываясь в угасающие на востоке звезды.

Мать посмотрела на него раз, другой.

— Почему же ты не спишь, сынок?

— Не могу,— ответил он тихим, грустным голосом.

Старуха подошла и села возле сына.

— Ничего с тобой не случится,— сказала,— ничего не случится. Разве для того милосердный бог хранит молнии на небе, чтобы ими убить единственного сына вдовицы? Нет, не для этого... А я тебе вот что скажу: если молния юноше или девушке снится, это значит к свадьбе. Да. У меня ведь сонник есть, я знаю.

Сказала это мать с улыбкой, чуть ли не весело, и высохшей рукой гладила лоб и волосы сына, пока он не успокоился и тоже начал улыбаться.

— Ты говоришь, к свадьбе?— спросил он.

— Конечно, к свадьбе, к веселой свадьбе.

Марцись задумался, потом сказал:

— Я, пожалуй, встану, мама.

— Вставай, вставай, сынок, сейчас завтрак приготовлю, поешь, и все пройдет.

И в самом деле, прошло. В это утро в комнатке даже было веселее, чем обычно, потому что Марцись не торопился и насвистывал, вперегонки с дроздом, одну песенку за другой, пока птица не охрипла, и, когда дошло до мелодии о Зосе, которой захотелось ягодок, дрозд уже не пел, а гнусавил. Рассмеялся Марцись, рассмеялась вдова,— и вот так радостно они и расстались.

Когда Марцись вышел, вдова подошла к дверям и начала прислушиваться к удаляющимся шагам. Они были легкие, быстрые,— известно, молодые ноги. Даже кривые прогнившие ступеньки не скрипели сегодня, как обычно. И только когда Марцись захлопнул за собой двери, вдову охватил внезапный страх,— таким глухим и замогильным был этот стук, и таким резким эхом прозвучал он в пустых сенях. Старуха подбежала к окошку, чтобы еще раз взглянуть на сына.

Он шел быстро, легко, с поднятой головой и, дойдя до фабричной калитки, обернулся и посмотрел вверх. Может быть, в окошко, а может быть, просто так...

Минуту спустя густой черный дым валил из фабричной трубы.

Время шло. Тихо и спокойно было в чисто прибранной комнатке, старые часы-ходики с яркой розой на пожелтевшем циферблате мерно тикали на стене, дрозд пытался затянуть веселую песенку, борясь со своей хрипотой, а вдова, думая, вероятно, о сне, приснившемся сыну, осматривала свою праздничную одежду.

Вдруг раздался страшный грохот. Затряслись стены, с чердака посыпался щебень, со звоном вылетело окно. Громадный огненный столб взвился над фабрикой к небу вместе с фонтаном кирпичей и обломками разваливающейся трубы, наполнив комнатку ослепительным светом. Вдова, как стояла, так, оцепенев, и застыла на месте. Ни единого звука не издали ее помертвевшие губы. Только седые волосы поднялись дыбом на голове, только расширенные от ужаса зрачки стали белыми, как у мертвеца.

Может быть, она даже не слышала криков, доносившихся с улицы:

— Кочегар!.. Кочегар убит!

Много еще лет просидела вдова у этого окошка, устремив тусклый печальный взгляд на фабричную трубу, из которой снова вырывались вверх синие столбы дыма.

Но дым этот теперь не принимал уже прежних причудливых форм, нет, неизменно преображался он в туманный облик ее сына. И тогда, вскочив со стула, она протягивала к нему свои дрожащие иссохшие руки. Но ветер уносил этот туманный облик и развеивал его где-то там, в лазури.

Генрих Сенкевич

БАРТЕК ПОБЕДИТЕЛЬ

СТАРЫЙ СЛУГА



ГЕНРИХ СЕНКЕВИЧ

Генрих Сенкевич (1846—1916), известный польский романист и новеллист, родился в деревне Воля Окшейска в помещичьей семье. Среднее и высшее образование получил в Варшаве, где познакомился с будущими позитивистами: Свентоховским, Хмелевским и др., оказавшими заметное влияние на его юношеские произведения. Первым крупным произведением Сенкевича была повесть «Ни к чему», опубликованная им в 1872 году, но настоящее признание получает писатель только после опубликования в последующие годы новелл «Старый слуга», «Таня». Под впечатлением путешествия по Северной Америке, совершенного Сенкевичем в 1876—1878 годах, он пишет свой известный цикл новелл «Наброски углем», в которых показывает всю тяжесть жизни польского крестьянства. Неприглядной картине «американского рая» посвящены новеллы «За хлебом», «Орсо», «Сторож маяка», «Сахем» и др. В них Сенкевич предостерегает польское крестьянство перед деятельностью эмиграционных агентов, стремящихся заполучить для Америки дешевую рабочую силу.

Именно ранние произведения Сенкевича, глубоко реалистические, исполненные подлинно демократических чувств и патриотических побуждений, представляют особый интерес для нашего читателя. В дальнейшем Сенкевич, работая над крупными историческими романами, занимает ничем не прикрытую националистическую позицию, искажает историческую правду («Трилогия»), становится поборником воинствующего католицизма («Камо грядеши»), певцом упадочнических настроений интеллигенции («Без догмата»). Известное исключение в этом отношении представляет собой исторический роман «Крестоносцы», повествующий о борьбе польского народа с Орденом крестоносцев, борьбе, в которой вместе с поляками принимали участие русский, литовский и чешский народы. Последующие произведения Сенкевича свидетельствуют о падении его литературного мастерства и не представляют какого-либо интереса.



БАРТЕК ПОБЕДИТЕЛЬ

I

Героя моего звали Бартек Словик, но за его привычку таращить глаза, когда с ним разговаривали, соседи называли его Бартеком Лупоглазым. С соловьем у него, действительно, было мало общего. Так как слова: «человек» и «словик» звучат для немецкого уха почти одинаково, а немцы любят, во имя цивилизации, переводить варварские славянские названия на более культурный язык, то в свое время, при составлении воинских списков, произошел следующий диалог:

— Как тебя зовут?— спросил у Бартека офицер.

— Словик.

— Шлонк? Ах так, хорошо.

И офицер записал: «Mensch»¹.

¹ Игра слов: Slowik (словик) — соловей, (ч)ловек — человек (польск.), mensch — человек (немцк.).

Бартек был родом из деревни Погненбин; подобные названия деревень очень распространены в княжестве Познанском и других землях бывшей Речи Посполитой. Кроме земли, хаты и двух коров, были у него еще пегая лошадь и жена Магда. Благодаря такому стечению обстоятельств он мог спокойно жить, согласно с мудростью, заключавшейся в песне:

Конь мой пегий, женка Магда,
Что захочет бог, и так даст!

И в самом деле, жизнь его складывалась именно так, как хотел бог, но когда бог дал войну, Бартек сильно огорчился. Прислали ему уведомление — явиться на военную службу. Нужно было бросать хату, землю и все отдать на бабье попечение. Народ в Погненбине был большей частью бедный. Зимой Бартек, бывало, ходил на фабрику и этим поддерживал хозяйство, а теперь что? Кто знает, когда кончится война с французом? Магда, как прочла повестку, так и принялась ругаться: «Ах, чтоб им пусто было! Чтоб они ослепли! Хоть ты и дурак... да мне-то тебя жалко: французы тебе спуска не дадут; либо голову долой, либо еще что!...»

Бартек чувствовал, что баба говорит правильно. Французов он боялся, как огня, и у него тоже щемило сердце. Ну, что ему сделали французы? Зачем и почему ему идти туда, на эту страшную чужбину, где нет ни одной доброй души? Когда сидишь в Погненбине, кажется: ни так, ни этак, одним словом, как всегда, а как велят идти, тут сразу поймешь, что дома лучше, чем где бы то ни было; да теперь уж ничем не поможешь, — такая уж судьба, нужно идти. Бартек обнял бабу, потом десятилетнего Франека, потом сплюнул, перекрестился и пошел из хаты, а Магда — за ним. Простились они без особых нежностей. Она с мальчишкой плакала, а он повторял: «Ну, будет, будет!» — и так они вышли на дорогу. Тут увидели, что во всем Погненбине творится то же, что и у них. Вся деревня высыпала из домов, а дорога уж и так запружена призванными. Мужчины идут на железнодорожную станцию, а бабы, дети, старики и собаки их провожают. Тяжело на душе у рекрутов, только у тех,

кто помоложе, торчат трубки в зубах; для начала есть уже и несколько пьяных; они хрипло горланят:

Рученьке Скшинецкого с ясным перстеньком
Не взмахнуть уж сабелькой пред своим полком!

Кое-кто из немцев — погненбинских колонистов — со страха затянул «Вахта на Рейне». Вся эта пестрая, разношерстная толпа, среди которой поблескивают штыки жандармов, с шумом и гамом выходит за околицу. Бабы обнимают своих «солдатиков» за шею и причитают; какая-то старуха показывает свой единственный желтый зуб и грозит кулаком в пространство. Другие проклинают: «Пусть же вам бог оплатит за наши слезы!» Слышны крики: «Франек! Каська! Юзек! Прощай!» Лают собаки, звонят колокола в костеле. Ксендз читает отходную. Война забирает всех, но не всех отдает назад. Так пусть плуги заржавеют на полях, раз Погненбин объявил войну Франции. Погненбин не мог примириться с возрастающим влиянием Наполеона III и принял близко к сердцу вопрос об испанском престоле. Колокольный звон провожает толпу, растянувшуюся по дороге. Вот и распятие: шапки и каски срываются с голов. Стоит сухая погода, и ясная и золотистая пыль поднимается на дороге. А по обеим сторонам ее шелестят созревающие хлеба; время от времени легкий ветерок пролетает над полями и колышет тяжелые колосья. В голубом небе парят жаворонки и в самозабвении заливаются песнями.

Станция! Тут толпа еще больше. Вот уже рекруты из Верхней Кривды, из Нижней Кривды, из Вывлашинец, из Недоли, из Убогово. Шум, крики, суматоха! Все стены на станции облеплены манифестами. Здесь война «во имя бога и отечества». Ополченцы пойдут защищать свои семьи, жен, детей, хаты и поля, которым грозит враг. Видно, французы особенно ожесточились на Погненбин, на Верхнюю Кривду и Нижнюю Кривду, особенно злы на Вывлашинец, Недолю и Убогово. Так по крайней мере кажется тем, кто читает афиши. К станции прибывают все новые и новые толпы. Дым от трубок наполняет залу и заволакивает афиши. Шум стоит такой, что трудно что-нибудь понять; все бегает, зовут, кричат. С перрона

доносится немецкая команда; резкие слова ее звучат отрывисто, твердо, решительно.

Раздается звонок, потом свисток. Издали слышно тяжелое дыхание паровоза. Все ближе, все явственнее чувствуется, будто это приближается война.

Второй звонок! Все вздрагивают. Какая-то баба кричит: «Едом! Едом!» Так она зовет своего Адама, но другие бабы подхватывают это слово и кричат: «Едут!» Чей-то особенно пронзительный голос добавляет: «Французы едут!», и в одно мгновение паника охватывает не только баб, но и будущих героев Седана. Толпа заметалась. Тем временем поезд остановился на станции. Во всех окнах — фуражки с красными околышками и мундиры. Солдат — как муравьев в муравейнике. На угольных платформах чернеют мрачные орудия с длинными стволами. Открытые платформы ошетинились целым лесом штыков. Солдатам, верно, приказали петь, и весь поезд содрогается от сильных мужских голосов. Силой и мощью веет от этого поезда, которому конца не видно.

Но вот рекрутам приказывают строиться; кто может, еще раз прощается; Бартек взмахнул ручищами, как мельничными крыльями, и вытаращил глаза.

— Ну, Магда! Прощай!

— О! Бедный мой муженек!

— Не увидишь ты меня больше!

— Ох! Не увижу!

— Ничего не пожелаешь?

— Сохрани тебя мать божья и помилуй...

— Прощай; смотри за хатой.

Баба с плачем обхватила его шею руками.

— Да хранит тебя бог!

Наступает последняя минута. Визг, плач и причитанья баб на время заглушают все. «Прощайте! Прощайте!» Но вот солдаты уже отделены от беспорядочной толпы; вот они уж образуют черную плотную массу, которая формируется в квадраты, прямоугольники и начинает двигаться с точностью и четкостью машины. Команда: «Садись!» Квадраты и прямоугольники ломаются посередине, вытягиваются длинными лентами по направлению к вагонам и исчезают в их глубине. Вдали свистит паровоз и выбрасывает клубы серого дыма. Теперь

он дышит, как дракон, извергая струи пара. Причитания баб переходят в один сплошной зопль. Одни закрывают глаза фартуками, другие протягивают руки к вагонам. Рыдающие голоса выкликают имена мужей и сыновей.

— Прощай, Бартек!— кричит снизу Магда.— Да не лезь, куда не пошлют. Божья мать тебя... Прощай! О господи!

— А за хатой смотри,— отвечает Бартек.

Цепь вагонов дрогнула; они стукнулись друг о друга — и тронулись.

— Помни, что у тебя жена и ребенок,— кричала Магда вслед уходящему поезду.— Прощай! Во имя отца и сына и святого духа... Прощай!..

Поезд шел все быстрее, увозя воинов из Погненбина, из обеих Кривд, из Недоли и из Убогова.

II

В одну сторону плетется в Погненбин Магда с толпой баб и плачет, а в другую сторону в серую даль несется поезд, ошестинившийся штыками. И в нем — Бартек. Серой дали конца не видно. Погненбин тоже едва разглядишь, только вдаль зеленеет липа да золотится шпиль колокольни, на котором играет солнце. Вскоре расплылась и липа, а золотой крест стал казаться блестящей точкой. Пока светилась эта точка, Бартек смотрел на нее, но когда и она исчезла, совсем загоревал мужик. Страшная тоска охватила его, он чувствовал, что пропал. Тогда он стал смотреть на унтер-офицера, потому что после бога не было над ним большей власти. Что с ним теперь ни случится, за все отвечает капрал; а Бартек теперь ничего не знает и ничего не понимает. Капрал сидит на лавке и, зажав коленями ружье, курит трубку. Дым поминутно застилает тучей его хмурое и сердитое лицо. Но не только Бартек смотрит на это лицо, на него смотрят все глаза из всех углов вагона. В Погненбине или в Кривде всякий Бартек или Войтек сам себе хозяин, всякий должен думать о себе и за себя, ну, а теперь на это есть капрал. Велит им смотреть направо — будут смотреть направо; велит налево — будут смотреть налево.

Каждый спрашивает его взглядом: «Что же с нами будет?» А он и сам знает столько же, сколько они, и был бы рад, если б какое-нибудь начальство дало ему соответствующий приказ или разъяснение. Мужики даже расспрашивать боятся, потому что теперь война и всякие там военные суды. Что можно, чего нельзя — неизвестно, во всяком случае им неизвестно, но их пугает самый звук таких слов, как Кригсгерихт, которых они даже хорошенько не понимают, отчего еще больше их боятся.

В то же время они чувствуют, что этот капрал теперь им нужнее, чем на маневрах под Познанью, потому что он один все знает, за всех думает, а без него они — никуда. Между тем унтеру, должно быть, надоело держать ружье, и он сунул его Бартеку. Бартек бережно его взял, затаил дыхание, выпучил глаза и уставился на капрала, как на икону, но легче ему от этого не стало.

Ох, должно быть, плохо дело, потому что и капрал как с креста снятый. На станциях песни, крики, капрал командует, суетится, ругается, чтоб показать себя перед начальством; но как только поезд трогается, все затихает, затихает и он. Перед ним тоже мир теперь открылся с двух сторон: одна светлая и понятная — это его хата, жена и перина; другая темная, совсем темная — это Франция и война. Этот вояка, как и вся армия, охотно бы взял у рака его рачью повадку. Погненбинских солдат одушевлял тот же «воинственный» пыл, — он был очевиден, так как находился не в глубине души, а тут же на спине: каждый тащил на ней ранец, шинель и прочее военное снаряжение — и всем было очень тяжело.

Тем временем поезд шипел, гудел и летел дальше. На каждой станции прицепляли новые вагоны и паровозы. На каждой станции только и можно было увидеть каски, пушки, лошадей, штыки пехотинцев и флажки уланов. Ясный день медленно клонился к вечеру. Солнце разлилось огромным красным заревом, высоко в небе плыли стаи маленьких легких облачков. Поезд наконец перестал забирать на станциях вагоны и людей и летел все вперед, в эту багряную даль, словно в море крови. Из открытого вагона, где сидел Бартек с другими погнен-

бинцами, видны были деревни, села, местечки, башенки костелов, ансты, стоявшие в гнездах на одной ноге, отдельные хаты, вишневые сады. Все это быстро мелькало, все было красное. Солдаты стали смелее перешептываться, потому что унтер-офицер, подложив сумку под голову, уснул с фарфоровой трубкой в зубах. Войцех Гвиздала, сидевший рядом с Бартеком, толкнул его локтем.

— Слушай, Бартек...

Бартек повернул к нему лицо с задумчивыми, выпученными глазами.

— Что ты смотришь, как теленок, которого ведут на убой?— шептал Гвиздала.— Да ты, бедняга, и в самом деле идешь на убой, и наверняка...

— Ой, ой!— застонал Бартек.

— Боишься? — спросил Гвиздала.

— Да как же не бояться...

Заря стала еще краснее. Показывая на нее рукой, Гвиздала снова зашептал:

— Видишь ты этот свет? Знаешь, глупый, что это такое? Это кровь. Тут Польша, наша родина, значит... Понятно? А вон там вдалеке, где полыхает,— это есть Франция...

— И скоро мы туда доедем?

— А тебе к спеху? Говорят: страсть как далеко, да ты не бойся: французы нас сами встретят...

Бартек стал усиленно работать своей погненбинской головой. Через минуту он спросил:

— Войтек!

— Чего тебе?

— А скажи на милость, что это за народ такой — французы?

Тут пред ученостью Войтека сразу раскрылась пропасть, в которую легче было провалиться с головой, чем вылезть назад. Он знал, что французы — это французы. Кое-что он слышал о них от стариков, что-де французы всегда и всех били; знал, наконец, что они чужаки, но как это растолковать Бартеку, чтобы и он понял, какие они чужие?

Прежде всего он повторил вопрос:

— Что это за народ?

— Ну, да.

Войтек знал три народа: в середке «поляки», по одну сторону «москали», по другую «немцы». Но немцы были разных сортов. И, предпочитая точности ясность, он сказал:

— Что за народ французы? Как тебе сказать: вроде немцев, только еще похуже...

А Бартек на это:

— Ах, стервы!

До этой минуты он питал к французам только одно чувство — чувство неопишемого страха. Но лишь теперь этот прусский ополченец проникся к ним подлинной патриотической ненавистью. Однако он не все еще уразумел как следует и потому спросил опять:

— Так, значит, немцы будут с немцами воевать?

Тут Войтек, как второй Сократ, решил итти путем сравнений и ответил:

— А разве твой Лыска с моим Бурым не грызутся?

Бартек раскрыл рот и с минуту смотрел на своего учителя.

— А ведь верно.

— Вот и австрияки—те же немцы,—продолжал Войтек,— а разве наши с ними не дрались! Старик Сверщ был на этой войне, так он рассказывал, что Штейнмец кричал им: «Ну, ребята, на немцев!» Только с французом не так-то легко.

— Боже ты мой!

— Француз ни одной войны не проиграл. Он как пристанет к тебе, уж у него не вывернешься, не беспокойся! А народ у них рослый — раза в два либо в три выше наших мужиков. А бороды они отращивают, как евреи. А сами черные, как черти. Такого как увидишь, молись богу...

— Ну, так чего ж мы на них идем?— спрашивает с отчаянием Бартек.

Это философское замечание было, может быть, не так уж глупо, как показалось Войтеку, который, очевидно, под влиянием правительственных внушений, поспешил ответить:

— И по-моему, лучше бы не итти. Да не пойдем мы, придут они. Ничего не поделаешь. Ты читал, что было напечатано? Пуще всего они ополчились против наших

мужиков. Люди рассказывают, они потому так зарятся на нашу землю, что хотят водку провозить контрабандой из Царства Польского, а правительство-то им не дает — оттого и война. Теперь понял?

— Как не понять,— покорно ответил Бартек.

Войтек продолжал:

— А до баб они охотники, как пес до сала...

— Стало быть, к примеру сказать, они и Магду бы не пропустили?

— Да они и старухам спуска не дают!

— О! — воскликнул Бартек таким тоном, как будто хотел сказать: «Ну, ежели так, то у меня держись!»

Это ему показалось уж чересчур. Водку пусть себе возят из Польши, но насчет Магды — шалишь! Теперь мой Бартек стал смотреть на войну с точки зрения собственного интереса и почувствовал даже некоторое облегчение при мысли, что столько войск и орудий выступает в защиту Магды от этих охальников-французов. Кулаки у него невольно сжались, и к страху перед французами примешалась ненависть к ним. Он пришел к убеждению, что тут уж ничего не поделаешь, нужно итти. Тем временем заря погасла. Стемнело. Вагон стало сильнее трясти на неровных рельсах, и в такт толчкам покачивались вправо и влево каски и штыки.

Прошел час, другой. Из паровоза летели миллионы искр и скрещивались в темноте огненными полосками и змейками. Бартек долго не мог заснуть. Как искры в воздухе, в голове его мелькали мысли о войне и о Магде, о Погненбине, французах и немцах. Ему казалось, что если бы он и захотел, все равно не мог бы подняться с лавки, на которой сидел. Наконец он забылся в нездоровом полусне. И тотчас же на него толпой налетели видения: сначала он увидел, как его Лыска грызется с войтековым Бурым, так что шерсть летит клочьями. Он схватился было за палку, чтобы их разнять, но вдруг видит уже другое: оидит возле Магды француз, черный, как мать-земля, а Магда довольна — смеется, сверкая зубами. Другие французы насмеваются над Бартеком и показывают на него пальцами... Это, верно, паровоз тарахтит, а ему кажется, французы кричат: «Магда! Магда! Магда!» Бартек орет: «Заткните глотки, разбойники, пустите бабу!»

А они: «Магда! Магда!» Лыска с Бурым заливаются, весь Погненбин кричит: «Не давай бабу!» А он... Связан он, что ли? Он ринулся, рванул, веревки лопнули, Бартек схватил француза за хохол, и вдруг...

Вдруг он чувствует сильную боль, как будто его кто ударил изо всей мочи. Бартек просыпается и вскакивает на ноги. Весь вагон проснулся, все спрашивают, что случилось. Оказывается, бедняга Бартек во сне схватил за бороду унтер-офицера. Теперь он стоит, вытянувшись в струнку и держит под козырек, а унтер размахивает руками и кричит, как бесноватый:

— Ах ты, глупая польская скотина! Набью морду так, что из пасти только осколки зубов полетят!

Унтер просто хрипит от бешенства, а Бартек все стоит, прижав пальцы к виску. Солдаты кусают губы, чтобы не рассмеяться, так как боятся унтер-офицера, с уст которого еще слетают последние громы:—Бык польский! Бык с Подолии!

Наконец, все стихает. Бартек садится на прежнее место. Он чувствует, что щеки его начинают пухнуть, а паровоз, как на зло, твердит свое:

— Магда! Магда! Магда!

Бартеку становится очень тоскливо.

III

Утро. Рассеянный бледный свет падает на сонные, измученные лица. На скамьях вповалку спят солдаты: одни — свесив голову на грудь, другие — запрокинув назад. Встает заря и заливает розовым сиянием весь мир. Прохладно и свежо. Солдаты просыпаются. Лучезарное утро вырывает из тумана и мрака какую-то неведомую им страну. Эх! Где-то теперь Погненбин, где Большая и Малая Кривда, где Убогово? Тут уже чужбина и все другое. Кругом пригорки, поросшие дубняком; в долинах дома, крытые красной черепицей, с черными балками на белых стенах, увитых виноградом, красивые, как господские усадьбы. Кое-где костелы с остроконечными колокольнями, кое-где высокие фабричные трубы с клубами розового дыма. Только как-то тесно здесь, нет простора,

шири полей. Зато народ кишмя кишит, как в муравейнике, то и дело мелькают деревни и города. Поезд, не останавливаясь, пронесется мимо множества маленьких станций. Должно быть, что-то случилось: повсюду толпы. Солнце медленно выходит из-за гор, и Матеки, один за другим, начинают вслух молиться. Их примеру следуют остальные; первые лучи солнца освещают мужицкие молитвенно сосредоточенные лица.

Тем временем поезд останавливается на большой станции. Тотчас его окружает толпа народу: получены с поля сражения вести. Победа! Победа! Деша пришла несколько часов назад. Все ждали поражения, а когда их разбудили хорошей вестью, радости не было конца. Вскочив с постели, полуодетые люди выбегали из домов и спешили на станцию. Кое-где на крышах уже развеваются флаги, все машут платками. В вагоны приносят пиво, табак, сигары. Возбуждение неопишемое, лица сияют. «Вахта на Рейне» ревет, как буря. Все плачут, обнимаются от радости: наш Фриц разбил врага наголову! Взятые орудия, знамена! В порыве великодушия толпа отдает солдатам все, что у нее есть. Солдаты начинают петь. Вагоны содрогаются от сильных мужских голосов, а толпа с удивлением слушает непонятные слова песни. Погненбинцы поют: «Бартек ты мой, Бартек, ох, не теряй надежды!» «Поляки». «Поляки», как бы поясняя, повторяет толпа и теснится к вагонам, восторгаясь осанкой солдат и поддерживая собственное веселье анекдотами о невероятной храбрости этих польских полков.

Щеки у Бартека распухли, что при его рыжих усах, выпученных глазах и огромной, костлявой фигуре делает его особенно страшным. На него глядят как на редкого зверя. «Вот какие защитники у немцев! Уж этот задаст французам!» Бартек довольно ухмыляется: он тоже рад, что французов поколотили. Теперь по крайней мере не придут они в Погненбин, не собьют с толку Магду, не заберут его землю. Бартек улыбается, но тогда лицо у него еще сильнее болит; он морщится от боли и кажется действительно страшным. Зато ест он с аппетитом гомеровского героя. Гороховая колбаса и кружки пива исчезают в его глотке, как в пропасти. Ему дают сигары, пфенниги—он все берет.

— А ничего, добрый народ,— говорит он Войтеку и через минуту прибавляет: — Французов-то, вот видишь, и побили!

Однако скептический Войтек омрачает его радость. Войтек прорицает, как Кассандра:

— Французы всегда так: наперед дадут себя поколотить, чтобы сбить с толку, а потом как возьмутся, так только щепки полетят.

Войтек не знает ни того, что его мнение разделяет добрая половина Европы, ни тем более того, что вся Европа ошибается вместе с ним.

Едут дальше. Все дома, насколько хватает глаз, украшены флагами. На некоторых станциях погненбинцы долго простаивают, потому что везде полно поездов. Войска со всех сторон немецкой земли спешат на подмогу своим победоносным братьям. Поезда украшены зелеными ветками. Уланы насаживают на пики букеты цветов, которые им поднесли по дороге. Большинство уланов — поляки. То и дело они громко переговариваются, окликают друг друга:

— Как живете, братки? Куда бог несет?

А то из поезда, несущегося по соседним путям, грянет знакомая песня:

В Сандомире с краю хата,
Кличет панночка солдата,

Тогда Бартек с товарищами подхватывает на лету:

Не зайдешь ли на часочек?
Я не съем тебя, дружок.

Насколько все тосковали, уезжая из Погненбина, настолько теперь преисполнились бодрости и воодушевления. Однако первый поезд, прибывший из Франции с первыми ранеными, сразу портит настроение. Он останавливается в Дейце и долго стоит, пропуская тех, что спешат на поле битвы. Но, чтобы всем перебраться через кельнский мост, нужно несколько часов. Бартек бежит вместе с другими поглядеть на больных и раненых. Одни едут в закрытых вагонах, другим нехватило места, и они лежат в открытых: этих отлично видно. При первом же взгляде на них геройский дух Бартека улетучивается.

— Войтек, поди сюда!— кричит он в ужасе.— Смотри, сколько народу француз перепортил!

И в самом деле, есть на что посмотреть! Лица измучены и бледны; многие почернели от пороха или боли, испачканы кровью. На возгласы всеобщей радости они отвечают лишь стонами. Иные проклинают войну, французов и немцев. Запекшиеся, почерневшие губы поминутно просят воды; воспаленные глаза почти безумны. И тут же, среди раненых, застывшие лица умирающих—иногда спокойные, с синими кругами у глаз, иногда искаженные судорогой, с испуганными глазами и оскаленными зубами. Бартек впервые видит кровавые плоды войны. В голове его снова все путается; он стоит в толпе, разинув рот, и смотрит как одурелый; его толкают со всех сторон, наконец жандарм дает ему прикладом по шее. Тогда он ищет глазами Войтека и, найдя его, говорит:

— Войтек! Да что же это, боже!

— Так будет и с тобой.

— Господи Иисусе, пресвятая богородица! И как же это люди убивают друг друга! Да если какой мужик поколотит другого, жандарм потащит его в суд, а там ему нагорит!

— Ну, а теперь тот выходит лучше, кто больше народу перепортил. А ты, дурак, думал, здесь будут холостыми зарядами стрелять, как на маневрах, или по мишеням, а не по живым людям.

Тут сразу сказалась разница между теорией и практикой. Наш Бартек ведь был солдатом, ходил на маневры и ученья, стрелял сам и знал, что для того и война, чтобы людей убивать, но теперь, когда он увидел кровь раненых и ощутил ужас войны, ему стало так плохо, так тошно, что он едва на ногах устоял. И он снова проникся уважением к французам, уважением, которое уменьшилось, лишь когда они добрались из Дейца в Кельн. На центральном вокзале они увидели первых пленных. Их окружала огромная толпа, особенно много было солдат; все смотрели на пленных — с гордостью, но еще без ненависти. Пробивая себе дорогу локтями, Бартек протиснулся вперед, взглянул на вагон и изумился.

В вагоне, как сельди в бочке, набились французские пехотинцы — маленькие, тощие, грязные, в рваных ши-

нелях. Многие протягивали руки за скудным подаванием, которым их оделяла толпа, поскольку стража этому не препятствовала. Бартек, со слов Войтека, составил себе о них совсем другое представление. Душа его покинула пятки и вернулась на свое место. Он оглянулся, нет ли поблизости Войтека. Войтек стоял рядом.

— Что же ты говорил? — спрашивает Бартек. — Да это заморыши какие-то: дашь одному раза—четверо повалятся.

— Да, что-то помельчали,— отвечал тоже разочарованный Войтек.

— А по-каковски они лопочут?

— Да уж не по-польски.

Успокоенный в этом отношении, Бартек пошел дальше вдоль вагонов.

— Сплошь — голытьба! — сказал он, окончив смотреть линейных войск.

Но в следующих вагонах сидели зуавы. Они заставили Бартека призадуматься. Сидели они в закрытых вагонах, так что нельзя было удостовериться, в самом ли деле они вдвое или даже втрое выше, чем обыкновенные люди. В окна видны были только темные бородатые лица, но эти угрюмые лица старых солдат были так воинственны и так грозно сверкали у них глаза, что душа Бартека снова направилась в пятки.

— Эти пострашнее,— тихо шепнул он, словно боясь, что враги его услышат.

— А ты не видел тех, что не сдались в плен, — сказал Войтек.

— Господи ты боже мой!

— Еще увидишь!

Насмотревшись на зуавов, они пошли дальше. Но вот от следующего вагона Бартек отскочил как ошпаренный.

— Караул! Войтек, спасай!

В открытое окно было видно темное, почти черное лицо с белыми закатившимися глазами. Должно быть, он был ранен, так как лицо его было искажено страданием.

— Ну что? — говорит Войтек.

— Да это чорт, а не солдат! Боже, смилуйся надо мной, грешным!

— Ты погляди, какие у него зубищи!
— Да провались он! Не стану я на него смотреть.

Бартек умолк, но через минуту спросил:

— Войтек!

— Чего?

— А что, если такого да перекрестить — не поможет?

— Язычники нашей святой веры не понимают.

Но вот и сигнал садиться. Через минуту поезд трогается. Когда стемнело, Бартек все видел перед собой черное лицо тюркоса и страшные белки его глаз. Чувства, волновавшие погненбинского воина, не предвещали его будущих подвигов.

IV

Генеральное сражение под Гравелоттом, в котором Бартеку вскоре пришлось участвовать, убедило его лишь в том, что в бою есть на что глазеть, но делать там нечего. Сначала ему и его полку было приказано стоять с ружьем к ноге у подошвы холма, скрытого виноградниками. Вдали гремели пушки, вблизи проносились конные полки с топотом, от которого содрогалась земля, мелькали то уланские флажки, то кирасирские палаши. Над холмом в голубом небе с шипением пролетали гранаты, словно белые облачка; потом дым наполнил воздух и застлал горизонт. Казалось, бой, как гроза, проходит стороной; но это продолжалось недолго.

Спустя некоторое время вокруг полка Бартека все почему-то пришло в движение. Возле него стали строиться другие полки, а в интервалы между ними ставили орудия и поворачивали жерлами к холму. Вся долина заполнилась войсками.

Теперь со всех сторон гремит команда, летят адъютанты. А наши рядовые перешептываются: «Ох, и достанется же нам!» Либо с тревогой спрашивают друг друга: «Скоро, что ли, начнется?» — «Верно, скоро».

Приближается что-то неведомое, таинственное, может быть смерть... В дыму, застилающем холм, что-то страшно кипит и бурлит. Все ближе слышатся гулкий рев орудий и треск ружейного огня. Издалека доносится какой-

то неясный грохот: это картечь. Вдруг грянули только что поставленные пушки — и разом содрогнулись воздух и земля. Над полком Бартека что-то зашипело. Смотрят, летит — не то роза, не то тучка, а тучка эта шипит и хохочет, скрежещет, воем и ржет. Крик поднялся: «Граната! Граната!» Как вихрь, летит эта птица войны, все ближе, все ближе, вдруг падает, разрывается! Раздается оглушительный треск, грохот такой, как будто рушится мир. В рядах, стоявших ближе к орудиям, замешательство, слышится команда: «Сомкнись!» Бартек стоит в первой шеренге с оружием на плече, голова у него задрана кверху, воротник подпирает подбородок, поэтому зубы не стучат. Нельзя ни шелохнуться, ни выстрелить. Стой! Смирно! А тут летит вторая граната, третья, четвертая, десятая! Вихрь рассеивает дым с холма. Французы уже согнали с него прусские батареи, поставили свои и теперь поливают огнем долину. Поминутно из виноградников вылетают длинные белые ленты дыма. Пехота, под прикрытием орудий, спускается еще ниже, чтобы открыть ружейный огонь. Вот они уже на середине холма. Теперь их отчетливо видно, потому что ветер относит дым. Что это, виноград зацвел маком? Нет, это красные шапки пехотинцев. Внезапно они исчезают в высоких виноградных лозах; их совсем не видно, лишь кое-где развеваются трехцветные знамена. Вдруг одновременно в разных местах вспыхивает ружейный огонь — частый, лихорадочный, неравномерный. Над этим огнем непрестанно завывают гранаты, скреживаясь в воздухе. На холме время от времени раздаются крики, им отвечает снизу немецкое «ура». Пушки в долине непрерывно изрыгают огонь. Полк стоит непоколебимо.

Однако огонь уже окружает и его. Пули жужжат, как мухи или слепни, и со страшным свистом пролетают вблизи. Их все больше: вот уже свистят мимо уха, носа, мелькают перед глазами; их тысячи, миллионы. Странно, что люди еще стоят на ногах. Вдруг возле Бартека раздается стон: «Господи Иисусе!», потом: «Сомкнись!», опять: «Иисусе!», «Сомкнись!» Наконец все сливается в один непрерывный стон, ряды сдвигаются все тесней, команда становится все поспешней, свист все ужаснее. Убитых вытаскивают за ноги. Страшный суд!

— Боишься? — спрашивает Войтек.

— Еще бы не бояться, — отвечает наш герой, щелкая зубами.

Однако оба стоят — и Бартек, и Войтек — им даже в голову не приходит, что можно убежать. Приказано стоять — ну и стой! Бартек лжет. Он не так боится, как боялись бы тысячи на его месте. Дисциплина подавляет его воображение, и оно не в силах нарисовать ему весь ужас его положения. Тем не менее Бартек полагает, что его убьют, и делится этой мыслью с Войтеком.

— Оттого дыры в небе не будет, если одного дурака убьют! — сердито отвечает Войтек.

Эти слова заметно успокаивают Бартека. Можно подумать, самое важное для него было знать: продырявится небо или нет. Успокоенный в этом отношении, он терпеливо стоит дальше, хотя очень жарко и пот течет по его лицу. Между тем огонь становится таким ужасным, что ряды тают на глазах. Уже некому вытаскивать убитых и раненых. Хрипенье умирающих сливается со свистом снарядов и грохотом выстрелов. По движению трехцветных знамен видно, что пехота, скрытая виноградниками, придвигается все ближе и ближе. Картечь летит тучей, опустошая ряды. Людей охватывает отчаяние.

Но в этом отчаянии слышится ропот нетерпения и бешенства. Если бы им приказали идти вперед, они ринулись бы, как буря. Им уже не стоит на месте. Какой-то солдат, сорвав с головы фуражку, изо всей силы швыряет ее оземь:

— Эх! Раз козе смерть!

При этих словах Бартек испытывает такое облегчение, что почти перестает бояться. Бартек и прежде знал, что «двум смертям не бывать», но ему приятно было это еще раз услышать, тем более что битва стала превращаться в побоище. Вот полк не дал ни одного выстрела, а уже наполовину уничтожен. Солдаты из других разбитых полков бегут беспорядочными толпами, — и только они, эти мужики из Погненбина, Большой Кривды, Малой Кривды и Убогова, сдерживаемые железной прусской дисциплиной, еще стоят. Но и в их рядах уже чувствуется некоторое колебание. Еще минута, и оковы дисциплины

порвутся. Земля под ногами становится мягкой и скользкой от крови, и ее сырой запах смешивается с удушливым запахом гари. Местами ряды уже не могут сомкнуться, им мешают горы трупов. У ног людей, которые еще стоят, лежат другие люди — в крови, в предсмертных судорогах или безмолвии смерти. Грудь нехватает воздуха. В рядах поднимается ропот.

— На бойню привели!

— Никто живым не уйдет!

— Молчать, польские скоты! — кричит офицер.

— Тебе-то хорошо за моей спиной...

— Смирно, ты там!

Но в ту же минуту на взмыленном коне подлетает адъютант. Раздается команда: «В атаку! Ура, вперед!» Гребень штыков внезапно опускается, ряды вытягиваются в длинную линию и бросаются к холму искать штыками врагов, которых не могли найти глаза. Однако от подошвы холма их отделяет не менее двухсот шагов, и это расстояние нужно преодолеть под убийственным огнем. Не погибнут ли они все до одного, не побегут ли вспять? Погибнуть они могут, но отступать не станут: пруссаки знают, что нужно играть этим польским мужикам во время атаки. Среди грохота орудий и ружейного огня, среди дыма, сумятицы и стонов — трубы и рожки бросили к небу гимн, от звуков которого каждая капля крови так и забурилась в их груди. «Ура, — отвечают Матеки, — «Ведь еще мы живы!»¹. Их охватывает воинственный пыл, лица их горят. Они несутся, как буря, по грудам человеческих и конских трупов, через горы разбитых пушек по осколкам снарядов. Гибнут, несутся вперед с криком и пением. Вот они добежали до виноградников и скрылись в их зелени. Только песня гремит да изредка блеснет штык. Вверху огонь бушует все сильнее. А внизу продолжают играть рожки. Залпы французов становятся все чаще, все лихорадочней, как вдруг...

Вдруг все смолкает.

Тогда внизу старый боевой волк Штейнмец закуриляет фарфоровую трубку и говорит довольным тоном:

¹ Вторая строка польского национального гимна «Еще Польша не погибла». (Прим. ред.).

— Им только это заиграй! Дошли молодцы!

Через несколько минут одно из гордо развевавшихся трехцветных знамен подпрыгивает кверху, потом склоняется и падает...

— Эти — не шутят! — говорит Штейнмец.

Трубы снова играют тот же самый гимн. Второй познанский полк идет на подмогу первому.

В виноградниках — штыковой бой.

А теперь, Муза, воспой моего Бартека, чтоб узнали потомки о его подвигах. Страх, нетерпение, отчаяние в его сердце слились в одно чувство бешенства; а когда он услышал гимн, каждая жилка в нем напряглась, как железная проволока. Волосы у него стали дыбом, перед глазами замелькали искры. Он забыл обо всем на свете, забыл даже, что «двум смертям не бывать», и, сжав ружье могучими ручищами, бросился — вместе с другими — вперед. На бегу он раз десять спотыкался, разбил себе нос, измазался весь землей и кровью, которая текла у него из носу, и, взбешенный, снова бежал вперед, ловя воздух раскрытым ртом. Он таращил глаза, чтоб увидеть хоть одного француза, как вдруг увидел сразу троих возле знамени. Это были турко́сы. Вы думаете, Бартек отступил? Нет! Теперь он бы и самого сатану схватил за рога! Он ринулся к ним; турки с воем бросились на него; два штыка, как два жала, вот-вот вонзятся ему в грудь, но тут мой Бартек как схватил ружье за ствол, словно шкворень, да как махнет раз да еще раз... Только страшный крик раздался в ответ — и два черных тела в судорогах упали на землю.

Тогда к третьему, что держал знамя, подбежало на помощь с десятков турко́сов. Бартек, как фурия, бросился сразу на всех. Они выстрелили — что-то блеснуло, грохнуло, и в ту же минуту в клубах дыма заревел хриплый голос Бартека:

— Дали маху!

И опять его ружье описало страшный круг, и опять в ответ слышались вопли. Турко́сы в ужасе попятились при виде этого ошалевшего от бешенства великана, и то ли это слышалось Бартеку, то ли они что-то кричали по-арабски, но ему показалось, что из их широких ртов вылетал крик:

— Магда! Магда!

— А, Магду вам захотелось! — завыл Бартек и одним прыжком очутился среди врагов.

К счастью, в эту минуту подоспели к нему на помощь Матеки, Войтеки и другие Бартеки. В винограднике завязался рукопашный бой, которому вторили треск ружей и свистящее дыхание сражающихся. Бартек бушевал, как ураган. Закопченный дымом, залитый кровью, похожий скорее на зверя, чем на человека, он, не помня себя, каждым ударом валил людей, ломал ружья, разбивал головы. Руки его двигались со страшной быстротой машины, сеющей гибель. Добравшись до знаменосца, он схватил его своими железными пальцами за горло. У знаменосца глаза вылезли на лоб, побагровело лицо, он захрипел и выпустил из рук древко.

— Ура! — крикнул Бартек и, подняв знамя, замахал им в воздухе.

Вот это-то подымающееся и опускающееся знамя видел снизу генерал Штейнмец.

Но мог он его видеть лишь одно мгновение, потому что уже в следующее Бартек этим самым знаменем раскроил чью-то голову в кепи с золотым шнурком.

Тем временем его товарищи бросились вперед.

Бартек на минуту остался один. Он сорвал знамя, спрятал его за пазуху и, схватив обеими руками древко, побежал вслед за своими.

Толпы тюркосов с диким воем бросились к орудиям, стоявшим на вершине холма, а за ними с криком бежали Матеки и, догнав, били их прикладами и штыками.

Зуавы, стоявшие у орудий, встретили тех и других ружейным огнем.

— Ура! — крикнул Бартек.

Мужики добежали до пушек. Возле них снова завязался рукопашный бой. В эту минуту на помощь первому подоспел второй познанский полк. Древко знамени в могучих ручищах Бартека превратилось в какой-то адский цеп. Каждый удар его расчищал широкую дорогу в сомкнутых рядах врага. Ужас охватил тюркосов и зуавов. Там, где дрался Бартек, они отступали. Через минуту Бартек сидел на пушке, как на погненбинской кобыле.

Но не успели солдаты заметить, как он взобрался на

нее, как он уже оседлал вторую, свалив возле нее другого знаменосца.

— Ура, Бартек! — крикнули солдаты.

Победа была полная. Мужики захватили все орудия. Французская пехота бежала, но по другую сторону холма снова наткнулась на прусский отряд и сложила оружие.

Однако Бартек, преследуя противника, захватил и третье знамя. Надо было его видеть, когда он, усталый, облитый потом и кровью, пытая, как кузнечный мех, спускался вместе с другими с холма, неся на плечах три французских знамени. Французы! Тьфу! Плевать ему на них! Рядом с Бартеком шел исцарапанный, весь в ссадинах Войтек. Бартек сказал ему:

— Что ты болтал? Да это же дрянь просто: у них и силы-то никакой нет. Поцарапали нас с тобой, как котят — вот и все. А их — чуть когохватишь, глядь — из него уж и дух вон.

— Кто ж тебя знал, что ты такой вояка, — ответил Войтек, которого подвиги Бартека заставили смотреть на него другими глазами.

Но кто же не замечал этих подвигов! История, весь полк и большая часть офицеров с удивлением смотрели на этого огромного мужика с жидкими рыжими усами и вытаращенными глазами. «Ах ты, проклятый поляк!» — сказал ему сам майор и дернул его за ухо, а Бартек от радости осклабился во весь рот. Когда полк снова выстроился у подошвы холма, майор показал его полковнику, а полковник самому Штейнмецу.

Тот осмотрел знамена и велел их спрятать, а потом принялся разглядывать Бартека. Наш Бартек снова стоит, вытянувшись в струнку, и держит ружье «на-караул», а старый генерал смотрит на него и с удовольствием качает головой. Наконец он что-то говорит полковнику. Отчетливо слышно слово: унтер-офицер.

— Слишком глуп, ваше превосходительство! — отвечает майор.

— А вот увидим, — говорит его превосходительство и, повернув коня, подъезжает к Бартеку.

Бартек уже и сам не знает, что с ним делается. Вещь неслыханная в прусской армии: генерал разговаривает с рядовым! Его превосходительству это тем легче, что он

умеет говорить по-польски. К тому же этот рядовой захватил три знамени и две пушки.

— Ты откуда! — спрашивает генерал.

— Из Погненбина, — отвечает Бартек.

— Хорошо. Как тебя зовут?

— Бартек Словик.

— Менш, — переводит майор.

— Менс! — повторяет Бартек.

— А ты знаешь, за что бьешь французов?

— Знаю, вашство...

— Скажи!

Бартек, заикаясь, бормочет: «За... за...» — и замолкает. К счастью, ему вдруг приходят на память слова Войтека, и он, чтобы не сбиться, быстро выпаливает:

— За то, что они такие же немцы, только еще похуже, и стервы!

Старое лицо его превосходительства начинает подергиваться, словно его превосходительство сейчас изволит расхохотаться. Однако через минуту его превосходительство обращается к майору и говорит:

— Вы были правы.

Мой Бартек, довольный собою, браво стоит навывтяжку.

— Кто выиграл сегодня сражение? — снова спрашивает генерал.

— Я, вашество, — без колебания отвечает Бартек.

Лицо генерала снова подергивается.

— Правильно, правильно, ты! Ну, вот тебе награда...

Тут старый воин откалывает железный крест со своей груди и, нагнувшись, прикалывает его к груди Бартека. Веселое настроение генерала передается по рангу полковнику, майорам, капитанам и так вплоть до унтер-офицеров. После отъезда генерала полковник со своей стороны дает Бартеку десять талеров, майор — пять и так далее. Все, смеясь, повторяют, что это он выиграл битву, вследствие чего Бартек чувствует себя на седьмом небе.

Странное дело. Один только Войтек не особенно доволен нашим героем.

Вечером, когда они оба сидят у костра и рот Бартека так же плотно набит колбасой, как сама колбаса горохом, Войтек говорит с укором:

— И глуп же ты, Бартек. Ох, как глуп!..

— А что? — прожевывая колбасу, мычит Бартек.

— Что ж ты, голова, наболтал генералу про французов, что они немцы?

— Да ведь ты сам говорил...

— Должен ведь ты понимать, что генерал и офицеры тоже немцы.

— Ну так что ж?

Войтек пришел в замешательство.

— А то, что хоть они и немцы, да не нужно им этого говорить, все-таки это нехорошо...

— Да ведь я про французов сказал, а не про них.

— Эх, да ведь когда...

Войтек вдруг оборвал свою речь. Повидимому, он хотел сказать что-то совсем другое: хотел объяснить Бартеку, что нельзя плохо отзываться о немцах при немцах, но у него запутался язык.

V

Немного времени спустя королевская прусская почта привезла в Погненбин следующее письмо:

«Да славится имя господа нашего Христа и его пречистой матери! Дражайшая Магда! Что у тебя слышно? Тебе-то хорошо в хате под периной, а я тут во-всю воюю. Стояли мы у большой крепости Мец, и была тут битва, и тут я так этих французов разделал, что вся инфантерия и артиллерия удивлялись. И сам генерал удивлялся и сказал, что я выиграл эту баталию, и дал мне крест. А теперь меня всё офицеры и унтер-офицеры очень уважают и мало бьют по морде. Потом мы помаршировали дальше, и была другая баталия,— забыл только, как это место называется,— и я опять их разделал и взял четвертое знамя, а одного, самого главного, кирасирского полковника, повалил и забрал в плен. А когда наши полки будут отсылать домой, так мне унтер-офицер советовал, чтоб я написал «рикламацию» и остался в солдатах, потому что на войне только спать негде, зато жрешь сколько влезет, и вино в этой стороне везде есть, потому что народ богатый. А потом мы жгли одну де-

ревню, так ни детям, ни бабам спуску не давали, и я тоже. А костел сгорел дотла, — они тоже католики, — и людей заодно сгорело немало. Теперь мы идем на самого их царя, и война скоро кончится, а ты поглядывай за хатой и за Франеком, а в случае не доглядишь, я тебе бока наломаю, чтоб ты знала, что я за человек. Благослови тебя бог.

Бартоломей Словик».

Бартеку, очевидно, война пришлась по вкусу, и он теперь смотрел на нее как на подходящее для себя ремесло. Он стал самоуверен и шел теперь в бой, как прежде на работу в Погненбине. На грудь его после каждого сражения сыпались медали и кресты, и хоть в унтер-офицеры его и не произвели, однако все считали его первым солдатом в полку. Он был дисциплинирован и обладал слепой храбростью человека, который не сознает угрожающей ему опасности. Эта храбрость не вызывалась, как на первых порах, бешенством. Теперь ее источником были солдатский опыт и вера в себя. К тому же его могучее здоровье выдерживало любые трудности, походы и лишения. Люди вокруг него болели, тощали, ему одному все было нипочем; он только все более дичал и становился свирепым прусским солдатом. Теперь он не только бил французов, но и стал их ненавидеть. Изменились также и другие его понятия. Он превратился в солдата-патриота и слепо боготворил своих начальников. В следующем письме он писал Магде:

«Войтека разорвало пополам, но на то и война, понятно? А был он дурак, потому что говорил, что французы — те же немцы, а французы — это французы, а немцы — наши».

Магда в ответ на оба письма изругала его на чем свет стоит.

«Дражайший Бартек, пред алтарем со мной венчанный, — писала она. — Накажи тебя бог! Сам ты дурак, басурман, если вместе с колбасниками народ католический губишь. А того не понимаешь, что колбасники-то лютерской веры, а ты, католик, им помогаешь. Понравилось тебе воевать, бродяга, потому что можно бездельничать да драться, пьянствовать и других обижать, по-

стов не блюсти и костелы жечь. Чтоб тебя на том свете в аду хорошенько прижарили за то, что ты этим бахвалишься и не разбираешь ни старых, ни малых. Вспомни, баран ты этакий, что в святой вере нашей золотыми буквами написано про польский народ от сотворения мира и до Страшного суда: что в тот день господь всемогущий не будет милостив к таким скотам, как ты, а потому и опомнись, турка ты этакий, пока я тебе башку не проломил. Посылаю тебе пять талеров, хоть мне тут трудно, и помочь некому, а хозяйство идет плохо. Обнимаю тебя, дражайший Бартек.

Магда».

Мораль, заключающаяся в этом письме, произвела на Бартека весьма слабое впечатление. «Ничего баба в службе не смыслит,— думал он,— а туда же суется». И воевал по-старому. Отличался он чуть ли не в каждом сражении, так что в конце концов на него обратили внимание люди и поважнее Штейнмеца. Когда же потрепанные познанские полки были отправлены в глубь Германии, он, по совету унтер-офицера, подал «рекламацию» и остался в строю. Таким образом он очутился под Парижем.

Письма его теперь были полны презрения к французам. «В каждой битве они улепетывают, как зайцы»,— писал он Магде. Но осада пришлась ему не по вкусу. Под Парижем приходилось по целым дням лежать в траншеях, слушать орудийную пальбу, частенько рыть окопы и мокнуть. А главное, было жаль прежнего полка. В том, куда его перевели в качестве добровольца, его окружали по большей части немцы. По-немецки он немного болтал и раньше, когда работал на фабрике, но, как говорится, с пятого на десятое. Теперь он стал делать быстрые успехи. Тем не менее в полку его звали «польский бык», и только кресты и страшные кулаки защищали его от обидных шуток. Но после нескольких сражений он приобрел уважение новых товарищей и мало-помалу начал сживаться с ними. В конце концов его стали считать своим, так как он прославил весь полк. Бартек считал бы себя оскорбленным, если б кто-нибудь называл его немцем, но сам он себя звал, в отличие от французов,

ein Deutscher. Ему казалось, что это совсем другое, к тому же он не хотел, чтобы его считали хуже других. Но вот произошел случай, который мог бы заставить Бартека сильно призадуматься, если бы это не было так трудно для его героического ума. Однажды несколько команд из его полка было послано против вольных стрелков: устроили засаду, и стрелки в нее попались. На этот раз Бартек не увидел красных шапок, бросавшихся врассыпную при первых же выстрелах; отряд состоял из старых солдат, остатков какого-то иностранного легиона. Оказавшись окруженными со всех сторон, они отчаянно защищались и, наконец, ринулись на пруссаков, штыками расчищая себе путь через кольцо врагов. Дрались они с таким ожесточением, что часть их пробилась сквозь вражеские ряды. Остальные не сдавались живыми, зная, какая участь ожидает вольных стрелков. Отряд, в котором был Бартек, взял в плен только двоих. Вечером их поместили в сторожке лесника. Поутру их должны были расстрелять. Несколько солдат поставили у дверей, а Бартек должен был находиться внутри сторожки у разбитого окна, вместе со связанными пленниками.

Один из них был уже немолодой человек, с седеющими усами и безучастным выражением лица; другому на вид было лет двадцать с небольшим: светлые усики чуть пробивались на его нежном, почти девичьем лице.

— Вот и конец, — сказал младший, — пуля в лоб — и конец.

Бартек вздрогнул так, что даже ружье звякнуло у него в руке: юноша говорил по-польски.

— Мне-то все равно, — равнодушно сказал старший, — клянусь богом... все равно. Я уже столько натерпелся, что с меня довольно.

У Бартека под мундиром сердце билось все сильнее.

— Пойми, — продолжал старший, — нам уже спасения нет. Если тебе страшно, — думай о чем-нибудь другом либо ложись спать. Жизнь — подлая штука! А мне, как бог свят, все равно.

— Мне матери жаль! — глухо ответил младший.

И, очевидно, желая заглушить волнение или обмануть самого себя, он принялся насвистывать, но вдруг перестал и воскликнул с глубоким отчаянием:

— Чорт бы меня побрал! Я даже не простился с нею!
— Ты, что же, убежал из дому?
— Да. Я думал, немцев побьют, познанцам легче будет.

— И я так думал. А теперь...

Старший махнул рукой и что-то тихо прибавил, но его последние слова заглушило завывание ветра. Ночь была холодная. Время от времени налетал порывами мелкий дождик. Кругом стоял лес, черный, как траурный креп. По углам сторожки свистел ветер и, как пес, завывал в трубе. Лампу, чтоб не задуло, повесили высоко над окном, и мигающий огонек освещал почти всю сторожку, но Бартек, стоявший у самого окна, оставался в тени.

И, может быть, лучше, что пленные не видели его лица. С мужиком творилось что-то странное. Сначала его охватило удивление, и он вытаращил глаза на пленников, стараясь понять, что они говорят. Значит, они пришли бить немцев, чтобы познанцам стало легче, а он бил французов, чтобы познанцам стало легче. И этих вот обоих утром расстреляют! Что же это? Как же тут разобраться? А что, если заговорить с ними? Если им сказать, что он их земляк, что ему их жалко? Вдруг что-то сдавило ему горло. Но что он им скажет? Спасет их, что ли? Тогда и его расстреляют! Беда! Что же это с ним делается? Жалость душит его так, что он не может устоять на месте.

Страшная тоска нападает на него, точно налетев из далекого Погненбина. Неведомый гость в солдатском сердце — сострадание — кричит ему прямо в душу: «Бартек! Спасай своих, ведь это свои», а сердце рвется домой, к Магде, в Погненбин, и так рвется, как никогда. Довольно с него и Франции, и войны, и сражений! Все явственней слышится голос: «Бартек! Спасай своих!» Эх, провались совсем эта война! За разбитым окном чернеет лес, шумят, как в Погненбине, сосны, и в этом шуме звучат слова:

«Бартек! Спасай своих!»

Что ему делать? Убежать с ними в лес, что ли?

Все, что привила ему прусская дисциплина, содрогается при этой мысли. Во имя отца и сына! Ему, солдату, дезертировать? Никогда!

Между тем лес шумит все громче, все заунывнее свищет ветер.

Вдруг старший пленный говорит:

— А ветер-то,— как у нас осенью...

— Оставь меня в покое,— удрученно отвечает младший.

Однако через минуту он сам несколько раз повторяет:

— У нас, у нас, у нас! Боже мой! Боже мой!

Глубокий вздох сливается со свистом ветра, и пленники снова лежат молча...

Бартека начинает трясти лихорадка.

Хуже всего, когда человек не отдает себе отчета в том, что с ним происходит. Бартек ничего не украл, но ему кажется, будто он украл что-то и боится, как бы его не поймали. Ничто ему не угрожает, но он дрожит от страха. Ноги у него подгибаются, ружье валится из рук, что-то душит его, точно рыдания. О чем? О Магде или о Погненбине? О том и другом, но и младшего пленника ему так жаль, что он не может совладать с собой.

Минутами Бартеку казалось, что он спит. Между тем непогода на дворе все усиливается. В свисте ветра все чаще слышатся странные восклицания и голоса.

Вдруг у Бартека волосы встают дыбом. Ему чудится, что в глубине сырого темного бора кто-то стонет и повторяет: «У нас, у нас, у нас!»

Бартек вздрагивает и ударяет прикладом об пол, чтобы очнуться.

Как будто он пришел в себя... Он оглядывается: пленники лежат в углу, мигает лампа, воет ветер,— все в порядке.

Свет падает теперь прямо на молодого пленника. Лицо совсем детское или девичье. Но закрытые глаза и солома под головой придают ему вид покойника.

С тех пор как Бартек называется Бартеком, никогда он не испытывал такой жалости. Что-то явственно сжимает ему горло, подступают рыдания.

Между тем старший пленник с трудом поворачивается на бок и говорит:

— Покойной ночи, Владек.

Наступает тишина. Проходит час, и с Бартеком в самом деле творится что-то неладное. Ветер гудит, словно

погненбинский орган. Пленники лежат молча. Вдруг младший, с усилием приподнявшись, зовет:

— Кароль!

— Что?

— Спишь?

— Нет.

— Знаешь, я боюсь... Говори, что хочешь, а я буду молиться.

— Молись!

— «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое...»

Рыдания заглушают слова молодого пленника... Но опять слышится его прерывающийся голос:

— «Да будет... воля... твоя!..»

Нет, он не выдержит больше! Еще минута, и он крикнет: «Панич, да ведь я польский мужик!» А потом через скошко... в лес... Будь, что будет!

Вдруг в сениях раздаются мерные шаги. Это — патруль, с ним унтер-офицер. Сменяют караул.

На другой день Бартек с утра был пьян. На следующий день — тоже.

* * *

Потом были новые походы, стычки, передвижения... И мне приятно сообщить, что наш герой пришел в равновесие. После той ночи у него явилось только маленькое пристрастие к бутылке, в которой всегда можно найти вкус, а подчас и забвение. Впрочем, в сражениях он стал еще более свирепым. Победа шла по его следам.

VI

Снова прошло несколько месяцев. Была уже середина весны. В Погненбине вишни в садах стояли усыпанные белым цветом, а поля сплошь зазеленели молодыми всходами. Однажды Магда, сидя перед хатой, чистила к обеду мелкий проросший картофель, скорее пригодный для скотины, чем для людей. Но была весна, и нужда уже заглянула в Погненбин. Это было видно и по лицу

Магды, почерневшему от голода и заботы. Быть может, чтобы отогнать ее, баба, полузакрыв глаза, напевала тонким протяжным голосом:

Ой, мой Ясик на войне! Ой, письмо он пишет мне!
Ой, и я в ответ — ведь мне что же делать-то, жене.

Воробьи на черешнях чирикали так, словно хотели ее заглушить, а она, не прерывая песни, задумчиво поглядывала то на собаку, спавшую на солнце, то на дорогу, пролежавшую мимо хаты, то на тропинку, бежавшую через огород и поле. Может, потому поглядывала Магда на тропинку, что вела она напрямик к станции, и так судил бог, что в этот день она поглядывала на нее не даром. Вдали показалась какая-то фигура; баба приложила руку козырьком ко лбу, но ничего не могла разглядеть: солнце слепило глаза. Проснулся Лыска, поднял голову и, отрывисто твякнув, принялся нюхать, насторожив уши и к чему-то прислушиваясь. В то же время до Магды донеслись неясные слова песни. Лыска вдруг сорвался и во весь дух помчался к приближавшемуся человеку. Магда слегка побледнела.

— Бартек или не Бартек?

И она вскочила так порывисто, что лукошко с картофелем полетело на землю; теперь уж не было никакого сомнения: Лыска прыгал на грудь Бартеку. Баба бросилась вперед и от радости закричала изо всех сил:

— Бартек! Бартек!

— Магда! Это я! — ревел Братек в кулак, как в трубу, и прибавлял шагу.

Он открыл ворота, задел за засов, чуть не свалился, покачнувшись и упал прямо в объятия жены.

Баба затараторила:

— А я-то думала, уж не вернешься... Думала: убили его! Ну-ка, покажись! Дай насмотреться! Похудел-то как! Господи Иисусе! Ах ты, бедняга!.. Милый ты мой!.. Воротился, воротился!

Она на минуту отрывала руки от его шеи и смотрела на него, потом снова обнимала.

— Воротился! Слава богу! Милый ты мой, Бартек!.. Ну, что?.. Пойдем в хату... Франек в школе! Немец тут все допекает ребят. Мальчишка здоров. Только лупо-

глазый, как ты. Ох, давно бы тебе вернуться! Одной-то мне как управиться? Беда, прямо беда!.. Хата разваливается. В амбаре крыша течет. Ну, что? Ох, Бартек! Бартек! И как это я тебя еще вижу в живых! Сколько тут хлопот у меня было с сеном! Соседи помогали! да что толку! Ну как, ты-то здоров? Ох, и рада же я тебе! Бог тебя уберег. Пойдем в хату. Господи ты, боже! То ли это Бартек, то ли не Бартек! А это что у тебя? Господи!

Только теперь Магда заметила длинный шрам, тянувшийся через все лицо Бартека — от левого виска до подбородка.

— А ничего... Кирасир один меня смазал, ну да и я его... В больнице лежал.

— Господи Иисусе!

— Пустяки.

— И отощал же ты, как скелет.

— Вот еще! — отвечал Бартек.

Он был действительно худ, черен, оборван. Настоящий победитель! К тому же он еле держался на ногах.

— Да ты что? Пьян?

— Ну вот... слаб еще.

Он был слаб, это верно! Но и пьян, так как при его истощении ему хватило бы и одной рюмки водки, а он выпил на станции целых четыре. Но зато дух и вид у него были настоящего победителя. Такого вида у него прежде никогда не бывало!

— Вот еще! — повторял он. — Мы кончили эту бойню! Теперь я пан, понятно? А это видишь? — тут он показал на свои кресты и медали. — Поняла, каков я? А?левой, стой! Сено! солома! стой!

Последнее «стой» он крикнул так пронзительно, что баба отскочила на несколько шагов.

— Что ты, ошалел?

— Как поживаешь, Магда? Когда тебе говорят: как поживаешь, то значит как поживаешь?.. А по-французски знаешь, дура?.. Мусью, мусью! Кто мусью? Я — мусью. Поняла?

— Да что с тобой?

— А тебе что за дело! Что? Донэ динэ! Понимаешь? На лбу Магды стали собираться тучи.

— Это ты по-каковски болтаешь? Ты что же, совсем

разучился по-польски? Ах ты, колбасник! Верно я говорю! Что из тебя сделали!

— Дай поесть!

— Пошел в хату!

Всякая команда производила на Бартека неотразимое впечатление, которому он не мог противиться. Услышав «пошел!», он выпрямился, вытянул руки по швам и, сделав поворот, зашагал в указанном направлении. На пороге опомнился и с удивлением посмотрел на Магду.

— Ну, что ты, Магда? Что ты?

— Пошел! Марш!

Он пошел в хату, но упал на самом пороге. Теперь только водка по-настоящему ударила ему в голову. Он запел и, озираясь по сторонам, стал искать в хате Франека. Даже сказал: «доброе утро, малец!», хотя Франека не было. Потом расхохотался, сделал один чересчур большой шаг, два слишком маленьких, крикнул «ура» и повалился на постель. Вечером он проснулся трезвый, бодрый, поздоровался с Франеком и, выпросив у Магды несколько пфеннигов, предпринял триумфальный поход в корчму. Слава опередила его: многие солдаты других рот того же полка вернулись в Погненбин раньше Бартека и всюду рассказывали о его подвигах под Гравелоттом и Седаном. Поэтому, когда разнеслась весть, что победитель в корчме, все прежние товарищи Бартека поспешили с ним повидаться.

И вот сидит наш Бартек снова за столом, но никто бы его теперь не узнал. Он, прежде такой смирный, стучит сейчас кулаком по столу, надувается, как индюк, и, как индюк же, балбочет:

— А помните, ребята, когда я в тот раз французов разделал, что сказал Штейнмец?

— Еще бы не помнить!

— Болтали про французов, пугали, а они самый квелый народ. Что? Салат жрут, как зайцы, да и улепетывают не хуже зайцев. Пива не пьют, одно только вино.

— Верно.

— Стали мы как-то жечь одну их деревню, а они руки этак сложили и кричат: «Питие, питие!»¹ По-ихнему,

¹ La pitié — жалость, сострадание (франц.).

значит, они пить дадут, только не трогай. Но мы на это не пошли.

— А понять можно, что они лопочут? — спросил молодой парень.

— Ты не поймешь — потому глуп, а я понимаю. Дождю пен, — понимаешь?

— Что это вы говорите?

— А Париж видели? Вот там были баталии, одна за другой. Только мы всякий раз их били. Нет у них настоящего начальства. Так люди говорят. Плетень-то, говорят, хорош, да колья плохи. И офицеры у них плохие, и генералы плохие, а у нас хорошие.

Мацей Кеж, умный погненбинский мужик, покачал головой:

— Ох, выиграли немцы войну, страшную войну выиграли, и мы им немало помогли; а какая нам от того прибыль — одному богу известно.

Бартек вытаращил на него глаза.

— Что это вы говорите?

— А то, что и прежде немцы нас ни во что ставили, а теперь так носы задирают, словно и бога над ними нет. А будут еще хуже издеваться над нами, да уж и сейчас издеваются.

— Неправда! — изрек Бартек.

В Погненбине старик Кеж пользовался таким уважением, что вся деревня думала его головой и никто не смел ему перечить, но Бартек был теперь победитель и сам имел вес.

Тем не менее все посмотрели на него с удивлением и даже, пожалуй, с негодованием.

— Ты что? С Мацеем будешь спорить? Что ты?..

— А что мне ваш Мацей! Я и не с такими говорил, понятно? Ребята! Не говорил я со Штейнмецом? Что? А Мацей врет, так и врет. Теперь нам лучше будет.

Мацей с минуту смотрел на победителя.

— Ох, и глуп же ты! — сказал он.

Бартек стукнул кулаком по столу, да так, что все рюмки и кружки подскочили.

— Тихо, ты, там! Сено! Солома!..

— А ты тише, не ори! Спроси лучше, глупая твоя голова, у ксендза или у пана.

— А ксендз разве был на войне? Или пан был? А я был. Не верьте, ребята. Теперь-то уж нас будут уважать. Кто войну выиграл? Мы выиграли! Я выиграл! Теперь чего ни попрошу, мне все дадут. Захочу я стать помещиком во Франции, — и стану. Начальство-то знает, кто крепче всех лупил французов. Наши полки были самые лучшие. Так и в приказах писали. Теперь поляки пошли в гору. Понятно?

Кеж махнул рукой, встал и пошел прочь. Бартек одержал победу и на политическом поприще. Молодежь осталась с ним, смотрела на него, как на икону, а он продолжал:

— Я чего ни захочу, все мне дадут. Не будь меня, не то бы было! Старый Кеж — дурак. Понятно? Начальство велит бить — значит, бей! Кто надо мной станет издеваться? Немцы? А это что?

И он опять показал на свои кресты и медали.

— А за кого я лупил французов? Не за немцев, что ли? Я теперь лучше всякого немца, потому что ни один немец не получил столько медалей. Пива сюда! Я со Штейнмцем говорил, с Подбельским говорил. Пива сюда!

Смахивало на то, что будет попойка. Бартек запел по-немецки:

Пей, пей, пей!
Пока в моем кармане
Звонит еще хоть талер!

И он вытащил из кармана горсть пфеннигов.

— Нате! Я теперь пан! Не хотите? Ох, и не такие деньги водились у нас во Франции, только все куда-то девалось. Мало ли мы там пожгли да людей поубивали. Уж кого там только не было... одних французишек...

Настроение пьяных быстро меняется. Неожиданно Бартек сгреб со стола монеты и жалобно заголосил:

— Смилуйся, боже, над душой моей грешной...

Потом оперся локтями о стол, уткнул лицо в кулаки и замолчал.

— Ты что это? — спросил какой-то пьяный.

— Чем я виноват? — угрюмо пробормотал Бартек. — Сами лезли. А жалко мне их было: ведь земляки. Господи, помилуй! Один был, как зорька, румяный. А наутро

побелел, как полотно. А потом их, еще живых, засыпали... Водки!

Настала минута томительного молчания. Мужики с удивлением переглядывались.

— Что это он городит? — спросил кто-то.

— Совесть, видно, заговорила.

— Из-за войны этой самой и пьет человек, — пробормотал Бартек.

Он выпил рюмку, потом другую. С минуту помолчал, потом сплюнул и неожиданно опять пришел в хорошее настроение.

— Вы-то небось не говорили со Штейнмцем? А я говорил! Ура! Пейте, ребята! Кто платит? Я!

— Ты платишь, ты! — раздался голос Магды. — Вот я тебе заплачу, пьяница, ты меня попомнишь!

Бартек посмотрел на жену стеклянными глазами.

— А ты со Штейнмцем говорила, а? Ты кто такая?

Магда, не отвечая, повернулась к сочувствующим слушателям и принялась причитать:

— Ох, люди добрые, видите вы мой стыд, мою горькую долю. Вот он, воротился... Я-то, дура, ему обрадовалась, как порядочному, а он воротился пьяный. И бога забыл, и по-польски забыл. Чуть выспался, протрезвился, опять пьянствует и трудом моим, потом расплачивается. А где ты взял эти деньги? Не я ли их потом-кровью заработала? Ох, люди добрые, уж не католик он, не человек, а немец окаянный, по-немецки лопочет да жить норовит людской кривдой. Ох, отступник, ох...

Тут баба залилась слезами, но потом опять подняла голос октавой выше.

— Глупый-то хоть и всегда он был, да зато был добрый, а теперь что из него сделали?.. Ждала я его и вечером, ждала я его и утром, — и вот дождалась. Ни тебе радости, ни тебе утешения! Боже милостивый! Чтоб тебя разорвало, чтоб ты навек немцем остался!

Последние слова она произнесла, жалобно причитая почти нараспев. А Бартек на это:

— Молчи, не то поколочу!

— Бей, руби голову, сейчас руби, убей, прикончи, кровопийца! — иступленно кричала баба и, вытянув шею, обратилась к мужикам:

— Смотрите, люди добрые!

Но мужики предпочли поскорей убраться. Остались только Бартек да баба с вытянутой шеей.

— Что ты шею-то вытянула, как гусь, — бормотал Бартек, — иди домой.

— Руби! — повторяла Магда.

— А вот и не отрублю, — отвечал Бартек и засунул руки в карманы.

Тут корчмарь, желая положить конец ссоре, потушил единственную свечу. Стало темно и тихо. Через минуту в темноте раздался визгливый голос Магды:

— Руби!

— А вот не отрублю! — отвечал торжествующий голос Бартека.

Вскоре в лунном свете можно было видеть две фигуры, шедшие из корчмы. Одна из них, что впереди, причитала на голос: это была Магда; за нею, понутив голову, смиренно следовал герой Гравелотта и Седана.

VII

На беду Бартек воротился таким слабым, что не мог работать. А в хозяйстве дозарезу были нужны мужские руки. Магда выбивалась из сил и работала с утра до ночи. Соседи Чемерницкие помогали ей, чем могли, но этого было недостаточно, и хозяйство понемногу приходило в упадок. Пришлось Магде задолжать колонисту Юсту, немцу, который когда-то купил в Погненбине пятнадцать моргов пустоши и завел на ней лучшее во всей деревне хозяйство. Были у Юста и деньги, которые он давал займы под высокие проценты. Давал он прежде всего помещику, пану Яжинскому, имя которого красовалось в «золотой книге» и который именно по этой причине должен был поддерживать блеск своего рода на соответственной высоте; давал Юст и мужикам. Магда уж полгода должна была ему несколько десятков талеров, которые частью вложила в хозяйство, частью переслала Бартеку во время войны. Это еще бы полбеда. Дал бы бог хороший урожай, и долг можно было бы заплатить, лишь бы приложить руки к делу. Но к несчастью, Бартек

не мог работать. Магда не очень-то этому верила и даже ходила к ксендзу за советом, как бы расшевелить мужика, но он действительно не мог работать. Стоило ему хоть немного устать, как он начинал задыхаться и жаловался на ломоту в пояснице. Так он и сидел по целым дням перед хатой, курил фарфоровую трубку с изображением Бисмарка в белом мундире и кирасирской каске — и смотрел на мир усталыми, сонными глазами человека, кости которого еще не отдохнули от трудов. При этом он размышлял немножко о войне и о победах, немножко о Магде, немного обо всем — и ни о чем.

Раз, когда он так сидел, издали послышался плач возвращавшегося из школы Франека.

Бартек вынул изо рта трубку.

— Эй, Фран! Что с тобой?

— Да, «что с тобой?..» — всхлипывая, повторил Франек.

— Чего ты ревешь?

— Как же мне не реветь, если мне дали по морде...

— Кто тебе дал по морде?

— Кто же, как не пан Бега!

Пан Бега был учитель в Погненбине.

— А имеет он право давать тебе по морде?

— Значит, имеет, раз дал.

Магда, которая копала в огороде картофель, перелезла через плетень и с мотыкой в руке подошла к ребенку.

— Ты что там наделал? — спросила она.

— Ничего я не наделал... А просто Бега обозвал меня польской свиньей и дал мне по морде, а потом сказал, что как теперь они французов завоевали, так и будут нас ногами топтать, потому что они всех сильнее... А я ему ничего не сделал, только он меня спросил, кто самая важная особа на свете, а я сказал, что святой отец, а он дал мне по морде, а я начал кричать, а он обозвал меня польской свиньей и сказал, что как теперь они французов завоевали...

Франек было опять начал: «А он сказал, а я сказал», но Магда зажала ему рот рукой и, обратившись к Бартеку, закричала:

— Ну, слышишь, слышишь! Иди вот, воюй с фран-

цузами, а потом немец будет бить твоего ребенка, как собаку, да еще изругает. Иди вот, воюй... Пусть пруссак убивает твоего ребенка,—вот тебе награда! О, чтоб тебе...

Тут Магда, растроганная собственным красноречием, тоже принялась плакать, а Бартек вытаращил глаза и разинул рот от изумления. Изумление его было так велико, что он не мог слова вымолвить и, прежде всего, не мог понять, что же произошло. Как же так? А его победы... С минуту еще он посидел молча, потом глаза его заблестели, кровь бросилась в лицо. Изумление, так же как испуг, у людей глупых часто переходит в ярость. Бартек вдруг вскочил и пробормотал, стиснув зубы:

— Я с ним поговорю!

Итти было недалеко. Школа находилась тут же, за костелом. Пан Беге стоял у крыльца, окруженный поросятами, которым он бросал куски хлеба.

Это был человек высокого роста, лет под пятьдесят, крепкий, как дуб. Сам он не был толст, только лицо у него было очень упитанным. А с этого лица смотрели смело и энергично большие рыбы глаза.

Бартек подошел к нему вплотную.

— За что ж это ты, немец, бьешь моего ребенка? — спросил он и по-немецки прибавил: «Что?»

Пан Беге отступил на несколько шагов, смерил его глазами без тени страха и флегматично сказал, коверкая польские слова:

— Пошел вон, польский дурак.

— За что бьешь ребенка? — повторил Бартек.

— И тебя побью, польский хам! Теперь мы вам покажем, кто тут пан. Пошел к чорту, иди — жалуйся... Прочь!

Бартек схватил учителя за плечи и изо всей силы стал его трясти, крича хриплым голосом :

— Да ты знаешь ли, кто я такой? Знаешь, кто француз лупил? Знаешь, кто со Штейнмецом разговаривал? За что бьешь ребенка, прусская морда?

Рыбы глаза пана Беге вылезли на лоб не хуже, чем у Бартека, но пан Беге был сильный человек и решил одним ударом освободиться от противника.

Он размахнулся и дал здоровенную оплеуху победителю под Гравелоттом и Седаном. Тут мужик вышел из

себя. Голова пана Беге закачалась из стороны в сторону, как маятник, — с тою только разницей, что эти движения были гораздо быстрее.

В Бартеке снова проснулся страшный истребитель тюркосов и зуавов. Напрасно двадцатилетний сын Беге Оскар, парень могучего сложения, поспешил на помощь отцу. Завязалась борьба, непродолжительная, но страшная. Сын упал наземь, а отец взлетел в воздух. Бартек, подняв руки кверху, нес его, сам не зная куда. К несчастью, перед домом стояла бочка с помоями, которые бережно сливала для свиней пани Беге. Вдруг что-то булькнуло в бочке. Через минуту были видны только отчаянно болтавшиеся в воздухе ноги пана Беге. Жена его выскочила из дома.

— На помощь! Спасите!

Однако она не растерялась, перевернула бочку и выплеснула мужа вместе с помоями на землю.

Колонисты, жившие поблизости, высыпав из домов, бросились на помощь соседям.

Несколько немцев накинулись на Бартека и принялись колотить его палками и кулаками. Произошла общая свалка, в которой было трудно отделить Бартека от его врагов: десяток тел сбился в одну кучу, которая судорожно извивалась.

Вдруг из этой кучи выскочил, как шальной, Бартек и во всю мочь побежал к плетню.

Немцы ринулись за ним, но тут раздался страшный треск — плетень закачался, и в ту же минуту в железных ручищах Бартека очутилась здоровенная жердь.

Он повернулся к ним, взбешенный, с пеной на губах, размахивая своей жердью; все бросились врассыпную.

Бартек погнался за ними.

К счастью, он никого не догнал. За это время он опомнился и стал отступать к дому. Ах, если бы перед ним были французы! Его отступление обессмертила бы история.

Дело было так: нападающие в числе около двадцати человек собрались с силами и опять двинулись на Бартека.

Он медленно отступал перед ними, как дикий кабан, преследуемый собаками. Время от времени он останавли-

ливался; тогда останавливались и его преследователи. Жердь внушала им почтительный страх.

Но они продолжали бросать в Бартека камнями, и метким ударом кто-то ранил его в лоб. Кровь заливала ему глаза. Он почувствовал, что ослабевает. Покачнувшись раз, другой и, выпустив жердь из рук, упал.

— Ура! — закричали колонисты.

Но прежде чем они до него добежали, Бартек опять поднялся. Они остановились. Раненый волк мог еще быть опасен. Кроме того, отсюда уже было недалеко до первых хат, и издали видно было, как несколько парней со всех ног бегут к полю сражения. Колонисты отступили к своим домам.

— Что случилось? — посыпались вопросы.

— Немцев малость пощупал, — отвечал Бартек.

И упал без чувств.

VIII

Дело приняло серьезный оборот. В немецких газетах появились необычайно трогательные статьи о преследованиях, которым подвергается мирное немецкое население со стороны темной варварской массы, разжигаемой антиправительственной агитацией и религиозным фанатизмом. Беге стал героем. Этот тихий и скромный учитель, сеятель просвещения на далеких окраинах, этот истинный апостол культуры среди варваров, первый пал жертвой беспорядков. К счастью, за ним стоит сто миллионов немцев, которые не позволят, чтобы... и т. п.

Бартек не знал, какая гроза собирается над его головой. Напротив, он думал, что все прекрасно кончится, и был совершенно уверен, что выиграет дело в суде. Ведь Беге побил его ребенка и первый его ударил, а потом на него напало столько народу! Должен же он был защищаться. Да еще и голову ему камнем проломили. Ему, о котором постоянно упоминалось в приказах, ему, который «выиграл» битву под Гравелоттом, который разговаривал с самим Штейнмецом, ему, который имел столько крестов и медалей! В его голове положительно не укладывалось, как это немцы могли обо всем этом не знать и как смели его так обидеть. Равным образом, не мог он понять и того, как это Беге мог сказать погнен-

бинцам, что теперь немцы будут топтать ногами их за то, что они, погненбинцы, так здорово били французов при всякой возможности. Что касалось его самого, то Бартек был убежден, что суд и правительство примут его сторону. Там-то ведь будут знать, что он за человек и что делал на войне. А уж Штейнмец, наверно, заступится за него. Ведь он из-за этой войны и обеднел, и хату заложил — не откажут же ему в справедливости.

Между тем в Погненбин приехали за Бартеком жандармы. Они, повидимому, ждали ожесточенного сопротивления и приехали впятером, с заряженными ружьями. Но ошиблись. Бартек и не думал сопротивляться. Велели ему сесть в бричку — он сел. Только Магда была в отчаянии и упорно повторяла:

— Ох, нужно было тебе так с французами воевать? Вот же тебе за это, вот!

— Молчи, дура, — отвечал Бартек и весело улыбался всю дорогу, поглядывая на прохожих.

— Я им покажу, кого они обидели! — кричал он из брички.

И он ехал в суд со всеми своими крестами на груди, как триумфатор.

Суд, действительно, оказался к нему милостивым. Признав наличие смягчающих вину обстоятельств, Бартека приговорили к трем месяцам тюрьмы. Кроме того, его приговорили к штрафу в сто пятьдесят марок в пользу семьи Беге и других «оскорбленных действием» колонистов.

«Однако преступник, — говорилось в судебном отчете «Познанской газеты», — по объявлении приговора не только не проявил ни малейшего раскаяния, но разразился такими грубыми ругательствами и так бесстыдно стал выставлять свои мнимые заслуги перед государством, что можно только удивляться, как прокурор не возбудил против него нового дела за оскорбление суда и немецкого народа...»

Однако мы совершили бы несправедливость, утверждая, что поступок пана Беге не вызвал никакого публичного осуждения. Напростив, напротив! В одно дождливое утро в рейхстаге выступил некий польский депутат и принялся весьма красноречиво доказывать, что в Позна-

ни изменялось отношение к полякам; что за мужество и потери, понесенные познанскими полками в эту войну, надлежало бы больше заботиться о нуждах населения познанской провинции; и, наконец, что пан Беге в Погненбине злоупотреблял своим положением учителя, позволяя себе бить польских детей, обзывать их польскими свиньями и говорить, что после этой войны пришедшие люди будут топтать ногами аборигенов.

И пока депутат это говорил, за окном лил и лил дождь, а так как в такие дни людей одолевает сонливость, то зевали консерваторы, зевали национал-либералы и социалисты, зевал центр, ибо все это происходило еще до эпохи «культурной борьбы».

Наконец от этой «польской кляузы» палата перешла к «очередным делам».

Тем временем Бартек сидел в тюрьме, вернее, лежал в тюремной больнице, так как от удара камнем у него открылась рана, полученная еще на войне.

Когда у него не было жара, он все думал, как тот индюк, который окошел от дум. Бартек не окошел, но ничего не выдумал.

Однако изредка, в минуты, которые в науке называются *lucida intervalla*¹, ему приходило в голову, что, может быть, напрасно он так «лупил» французов...

Для Магды наступило тяжелое время: надо было платить штраф, а денег взять было неоткуда. Погненбинский ксендз хотел ей помочь, но оказалось, что в кассе нет и сорока марок. Пана Яжинского не было. Говорили, что он поехал в Царство Польское свататься к какой-то богатой панне.

Магда не знала, что придумать.

Об отсрочке уплаты штрафа нечего было и думать. Что ж тут делать? Продать лошадей, коров? Хлеба еще стояли в поле, время и без того было трудное. Приблизжалась жатва, в хозяйстве нужны были деньги, а они все вышли. Магда в отчаянии ломала руки. Подала в суд несколько прошений о помиловании, ссылаясь на заслуги Бартека, но ей даже не ответили. Приближался срок платежа, а с ним секвестр.

¹ Минута просветления (лат.).

Она молилась и молилась, с горечью вспоминая прежнее время, до войны, когда они жили в достатке. а Бартек вдобавок еще зарабатывал зимой на фабрике. Пошла она к кумовьям призанять денег, но и у тех не было. Война всех разорила. К Юсту пойти она не смела, потому что уж и так была ему должна и даже процентов не платила. Между тем Юст сам к ней явился.

Однажды в полдень Магда сидела на пороге своей хаты, праздно сложив руки, потому что от горя силы ее совсем оставили. Она смотрела на реявших в воздухе золотых мушек и думала: «Какие же эти насекомые счастливые: летают, куда им вздумается, и ни за что не платят...» и т. д. Порой она тяжело вздыхала и с побледневших губ ее срывалось тихое: «Боже мой, боже мой!» Вдруг у ворот показался загнутый книзу нос Юста; из-под носа торчала изогнутая трубка. Магда побледнела. Юст окликнул ее:

— Морген!

— Как поживаете, пан Юст?

— А мои деньги?

— Ах, золотой мой пан Юст, потерпите немного. Нет у меня денег, что делать! Мужика моего взяли, штраф за него надо платить, а я никак концы с концами свести не могу. Лучше бы мне помереть, чем этак мучиться... Уж вы подождите, золотой мой пан Юст!

Она расплакалась и, наклонившись, смиренно поцеловала толстую красную руку пана Юста.

— Вот пан придет, я возьму взаймы, и отдам.

— Ну, а штраф из чего заплатите?

— Ох, не знаю. Коровенку, видно, продать придется.

— Я вам еще дам взаймы.

— Бог вам пошлет за это, золотой мой пан! Вы хоть и лютеранин, а хороший человек. Верно я говорю. Если бы все немцы были такие, как вы, все бы их благословляли.

— Только я без процентов не дам.

— Знаю, знаю.

— Нужно будет написать...

— Хорошо, золотой мой пане, пошли вам бог!

— Вот я поеду в город, тогда составим акт.

Юст поехал в город составить акт, а Магда пошла посоветоваться с ксендзом. Но что тут можно было при-

думать? Ксендз сказал, что срок слишком короток, а проценты слишком высоки, и пожалел, что пан Яжинский уехал: был бы он здесь — наверное, помог бы. Однако Магда не могла ждать до тех пор, пока все имущество пустят с молотка, и согласилась на условия Юста. Она взяла займы триста марок, то есть вдвое больше, чем нужно было, чтобы заплатить штраф, так как и хозяйство тоже требовало денег. Бартек, ввиду важности акта, должен был скрепить его своей подписью. Магда нарочно ходила к нему для этого в «карцер». Победитель был очень удручен, подавлен и болел. Он было написал жалобу, указав на все причиненные ему обиды, но статьи «Познанской газеты» настроили к нему правительственные сферы неблагоприятно. Разве власти не должны расширить опеку над мирным немецким населением, «которое в последнюю войну дало столько примеров любви к отечеству и принесло столько жертв»? Понятно, что жалобу Бартека отклонили. Также неудивительно, что это его окончательно надломило.

— Ну, теперь мы совсем пропали, — сказал он.

— Пропали, — повторила Магда.

Бартек о чем-то задумался.

— Крепко они меня обидели, — сказал он.

— А Беге мальчишку обижают, — добавила Магда. — Ходила я его просить, а он меня же обругал. Ох, беда, теперь немцы у нас в Погненбине всем заправляют. Никого и не боятся.

— И верно, они всех сильнее, — печально проговорил Бартек.

С минуту оба молчали. Потом Бартек снова спросил:

— Ну, а что Юст?

— Если бог пошлет урожай, как-нибудь с ним расплатимся. Может, пан поможет, хотя он и сам кругом должен немцам. Еще до войны говорили, что придется ему продать Погненбин. Вот разве на богатой женится...

— А скоро он вернется?

— Кто его знает! В усадьбе говорят, что скоро с женой придет. Уж немцы его прижмут, как воротится. И везде эти немцы! Так и лезут со всех сторон, как клопы! Куда ни повернись — в городе ли, в деревне ли, — везде немцы... Верно, за грехи наши. А помощи — неоткуда.

— Может, ты что придумаешь? Ты баба умная.

— Что я придумаю, ну что? Разве я по доброй воле взяла у Юста деньги? По правде сказать, так и хатенка наша и земля — все теперь его. Юст хоть лучше других немцев, а и он своего не упустит. Не даст он мне отсрочки, как и другим не давал. Будто я не понимаю, зачем он мне деньги сует! Да что делать, что делать, — говорила она, ломая руки. — Придумывай ты, коли умен. Французов-то ты умел бить, а вот что станешь делать, когда крыши у тебя над головой не будет, хлеба куска не станет?

Герой Гравелотта схватился за голову:

— Господи Иисусе!

У Магды было доброе сердце:

— Молчи, родной, молчи! Да не трогай ты голову — рана-то еще не зажила. Только бы бог урожай дал! А рожь такая поднялась, что хоть целуй землю, и пшеница тоже. Земля-то не немец: не обидит. Хоть из-за твоей войны плохо земля вспахана, а растет все так, что душа радуется.

Магда улыбнулась сквозь слезы.

— Земля-то не немец... — повторила она еще раз.

— Магда, — сказал Бартек, уставясь на нее своими выпученными глазами. — Магда!

— Ну, что?

— А ведь ты... такая...

Бартек чувствовал к ней великую благодарность, но не умел ее выразить.

IX

Магда, в самом деле, стояла десятка других баб. Она иной раз круто обходилась со своим Бартеком, но была к нему искренно привязана. В минуты гнева, как, например, тогда в корчме, она и при людях называла его глупым, но тем не менее хотела, чтобы люди о нем думали иначе. «Мой Бартек только прикидывается глупым, а он хитрый», — говаривала она. А Бартек был так же хитер, как его лошадь, и без Магды никак бы не мог управиться с хозяйством, да и вообще ни с чем. Теперь, когда все свалилось на ее бедную голову, она принялась

хлопотать да бегать куда-то, да просить, — и, наконец, добились-таки помощи. Через неделю после посещения мужа в тюремной больнице она опять к нему прибежала, запыхавшаяся, сияющая, счастливая.

— Как живешь, Бартек, колбасник ты этакий? — радостно закричала она. — Знаешь, пан приехал! Женился он; молодая пани—как есть ягодка. И взял же он за нею всякого добра, ой-ой!..

Действительно, погненбинский помещик женился и приехал с молодой женою, и в самом деле взял за ней немало «всякого добра».

— Ну, так что с того? — спросил Бартек.

— Молчи, глупый! — ответила Магда. — Ох, и запыхалась же я!.. О господи!.. Пришла это я поклониться пани, смотрю — выходит она ко мне, будто королевна, а сама молоденькая, как весенний цветок, и собой хороша, словно зорька... Вот жара-то!.. Не продохнешь...

Магда подняла фартук и стала утирать им мокрое от пота лицо. Через минуту она опять заговорила прерывающимся голосом:

— А платье-то на ней лазоревое — как василек. Повалилась я ей в ноги, а она мне ручку дала... Поцеловала я... А ручки-то у нее пахучие и маленькие, как у ребенка, ну в точности, как святая на иконе. И добрая, беду людскую понимает. Стала тут я просить ее помочь... Дай ей бог доброго здоровья!.. А она говорит: «Что в моих силах, — говорит, — все сделаю». А голосок у нее такой, что, как скажет слово, так у тебя на душе просветлеет. Стала я ей рассказывать, какой у нас в Погненбине народ несчастный, а она отвечает: «Эх, не в одном только Погненбине». Тут уже я разревелась. И она тоже... Как раз пан вошел, увидел, что она плачет, и давай ее целовать — и в губы-то, и в глаза. Господа не такие, как вы! Вот она и говорит: «Сделай для этой женщины что можешь!» А он отвечает: «Все на свете, чего захочешь!» Спаси ее мать божья, ягодку мою золотую! Пошли ей деток да здоровья! А пан тут и говорит: «Сильно вы виноваты, отдались немцу в руки, но я, — говорит, — вас выручу и дам денег для Юста».

Бартек почесал затылок.

— Да ведь и пан был у немцев в руках.

— Ну, так что же? Пани-то ведь богатая! Теперь они могут всех немцев в Погненбине купить, — значит, пану все и можно говорить. Выборы, говорит пан, скоро будут, так пусть, мол, люди за немцев не голосуют, а я, говорит, и Юсту заплачу, и Беге приструню. А пани его за это поцеловала, а пан про тебя спрашивал и сказал, что если ты болен, так он потолкует с доктором, чтоб он тебе свидетельство написал, что ты не можешь сейчас сидеть. Если, говорит, не выпустят его совсем, так лучше зимой ему отсидеть, а теперь, говорит, жатва скоро, так он по хозяйству нужен. Понял? Вчера пан в городе был, а сегодня доктор в Погненбин придет: пан его пригласил. Этот — не немец. Он и свидетельство напишет. А зимой будешь в тюрьме сидеть, как король какой, и тепло тут, и жрать дадут даром, а теперь отпустят домой — работать. Самое главное, что Юсту заплатим, а пан, может, и процентов не возьмет. Осенью если не все ему отдадим, так я у пани подождать попрошу. Награди ее мать божья... Понял?

— Добрая пани, что и говорить! — весело сказал Бартек.

— Выйдешь, смотри, поклонись ей в ноги, поклонись, а не то я тебе твою рыжую башку оторву! Только бы бог урожай дал! Видишь теперь, откуда спасение? От немцев? Дали они тебе хоть грош за твои дурацкие медали? А? По башке вот дали — и дело с концом. В ножки поклонись пани, говорю тебе.

— Почему ж не поклониться! — ответил Бартек.

Судьба, казалось, снова улыбалась победителю. Через несколько дней ему заявили, что по болезни его освобождают до самой зимы. Однако перед этим ландрат велел ему явиться к себе. Бартек повиновался, но душа у него снова ушла в пятки. Тот самый мужик, который с одним только ружьем захватывал знамена и орудия, боялся теперь хуже смерти любого мундира; в душе его появилось глухое, бессознательное чувство, что его преследуют, что с ним могут сделать, что захотят, что есть над ним какая-то огромная сила, враждебная и злая, которая сотрет его, вздумай он оказать малейшее сопротивление. И вот, не дыша, он стоял перед ландратом, как некогда перед Штейнмцом: руки по швам, втянув

живот и выпятив грудь колесом. Кроме ландрата, тут было еще несколько офицеров: война и военная дисциплина опять были перед Бартеком как живые. Офицеры смотрели на него через золотые пенсне гордо и презрительно, как и подобает смотреть прусским офицерам на простого солдата и вдобавок польского мужика; он продолжал стоять навывтяжку, а ландрат что-то говорил повелительным тоном. Он не просил, не уговаривал, а приказывал и угрожал. В Берлине умер депутат, назначены новые выборы:

— Ты, польская скотина, попробуй только голосовать за пана Яжинского, попробуй!

Тут брови офицеров сдвинулись, образуя грозные львиные складки. Один, откусывая кончик сигары, повторил за ландратом: «Попробуй!» А у героя Седана и дух замер. Услышав, наконец, желанное «пошел вон!», он, сделав полоборота налево, вышел и вздохнул с облегчением. Ему было приказано голосовать за пана Шульберга из Большой Кривды. Над приказом он не раздумывал, но дышал с облегчением, потому что шел в Погненбин, потому что к жатве он будет дома, потому что пан обещал заплатить Юсту.

Вот и последние городские дома. Вокруг раскинулись желтеющие поля. На ветру колыхались тяжелые налитые колосья и, задевая друг друга, шелестели сладким для мужицкого слуха шелестом. Бартек был еще слаб, но солнце пригревало его. «Эх, хорошо жить на свете, — думал измученный солдат. — И до Погненбина уже недалеко».

Выборы! Выборы! Головка пани Марии Яжинской занята только ими; ни о чем другом она не думает, не говорит, не мечтает.

— Вы, пани, великий политик, — говорит ей сосед-шляхтич, припадая губами к ее маленьким ручкам, а «великий политик» краснеет, как вишня, и отвечает с пленительной улыбкой:

— О мы агитируем, как только можем!

— Пан Юзеф будет депутатом! — с уверенностью говорит шляхтич, а «великий политик» отвечает:

— Я бы очень хотела этого, и не только ради Юзя, но (тут «великий политик» совсем непolitично краснеет, как рак) ведь это общественное дело.

— Настоящий Бисмарк! Как бог свят! — восклицает шляхтич и снова целует маленькие ручки, после чего они начинают совещаться насчет агитации.

Шляхтич берет на себя Нижнюю Кривду и Убогово (Большая Кривда принадлежит пану Шульбергу и, значит, для них не существует), а пани Мария намерена заняться прежде всего Погненбином. У нее уже головка разламывается от множества забот. Но она не теряет времени. Каждый день ее можно видеть на улице, когда она обходит хаты. Одной рукой она поднимает платье, в другой держит зонтик, а из-под платья выглядывают маленькие ножки, которые бодро отстукивают шаг, преследуя великие политические цели. Пани Мария заходит в хаты, говоря по дороге всем, кого видит за работой, «бог на помощь». Она навещает больных, привлекает на свою сторону людей, помогает где может. Несомненно, она бы делала это и без политики, потому что у нее доброе сердце, но ради политики — тем более. Она только не смеет признаться мужу, но ей страшно хочется поехать на крестьянский сход, и она даже придумала речь, какую следовало бы произнести на этом сходе. Что это за речь! Что за речь! Правда, она вряд ли осмелилась бы ее произнести, но если бы осмелилась... ну-ну! Зато когда до Погненбина дошло известие, что власти разогнали сход, «великий политик» разревелся с досады в своей комнате, разорвал платок и весь день ходил с красными глазами. Напрасно муж просил ее не расстраиваться до такой степени. На следующий день агитация в Погненбине велась с еще большей горячностью. Теперь пани Мария ни пред чем не отступает. В один день она успевает побывать в двадцати хатах и везде так громко бранит немцев, что мужу приходится ее останавливать. Но опасности тут нет никакой. Люди встречают ее с радостью, улыбаются ей и целуют руки, потому что она такая красивая, такая розовая, что у всякого, кто ее видит, на душе светлей. Доходит черед и до Бартековой хаты. Лыска ее не пускает, но Магда сгоряча стучает его поленом по голове.

— Ох, ясная пани! Золото мое, красавица, ягодка моя! — восклицает баба и припадает к ее руке.

Бартек, согласно уговору с женой, бросается ей в но-

ги, маленький Франек сначала целует ей руку, потом запускает палец в рот и погружается в восторженное созерцание.

— Я надеюсь, — говорит, поздоровавшись, молодая пани, — я надеюсь, Бартек, что ты будешь голосовать за моего мужа, а не за пана Шульберга.

— Зоренька моя, — восклицает Магда, — да кто же здесь станет голосовать за Шульберга, чтоб его паралич разбил! (Тут она еще раз целует руку у пани.) Не гневайтесь, моя ясная пани, но как станешь говорить о немцах, язык не удержится и ляпнешь.

— Муж мне сказал, что заплатит Юсту.

— Спаси его бог! А ты что стоишь, как пень? Он, пани, у меня неразговорчивый.

— Так будете голосовать за моего мужа? — спрашивает пани. — Да? Вы поляки, мы поляки — будем поддерживать друг друга.

— Да я ему голову оторву, если он не будет за пана голосовать, — говорит Магда. — Ну, что ты стоишь, как пень? Уж очень он у меня неразговорчивый. Да ну, пошевеливайся!

Бартек снова целует у пани ручку, но упорно молчит и мрачнеет, как ночь. В мыслях у него — ландрат.

* * *

Наконец наступает день выборов. Пан Яжинский уверен в победе. В Погненбин съезжаются соседи. Они уже вернулись из города, уже подали голоса и теперь ждут в Погненбине известий, которые должен привезти ксендз. Потом будет званный обед, а вечером Яжинские поедут в Познань и затем в Берлин. Некоторые деревни избирательного округа голосовали еще вчера. Сегодня будут известны результаты. Настроение у всех превосходное. Молодая пани слегка возбуждена, но полна надежд. Она улыбается и принимает гостей с таким радушием, что все как один признают: пан Яжинский нашел настоящее сокровище. Правда, это сокровище не может спокойно усидеть на месте, перебегаёт от одного гостя к другому и заставляет каждого по сто раз повторять, что «Юзе избран». Но, право, она не честолюбива, и не из тщ-

славия хочет стать женой депутата: ее юной головке пригрезилось, что ей с мужем действительно предстоит исполнить некую важную миссию. Сердечко у нее бьется совсем как под венцом, и радость озаряет красивое личико. Ловко лавируя между гостями, она подходит к мужу, тянет его за рукав и шепчет ему на ухо, как ребенок, который хочет поддразнить: «Господин депутат!» Он улыбается, и оба невыразимо счастливы. Обоим хочется как следует поцеловаться, но при гостях неловко. Все поминутно поглядывают в окно, так как дело действительно серьезное. Умерший депутат был поляк, и немцы впервые в этом округе выставляют своего кандидата. Повидимому, победоносная война придала им храбрости, но именно поэтому так важно собравшимся в погненбинской усадьбе, чтоб был выбран их кандидат. Поэтому до обеда гремят патриотические речи. Молодая пани к ним не привыкла, они ее особенно волнуют. Минутами ее охватывает беспокойство: а что, если при подсчете голосов устроят какое-нибудь мошенничество? Но ведь в комитете заседают не только немцы? Старшие гости объясняют пани, как производится подсчет голосов. Она слышала это уже сотни раз, но хочет услышать еще. Ах, ведь сейчас решается, будет иметь население в парламенте защитника или врага! Это скоро станет известно, даже очень скоро, так как на дороге вдруг подымается облако пыли. «Ксендз едет! Ксендз едет!» повторяют присутствующие. Пани бледнеет. Все заметно взволнованы. Несмотря на уверенность в победе, последняя минута заставляет сильнее биться сердца. Но нет, это не ксендз, это приказчик приехал верхом из города. Может быть, он что-нибудь знает? Вот он привязывает лошадь и идет к дому. Гости с хозяйкой во главе выбегают на крыльцо.

— Есть известия? Есть? Выбран наш пан? Что? Да поди сюда! Ты, наверное, знаешь? Результаты объявлены?

Вопросы сыплются градом, мужик бросает шапку в воздух.

— Наш пан выбран!

Пани опускается на скамейку и прижимает руку к волнующейся груди.

— Виват! Виват! — кричат соседи. — Виват!

Из кухни высыпает прислуга.

— Виват! Немцы побиты! Да здравствует депутат!
И пани депутатша!

— А ксендз? — спрашивает кто-то.

— Сейчас приедет, — отвечает приказчик, — последние голоса подсчитывают...

— Подавайте обед! — кричит пан депутат.

— Виват! — повторяют соседи.

Все возвращаются в залу. Теперь гости уже спокойно поздравляют пана и пани, только сама пани не может сдержать свою радость и на глазах у всех бросается мужу на шею. Однако никто не видит в этом ничего предосудительного, напротив, все растроганы.

— Ну, живем еще! — говорит сосед из Убогова.

Между тем у крыльца раздается стук экипажа, и в залу входит ксендз, а за ним Мацей из Погненбина.

— Ждем, ждем вас! — кричат собравшиеся. — Ну, каким большинством?

Ксендз с минуту молчит и вдруг — словно в лицо всеобщему веселью — бросает резко и коротко два слова: — Избран... Шульберг.

Минута изумления, град тревожных, торопливых вопросов, на которые ксендз снова отвечает:

— Избран Шульберг!

— Но как? Что случилось? Каким образом? Приказчик ведь говорил совсем другое. Что же случилось?

В эту минуту пан Яжинский выводит из залы бедную пани Марию, которая кусает платок, чтоб не разрыдаться или не упасть в обморок.

— Какое несчастье! Вот несчастье! — повторяют гости, хватаясь за голову.

Вдруг с другого конца деревни доносится какой-то неясный гомон, как будто возгласы радости. Это погненбинские немцы торжествуют свою победу.

Супруги Яжинские снова возвращаются в залу. Слышно, как молодой пан в дверях говорит пани по-французски: «Приходится делать хорошее лицо». Но молодая пани уже не плачет. Глаза у нее сухи, только лицо пылает.

— Расскажите же, как все это случилось? — спокойно спрашивает хозяин.

— Да как же, милостивый пан, этому было не случиться. — говорит старый Мацей, — если здешние погненбинские мужики голосовали за Шульберга.

— Кто такой?

— Как? Здешние?

— А то как же! Я сам видел, да и все видели, как Бартек Словик голосовал за Шульберга...

— Бартек Словик? — переспрашивает пани.

— А то как же! Теперь-то его все ругают, баба его ругает, а мужик катается по земле, плачет. Но я сам видел, как он голосовал...

— Такого из деревни надо гнать! — говорит сосед из Убогова.

— Да ведь все, милостивый пан, — говорит Мацей, — все, кто были на войне, голосовали, как он. Говорят, будто им приказали...

— Злоупотребление! Форменное злоупотребление! Неправильные выборы! Насилие! Мошенничество! — слышатся возмущенные голоса.

Невеселый обед был в тот день в погненбинской усадьбе.

Вечером пан и пани уехали, но уже не в Берлин, а в Дрезден.

Между тем Бартек сидел в своей хате, несчастный, проклинаемый и отверженный всеми, — даже для собственной жены он был теперь чужим.



Осенью бог дал урожай, и пан Юст, получивший землю Бартека, радовался выгодному дельцу.

Спустя несколько дней по дороге из Погненбина шло три человека: мужик, баба и ребенок. Мужик согнулся и был больше похож на старика-нищего, чем на здорового мужчину. Шли они в город, потому что в Погненбине не могли найти работу. Лил дождь. Баба выла в голос с тоски по своей хате и родной деревне. Мужик молчал. Дорога была пустынна: ни телеги, ни человека, только крест простирал над ней свои промокшие от дождя руки. Дождь припустил сильнее. Смеркалось.

Бартек, Магда и Франек шли в город. Герою Гравелотта и Седана предстояло еще сидеть зиму в тюрьме по делу Беге.

Пан и пани Яжинские все еще гостили в Дрездене.

СТАРЫЙ СЛУГА

Наряду со старыми экономами и лесничими, особого рода типом, все более исчезающим с лица земли, является старый слуга. Помню, во времена моего детства у родителей моих служил один из таких «мамонтов», от которых скоро останутся лишь кости на заброшенных кладбищах, покрытые толстым слоем забвения; время от времени их будут ворошить исследователи.

Звали его Николай Суховольский, был он шляхтичем из шляхетского¹ села Сухая Воля, о котором часто упоминал в своих беседах. Перешел он к отцу моему после смерти его покойного родителя, при котором состоял ординарцем во время наполеоновских войн. Когда же поступил в услужение к моему деду, он сам точно не помнил и на вопрос об этом, взяв обычно понюшку табаку, отвечал:

— М-да!.. Был я тогда безусым пареньком, а пан полковник, мир праху его, еще пешком под стол ходили.

В доме моих родителей Миколай выполнял самые разнообразные обязанности: буфетчика, лакея; летом, в качестве эконома, присматривал за жатвой, зимой за молотьбой, ведал ключами от водочного склада, от кладовой, заводил часы, но главное — брюзжал.

Я не помню его иным, как только брюзжащим. Он ворчал на моего отца, на мать; я боялся его, как огня, хотя и любил; на кухне он придирался к повару, буфетных мальчиков таскал за уши и всегда был недоволен всеми и всем. Когда он бывал под хмельком, что случалось с ним регулярно раз в неделю, все его избегали не

¹ В Польше при крепостном праве были целые села, заселенные бедной шляхтой, обрабатывающей землю своим трудом. (Прим. перев.)

потому, чтобы он позволял себе браниться с паном или пани, а потому, что он мог привязаться к кому-нибудь и ходить за ним чуть ли не весь день, охая и ворча без конца. Во время обеда он становился за стулом отца и, хотя сам не прислуживал, наблюдал за прислуживающим мальчиком и с истинным наслаждением отравлял ему существование.

— Смотри, да не по сторонам, — бормотал он, — я тебе поглазею! Видали такого! Слыханное ли дело! Не может живее поворачиваться. Топчется, как старая корова в походе. Оглянись-ка мне еще раз! Он и не слышит, что пан его зовет. Перемени тарелку пани. Что рот разинул? А? Видали вы такого? Полюбуйтесь-ка на него!

В разговор, который велся за столом, он то и дело вмешивался и вечно противоречил во всем. Иной раз отец обернется к нему и скажет:

— Миколай, надо сказать после обеда Матеушу, чтобы запряг лошадей: мы поедем туда-то.

А Миколай:

— Ехать? Почему бы не ехать... Ох-хо-хо! Разве лошади не для этого. Пускай себе лошадки ноги переломают по такой дороге. В гости так в гости. Господам все дозволено. Разве я запрещаю? Я не запрещаю. Почему бы и нет? А дела могут подождать, и молотьба тоже. В гости так в гости.

— Беда с этим Миколаем! — воскликнет, бывало, мой отец, потеряв терпение.

А тот опять:

— Разве я говорю, что я умный. Сам знаю, что дурак. Эконом поехал в Неводово поухаживать за экономкой княгини, а господам что ж, уж и в гости нельзя поехать? Или барский визит менее важен, чем ухаживание за экономкой? Раз можно слуге, так можно и пану.

И так продолжалось без конца, и не было ни малейшей возможности остановить старого ворчуна.

Мы, то есть я и мой младший брат, боялись его, как я уже упомянул, чуть ли не больше, чем нашего гувернера ксендза Людовика, и, во всяком случае, больше, чем родителей. В обращении с моими сестрами он был более вежлив. Каждую из них называл «паненка», хотя они были моложе меня и брата, нас же бесцеремонно звал

на «ты». Меня, однако, к нему особенно влекло: ведь он всегда носил в кармане пистоны! Часто, бывало, после уроков захожу я робко в буфетную, улыбаюсь самым вежливым образом и, стараясь быть любезным, говорю несмело:

— Миколай! Добрый день, Миколай! Вы будете сегодня чистить оружие?

— Чего тебе здесь, Генришь, надо! Вот подвяжу тряпку, и баста!

А затем, передразнивая меня, добавлял:

— Миколай, Миколай! Когда пистоны нужны, так Миколай хорош, а нет, так о нем и не вспомнят! Лучше бы ты уроки делал. От стрельбы ума не прибавится.

— Я уже кончил уроки, — отвечаю я, чуть ли не плача.

— Кончил уроки. Ого! Кончил. Учится, учится, а голова, как пустой ранец. Не дам, да и только. (Говоря это, он уже рылся в карманах.) Еще когда-нибудь пистон в глаз попадет, тогда достанется Миколаю. Кто виноват? Миколай. Кто позволил стрелять? Миколай.

Продолжая ворчать, он шел в комнату отца, снимал пистолеты, продувал их, повторяя в сотый раз, что все это никуда не годится; потом зажигал свечу, закладывал пистон и давал мне прицелиться, причем мне и тогда досталось.

— Пистолет-то как держит, — говорил он, — как цырюльник клистирную трубку. Где уж тебе свечи гасить¹, разве что в костеле. Ксендзом тебе быть, а не солдатом.

Тем не менее он обучал нас искусству воевать. Часто после обеда мы с братом под его руководством учились маршировать, а вместе с нами шагал и ксендз Людвик, у которого это получалось очень смешно.

Миколай поглядывал на него исподлобья, а потом, хотя только его одного он боялся и уважал, все-таки не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Эх! Да вы, ваше преподобие, маршируете точь-в-точь как старая корова.

Мне, как старшему, чаще приходилось бывать под его началом, поэтому мне больше и доставалось. Однако

¹ Хорошие стрелки гасили ходостым выстрелом свечу

когда меня отдавали в школу, старина Миколай ревел, словно произошло самое ужасное несчастье. Мои родители рассказывали, что после этого он стал еще более ворчливым и недели две изводил их: «Взяли да и увезли ребенка,—говорил он.—Пускай помирает! Эх А на что ему школа? Разве он не помещик? По-латыни будет учиться? Соломона хотят из него сделать. Безобразие-то какое! Поехало дитяtko, поехало, а ты, старый, ходи из угла в угол, ищи, сам не знаешь чего. Никуда это не годится».

Помню, когда я первый раз приехал на каникулы, в доме все еще спали. Только забрезжил рассвет; начало дня было зимнее, снежное. Тишину прерывал скрип колодезного журавля во дворе и лай собак. Ставни были еще закрыты, только кухонные окна бросали яркий свет, окрашивавший в розовое снег у завалинки. Я подъезжал грустный, озабоченный, со страхом в душе, так как отметки за первое полугодие были у меня неважные. Поэтому я боялся отца, боялся сурового, молчаливого вида ксендза Людвика, привезшего меня из Варшавы, и мне неоткуда было ждать поддержки. Вдруг открывается кухонная дверь, и старый Миколай, с покрасневшим от холода носом, идет, увязая в снегу, с горшочками дымящихся сливок на подносе.

Увидав меня, он закричал: «Панич, золотой, родимый!» и, быстро ставя поднос, опрокинул оба горшочка, обхватил меня за шею и стал обнимать и осыпать поцелуями. С тех пор он всегда величал меня паничом. И все же потом целых две недели не мог он простить мне этих сливок: «Человек несет себе спокойно сливки, а он тут как тут. Нашел же время...» и т. д.

Отец собирался, или, по крайней мере, обещал, высечь меня за два «слабо» — по чистописанию и по немецкому; но, с одной стороны, мои слезы и обещания исправиться, с другой же — вмешательство моей матери и, наконец, сцены, которые устраивал Миколай, помешали этому. Что касается чистописания, Миколай не знал даже, что это за штука, но о наказании за немецкий и слышать не хотел:

— Да что же он, лютеранин или шваб какой, — говорил старик, — да разве пан полковник знал по-немецки? А вы-то сами (тут он обращался к моему отцу)

знаете? А? Когда мы встретили немцев под этим, как его? под Лейпцигом и еще чорт знает где, так мы не говорили с ними по-немецки, только так их взгрели, что они сразу показали нам спины и были таковы.

Старик Миколай обладал еще одной особенностью: он редко распространялся о своих бывлых походах, но если в минуты особо хорошего настроения, бывало, разболтается, так уж врет без зазрения совести. Впрочем, он делал это безо всякого дурного намерения: возможно, что в старой голове его факты путались и разрастались до фантастических размеров. Что бы он ни услышал в дни своей молодости о военных приключениях, все примерял к себе и к моему деду-полковнику и сам свято верил в то, что рассказывал.

Иной раз на гумне, наблюдая за крепостными, молитвными хлеб, так разболтается, что мужики бросят работу и, опершись на цепи, слушают его рассказы с разинутыми ртами. А он, как спохватится, крикнет:

— Что это вы выставили свои пасти, словно пушечные жерла, а?

И снова — стук! стук! стук! — слышатся только удары цепов по соломе; старик молчит, но через минуту опять начинает:

— Мой сын как раз пишет мне, что он произведен в генералы у королевы Пальмиры. Хорошо ему там живет, жалование большое, только морозы ужасные... и т. д.

Кстати сказать, дети у старика были неудачные. Сын у него, правда, был, но порядочный бездельник. Войдя в лета, он натворил бог весть чего, а затем ушел из дому и исчез бесследно; дочь же, говорят, в свое время была чудо как хороша, но путалась со всеми служащими в имении и в конце концов, произведя на свет ребенка, умерла. Дочку ее звали Ганей. Эта красивая, хрупкая девочка была мне ровесницей. Помню, мы не раз играли в солдаты: Ганя была барабанщиком, а крапива нашим врагом. Девочка была добра и кротка, как ангел. И ее тоже ожидала в жизни нелегкая доля, но это уже воспоминания, не относящиеся к делу.

Итак, я возвращаюсь к рассказам старика. Я сам слышал, как он говорил, что однажды в Мариамполе

разбрыкались уланские кони и ворвались в Варшаву через городские заставы в количестве восемнадцати тысяч. А сколько народу потоптали! Что это было за светопреставление, пока их не переловили! В другой раз, но уже не на гумне, а дома, он рассказывал всем нам следующее:

— Хорошо ли я воевал? А почему бы мне и не воевать хорошо? Помню, раз шла война с австрияком. Стою я себе в шеренге, да, в шеренге, вдруг подъезжает ко мне главный начальник этих самых австрияков, противника то есть, и говорит: «Эй ты, Суховольский, знаю я тебя! Кабы мы тебя поймали, и войне бы конец».

— А про полковника не говорил? — спросил отец.

— А то как же! Ведь я ясно сказал: «тебя вместе с полковником».

Ксендз Людвик потерял терпение и заметил:

— Ну и врешь же ты, Миколай, словно тебе за это особое жалованье платят.

Старик нахмурился и чуть не огрызнулся, но из боязни и уважения к ксендзу промолчал, а через минутку, желая сгладить впечатление, продолжал:

— То же самое сказал мне и ксендз Секлюцкий, капеллан. Когда мне однажды австрияк заехал штыком под двадцатое — нет, под пятое — ребро, плохо мне пришлось. Что ж — думаю — пора помирать. Исповедуюсь я в своих грехах перед господом всемогущим ксендзу Секлюцкому, а ксендз Секлюцкий слушает, слушает, да и говорит наконец: «Побойся ты бога, Миколай, ведь ты же все наврал!» А я ему на это: «Может быть, но я больше ничего вспомнить не могу».

— И вылечили тебя?

— Вылечили, вылечили! Что меня лечить. Я сам себя выходил. Размешал я два заряда пороху в четвертушке водки, глотнул на ночь, так на другой день и встал, как ни в чем не бывало.

Я бы и больше набрался этих рассказов и больше их записал для вас, но ксендз Людвик, не знаю, впрочем, почему, запретил мне их слушать, видимо, чтобы не вскружилась моя голова. Бедный ксендз Людвик, будучи ксендзом и мирным сельским жителем, не знал, во-первых, что у каждого юноши, выброшенного житейской бу-

рей на широкую арену жизни, не раз закружится голова, и, во-вторых, что вовсе не старые слуги и их басни кружат голову, а нечто совсем иное.

Впрочем, влияние на нас Миколая не могло быть вредным. Наоборот, старик следил за нами и за нашим поведением крайне внимательно и строго. Это был человек в полном смысле этого слова добросовестный. С солдатских времен он сохранил два прекрасных качества — добросовестность и исполнительность. Помню, однажды зимой волки стали наносить нам большой ущерб и так осмелели, что ночью стаей появлялись в селе. Отец, сам заправский охотник, хотел устроить облаву; желая, чтобы распорядителем был сосед, пан Устшицкий, известный истребитель волков, он написал ему письмо, затем позвал Миколая и сказал:

— Арендатор едет в город, надо отправиться вместе с ним и в Устшице отдать письмо пану. Только обязательно привези мне ответ: без ответа не возвращаться.

Миколай взял письмо, собрался и поехал с арендатором. Вечером арендатор вернулся, — Миколая нет. Отец думал, что, может, он заночевал в Устшице и вернется на следующий день с нашим соседом. Между тем проходит день, Миколая нет; проходит второй — нет; третий — нет. В доме плач. Отец, опасаясь, что, может, на него в дороге напали волки, разослал людей на поиски. Ищут и не находят никаких следов. Посылают в Устшицу. В Устшице говорят, что был, пана не застал, расспрашивал, где он находится; потом занял у лакея четыре рубля и отправился неизвестно куда. Мы ломали себе голову, не понимая, что это значит. На другой день посланные вернулись с известием, что не нашли его нигде. Мы уже начали его оплакивать, как вдруг на шестой день к вечеру, как раз, когда отец давал в канцелярии распоряжения, он услышал за дверью шарканье, покашливание и знакомое бормотание, по которому сразу узнал Миколая.

Действительно, это был Миколай, продрогший, осунувшийся, измученный, с ледяными сосульками на усах, сам на себя не похожий.

— Миколай, побойся ты бога! Что ты делал?

— Что делал, что делал. Что мне было делать? Я не

застал пана в Устшице, поехал в Бзын. В Бзыне мне сказали, что я опоздал, потому что пан Устшицкий поехал в Каролювку. Поехал и я. В Каролювке, однако, его уже не было. Разве он не волен по чужим дворам разъезжать? Разве он не пан? Ведь он не пешком ходит. Из Каролювки я отправился в город, так как говорили, что пан в уезде. А какие у него дела в уезде? Разве он войт? Он поехал в губернию. А мне возвращаться, что ли? Пошел в губернию и отдал ему письмо.

— Ну и дал он тебе ответ?

— Дал, не дал. Конечно, дал, только хохотал во все горло. Пан твой, говорит, пригласил меня на охоту в четверг, а ты мне только в воскресенье письмо отдаешь. Уже, говорит, охота давно окончена. И опять засмеялся. Вот письмо. И почему бы не посмеяться? Или...

— А что же ты ел за это время?

— Ну, а если я не ел со вчерашнего дня, так что ж такого? Разве мне здесь голодно? Разве мне здесь в куске хлеба отказывают? Не ел, так поем.

С тех пор никто не давал уже Миколаю безоговорочных распоряжений, и всякий раз, когда его посылали куда-нибудь, говорили, что надо делать в случае, если он никого не застанет дома.

Как-то, несколько месяцев спустя, поехал Миколай на ярмарку в близлежащий город покупать ломовых лошадей (в лошадях он разбирался великолепно). Вечером эконоом пришел сказать, что Миколай вернулся, лошадей купил, но весь избитый и стесняется показаться. Отец мой тотчас же пошел к нему.

— Что с тобой, Миколай?

— Подрался, — буркнул тот коротко.

— Постыдись, старый. Скандалы на ярмарке устраиваешь? Из ума выжил? Старый, а глупый! Знаешь ли ты, что другого я выгнал бы за такое дело. Как тебе не стыдно! Ты, верно, напился. Ты мне портишь людей, вместо того чтобы служить им примером.

Отец мой рассердился, а если это с ним случалось, то сердился он не на шутку.

Но странно было, что Миколай, который обычно в таких случаях за словом в карман не лез, на этот раз молчал как рыба. Очевидно, старик заупрямился. На-

Ярсно все расспрашивали его, что и как произошло. Он огрызнулся только раз, другой — и больше ни слова.

Однако побои были очень серьезные. На другой день он так расхворался, что пришлось послать за доктором, которому, наконец, удалось выяснить происшедшее. За неделю до этого отец отодрал эконома, который на другой день убежал. Он явился к некоему пану фон Цоллю, немцу, врагу моего отца, и поступил к нему на службу. На ярмарке находился пан Цолль, наш прежний эkonom и люди пана Цолля, пригнавшие упряжных волов на продажу. Пан Цолль первый увидел Миколая, подошел к его возу и стал поносить моего отца. Миколой назвал его за это еретиком, а когда пан Цолль продолжал оскорблять отца, Миколой ответил ему на это кнутовищем. Тогда люди Цолля бросились на него и избили до крови.

У отца моего, когда он услышал этот рассказ, слезы навернулись на глаза. Он не мог простить себе, что отчитал Миколая, сознательно умолчавшего обо всем этом деле. Когда он выздоровел, отец стал его укорять.

Вначале старик не хотел ни в чем признаться и по привычке ворчал, но потом расчувствовался, и они с отцом наплакались вволю.

Отец вызвал Цолля на дуэль, которую немец запомнил надолго.

Однако, если бы не доктор, самоотверженность Миколая осталась бы в тайне. Доктора же этого, между прочим, Миколой долгое время ненавидел. Получилось это так: у меня была юная и очаровательная тетушка, сестра отца, жившая вместе с нами. Я ее очень любил, так как она была так же добра, как и прекрасна, и меня отнюдь не удивляло, что любили ее все, в том числе и доктор, человек молодой, умный и пользующийся большим уважением окружающих. Прежде Миколой симпатизировал доктору, говорил даже, что он толковый малый и хорошо сидит на коне. Но когда доктор стал бывать у нас с определенными намерениями относительно тети Марыни, чувства Миколая к нему изменились.

Он стал обращаться с ним вежливо, но сдержанно, как с человеком совершенно посторонним. Прежде не раз, бывало, он ворчал и на него. Когда порой он засиживался у нас чересчур долго, Миколой, помогая ему

одеться, брюзжал: «Мыслимое ли дело по нѣчам шата́ться. Это никуда не годится; видано ли это!» Теперь он перестал брюзжать и молчал как камень. Доктор понял вскоре, в чем дело, и хотя попрежнему ласково улыбался старику, но в душе все же испытывал досаду.

Однако к счастью для молодого эскулапа, тетя Марыня питала к нему чувства, диаметрально противоположные чувствам Миколая. Как-то в один прекрасный вечер, когда зал в нашем доме весь был освещен луной, когда аромат жасмина с садовых клумб проникал через его открытые окна, а тетя Марыня пела у рояля «Io questa notte sogno», доктор Стась подошел к ней и спросил дрожащим голосом, верит ли она, что он жить без нее не может; тетя выразила, конечно, свои сомнения в этом вопросе, после чего начались взаимные клятвы, привлечение луны в свидетели и всякие тому подобные вещи, какие в таких случаях всегда бывают.

К несчастью, как раз в это мгновенье вошел Миколай с намерением пригласить их к чаю. Увидев, что происходит, он тотчас же побежал к отцу, но так как отец в это время делал обход имения, он направился к матери, которая со своей обычной милой улыбкой просила его не вмешиваться в это дело.

Обескураженный Миколай молчал весь вечер, внутренне терзаясь, но, когда отец перед отходом ко сну зашел в канцелярию, чтобы написать кое-какие письма, Миколай последовал за ним и, остановившись у двери, стал многозначительно покашливать и переминаться с ноги на ногу.

— В чем дело, Миколай? — спросил отец.

— Да вот... как это называется? Я вот хотел пана спросить, правда ли это, что паненка наша женится, я хотел сказать: выходит замуж?

— Правда. Ну и что же?

— Этого быть не может, чтобы паненка вышла за этого... пана цырюльника.

— Что за цырюльник? Ошалел ты, что ли, Миколай? И всюду-то ты свой нос суешь.

— А разве паненка не наша паненка, не дочка пана полковника? Пан полковник никогда бы не допустил этого. Разве паненка не достойна руки помещика и пана

из панов? А доктор, с позволения сказать, что? На посмешище паненка себя выставляет.

— Доктор — умный человек.

— Умный, не умный. Мало ли я докторов видел? Ходили они по лагерю, болтались в штабе, а как до дела дойдет, как бой начнется, так их и след простыл. То-то и пан полковник не раз их ланцетниками называл. Когда человек здоров, он его не тронет, а как лежит полуживой, тогда он к нему с ланцетом. Это не фокус резать такого, который не может защищаться, потому что в руке ничего не удержит. Ты попробуй его резать, когда он здоров и держит ружье. Э-эх! велико дело по человеческим костям ножом водить! Никуда это не годится! А пан полковник из гроба бы, верно, встал, если б узнал об этом. Ну, какой из доктора солдат! Или какой он помещик! Не бывать этому! Это противно заповедям. Кому здесь за паненкой тянуться?

К несчастью Миколая, доктор не только к паненке тянулся, но даже и дотянулся. Полгода спустя сыграли свадьбу, и дочь полковника, обливаемая потоками слез всех родственников и домочадцев, а Миколая в особенности, уехала делить с доктором его судьбу. В душе Миколая не было обиды на нее, да и не могло быть (слишком уж он любил ее), но доктору он не хотел простить. Никогда почти не называл его фамилии и вообще старался о нем не говорить. Между тем тетя Марыня была за доктором Станиславом бесконечно счастлива. Через год бог дал им прелестного мальчика, еще через год девочку и потом уже попеременно, как по-писанному. Миколай детей их любил, как собственных, на руках носил, ласкал, целовал; однако я не раз замечал, что в сердце его таилась какая-то горечь, причиной которой был «ме-зальянс» тети Марыни. Помню, раз в сочельник, когда мы садились к столу, вдруг донесся стук экипажа. Так как к нам часто наезжали родственники, отец сказал:

— Миколай, выгляни, кто там едет.

Миколай вышел и вернулся с просиявшим лицом.

— Паненка едет! — прокричал он издали.

— Кто, кто? — спросил мой родитель, хотя уже знал, о ком речь.

— Паненка!

— Какая паненка?

— Наша паненка, — отрезал старик.

И надо было видеть эту паненку, входившую в комнату с тремя детьми. Вот так паненка! Между тем старик умышленно никогда иначе ее не называл.

Но вот пришел конец и его неприязни к доктору Стасю. Тяжело заболела тифом Ганя. И для меня настали горестные дни; Ганя была моей ровесницей и единственным товарищем в играх, так что любил я ее как сестру.

Доктор Стась трое суток не выходил из ее комнаты. Старик, любивший Ганю всей силой своей души, во время ее болезни ходил, словно в воду опущенный: не ел, не спал, сидел у дверей ее комнаты (так как к постели больной никому, кроме моей матери, не разрешалось подходить) и боролся с жестоким горем. Это был человек, одинаково закаленный как в борьбе с телесными недугами, так и с ударами судьбы, и все же он чуть было не согнулся под бременем отчаяния. Когда же, наконец, после долгих дней смертельной опасности доктор Стась, тихонько открыв дверь, ведущую из комнаты больной, с лицом, сияющим счастьем, появился перед ожидающими в соседней комнате и произнес шопотом одно короткое слово «спасена!», старик не выдержал, заревел, словно зубр, и бросился к ногам врача, повторяя сквозь рыдания: «Благодетель мой! благодетель!»

После этого Ганя, действительно, быстро выздоровела. Доктор Стась стал теперь любимцем старика.

— Толковый человек, — твердил он, поглаживая обвислые усы, — толковый человек. И на коне хорошо сидит, и если бы не он, так Ганя бы... ох! И вспоминать не хочется. Не приведй господи!

Но через какой-нибудь год после случившегося старик сам стал сдавать. Его прямая и сильная фигура сгорбилась. Он одряхлел, перестал ворчать и врать. Под конец, достигши без малого девяноста лет, он окончательно впал в детство. Делал лишь силки для птиц, которых в его комнате было множество, в особенности синичек.

За несколько дней до смерти он перестал узнавать окружающих, но в самый этот день угасающий разум его еще раз вспыхнул ярким светом. Помню, что родители мои, ради здоровья матери, находились тогда за

границей. Однажды вечером я с младшим братом Казем и ксендзом, заметно постаревшим, сидели у камина.

Снежная буря билась в стекла, ксендз Людвик молился, я же, с помощью Казя, осматривал ружья, чтобы завтра — по свежей пороше — отправиться на охоту. Вдруг нам сообщили, что старый Миколай отходит. Ксендз Людвик тотчас же отправился в домашнюю часовню за дарами, я же поспешил к старику.

Он лежал на постели очень бледный, желтый и уже холодеющий, но спокойный и в полном сознании. Прекрасна была его полысевшая голова, украшенная двумя шрамами, — голова старого солдата и честного человека. Пламя свечи бросало могильный отблеск на стены комнаты. По углам жалобно чирикали вскормленные Миколаем синички. Старик одной рукой прижимал к груди распятие, другую его руку поддерживала и покрывала поцелуями бледная, как цветок лилии, Ганя. Вошел ксендз Людвик, и началась исповедь; потом умирающий пожелал видеть меня.

— Тяжко мне умирать, когда нет моего пана и любимой пани,— прошептал он, — но вы, золотой панич, господин мой... здесь... Возьмите под свою опеку эту сироту... Бог вас вознаградит. Не гневайтесь... Если в чем провинился... простите. Я бывал надоедлив, но...

И вдруг, затрепетав, он воскликнул сильным голосом, торопливо,— видно, ему уже нехватало дыхания:

— Панич! господин!.. моя сирота!.. Боже, в руки... твои...

— Отдаю душу храброго солдата, верного слуги и справедливого человека!— торжественно закончил ксендз Людвик.

Старик уже не дышал.

Мы опустили на колени, и ксендз стал громко читать молитву по усопшим.

С той поры протекло более десяти лет. На могиле честного слуги буйно разросся кладбищенский вереск. Наступили тяжелые времена. Буря развеяла мирный очаг моей деревушки. И ксендз Людвик, и тетя Марыня давно в могиле, я пером зарабатываю горький свой хлеб часушный, а Ганя...

Эх! Слезы навертываются!..

Адольф Дыгасинский

**АВТОБИОГРАФИЯ ОСЛА
ФИЛОСОФ И ПРАЧКА**



АДОЛЬФ ДЫГАСИНСКИЙ

Адольф Дыгасинский (1839—1902), один из выдающихся писателей-натуралистов, родился в местечке Негасловицы, Келецкого воеводства. После окончания реального училища был студентом Варшавского университета, но в связи с восстанием 1863 года прервал учебу и сражался в рядах повстанцев. Свою литературную деятельность начал в Кракове, сотрудничал в издаваемых позитивистами журналах «Нива», «Путешественник» и др. В 1884 году издает первую книгу своих новелл, которые приносят Дыгасинскому значительный успех, пользуясь по сегодняшний день популярностью среди польских читателей. В первых своих новеллах («Волк, собака и люди», «В пуше» и др.) Дыгасинский с мастерством подлинного художника изображает жизнь зверей, раскрывая перед читателем все тайны природы, которых человек обычно не замечает.

Характерной особенностью творчества Дыгасинского, наиболее четко выступающей в крупнейшей его повести «Пирь жизни», является «очеловечивание» природы. Писатель очень часто переносит на животных, героев своих книг, качества, присущие человеку, исходя из принципа, что «человек является лишь частью природы и подчиняется общим для всего живущего на земле законам».

Кроме уже названных произведений, перу Дыгасинского принадлежит ряд других повестей и новелл, из которых наиболее значительными являются повести «Ас», «Заяц» и «Таргай», также посвященные жизни зверей.

Дыгасинский до конца своей жизни сочетал литературную деятельность с педагогической и опубликовал ряд работ о внешкольном воспитании ребенка, детском чтении и т. п., многие из которых не потеряли своего интереса и сегодня.



АВТОБИОГРАФИЯ ОСЛА

Я родился на барской конюшне, где у моих родителей было свое стойло, отделенное перегородкой от стойла лошадей. Первые минуты моей жизни были преисполнены счастья, моя мать не скупилась на ласку: часто лизала меня языком, давала вымя, приговаривая: «Радость ты моя, ненаглядный ты мой!»

Когда я впервые резво брыкнулся, она нежно посмотрела на меня и сказала отцу:

— Посмотри-ка, старик, что за прелестное дитя!

Отец повернул ко мне голову, нехотя улыбнулся и проворчал:

— Глупый, потому и веселый!

Мать же ответила:

— Ты бы хоть в присутствии сына не проявлял свою желчность. Наш долг правильно воспитать ребенка и не убивать в нем радости жизни.

— Пускай узнает правду; пусть запомнит, что он только осел — животное, всеми презираемое и преследуемое, — ответил старик.

Однако мне очень хорошо жилось на свете, я не представлял себе даже, что где-либо может существовать уголок милее нашей темной конюшни и двора, заваленного кучами навоза. Одно меня только огорчало: молоко из вымени моей матери каждое утро брали для какой-то чахоточной женщины, я же голодал.

— Поищи себе корма в навозе, сынок, — говорила мать со свойственной ей нежностью, — ты видишь, мне нечем накормить тебя.

И я искал на земле у ног родителей разные соломинки и этой жалкой пищей пытался утолить свой голод. Но когда я подходил к отцу спереди, он хватал меня зубами за ухо, когда же приближался сзади, получал удар копытом в голову. Мать упрекала отца, называя подобное обращение варварским; он же говорил:

— Я учу его тому, что ослу всего нужнее: умению кусаться и лягать.

Однако за такого рода науку я не испытывал к нему ни малейшей благодарности.

Однажды зимой отца и мать запрягли в телегу, на которой перевозили с гумна на сеновал сено для телят и жеребят. Дорогой колеса телеги завязли в сугробе; мой отец заупрямился и не хотел тащить. Тогда к нему подбежал конюх и стал жестоко стегать его кнутом. Вдруг мой родитель лягнул, и конюх упал на землю от сильного удара. Я был очень доволен, что у меня такой смелый отец, и начал прыгать от радости, но мать сказала:

— Не радуйся, малыш, твой отец скоро будет жестоко наказан за упрямство, неповиновение и строптивость

Едва она произнесла эти слова, как два конюха стали изо всех сил колотить старика; тот попробовал было опять пустить в дело копыта, но лишь тяжело вздохнул и потащил повозку с сеном. Как-то во время такой же поездки за сеном я позволил себе пожевать стебелек клевера; но ко мне тут же подбежал старший конюх и ударил кулаком в морду, крича:

— Еще чего!.. Нехватало только, чтобы ослы жрали клевер!

Удар был сильный,— и с тех пор я хорошо усвоил, что принадлежу к животным, которым не разрешается есть клевер, хотя его едят телята и жеребята. Я сильно страдал от оскорблений, наносимых нашей семье, ибо каждый произносил слово «осел» так язвительно и так злобно, точно родиться ослом было крайней степенью позора. Когда люди хотят оскорбить кого-либо, то называют его ослом.

Я спросил как-то у матери:

— Почему ни лошадь, ни корову, ни собаку, ни курицу, ни утку, ни какое-либо иное создание не презирают так, как нас — ослов?

— Потому что мы самые несчастные из всех животных,— ответила она.

Это случилось в начале лета. Однажды мои родители возили бочку с водой для поливки цветов в саду. Под вечер их распрягли и позволили пощипать траву; мы все трое наслаждались приятным холодком, ясным небом, свободой и обилием пищи. Редко когда ослам выпадает такое счастье, как нам в этот дивный вечер. Отец мой, обычно мрачный, молчаливый и резкий, вдруг начал подпрыгивать и очень громко петь: «И-а, и-а, и-а!» Должен признаться, что такое поведение меня сильно удивило: я не представлял себе, что старик способен на подобные выходы.

Неподалеку на скамейке под деревом сидели пан и пани, улыбались друг другу, о чем-то шептались, и я даже видел, как они целовались. Их спугнули крики моего отца, они встали и поспешно удалились в глубь сада. Собака, дремавшая на траве, вскочила и стала отчаянно выть; к ней сбежались другие собаки, и они вместе принялись выть и лаять. Я подумал: «Удивительное дело! Нас презирают, когда мы работаем, и приходят в ужас, когда нам становится весело на душе». Я хотел поделиться своими мыслями с родителями, так как во мне впервые проснулось самосознание. Но отец посмотрел на меня как-то странно, затем повернулся ко мне задом и очень больно меня лягнул.

— Подлая скотина! — сказал он с презрением,— не

умеешь даже кричать по-ослиному... Я презираю такого сына, который философствует, вместо того чтобы брать пример с отца.

Я разозлился, и, несмотря на все уважение к родителю, мне захотелось дать ему сдачи. Однако я стерпел. Меня ожидало еще худшее разочарование. Однажды, когда мне было полгода, я, полный доверия, как обычно подошел к матери пососать теплого молока, но впервые мне было отказано. Я заупрямился и начал настаивать. В ответ я получил сильный удар материнским копытом между глаз. У меня сильно закружилась голова, а когда я пришел в себя, то почувствовал, что жизнь довольно неприятная штука, а мои родители не достойны уважения. После этого отец некоторое время ни на шаг не отходил от матери, проявляя к ней необыкновенную нежность, я же был совершенно заброшен и предоставлен самому себе.

Я часто размышлял над тем, что мир по заслугам презирает ослов; мне казалось, что, по сравнению с моим отцом, я менее упрям, менее глуп, а поэтому ближе к лошадям, чем к ослам. К родительскому стойлу меня почти не подпускали; я должен был то и дело выслушивать нравоучения, упреки и ссоры, постоянно вспыхивающие в нашей конюшне. Отец в самом деле начал подозревать во мне отсутствие семейных традиций; он меня строго наказывал и гнал прочь, а мать, словно чужая, больше за меня не заступалась. Голодный, лишенный семейного тепла, я рос почти одиноко.

«Что меня связывает с ними? — думал я. — Почему я обязательно должен быть ослом?»

Несколько раз я пытался завязать знакомство с лошадьми и пришел к убеждению, что их нравы значительно благороднее, чем поведение моих родителей. Теперь заветной мечтой моей было стать верховой лошастью. Случай помог мне осуществить эту мечту.

Однажды, проголодавшись, я пренебрег чертополохом и другими сорняками, составлявшими лакомство моих родителей, вошел через открытую калитку в сад и забрался на клумбу, где росли прекрасные цветы. Хорошо помню, я объедался георгинами и астрами, когда меня заметил садовник. Он подбежал с граблями и бил

меня до тех пор, пока они не сломались. За это я его сильно лягнул и, подняв хвост трубой, пустился вскачь, как это делают верховые лошади, я даже фыркал по-лошадиному, а ноздри раздувал так сильно, как только мог.

Когда я так скакал, мне встретила по дороге целая компания! Это пан, пани, их сын и две дочери совершали прогулку по аллее. Я поднял уши и остановился, чтобы обратить на себя внимание господ.

Первым подошел ко мне мальчик, оглядел меня с ног до головы, затем сказал отцу:

— Папа, подари мне эту лошадку, я буду на ней кататься.

«Хоть один человек оценил меня!» — сказал я себе.

Но пан тут же ответил:

— Это не лошадь, а осел! Ты должен запомнить это, мой мальчик, и никогда не походить на осла, ибо ослы — животные, отличающиеся глупостью, ленью и упрямством.

Мальчик немного призадумался, а потом опять начал просить отца:

— Папа, подари мне его! По-моему, этот скакун как раз по мне.

— Если учитель подтвердит в конце недели, что ты сам ни разу не был ослом, я охотно исполню твою просьбу.

Пани заметила, что семилетний мальчик должен иметь пони, а не осла, но ребенок заупрямился и просил, чтобы я обязательно был его скакуном. Этот маленький панич был так настойчив, что в конце недели, в виде исключения, заслужил похвалу учителя, и таким образом я стал собственностью Гени.

Жизнь моя потекла совсем по-иному. Прежде всего меня отдали на попечение конюха Мацека, которому пан поручил меня объездить. Кроме того, к величайшей моей радости, мне отвели в конюшне отдельное стойло, благодаря тому что одна из лошадей как раз внезапно скончалась. Рядом со мной с одной стороны стоял лысый и слепой мерин, а с другой — пожилая кобыла: они пользовались большим почетом за свои прошлые заслуги. Это были почтенные кони, знающие родословную всей конюшни и презирающие всякое животное, в жилах которого не течет лошадиная кровь. Разговоры этой арп-

Стократической пары возымели на меня влияние, и у меня начали складываться рационалистические взгляды на отношения между животными. Понемногу я стал убеждаться, что надо уважать взгляды других, если хочешь сыграть какую-нибудь роль в жизни.

— Что же это творится на белом свете! — говорила степенная пожилая кобыла, — поставили к нам осла, и все с ним носятся.

— Скоро поместят нас вместе со свиньями, — ответил мерин, — губительные принципы распространились теперь повсюду...

— Если бы этот наш сосед был по крайней мере мулом! — сказала кобыла, — но это чистокровный осел... И он должен занять место покойного Карего?!

— Плохие времена! — воскликнул лысый. — Молодому паничу захотелось кататься верхом на осле... Слыханное ли дело?

Я заключил из этого, что хотя меня считают ослом, но относятся ко мне, как к лошади, так как я занял лошадиную должность.

С семьей своей я порвал отношения и узнавал о ней только из разговоров лошадей.

— Вы слышали, сударыня, — сказал старый мерин, — какая суматоха была сегодня ночью в конюшне?

— А как же! Я не могла глаз сомкнуть, люди бегали все время из усадьбы в конюшню и из конюшни в усадьбу; шум был ужасный, и мне фонарями светили прямо в глаза.

— Подумаешь, какая важность! — добавил лысый. — Ожеребилась ослица!

— Не говори ожеребилась, так как ослы не жеребятся, как лошади.

— Правда, они котятся, щенятся, поросются или как там... — поправился мерин. — Но что бы это значило, что ослы сейчас так пошли в гору?..

Таким образом я узнал, что у меня родилась сестра.

— Ослы идут в гору, — говорила кобыла, — так как панские детки льнут к ним... Новорожденная ослица предназначается для старшей паненки, все уже знают об этом. Я родила шесть сыновей, из которых один участвовал в славном походе, а другой получил первый

приз на бегах; кроме того, я мать пяти дочерей; у меня внуки, которые ходят в карете и под седлом, — и никогда я не удостаивалась такой чести.

— Говорю вам, сударыня, что мир испортился, — ответил мерин. — Железные дороги, велосипеды и даже ослы вошли в моду...

Несколько дней спустя в мое стойло вошел Мацек с уздечкой в руках и бесцеремонно стал меня взнуздывать. Я видел, что старая кобыла исподтишка с иронией на меня поглядывает. Мацек вывел меня из конюшни, взял в руки прут и вскочил мне на спину. Я захотел показать себя, выступить, как верховая лошадь на параде, поэтому встал на задние ноги; но Мацек отчаянно выругался, сжал мне бока ногами, обутыми в сапоги с железными подковками, и стал стегать меня прутом. Я сразу сбавил тон, опустил передние ноги и хотел прыгнуть, но конюх стянул меня удилами так, что мне только и оставалось пятиться. За это на меня посыпались новые побои, из чего я заключил, что всадник желает, чтобы я шел боком. Но лишь только я это сделал, на мою шкуру обрушился град новых ударов. С минуту я метался вправо и влево, а Мацек все стегал меня, ругался, стягивал удилами, бил каблуками с железными подковками. Не зная, что делать, я начал лягаться, но это не помогло, так как конюх крепко сидел на моей спине и продолжал наносить мне чувствительные удары. Доведенный до отчаяния, я бросился на землю, придавив Мацеку ногу. Но он тут же вскочил, вырвал из забора кол и избил меня до полусмерти.

Так окончился первый урок. Вспотевший, дрожащий и измученный, вернулся я в свое стойло, пролив укладкой несколько слезинок, так как мое самолюбие не позволяло мне показать себя перед лошадьми животным слабым и сентиментальным. Кобыла все же угадала состояние моей души, так как сказала насмешливо:

— Ваши уши, уважаемый сосед, что-то заметно опустились.

Я выслушал эту колкость и ничего не ответил.

Через несколько дней я был уже прекрасно объезжен, но чувствовал отчаянную боль во всем теле, да и Мацек тоже был весь в синяках и ссадинах.

Наконец в конюшню пришел Геня и спросил конюха:

— Ну, как там мой скакун?

— Ходит уже, как шелковый! — ответил Мацек. — Садитесь, панич, и попробуйте!

Тогда Геня вынул из кармана десять грошей и вручил их Мацеку, как вознаграждение за мое обучение, а мне подарил сладкую конфетку, нежно погладил по голове и тут же велел меня оседлать.

Конюх еще до этого подравнял мне челку, привел в порядок гриву и всего меня почистил скребницей. На меня надели прекрасную уздечку с металлическими пряжками и мягкое седло с голубой, как небо, подпругой. Мои соседи храпом выражали недовольство, шептались между собою, что они скорее предпочли бы видеть волка, чем осла, окруженного таким почетом. Мацек, причмокивая, вывел меня из конюшни на дорожку и посадил панича в седло. Я почувствовал, что теперь, наконец, занял действительно высокое положение в обществе.

Всадник был легкий, как перышко, поэтому я мог с ним бежать рысью. Когда же мы с Геней остановились у парадного крыльца, многочисленное общество наблюдало за нами оттуда; одни восхищались тем, что я так не похож на осла, другие любовались моим юным всадником.

Сбылись мои мечты, и мне даже не пришло в голову жалеть о трудах и страданиях, ценой которых я поднялся на такую высоту. Но на крыльце у ног барина лежал желтый бульдог с сверкающими глазами, оскаленными зубами и в блестящем ошейнике. Эта собака улыбалась так ехидно, что я сразу понял: она завидует моему успеху. Собаку звали Мурат.

— Пошел! — закричал Геня, ударив меня слегка хлыстиком, толкнул осторожно ножками, и мы двинулись вперед во всей своей красоте.

Но только я отъехал несколько шагов, как почувствовал, что кто-то хватает меня зубами за ногу. Я, не задумываясь, лягнул и в тот же момент услышал жалобный лай Мурата: «Гав, гав!..» Ибо это был он. Коварного пса я стукнул копытом так сильно, что, по всей вероятности, выбил ему несколько зубов. Но, лягнув, я в то

же время выбил из седла Геню, который поднял шуму еще больше, чем Мурат. Невольно я оглянулся и заметил, что со стороны усадьбы ко мне бежит множество народу, а впереди Мацек с огромной палкой. У меня появилось предчувствие, что мне угрожает нечто ужасное, поэтому, не теряя времени, я собрался с силами и во всю прыть помчался вперед.

«Будь, что будет, — думал я, — но я не остановлюсь, пока не упаду».

Мацек ругался, посылал мне проклятия, кричал, но я не обращал внимания и мчался дальше. На пути мне попадались большие камни, канавы, и через все это я перепрыгивал, не задумываясь. Мне так нравилось бежать, что время от времени я весело взбрыкивал. Погоня осталась далеко позади, и я скрылся от своих преследователей.

Через несколько часов я очутился недалеко от уездного города, но не зашел туда, потому что в поле мне было очень хорошо. Я увидел луг, покрытый сочной зеленью, а так как меня мучил голод, я решил поужинать, предварительно повалявшись на траве.

Уже смеркалось, когда я почувствовал, что бока мои плотно набиты и что мне остается лишь запить свой ужин, а потом лечь и отдохнуть после всех приключений. Я пошел по тропинке в ту сторону, где мой инстинкт заставил меня искать воду. Вдруг я увидел людей, разговаривающих следующим образом:

— Это лошадь или осел? — спросил один.

— Все равно, — ответил другой.

— Животное без хозяина как будто создано для нас. Не следует пренебрегать счастьем, раз оно само дается в руки.

И эти два человека бросились ко мне, стараясь поймать. После утомительной дороги и сытного ужина я очень отяжелел, однако не сразу им дался. Сперва я кинулся к воде и напился доотвала. Однако люди не отставали и, когда я выходил из реки, подкараулили меня на берегу. Быть может, мне и удалось бы убежать, но, к несчастью, я споткнулся, и это стало причиной моего рабства.

Судя по одежде и разговору, мои новые хозяева были

евреи. Никто из них не сел мне на спину. Один вел меня, а другой подгонял сзади, стегая хворостиной. Наступила темная ночь, а люди все вели меня, болтая между собой. Я слышал, что они договорились оставить меня на ночь на постоялом дворе у опушки леса.

«Все равно, — подумал я, — ночевать мне в поле, на постоялом дворе или в барской конюшне. Хуже, что эти люди мне очень не нравились. Похоже, что ни один из них не сумеет оценить меня по заслугам. Бил меня отец, так знал, за что бьет, бил Мацек, потому что обучал, но этот вот сзади бьет без всякой причины, а тот спереди вовсе за меня не заступает, хотя хорошо слышит, что хворостина стучит по моим ребрам.

Я разозлился, и мне захотелось проучить человека, стегавшего меня ни за что, ни про что. Мы как раз начали подыматься в гору. Я нарочно сопротивлялся своему проводнику, чтобы мой второй мучитель подошел ко мне на расстояние протянутой ноги. Когда я сообразил, что могу достать его копытом, я лягнул и, если не ошибаюсь, угодил погонщику в живот. Он только закричал: «Ай-ай!», и упал на землю.

Я подумал, что прав был мой отец, говоривший, будто ляганье — это замечательное изобретение. Я готов отказаться от всех качеств осла, но никогда не откажусь от искусства ляганья. Вот уже второй раз в жизни оно принесло мне радость мщенья.

Преследователь поднялся, наконец, с земли, но вел себя уже значительно деликатнее, шел за мной на приличном расстоянии и не так часто пускал в ход хворостину.

Лишь поздней ночью мы прибыли на постоянный двор у опушки леса. Мои новые владельцы постучали в окно, разбудили хозяина и в нескольких словах рассказали ему, каким образом я стал их собственностью. Хозяин вышел к нам с фонарем, внимательно осмотрел меня и произнес памятные для меня слова:

— Весьма приличная скотина! Советую побыстрее обернуться и сплавить ее.

Затем меня ввели в небольшую конюшню, где стояли две взрослые лошади и полугодовая кобыла. Как только я туда вошел, хозяин привязал меня к стойлу, а обе

кобылы с большим любопытством начали рассматривать меня при свете фонаря. Молодая же кобылка, казалось, была целиком занята мною.

Когда хозяин ушел из конюшни и запер нас на замки, кобылка спросила:

— Матюшка, что это за диковинное животное пришло к нам на ночлег? Лошадь — не лошадь, впервые в жизни вижу животное с лошадиной головой, коровьим хвостом и свиными ушами.

— Ты должна знать, что это осел, — ответила мать, — существо весьма ограниченное в умственном отношении, к тому же в высшей степени ленивое. Ни одно создание не должно брать пример с осла.

Я уже достаточно встречался с разными животными, и меня сразу поразило отсутствие такта у старой клячи, учившей свою дочь нетерпимости и прививавшей ей кастовый дух. Отплачивая добром за зло, я хотел заржать так, как это делают кони, когда они хотят высказать комплимент прекрасному полу. Но вместо этого из уст моих невольно вырвались звуки, подобные слышанному мною в саду пению отца: «И-а, и-а, и-а!»

— Поняла ли ты, что говорит этот осел? — спросила старая кобыла свою соседку, которая лежала, растянувшись на полу.

— Я прекрасно поняла, — ответила та, — это объяснение в любви, обращенное специально ко мне. Как тебе известно, я до сих пор девица, и этот коноша выразил мне свои чувства.

— Но это неслыханная наглость! — закричала старая возмущенным голосом. — Хотя ты и старая дева, однако даже в твоём возрасте не годится выслушивать любовные излияния осла, особенно в присутствии моей невинной дочурки. Возьмемся вдвоем за этого молокососа и покажем ему, как в конском обществе дамы дорожат своей репутацией.

— Сестрица, — ответила другая, — мне все же кажется, что это не такой осел, какого ты имеешь в виду, и потому твоё рассуждение на тему о добродетели неуместно. Впрочем, нашему полу не свойственна такая воинственность.

— Понимаю, — ответила с живостью старая кобы-

ла, — ты, бесстыдница, готова принимать ухаживания первого встречного осла. Помни же, что ты стоишь на скользком пути, я отнюдь не разделяю твоих взглядов и заявляю об этом во всеуслышание. Подойди ко мне, дочь моя, — продолжала она возмущенно, — и запомни на всю жизнь, что женская добродетель должна быть безупречна.

Сказав это, старая кобыла отошла от яслей, полная негодования, и удалилась со своей дочкой в самый темный угол конюшни.

Что же касается меня, то я был счастлив, что, даже привязанный к стойлу, считаюсь все же опасным соблазнителем. Всю ночь я повторял песню моего отца, которая в сущности была серенадой любви; время от времени я бросал пламенные взгляды в сторону оставшейся кобылы. Она долго молча принимала мои излияния, наконец шепнула:

— Не говори о любви так громко, твоя страсть мне и без того понятна, а ты подвергаешь меня неприятностям, так как старуха ревнива и несомненно подслушивает.

Эти слова на меня действовали необыкновенно; я перестал петь и начал вздыхать; потом самым нежным голосом прошептал:

— Я чувствую, что наши сердца созданы друг для друга... Дорогая моя, в своей скитальческой жизни я впервые встречаю существо, окрыляющее мою душу, вселяющее в меня бодрость. Прими мою клятву в вечной любви.

— Не люблю клятв, — ответила моя любимая, — так как клятву легко произнести, но сдержать ее трудно. Для меня существует только одна любовь: это любовь искренняя и свободная, не нуждающаяся ни в каких клятвах.

Эти слова привели меня в восторг, дрожащим голосом я умолял, чтобы она не отвергала моего чувства, и твердо решил похитить ее, увести с собой или покончить счеты с жизнью. Но она все время повторяла:

— Умоляю тебя, говори тише!

Это была самая очаровательная ночь в моей жизни, и она не только наполнила мою душу счастьем, но и окончательно сблизила меня с лошадьми.

Но увы! Таков уж мой удел: всюду встречать разочарования. Лишь только первые лучи солнца проникли в конюшню, я убедился, что предметом моих пылких чувств была старая кляча — кожа да кости. Поэтому, когда она обратила ко мне слезящиеся глаза, я опустил голову, стыдясь самого себя.

Вскоре появились мои владельцы, или, вернее, похитители, и вывели меня наружу.

Сначала один из них вскарабкался мне на спину, потом другой сделал то же самое, и я почувствовал, как у меня затрещали кости. Ездил на мне молодой панич — прелестнейшее дитя (все было бы хорошо, если б не его собака), носил я на спине грубого мужика, столь же резкого, как мой отец, старый осел, но сэйчас сели на меня двое. Никто не может представить себе, что это за тяжесть. Оба были очень длинные и ногами почти касались земли, причем все время они вертелись, ерзали на моей спине, что было очень неприятно. Одного из них, рыжего, звали Абрам, другого, черного, — Мося.

— Впервые в жизни вижу такого замечательного осла, — сказал Абрам, отличавшийся ученостью, — но скажу тебе, Мося, в заповеди говорится: «Не пожелай осла ближнего твоего».

— А разве мы его желали? — отвечал Мося. — Он сам пошел к нам в руки.

— Но из заповеди следует, что нельзя владеть чужим ослом.

— Ну и что же? Мы его продадим, и кто-нибудь другой будет владеть им.

Молча они проехали несколько сот шагов. Мося снова заговорил:

— Скажи, Абрам, почему в заповеди так ясно говорится про осла?

— Это длинная история, — отвечал Абрам. — Осел был с избранным народом в обетованной земле. Знаешь ли ты, Мося, кто такой был Самсон? Очень сильный еврей, который однажды, разозлившись, схватил ослиную челюсть и убил ею десять тысяч филистимлян.

— Ну и что же? Зачем сердиться, зачем убивать? Нет, ты скажи мне, Абрам, почему заповедь не позволяет еврею желать осла?

— Какой ты дурак! — отвечал Абрам. — Не понимаешь пустяка... Потому что, если бы был на свете еще другой такой сильный еврей и у него была бы под рукой ослиная челюсть, он бы убил всех недругов и остальным евреям не с кем было бы вести дела.

Мои хозяева, как я понял, пришли к выводу, что поскольку ни один из них не в состоянии убить ослиной челюстью десяти тысяч человек, то заповедь к ним не относится.

Потом Абрам рассказывал еще, как одна знаменитая ослица в обетованной земле говорила человеческим голосом с евреем Валаамом, которого несла на спине. Из этих и еще других рассказов я почерпнул кое-что из истории. Теперь я уже не так неохотно нес свое двойное бремя. Мы направились к прусской границе, по другую сторону которой, как я мог заключить из разговора всадников, меня должны были продать. Мы отъехали около мили, когда нагнали какого-то молодого человека. Абрам и Мося остановили меня, чтобы поговорить с попутчиком. Пеший путешественник со всей откровенностью рассказал, что он родом из Вальброма и бежит от призыва, так как не испытывает должного мужества при виде огнестрельного оружия. Ездоки нашли его действия вполне резонными и предложили молодому человеку сесть рядом с ними на мою спину. Теперь у меня было сильное желание заговорить человеческим голосом, как та ослица из библии, и с этой целью я открыл рот. Но только тяжкий вздох вырвался из моей груди, а слова застряли в горле. Я сразу решил остановиться и не двигаться с места. Широко расставив ноги и опустив голову, стал я размышлять о бренности всего земного и превратностях судьбы. С тех пор как я доказал, что умею как следует владеть копытами задних ног, похитители поступали со мной очень осторожно; ни один из них не донимал меня ни палкой, ни каблуком, опасаясь, чтобы я не лягнул. И теперь все трое сидели на мне терпеливо, покрикивая: «Но, пошел, пошел!» Я стоял спокойно, помахивая хвостом, или переступал с ноги на ногу. Это продолжалось около часа и продолжалось бы еще дольше, если бы мне не пришлось в голову, что чем больше я буду медлить, тем дольше я буду вынужден

нести на спине свое бремя. Поэтому я двинулся к местечку на прусской границе. Что же мне еще оставалось делать?

Около полудня я заметил с пригорка постоянный двор у дороги. Перед постоянным двором суежилась толпа людей, видимо чем-то обеспокоенных. Мне стало интересно, что бы это значило, и я прибавил шаг. Только мы прибыли на место сборища, глазам представилась странная картина. Лошадь, запряженная в тяжело нагруженный воз, упала на землю и была при последнем издыхании. На этом возу ехало около пятнадцати евреев, все были в отчаянии, что не успеют во-время в местечко на ярмарку.

Мне предстояла тяжелая работа: тащить воз, оставшийся после умершей на моих глазах лошади. Он был нагружен большой бочкой селедок, ящиками со стеклом, огромными тюками, шерстью, кипами кожи и множеством мануфактуры. Но это было еще не все. На воз полезли сначала матери с грудными младенцами, завернутыми в пеленки и тряпки; затем стали цепляться и мужчины.

Возница начал больно стегать меня по бскам.

Я сдвинулся с места, хотя ясно чувствовал, как что-то оборвалось у меня внутри. Скоро пришлось подыматься в гору, что уже было выше моих сил. Теперь не помогали крики: «Но! но! пошел!» Я только тяжело дышал, пот катился градом, а в ответ на удар кнутом у меня появилось желание броситься на землю. Это было замечено некоторыми из моих хозяев, так как они сразу соскочили с воза, подперли его плечами, подтолкнули — и воз въехал на гору. Сверху была видна деревня в долине, дорогу пересекала река, извивавшаяся среди зеленых полей.

«Воды, воды, — думал я, — все блага земные за каплю воды...»

Я во весь дух пустился к реке, и воз уже по инерции неся с горы вслед за мной. Опасаясь, что все это нагромождение рухляди и людей похалится на меня и придавит своей тяжестью, я бежал все скорее. Чем ближе к реке, тем большую жажду я испытывал.

Напрасно возница дергал вожжи, стараясь сдержать мою прыть, моя жажда была сильнее всех его усилий, я готов был дать себя убить, лишь бы почувствовать во рту живительную влагу.

Наконец я добежал до реки и, не задумываясь над последствиями, бросился в воду. Но спуск был крутой, воз упал с высокого берега, и половина пассажиров вместе с своим барахлом очутилась в воде. С людьми ничего не случилось, потому что река в этом месте была неглубока; кое-кому пришлось, однако, наглотаться воды. Но из бочки вывалились все селедки и стали плавать, словно живые. Началась суматоха, шум. Сбежались пастухи с лугов и крестьяне, идущие на ярмарку. Каждый лез в воду, ловил сельди и тут же ел их или набивал ими карманы.

Наблюдая за этой сценой, я все пил и пил воду. Огорченные евреи тараторили с еще большей горячностью, стараясь достать из воды коробки, тюки и ящики. Больше всего голосила женщина, по имени Рива, все имущество которой составляли селедки; она горько оплакивала свое разорение. Хотя мне было жаль бедную женщину, но я был рад, что утолил жажду.

Теперь нужно было вытаскивать воз из воды. Общими силами — я и люди — выбрались на берег! Что касается меня, то я прекрасно освежился.

Между тем Рива приходила все в большее и большее отчаяние, стала рвать на себе волосы, причитала, что помрет с четырьмя детьми с голоду. Как я узнал из жалоб этой женщины, она была вдовой и все свое состояние потратила на покупку бочки селедок, причем ей пришлось даже залезть для этого в долги. При виде такого несчастья Абрам и Мося повели себя с истинным благородством; это были простые ярмарочные воры, они присвоили меня и вели продавать, но они первые начали успокаивать Риву и подали пример остальным, пожертвовав деньги в пользу несчастной вдовы. Вскоре было собрано достаточно денег, чтобы оплатить стоимость селедок. В глубине души я подумал, что даже воры могут быть способны к благородным порывам.

После всех приключений мы добрались до местечка лишь к самому концу ярмарки. Абрам и Мося распрягли меня и повели на постоянный двор, где, запертый в отдельном сарайчике, я мог отдохнуть от трудов. Я заметил, что мои хозяева старались спрятать меня от взоров публики, так как я был чужой, незаконно присвоенной

собственностью. Поужинав охапкой соломы, я принялся осматривать мое новое жилище; оно примыкало к комнате, где в это время пировали какие-то ярмарочные кутилы. Они были уже навеселе, говорили громко, и мне через стену было слышно каждое слово.

Пирующих собралось там трое, и они, часто прикладываясь к бутылке, доискивались причины зла, терзающего человеческий род. Один из них говорил жалобным голосом, точно плакал, и твердил, что все на свете происходит по воле всевышнего, а зло останется злом до тех пор, пока господь будет испытывать людей. Второй совершенно не слушал первого, он перебивал его, шумел, возмущался, стучал кулаком по столу, рассказывая, как его эксплуатируют евреи, и утверждал, что они являются причиной всех несчастий в мире. Третий рассуждал, не слушая ни того, ни другого. Он исчислял, сколько пшеницы производит Австралия и сколько Америка, доказывал неправильность хлебной пошлины на прусской границе и, наконец, начал возмущаться потомственной знатью.

Шум был невероятный, так как все трое говорили одновременно. К разговаривающим подошел четвертый, минуту послушал спорящих и сказал:

— Нечего ломать себе голову. Выпьем лучше по этому поводу!

Шум тут же прекратился, и все сошлись на том, что четвертый прав. Тот, что сваливал все беды на евреев, подозревал еврея и велел ему подать бутылку вина.

Они стали пить, обнимая и целуя друг друга. В это время отворилась дверь моей каморки, вошли Абрам, Мося и еще третий человек, толстый и румяный. Евреи начали наперебой восхвалять мои достоинства, потому что третий—немец—хотел меня купить. Он ничего не говорил, только посмотрел мне в зубы, потрогал хвост, ударил ногой под коленками, после чего пренебрежительно сказал:

— Осел, польский осел!.. Доплатите мне тридцать талеров наличными и возьмите себе мою лошадь, а я возьму вашего осла.

— Хоть он и осел, — ответил Абрам, — но он лучше иной лошади ходит в упряжке и под седлом.

— Каждое животное должно быть тем, чем оно яв-

ляется в действительности: лошадь — лошадью, осел — ослом, — ответил немец. — Вам не подсунуть мне осла вместо лошади.

— Ну, а если осел может быть одновременно и лошадью и ослом, так это ведь для вас еще лучше, — сказал Мося.

— В Польше только одни свиньи чего-нибудь стоят, — сказал немец, — но и тех надо германизировать, чтобы их можно было есть.

Они еще немного поторговались, наконец договорились, и я — в обмен на коня — перешел в собственность немца. Человек, приобретший меня, торговал скотом; ездил по ярмаркам, скупал у крестьян и помещиков рогатый скот, лошадей и свиней. Он зарабатывал, главным образом, на разнице денежного курса. Новый хозяин велел поскорее вывести меня из сарая и загнать к коровам и волам, купленным на ярмарке.

Без уздечки, совершенно свободный, я очутился среди рогатого скота. Всего нас было больше десятка. Я заметил, что некоторые коровы очень печальны, поэтому я приблизился к одной, взволнованной больше других, и спросил о причине ее грусти. Корова удивленно посмотрела на меня, а потом объяснила, что сердце у нее сжимается при воспоминании о родном стаде и о зеленых пастбищах, где она росла и воспитывалась.

— Я иду к чужим, — говорила она, — мне придется кормить иностранцев, принять их обычаи, поэтому мне и грустно.

Вола, присутствовавшие при этом разговоре, были очень мрачны.

Под вечер наш хозяин и его помощник, молодой парень, оба с кнутами в руках, погнали нас к границе; им очень усердно помогала какая-то бурая собака; она, как пастух, загоняла скот и заставляла стадо держаться вместе и не сбиваться с дороги.

Увидав, что эта собака вертится около меня, я тут же вступил с ней в разговор, желая разузнать что-нибудь об условиях жизни, в которые я попал.

— Вы из-за границы? — спросил я ее между прочим.

— И да, и нет, — отвечала собака. — Собственно говоря, я родом из Польши, потому что мои родители мно-

го лет тому назад переселились вместе с хозяевами в Силезию, а родом были они из Бендзина. Итак, я родилась в Силезии в польском доме. Но однажды моему хозяину, хозяйке и их детям приказано было убраться из Пруссии, и я тоже — вместе с изгнанниками — перешла границу. Вскоре я заметила, что моим хозяевам самим нечего есть, и подумала: ведь выгоняют только людей, а животные не только не подлежат выселению, но, наоборот, являются желанным элементом. Я и пристала к этому немцу, он меня кормит, а я ему помогаю держать в порядке польский скот. А откуда же ваша ослиная милость родом? — спросила собака.

Тогда я со всеми подробностями рассказал историю своей жизни.

— Если ты идешь первый раз к немцам, — сказала собака, — запомни, что там все иначе, чем у нас. Они народ предприимчивый, заботятся о животных; но когда дело касается работы, то не дадут тебе никакой поправки. Даром тебя там держать не станут, нет — ты должен честно заработать кусок хлеба для себя и для того, у кого живешь.

— Что же они сделают со мной? — спросил я.

— Ого! что захотят, то и сделают. Там у них собаки поворачивают вертел с жарким, возят в город на тележках молоко, сыр и масло; если понадобится, то и детей качают или даже показывают всякие фокусы. Этому немцу как взбретет в голову, так он нарядит собаку в кафтан и шляпу, наденет ей очки и заставит ходить по канату или играть на шарманке. Им это нипочем.

— Не шутите ли вы, сударь?

— Сам убедишься, когда побудешь среди них.

Я тогда сказал собаке то, о чем говорил наш нынешний хозяин Абраму и Мосе, что каждое животное должно быть тем, чем оно является на самом деле.

Собака искренно рассмеялась и сказала:

— О, наивный осел! Ты должен знать, что немецкая теория всегда расходится с немецкой практикой. То, чему они учат, всегда следует понимать в обратном смысле. Скажу тебе одно: это эгоисты!

Я держался поближе к этому псу, так как щельмец,

видно, был не дурак, бывалый, прошедший сквозь огонь и воду. К тому же земляк на чужбине всегда может пригодиться.

Подойдя к границе, мы остановились. Коровы и волю заревели благим матом, так тяжело им было идти на чужбину, так грустно при мысли, что они, быть может, никогда уже не увидят родины. Первый раз в жизни моим сердцем овладело отчаяние, и поневоле я начал горько сетовать, не зная, что со мною творится. Только собака не издала ни звука; но я видел, как она лапой смахнула слезу, потом завертелась, запрыгала, залаяла:

— Марш, марш, животные!

Она подошла ко мне и сказала:

— Что ты так горько плачешь? Половина этих коров и волов пойдут на бойню: они, должно быть, предчувствуют смерть, но ты, осел, будешь жить, а посему помни, что с немцами надо вести тонкую политику. Не впадай в уныние, так как этим ты никого не разжалобишь, а только покажешь свою слабость.

Я послушался и замкнулся в своем горе, а когда увидел, что мой хозяин подошел ко мне, даже подпрыгнул, будто чему-то обрадовался. Немец похлопал меня по животу, сказав, что я «айн тютхигер керл»¹ и благодаря «дойче культуре»² стану еще веселее.

За границей нас на первой же станции посадили в вагон, и впервые я, точно пан, ехал в одном поезде с людьми.

Потом я переходил от одного владельца к другому, то ездил по железной дороге, то опять шел пешком, пока, наконец, не очутился в гористой местности, недалеко от Изерских гор, у подножья самой высокой их вершины Шнеекоппе.

Здесь я остался, так как люди решили, что господь создал меня для того, чтоб я взбирался на высокие горы.

Эти места посещались многими иностранцами, а мой нынешний хозяин был человек, готовый «порядочному гостю» — как он сам называл богатых приезжих — за

¹ Бравый малый (немек.).

² Немецкая культура (немек.).

деньги продать все, что угодно. Он научил меня ходить по горам и так распределил мое время, что я всегда был занят.

Летом я должен был подниматься с восходом солнца и снабжать водой весь постоянный двор. А так как я служил в местности, куда съезжались туристы, то следующей моей обязанностью было развозить по дачам булки, мясо и овощи. В девять часов я вез хозяина на станцию Шнеекоппе, где мы встречали гостей, которые затем на моей спине поднимались на вершину горы и любовались прелестными видами, открывающимися оттуда. Поздно вечером я возвращался домой, и меня сейчас же посылали на луг или в поле, откуда я возил домой сено и снопы ржи, и эта работа длилась иногда до полуночи. Ох! Очень тяжело животному работать на немца! Я отдыхал и ел тогда, когда наступал случайный перерыв в моей работе, например, когда гость хотел отдохнуть; но мой хозяин брал и за это плату, так как считал, что время — деньги.

Я тяжело работал всегда, и зимой и летом, был занят до поздней ночи, и эта система регламентации всей жизни приводила меня в отчаяние. Лучше уж служить крестьянину, помещику или еврею!..

Кстати, я должен поведать потомству еще одно важное событие в моей жизни.

Помню, мы стояли на станции под горой. Погода была прекрасная, туристы со всех сторон направлялись к вершине Шнеекоппе, последней высокой славянской горы на Западе. Шли немецкие студенты, в венках из зеленых листьев, и весело пели «Вахт ам Рейн»¹. За ними следовали члены общества «Пангермания», выкрикивая «Дранг нах остен»². Мой хозяин тщетно расхваливал меня, говоря, что я прекрасный польский осел, что я могу носить людей и поклажу. Эти люди иронически улыбались и проходили мимо.

Вдруг под горой послышался шум, раздались возгласы: «Польнишер граф, польнишер граф»³.

¹ Немецкий гимн.

² «Натиск на Восток» — милитаристская немецкая песня.

³ Польский граф (немецк.).

У меня забилося сердце, когда мой хозяин вышел вперед и с торжественным видом воскликнул:

— Вот польский осел, садитесь, господин граф, он бегаёт, как олень, — да что я говорю — как паровоз! Очень прошу вас, господин граф, садитесь: я ручаюсь, что ваш нежный организм не испытает никаких неудобств!

Я взглянул на приезжего: он был молод, красив, но печален. Посмотрев на меня, он сказал:

— Прекрасно! Я встретил еще один полонизм в этих краях. В самом деле, я должен сесть на этого осла, потому что в сочетании с ним буду символизировать современное рыцарство.

И граф тут же сел на меня, а мой хозяин крикнул:

— Ну, полячок, беги теперь резвее, ты несешь на себе века традиций... Помни, ослик, что в Германии судьба очень к тебе благосклонна!

Известно, что Шнеекопе — высокая гора, но мой всадник не представлял для меня большой тяжести, я побежал быстро, а мой хозяин немец все время меня подгонял.

— Мчись, сокол, — говорил он, — взвейся, орел, под облака! Ты везешь историю веков, этот граф стоит больше пяти английских лордов.

Граф, казалось, не слышал этих слов. Он нетерпеливо спрашивал:

— Далеко ли еще до вершины? Торопись, о, торопись!

— Мы взлетим туда, как ласточки! — отвечал немец и, видя, что меня начинают покидать силы, стал подгонять меня железным острием своей палки. Это была ужасная пытка; но, кроме меня и моего хозяина, никто не знал, что побуждало меня к бегу.

Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, иней покрыл мою шерсть и одежду графа; исчезла зеленая растительность, показался серый мох, множество камней, под которыми белел снег. Я чувствовал по движениям рук и ног моего всадника, что он торопится подняться на вершину. Я очень старался, так как чувствовал странную симпатию к этому человеку, но силы покидали меня.

Тогда немец снова колот меня острым железом, принуждая к бегу.

Наконец мы достигли вершины. Под нами остались тучи и пропасти, скрытые в туманах; было холодно. Моя усталость дошла до крайнего предела, и я упал. Граф легко соскочил; лицо у него было грустное и задумчивое; он обратился к немцу с вопросом, с какого места открывается самый красивый вид.

— С Пяти озер, на Чехию!.. — был ответ.

Тогда мой всадник вынул из кармана золотую монету и, бросив ее немцу, пошел в указанном направлении. Я тяжело дышал, проступавшие на мне капли пота тотчас замерзали в воздухе. Граф стоял на краю пропасти и долго смотрел вдаль. Потом он перекрестился и прыгнул...

На этом я кончаю свою автобиографию. С тех пор я чувствую себя совсем больным и, наверное, скоро умру, так как немец продолжает применять ко мне свою систему регламентации жизни.

ФИЛОСОФ И ПРАЧКА

I

Ян Шеленг родился в окрестностях Жешова. Он происходил из захиревшего шляхетского рода, у которого не осталось ничего, кроме аристократических замашек и некоторых, постепенно угасающих, традиций. Многих усилий стоило разным людям, чтобы мальчик одолел курс гимназии. Зато и родители его, и покровители утешались тем, что Ясь превосходно учился и переходил — одним из первых — из класса в класс. Наконец он получил свидетельство об окончании средней школы, или аттестат зрелости, о которой всякая гимназия считает себя обязанной выносить суждение. Что касается Шеленга, то он, можно сказать, уже с первого класса отличался зрелостью, а это приблизительно означает, что он подражал взрослым и по этой причине им очень нравился. Ясь был коренастый мальчик с темной шевелюрой, подстриженной ежиком, и чрезвычайно серьезным выражением ли-

ца. Из детской наивности он вырос еще в начальной школе, создал себе некую систему и потом уже разрабатывал ее в течение всей жизни. В эту систему тотчас укладывалось все, чем только ни овладевал его ум.

Всегда опрятно одетый, умытый и причесанный, он отправлялся в школу, неся свои безукоризненно чистые тетрадки и обернутые в белую бумагу книжки без единого пятнышка. С самого младшего класса Шеленг был серьезен, как какой-нибудь председатель трибунала. Он никогда не шалил с товарищами, смеялся и даже улыбался крайне редко, а в табели у него всегда было: поведение — *похвальное*, прилежание — *образцовое*, внимание — *отличное*. Словом, чистокровный «первый ученик».

Такой юноша обращает на себя всеобщее внимание, и, думая о нем, люди говорят: «Что за личность из него выйдет! Какое счастье для рода человеческого, что явился на свет такой «первый среди первых».

То же самое думал о нем и директор гимназии святого Яцека в Кракове, так же как некоторые преподаватели, пекущиеся о благе человечества. Ну, а что думала близкая и дальняя родня Шеленга, это даже трудно передать словами. Достаточно сказать, что когда Ясь Шеленг, получив аттестат, приехал в родную деревушку, местный приходский ксендз дал по этому случаю торжественный обед и пригласил его вместе с отцом. За обедом юный обладатель аттестата зрелости держался так же добропорядочно, как добропорядочно вел он себя в гимназии; взоры зрителей с большим удовольствием скользили по гладкой поверхности всего тела Шеленга, и, хотя он зачесывал волосы кверху, они лежали гладко, как густые кустики на клумбах, тщательно подстриженные садовником. И вот, во время этого торжественного обеда, когда уже выпили за здоровье отсутствующего епископа, равно как и присутствующих каноника, ктитора и старосты, а также других весьма заслуженных лиц, хозяин поднялся с бокалом в руке и провозгласил тост *in gratiam* «истинной красоты и гордости молодежи всего Жешовского уезда». Юноша порадовался этому, но, будучи поистине серьезным человеком, даже не покраснел и только поблагодарил за честь со всем достоинством образцового ученика.

Подобного рода восхваления он слышал чрезвычайно часто, уже привык к ним и принимал эту честь, как должное. До известной степени Шеленг был даже доволен тем, что происходил из бедной семьи, так как это прибавляло к великолепному ореолу его славы еще одну лавровую ветку.

Впоследствии сей «образец» поступил в высшее учебное заведение, куда за ним последовала его известность и авторитет. Лекции он посещал с таким же неизменным усердием, с каким неизменно течет вода в ручье или день сменяет ночь. Он сдавал колоквиумы и экзамены, писал доклады и неизменно получал все отличья, награды и стипендии: его освобождали от платы за учение, как и от других студенческих взносов — все это во имя его безупречности, предвещающей ему великое будущее на благо родины.

Получая степень за степенью, молодой человек шел в гору: сыпал доклады, словно из рукава, и, как герой, выдерживал государственные и негосударственные экзамены. И вот, наконец, однажды, словно мотылек, высвободившийся из пеленок куколки, появился во всем блеске доктор философии. Право, смело можно сказать, что далеко не всякий доктор философии был, как Шеленг, с головы до пят порядочным человеком. Подстриженный, тщательно побритый, всегда с удивительно чистыми ногтями, без малейшего пятнышка на обуви и одежде, он мог служить примером для многих нерях-ученых.

Получив императорско-королевское дозволение на доцентуру в университете, наш философ поселился в первом этаже на Крупничей улице и украсил двери своей квартиры табличкой с надписью: «Ян Хрызостом Шеленг, доцент кафедры философии в Ягеллонском университете». Кроме этой таблички на дверях, висел еще и ящик, но уже с другой надписью: «Письма и газеты». За дверями, блистающими этими знаками достоинства и порядка, находилась квартира пана доцента, состоящая из темной прихожей и светлой просторной комнаты. Светлая комната отличалась такой же добропорядочностью, как и вся особа ее обитателя; на окнах висели белые занавески, а на подоконниках стояли многочисленные горшки с цветами. Все тут было разложено и рас-

ставлено необыкновенно симметрично, о чем красноречиво свидетельствовали и две плевательницы по обе стороны дверей, и визитные карточки и альбомы и лампа на столе, и белоснежная думка, покоящаяся на двух пышно разузоренных подушках. Возле кровати всегда стояла пара элегантных туфель, вышитых разноцветным бисером, а на коврик, прибитом над кроватью, висела тоже туфелька для часов. Нетрудно себе представить, что в таком благоустроенном жилище не находилось местечка даже для блохи.

Неудивительно, что при подобной страсти к порядку и чистоте доктор Ян Шеленг очень часто имел дело с прачкой и неоднократно проводил с ней длительные собеседования, исполненные огромной важности. Голова его могла быть набита Платоном и Аристотелем, Кантом или Гегелем, но какое же отношение к жизни имеют эти покойные философы и их учение? Все это Шеленг изучал, ибо приобрел склонность к науке еще в начальной школе. Но если ему уже не предстояло ни одного экзамена, чего ради ему было читать или корпеть над какими-то исследованиями? А в таком случае не стоило даже касаться книг, столь искусно расставленных в шкафу. Поэтому в минуты одиночества он с жаром предавался наведению порядка в своей квартире. Прежде всего за свою неосторожность немедленно платился жизнью каждый представитель царства насекомых, осмеливавшийся вторгнуться в эту обитель порядка.

Шеленг был влюблен в себя — он чистил зубы, ковырял ногти, вырывал волоски и выдавливал прыщики, выводил мозоли, подкручивал усы и укладывал волосы хохлом. При этом он очень заботился о своем здоровье, не любил сквозняка, прислушивался к своему пульсу, рассматривал язык, следил за состоянием желудка, по утрам принимал душ, а перед сном занимался шведской гимнастикой.

Уж из всего этого видно, что подобного рода комфорт несовместим с отсутствием денег. Но как же выходит из положения такого рода доцент?

Еще никто на свете не слышал о каком-либо императорско-королевском австрийском мученике науки. И если где-нибудь на свете существует доцент, например сан-

скрыта, похожий на турецкого святого, которому осталось жить две недели, или доцент философии, испытывающий этику на себе самом, переносящий голод, холод и всяческую нужду в разных ее видах, то в австро-венгерском или венгерско-австрийском государстве такой доцент прежде всего добивается протекции. Разными путями Шеленг нашел себе покровителей — то были: князь Дьяблицкий, граф Терневский, некий пан Апостольский и кое-кто еще из власть имущих... А протекция этих благодетелей обеспечивала ему существование и в настоящем, и будущем *in spe*¹ вакантной кафедры в университете. Пока же он преподавал древние языки юным графам Помятальским и всемирную литературу юной княжне Умыльской. Эти почетные должности приносили ему около тысячи гульденов в год, не считая званных обедов и чаев. Таким образом бесплатная доцентура давала Шеленгу больше, чем ему давало бы место заместителя в гимназии — должность, на которой нужно очень много работать, причем и школьный надзиратель, и даже швейцар не ставили бы Шеленга ни в грош².

Учтем также и то обстоятельство, что на Шеленга обратил внимание декан философского факультета, приглашал его к себе на вечеринки и удостаивал доцента дружеской болтовни. У декана были кое-какие деньги, но было и пять дочерей на выданы. В Ягеллонском университете в ту пору подвизалось четверо неженатых доцентов, и все они бывали в доме декана. Когда появился пятый доцент — Шеленг и впервые был приглашен на вечер к декану, одна только дочь, Цецилька, старшая в семье, оставалась без компаньона, — и ей-то в ту пору и требовался доцент. В старом Кракове имеют большое значение связи с аристократией, но отнюдь не мешают добрые отношения и с деканом. Тут мы должны прибавить, что все круги общества, в которых вращался доктор философии Шеленг, отличались похвальным благочестием, и если тут вообще когда-нибудь говорили о философии, то всегда и непременно с эпитетом «христианская». Соответственно этому какой-нибудь демократ мог

¹ В надежде, в предвидении (*лат.*).

² Szélag (шелён) — мелкая монета (*польск.*).

быть лишь постольку терпим в этом обществе, поскольку при жизни он не позволил себе быть закоснелым язычником; это равно относилось как к древним философам, так и к новейшим.

Шеленг сразу постиг дух своего времени и своего окружения, к тому же он понимал, что философия, собственно говоря, это лишь орудие, с помощью которого можно смастерить такую систему, какая нравится тому или иному. Да и не все ли равно, что брать исходной точкой: атом, *pus*¹, божественную благодать, сознание или неведение — все пути ведут в Рим.

Шеленг был хороший философ, он умел так манипулировать философией, чтобы угодить каждому, поэтому в Кракове о нем говорили: «Это великий человек!» И этого мнения о нем были в аристократических, в чиновничьих и в мещанских домах, равно как и в научных сферах.

Итак, Шеленг теперь, как и прежде, пользовался известностью, дела его шли превосходно, он был в зените славы и ждал только смерти старого ординарного профессора философии, который уже несколько лет умирал на своем посту и никак не мог умереть.

«Но ведь он непременно умрет, — думал Шеленг, — и тогда, о счастье! я стану ординарным профессором с жалованьем в две тысячи гульденов...»

II

Между тем в жизни Шеленга произошла внезапная перемена: умерла прачка, которая обычно по воскресеньям приносила ему на дом безукоризненно белоснежное белье. Доктор философии был очень огорчен — не столько смертью этой бедняги, сколько собственными хлопотами, тем, что ему снова придется добрых полгода отдавать свое исподнее в неверные руки, покуда найдется другая женщина, не менее искусная в столь трудном деле, как стирка его грязного белья. Он обращал самое пристальное внимание на каждую деталь своего гарде-

¹ Разум (*греч.*).

роба, но главное, с чем обычно не ладилось — это стирка манишек, воротничков и манжет на его сорочках.

Прачка являлась вслед за прачкой, каждая держала экзамен, а доктор философии систематически проваливал каждую на стирке манишек. Видимо, в этом крылась некая тайна, непостижимая для умов обыкновенных прачек. Ибо одни перекрахмаливали манишки, воротнички и манжеты, другие недокрахмаливали, третьи прескверно гладили и т. п.

Чувство безнадежности охватило императорско-королевского доцента, отчаявшегося найти для себя в Кракове прачку, как вдруг в одно прекрасное утро послышался робкий стук в дверь.

— Кто там? — спросил Шеленг.

— Прачка! — ответил тихий и робкий голос.

«Вероятно, такая же прачка, как другие», — горестно подумал доктор философии и отпер дверь.

Перед ним стояла девушка лет приблизительно восемнадцати, с печальными синими глазами и русой косой, стройная, статная, словом — красавица. Шеленг любезно пригласил ее в комнату.

— Моя сестра занимается стиркой белья, — говорила девушка, — а я ей помогаю, но сейчас сестра тяжело захворала, и мы остались без заработка... Я случайно узнала, что вы ищете прачку, и пришла просить работу, потому что мы очень нуждаемся.

На этот раз доктор философии оказался как-то снисходительней и менее строго экзаменовал; без долгих проволочек он отдал красавице свое грязное белье, и в следующее же воскресенье с утра она принесла его уже тщательно выстиранным. Шеленг, правда, принялся рассматривать манишки сорочек. И он не был бы собой, если б этого не сделал; однако искоса он поглядывал и на девушку и от удовольствия просто глотал слюнки, так что не мог даже как следует поговорить с этой новой прачкой, хотя говорить с ней он хотел во что бы то ни стало.

Однажды он перебрал штука за штукой все белье, словно рассматривая, как оно выстирано, хотя в голове у него было совсем иное; потом перебрал во второй раз, и ему показалось, что он обнаружил на манишке какое-то

пятнышко; однако, поковыряв ногтем, он убедился, что это просто толстая нитка в ткани, а вовсе не пятнышко; наконец, принявшись в третий раз сряду пересматривать белье, он проговорил тихим и мягким голосом:

— А как вас зовут, паненка?

— Марианна, — ответила девушка.

— Вы образцово стираете, панна Марианна.

Прачка ничего не ответила, словно была неспособна понять, сколь высокую оценку выражали эти слова, эта величайшая похвала, какая когда-либо исходила из уст Шеленга. До сих пор только ему говорили, что он является образцом во всех отношениях.

Марианна стояла молча, потупив глаза, а перед ней доктор философии в вышитых разноцветным бисером туфлях, в халате с малиновой оторочкой и малиновыми кистями, с феской на голове.

Весьма возможно, что Шеленгу вспомнились статуи древних богинь: Афродиты, Дианы, Юноны и других, потому что он придвинулся к Марианне и дотронулся сперва до ее руки, потом — щек и наконец — подбородка.

Девушка стояла неподвижно, только по лицу ее пробежал яркий румянец. Выражение чувств других людей мы можем по-разному толковать, а вероятно, Шеленг тоже как-то объяснил себе значение этого румянца, — во всяком случае, он придвинулся еще ближе к Марианне, правой рукой обнял ее стан и, приблизив голову к губам девушки, льстиво прошептал:

— Вы образцово стираете, прелестная Марыся.

Неподвижная до этой минуты, Марыся, наконец, проявила признаки жизни, а именно: одна ее рука, рука с огрубевшей от работы кожей, сильно ухватила тонкие, оканчивающиеся длинными ногтями пальцы доктора философии, а затем принялась отрывать их от своего тела, между тем как другая рука уперлась в его грудь и энергично отталкивала назойливо льнущего к ее губам Шеленга. Тут он сразу почувствовал, что имеет дело с здоровой и очень сильной девушкой, которая, если б ей вздумалось, могла бы его изломать на мелкие части, как сухую палку.

Получив отпор, пан доцент только облизнулся, затем подошел к письменному столу и отпер ящик, чтобы рас-

платиться по счету за стирку. Однако вручая Марысе причитающиеся ей деньги, он еще раз поддался соблазну запечатлеть поцелуй на ее губах, и он снова обнял ее, но теперь уже обеими руками. Тогда девушка сжала его, словно клещами, и с полным спокойствием отодвинула в сторону. Шеленг во второй раз почувствовал, что Марыся очень сильна, намного сильнее его.

— Когда же вы, панна Марианна, принесете мне теперь белье? — спросил доктор философии.

— В будущее воскресенье, — ответила прачка.

— Только в воскресенье? А нельзя ли раньше?

— Нельзя.

— Но почему?

— Вчера умерла моя старшая сестра, надо ее схоронить, это отнимет много времени.

— О-о-о! сестра умерла! — задумчиво проговорил Шеленг и через минуту прибавил: — А живы ли ваши родители, панна Марианна?

— Родители давно уже умерли; мы с сестрой были сироты: сестра вышла замуж, но и муж ее умер, а она оставалась вдовой.

Пока доктор философии размышлял о столь многочисленных случаях смерти в семье прачки, Марыся собрала грязное белье, увязала его в платок и с узлом в руке ушла.

Тогда Шеленг занялся своим туалетом. Тщательно вымыл руки, потом умылся до пояса сильно пахучим мылом; сменил вторично воду в тазу, подлил какого-то благовонного эликсира и снова помылся с необыкновенным рвением и энергией. Вытершись докрасна, он встал перед зеркалом, выпятил грудь, постучал по ней кулаком и самодовольно улыбнулся, словно желал сказать: «Вот я какой крепкий и здоровый малый!»

Зубы он чистил порошком: ощерив их перед зеркалом, рассматривал, нет ли на них пятнышек, и, найдя, оттирал. Затем он натянул сорочку, разгладил ее на себе, расправил и застегнул; повязал галстук с усердием, в котором чувствовалась любовь к искусству; осторожно влез в брюки, приладил подтяжки, обул ботинки и топнул ногой об пол; слегка надушил белье; надел жилет и пустил по нему тонкую золотую цепочку с коралловым

якорьком; наконец облачился в сюртук удивительно изящного покроя и снова подошел к зеркалу. Нос он украсил золотыми очками. Да и может ли быть доктор философии без очков?

Сколько же времени и труда затрачиваешь, чтобы прикрыть свое тело, особенно, когда ты истинно порядочный человек!

Надвинув на голову серый цилиндр и натянув на руки перчатки, Шеленг взял трость с набалдашником из слоновой кости и отправился, наконец, на прогулку — подышать свежим воздухом на Плянтах. Весь высший свет тянулся сюда со всех концов города в костел отцов иезуитов, где в это время шло служение. Поэтому Шеленг встретил тут и графа Терневского. Они степенно шли рядом, беседуя о том, как извратили христианство пантеистические веяния и как на этой почве усилился дух сухого неверия.

— Бываете ли вы на проповедях отца Мариона? — спросил граф.

— Изредка бываю. То есть, собственно говоря, хочу бывать.

— Как увлекательно красноречив этот священник, и притом, какое благочестье!

Граф даже прищелкнул языком, словно пробуя вкусное блюдо, а Шеленг невольно вспомнил Марысю, — лакомый кусок.

И они вместе вошли в костел. В эту минуту худой, аскетически бледный ксендз поднялся на кафедру; громко, умело модулируя голосом, он говорил о том, что человека в жизни непрестанно преследуют плотские искушения и что борьба с ними является важнейшей задачей христианина. Закончил он следующими словами: «*Estote mundi, sicuti columbae, estote prudentes, sicuti serpentes*» (Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змии).

«А ведь, пожалуй, я именно такой голубе-змий», — подумал наш доктор философии. Потом окинул взглядом костел, словно вопрошал: «Кто же может меня упрекнуть в нечистых помыслах или в том, что я недостаточно мудр?» Глаза его нечаянно встретились с парой чьих-то глаз; голова, которой они принадлежали, тонула в толпе,

но взгляд был устремлен на Шеленга. Пан доцент поправил очки на носу и пристально посмотрел на эту голову. То была прачка Марианна. Он поспешно отвел глаза: значит, в костеле находится свидетель его искушений, но здесь же, в костеле, были и разные княгини, княжны и графини, были тут и дочери декана со своей мамашей. Уж эти умеют высмотреть, что угодно, эти пронюхают все. А вдруг, проследив за его взором, они заметили, что он в костеле переглядывается с прачкой?

Но вот молящиеся стали расходиться; мужчины и женщины с молитвенниками в руках медленно возвращались по домам, чтобы сладость благодати подкрепить вкусным обедом. Шеленга окликнула деканша, впереди которой дефилировало пять ее дочерей; двух уже сопровождали два доцента, еще две соединились в однополую пару, а панна Цецилия шла одна, как раз перед мамой.

Вновь прибывший доцент подошел к оставшейся без пары дочке декана и, соразмерив шаги с поступью всей компании, заговорил с девицей о содержании проповеди отца Мариона.

— Боже мой, но в этой земной жизни так много искушений! — говорила Цецилька (как ее обычно называли в семье, хотя ей было уже под тридцать). — Право, не знаешь, как от всего этого уберечься, чтобы достигнуть христианского совершенства.

— Правила добродетели весьма суровы, — важно изрек Шеленг, — но не всякий дорастает до познания морали, потому-то человечество и нуждается в непрестанном этическом воспитании, ибо лишь немногие живут чистым стремлением к добродетели и долгу.

— Какие это счастливы! — восторженно воскликнула Цецилия, глядя с обожанием прямо в глаза своему спутнику. — Если бы я была мужчиной, я бы целиком посвятила себя философии.

Чувство гордости наполнило душу Шеленга, и он подумал: «А вот я стою на вершине самого высокого познания, по крайней мере имею право на то, чтобы человечество меня считало таким». И никогда никакой Соократ не был счастлив так, как был счастлив наш доктор философии.

Горделиво шествуя по тротуару, он случайно обер-

нулся и вдруг увидел прачку Марианну, которая медленно шла по мостовой с молитвенником и четками в руках. Она тоже подняла на него свои огромные, темно-синие глаза, словно затуманенные слезами. Тут пан доцент вспомнил, какой силой обладала Марианна, и его чувство гордости сразу осеклось; он тотчас же опустил глаза и прервал разговор о добродетели и долге. Весьма возможно, что ему пришел на ум случай, воспетый в мифе о нибелунгах, о девственнице Брунгильде, которая связала ремнями своего новобрачного Гунтера и повесила его на крюк, откуда он мог, глядя на жену, только облизываться.

III

В следующее воскресенье утром прачка Марианна снова пришла к Шеленгу — принесла ему чистое белье. Доктор философии, казалось, ждал ее прихода, даже встал раньше, чем всегда, но так как книжек он не читал, папирос не курил и не нюхал табаку, то занялся до кофе какими-то необыкновенными гимнастическими упражнениями с гириями.

Когда прачка постучалась, он тотчас ей открыл, а затем снова запер двери на ключ. Началось обычное разглядывание выстиранного белья; манишки сорочек лоснились, как будто их покрыли белоснежным лаком, и так же сверкали ни с чем несравнимой белизной воротнички и манжеты.

Это обстоятельство привело Шеленга в радужное настроение, глаза его сияли от удовольствия, а губы сами собой складывались в приятную улыбку: теперь у него явилось огромное желание поцеловать девушку, которая неподвижно стояла у дверей, опустив глаза.

— Вы бы отдохнули, панна Марианна, садитесь, пожалуйста...— говорил доктор философии, развязно подходя к прачке.

Она ничего ему не ответила, только непроизвольно сделала едва заметный жест, видимо от смущения.

— Садитесь, паненка, очень прошу вас,— настаивал Шеленг.

С этими словами он потащил Марысю за руку к стулу, стоявшему посреди комнаты, и снова стал ее упра-

шивать так красноречиво, что девушка села. Он опустился рядом с ней на другой стул и правой рукой обнял ее стан. Поверх платья Марыся накинула только легкую черную шаль, а под этой шалью пальцы философа ощущали сквозь ветхую ткань теплое тело цветущей женщины. Кровь ударила ему в голову, и он придвинулся вместе со стулом еще ближе.

Шеленг вдыхал удивительный аромат, словно весенних фиалок, исходивший от Марыси, и ему чудилось, что его длинные пальцы касаются великолепнейших сокровищ мира.

Все эти искушения были бы чрезмерны даже для обычного профессора этики, что уж и говорить о доценте. Девушка отталкивала его от себя, отстраняла его голову то назад, то вправо, то влево. Шеленг чувствовал, что вступил в неравную борьбу: эта прачка могла его сжать и удушить, как цыпленка. Но в таких случаях мужчины идут на риск...

— Отстаньте, не то позову на помощь! — сказала, задыхаясь, пылающая Марианна, словно предугадывая, что как бы то ни было, а слабейшая сторона может победить.

Между тем доктор философии не обращал внимания ни на угрозы, ни на просьбы, а потому девушка усилила сопротивление и толкнула его так, что он мигом очутился под столом. От удара стол покачнулся, как от землетрясения, и все, что было на нем, упало на пол. Раздался страшный грохот, от которого Шеленг пришел в себя; на полу лежала разбитая лампа, валялись разбросанные карточки и альбомы. Марыся вскочила, и оба молча принялись собирать осколки стекла разбитой лампы.

Шеленг побледнел и как-то скис; настроение его совершенно испортилось, и даже на девушку он теперь смотрел с полнейшим равнодушием.

Зато она сразу повеселела, время от времени поднимала глаза и украдкой дружески поглядывала на пана доцента. Он отпер ящик письменного стола, достал деньги и уплатил по счету за стирку белья. Но Марыся не хотела брать деньги.

— Вы и так потерпели из-за меня такой ущерб!.. — робая, сказала она кротко.

Шеленг с удивлением поглядел на прачку и, заставив себя улыбнуться, сказал:

— Я сам причинил себе убыток, вы тут ни при чем. Пожалуйста, возьмите деньги.

Девушка взяла, что причиталось, и ушла.

Доктор философии принялся готовить себе кофе; а когда вошел слуга, ежедневно являвшийся убирать квартиру, его поразили вид необычного беспорядка: на полу лежал свернутый коврик, стулья стояли не на месте, а на столе не было, как обычно, лампы.

Снова Шеленг занялся своим туалетом, потом снова отправился на прогулку, как и в прошлое воскресенье. Не успел он выйти на Пиянты, как встретил графа Терневского и пана Апостольского, которые шли с молитвенниками к обедне. Сии почтенные патриции никогда не вели беседы о мелочных житейских делах: из уст их всегда готовы были излиться столь возвышенные слова, как религия, добродетель, долг, семья, общество и человечество.

— Вот удачно, что мы вас встретили, пан Шеленг,— сказал граф Терневский,— как специалист по вопросам этики, вы должны нам разъяснить вопрос, который мы сейчас обсуждаем.

— К вашим услугам, граф,— важно сказал Шеленг и как бы насторожил уши, чтобы слушать.

— Так вот, скажите нам, доктор, что именно говорят современные авторы, или, вернее, как они разрешают вопрос об отклонениях от моральной чистоты. Имеет ли моральное право вступать в брак мужчина, который до заключения брака совершал этот грех?

Доцент невольно почесал затылок и, как будто напряженно размышляя, проговорил:

— Мне кажется, Шлейермахер затрагивает эту проблему, хотя я в этом не уверен.

— А вы, пан доктор, вы сами что думаете по этому поводу? Ведь это вопрос первостепенного значения, а я очень ценю ваши суждения,— сказал граф.

— Я полагаю,— трагически ответил Шеленг,— что незаконные связи впоследствии оказывают дурное воздействие на семейную жизнь...

— Вполне разделяю ваше мнение! — горячо воскликнул пан Апостольский.

— Да, но, приобщившись благодати, можно ведь совершенно очиститься: можно, так сказать, принести девичью душу в жертву семье,— возразил граф.

— Разумеется, разумеется! Божественная благодать — это все! — с энтузиазмом вскричал Апостольский.

— Конечно, — протяжно подтвердил Шеленг, — очиститься можно от всего.

Едва доктор философии произнес эти слова, как увидел проходившую мимо Марианну: на ней была та же черная шаль, в которой она пришла к нему утром, только прическу она слегка поправила, а на губах ее играла добрая, умиленная улыбка, когда она по-приятельски взглянула на Шеленга. У него потемнело в глазах, ему казалось, что его могущественные покровители тоже должны были заметить поведение этой девицы.

Теперь он вспомнил со всеми подробностями утреннее происшествие: ему представилось, как он тискал, обнимал и целовал Марысю, а она, защищаясь от его приставаний, отшвырнула его под стол, вследствие чего разбилась лампа и возник ужасный беспорядок. Мучительный стыд охватил доктора философии при мысли, что он, доцент университета, излагавший своим студентам этику, мог совершить из-за прачки нечто вопиюще антиэтическое.

Погруженный в размышления, он направился вместе со своими аристократическими спутниками к костелу; но, едва переступив порог храма, вспомнил и то, что, наверное, Марианна тоже находится здесь, и у него появилось огромное желание бежать из костела. Но подобало ли так поступить порядочному человеку?

Тогда он пошел прямо к главному алтарю и, повернувшись спиной к толпе молящихся, встал возле исповедальни. Взор свой он устремил на образ в главном алтаре; вскоре, однако, его внимание привлек шорох в исповедальне вправо от него; кто-то громко исповедовался в грехах перед духовником.

Он посмотрел и увидел голову Марыси, закутанную черной шалью, которая была на ней утром; она обернулась к решетке исповедальни, но мимоходом кокетливо взглянула и на него.

Он весь содрогнулся. Уж, конечно, она не могла

умолчать на исповеди о своем утреннем происшествии, в котором вела себя гораздо порядочнее, чем он.

Неясный шум звучал в ушах Шеленга: голова Марыся неотступно стояла перед его глазами, пол храма, казалось, жег его подошвы и кружился вместе с ним.

Теперь он тем более не мог уйти, не обратив на себя всеобщего внимания. И он остался.

Началась проповедь, но этой проповеди Шеленг совсем не слышал. А уж особенно, когда Марыся, кончив исповедоваться, встала перед ним и, преклонив колени возле главного алтаря, погрузилась в молитву в ожидании святых даров.

Зазвенел колокольчик, и толпа пала ниц, «ибо се агнец божий, искупающий грехи мира!»

Марыся поднялась и, отходя от алтаря, еще раз взглянула философу прямо в глаза.

Был некто, наблюдавший за доктором философии,— деканова дочка Цецилька.

И снова кончилась обедня, снова все покинули храм божий, а Шеленг снова встретил деканшу с дочками и проводил их до самого дома.

— А может быть, вы нам доставите удовольствие и навестите нас в среду вечером,— сказала деканша,— мы ждем кое-кого из друзей, и в их числе мне будет приятно, уважаемый пан Шеленг, видеть и вас.

— Непременно, непременно! Весьма польщен и почту за великое счастье,— сказал, расшаркиваясь, доктор философии; но, пожимая по очереди протянутые руки всем пяти барышням и целуя ручки деканше, он совсем не заметил, что на противоположном тротуаре стояла, не сводя с него взгляда, Марианна.

Как только дочери декана, во главе с мамашей, простились с Шеленгом и оказались дома, Цецилька первая, еще не сняв шляпу и перчатки и не поставив зонт, уже начала высказываться:

— Должна признаться, что на месте мамы я никогда бы не пригласила этого доцентишку Шеленга в дом, где имеются барышни!

— Что еще такое? — спросила деканша, с удивлением глядя на негодующее лицо дочери.

— Нужно быть слепой, чтобы не видеть, как за этим

человеком таскается какая-то молодая женщина, долго-вязая, как драгун, с которой он находится в связи, иначе зачем бы она за ним ходила?

— Цецилька, Цецилька! Побойся бога, что ты говоришь! — воскликнула деканша с упреком. — Ты всегда в чем-нибудь подозреваешь молодых людей... Шеленг, такой порядочный человек... просто невозможно! Где там!..

— А я вам говорю святую правду! В прошлое воскресенье я ведь ничего не говорила, хотя видела... А сегодня я уже могу смело сказать, я уверена в этом! Что они оба вытворяли в костеле, Иисусе Мария!.. А после обедни она все время шла за ним. Но и это еще не все; представьте себе, господа, что эта бесстыжая девка была именно сегодня у исповеди!..

— Дорогая мама, Цецильке смело можно верить! — воскликнула следующая после панны Цецилии Матыльда, которую дома называли Мэтей. — У нее прекрасное зрение, тем более что Шеленг ее интересуется.

— Можно верить, а можно и не верить, Цецилька тоже не непогрешимый папа, — сказала средняя, самая красивая из сестер, Бронца. — Мне до Шеленга дела нет, но я предпочитаю его защищать, нежели оговаривать.

Такой разговор произошел между дочками декана и их мамашей, которая держала сторону Бронцы, защищая померкшую славу доктора философии. Остальные четыре страшно возмущались — не только Шеленгом, но и вообще молодыми людьми, которые бывают в порядочных домах, добиваются взаимности порядочных девушек, между тем одному только богу известно, какие связи у них на стороне.

IV

В доме декана неизменно справляли дни рождения всех пяти барышень. Теперь приходился в среду день рождения Бронцы, самой хорошенькой из декановых дочек, средней между двумя старшими сестрами и двумя младшими. Существовала некоторая вероятность, что руки ее добивается доцент при кафедре математики.

Шеленг, весьма тщательно одетый, явился на званый вечер с необыкновенной, ему лишь свойственной, точно-

стью. Гостей было множество, и самых блестящих,—преимущественно лица, принадлежащие к университетским кругам.

В половине двенадцатого, когда ректор уже покинул общество и когда разошлись деканы разных факультетов, Шеленг также счел нужным последовать примеру известнейших и порядочнейших людей в стране. Итак, он поспешно шел домой, по дороге думая о том, что сегодня Цецилька, да и остальные дочери декана, как-то мало проявили к нему внимания. Зато среди мужчин он встретил необыкновенную благожелательность. Вероятно, отсюда возникли те крайне пессимистические мысли относительно женского рода, которые теснились теперь в голове Шеленга: в эту минуту он готов был рукоплескать даже Шопенгауэру, проклятому правоверными христианскими философами. Он думал о том, что интеллигенткам всегда недостает критического таланта, необходимого для оценки подлинных достоинств и ума, а также о том, что в чувствах этот род и пол чрезвычайно изменчив и, следовательно, неспособен к постоянству.

Продолжая эти философские размышления, он заметил идущую впереди него женщину. Луна щедро бросала свой свет на землю, и при этом свете доктор философии узнал прачку Марианну; она шла, поминутно оглядываясь назад.

В первую минуту Шеленг остановился, но потом поступил прямо противоположным образом: он быстро зашагал, словно желал догнать девушку. Марианна неслась, как будто убегая от него, так что доктору философии пришлось еще ускорить шаги.

Так наперегонки они вышли на пустынную окраину. Только теперь Шеленгу пришло в голову, что, собственно, порядочному человеку не подобает пускаться в ночные похождения с женщиной, но, видимо, в организме его действовали некие более могущественные законы или, если угодно, произошли некие пертурбации законов, ибо наш философ не внял голосу своего практического рассудка, а продолжал идти за Марысей.

Они уже были за городом, уже дошли до какого-то ручейка, который бежал по камням, издавая странное щекочущие звуки, так что Шеленгу показалось, будто

кто-то гладит его по всему телу, и от удовольствия он глубоко вздохнул. Ведь из того, что являешься порядочным человеком в городе, еще не следует, что нельзя себе кое-что позволить за городом.

Марыся перебежала узенький мостик через ручей; на этом мостике Шеленг остановился: что-то внутри его взывало:

«Доктор философин, побойся ты бога, что ты гонишь-ся за какой-то прачкой по болотам и дебрям, словно дикий зверь среди полей!»

Однако философ поборол и эти сомнения, а потом уже, как ветер, пустился вслед за Марианной.

Она бежала что было сил, скользила по извилистым тропинкам, не раз почти исчезала из виду, а потом вновь появлялась.

«Должен же я ее догнать!» — думал он, тщетно напрягая свои натренированные гимнастикой ноги.

Между тем девушка подбежала к какому-то уединенному, покосившемуся домику, открыла дверь и вошла. Доктор философии остановился в отдалении; видимо, у него не хватало храбрости подойти ближе. Он было уже возымел намерение возвратиться во-свояси, как вдруг скрипнула дверь, и на пороге снова показалась Марыся. Дом этот стоял среди лугов, насыщенных туманом, в траве наперебой надрывались коростели, со всех сторон доносилось звонкое кваканье лягушек. Увидев девушку в дверях, Шеленг набрался храбрости и подошел.

— Добрый вечер, панна Марианна! — сказал он чуть слышно.

— Э-э, какой тут вечер, уже после полуночи, поздняя ночь!

— А вы здесь и живете, прелестная Марыся? Так далеко?

— Да, здесь, здесь! Вот так одна здесь и живу.

— То есть как... одна, в такой глуши?

— Мы тут жили вместе с сестрой, да она умерла, вот я и осталась... Ох, и страшно же, до чего я боюсь жить в этом доме!

И Марыся вздрогнула всем телом, как в лихорадке.

— Зачем же вы тут живете? — спросил Шеленг.

— Приходится: дом-то был сестрин, а сестра его

оставила мне. А воды-то здесь сколько, видали? Есть в чем белье постирать.

Говоря это, девушка как-то странно засмеялась. Светила полная луна, изливая серебристое сияние прямо ей на голову. Это привлекало Шеленга, он придвинулся и взял Марысю за руку. То жар, то холод пронизывал его насквозь, губы его вздрагивали от волнения, так что он едва мог пролепетать:

— Покажите мне свою квартиру, прелестная Марыся.

— Ну что же! Поглядите!.. Милости просим.

Они вошли в дом; комнаты были почти пусты, только в одной стояла кровать с соломенным тюфяком и охапкой сена; две или три лавки, длинный стол и орудия труда прачки дополняли обстановку этого нищенского жилища.

— Вот видите, как у меня тут плохо...— сказала Марианна, снимая пальцами нагар с сальной, тускло горящей свечки. Да вы садитесь,— пригласила она Шеленга и пододвинула грязную лавку.

— А не страшно вам в этой глуши? На свете много недобрых людей.

— Людей? Вы спрашиваете, людей?.. О, людей я ничуть не боюсь, я ведь очень сильная.

«Это верно»,— подумал Шеленг, вспомнив воскресный случай.

Марианна, словно желая похвалиться силой, одной рукой ухватила за ножку кровать и подняла ее к самому потолку. Доктор философии вздохнул, что тоже нетрудно объяснить.

— А у меня тут и оружие при себе,— снова сказала девушка, обольстительно улыбаясь.

С этими словами она вытащила из-под тюфяка, лежавшего на кровати, старый ржавый топор и несколько раз взмахнула им в воздухе, так что доктор философии явственно услышал свист.

За этими упражнениями Марыся показала ему восхитительной.

Глаза ее горели, как факелы, необычайно оживившееся лицо пылало, а густые волосы ниспадали на плечи, словно пряди шелка.

— Я боюсь только духов...— сказала она, с ужасом

бзираясь по сторонам.— Ох, если б вы знали, сколько тут духов, в этом доме... Здесь никто жить не может, сразу и умирает... Только я одна и живу.

— Оставьте, Марыся, никаких духов нет на этом свете, — важно поучал ее доктор философии.

— Вот и ксендз то же самое говорит, только я не верю... есть духи!

И она дико посмотрела в глубь другой, пустой комнаты, а лицо ее исказилось от ужаса.

Мороз пробежал по телу Шеленга: бежать надо было от этой девушки, а не гнаться за ней; так он, вероятно, бы и сделал, потому что уровень любовного пыла у него заметно понизился. Но едва он поднялся с лавки, как она посмотрела на него, словно хотела его остановить, улыбнулась и сказала:

— Не уходите еще!

Шеленг остался, но поведение Марыси снова в нем вызвало желание тискать и обнимать, ибо пыл его возобновился и нарастал с огромной силой. Он обнял ее и прижал к себе — сердце ее часто билось, затем поцеловал — и на него пахло приятным теплом; теперь она не защищалась, была покорна и нежна; всей тяжестью своего тела она навалилась на него, так что он почувствовал минуту ее слабости и минуту своего перевеса. Они оба уселись на кровать и молча наслаждались ласками. Она не отказывала ему ни в одном поцелуе, ни в одном прикосновении; становилась все податливее, а он — все настойчивее.

Уже погасли звезды и скрылась луна; розовая заря разлила по небу свое огненное сияние... Над лугами в вышине зазвенели хоры жаворонков; зачирикали на вербах воробьи, ласточка встрепенулась под крышей, а доктор философии оставался в объятиях Марыси, наслаждаясь ласками, как простой смертный. Уже белый день проник в горницу через окошко, когда Шеленг вскочил и сказал:

— Как же я теперь вернусь в город?

Девушка улыбнулась:

— Если хотите, я вас провожу.

— О нет, нет, этого не нужно делать! — решительно воспротивился Шеленг.

— Я знаю, что вы меня боитесь,— сказала Марыся.— Только, право, нечего бояться. Не знаю, почему люди меня не любят и называют сумасшедшей. Я такая же женщина, как и другие.

— Сумасшедшей называют, сумасшедшей?.. — повторил доктор философии, и ему стало как-то не по себе.

И это он, такой порядочный, солидный человек, провел ночь с сумасшедшей? Опустив голову, злясь на самого себя, он возвращался в город, а в ушах его неумолчно звучало: сумасшедшая, сумасшедшая!

На улицах уже давно началось движение, когда доктор философии подошел к своей квартире; по дороге с ним здоровались какие-то люди, вероятно знакомые.

— Что они обо мне подумают? Еще никогда в жизни я не возвращался домой в этот час,— говорил он себе, — *Horrendum*¹. А очень возможно, что эта девушка сумасшедшая.

В этот день императорско-королевский доцент должен был читать в университете лекцию по этике, поэтому, кое-как приведя себя в порядок и выпив кофе, он поспешил на поприще общественной деятельности.

О чем говорил Шеленг своим ученикам?

Ему следовало бы говорить в этот день о тщете теории перед лицом действительности, но так как он принадлежал к школе, отрицающей значение опыта, то излагал идею о внутренней нравственной свободе.

— Не свободны,— доказывал доктор философии,— только дети и дикари. Подлинно зрелый человек, имеющий моральные устои, подвергает критике свою свободу и поступает так, как сам этого хочет, а на то, чего он не хочет, налагает «вето».

Эту мысль Шеленг развил удивительно красноречиво, рисуя своим ученикам нравственного титана, внутренне свободного, который делает лишь то, что ему предписывают законы морали.

Однако в глубине души пана доцента подымался немой протест. Он не хотел проводить ночь с Марысей в уединенной лачуге за городом; закон морали ему тоже

¹ Ужасно (лат.).

этого не предписывал. А потому, как человек ученый, он вспомнил Овидия: ...

... Alludque cupio
Mens allud suadet: video mellora proboque,
Deteriore sequor¹.

А это приблизительно означает: одно говоришь, а другое делаешь.

V

Теперь Марианна уже часто приходила на квартиру к Шеленгу, приходила не только по воскресеньям, но и в будни, не только утром, но и вечером.

Так прошло что-то около полугода, а в жизни и привычках доктора философии возникла не одна перемена.

Прежде всего некогда изысканный щеголь постепенно превращался в неряху-философа.

Марыся все хуже стирала его сорочки, манишки были плохо накрахмалены и плохо выглажены.

В квартире тоже понемногу исчезал порядок, и мебель нередко была покрыта толстым слоем пыли.

Шеленг не ходил и в костел, не встречался с князьями и графами, перестал отдавать визиты и являться с поздравлениями в дни именин разных достойных внимания лиц.

Ходил он только в университет по тем дням, когда должен был читать лекции, да изредка незаметно ускользал на прогулку в мало посещаемые окрестности.

Но откуда бы он ни возвращался и когда бы ни вернулся, всегда по дороге ему встречалась Марианна.

Поэтому нередко можно было видеть, как он пробирался окольными улочками и с непонятной тревогой поглядывал то вперед, то назад или по сторонам. Победоносное выражение лица, означающее довольство самим собой, теперь сменилось выражением подавленности и какой-то глубокой тоски.

¹ ...И жажду одного,
Ум в другом убеждает: вижу лучшее и одобряю,
Но следую худшему (лат.).

Дома он никого не принимал, но когда раздавались три знакомых удара, следующие один за другим с короткими промежутками, он в ужасе вскакивал и отпирал дверь.

Это являлась Марианна — с бельем или без белья, всегда одинаковая — красивая, свежая и робкая...

Если бы он ей не отпер, она бы стучала до бесконечности, день и ночь караулила бы, как пес, у порога, ожидая, когда он выйдет.

Каждую минуту она хотела знать, где Шеленг находится и что делает.

Марианна стала его неотступной тенью, она утешала его и преследовала. Отравляя ему жизнь, она же и улаживала эту жизнь, ею самой отравленную.

Благодаря этому положению вещей наш доктор философии стал посещать свою библиотеку и в научных занятиях находил утешение, забывая о своей тягостной участи.

Действительно, странно сложились его отношения с этой прачкой. Вспоминая о ней или думая о ее назойливой любви, он вздрагивал и испытывал чуть ли не отвращение к этой девушке. Нередко, когда она стучала в его дверь, он очень неохотно отрывался от книги и в первую минуту принимал Марысю с чувством принуждения и неудовольствия.

Но все это отнюдь не отталкивало прачку; с удивительным спокойствием и необыкновенной добротой переносила она его суровое обращение и выслушивала его горькие упреки без малейших признаков нетерпения.

И, действительно, всегда кончалось тем, что доктор философии подходил к Марысе, брал ее за руку, гладил по лицу, целовал ее губы, обнимал стан и по неизбежной логике вещей лишался нравственной свободы.

У Марианны элемент свободной воли был выражен сильнее, чем у него; по своему желанию она могла prolong или сократить минуты близости, могла, если ей хотелось, отдалить Шеленга или привлечь к себе. Короче говоря, она делала то, что ей предписывали ее чувства и воображение. Марыся никогда не высказывала неприязни к нему и ни в чем его не упрекала.

Между тем в городе по-разному толковали перемену в образе жизни доктора философии.

Покровители его сожалели, что он пренебрегает связями и порывает с обществом, для которого это является большой потерей, ибо лишает многих возможности общаться со столь мудрым человеком.

Княжна Умыйская утверждала, что всякий ученый, *savant*¹, как она выражалась, непременно оказывается чудачком.

Граф Терневский, напротив, доказывал, что незаурядные умы не могут довольствоваться обыденной жизнью и потому любят уединение и отгораживаются стеной идеального мира, которую сами же и создают. Он доказывал, что Шеленг проявляет сильное тяготение к этому и что теперь этот ученый, очевидно, погрузился в глубины субъективной жизни, дабы спокойно отдаться размышлениям о природе своего «я».

— Ибо чем глубже ум,— говорил граф,— тем скорей он жаждет разгадать загадку, которую представляет он сам.

Пан Апостольский в свою очередь утверждал, что только в тишине и покое можно услышать звучанье волн непрестанно проносящейся над нами вечности.

— Доктор Шеленг,— говорил сей муж,— наверное, занят раскрытием великой тайны бесконечности. В такие минуты человек отрешается от всего земного, презирает суетность преходящей жизни и достигает все более высокого совершенства, а по мере этого все глубже проникает в предначертания и цели творческой силы, управляющей миром.

По-иному объясняли поведение Шеленга в доме декана.

Сам декан обычно мало говорил, зато много думал — главным образом о том, как бы выдать замуж целых пять дочерей. Эта забота избороздила чело его глубокими морщинами и посеяла в душе горькие семена скорби.

Деканша угадывала его сокровенные мысли и неред-

¹ Ученый (франц.).

ко, когда оба они у себя в спальне собирались ложиться, первая спрашивала с присущей ей в таких случаях нежностью:

— Дызе, ты что-то печален? Скажи, душенька, что с тобой?

Декан целовал жену в лоб, вздыхал и после этого сразу же засыпал.

А она, как и подобает супруге сановника от науки, никогда второй раз не задавала вопроса — из уважения к авторитету мужа и своему собственному.

Было это вечером, за скромным семейным ужином. Декан нацепил на нос очки и принялся читать газету, в которой должны были в тот день напечатать публичную благодарность правления главной библиотеки, адресованную именно ему за передачу *рго вопо publica*¹ старинного документа XVI века. Благодарность эту декан уже получил лично, однако повторное изъяснение ее в печати доставляло ему некоторое удовольствие.

Между тем супруга декана и дочери завели разговор, который незаметно перешел на Шеленга.

— Во что превратился этот человек! — говорила Мэ-тя. — Я вчера случайно его встретила; он буквально мчался по какому-то переулку, опустив глаза в землю, и, представьте, даже не видел меня, не только что не поклонился.

— Ну, смотрите, господа, такой приятный, обходительный молодой человек! — удивилась мать.

— Мне все кажется, — сказала Бронця, — что он был влюблен в Цецильку, но ведь у нас всегда так: непременно всякого отвадят... В день моего рождения Цецилька из-за каких-то предположений обошлась с Шеленгом не то что холодно, а просто невежливо, вот он и избегает посещать наш дом. Всякий поступил бы точно так же.

— Это же известно, что Цецилька может кого угодно оттолкнуть, — говорила Рузя, которая была на год моложе Бронци. — Точь-в-точь то же было и с паном Иеронимом и с паном Каролем — перестали бывать, и кончено. И с любым так будет.

¹ Для общего блага (лат.).

— Покапризничать можно, но уже после свадьбы,— весело засмеялась младшая из сестер, двадцатичетырехлетняя Целестинка.

Декан вздохнул, хотя в это время читал публичную благодарность, которую правление главной библиотеки выражало в самых чувствительных словах.

— Не понимаю, как можно вот так, на ветер, бросать слова! — обиделась Цецилька. — Ведь Шеленг не делал мне предложения, я и обращалась с ним так, как благовоспитанная барышня должна обращаться с каждым молодым человеком. Не могла же я ему навязываться! Наконец, что же, один он на свете?

Декан вздохнул как-то особенно глубоко, а деканша с видимым беспокойством взглянула на мужа.

— А может быть, и не стоит жалеть,— отозвалась Мэтя.

— Благодарю покорно за мужа, который уже почти рехнулся.

— По правде говоря, все эти философы какие-то ненормальные... Уж я во всяком случае отказываюсь от мужа философа! — заявила Целестинка.

— Ох, не говори так, Целюся! Шеленг тебе когда-то очень нравился, да и он, пока не стал ухаживать за Цецилькой, заглядывался на тебя,— сказала Рузя.

— Ну, и что же, если он мне даже нравился? Пришел и ушел: я, признаюсь, предпочитаю пана Северына.

— А если Северын уедет? — спросила Бронця. — Он, говорят, собирается в Иену.

— Пускай, я его на веревочку не привяжу.

— Весьма вероятно, что он уедет из Кракова: человек он богатый и жадный до науки,— многозначительно проговорила Цецилька.

— Ну, конечно, пан Северын, как и всякий иной, пока живет в Кракове, бывает у нас, но раз уж уедет, больше мы его не увидим...

— Все эти молодые люди таковы; попросту говоря, пока им нужен папаша, они и с нами любезны.

Тут декан снова вздохнул, и вздох его был таким безнадёжным, что сестры прекратили разговор.

Что касается коллег Шеленга, то они по-разному отнеслись к его чудачеству. Среди товарищей по профессии

у него не было друзей. Но у него сохранились близкие отношения с доктором медицины Анджеем Амбарасом, человеком весьма многоопытным и старым холостяком.

Амбарас уже подкопил немалую толику денег и на медицину смотрел, как на средство заработка, но благодаря способностям и ловкости пользовался успехом. Вообще был он довольно услужлив, но услужливость эта объяснялась, прежде всего, тем, что он вел сложную политику и на этой почве устраивал всевозможные трюки. В руке он держал демократическое знамя, так как, будучи человеком честолюбивым, не мог рассчитывать на иное, уже схваченное другими руками.

Чем же мог стать такой Амбарас в лагере аристократов? Быть орудием он не хотел. А вместе с тем он отлично ладил и с ксендзом и с профессорами, журналистами и ремесленниками, да и в высшем обществе тоже занимал друзей и так ловко вел в этих кругах агитацию, что в нужный момент мог провести аристократов за нос. Он никем не гнушался и не имел никаких страстей, а все мечты его сводились к тому, чтобы стать депутатом, поэтому он упорно выставлял свою кандидатуру, но почему-то всегда проваливался.

Как мог, он добивался расположения всех и всем старался угодить. Прежде Шеленг обращался к Амбарасу за советами по поводу своего здоровья, и доктор медицины ни разу не взял гонорара у прославленного коллеги. Именно по его совету Шеленг пил молоко, занимался шведской гимнастикой, взвешивался каждые две-три недели, во-время ложился спать, обтирался холодной водой и т. д.

Шныряя повсюду и везде, Амбарас слышал, что приятель его, доктор философии, как бы рехнулся, и вот однажды, случайно встретясь с ним, он остановил своего пациента и стал настойчиво вовлекать его в разговор. Шеленг хотел от него сбежать, но не сумел увернуться.

— Го-го! Не улизнете, дорогой доктор, я должен вас осмотреть, выстукать и прослушать. Изменились вы ужасно, просто вас не узнать! Хотите или не хотите, а я *rag force*¹ зайду к вам: такая уж у меня собачья обя-

¹ Насильно (франц.).

занность — помогать страждущим, особенно таким, как вы, краса и гордость нации!

Тщетно Шеленг отказывался, Амбарас ничего и слышать не хотел и не отставал от своего пациента. спешившего домой.

— Сейчас узнаем, дорогой доктор, узнаем, что у вас такое. Болезнь тела или болезнь души: для всего нужен врач, и для всего найдутся средства.

Вдруг на повороте улицы доктор философии на мгновение остановился, как будто устал; он вздрогнул, бросил куда-то в сторону беспокойный взгляд, и лицо его странно исказилось. Это не ушло от внимания Амбараса; как врач, он привык зорко наблюдать, поэтому он посмотрел в том же направлении и увидел красивую женщину, с тревогой поглядывавшую на доктора философии.

«Ну, попался! — подумал врач,—баба-то скорее всего и губит философа. Надо спасать этого человека, хотя бы она была ангелом доброты и красоты: я уже вижу, что его вгоняет в могилу».

Они пошли дальше, а за ними медленно последовала Марианна. Шеленг привел доктора к себе на квартиру, а девушка уселась на пороге перед домом.

Пан Анджей внимательно осмотрел комнату своего пациента и обнаружил необычайную запущенность. На столе валялись в пыли брошюры, книги и рукописи, которые раньше были заперты в шкафу и не видели света божьего.

— Ну, возьмемся за дело! — воскликнул врач, затем послушал пульс, выстукал грудь и спину.

— Вы больны, дорогой доктор, серьезно больны. Кроме шуток! Мне странно, что вы сами ко мне не пришли; это доказывает, что вы мне не доверяете!

Шеленг оправдывался, но, узнав о плохом состоянии своего здоровья, пришел в ужас.

— В вашем организме, — говорил Амбарас, — произошли большие перемены с того времени, когда я осматривал вас в последний раз: исчезла полнота жизни, чувствуется изнурение, общее переутомление, упадок жизненных сил. Вы не слишком ли много работаете?

— Я сейчас работаю значительно больше, чем тогда.

— Но это еще не все, — продолжал врач. — Вас, очевидно, терзают моральные страдания, которые вы, естественно, хотели бы сохранить в тайне. Уж я-то это понимаю. Бывают отношения, связи... Дело, конечно, не в том, что я хочу узнать чужой секрет, однако добрый друг всегда что-то значит, а я, дорогой доктор, искренно хотел бы заняться вами и помочь вам.

Говоря это, Амбарас протянул Шеленгу руку, которую тот пожал.

— Одна голова и пара рук не всегда могут справиться сами, — снова заговорил пан Анджей.

Доктор философии невесело призадумался. Он чувствовал, что Амбарас требует от него откровенности, но раскрыть свою душу перед кем бы то ни было он не мог. Как, он должен исповедоваться в том, что в глазах света считалось падением? Он, учитель этики и поныне почитаемый ходячим совершенством.

— Я готов поставить один против ста, что тут прехлопотливая история с женщиной! — продолжал врач, не смущаясь недоверием пациента и глядя на его лицо, ставшее серьезным и непроницаемым.

— Бывают недуги щекотливого свойства, которых избежать невозможно. Нередко мы несем бремя, пока оно нас не придавит, — сказал Шеленг.

— Э-э, что это еще за чертовщина! И так говорит философ? Значит, нужно скорей свалить бремя, когда дело идет о... *mens sana in corpore sano*¹.

Доктор философии натянуто улыбнулся, махнул рукой и промолчал.

На этом заседание закончилось. Амбарас прописал Шеленгу несколько рецептов, порекомендовал правильный образ жизни и ушел. Спускаясь по лестнице, он встретил Марысю; потупив глаза, она шла в квартиру Шеленга.

«Что и говорить, — подумал врач, — экземпляр великолепный! Такая может погубить и целый философский факультет».

¹ О здоровом духе в здоровом теле (лат.).

Была зима, выпал густой снег, ледяной ветер гулял по улицам, издавая стоны и вой, взметал снежную пыль и засыпал ею глаза прохожим.

Утром, около девяти, Шеленг шел в университет, спеша изложить своим слушателям проблему взаимоотношений тела и души. Уже больше недели он не видел Марианну — ни у себя дома, ни случайно на улице, поэтому он стал увереннее в себе и смело шел теперь бодрым шагом. Начиная лекцию, он был очень оживлен, и это хорошо повлияло на студентов. Говорил он о том, что тело наше отражает разные душевные состояния, — не только в чертах лица, нет — и во всей осанке виден психический отпечаток нашего «я», счастливого или подавленного.

— От горя иной раз и умирают, а счастье может продлить жизнь...

Редко случалось Шеленгу провозглашать с кафедры истину, которую бы он ощущал так реально.

— Соответственно душевному настроению мы говорим, ходим, сидим, стоим, делаем различные движения руками, головой, глазами и т. д. Можно, разумеется, ошибаться в расшифровке чьей-нибудь физиономии, тем не менее физиогномика имеет свои основы. Потому-то и Цезарь сказал: «Я хочу иметь вокруг себя здоровых, толстощеких людей, которые хорошо спят по ночам. У Кассия худое лицо, и он слишком много размышляет, а такие люди опасны».

Закончив свою лекцию, он ушел из университета. Возвращаясь домой, он почувствовал, что состояние его здоровья улучшилось, прибавилось силы и бодрости; он даже поднял голову кверху и независимо по сторонам, хотя резкий ветер бросал ему снег прямо в глаза. Душа доктора начинала возрождаться.

Но едва он взбежал на лестницу, ведущую в его квартиру, как до ушей его донесся крик новорожденного;

он оглянулся и увидел Марианну, прижимающую к груди младенца; она была бледна и сильно изменилась, только глаза ее были попрежнему ясны и с обожанием смотрели на Шеленга, у которого при виде ее все внутри замерло, словно его громом поразило; втянув голову в поднятый воротник пальто, он поспешно вошел в квартиру. Младенец сначала хныкал, потом разорался во все горло. Доктор философии, как автомат, захлопнул за собой дверь и запер на ключ. Но тотчас раздался троекратный стук, и он снова открыл. Вошла Марианна. На ней была уже знакомая нам черная шаль, под которой она прижимала к груди ребенка, укутанного в какие-то тряпки и лохмотья.

На этот раз Шеленг не подходил к женщине, как бывало прежде, не гладил, не обнимал, не просил ее сесть. Молча он отпер ящик, достал из него пять гульденов и отдал Марианне, словно расплачиваясь и за свое отцовство и за ее материнство. О, какое это было грустное зрелище!..

Она взяла бумажку левой рукой, потому что правой придерживала дитя, копошившееся в тряпках, и, тупо глядя на деньги, помяла их в руке. Шеленг беспокойно шагал по комнате, вздыхая, крикая, стараясь держаться подальше от прачки. Ребенок снова пронзительно закричал, мать сунула ему в ротик полную грудь, и плач затих. Могильная тишина воцарилась в квартире доктора философии, слышалось лишь почмокивание сосущего младенца и равномерный звук шагов расхаживающего взад и вперед Шеленга. Наконец, после долгого молчания, он сказал:

— Нужно купить ребенку одежду... Как можно чуть не голое дитя выносить из дому в такую суровую зиму!

— У меня дома холодней, чем на улице,— сказала Марыся, кротко улыбаясь,— я четыре дня пролежала в постели и едва не умерла от холода и страха. Наконец он родился... сам родился... Я очень сержусь, что так случилось... И вы, я вижу, тоже недовольны, но никто об этом не знает... Только эти духи...

Шеленг ничего не ответил; повернувшись к окну, он скрестил руки на груди и погрузился в размышления.

О эгоизм! о жалкая наука, философия! Женщина с ребенком не уходила. Доктора философии это, видимо, выводило из себя; он снова открыл ящик, достал из него еще два гульдена и, давая их Марысе, сказал:

— Вот деньги на топливо: нужно идти домой, а не таскаться с ребенком по городу.

Марианна покраснела, прижала малютку к груди, и из глаз ее выкатились две крупные, как горошины, слезы: видно, горьки были эти слезы и едки, потому что, когда они упали на личико ребенка, он сразу заплакал.

— Я, вот, хочу крестить,— говорила Марыся.— Мне бы хотелось дать ему имя Ясь...

Шеленг испытывал страшные мучения: из головы его вылетели все теории и правила этики; он чувствовал, что эта женщина его подавляет и имеет право морально его попрасть.

— Да не все ли равно,— сказал он брюзгливо,— какое имя будет носить ребенок!

— Но ксендз, наверное, спросит, кто его отец,— робко пролепетала Марианна,— и еще я не знаю, кого звать в крестные, у меня нет знакомых...

Женщина была права: кто же должен был давать ей советы в таком трудном положении?

Доктор философии снова открыл ящик и достал пять гульденов, которые должны были служить и эквивалентом отцовского долга, и удовлетворением требований демона совести, и вознаграждением Марысе, пострадавшей за свою любовь.

— Вот, Марианна, это на расходы по крестинам... А в крестные можно позвать каких-нибудь нищих... Так всегда делают в подобных случаях. В метрике не нужно указывать фамилию отца... Это разрешается...

Младенец раскричался на руках у матери, словно вызывая к совести философа или желая прервать разговор своей матери с отцом. Марыся снова заткнула ему рот грудью, успокаивала, укачивала, прижимала к себе.

— Ну, Марианна, до свидания, пора и домой,— сказал Шеленг уже несколько мягче, довольный тем, что хоть некоторые нужды матери и ребенка сумел кое-как

покрыть деньгами, которых у него самого осталось немного.

— Вы не хотите, чтобы я сюда приходила? — спросила прачка.

— Но пойми, Марианна, нельзя же так ходить с ребенком! Это и тебе неприлично, и меня может скомпрометировать.

Женщина поцеловала руку доктора философии, который так и не пожелал или не отважился посмотреть на собственное порождение. Так стоит ли изучать этику и получать степень доктора философии?

Назавтра Шеленг весь день не видел Марыси и только около девяти услышал условный стук в дверь. Прачка явилась без ребенка, а он ей сделал выговор за то, что она бросила новорожденного младенца, который ежеминутно нуждается в присмотре и заботе.

— Вы были вчера недовольны, когда я пришла с маленьким, вот я сегодня и оставила его дома; но я протопила печку, накормила его и уложила спать.

Шеленг сердито поглядел на Марысю, — она стояла, как всегда, почти неподвижно. На ее побледневшее лицо падал мягкий свет лампы, озаряя прекрасные черты, которые за болезнь утратили свою округлость, но зато приобрели какое-то новое очарование.

Подойдя к Марысе, он не мог удержаться, чтобы не коснуться ее тела. А стоило ему это сделать, как он уже не принадлежал себе.

Около полуночи Марианна возвращалась в свое уединенное жилище. Она бежала по улицам, а когда город остался позади, понеслась что было сил. Дул холодный ветер, издавая какие-то странные стоны и свист; Марысе казалось, что она слышит детский плач, и она то и дело останавливалась.

Подбегая к дверям своего дома, она уже не сомневалась, что ребенок действительно плачет. Бросившись внутрь, она дала ему грудь, успокоила и протяжно запела:

Баюшки-баю, мой Ясюнек!
Баюшки-баю, бай-баю!..

И Ясь затих.

Итак, Марианна снова ходила к Шеленгу через день,

а то и каждый день. Но теперь она уже не подкарауливала его с ребенком, не гналась за ним, когда он уходил за город.

Время от времени ящик Шеленга открывался, и гульдены переходили оттуда в руки Марианны, и на эти деньги она одевала, кормила и выхаживала Ясюня.

Прошла зима. Весна усыпала мир листьями и цветами, только в жизни и привычках людей не произошло никаких перемен.

Однажды вечером Марыся по обыкновению возвращалась от доктора философии. Когда она подбегала к дверям своего дома, не было слышно похныкивания Яся.

«Верно, спит», — подумала она.

Но когда она открыла дверь, когда подошла к кровати, ребенок оказался развернутым и лежал без пеленок, зарытый в солому тюфяка. Она схватила его на руки... ребенок закоченел, не шевелился, был мертв...

Несколько дней спустя в доме декана вся семья сидела за ужином. Декан за чашкой чая читал газету. Вдруг он отложил ее на стол и сказал:

— Вот неприятная история!

— Ну, расскажите, папа, что случилось? — спросила Бронця.

По настоянию дочери, декан снова взял в руки газету и прочитал вслух:

— «Вчера утром возле здания императорско-королевского университета императорско-королевская полиция арестовала молодую женщину, державшую на руках мертвое дитя мужского пола. Медицинская экспертиза установила, что дитя было умерщвлено посредством удушения три или четыре дня тому назад. Женщина страдает душевным расстройством; в бреду она утверждает, что отцом ее Яся был профессор университета и что сыночка ее ночью задушили злые духи, обитающие в доме. Несчастная, видимо ставшая детоубийцей в состоянии аффекта, помещена в заведение для умалишенных». В своем примечании редакция газеты указывает, что участвовавшие случаи самоубийства, помешательства и т. д. являются следствием поколебавшийся веры,

что столь характерно для нашего времени, и что все это нужно приписать пагубным теориям и доктринам, подтачивающим изнутри общественный организм.

VII

Понемногу Шеленг стал снова оживать; лекции его все больше привлекали слушателей, а в научных журналах появилось несколько обстоятельных статей, принадлежащих перу доктора философии. Люди тоже старались вытащить его в свет; в частности, Амбарас не устал вбивать ему в голову, что пора жениться.

— Я не женился,— говорил старый холостяк,— вот мне и плохо на свете; сейчас мне пятьдесят четыре года, так что время для женитьбы упущено. А между тем я уверен, что давно бы стал депутатом, если бы не это недоверие к несемейным людям... Что ж, ничего не поделаешь, так уж, видно, заведено на свете!

— Я бы вовсе не возражал против этого,— степенно отвечал Шеленг,— если б не некоторые обстоятельства и связи.

— Понятно! В холостяцкой жизни случаются всякие грешки. Но это пустяки; надо с этим, наконец, разделаться и взять девушку из хорошего общества, а тогда все пойдет по-иному. Было и у меня немало грехов, пожалуй и не сочтешь их. Человек я был молодой, жил на широкую ногу...

Доктор философии внимательно слушал, а Амбарас продолжал свое:

— Советую вам, доктор, приударьте за декановой дочкой, но не за старшей... а за средней, Бронцей. Славная девушка: добрая, красивая и умная. Ведь я им не брат и не сват, но я давно бываю у них в доме и советую вам от всего сердца. Ей-богу, будете счастливы!

— Но я давно уже порвал отношения с ними!

— Да полно! Какое же это имеет значение? Перестали у них бывать, так начнете снова; недели две повремените — и делайте предложение, а через месяц ведите панну под венец! Жениться можно только быстро.

— А если мне откажут?

— Ну, как же, как! Вот так угадчик!.. Человеке, да вы осчастливите и их, и себя! А впрочем, если даже Бронца немножко подорожится для виду, разве вас это осрамит?.. Нечего об этом и думать.

Через несколько дней после этого разговора на вечеринку к декану были приглашены и Амбарас, и Шеленг.

Философ весь вечер разговаривал только с Бронцей, что привело в огорчение Цецильку.

Вечер прошел весьма удачно, несмотря на то, что за чаем деканша завела с Амбарасом разговор, оказавшийся весьма щекотливым для доктора философии. Она обсуждала опубликованное в газете происшествие и интересовалась помешанной, задушившей собственного ребенка.

— Знаю, знаю! Мне хорошо известна эта история,— сказал врач, — как раз я-то и установил причину смерти ребенка.

— И что же вы думаете по этому поводу? — вмешалась в разговор Бронца.

— Очевидно, женщина эта давно уже страдает помешательством, а смерть ребенка еще усилила душевное расстройство,— отвечал Амбарас.

— Значит, не она задушила этого младенца? — спросила Рузя.

— Вероятнее всего, ребенок задохся сам, зарывшись в отсутствие матери в солому тюфяка...

— А может ли еще вылечиться такая умалишенная? — задала вопрос Бронца.

— Насколько я могу судить, полностью излечить ее никто не в силах,— ответил Амбарас,— но мне кажется, что она скоро вернется к тому состоянию, в котором находилась до смерти ребенка.

— Меня больше всего поразило в этой истории, что в отцы своему ребенку эта сумасшедшая выбрала профессора университета. Жаль только, что она не указала, какому именно факультету выпало такое счастье,— злобно сказала Цецилька.

Все промолчали, видимо сочтя выходку Цецильки неуместной; только Амбарас незаметно взглянул на Ше-

лента, который во время этого разговора испытывал немалые муки.

Прошло несколько недель с этого вечера, и по всему городу разнесся слух, что доктор философии Ян Шеленг обручился с дочкой декана, панной Брониславой.

Теперь за ужином декан был неизменно в великолепном настроении и лишь изредка заглядывал в газету; зато все время отпускал необыкновенно остроумные шуточки ех те¹ семейного счастья будущих супругов Шеленг.

Доктор философии помолодел, стал снова следить за порядком в доме и в своем гардеробе. Но теперь, когда новая прачка приносила ему белье, он разглядывал только манишки. Забросил он также и философские исследования, очевидно придерживаясь мнения Протагора, что философские размышления хороши только для молодых людей. Зато он усердно посещал костел отцов-иезуитов и еще ближе сошелся с графом Терневским и паном Апостольским.

Наконец бракосочетание Шеленгов было оглашено, и вскоре после этого пан Ян обвенчался с панной Брониславой. В то время как раз начались летние каникулы, и на другой день после свадьбы молодожены отправились путешествовать в гористые и живописные окрестности Штирии.

В середине сентября Шеленги вернулись. Едва они приехали домой, как явился с визитом Амбарас, которого привело в восторг отменное состояние здоровья доктора философии и его супруги. Врач был неизмеримо счастлив, что ему удалось, по его выражению, вывести в люди Шеленга.

Но, порадовавшись на своих друзей, он что-то шепнул на ухо доктору философии. Вскоре оба друга отправились за город и здесь, в пустынном месте, повели приблизительно такой разговор:

— Счастливы ли вы, пан Ян? — спросил врач.

— Очень! — ответил Шеленг, пожимая руку Амбарасу.

— Радуюсь за вас; но счастье ваше только наполо-

¹ По поводу (лат.).

вину устроено, вторая половина состоит в том, чтобы обеспечить и упрочить это счастье.

Доктор философии задумался, и чело его омрачилось облаком печали; он прекрасно знал, что на свете существует Марианна, женщина, способная не только разрушить его счастье, но и довести до отчаяния.

Между тем Амбарас продолжал:

— Тут не приходится золотить пилюлю; эта несчастная сейчас находится в больнице, но к ней возвращаются умственные способности, она выздоравливает, и ее нужно выпустить из больницы, потому что в таком состоянии держать ее взаперти не позволяют ни закон, ни совесть.

Услышав это, Шеленг страшно переменился в лице и вздохнул, точнее — застонал.

— Так вот, вам нужно отсюда уехать, нужно использовать любую протекцию, чтобы избежать скандала. Если нигде не окажется вакантной доцентуры, ищите другое место, лишь бы скрыться хотя бы на несколько лет. Марианна всегда будет вас преследовать. Ее не оставила мания, которую я тщательно изучил. Она и сейчас все время рвется к вам, ей кажется, что она находится у вас, с вами общается, разговаривает... Кроме того, вы должны откровенно исповедаться в своих преступлениях перед женой. Но это, очевидно, не представляет для вас ни малейшей трудности.

Вначале Шеленг колебался, но все же послушался приятеля: он уже убедился, что все советы врача шли ему на пользу.

Поэтому первым делом Шеленг признался жене в своей связи с Марысей, причем старался ничего не утаить.

Бронца выслушала исповедь мужа с необычайным вниманием и интересом, а потом, бросившись ему на шею, воскликнула:

— Какое великое счастье, что я всего этого не знала до свадьбы! Сейчас я только жалею бедную Марианну... Так это, должно быть, и есть та помешанная, о которой писали в газете, что она ходит по улицам с мертвым ребенком?.. И этот мертвый ребенок...

Шеленг опустил голову; потом расцеловал руки жене, признавшись, что не ждал такой снисходительности к своим грехам.

Снова в доме декана собралось за ужином все семейство; были тут и супруги Шеленги.

Выдав замуж Бронцю, декан снова начал вздыхать, так как дома оставались еще четыре дочери, вполне готовые к тому, чтобы стать наконец женами.

В то время как все занялись разговорами, декан, дожидаясь, пока остынет его чай, читал газету.

— Послушай-ка, Ян! — внезапно вскричал он, — мы тут ничего не знаем, а граф Терневский, видимо, всеми силами продвигает твою кандидатуру в Вене; вот, что тут пишут:

И декан прочел следующее:

«Как мы узнали из достоверных источников, известный наш ученый, пан Ян Шеленг, на этих днях будет утвержден в должности доцента философии при Венском университете.

Считаем своим долгом прибавить, что имеются все основания рассчитывать на предстоящее в ближайшем будущем зачисление пана Шеленга ординарным профессором в одном из австрийских университетов.

Это будет лишь актом справедливости по отношению к одному из самых выдающихся мыслителей».

Затем в статье упоминался ряд работ Шеленга, написанных на польском или на немецком языке, среди которых главная носила название: «О соответствии морального поведения с моральными суждениями».

И действительно, несколько месяцев спустя Шеленг перебрался вместе с женой в Вену, где продолжал грызть твердые орехи Гербартианской философии, облаченной в австрийский мундир. Здесь он также доказывал своим ученикам разные истины, из которых ни одна не соответствовала его собственному жизненному опыту.

Когда у Шеленгов родился сын, Бронця спросила мужа:

— Скажи, мой дорогой, тебе не будет неприятно, если я дам ребенку имя Ясь?

Шеленг только обнял жену и ничего не ответил. Пе-

ред его умственным взором встал образ Марианны и... удушенного Яся.

Этика существует в человеческой душе и имеет свои законы, но люди не хотят их признавать.

Для маленького Шеленжка отец нарочно выписал кормилицу из окрестностей Кракова, чем доставил безмерную радость своей супруге. Сама она была не в состоянии кормить ребенка, как это делала прачка Марианна.

VIII

Наконец Марысю выпустили из больницы.

Но это была уже не та цветущая, синеглазая, исполненная прелести девушка с чудесными темнорусыми волосами, какой она была прежде. Лицо ее сильно исхудало и покрылось матовой бледностью, а синие глаза глубоко запали и недоверчиво поглядывали по сторонам.

Одета она была так же, как и раньше, и бегала в своей черной шали по улицам Кракова, как будто непрестанно что-то искала.

По случайному стечению обстоятельств прежнюю квартиру Шеленга теперь занимал Амбарас.

Марыся заходила сюда по нескольку раз в день и стучала в дверь. Если врач был дома, он отпирал ей, успокаивал, давал подаяние.

Тогда она скорее бежала в кондитерскую за сладким печеньем и на базар за вязанкой дров, а потом спешила с покупками в свой уединенный «замок», смеясь и рассказывая себе самой, как она обогреет холодный дом и накормит Яся. По дороге она прислушивалась, не кричит ли Ясь, и ей чудился детский плач. Она снова ускоряла шаг, вбегала в пустую лачугу и, мечась из угла в угол, искала кровать с тюфяком Яся. Но здесь только мыши разбегались от нее, только воробышки попискивали под крышей, только страшные духи встречали ее повсюду, злые духи, которые забрали ее Яся.

Она в ужасе выскакивала из дому и снова мчалась в город.

Сумасшедшие тоже испытывают тяжелые моральные страдания.

В городе Марианна направлялась к университету, целыми днями простаивала у ворот, а иногда таинственно допытывалась у какого-нибудь студента:

— Скажите, пан, вы не знаете, куда он скрылся?..

Она заглядывала во все уголки, всюду рыскала, выслеживала. Ночью она подстерегала у Маривитского костела, караулила в Сукенницах, словом — бывала везде, где когда-либо проходил Шеленг.

Ходила она и в костел отцов-иезуитов и часто там исповедовалась.

Это была обнаженная правда страшного несчастья, для которого в мире нет никакого приюта и утешения и которому может положить конец одна только смерть.

Примерно через год после зачисления Шеленга в Венский университет он с женой и ребенком приехал на пасху к родителям Бронци.

Вскоре навестил их Амбарас, посоветовавший доктору философии как можно реже показываться в городе, чтобы избежать тягостной встречи с сумасшедшей.

— У меня была мысль, — говорил врач, — во время вашего пребывания в Кракове поддержать ее в полиции или в больнице, но слишком уж страшно состояние этой женщины, когда ее лишают свободы. Так она по крайней мере ходит куда хочет и имеет занятие, что для нее очень важно. Впрочем, сейчас, мне думается, она продолжает свои бесцельные поиски уже по привычке, почти автоматически. Когда она приходит ко мне на квартиру и я открываю ей дверь, она даже не смотрит на меня. Очевидно, она уже не совсем ясно различает лица и обстановку.

Тем не менее Шеленг вел себя крайне осторожно, в чем ему усердно помогала Бронца.

На второй день пасхи в доме декана собралась, получив приглашение на праздничную трапезу, чуть ли не вся университетская знать.

В это время маленький Ясь Шеленг, следуя предписанию врача, совершал обычную дневную прогулку на руках кормилицы.

Это милое, опрятно одетое дитя, в белой шапочке

на голове и с погремушкой в руках, безумолку лепетало что-то кормилице, которая уселась с ним на скамейке, где ребенок мог подышать свежим воздухом, купаясь в щедрых лучах весеннего солнца.

Неожиданно к скамейке подошла известная в городе сумасшедшая Марианна и стала пристально рассматривать малютку, уставясь на него своими огромными синими безумными глазами.

Она спросила кормилицу, чей это ребенок. Кормилица благодушно, выложила ей свою правду, рассказав, что профессор Шеленг из Вены, приехал на праздники в Краков с женой и сыном своим Ясем.

— Да, это Ясь!.. Ясь!..—все пристальнее разглядывая ребенка, твердила помешанная, — Да, да, это мой Ясь!.. Красавчик ты мой, Ясюнек любимый!

И грязной рукой она проводила то по головке, то по личику ребенка. Схватив его крошечную ручку, она стала ее страстно целовать, непрерывно повторяя:

— Ясь, золотой мой Ясюнек!

Наконец кормилица решила избавиться от назойливой сумасшедшей и поднялась со скамейки, намереваясь идти домой. Марианна неотступно следовала за ней, с нежностью глядя на ребенка, который, развеселившись, с любопытством повернул к ней голову и протянул ручонки.

Тогда Марианна, как разъяренная тигрица, ринулась к кормилице, сильной рукой вырвала дитя из ее объятий и во весь дух понеслась в сторону своего опустевшего дома.

Поднялась страшная суматоха, какие-то люди пустились в погоню за убегавшей сумасшедшей: вскоре со всех сторон ей преградили путь. Ребенок расплакался, а Марианна прижимала его к себе, суя ему в рот свою грудь.

Затравленная огромной толпой, от которой негде было укрыться, она крепко обняла ребенка и бросилась под ноги лошадям, впряженным в роскошную карету, в которой ехал граф Терневский со своей достопочтенной супругой.

Карета промчалась, задавив Яся и размозжив череп Марианне; под вечер несчастная прачка скончалась.

После пасхи за обычный ужин сел один только декан с газетой в руках. Остальные члены семьи окружали постель опасно захворавшей Бронци.

Декан, очевидно, прочитал в газете какое-то неприятное сообщение, и слезы ручьем полились из его глаз, стекая по сморщенным щекам. Теперь он уже не вздыхал; как добрый отец он, вероятно, думал приблизительно так: «Замужество дочери отнюдь не всегда приносит счастье ей и ее родителям».

Мариан Гавалевич

ДЕЛО ЧЕСТИ



МАРИАН ГАВАЛЕВИЧ

Мариан Гавалевич (1859—1910), новеллист, драматург и театральный деятель, родился в Варшаве, в мещанской семье. Среднее образование получил в Варшаве, посвятив себя затем театральной деятельности. На литературную арену выступил в конце семидесятых годов, печатая свои юмористические рассказы в журнале «Колючки», издаваемом позитивистами. Известность приобрел после выхода сборника «Одноактные водевили», которые, не отличаясь глубиной внутреннего содержания, касались вопросов мещанской этики. Кроме того, Гавалевич занимался журналистикой, сотрудничая в ряде печатных органов позитивистов.

В начале девяностых годов Гавалевич руководит варшавским народным театром, сыгравшим значительную роль в пропаганде произведений современной драматургии, а затем переезжает в Лодзь, где руководит городским театром.

Имя Гавалевича сегодня почти забыто польской литературой именно из-за недостаточной социальной насыщенности его произведений, но все-таки надо отметить незаурядное умение Гавалевича подмечать смешные черты в жизни современного ему общества и ту занимательность повествования, которая привлекает читателя.



ДЕЛО ЧЕСТИ

(Из воспоминаний секунданта)

«Половина двенадцатого, а кто-то звонит. Странно»,— подумал я с удивлением, вставая из-за письменного стола, за которым писал фельетон на самую веселую тему для субботнего номера.

Не люблю таких неожиданных ночных звонков, от них добра не жди. Это—или телеграмма, или что-нибудь еще похуже. К телеграммам я питаю болезненное отвращение с тех пор, как одна принесла мне весть о смерти очень дорогого мне человека, а другая—о том, что сгорела усадьба со всеми службами. Усадьбы я никогда в жизни не имел, и этот сюрприз предназначался кому-то другому, но по ошибке телеграмму принесли мне.

«Кому же это, чорт возьми, вздумалось беспокоить меня в ночную пору?»

На минуту у меня мелькнула мысль схватить шляпу

и пальто и улизнуть из дому через кухню, чтобы избежать встречи с незванным гостем.

Но я собрал все свое мужество и, подойдя к двери, крикнул:

— Кто там?

Из-за двери отозвался пискливый голос Антека:

— Извините, пан редактор, это я — из типографии!

У меня отлегло от сердца: я сразу узнал дискант нашего замарашки-Ганимеда, посыльного редакции. Антек славился проворством, но и склонностью к озорным проказам, которые он проделывал по дороге. С виду он был настоящее пугало.

— Чего тебе надо от меня так поздно, шалопай? — спросил я, отпирая дверь и впуская в переднюю запыхавшегося мальчика.

— Пан Дрызевич послал меня с письмом к вам, — пояснил он, оскалив в улыбке желтые кривые зубы. — Велел бежать, как на пожар, — «хоть ноги, — говорит, — сломай, а лети!»

— Ну и как — не сломал?

— Нет. А пану Дрызевичу дали по морде.

— Что-о?! — прикрикнул я на мальчишку так грозно, что он с испугу отскочил к стене.

Тут только он сообразил, что, торопясь сообщить мне столь сенсационную новость, выразился не совсем прилично; Антек начал извиняться:

— То есть я хотел сказать, что пану Дрызевичу сделали диффамацию. Такая вышла неприятность! На пана Дрызевича у нас под воротами напали какие-то два хулигана, и один его так отделал, что он сразу полетел кувырком. А потом оба ушли, а пан Дрызевич прикладывает себе примочки, потому что лицо у него все вспухло. Ей-богу, правда, пан редактор!

Не слушая его дальнейших объяснений, так как мне хотелось поскорее узнать правду, я пошел к себе в кабинет и здесь у лампы прочел записку Дрызевича — несколько слов, нацарапанных карандашом на клочке бумаги:

«Дорогой мой, минуту назад со мной случилась ужасная неприятность. Приезжай немедленно в редакцию, мне нужно с тобой посоветоваться».

Дрызевич был мой товарищ по работе, редактор газеты, в которой я сотрудничал уже несколько лет.

Я был совершенно ошеломлен этой новостью и ничего не понимал, а между тем она подтверждалась и рассказом Антека, который уже в третий раз одними и теми же словами докладывал мне подробно о «диффамации», постигшей пана Дрызевича, то есть нападении на него двух хулиганов и оплеухе, свалившей его с ног.

Было что-то удивительно трагикомичное и в характере самого происшествия и в словах, которыми его описывал этот замазашка.

Ясно, что произошел скандал, о котором завтра молва расползется по всему городу, будет расти, как лавина, примет чудовищные размеры. Впрочем, и самые незначительные слухи об этом произведут неприятное впечатление в обществе и лягут позорным пятном на всех журналистов, а в особенности на газету, которую издает и редактирует Дрызевич. Этим не преминут воспользоваться его недоброжелатели, раздуют всю историю, приправят перцем и солью, подольют уксусу и будут этой стряпней недели две угощать публику, радуясь возможности всадить представителю прессы нож в спину.

На товарищеские чувства и скромность, на сочувствие и негодование нечего было рассчитывать. Так уж у нас водится — толпа не рассуждает, она преклоняется перед правом кулака, и оскорбитель в ее глазах удалец, молодчина, оскорбленный же — ничтожество, над которым можно безнаказанно тешиться, сколько душе угодно: «Так ему и надо! Он это заслужил!» Кто выбьет больше зубов другому, тот сегодня прав, и, пока в людях не заговорил рассудок, каждый рад ударить лежащего, по пословице: «На согнутое дерево и козы скачут».

Я вышел, кликнул извозчика и, забыв из-за спешки и волнения усадить с собой в пролетку Антека, покати́л в редакцию.

Антека это ничуть не огорчило, — он бросился вслед за пролеткой и, очевидно, выбрав более короткий путь, умудрился даже опередить меня. Подъехав к воротам, я застал его уже там, запыхавшегося, красного, как томат. Утирая шапкой потное лицо, он яростно дергал звонок.

— Вот видите, пан редактор, я первый! — похвастал он с торжествующей миной, еле переводя дух, и, презрительно посмотрев на извозчика, бросил ему с озорной усмешкой чисто варшавское насмешливое словечко:

— Эх ты... салат!

Дрызевича я нашел в его кабинете за письменным столом—хмурого, угнетенного нанесенным ему оскорблением, но спокойного, как человек, который примирился с фактом и старается предугадать дальнейшие последствия.

— Садись,—сказал он мне, не отнимая платка от лица; подошел к двери и запер ее, чтобы никто не мешал нам обсудить с глазу на глаз создавшееся щекотливое положение.

Затем, неторопливо усаживаясь на прежнее место у стола и явно избегая моего взгляда, он заговорил глухо, понизив голос:

— Мне устроили засаду... Сегодня вечером, когда я возвращался из театра в редакцию, в подворотне на меня напали двое мужчин. Там, как ты знаешь, темно, я не сразу их разглядел и не мог защищаться. Один меня вдруг схватил за руки, а другой подскочил и...

Дрызевич заморгал — ему, видимо, слишком тяжело было досказать остальное, а я боялся проявить чрезмерную догадливость.

Помолчав с минуту, он продолжал:

— Мне нанесли такой удар, что я почти потерял сознание. Успел только расслышать слова: «Вот тебе, получай за «выродков!» В темноте, повторяю, мне трудно было рассмотреть нападавших, а во дворе не было ни живой души, и только за воротами дремал дворник. Конечно, я один не мог задержать двух мужчин, которые были сильнее меня, и они тотчас удрали.

Этот спокойный рассказ взволновал меня до глубины души, да и Дрызевичу, видимо, стоило немалых усилий владеть собой.

Я знал, что он человек сильной воли и трезвого ума, в самые критические моменты способен сохранять замечательное хладнокровие и ничуть не похож на нервных «детей века». Эти качества были весьма необходимы в его положении и очень часто выручали его.

— Но кто же они такие? Чем вызвано это злодейское нападение? Есть у тебя какие-нибудь подозрения на этот счет? — спрашивал я.

Дрызевич тяжело вздохнул и кивнул головой.

— Кто эти люди, мне совершенно ясно, — сказал он через минуту. — Во вчерашнем номере мы напечатали заметку под заголовком «Дети-выродки». Ты читал ее, конечно?

— Ага, это об отце, которого сыновья выгнали из его собственного дома и отказывают в куске хлеба, так что ему приходится просить милостыню на дороге? — воскликнул я, вспоминая сенсационную статейку о какой-то семье в пригороде (фамилия указана не была). Автор громил сыновей, которые не почитают и не любят родного отца и так тяжко грешат против четвертой заповеди.

Статьейка была короткая — типичная репортерская заметка, где только излагается факт. Но она, конечно, не могла не возбудить в читателях такого же негодования, как во мне, — прочитав ее за утренним кофе, я невольно воскликнул:

— Ах, негодяи! Да, это какие-то выродки!

В ту минуту мне и в голову не приходило, что эти несколько строк в газете будут иметь такие скандальные последствия.

— Так ты подозреваешь, что это из-за вчерашней заметки? — спросил я.

— Не подозреваю, а уверен. Ведь тот, кто меня ударил, ясно сказал.

— А что они за люди?

— Откуда я знаю? Заметку принес Любчинский и сказал, что все им лично проверено, что он собственными глазами видел старика и даже подал ему милостыню, а тот рассказал ему эту историю. Нельзя же было пройти мимо такого вопиющего факта и не обличить виновных. Ведь это обязанность печати.

— Да, разумеется, но дело-то уж очень щекотливое, — заметил я. — Ты знаешь, что Любчинский иной раз любит преувеличивать. Его сообщениям не всегда можно верить.

— Потому-то я и не назвал никаких имен и не при-

водил подробностей. В конце концов не могу же я сам проверять каждое сообщение репортера!

— Гм... Во всяком случае, скверная история.

— Да, скверная.

— Может быть, Любчинский тебя подвел...

— Чорт его знает. Может, и подвел.

— А ты пошли за ним сейчас же.

— Уже послано.

Закурив папиросу, я стал ходить из угла в угол — мне не сиделось на месте. Сообщение, что автор заметки — Любчинский, еще больше меня расстроило. Я знал, что этот юркий репортер каждый день как из мешка сыпал новостями, а когда запас их кончался, готов был высосать их из пальца, брать из воздуха, откуда угодно, только бы доставить нужное число строк газетам, которые он обслуживал, как некий Фигаро. С ним следовало быть осторожным.

Дрызевич обмокнул перо, оторвал полоску бумаги и начал что-то писать.

— Что ты сочиняешь? — спросил я, заглядывая через его плечо.

— Это в завтрашний номер, заметка о нападении на меня, — пояснил он спокойно, самым естественным тоном, как будто дело шло о каком-то постороннем человеке, который его в этот момент ничуть не интересовал.

— Как! Ты хочешь сам разгласить эту историю?!

Ни на миг не отрываясь от своей работы, он ответил:

— Ну разумеется! Во-первых, это факт, которого нельзя обойти молчанием, во-вторых — лучше уж я сам изложу его читателям, раньше чем мои преданнейшие друзья воспользуются случаем и представят его в сильно разукрашенном виде. Видишь ли, сейчас конец сезона, и такой лакомый кусок весьма пригодился бы моим конкурентам! Нужно опередить их и расстроить их планы. Да... Все это так неожиданно, как если б кирпич свалился мне на голову или земля вдруг разверзлась под ногами. Но мы, журналисты, должны быть готовы ко всему и ни при каких обстоятельствах не терять головы.

Дрызевич дописал заметку, позвонил и велел вошедшему курьеру отнести ее в набор. Мне так и не удалось его убедить, что лучше подождать, пока дело выяснится.

— А что ты думаешь делать дальше? — спросил я.

— Что же я могу? В суд, конечно, не подам, потому что у меня мало шансов выиграть дело. Остается одно: дуэль. Я как раз хотел тебя просить, чтобы ты завтра утром поехал и передал мой вызов. Будем стреляться.

— Стреляться!

— Да, и на самых жестких условиях: расстояние — десять шагов, число выстрелов не ограничено.

Он говорил так спокойно, решительно, неторопливо, словно заказывал на завтра обед.

— Надеюсь, ты мне не откажешь в этой товарищеской услуге, — добавил он. — Тут задета не только моя личная честь, но и честь прессы, которой мы оба служим.

Ответ на это мог быть только один: я в знак согласия протянул ему руку.

— А кто же будет вторым секундантом?

— Адмирал. Он самый подходящий для этого человек — у него большой опыт, и он все устроит, как полагается. Я написал ему одновременно с запиской к тебе: просил раздобыть пистолеты и зайти к тебе завтра часов в девять.

Адмиралом мы называли одного из наших старших товарищей, Пукальского. Это был славный малый; всегда первый и в выпивке, и в драке, мастер на все руки, готовый за правое дело пойти в огонь и рубиться и за себя, и за других, если дело идет о защите чести. Кличку «Адмирал» он получил оттого, что мнил себя более сведущим в морском деле, чем Нельсон, Тегетгоф и все вообще древние и современные флотоводцы, хотя ни разу в жизни не плавал в открытом море и даже не видел мало-мальски крупной эскадры. Он мечтал стать капитаном корабля и хоть раз участвовать в морском бою — вот тогда уж он показал бы миру, на что способен!

Мы мирились с этим невинным «пунктиком», так как «адмирал» был человек образованный, талантливый журналист и один из приятнейших собеседников в нашем тесном кругу.

Он даже разрешал нам подшучивать над его всем известной слабостью, которой никто из нас не принимал

всерьез. С течением времени к ней стала примешиваться некоторая доза невинного фанфаронства. Что поделаешь — слабости бывают у самых умных людей, иной раз они им даже к лицу, как хорошенькой женщине — родинка у губ.

Адмирал считался у нас высшим авторитетом во всех делах чести, «рыцарских» (как он их называл) делах, касающихся дуэлей, вызовов, поведения в обществе. Он и сам себя считал в этом специалистом *hors concours*¹. Когда возникала необходимость «смыть кровью» оскорбление, за советом шли прямо к Пукальскому.

Таким образом, меня ничуть не удивило, что Дрызевич именно его выбрал вторым секундантом.

— Хорошо, — сказал я, решившись принять участие в этом деле, позорное начало которого грозило трагическим концом.

«Вот не было хлопот! — думал я. — Тут пахнет не только порохом, но и кровью. Это дело не может, да и не должно кончиться ничем. Я еще не знаю обидчика, но Дрызевич, конечно, ему не простит, он будет стрелять — и, несомненно, постарается не промахнуться».

Признаюсь, я был ужасно зол на Любчинского, который так подвел и свою газету и редактора, а сам выйдет сухим из воды (заметка-то анонимная!) и не будет отвечать перед общественным мнением. Никто не узнает, да никого и не интересует имя автора заметки, за которую расплачиваться приходится одному Дрызевичу как редактору.

— Однако тебе... — начал я было назидательным тоном, но тут же спохватился; момент был не слишком подходящий для рассуждений о том, что можно и чего нельзя предавать гласности в печати. И я проглотил конец фразы.

— Что мне? — спросил Дрызевич, поднимая глаза.

— Везет тебе на репортеров! — вывернулся я и стал желчно ругать Любчинского как главного виновника скандала.

— Да он не виноват, — вступился за него Дрызевич, — заметка интересная.

¹ Вче конкурса (лат.).

— Если бы она еще к тому же соответствовала действительности, — вставил я.

— Видно, это так, раз она кого-то задела, — резонно заметил редактор. — В заметке никто не назван, и все же она попала в цель. Теперь я уверен, что Любчинский не врал. Нападение на меня это подтверждает. «Дети-выродки» сами себя выдали.

В эту самую минуту в редакцию влетел Любчинский, запыхавшийся, встревоженный, почти испуганный. Должно быть, его разыскали где-нибудь в трактире, в разгаре ужина, за пятой кружкой пильзенского, потому что он был красен и от него пахло пивом.

— Что я слышал? Неужели это правда? — закричал он с некоторой аффектацией, делая приличную случаю мину. — Тебя постигла такая неприятность? Но это преступление! Это ужас что такое! Не могу опомниться... Когда я прочел твою записку, я чуть не упал замертво! Это — Беляк, больше некому. Беляк и его брат. Голову даю на отсечение! Только они на это способны. Но как же это было? Каким образом могло это произойти на улице, где столько прохожих? Таких негодяев надо было палкой пришибить, как собак!

— Тише, не ори! — унимал его Дрызевич. — Продиктуй-ка мне лучше имена и точный адрес этих Беляков.

Любчинский продолжал метаться по кабинету, кричал, грозил, что сам сейчас же поедет за заставу и «покажет им». Клялся, что привлечет их к уголовной ответственности и разоблачит еще другие их грязные делишки. Что они воображают? Родного отца, почтенного старца, выгнали из дому, заставляют его сидеть в придорожной канаве и просить милостыню у прохожих, все у него отняли, завладели всем состоянием и кирпичным заводом. Мошенники этикие, разбойники! Тьфу! Подонки общества! И они еще вздумали выкидывать такие штуки? Он их проучит! Это еще что за новости? Значит, печать не вправе изобличать таких прохвостов? Надо объявить в газете их имена и отдать под суд. Есть свидетели, он, Любчинский, докажет, что они выгнали старика отца из дому, как собаку.

— Я сам дал ему рубль... И даже не поставил этот

рубль в счет редакции. Целый рубль, ей-богу, чтоб я так был здоров! — уверял Любчинский, умиляясь собственной щедрости. — Последний рублишко ему отдал, больше у меня ничего при себе не было. Надо найти и привести старика, пусть все расскажет. При свидетелях! Уж я его разыщу, будьте спокойны! Ого! Этим не кончится, это дело прошумит на всю Европу. Завтра же даю двести строк подробностей! Сейчас засяду за статью!

Мне почему-то не понравился пыл Любчинского, раздражала его крикливость, так резко отличавшаяся от хладнокровия Дрызевича.

— А что они за люди? — спросил я. — Небось, какой-нибудь сброд из пригорода? Мужичье неотесанное?

— Бандиты проклятые!

— Но кто они такие?

— Владельцы кирпичного завода за заставой.

— Вот как! Промышленники. Вы их знаете?

— Нет, никогда в глаза не видал, но знаю, что они люди состоятельные. Уже одна недвижимость их стоит тысяч двадцать, а то и больше. Старик дал им образование, посылал в школу. За заставой их знают, как фальшивую монету. Ведь это же преступление, что богатые люди так поступают с родным отцом! Это просто вызов обществу! Разве я стал бы об этом писать, если бы дело шло о бедняках?

— Ну, так как же? — спросил я, обращаясь на этот раз к Дрызевичу.

— Я своего решения не изменю. Отправляйтесь завтра утром вдвоем с адмиралом и передайте им вызов. Ничего другого не остается.

Любчинский вытаращил глаза.

— Как! Ты хочешь стреляться с такими негодяями?

— Нет, буду дожидаться, пока ты на них подашь в суд, — неохотно процедил Дрызевич и, повернувшись к нему спиной, стал объяснять мне, как поставить вопрос ребром.

— Условия дуэли самые жесткие, никаких уступок и промедлений. А главное, очень тебя прошу, устрой так, чтобы со всем этим покончить разом. Никаких переговоров, обсуждений, — передайте вызов, назначьте час, место и пусть являются хотя бы завтра.

— Как — оба?!

— Все равно, вызовите обоих.

— Но, послушай...

— Пожалуйста, без «но», ты знаешь, что я слов на ветер не бросаю. Меня тяжело оскорбили, я требую полного удовлетворения.

— Ну, как знаешь.

— Завтра буду ждать вас с нетерпением. Вы застанете меня готовым.

Он вернулся к столу и крикнул в трубу, соединявшую его кабинет с наборной:

— Пан Блаткевич, сколько у нас на завтра боргеса? А объявлений? Три столбца? Хорошо, тогда пришлите мальчика за материалом.

И преспокойно занялся своими редакторскими обязанностями, словно забыв, что завтра ему предстоит поединок не на жизнь, а на смерть.

На другой день, около полудня, мы с Пукальским ехали в карете за заставу — вызывать на дуэль какого-то Беляка.

Адмирал хотел, чтобы все было «по всем правилам». Он надел черный костюм, черный галстук и темные перчатки. Мне тоже приказал одеться поприличнее, как для первого визита. Вид у него был такой торжественный и серьезный, как будто мы ехали уже составлять акт о смерти и хоронить человека, которого нам еще только предстояло поставить с оружием в руке к барьеру лицом к лицу с тем, кого он оскорбил.

Погода была прекрасная, как на заказ, в воздухе уже чувствовалось первое дыхание весны, которое наполняет человека трепетом и побуждает его улыбаться солнцу, небу, всему на свете — не только своим ближним, но и каждому уличному псу.

— Чудный денек, — сказал я адмиралу, который сидел подле меня нахмурившись, весь проникнутый сознанием важности своей миссии.

Он прищурил один глаз и подкрутил усы, торчавшие под носом, как две метелки, обмакнутые в чернила. Я подзревал, что сегодня он усерднее обычного начернил их

какой-то дрянью, чтобы придать себе подобающий случаю грозный вид.

— А завтра будет еще лучше! — произнес он с удивлением.

— Почему же?

— А потому, что завтра в этот час мы уже будем возвращаться, получив удовлетворение и оставив на месте дуэли труп.

— Ты так думаешь?

Он посмотрел на меня, возмущенный тем, что я смею сомневаться, и откашлялся так громко, словно в горле у него выстрелила мортира.

Некоторое время мы ехали молча. Вдруг Пукальский с негодованием повернулся ко мне:

— Что это? Ты зеваешь?

Казалось, он сейчас кинется на меня.

— Зеваю. А что ж тут удивительного? Я не выспался, — ответил я спокойно.

— Не выспался? Вот еще! А я эту ночь спал не больше двух часов!

— Чем же это ты был так занят?

— Как чем? Надо было подготовить все на завтра. Ездил к Жедзинскому за пистолетами... Поднял его для этого с постели. Пистолеты — самое важное.

— Вот как!

— А ты думал, я допущу, чтобы люди стрелялись раньше, чем я проверю пистолеты? Нет, они по меньшей мере сутки должны быть у меня в руках. Я должен быть в них уверен, иначе я ни за что не ручаюсь. Это не шутки! Скомандуешь «раз, два, три!» А тут — бац! Осечка! Срам! Нет, милый мой, когда я — секундант, таких вещей не бывает! Потом я пошел к Линкевичу, вызвал его из клуба и велел приготовить инструменты, бинты и все прочее. У Линкевича опыт в таких делах. Я без него никогда на дуэль не еду! Доверяю ему: хороший врач и притом — молодчага, всегда на все согласен. Он будет ждать нас завтра утром, но просил, чтобы мы побыстрее провернули дело, так как в двенадцать у него операция. Управимся, конечно! До двенадцати вернемся.

Все это он говорил так уверенно, как будто ни мину-

ты не сомневался, что дуэль произойдет и что Дрызевич первым же выстрелом уложит противника.

— Ну, а что, если этот Беляк не захочет драться? — заметил я.

Адмирал побагровел и выпучил глаза. Усы у него задрожали, и весь он наежился, как барсук. Кажется, даже зубами заскрипел.

— Что-о?! — рявкнул он. — Не захочет? Хотел бы я видеть, как это он откажется.

Он смерил меня презрительным взглядом и добавил:

— Не таких лисиц я выкуривал из норы. Вот увидишь... я его, прохвоста этакого, за шиворот потащу на место дуэли! Хорошие шутки: не захочет!

Он был возмущен моим нелепым предположением. Как, он, Пукальский, передает вызов, берет на себя роль секунданта — а противник не желает стреляться? Чушь!

Он стал приводить примеры из своей практики и говорил, все более распаляясь:

— Попробуй-ка у меня кто-нибудь отказаться! Попробуй только! А я тебе докажу, что если захочу, так застукаю его где угодно! С постели подниму, из мышинной норки вытащу! Еще чего! Думаешь, это шутки? Чтобы какая-то бестия посмела у меня не принять вызова! Дудки, стань к барьеру, а уж Дрызевич тебя собьет, как кеглю. Не беспокойся, уж если я за что-нибудь взялся, так осечки не будет. Я Дрызевичу запретил сегодня наедаться. Диета — самое важное. В десять часов — в постель, а рано утром я его разбужу, дам ему только чаю с рюмочкой коньяку, больше ничего он у меня и не понюхает. Кишки должны быть пусты. Неровен час — вдруг ему тот болван всадит пулю в живот? Все может случиться. Чорт его знает, умеет ли он еще стрелять. Ну, да нет, не попадет, не бывать этому! Я отправил сегодня Дрызевича в тир поупражняться, хотя особой надобности в этом нет, он хладнокровен, и глаз у него меткий, — но на всякий случай... Если он промахнется, я с ним, болваном, навсегда прекращаю знакомство!

Мы выехали за заставу. Карета катилась по изрытой мостовой, замусоренной после вчерашнего базара, покрытой выбоинами и лужами, в которых блестела на солнце непросыхавшая неделями грязь.

По сторонам дороги стояли облезлые домишки, кое-где горделиво высился над их крышами многоэтажный каменный дом или тянулся длинный забор, из-за которого выглядывали кудрявые верхушки цветущей сирени и зеленой акации. Слева простирались поля с желтыми пятнами ям, из которых брали глину, а вдали дымили печи небольшого кирпичного завода.

— Смотри! — воскликнул вдруг адмирал. — Это тут, должно быть. Вон там, у мостика, — распятие, а под распятием сидит какой-то нищий. Может, это и есть старый Беляк? Прикажи-ка кучеру остановиться, надо порасспросить его.

Я остановил карету. Пукальский высунул голову в окошко и осматривался.

— Право, мне кажется, что этот дед и есть наш старый король Лир! — шепнул он мне таинственно. — У меня нюх! Постой, сейчас увидишь, что мы набрали на интересную историю. Эй, отец! — закричал он, махнув рукой сидевшему у дороги нищему, который рылся в своей громадной, покрытой заплатами суме. — Отец! Идите-ка сюда! Ваша фамилия Беляк? А? Как вас зовут?

Дед тарасил выцветшие глаза и, склонив набок взломаченную голову, раскрыв рот, с удивлением смотрел на карету, не понимая, чего от него хотят.

Но растерянность старика только утвердила адмирала в его предположении.

— Беляк! Ну, что я говорил? — с торжествующим видом обернулся он ко мне. — Старикашка совсем ошарашен тем, что я его узнал! Постой, давай выйдем. Может, услышим от него новые подробности.

Он открыл дверцу и выскочил из кареты.

— Так это вас так сыновья обставили? Вас, а? — начал Пукальский допрос. Он стоял, наклонясь над канавой, раскорячив ноги, как колосс Родосский. — Ну, отвечайте же, когда вас спрашивают. Беляк? Мы специально ради вас сюда приехали.

Дед завозился, пытаясь встать, ища свою палку, чтобы на нее опереться.

— Вот так удача! — сказал мне адмирал, все более увлекаясь ролью следователя. Он помог старику встать и забросал его вопросами: — И давно вы тут сидите?

Сколько вам лет? Так, значит, сыновья вам позволяют нищенствовать? А где же тут ваш завод?

Дед низко ему поклонился и пытался поцеловать в локоть, но на вопросы не отвечал, знаками объясняя, что он немой.

У почтенного адмирала вытянулась физиономия, усы обвисли, вид у него был мрачный и разочарованный.

— Вы что, немой? — снова начал он допрос. — Но ведь ваша фамилия Беляк, верно? Беляк или нет?

Старик только головой тряс, мыча что-то нечленораздельное и указывая рукой назад, на заводские трубы, видневшиеся невдалеке, за длинным забором, который огораживал маленькую усадьбу.

— Оставь его, — сказал я наконец, с трудом удерживаясь от смеха, — ты же видишь, что ошибся. Едем дальше, нечего время терять.

Пукальский пошел к карете, с обидой поглядывая на нищего, обманувшего его ожидания. Но, не желая признать себя побежденным, он прищурил один глаз и с глубоким убеждением сказал мне вполголоса:

— Притворяется, каналья! Боятся сказать правду.

— Надо было дать ему рубль, как Любчинский, — может, он тогда бы заговорил.

— Правда! Ну, да все равно, дело выяснится и без него.

Мы поехали дальше и остановили карету перед калиткой, запертой изнутри. Сбоку висел звонок — ржавая проволока без ручки.

Адмирал одернул сюртук, расправил усы и позвонил.

За воротами залаяли собаки. Они бегали по песку у калитки, нюхая воздух и заливаясь все яростнее.

Прошло несколько минут, и, наконец, мы услышали шаги во дворе. Заскрипел в замке ключ, и в приоткрытой калитке появился босой хлопец в серой куртке, порывшейся от кирпичной пыли, и в соломенной шляпе, которой давно пора было служить пугалом для воробьев.

— Здесь завод Беляков? — спросил адмирал коротко и резко.

— Ну, здесь, а что? — был ответ, и затем мальчик стал кричать на собак: — Пшел, стерва! Пшел в будку!

А, холера тебя возьми! Замолчишь или нет? Цыц, Хватай! И ты, Заграй, цыц, не то все кости переломаяю!

Два цепных пса с визгом и лаем рвались к калитке, их никак нельзя было успокоить.

— Вы по делу или так? — спросил мальчик сквозь щель, отпихивая ногой собаку.

— По делу, по важному делу, — сказал Пукальский. — Оба хозяина дома?

— Молодые?

— Да.

— Дома. На заводе они.

— Так доложи о нас.

— Чего?

— Доложи о нас! — повторил мой товарищ и достал из кармана наши визитные карточки. — Вот отдай это господам и скажи, что мы приехали по важному делу, по делу чести. Понял?

— А как же, чего ж тут не понять.

— Да не забудь сказать, что мы хотим видеть двоих. Двоих, понял? — с ударением повторил адмирал.

— Вижу, что двое вас, а не один, — огрызнулся мальчик, не дослушав, и захлопнул калитку у нас перед носом.

— Каков пан, таковы и слуги! — буркнул рассерженный адмирал. — Надо будет сразу проявить суровость. Никаких поблажек! Я быстро с ними справлюсь, увидишь! Ты дай говорить мне, а сам только слушай. Нечего разводить туры на колесах. Самое лучшее — действовать по-военному: раз, два, три — и готово. Застегнись на все пуговицы.

Он обтянул на мне пиджак, потом поправил свой галстук, как будто готовился к приему у министра, и, заметив мою усмешку, сказал:

— По платью встречают. Секунданты должны иметь вид торжественный. Секундант — посол смерти. А ты как думал? Боже упаси улыбнуться, сесть, подать руку! Держать себя холодно, строго, церемонно, без малейшей фамильярности, быть чопорным — и точка!

Нас заставили ждать добрых десять минут, пока опять заскрипел в замке ключ и отворилась калитка. Тот же хлопец впустил нас во двор со словами:

— Ну, входите. Пан Игнац сейчас придет, осталось ему один воз выгрузить.

Посаженные на цепь собаки опять завели свой дуэт, стараясь перешеголять друг друга. Хлопец погрозил им кулаком и ушел, оставив нас на дворе, засаженном подсолнухами и кустами крыжовника и малины. Хилые деревца жались к забору и укрывали своей тенью белый каменный дом с террасой, оплетенной диким виноградом. Под окнами зеленая лужайка пестрела какими-то желтыми цветами.

На ступеньках террасы грелся на солнце большой темносерый кот, свернувшись в клубок около слепого пинчера, с которым он, видимо, жил в полнейшем согласии. На открытых окнах висели клетки, полные щеглят и канареек, заливавшихся во все горло, на подоконниках — горшки герани и мирта.

За белыми занавесками мелькнули любопытные женские глаза. В доме плакал ребенок и слышался голос няньки, которая, ужасно фальшивя, убаюкивала его песенкой.

Все здесь дышало мирной простотой деревенской глуши, и во всем заметна была хозяйственность.

Наши чопорные безмолвные фигуры представляли удивительный контраст с окружающей картиной. В своих черных сюртуках и цилиндрах мы действительно напоминали «послов смерти» и вносили в нее что-то жуткое и зловещее.

Я безотчетно чувствовал себя посторонним, вторгшимся сюда без всякого на то права. И, несмотря на важность нашей миссии, меня сместила мина адмирала, необычайно торжественная, хмурая и официальная. Он стоял в позе, полной достоинства, опираясь на трость и заложив руку за борт сюртука, — с видом прокурора, который готовится начать обвинительную речь.

«Пан Игнац», однако, не появлялся, — видно последний воз был сильно перегружен или просто хозяин не спешил уладить дело чести, о котором ему доложил его слуга.

— Не угодно ли в комнаты? — раздался вдруг приветливый и робкий женский голос. В дверях дома стояла худенькая старушка в черном чепце с оборками, одетая

по-городскому, но в большом фартуке, под которым она прятала руки.

— Вы к Игнацу или к Павлику? — осведомилась она.

— К обоим, — ответил коротко и решительно Пукальский, приподняв шляпу.

— К обоим? — повторила она с удивлением, и тревога мелькнула в ее темных впалых глазах. Она, видимо, силилась отгадать цель неожиданного визита и озабоченно смотрела на нас.

— Игнаца что-то не видно, а Павлик, должно быть, у печей, — сказала она, наклоня голову при каждом слове, словно приветствуя нас поклонами. — Пожалуйста в комнаты! На солнце стоять нехорошо. Я сейчас пошлю за старшим сыном. Янек! Янек!

И засемила по коридору в другую половину дома, как старая наседка за цыплятами.

Из бокового окна выглянула головка девушки в ситцевой кофточке. Из-за клеток с птицами и миртов с любопытством глянули на нас ее большие черные глаза, а в дверях появилась еще одна фигура — женщина лет двадцати с небольшим, полная и красивая.

— Бабы в доме, — шепнул мне адмирал. — Вот уж чего терпеть не могу!

Он поморщился, выпятив нижнюю губу, покачал головой и, взглянув на часы, сказал:

— Еще две минуты, и я...

Но не успел он договорить, как перед нами словно из земли вырос мужчина лет тридцати, в серой куртке, высоких сапогах, измазанных глиной, в синей фуражке с лакированным козырьком. Это был плечистый великан с широким загорелым и румяным лицом, небритым, вероятно, с самого воскресенья. Метнув на нас исподлобья угрюмый и подозрительный взгляд, он приподнял фуражку и спросил:

— Вы ко мне, господа, или к брату?

Пукальский вздрогнул и высунул вперед усы, как сом:

— А, это вы, пан Беляк?

Он пронзил его взглядом, словно шпагой, тяжело перевел дух, выпрямился и с места в карьер начал:

— Мы пришли сюда по известному вам делу редак-

тора Дрызевича и хотели бы поговорить с вами с глазу на глаз.

Великан заморгал глазами. Держа руки в карманах, он стоял, покачиваясь на широко расставленных ногах и глядя в землю.

Его загорелое лицо вспыхнуло кирпичным румянцем. Он помолчал, словно взвешивая все, и сказал тихо:

— Так вы из редакции? Ну, что ж, пожалуйста за мной.

И без дальнейших церемоний первый взошел на крыльцо.

Фуражку он неловким жестом сорвал с головы и через всю комнату швырнул на столик в углу, пригладил ладонью светлые, как солома, волосы и остановился перед нами в выжидательной позе, чуточку горбясь и опять сунув руки в карманы.

Комната, куда мы вошли, была невелика, но опрятна, убрана в мещанском вкусе, — вероятно, это была парадная гостиная: крытая репсом мебель, на столе, на вязаной скатерти, фарфоровая лампа, на стенах две-три олеографии, закрытые от мух розовой марлей, и зеркало в золоченой раме, за которой торчали поздравительные открытки. В простенках между окнами, в рамках из ракушек и плетеной соломы, ютилась целая галерея фотографий, среди них — видимо, снятый в день свадьбы пан Игнац во фраке, с огромным букетом, об руку с красивой невестой в белом платье и пышной фате. Легко было догадаться, что пан Игнац женат и что плакавший ребенок был первым чадом молодой пары.

— Так в чем дело, господа? — через минуту спросил хозяин не очень любезным тоном.

Адмирал откашлялся, многозначительно посмотрел на меня, словно говоря: «Теперь слушай и замечай!» и, важно подняв голову, сказал:

— Прежде всего, чтобы констатировать факт, позвольте спросить, вы ли вместе с кем-то другим напали вчера вечером, между десятью и одиннадцатью, на пана Дрызевича во дворе дома, где помещается редакция, и нанесли ему оскорбление действием, так как вас задела статья в газете о ваших семейных делах?

Беляк прикусил губы и закрыл глаза, словно об-

думывая ответ. Наконец с иронической гримасой спросил:

— Ну, а если я, так что?

— Значит, вы — пан Игнатий Беляк? — допрашивал Пукальский.

— Так меня зовут.

— Не угодно ли назвать своего вчерашнего сообщника?

— А зачем это вам?

— Нужно.

— Хотите в суд подать?

— Дела чести решаются другим путем, — возразил адмирал со светской учтивостью. — Попрошу вас еще ответить, берете ли вы целиком на себя ответственность за нанесенное оскорбление, или нам следует обратиться и к вашему сообщнику?

— Как это?

Пукальский становился все любезнее, рассчитывая вызвать в конце тем больший эффект формальным вызовом на дуэль.

— Мы желали бы знать, готовы ли вы, по долгу чести, дать нашему другу надлежащее удовлетворение, как это принято в подобных случаях? Вам, конечно, известно, что за оскорбление действием требуют сатисфакции с оружием в руке!

Беляк опять иронически скривил губы и сказал:

— Это дуэль, что ли?

Адмирал важно поклонился и глухим голосом ответил:

— Безусловно.

У Беляка набухли жилы на висках, он с минуту молчал, кусая губы и теребя серебряную цепочку, на которой побрякивали брелоки — потускневшая монета и веточка красного коралла. Затем он отвернулся, стал лицом к окну, хмыкнул и сел в кресло, не обращая внимания на то, что мы стояли в выжидательной позе.

— Дуэль? — повторил он — Дуэль? Гм... Значит, я должен стать перед ним и дать стрелять в себя?

— Вы имеете такое же право стрелять и даже стрелять первым, так как вас вызвали, — пояснил Пукальский.

— Первым, говорите? Вот как? Гм... Ну, а дальше что?

Адмирал мигнул мне и подошел к Беляку:

— Теперь, когда мы все выяснили, остается только от имени нашего друга, пана Дрызевича, потребовать от вас сатисфакции в кратчайший срок: в течение суток.

Вызванный поднял голову, широко открыл глаза и пожал плечами.

— А мне никакой «сатисфакции» не нужно. Я ее получил таким способом, как мне нравится, и баста! У нас, за заставой, таких фанаберий не понимают. Пусть пан Дрызевич, если хочет, подаст на меня в суд. Я ничего не боюсь: заплачу штраф, и дело с концом.

Мы остолбенели. Пукальский покраснел, усы у него топорщились, ноздри раздувались, в первую минуту он был сбит с толку и не находил слов. Но скоро овладел собой.

— Вы, почтеннейший, кажется, не вполне понимаете, что значит задеть честь человека, — сказал он.

— Ну, уж извините, не вам меня учить, что такое честь, — перебил его Беляк сердито. — У меня честь — вот она тут, в кулаке! И если кто мою честь затронет, я дам в морду или переломаю ему кости — и все. Что же вы думаете, я позволю, чтобы на меня клеветали в газетах? Что напечатано, должно быть святой правдой. А пан Дрызевич назвал нас с братом «выродками», объявил, что у нас нет ни чести, ни совести, выставил на посмешище — и мы должны были это стерпеть? Ну, нет! Он нас ни за что оболгал — так пусть теперь прикладывает примочки. Поделом ему. Пусть еще бога благодарит, что не отделали его покрепче. С Беляками надо ухо остро держать: мы зря никого не задеваем, но если нас кто хоть словечком обидит, — бьем, сколько влезет.

Он повысил голос и размахивал сжатыми кулаками так, как будто хотел нам тут же выбить зубы.

— А как бы он поступил, если бы мы объявили всему свету, что он выгнал родного отца и заставил его побираться? Значит, можно печатать в газете такую гнусную ложь? Хороша газета, которая распространяет мерзкие сплетни! У нас этим бабы занимаются, а уж газете печатать небылицы — стыдно!

Адмирал даже вспотел.

— Позвольте, уважаемый! Хотя это к делу не относится, но должен вам заметить, что в газете сообщался достоверный факт — у нас найдутся доказательства.

— Найдутся или не найдутся, — опять перебил его пан Игнац, еще больше раздражаясь, — это все равно! В чужой горшок нечего нос совать! Кому какое дело до того, что творится в чужой семье? Только этого не хватало!

Он большими шагами ходил по комнате и плевал в угол.

Положение обострялось, а главное — из него не было выхода. Дело принимало совершенно непредвиденный оборот.

Мы слишком поздно поняли, что имеем дело с человеком, у которого совсем иные понятия о кодексе чести, с человеком из отсталой среды, где не известен «рыцарский» обычай смывать кровью нанесенную обиду.

Здесь, за заставой, дуэль называли «фанаберией», годной лишь для городских господ, а не для людей тяжелого труда, простых обычаев и «неотшлифованных» форм общественной жизни.

Как тут требовать удовлетворения от этого Беляка, который учинил над нашим другом расправу, вероятно уже известную сейчас всему городу и, может быть, вызывающую всякие превратные толки и домыслы?

Дрызевич попал в отчаянное положение, и мы оба, его секунданты, понимали, что если бы пан Игнац убил его на месте, он причинил бы ему меньшее зло, чем сейчас, когда, унизив и осрабив его, отказывает ему в сатисфакции.

Мы знали, как всю эту историю подхватят конкуренты Дрызевича, как истолкует ее злоба людская, как все это будет раздуто, размазано сплетниками, если пятно останется несмытым!

И Пукальский решил во что бы то ни стало довести дело до дуэли.

— Значит, вы не намерены драться? — обратился он к Беляку.

— Отчего же, пожалуйста, — но на кулачки.

— Простите, такие шутки неуместны, — обиделся адмирал. — Итак, вы отказываетесь от дуэли?

— Ясно. Я такими глупостями не развлекаюсь.

— Так вы не желаете стреляться с паном Дрызевичем?

— Нет.

— А с кем-нибудь из нас, его друзей, — тоже не согласны?

— С какой стати? Вы мне ничего не сделали, я вас не знаю, первый раз вижу.

— В таком случае мы, с вашего позволения, напишем протокол вызова.

На Беляка слово «протокол» произвело некоторое впечатление.

— Про-то-кол? Это еще зачем?

— А затем, чтобы у нас осталось письменное доказательство вашей... трусости, — отрезал адмирал спокойно, но внушительно и не спеша начал стягивать перчатки. — Хотя вы, повидимому, и не дворянин, но не можете не знать, что...

Лицо Игнаца покраснело, как томат.

— А кто вам сказал, что я не дворянин? — крикнул он вдруг так запальчиво, что я невольно сильнее сжал в руке трость и встал между ним и адмиралом.

— К вашему сведению, я дворянин и, может, почище вас! Что же из того, что я делаю кирпич? Это лучше, чем быть дармоедом и гранить мостовую или писать в газетах! Вы в моем доме своим дворянством не бахвалитесь, а то я могу выйти из себя, и...

Этот взрыв негодования не только не испугал, а напротив, явно обрадовал адмирала, ибо, открыв слабую струнку Беляка, давал возможность сыграть на ней.

— Уж извините, поверить трудно, чтобы шляхтич отказался от дуэли. Никакой труд не позорит человека, а вот отказ дать удовлетворение в деле чести позорит его! Раз вы отказываетесь, мы запишем в протоколе, что шляхтич Игнатий Беляк не принял вызова от оскорбленного им редактора Дрызевича. Если вы предпочитаете такой выход, так принесите, пожалуйста, лист бумаги, перо и чернила.

Он расстегнул сюртук, эффектным жестом поставил на стол цилиндр и уселся, уголком глаза с любопытством наблюдая за Беляком. Того как будто смутил такой оборот дела и новый тон адмирала. Он явно не знал, что ответить. Эта угроза была для него неожиданной.

— И стреляться не буду и писать ничего не позволю, — объявил он через минуту. — У меня здесь не канцелярия. Пишите себе дома протоколы, если вам это нравится.

— Нет, — коротко и решительно возразил адмирал. — Протокол должен быть написан в присутствии получившего вызов, как документ, который будет оглашен.

— Как? Вы его хотите напечатать?

— В случае надобности, можем и напечатать. Наш друг должен восстановить свою репутацию.

Беляк подпер рукой подбородок и задумался. Он понял, что ему грозит новый позор, если его назовут в газетах трусом. Положение оказывалось безвыходным. Дворянская амбиция боролась в нем с упорством простого человека, не желающего уступать именно потому, что на него насаждают.

Из-за полуоткрытой двери в соседнюю комнату до нас доносился шопот: кто-то, очевидно, подслушивал весь наш разговор. Женские голоса выдавали присутствие там «баб», о которых говорил недавно адмирал.

— Игнац! Игнац! — робко позвала одна из них. — Поди сюда на минутку.

Беляк неохотно подошел к двери.

— Ну, что там?

Его за рукав вытащили из комнаты, и там зашептались еще оживленнее. Несколько голосов с различными интонациями торопливо заговорили разом, и по временам сказанная громче фраза долетала до нас:

— И думать не смей!

— А я тебе говорю — прими.

— Ты, сопливая, тебя не спрашивают!

— А почему? Что, я не член семьи?

— Игнац, ради бога, не стреляйся!

— А я говорю — стреляйся!

— Нет!

Заглушенный женский плач вдруг прервал спор за стеной. Нетрудно было догадаться, что это жена Беляка в тревоге за мужа дала волю слезам.

— И сколько нам твой отец горя принес! — вырвался у нее неосторожный вопль, который был для нас наилучшим подтверждением приведенных в заметке фактов.

Положение становилось все более щекотливым, но и все более любопытным. Любчинский был окончательно реабилитирован в моих глазах. Теперь сомнений быть не могло: старый Беляк и в самом деле нищенствовал. Однако за всем этим скрывалась какая-то семейная тайна, которую трудно было сейчас понять.

— Замолчите, не то я, ей-богу... — раздался вдруг крик потерявшего терпение Игнаца, которого этот семейный совет, видно, порядком раздражал.

Шопот утих, и теперь внятно прозвучал молодой, полный задора девичий голос:

— А я все-таки говорю, что он обязан драться. Разве ты, Настуся, хочешь, чтобы твоего мужа ославили трусом? Ведь он — мужчина, чего ему бояться?

— Замолчи, Юзя!

Мне хотелось расцеловать эту задорную девчонку, которая одна пыталась защитить честь семьи. В голосе ее звучала отвага, благородный пыл!

Я увидел мельком только ее черные глаза из-за занавески, но уже рисовал ее себе в образе амазонки, воодушевляющей перед боем свой отряд.

«Вот умница! — думал я. — Она, кажется, готова сама драться вместо своего шурина».

Адмирал стоял насупившись, как будто ничуть не заинтересованный тем, что происходило за стеной. Для него честь секунданта была дороже всего на свете.

Лицо его было так сурово, словно он сидел на пушке с зажженным фитилем и ожидал только команды стрелять.

Я сказал ему вполголоса:

— Кажется, ничего не выйдет.

— Что?! — рявкнул он с таким возмущением, что уж одним этим криком чуть не сшиб меня с ног. Потом с презрением отвернулся от меня и стал насвистывать

сквозь зубы мотив военной зори. В глазах его я прочел с трудом сдерживаемый гнев и нетерпение. Барабанив пальцами по столу, он ждал возвращения Беляка.

Прошло еще несколько долгих минут, и, наконец, пан Игнац вернулся из соседней комнаты. Он напоминал взъерошенного медведя, лицо у него было растерянное, глаза опущены, брови сдвинуты. Избегая наших взглядов, угрюмо, но уже спокойнее он сказал:

— Ну, я решил окончательно.

Лицо адмирала просветлело, как будто освещенное солнцем. Он взглянул на меня с триумфом и высокомерием человека, сознающего свое превосходство.

— Наконец-то! Значит, принимаете вызов?

— Нет, — лаконично и твердо ответил Беляк.

Пукальский вскочил.

— Нет?

— Нет. Пускай пан Дрызевич, если хочет, подает на меня в суд. В суд явлюсь, а на дуэль и не подумаю.

Я боялся, что адмирал сейчас, как рысь, кинется на него.

Одну минуту у него действительно был такой вид, будто он готовился к прыжку, но он только вздохнул всей грудью, стиснул зубы, застегнул опять сюртук доверху и замогильным голосом произнес:

— В таком случае будем сейчас писать протокол.

Закрутив усы, он прищуренными глазами смерил Беляка с головы до ног и сказал с уничтожающим презрением:

— Значит, предпочитаете бесчестие, господин шляхтич? А я-то думал, что и среди кирпичников есть люди, дорожащие добрым именем. Но, видно, ошибся.

— Думайте, что хотите, — буркнул Беляк, пожимая плечами.

— Напасть, как разбойник, ночью — на это смелости хватает, — продолжал Пукальский. — А стать лицом к лицу на поединке — страшновато? Да, пан, с такими людьми единственная расправа — суд.

Этот последний натиск был так ловко рассчитан, что даже толстокожий Игнац дрогнул. Он сделал жест, показавшийся мне подозрительным, так как я помнил его заявление, что «честь в кулаке».

Но в эту минуту из боковой двери мы услышали голос:

— Постойте, господа. На дуэли буду драться я.

В комнату вошел юноша, высокий, худой, с едва пробивавшейся на узком лице растительностью, красивый, но мертвенно бледный. Губы его дрожали, в темных глубоких глазах выражалась какая-то грустная решимость, длинные волосы падали на широкий умный лоб. Он производил приятное впечатление и был с виду прямой противоположностью старшему брату.

На нем был длинный черный пиджак, надетый, видимо, только что, для такого торжественного случая. Но в спешке он забыл о других деталях костюма: он был без галстука, в какой-то серой жилетке и таких же штанах, заправленных в голенища пыльных сапог.

— Буду стреляться вместо брата, — подтвердил он ровным голосом, но задыхаясь от волнения.

Мы оба смотрели на этого неожиданно-негаданно появившегося героя, подкупившего нас своей простотой и решительностью. Пукальский даже рот открыл от удивления.

— Вы, должно быть, Павел Беляк?

— Да. Он самый.

— И согласны драться с паном Дрызевичем?

— Согласен.

— На десяти шагах, три выстрела каждому?

— Как вам будет угодно.

— Вы были с братом вчера во время нападения?

— Да.

— В таком случае дело улажено. Укажите нам своих секундантов, и мы обсудим с ними условия и назначим день.

— Разве мы не сейчас будем стреляться? — спросил юноша с наивным разочарованием.

— Можно устроить это еще сегодня, если успеем закончить все приготовления, — утешил его Пукальский.

— Когда хотите. Мне все равно. — Он медленно, машинально потирал загорелые руки и с меланхолической задумчивостью смотрел в одну точку на полу.

А брат, грызя ногти, смотрел на него сбоку с таким

выражением, словно ушам своим не верил. Наконец он подошел к нему и сказал тихо:

— Ты что же, с ума сошел, Павлик?

Тот молча отвернулся.

— Будешь драться?

Павел только кивнул головой, и веки его дрогнули. Он стоял, закусив губы, с видом человека, которого сейчас поведут на казнь.

Минута эта была полна какой-то удивительной серьезности и драматизма. В комнате наступила тишина. Даже канарейки перестали трещать в своих зеленых клетках у окон.

— Кого же вы выберете в секунданты? — спросил, наконец, адмирал, — он один не утратил душевного равновесия.

— Откуда я знаю? — пробормотал беспомощно младший Беляк. — Одного еще, пожалуй, найду... А непременно нужно двух?

— Да, так уж полагается.

— Тогда я попрошу ксендза-викария из церкви святого Мартина. — Он подумал. — А второй... второго он, может быть, сам выберет.

Пукальский невольно усмехнулся при этом оригинальном предложении, обнаружившем полную неосведомленность будущего дуэлянта.

— Ксендз не может быть секундантом, — сказал я, опережая адмирала.

Павел поднял голову и с изумлением посмотрел на меня.

— Не может? А почему? Он бы сделал это для меня, потому что знает нас с детства. Он очень хороший человек. И живет тут неподалеку, можно сейчас же сходить к нему. Если я его попрошу, он, наверное, не откажет.

— Не в том дело, — стал я объяснять. — Ксендзу нельзя принимать участие в дуэли.

— Нельзя?

Его удивление и любопытство росли с каждой минутой.

— Духовному лицу нельзя быть замешанным в таком деле.

— Отчего?

Я замялся.

— Да оттого... Оттого, что ему неудобно...

— Но почему? Мне кажется, что такой почтенный человек — самый подходящий секундант. Я не знаю никого более подходящего.

— Но костел не одобряет дуэлей, — необдуманно брякнул адмирал.

Павел широко открыл глаза.

— Не одобряет? Так, может, это грех — стреляться!

Мы не знали, как выйти из положения, которого никто из нас не мог предвидеть.

— Видишь ли, пан,—начал объяснять Пукальский.— Бывают случаи, когда невозможно разрешить противоречий: заповедь господня говорит «не убий», а кодекс чести требует, чтобы человек, рискуя жизнью, смыл оскорбление кровью. Людям пришлось создать для себя другой, новый закон...

Павел, кажется, уже не слушал. Бледное лицо его порозовело, он смотрел в пространство и шептал:

— Не убий! Не убивай ближнего твоего!

В его наивном уме не укладывалось это противоречие: как? бог запретил убивать, а ему велят умышленно, обдуманно, хладнокровно стрелять в подставленную грудь другого человека, — и попасть, непременно попасть, иначе тот убьет. И это разрешается и называется «делом чести»? Это должно доказать храбрость, избавить его от обвинения в трусости?

По его лицу и глазам видно было, как усиленно работает мозг, сиюсь разрешить неожиданно возникшее недоумение.

Он не хотел прослыть трусом, хотел спасти честь семьи и заменить старшего брата, у которого есть жена, плачущая там от страха за своего Игнаца. А эти два господина в черных сюртуках и блестящих цилиндрах требуют, чтобы он, во имя чести, убил или дал себя убить.

Если он согласится, его бог накажет, а если нет — его покарают люди.

Не зная, как решить эту дилемму, Павел Беляк утирал пот со лба, измученный, озабоченный, растерянный.

И когда мы, четверо мужчин, стали лицом к лицу с вопросом, спорным и для более развитых и сильных умов, вдруг распахнулась дверь, и вбежали три женщины, в которых легко было узнать мать и жену пана Игнаца и ту молодую амазонку, которая только что так горячо убеждала шурина принять вызов.

Они ворвались к нам, взволнованные, с горящими глазами и щеками, тяжело дыша, жестикулируя и укоризненно глядя на нас.

— Извините, господа, это же нехорошо, куда это годится! Пришли к порядочным людям, а не к язычникам каким-нибудь и подбиваете сыновей на грех! Ксендза не хотите допустить, а молодого парня подговариваете на убийство! — кричала старуха со слезами, а невестка вторила ей:

— На что это похоже? Совести у вас нет! Пришли отнять у меня мужа! Я не хочу, чтобы мой ребенок остался сиротой! Что я, несчастная, буду делать, если вы застрелите Игнаца? А если он, упаси бог, другого убьет? Мой муж не разбойник какой-нибудь! Что вы надумали? — Слезы текли по ее щекам, а она все время отирала их ладонью, глядя на нас с гневом и обидой.

Девушка скрестила руки на груди, прислонилась к притолоке и молчала, но брови ее были сердито сдвинуты, и она мерила нас суровыми взглядами. Потом подошла к Павлу, обняла его за шею и увлекла в угол, где начала что-то шептать на ухо, топая с досады ногой, как молодая лошадка.

В гостиной поднялся шум, говор, женщины плакали, канарейки растрещались так, что в ушах звенело, под окном залаяли собаки, а со двора заглядывал тот хлопец, что нам открывал калитку, и нянька с ребенком на руках. Весь дом был в волнении.

Игнац успокаивал мать и жену и требовал, чтобы они ушли.

Адмирал что-то пытался объяснить, раздраженный всей этой сценой, которая принимала трагикомический характер.

— Ну, и попали же мы в переделку! — вырвалось у него, когда я тронул его за плечо и шепнул:

— Пойдем! Ничего тут не сделаешь.

— В жизни не видел ничего подобного! — говорил он растерянно, тщетно пытаясь перекрычить женщин, которые, загородив нам дорогу, твердили одно и то же, упрекая нас, что мы хотим смерти ни в чем неповинных Игнаца и Павлика.

— Извините, пане, — говорила старуха, почтительно взяв меня за рукав. — Вы не удивляйтесь, что Игнац взбесился и обидел того редактора из газеты. Он, конечно, немного горяч, и, если бы он хоть словом кому заикнулся о том, что хочет сделать, мы бы этого не допустили. Но зато он не пьяница, как другие. Мои сынки — не хамы какие-нибудь, мы их учили, посылали в школу, жили из себя тянули, чтобы только их в люди вывести, а вы хотите отнять такого сына у матери? Разве это по-человечески?

Она расплакалась от одной мысли о минувшей опасности.

— Дорогая моя, — сказал я, — вы, конечно, рассуждаете как мать. Сын ваш сильно обидел пана Дрызевича, оскорбил его и должен за это ответить. Женщины в таких делах ничего не понимают. Мы не на убийство подбиваем вашего сына, мы требуем от него удовлетворения, как от порядочного человека. Таков обычай! Когда подерутся два мужика, они идут в участок, а дворянин должен за свой поступок отвечать перед судом общественного мнения.

Она слушала внимательно. Должно быть, моя спокойная доброжелательность внушила ей доверие ко мне, так как она сказала:

— Это, конечно, не моего ума дело, но я знаю, чего честному и порядочному человеку делать не полагается. Вы правы, Игнац скверно поступил, — но зачем же было печатать в газете такие вещи?

— Разве это не правда?

Она опустила глаза и заломила руки в глубоком отчаянии. Голова у нее тряслась, лицо перекосила болезненная гримаса.

— Если бы вы знали... Если бы вы знали... — заговорила она прерывающимся шопотом, с подавленной горечью. — О, боже, боже милостивый! Ну, да, правда, — но отчего так вышло? Этого никто не знает, только мы.

Видите, пане, — продолжала она, отведя меня к самой стене, — мой старик нас срамит нарочно, на зло, святая правда. Человек он не плохой, но как напьется, — тут, скажу вам, с ним сладу нет. Раньше так не бывало, но с каждым годом все хуже и хуже, словно бес в него вселился. Началось это, когда подросли дети и Игнац мой взял себе завод, а Павлик стал ему помогать. Вы сами знаете, старым с молодыми трудно сговориться, — вот и они иной раз со стариком спорили, но никогда у них ни до чего такого не доходило. Только он — одно, а они — другое, он — так, они — этак. Ну, и, по совести сказать, правы были молодые, а отец никогда им ни в чем не хотел уступать. Как разойдется, бывало, — удержу нет! А Игнац, знаете, упрямством в отца: не уступит, хоть на куски его режь. Вот раз отец им и говорит: «Если вы такие умники, так и хозяйничайте одни без меня!» И совсем перестал на завод ходить. Зато из пивной его не вытащишь. Потом стал уже по всем кабакам шататься. Только вы никому об этом не говорите — а я вам все расскажу, как на исповеди...

Она утерла глаза, высморкалась и продолжала шопотом — видно было, что она жаждет излить перед кем-нибудь душу:

— До того, скажу я вам, бедный старик допился, что уж приходилось его домой на руках тащить. Ох, пане, один бог знает, сколько мы из-за него стыда и горя натерпелись. До того дошло, что уж ему денег в руки не давали, потому что все шло на водку. Что ж тут было делать — ну, скажите сами? Вот он и давай вымещать свою злость на нас и ругать и меня, и сынов, и всех в доме. Начался у нас ад, настоящий ад! Но это еще что, по крайней мере тогда можно было людям в глаза смотреть без стыда, ведь мало ли что бывает в семье, никому до этого дела нет. Так нет: вдруг ему новая блажь в голову ударила. Говорит: ах, вы так со мною поступаете? Ни гроша не даете? Что ж вы думаете, я без вас не обойдусь? Просить у вас всякую малость, из ваших рук смотреть? Нет, этого не дождетесь! Забрали у меня все, что я тяжелым трудом, потом и кровью нажил. Ладно же!» И пошел сел на дороге и...

Слезы мешали ей говорить. Она помолчала.

— Ну, где это видано, я вас спрашиваю? Так позорить и себя и семейство! Ведь нас вся застава знает, я тут родилась, тут замуж вышла, тут мы наш завод построили, тут все наши дети на свет родились!

Она плакала тихо, но горько, так, что у нее трясся подбородок, и все качала головой, словно жалуясь на злую судьбу. Она уже не отирала слез — они текли и текли по впалым морщинистым щекам.

Сердце мое растаяло при виде этого горя, я сочувственно погладил ее по плечу и сказал:

— Да, это настоящее несчастье! Жалко мне вас от души, но кто же знал? Так уж случилось, что эта история попала в газету — и отсюда потом и пошли все неприятности.

— Вот теперь вы сами видите! И неужто уж так сразу надо было печатать? Когда Игнац это прочитал, я думала, его на месте удар хватит. А бедный мой Павлик головой о стену бился и все твердил: «Что отец наделал! Что отец наделал! Теперь ни один порядочный человек нам руки не подаст!» Его это больше всего расстроило, потому что он на святого Михаила хотел жениться на дочке нашего соседа, мясника — вот их дом, напротив.

— Ну, а старик как? — спросил я.

— А ему, думаете, стыдно стало? Где там! Схватил шапку да и был таков. Вот уж третий день не приходит домой, не знаем, где и искать его.

Я был так поглощен рассказом об этой семейной драме, что не замечал всего происходившего вокруг. Меня вернул к действительности голос адмирала, полный необычайного пафоса:

— Дорогая моя, вы меня не знаете, но спросите вот у моего товарища. Я могу быть жесток, как палач. Я — железо, камень, когда это необходимо. В жилах у меня течет рыцарская кровь рода, который насчитывает шесть веков! Мои предки и спали, не снимая шлема и щита! Мужчины были, как дубы! Про Пукальских говорили, что такого, когда убьешь, надо еще свалить, — сам не упадет! Ни один Пукальский не просил и не давал пощады. Но они были люди справедливые, и я тоже справедлив. Во мне дух рыцарей — надо вам сказать, что в моем роду были бароны. И я пришел, чтобы во имя че-

сти вызвать вашего мужа на суд божий. Дуэль — святое дело, поверьте, что бы там ни говорил ксендз-викарий! Оскорбитель должен подставить грудь, ничего не подделашь, а я, как секундант, обязан позаботиться, чтобы получивший вызов, живой или мертвый, явился на место дуэли. Ваш муж обязан дать Дрызевичу сатисфакцию, этого требует кодекс чести...

— Но позвольте, господин барон, — пыталась перебить его жена Игнаца, ошеломленная этой красноречивой тирадой. — Я понимаю, конечно, что Игнац...

— Еще два слова, пани! Вы люди другой среды, и положение создалось трудное! — Он говорил все это, держа ее за руку, а другую руку положил на плечо старшему из братьев, который сидел на диване под зеркалом и внимательно слушал. — Пан Игнац забылся и поступил не по-дворянски. Говорю с вами сейчас не как официальное лицо, а как человек человеку. Беляк! — Он нагнулся к уху Игнаца и конфиденциально, с добродушной фамильярностью добавил: — Это была хамская выходка! Да, да, не спорь, не защищайся. Сам знаешь, что поступил дурно.

Игнатий покачал головой и смущенно, с кротостью, вовсе не вязавшейся с его недавним упорством, подтвердил:

— Ну... что правда, то правда... Немного я...

— Постой, Беляк, — опять прервал его адмирал и с все большей фамильярностью и сознанием своего превосходства продолжал: — Вот стоит твой брат — он молчит, но я по его лицу вижу, что он со мной согласен. Благородный юноша! «Постойте, господа, я буду стреляться». Вот это по-рыцарски! Я вас уважаю, молодой человек, и протягиваю вам руку. Но это, конечно, как частное лицо, потому что, как секундант, я не имею права больше с вами и двух слов сказать. Но после того как вы мне все объяснили, я вижу, что ваш старик — каналья! Да, да, пан Игнац, не спорь, каналья он и больше ничего! Вы уж на меня не обижайтесь, мои дорогие, но я повторяю — он каналья, потому что нельзя так позорить родных детей!

Я слушал все это с удивлением, дивясь адмиралу, игре его лица, выразившего попеременно то строгое до-

стоинство, то добродушную фамильярность. Дивился напыщенной самоуверенности, с которой он заливал всех потоками слов, забывая все больше и больше о своей роли секунданта.

Семейная тайна, открытая ему Беляками в то время, как старуха изливала передо мной душу, подействовала на его впечатлительную и — по существу — мягкую натуру, крившуюся под маской неумолимой суровости, и вывела из равновесия.

Его переубедили слезы жены Игнаца и хорошенькое личико ее младшей сестры, которая из разгневанной Юноны превратилась в улыбающегося бесенка и, видя, что дело принимает благоприятный оборот, при каждом красноречивом аргументе адмирала хлопала по спине то одного, то другого шурина, говоря:

— Вот видишь, Игнац! Вот видишь, Павлик! Ну что?

Наконец, упершись руками в колени и наклонясь к Пукальскому с плутовской миной, она спросила улыбаясь:

— Правда, ведь им не надо будет стреляться? Правда? Теперь вы все знаете и не будете больше их подзуживать? Ведь вы уладите это дело миром? Сделаете это для нас, для Настуси и меня, да?

Адмиралу ее слова напомнили, что он, собственно, дал сбить себя с толку и так и не выполнил своей миссии. Хорошо, поединка не будет, но что же дальше? Дрызевич там с нетерпением ждет результата, не подозревая, какой оборот приняло дело.

Адмирал оскалил в улыбке широкие белые зубы. Смеялись и его глаза, а лицо приняло добродушно-лукавое выражение.

— Выход только один: придется паненке драться вместо шурина, — пошутил он. — Ну, как, согласны, панна Юзя?

— А вы думаете, я бы побоялась? Нет, я не такая!

— Ну, а ты что скажешь? — обернулся адмирал ко мне. — Ты слышал — тут, оказывается, неприятное осложнение. Это старик виноват.

— Знаю. Но при всем том надо же как-то исправить зло, которое сделали Дрызевичу, и дать ему удовлетворение.

— Ну, разумеется! — поспешно согласился адмирал, но тотчас же наморщил лоб — видимо, он не мог ничего придумать.

— Мне кажется, следовало бы... гм... а ты что предлагаешь? — Он пытливо посмотрел мне в глаза.

Я молчал, не находя ответа.

Выручила меня старуха, робко вмешавшись в разговор:

— Извините... Мне думается, раз Игнац виноват и так обидел того пана из газеты, так, может быть...

— Что вы, мама, надумали? — внезапно встрепенувшись, спросил у нее с беспокойством старший сын.

— Думаю, сынок, что тебе следует пойти и хорошенько извиниться перед паном Дрызевичем. И тебе, и Павлику. По моему глупому разумению, только так и надо сделать.

— Извиниться?

Игнац вскочил и так покраснел, что казалось — из его щек вот-вот брызнет кровь.

А Павел только закашлялся, как будто его что-то душило, и переступил с ноги на ногу.

— Извиниться? — повторил старший Беляк, заикаясь от волнения. — Нет... это... это... Лучше уж я... Это я не могу...

Но мать, не обескураженная возмущением сына, продолжала:

— Видишь ли, дитятко, человек слаб и часто ошибается но уж если он понял, что неправ, тогда не надо упираться, это еще худший грех. Повинную голову и меч не сечет. Я тебя маленького учила: не гордись. Обидел ты человека, — так пойди и попроси прощения, объясни все, как было, а эти господа теперь уже все знают и поддержат тебя. Мне так думается: в справедливом поступке больше чести, чем в дуэли. Игнац, я, твоя мать, говорю тебе: ступай и извинись! Пойдешь? ты же видишь, что тут во всем один только отец виноват, — добавила она тише, и в ее мягком голосе задрожали слезы. — Что толку упираться, если он сидел у дороги и разыгрывал из себя нищего!?

Адмирал крутил усы и выпячивал губы: он находил, что это недостаточная «сатисфакция».

— Гм... Извинения... Извинения... Этого еще мало!

— Мало? — повторило хором несколько голосов с различными интонациями.

— Да, мало. Что это значит для общественного мнения? Оскорбил человека публично, значит и удовлетворение он должен получить публично. Нет, к великому сожалению, я не вижу другого выхода, кроме дуэли.

Минутная тишина. Лица у всех вытянулись, помрачнели, все стояли испуганные, и каждый размышлял про себя.

Только мать не сдавалась:

— А как вы думаете? — начала она снова. — Если надо сделать что-нибудь, чтобы люди знали, так, может, сыну пожертвовать десять или пятнадцать возов кирпича на костел, который у нас строится? Ведь и суд присудил бы штраф не больше этого. Да и не в деньгах дело, а в раскаянии. Как ты скажешь, Игнац?

Я с уважением посмотрел на старушку, восхищаясь находчивостью, с которой она разрешала «дело чести».

— Так-то, — говорила она все с большей уверенностью, увидев, что проект ее не вызывает возражений. — И волк будет сыт, и овцы целы. Ты извинишься, Игнац, и дашь пятнадцать возов кирпича на костел. Угодишь и людям и пану богу.

Сыновья стояли, потупив головы, и озабоченно рассматривали свои сапоги.

— Пожалуй, десяти хватит! — пробормотал Игнац тихо, пробуя поторговаться с матерью, но она остановила его, сказав:

— Стыдись! Жалеешь для бога немного глины?

* * *

Около полудня мы с адмиралом возвращались от Беяков в довольно странном настроении. Карета подсакивала на неровной мостовой. Лошади ржали, надывавшись за городом свежим воздухом, солнце изрядно припекало, и нам было жарко.

Высунувшись из окна кареты, мы курили и размышляли с необычайным окончанием «дела чести».

Мы чувствовали, что, по традиционным понятиям «света», не выполнили как следует обязанностей секундантов. Правда, мы добились единственного удовлетворения, какое возможно было в данных условиях, но будет ли доволен Дрызевич и так называемое общество? Мы в этом сильно сомневались.

Пукальский долго молчал, обуреваемый, вероятно, такого рода мыслями, потом вдруг повернулся ко мне:

— Что ж, мы сделали все возможное, не так ли?

— По-моему, да.

— Знаешь что? Первый раз со мной такой случай, но, ей-богу, я не знаю... Разве лучше было бы, если б этот Буцефал, который, наверное, никогда в жизни не держал в руках пистолета, явился к барьеру и дал Дрызевичу застрелить себя?

— Истратили бы впустую несколько зарядов пороха,— заметил я,— но зато шум выстрелов заглушил бы ропот в обществе.

Адмирал пошевелил усами.

— «Общество»! Пусть только оно посмеет слово пикнуть,— будет иметь дело со мной! — воскликнул он, прищутив левый глаз с такой грозной миной, словно уже брал на прицел все общество.

— Какому-нибудь Беляку можно отказаться от дуэли, но у Пукальских другие убеждения!

— Ну, еще бы! Кровь рыцарей... Баронов! — вставил я чуть насмешливо.

Адмирал повеселел. Глянул на меня с наивной гордостью и спросил удивленно:

— А тебе это откуда известно?

— Слышал сегодня от тебя самого.

Он ухмыльнулся, открывая все зубы, и воскликнул:

— А ты заметил, какое это на них произвело впечатление? Люди они простые, но, видно, почтенные. Съезжу к ним как-нибудь еще. У этой Юзи красивые глаза, и за словом она, шельма, в карман не лезет. Обожаю таких девчонок!..

Габриэля Запольская

Г О Н О Р К А



ГАБРИЭЛЯ ЗАПОЛЬСКАЯ

Габриэля Запольская (1860—1921), популярный драматург, романистка и новеллистка, происходила из дворянской семьи Корвин-Петровских. Среднее образование получила во Львове, после чего целиком посвятила себя театру, выступая на сценах польских театров во Львове, Варшаве, Кракове и Познани, а с 1890 года в театре Антуана в Париже, где приобрела известность как исполнительница жанровых ролей. Литературной деятельностью занялась сравнительно поздно — в начале девяностых годов, сразу обратив на себя внимание отличным драматургическим мастерством.

На стиль Запольской имело несомненное влияние глубокое знание сцены, ее особенностей и требований, тот театральный опыт, который она приобрела, будучи актрисой. Но успеху произведений Запольской прежде всего способствовала позиция, которую писательница заняла по отношению к современному ей обществу. Она вступила в борьбу с фальшивой моралью мещанства, с его лживостью и отсталостью. В своей комедии «Мораль пани Дульской» Запольская дает резкую, почти карикатурную картину мещанской жизни, сохраняющую в то же время всю свою жизненную правду. Не случайно названием «дульщина» называют в польской литературе все проявления мещанства.

Из других широко известных драматических произведений Запольской следует назвать: «Панна Маличевская», «Их четверо» и «Малка Шварценкопф»; из романов — «О чем не принято говорить», «Райская птица», «Сезонная любовь». В своей прозе Запольская грубо натуралистична, что снижает значение ее борьбы за раскрепощение женщины, превращая порой все произведение в эротическое повествование. Этими же недостатками страдают и некоторые ее новеллы, собранные в книгу «Человеческий зверинец».



ГОНОРКА

Гонорка лихорадочно пеленает тихо и жалобно плачущего ребенка.

Расправляя трехаршинный свивальник, она говорит охрипшим голосом:

— Поди, поди, сыночек! Пойдем на свадьбу к твоему папеньке... Пойдем, дружками будем; но не к алтарю его поведем, а баню ему устроим, да такую, что пятки у него захолонут!

Возле топчана, на котором лежит ребенок, стоит кума Казимириха, смотрит и причитает:

— Ах, безбожник! негодяй! гуляка! Такую честную девушку с правильного пути свел, а теперь о ней и думать перестал!..

Гонорка с силой тянет свивальник.

— Он-то обо мне думать перестал, но я-то о нем думаю! И пускай мне Иисус с пресвятой матерью руки и ноги переломает, если я допущу его к алтарю!.. Только через меня и через это дитя перешагнет он!

— Твоя правда, — поддакивает кума, вытирая слезы, которые градом текут по ее красному толстому лицу. — Верно! Такой обиды и святая троица не простит!.. Ты свосго требуй, Гонорка, плюнь ему в лицо, от невесты оторви, но своего не подари!..

— И не подарю, — повторяет девушка, стиснув зубы. Она берет большой кусок байки, развешенный возле печки, и, зажав, один конец в зубах, заворачивает ребенка. Мальчонка, которым вертят, как мячиком, жалобно хнычет.

— Тише, ты! Чтоб тебе своим же языком подавиться, приблудный щенок! — вскрикивает Гонорка, не в силах сдержатъ отчаяния, и так сильно тормозит ребенка, что он скулит, как прибитая собачонка. Припав лицом к топчану, Гонорка кричит в безграничном отчаянии:

— Да не скули ты над моей бедной головой, сирота несчастная!.. А то доведешь меня до преступления!..

Кума Казимириха склоняется над стоящей на коленях женщиной.

— Оставь ребенка в покое, Гонорка. Не измывайся ты над дитятей.

— Через него все это, через него!..

Казимириха поводит плечами.

— Эх ты, — говорит она вразумительно. — Как это так, чтобы через него этакое дело произошло? Разве он велел тебе с этим ветрогоном возиться? Его-то, червячка, и на свете-то еще не было.

И, отняв ребенка у нее, она сама его перепеленала.

— Разве ж это дело, чтобы на младенце на неповинном свою злобу срывать? — тянула она гнусаво и монотонно, — дело в том, чтоб в костел ко времени попасть... и молодому поперек дороги стать!.. Слышишь?

Гонорка все еще стояла на коленях у топчана, перебирая исхудавшими руками разорванное и разлезшееся покрывало. Сквозь маленькое оконце, расположенное высоко в стене, над самой постелью, проникал луч света, озаряя лицо девушки, изможденное слабостью и скорбью, раздиравшей ей душу.

Она не сразу ответила на вопрос кумы. Сдвинув брови, прошептала сквозь стиснутые зубы:

— Не прощу! не прощу!..

Закутав ребенка, Казимириха сняла со стены темный платок и накинула его на плечи Гонорки.

— Пошли! — сказала она, — пора! Пошли!

По лицу девушки скользнула тень страха, она закрыла глаза и на минуту застыла, как бы прикованная к топчану. Кума уже стояла, закутанная в платок, готовая в путь, слегка покачивая плачущего ребенка.

— Гонорка!.. Ты что расселась!.. Хочешь скандал подымать — так бежать надо во весь дух, — пора!..

— Еще минутку, кума!.. — просила Гонорка, — меня страх берет...

Казимириха задрожала от ярости.

— Ах ты, дрянная! — закричала она, положив ребенка на топчан, — у тебя к этой козявке никакого сострадания нет! Ведь все пропало у тебя на всю жизнь! И честь и невинность твою перед людьми этот мозгляк отнял у тебя, ребенка на руки бросил и тебе заботиться о нем приказал. А вот как он обженится — тут ты все права на него потеряешь! Тут уж ни бог, ни ксендз, никто твоих прав не признает! Женатый — от всего защищенный! А ты с малолетства ослицей была — недаром покойная мать так тебя и называла!.. Ну!.. Разве не ослица? Когда можно еще хоть что-нибудь выгадать — так она на пол садится, страх ее берет!

Гонорка поднялась с пола, схватила ребенка на руки и быстро пошла к выходу.

— Идем! — бросила она коротко и ногой толкнула дверь.

Глаза ее горели, прикушенные губы были стиснуты.

— Наконец-то, — проворчала кума, закрывая дверь на замок. — Лишь бы его по морде как следует смазала, да так, чтоб народ собрался!



Служба окончилась, но перед большим алтарем продолжали гореть свечи, заливая желтым мигающим светом почерневший холст, на котором белело тело господне, поникшее на кресте. Среди «верных», заполнявших собой лакированные скамьи, было заметно оживление.

Одна из монашек спрашивала другую: «Почему не погашены свечи, раз все прекрасные песнопения уже пропеты?»

— Кажется, будет свадьба,— донесся шопот со скамеек, занятых мужчинами.

Женщины с изяществом склонили головы.

— Благодарим, благодарим... А чья?

— Приказчика из кондитерской и дочери железнодорожника.

Все с удовлетворением зашептались:

— О, стоит остаться!..

— Такая свадьба — это парад!

— Известное дело — железнодорожники любят все делать с шиком!

— А приказчик из кондитерской — «особа»!..

Тем временем служка вынес две подушки и, преклонив колено, разложил их на ступеньках.

— Подушки! — загудели на скамьях.

И опять мужчины информируют ближних насчет особы жениха.

Женщины со вздохом закрывают молитвенники, наматывая на руки длинные четки, вытягивая шеи, любопытные и жадные ко всему, что можно узнать о людях, которым через несколько минут надлежит повторить, как попугаям, слова священного обета.

— Так как же? Как? — спрашивает одна другую.

Молодой — так! — человек честный, порядочный, даже ученый, способный, кое-какие сбережения имеет... Кто знает? Может быть, в скором времени и свою кондитерскую откроет. От такого «деляги» всего ожидать можно...

Женщины кивают головами — они вдруг становятся серьезными, как будто хорошая репутация приказчика преисполнила их чувством достоинства и почтения.

Служка вносит кропило и сосуды со святой водой. На скамейках снова шопот:

— Кропило! Смотрите — кропило!..

И вот уже два ряда тесно построились вдоль скамеек, образуя как бы человеческую аллею. Тянется эта аллея от балюстрады до главных дверей, которые костельный

служитель распахнул настежь. Грохот карет, гомон улицы, весь шум летнего воскресного полдня врывается в сырую тишину костела.

Сквозь цветные стекла проникает луч солнца и бросает разноцветные блики на головы и спины людей.

— Приехали! Приехали! — доносятся голоса толпящихся на ступеньках у входа в костел.

Но это ложная тревога. На пороге костела появляется шафер в блестящем цилиндре, в светлом пальто, наброшенном на плечи. Он горд, усы его завиты щипцами. Он стоит на пороге костела и одним взглядом окидывает все пространство; шуря глаза, он, кажется, пересчитывает горящие свечи на алтаре. Затем быстрым, деловым шагом пробегает сквозь расступившуюся толпу.

— Шафер! Шафер! — шушукаются люди, подталкивая друг друга и вытягивая шеи вслед за ним, исчезающим в дверях ризницы.

Новая волна любопытных скопилась между боковыми колоннами костела. Уже стало тесно и шумно. Женщины вполголоса передают сплетни о семье молодой — сплетни, которые вырастают из-под земли, чтобы убить время и сократить скуку ожидания.

Около входных дверей приглушенный смех. Какой-то шутник рассказывает о молодой чудеса:

— Говорят, какой-то граф прибавил к ее приданому несколько тысяч... Просто так, из дружбы к ее отцу.

— Граф? Кондуктору?

— Что хотите—такие теперь времена пошли...—Смех раздается во-всю. Пожилые женщины поджимают губы и опускают глаза.

— Такие вольности в святом месте! Ох, эти мужчины!.. Никакой веры в сердцах!

Вдруг смех смолкает. На пороге появляется Гонорка с ребенком на руках, в сопровождении Казимирихи.

В появлении двух женщин не было бы ничего необычайного, но Гонорка всем своим видом — с платком, сползающим с головы, с красными пятнами на лице, с растрепанными космами волос на лбу и с конвульсивно сжатыми губами, невольно приковывает к себе взгляды людей. Казимириха перед самым костелом передала ей

ребенка, считая, что мать должна с ним предстать перед всеми, — и так стоит теперь Гонорка, лихорадочно прижимая к своей груди притихшее дитя, стоит, как прикованная к порогу, полная решимости и отчаяния, которые терзают ее бедную душу. Глаза у нее сухие, обведенные синими кругами, и от слабости она почти косит.

Стоит она и словно не замечает толпы, которая окружила ее и с животным любопытством накидывается на эту новую добычу. Но Казимириха не дремлет. При виде освещенного алтаря глаза кумы наполняются слезами, и, поправляя платок, она жалобно качает головой.

— Да! Да! — говорит она приглушенным голосом, — пришли мы к господу Иисусу за справедливостью, за судом его пресвятым. Пусть он нас рассудит. Пусть окажет сиротам милосердие!

Толпа нюхом предчувствует скандал.

То тот, то другой подвигается к Гонорке, которая продолжает стоять у порога с ребенком на руках.

— Обида, что ли, какая?

— Обида. И тяжкая. Вот ее, сироту, что стоит здесь, сегодняшний молодой обесчестил, невинности лишил, жениться обещал, а теперь с малышом, как собаку, на бездорожье вывел и бросил!..

Возникший в толпе шум сразу стих. Каким-то холодом тоски и женской недоли повеяло над головами.

Мужчины инстинктивно съежились и пригнули головы, женщины, широко открыв глаза, вглядывались в девушку и ребенка, которого можно было бы счесть мертвым, так тихо он лежал в лохмотьях среди складок материнского платка.

Между тем кума набиралась все больше смелости и уверенности в себе.

— А как же! Вот мы и пришли сюда ни для чего другого, а только для того, чтоб представиться невесте и не допустить, чтоб этот выродец вступил в брак.

— И хорошо делаете! — подтвердила какая-то пожилая женщина. — И хорошо делаете. Такому спуску давать не следует.

— Так! Так! — прибавил седой мещанин, — заслужил за легкомыслие человек наказание. Не должно его оно миновать!

— И не минует,— подхватила кумушка, скрестив пальцы.— Уж она дала себе слово, что устроит ему баню и к алтарю не допустит. Что, Гонорка, не простишь ведь?

— Не прощу! — повторила девушка сдавленным голосом.

То здесь, то там начали раздаваться приглушенные смешки. У самого алтаря знали уже, что будет скандал и что девушка с ребенком хочет сорвать венчание.

Сидевшие на паперти бабы дрожащими руками перебирали четки. Господи! Такой «шкандал» в костеле! То тут, то там начали подшучивать остряки.

— Так! Так! свадебный кортеж прибыл. Даже и этот рак поспешил немного! Неизвестно, приглашали его или нет — вот гость неожиданный для жениха!

— Кто знает! А может, молодые и рады будут, что пришли вот так — на готовое! А может быть... и молодая, со своей стороны, гостинчик приготовила?..

То один, то другой пробиваются, чтобы лучше рассмотреть Гонорку. Гм!.. Исхудала, плохо сложена, голова растрепана. Женщины перешептываются:

— Хоть бы причесалась прилично, когда на такое дело пошла.

Какой-то господин подошел к ней и, заглянув в глаза, вынул из кармана маленький блокнот. Вполголса задает он ей вопросы, на которые девушка ему не отвечает, глядя в пространство из-под туго сдвинутых бровей. Господин этот, не смутясь молчаньем, не отступает, он вынул из карманчика карандаш, мусолит его и что-то записывает в книжечку.

— Газетчик!.. Газетчик!.. — шушукаются вокруг. Казимириха считает уместным заговорить:

— Не в газете, а здесь, у входа нужно буквами выбить про такого волокиту, что порядочных девушек с пути сманивает!

— Опять же сказать, за шиворот ее никто не держал, — вставил какой-то юнец.

Казимириха повернулась, как на пружинах.

— За шиворот! за шиворот!.. Словами сладкими да клятвами сманивать — это похуже, чем за шиворот держать!..

Юнец прищелкнул языком:

— Не надо было верить.

В толпе ропот.

— Клятвам не верить! Вот это ново! Сколько мир стоит — бог клятвы признает, а того, кто нарушит, тяжко карает!

— Особенно сиротке! — торжествующе воскликнула Казимириха, — сироту обидеть — что икону украсть!

Слова ее и слезы, капающие из глаз, понемногу вызывают сочувствие. Теперь — место перед алтарем совсем опустело. Все теснится у входных дверей, разгоряченные и возбужденные событием, которое разразится с приездом молодых. Кое-где вскакивают на скамейки, вытаскивают из углов стулья, хватаются за древки хоругвей. Белокурая, растрепанная голова Гонорки становится светлой точкой, притягивающей глаза всей толпы, которая требует зрелищ, жаждет скандала, хотя бы женщине за него пришлось платить слезами.

Гонорка стоит молча, не обращая внимания на любопытство и волнение, которому сама послужила причиной. Она вглядывается в мигающие свечи на алтаре, и перед ней проносится молнией минувший год, принесший ей столько боли и горя.

Она видит пана Теодора, как он из-за прилавка бросает на нее взгляды, которые, словно кипятки, пробегают по ее жилам. Когда господа, у которых она служила младшей горничной, посылали ее за сухариками к чаю, она бежала с радостью, но перед дверьми кондитерской стояла долго, боясь войти и заговорить с паном Теодором, который на фоне блестящих зеркал, украшавших полки буфетов, казался ей святым с иконы. Импонировал он ей безмерно, а ведь Гонорка была не из робкого десятка. Не одного парня отшивала основательным образом, иной раз и до кулаков доходило. Но перед Теодором у нее язык прилипал к гортани, и стояла она перед прилавком, пламенела румянцем, бормотала что-то, роняя на землю медяки, которые держала в руке. Он щурил глаза, улыбался, шутил, привыкший властвовать над женщинами с небрежностью красивого самца. И даже потом, в моменты их близости, Гонорка всегда оставалась не смелой и подавленной его красотой, с глазами, полными слез, не смея ни шелохнуться, ни сделать лишнего дви-

жения, ни громче вздохнуть. Но когда, брошенная, позабытая своим соблазнителем, она почувствовала себя матерью, одна мысль об этом человеке внушала ей глухую ненависть. Она не преследовала его, не ходила за ним. Она родила ребенка, а в душе ее накопилось целое море яда, которое грозило каждую минуту хлынуть наружу.

Кума сообщила Теодору о рождении ребенка, но красавец-приказчик, буркнув что-то, только пожал плечами.

Когда Казимириха изобразила эту сцену роженице, Гонорка впилась в нее горящими от жара глазами.

— Негодяй! — сказала она, стиснув зубы.

Так впервые назвала она его бранным словом и, потрясенная, замолчала.

Но постепенно, подстрекаемая Казимирихой, она дала волю своему горю. Она забыла, как выглядит виновник ее несчастья. Не видя его так долго, она вышла из-под его влияния. Он уже не подавлял ее своим превосходством, блеском и обаянием. Отчаяние переполняло и сотрясало ее. Самый вид ребенка усугублял ее горе. Иногда ей казалось, что она могла бы убить человека, который так грубо ею владел только для того, чтобы с презрением пожать плечами, узнав об ее нужде и несчастье. «Сволочь проклятая! — говорила она, раздирая в кровь грудь, набухшую молоком. — Чтоб тебе сгинуть, пропасть, ослепнуть, сгнить до костей!» Ей казалось, что любовь ее к Теодору умерла давно, что, кроме обиды, гнева и ненависти, ничего в глубине души ее не осталось.

Когда же она узнала о свадьбе приказчика, то разразилась таким бешенством, на которое способны только многотерпеливые и несмелые существа.

Казимириха натолкнула ее на мысль устроить публичный скандал и сорвать венчание. Гонорка ухватилась за этот план, горячася, возбуждаясь и проклиная. Ни одной слезинки не было в ее глазах, по временам она казалась безумной.

Теодор, черты которого уже стерлись в ее воображении, представлялся ей ненавистным животным, отвратительным и плюгавым. Ей хотелось вцепиться ему в глаза и растоптать его ногами за все обиды. Не видя

его, она чувствовала себя сильной, и все же что-то внутри ее оборвалось, когда еще в комнате кума сказала: «Пора!»

В костеле, перед ярко освещенным алтарем, в холодной атмосфере святилища, в нее снова вселяется сила, но какая-то странная, как бы успокаивающая ее боль. Она не молится, но все же ей кажется, что вокруг нее все шепчут молитвы...

Но не молитвы шептали вокруг, нет, это были шутки, намеки, слова любопытства.

Толпа вся дрожит в ожидании «большого скандала».

Такое дело не часто случается.

Наконец грохот колес возвещает прибытие молодых.

Не на извозчицких дрожках, а в каретах подъезжают молодые со своей многочисленной свитой. В каретах — вымытых, блестящих на солнце и с белоснежными вожжами.

— Приехали! Приехали!

Этим криком толпа как бы хочет подбить Гонорку на скандал. Как изголодавшийся зверь бросается на падаль, так эти жадные к происшествиям люди толкают несчастную обнажить свою израненную душу.

Шумя шелками, свадебный кортеж медленно поднимается на паперть.

Впереди молодая, высокая блондинка с плоским лицом и чужими волосами. С какой-то наглостью проносит она свой девический венец, утопающий в облаках белой фаты. Она идет, уверенная, улыбающаяся, выставя вперед ватный бюст, стянутый шелковым лифом. Ведут ее шаферы во фраках и лайковых перчатках. Перед этим белым видением толпа инстинктивно отступает. Гонорка остается одна. Молодая перешагнула порог и вслед за костельным служителем медленно и уверенно подвигается к алтарю, а шлейф ее платья тащится за ней по земле, как бы оставляя за собой светлую полосу.

Но Гонорка словно и не замечает ее прихода. Она вся дрожит, бледная, как облаток причастия. Когда карета подъехала к костелу, ее будто по голове ударили. Дыхание захватило, и молотом застучало сердце...

Наконец — в ослепительном блеске солнца появляется жених.

Сегодня он прекрасней, чем когда бы то ни было.

Новый фрак сидит на нём, как вылитый, волосы завиты, лицо тщательно выбрито, в манжетах золотые запонки, величиной с монету.

Торжественно глядит он в глубь костела, на ярко освещенный алтарь, поигрывая брелоками от часов.

Две дружки в легких платьицах с веерами в руках и в шерстяных накидках, улыбаясь, ведут его к невесте.

Все обращают глаза на Гонорку...

Что-то будет? Что будет? Даст ли она ему затрещину, или просто выругает и плюнет в глаза?

Но — что это? При одном виде Теодора девушка еще больше бледнеет и закрывает глаза. Он — не видит ее совсем. Он занят одною из дружек, которая уронила на землю кружевной платочек.

И вдруг Гонорка как-то сжалась, точно стараясь исчезнуть с глаз толпы, и медленно, с тихим сдавленным плачем, скользит за колонну.

Напрасно кума выталкивает ее вперед, напрасно люди, наклоняясь к ней, подбадривают словами. Одной рукой она прижала к груди ребенка, другой — цепляется за колонну, и лишь из глаз ее текут два ручья горячих слез.

— Не могу! Не могу! — шепчет она, тихо всхлипывая.

Тем временем орган ужасающе грохочет. Молодой идет уверенным и смелым шагом к алтарю, на ходу раскланиваясь со знакомыми.

Кума еще раз пытается повлиять на Гонорку.

— Побойся ты бога! Не будь же ослицей! Не унижай себя понапрасну!.. Вставай и беги! Еще есть время! Столько людей ждет!..

Но Гонорка не трогается с места. Она увидела Теодора, и ею овладело прежнее чувство страха.

Когда он предстал перед ней сейчас, — такой прекрасный, улыбающийся, здоровый, нарядный, — когда она ощутила его вновь в нескольких шагах от себя — она не могла броситься на него и кричать так, как собиралась, не могла плюнуть ему в лицо и показать ребенка. Нет! Нет! Лучше умереть!

Толпа, обманутая в своих ожиданиях, повернулась к алтарю, где уже приступили к совершению обряда. Золотистая ряса ксендза мерцала над человеческими го-

ловами, глухой шум недовольства и гнева прокатывался по рядам. Как? Не будет скандала? Что ж она себе думает, эта глупая девчонка, так обманывая людей!.. Эх! — кто знает — это, наверно, какая-нибудь потаскушка. А ребенок? Кто знает, от него ли он, если она не смеет стать лицом к лицу с обидчиком?

Так, так... Такой порядочный человек знал, что делает, если такую бросил. У него свой резон, наверно, был...

Некоторые все же пытаются защитить Гонорку.

— Испугалась!

— Разревелась!

— Идиотка!

— Все равно, уж если не посмела стать перед ним... Пойдем лучше к алтарю.

— А свадьба-то шиказная!

Теперь все уже толпятся возле алтаря, где ксендз перекладывает молодой паре обручальные кольца. В тишине костела слышен только скрипучий голос невесты, повторяющий вслед за басом ксендза слова обета:

— Я... я... Станислава, Станислава, беру, беру — себе — себе...

Около колонны, за которой прячется Гонорка, образовалась пустота. Девушка одиноко стоит на коленях, тихо рыдая. Кума Казимириха, оскорбленная, красная от стыда, ушла из костела.

Спускаясь со ступенек, она поклялась в душе, что весь гоноркин хлам выкинет на все четыре ветра.

О, нет! Над ее нищетой она еще могла сжалиться, но потакать ее глупости, трусости, неумению добиться своих прав и, наконец, позволить ее, Казимириху, выставить на посмешище она не согласна. Ведь люди могли подумать, что она защищала нечистое дело — а на это Казимириха не может пойти.

Тем временем обряд венчания длился без осложнений. Жених присягал чистым и звучным голосом и, с высоко поднятым челом, отчетливо отвечал на вопросы ксендза:

— Не присягал ли кому в супружеской верности?

— Нет.

Постепенно он привлек на свою сторону все симпа-

тии. Его ясный взгляд, свежевымытый затылок, плотно облегающий фигуру фрак, импонировали этому скопищу людей. И вообще весь венчальный обряд, свадебный кортеж, шелестящий шелком, серебристое платье невесты, ее бюст, обтянутый материей, — все это подчиняло себе толпу и производило прекрасное впечатление.

Гонорка со своими всклокоченными волосами и ребенком, закутанным в лохмотья, теряла сочувствие даже тех, которые еще за минуту до того были на ее стороне.

А она все стояла у колонны на коленях и плакала, плакала без конца. Ей казалось, что какой-то бесконечный поток льется из ее глаз, и все ее горе, отчаяние, гнев, боль и обида, все это тонет в слезах. И только свое дитя прижимала она к лицу, орошая слезами тряпки, в которые оно было завернуто. А орган стонал, потрясая до глубины ее душу. Раздавленным червяком извивалась Гонорка на холодных плитах, дрожа от неизъяснимой боли. Она сознавала свою обиду, но пряталась с нею в тень, и, хотя обидчик был здесь, в нескольких шагах от нее, могла навязываться ему со своей нищетой.

Теперь, когда она его увидела снова, прошлое встало перед ее глазами, воплотилось во всем великолепии мужского могущества, и она пала на колени, побежденная, обессиленная, дрожащая от боли, от сознания полного своего ничтожества.

— А вас, всех присутствующих, беру в свидетели, что сие супружество сочеталось честно и по закону.

Ксендз начал крестить и кропить собравшихся, которые, творя крестное знамение, обтирали с носов и щек капли святой воды. Орган загремел веселым маршем. Все столпились у алтаря, заглядывая в глаза молодым и друзьям, и свадебный кортеж с шумом, шелестом и блеском двинулся к выходу.

Кареты подъезжали одна за другой. Прохожие задерживались на тротуаре, кучками теснились ребята. У молодой шлейф покрылся пылью, серые полосы темнели на складках шелка, и лицо, обрамленное облаками девичьей вуали, потемнело от злости.

— Холера! — сказала она злобно, садясь в карету.

За ней вскочил Теодор, набрасывая на плечи коротенькое зеленоватое пальто на желтоватой подкладке.



В костеле осталась одна Гонорка. Служитель убрал подушки, свернул ковер.

Гонорка все еще плакала, голова ее горела огнем, грудь и спина болели, как после сильных побоев. Она ясно чувствовала, что теперь все для нее кончено и в жизни не осталось никакой надежды. Она понимала, что никогда нехватит у нее смелости притти к этому человеку и сказать ему, глядя в глаза:

Сделай хоть что-нибудь для меня, которую ты погубил, и для ребенка, которого мы породили на свет!..

Служитель несколько раз прошел мимо нее, позванивая ключами.

Он знал, что привело ее в костел. Он заметил ее в толпе еще перед венчанием, когда, грозная, стояла она у порога и говорила, стиснув зубы:

— Не прошу!

Видя, что она все плачет и не уходит, он подошел к ней и тронул ее за плечо.

— Надо встать и итти домой! Ничего ты здесь не выступишь на коленях.

Она подняла голову и сквозь слезы взглянула в темную глубь костела. Взглянула — и все будущее открылось ее глазам. Ребенок, дремавший у ее груди, стал ей вдруг безмерно тяжел...

— Ой, Иисусе! — прошептала она, зажмурив глаза.

Но костельный служитель заторопился.

— Пора итти — не ночевать же тебе здесь!

Медленно, с усилием девушка поднялась с колен и направилась к выходу. Слезы все еще текли двумя ручьями из ее измученных глаз.

Споткнувшись о стул, она, наконец, нашла дверь и вышла на улицу.

Когда дверь за ней сомкнулась, сторож на минуту задумался. Тень печали проскользнула по его старому, увядшему лицу.

А Гонорка в это время шла в глубь улиц, по которым сновали празднично разодетые толпы. Шла, укачивая жалобно плачущего ребенка.

Казимеж Тетмаер

КАК УМЕР ЯКУБ ЗЫХ



КАЗИМЕЖ ТЕТМАЕР

Казимеж Тетмаер-Пшерва (1863—1940), известный польский поэт, романист и новеллист, родился в деревне Людзимеж в Галиции, в помещичьей семье. Дед его был известным собирателем народных сказок, а отец депутатом галицийского сейма. Среднее образование получил в Кракове, а университетское в Гейдельберге. Литературную деятельность начал в 1886 году, но известность приобрел после опубликования в 1891 году сборника импрессионистских стихотворений. На первом этапе своей поэтической деятельности выдвигает вслед за романтиками (Словацкий) фигуру творца-художника, противопоставляя ее реальной жизни общества. Поэзия Тетмаера этих лет носит глубоко пессимистический характер, это относится, впрочем, и к его прозе (романы «Ангел смерти», «Панна Мари», «Гибель»).

В дальнейшем в творчестве Тетмаера большое место занимают описательные стихотворения, своей тематикой связанные с Татрами (циклы «Из Татр», «Мелодии ночных туманов»), в начале как пантеистическое поклонение природе, а затем и углубленное изучение жизни и обычаев польских горцев. Поэт создает многочисленные лирические произведения, отличающиеся четкостью рисунка и простотой описаний. Особенно благотворным было влияние Татр на прозу Тетмаера. Он создает цикл горских рассказов «Среди скал Подгалья», роман «Марина из Грубаго» и стилизованную горскую эпопею «Яносик Литмановской», в которых острые социальные темы сочетаются с мастерским диалогом на горском диалекте и блестящими описаниями природы. Тон этих произведений значительно жизнерадостней предыдущего творчества Тетмаера, и они становятся наиболее серьезную позицию во всей литературе писателей-регионалистов.

Сближение Тетмаера с группой «Молодой Польши» отрицательно повлияло на позднейшую деятельность писателя, скатившегося на позиции буржуазного национализма и в литературе и в политике.



КАК УМЕР ЯКУБ ЗЫХ

В одно ясное утро, в декабре, Якуб Зых сказал жене своей Катарине, дочери Яника из Зегленей:

— До нынешнего дня жил я, а нынче умру.

Было это в Витове.

Когда он так сказал, жена вздыхая отозвалась:

— Ох, горюшко, горе!..

— Кася, — заговорил снова Якуб Зых, — прожил я честно на свете больше девяносто лет — девяносто три, а, может, и девяносто пять.

Она опять вздохнула.

— А тебе будет под восемьдесят. Когда я на тебе женился, тебе было не больше семнадцати, а мне, должно быть, лет тридцать, — немного поменьше или побольше.

— Горемычный ты мой, горемычный!

— Ты не хотела за меня выходить, — стар я был для тебя.

— Ох, боже мой!..

— Да приневолители тебя, оттого что я был богатый.
— Ох, боже, боже ж ты мой!
— Плакала ты...
— Эх-эх-эх!
— А отец с матерью тебя чуть не прибили... Ты была единственная дочка — и не бедная, вот и хотелось тебе бог знает чего.

— Господи, да ведь...

— Ну, а я родителям твоим твердил: «Отдадите за меня Касю, так заплачу за вас весь долг Яникам, а нет — так подожгу вашу хату...» У меня тогда водились деньги.

— Ох, боже, боже!

— Деньги мне достались от деда, от Шимона, он там где-то в Венгрии церковь ограбил. Да и свои собственные были, что я из Венгрии принес.

— Так, так...

— Был я парень с характером, отчаянный... И если б отказали — поджег бы, как бог свят...

— Ох-ох-ох!!

— Вот и отдали тебя мне, хоть и не такой я был молодой, как тебе хотелось.

— Нет, не был, не был ты молодой.

— А тебе приглянулся Юзек Хуцянский — тот, которого потом в лесу срубленным деревом придавило, — он сам с горя под него полез. Молодой был, годов двадцати, не больше. Красивый.

— Да...

— А знаешь, сколько тому лет?

— Ну?

— Шестьдесят три, а то и шестьдесят пять.

— Эх, боже, боже ж ты мой...

В полдень Якуб Зых выпил только немного молока, потом лег и уже не вставал.

Пришел к нему Францишек Гомбос, который, хоть и был много моложе, ловодился ему кумом.

— Слава Иисусу! Что слышать нового? — сказал он, входя. — Люди говорят, будто вы, кум, помирать собрались.

— Во веки веков... Здравствуй, кум, — отозвался Зых с постели. — Люди правду говорят.

— Что ж, знамение вам было?

С утра чую... Как проснулся, сразу почувал. Да ты присядь, кум.

— Что ж, всем умирать придется. Нынче ты, завтра я...

— Верно говоришь. Надо, надо помирать.

— Это вы вчера почувствовали?

— Вчера? Нет. Сегодня утром. Как только проснулся, еще до рассвета,— сразу понял, что недалеко она... смерть.

— Недалеко?..

— Что поделаешь... Долго я жил на свете.

— Долго. Теперь редко кто доживает до таких лет!

— Теперь редко, а прежде и таких, что жили больше ста лет, было довольно.

— Да, в старину не то было.

— Что и говорить! И работали не так тяжело, и болезней не знали. В двадцать лет парень еще коров пас, в одной длинной рубахе ходил — мальчишка. Отчего же такому долго не жить, а?

— Так, так, — подтвердил Гомбос.

— Штанов ему не шили, покуда не женится. Никаких докторов никто тут не видывал, — а умирали только те, кому полагалось. Не то, что теперь...

— Верно говорите, кум.

— Все было по-другому. Взять хотя бы телегу. Заплатишь за нее самое большое восемнадцать цванцигеров, — так она тебя переживет. Видит бог, правда! Не было на ней ни осей, ни ободьев железных, все было деревянное, — да далеко не ездили, вот и держалась.

— Держалась, держалась.

— Никто не искал никакой колесной мази. Едешь себе, а заскрипит — вобьешь гриб в колесо, оно и оботрется.

— А как же... Конечно, обтиралось.

— Да, раньше не то было. Вот, к примеру, крестины. Если ребенок плох, так бабы сами его водой окрестят — и ладно. Потому что нести в церковь — тоже толку мало. Особенно зимой — мороз лютый, а с некрещеным никуда под крышу не заберешься, сразу черти тучей налетят. На паперти тоже не оставишь, потому что и там они его найдут. Воткнет, бывало, кум палку в землю и

повесит на нее мешок с ребенком. Пока там его запишут, да пока сторож наденет сапоги, а ксендз облачится, смотришь — малыш уже весь задеревенел: замерз.

— Да, бывало.

— И никто по нем не убивался. Иной раз и жалко, — если это мальчик с длинными пальцами. Думаешь: может, был бы он пастухом и хорошо бы овец доил и на дудке играл бы.

— Ага!

— Ну, дадут ксендзу денег, он помолится, пропоет, что надо, а там — похоронят и пойдут домой.

— Так, так.

— Всѐ, всѐ было по-другому. Даст человек на Сухогорыи два гроша за фунт соли — так это ж фунт был! Никто не вешал гириями, весы были деревянные, и на одном конце колодка величиной с голову! Вот это так фунт был!

— Верно, верно! Так оно и было в прежние времена, кум.

— Было... Да прошло.

После полудня Якубу Зыху стало хуже. Пришла знахарка, старая Тылькула. Она была, кажется, старше самого Зыха. Привела ее жена Якуба. Знахарка села у печки и стала бросать раскаленные уголья крест-накрест в миску с водой из девяти источников. Зых спокойно наблюдал за нею с постели.

— Ну, полегчало тебе хоть сколько-нибудь? — спрашивает у него жена.

— А с чего же бы мне полегчало? Не прибавит мне она ни пять лет жизни, ни пятнадцать. Никогда я не хворал и помираю не от болезни, а от старости. Ты дай, Кася, бабушке полотна да сала свиного за то, что она попусту наплясалась тут с угольями у печи.

— Так, может, послать в Хохолов за ксендзом?

— Не нужно мне его. Чего со слугой толковать, когда я скоро с самим хозяином говорить буду? И не такой это хозяин, как думал Юзек Смась из Ольчи, с которым мы когда-то дружбу водили. Юзеку думалось, что бог на небе — такой же, как он, Смась, в Ольче. Нач-

нут, бывало, с Самеком Войтком, Сновидцем из Закопаного, рассуждать насчет того, какое у бога хозяйство... Солнце, говорят, из золота, месяц — из серебра, а звезды — рассыпанные деньги. Заслушаешься их иной раз — так складно говорили... хорошие были мужики, хоть и болтуны. Рассказывали они, что когда месяц убывает, а звезд на небе прибавляется — так это пан бог из месяца звезды делает, «монеты чеканит». А когда месяц больше стал — это, значит, ангелы нагребли где-то руды серебряной и принесли... Вот что выдумывали! Сколько раз я над ними потешался! Да... Кабы и у кота был свой бог, так он бы его котом изобразил и думал бы о нем по-кошачьи, как вот и мы думаем о нем по-людски. Так же и конь, и уж, и всякая живая тварь. Человек себя считает паном над всеми другими тварями, и над скотом, и над диким зверем, и любит повелевать, — так и пан бог человеческий — над всеми хозяин и ничего не делает, только властвует.

— Да ведь верно, кум, — отозвался Гомбос с убеждением. — Всем он правит.

— Править-то он правит, знаю, — возразил Якуб Зых. — Да не так, как люди думают. Если тебе не по нраву, что какой-нибудь Бартек подрался или какая-нибудь Кунда поспала со Стаськом, так, по твоему, и пану богу это противно? Чепуха!

— А что ж, разве это не грех! — возразил кум Гомбос с задором.

— Грех.

— Суд божий страшен, — сказал Гомбос.

— Страшен — это верно, — ответил Зых. — Небо будет качаться, и земля трястись. Ангелы затрубят в трубы так, что горы будут рушиться от их гласа. Тогда уж никто не уйдет, не увернется. Но бог мудр, он понимает, что если кто из нас здесь и не десять, не пятнадцать, а пятьдесят и даже все сто лет грешил да проказничал, так ведь и сто лет — это не вечность. Нет, я не ада боюсь, я боюсь чистилища.

Кум Гомбос сказал осторожно, но с глубоким убеждением, зная, что, выслушав его до конца, с ним не станут спорить.

— Вот вы говорите, кум, что ада не боитесь, — как

же так? Думаете, нет его, что ли? Где же бы сидели черти, кабы его не было? А ведь черти-то есть!

— Есть, — отвечал Зых. — Чертей много всяких. И Вельзевулы, и Астароты, и полевые черти, и мельничные, и водяные, и лесные, и домашние, — и все они для того, чтобы людей искушать. Крестным знамением надо их отгонять, они его боятся. А подстерегают они человека везде. Вот и тут, в избе, их полным-полно, штук сто будет, а то и тысяча.

Кум Гомбос вздрогнул, а жена Зыха прошептала:

— Матерь божья! Иисусе Сладчайший, помилуй нас!

Зых продолжал:

— Черти нас искушают и мучают. Они страшно злые и упорные, — ведь от самого сотворения мира только и норовят утащить в ад какую-нибудь человеческую душу, но еще ни одной не утащили и не уташат, — потому что премудрость божья им мешает.

— А вот ксендзы с амвона не то говорят, — заметил Гомбос.

— Мало ли что! Ксендзы знают, зачем говорят. Пусть болтают, что хотят.

— Да, они-то свое знают, — согласился Гомбос.

— На то они и учатся в семинарии, — вставила жена Зыха.

Зых поглядел на нее мудрыми глазами и сказал:

— А кто ж их там учит, в той семинарии? Господь бог или люди, такие же, как и мы?

Примолкли и кум Гомбос, и жена Зыха.

Попозже сошлись в избу умирающего Зыха, чтобы с ним попрощаться, его дети, и внуки, и правнуки — все те, кто жил тут, а не бродил по свету.

Зых, видно, размышлял о чем-то и по временам обводил всех выцветшими от старости, потухающими глазами старого ястреба, словно искал, выбирал кого-то между ними. Он уже несколько раз так обводил всех глазами и дольше всего смотрел на своего любимца, Сташка Койса, сына самой младшей дочери, Викты, уже взрослого парня, красивого, умного, сильного и на редкость смелого. Наконец он сказал:

— Выйдите все, а Сташек Виктин пусть останется. Все вышли.

— Сташек, подойди ко мне, — молвил Зых.

Сташек подошел к постели деда.

— Слушай, дитяtko, выбрал я тебя оттого, что ты мне милее всех и как будто умнее других. Смелый ты?

— А что?

— Сильный?

— Любoгo одолею.

— Слушай же. У часовенки святого Яна, под Новым Таргом, в том месте, куда на восходе солнца падает на траву тень от часовни, зарыт котелок с деньгами, что мы с Юзьком Смасем и Лушиками Огневыми, Юзьком и Стасем, и с твоим дедом по отцу Мартином Койсом, принесли из Татр и укрывали.

К вечеру Якуб Зых заметно ослабел. Он сказал жене:

— Подойди ко мне, старая!

Жена подошла.

— Нагнись.

Она наклонилась. Он обнял ее за плечи и поцеловал в обе щеки, а она — его.

— Прощай, старуха.

— Эх, Кубусь, Кубусь!

— Эх, Кася!

— Дай тебе бог вечный покой.

— И тебя, Кася, пусть поддержит он в твой смертный час.

— Пусть он примет тебя, Куба, в царствие небесное. Аминь.

— И тебя, Кася, когда ты умрешь. Аминь.

— Аминь.

Дети, внуки и правнуки, уже старые седые мужики и старые седые бабы, мужчины и женщины в цвете лет, некоторые с детьми на руках, молодежь, подростки, малыши собрались у постели Зыха, и он всех благословил. Потом сказал:

— Расступитесь! — и встал сам, без чужой помощи. Так, как лежал в постели, в лаптях, штанах, поясе, только без сермяги, — встал и, опираясь на плечи и руки

окружавших его, медленно, пошатываясь, подошел к окну. Из окна видны были Красные Вершины и Витовьянские горы, поросшие старыми елями, древним лесом, а меж них — прогалины, широкие снежные равнины. Малиновое солнце огнем заливало горы и огнем пылало в морозном небе. И сказал Зых:

— Медведь уже спит, пора и мне. Оставайтесь с богом, горы и долины!

Он прошел несколько шагов, упираясь рукой в стену,—к полке, на которой лежал его старый нож с кривым лезвием и тремя медными шариками на рукоятке. Он сделал этим ножом три креста в воздухе и трижды перекрестился им. Потом нагнулся, держась рукой за стол, и очертил острием ножа около себя на полу круг. Все отступили к стенам. Упершись руками в пол, Якуб Зых лег в этом кругу навзничь. Полежал так с минуту, закрыл глаза, вздохнул раз-другой и умер.

На третий день его положили в гроб, сколоченный из еловых досок. В гроб положили его трубку, огниво, очень старую застежку для рубахи и разбойничий образок, писанный на стекле, который он очень любил.

За гробом никто не шел, потому что костел был далеко, а снег на дороге очень глубок. Старший сын положил на сани доски, а на доски поставил гроб, потом опоясался соломенным жгутом, взял топор и железные вилы, чтобы отбиваться от волков, сел на гроб, перекрестился и поехал.

Он внимательно следил, чтобы лошадь, испугавшись волков, не понесла и не сбросила гроба и чтобы из гроба ничего не вылетело, так как он хорошо помнил, как покойный отец не раз говаривал:

— Когда везешь покойника, и в гроб ему положили то, что он любил при жизни — трубку, табак, четки или образок какой,—смотри, чтобы не выронить чего, боже упаси, а то он тебе задаст! Встанет на тучу и семь полей градом побьет. Вернись тогда и ищи, что потерял! Непременно найди, пусть все с ним в гробу останется.

Так умер Якуб Зых из Витова, и так его везли хоронить.

Владислав Оркан

СВАДЬБА ПРОМЕТЕЯ



ВЛАДИСЛАВ ОРКАН

Владислав Оркан (1876—1930), известный польский писатель начала нашего века, происходил из крестьянской семьи, настоящая фамилия Франтишек Смречинский. Дебютировал в литературе повестью «Коморники», правдиво изображающею жизнь крестьянской бедноты в Татрах. Оркану свойственны прекрасные, полные лиризма описания горной природы, как бы дополняющие творчество Тетмаера. В то же время он значительно превосходит своего учителя благодаря социальной насыщенности своих произведений.

Из последующих повестей Оркана наиболее известны «В Розтоках» и «Мор», написанные под заметным влиянием польского модернизма, и историческая повесть «Костка Наперский» о руководителе крестьянского восстания в Польше XVII века, в которой реалистически изображена борьба крестьянства с феодальной знатью.

Многие из новелл Оркана, например «Свадьба Прометея», посвящены жизни польской интеллигенции, но и в них, как обязательный композиционный фактор, почти всегда присутствует описание Татр, родины писателя, нередко преподносимое им в пародийной форме. Однако свое место в польской литературе Оркан занимает преимущественно как автор повестей из крестьянской жизни и в первую очередь упоминавшихся нами «Коморников». Творчество Оркана оказало заметное влияние на последующее поколение польских крестьянских писателей.



СВАДЬБА ПРОМЕТЕЯ

Среди незначительной части человечества, которой известно имя Прометея и история его молодости, распространено мнение, будто этот похититель небесного огня был прикован — по воле богов — к скалам Кавказа.

Никому, однако, не удалось этого доказать. Никто даже не видел ни скалы, к которой он якобы был прикован, ни хотя бы одного из звеньев цепи, сковавшей божественные члены Прометея. Легенда эта, как и всякая иная, приводит к сомнению: кара могла осуществиться как там, так и не там.

И есть немало оснований утверждать, что Прометей был прикован в Татрах, у склонов горы Гевонта.

Безусловно, тут все и происходило. Ведь именно с этих высот бог оглядывал свой мир, когда был он еще с пылу, с жару, дивился и себе самому и своей работе; тут же сотворил он наших прародителей, Адама и Еву,

здесь же находился и Рай, о котором и сейчас еще бродит столько непроверенных слухов; тут же пришел на свет пан Иисус, и нашинский и еврейский... Так по крайней мере рассказывает старый горец Сабала, хорошо разбирающийся в такого рода делах и притом человек достойный всяческого доверия.

А что до древних богов, то тут греки что-то перемудрили — известно, торговый народ. Когда берлинское акционерное общество проведет на вершину Олимпа трамвай, дабы весь мир мог наглядно убедиться, что там пустым-пусто, тогда все поймут, что только у нас, в Татрах, сохранились селения богов, не доступные для самых заядлых туристов; старый пономарь (ныне покойный) мог бы присягнуть, что видел однажды собственными глазами богиню: закинув свои груди на плечи, она стирала в водах горного потока небесные одежды... Оно и неудивительно: и богам пора постирать — за столько веков...

И еще один знаменательный факт. Кто-то из здешних разбойников, не то Кшептовский, не то Гонсеница, застрелил над Кржеванем коршуна. Известно, что в Татрах не водятся коршуны. Мог уцелеть только один — тот, что выклевывал сердце Прометею. — Вот он-то, в виде чучела, находится сейчас в местном музее: каждый может убедиться в этом самолично.

Если и эти доводы недостаточны, пусть будет свидетельствовать нижепомещаемая история, правдивость которой никак не опровергнуть ни единому из людей, хоть что-нибудь смыслящих в прометеизме.

I

Однажды под вечер по Стронжинской долине шла панна Ирис, прибывшая сюда из Варшавы.

Имя это она дала себе сама — из любви к поэзии, зацветавшей тогда образами ирисов, орхидей и прочей цейлонской флоры.

Папа панны, как купец, импортировал с Цейлона только кофе, но дочь его, Ирис, цвела, можно сказать, над плоскостями прозы и чувствовала высокое влечение

к поэтической экзотике. А также и к поэтам этого стиля. Но встречи с «подлинным» поэтом, как ей мечталось, увы, до сих пор не получалось. Поэтому меланхолия не покидала сердца панны, и она даже намекала, что умрет от чахотки. Поскольку папу это очень огорчало, он ежегодно отправлял дочь в Закопане.

Итак, однажды под вечер по Стронжинской долине, играя черными мыслями, как бусинами четок, шла панна Ирис. Шла в глубь долины — так, без определенной цели, — незаметно все же приближаясь к подножию Гевонта.

С обеих сторон тропы выдвигались ей навстречу из сумеречной чащи елей уродливые очертания скал. Они стояли, точно застыв в своем грозящем, взнесенном ввысь мрачном движении. Закатное солнце, падая за вершины скал, покрывало их ржавым отблеском и вырезывало на фоне неба их мертвые, но полные выражения четкие профили.

Но Ирис, занятая четками своих мыслей, не замечала всего этого. Конечно, она любила горы, как великолепную декорацию для своей исполненной меланхолии девичьей фигурки. Любила даже одинокие прогулки по знакомым долинам, чувствуя себя совсем как на сцене перед незримым зрительным залом. Она уже так сжилась с своей ролью, что даже мысли-бусины принаровляла к своим глазам, лицу и стану, подобному ирисовому стебельку.

Идя, она думала сейчас о том, как скучна эта вот жизнь, как неблагоприятны люди, как задирает нос тот несносный пан, что садится за табльдотом всегда визави ее, какое безлюдие в этом Закопане, как ей к лицу новая шляпка и как жаль, что никто ее, такую несчастную, сейчас не видит.

До откоса Гевонта было рукой подать. Ирис подняла влажные глаза, нет — очи... и не могла удержать удивленного, в то же время восторженного возгласа:

— Ах!

И чуть тише она добавила:

— Прометей.

Прометей, рот которому, как раз в этот миг, разрывало зевотой, крайне смущенный, прикусил губу.

— Но... пан прикован! — воскликнула девушка с искренним сочувствием.

— Нет... я... собственно... — запнулся Прометей, — цепи перегрызла уж ржавчина и...

— Тогда, значит, вы связаны? Бедняжка... я освобожу! — и раньше, чем Прометей успел оглядеться, она начала распутывать его узы. Веревки стянуло дождями, но Ирис пустила в ход свои зубки, успевая — в секунды отдыха — бросать отрывки фраз:

— Но вы должны были ужасно страдать. И ни души вокруг... Один... в этой пустыне... оставленный...

— Меня не покидал... коршун, — шепнул ошеломленный Прометей.

— Еще его нехватало! Ах!..

Она склонилась к освобожденной уже руке и быстро ее поцеловала.

Прометей вырвал ладонь.

— О, не противься, пане... Не тебе — страданию твоему поклоняюсь... — прозвучал взволнованный голос Ирис. Остальные узлы и петли Прометей, пристыженный добротой и рвением женщины, порвал и отбросил сам свободной рукой, — и пара пошла, держась рядом, вдоль Стронжинской долины.

Панна Ирис нет-нет бросала короткие любопытные взгляды на шествующего около нее — плечом к плечу — Прометея. Она заметила, что у ее соседа красивые черты лица, хотя исхудал бедняга ужасающе. Притом эта немодная одежда... «Но этому горю легко помочь, — думала Ирис про себя — а так... он очень... очень...»

— Вы всегда так молчаливы?

— Я? Я думаю, как вы добры...

— Об этом ни слова. — Ирис слегка покраснела. — Я не переношу страданий.

— Что до меня, то... наоборот, поскольку... — И Прометей, начав словами, закончил беззвучием мысли. В долгом своем одиночестве он отучился отличать мысль от речи.

И двое шли дальше в молчании. Панна Ирис напрягала свой ум: как бы сказать что-нибудь столь глубокое, чтобы сам Прометей... но как-то так... не получалось. Это ее беспокоило и злило. А он шел, погруженный в

себя, и было непохоже, чтобы думы его были обращены к спутнице.

— Присядем на минутку, — сказала она, опускаясь на камень, лежавший в песке у тропы.

Прометей послушно сел.

— Как тут красиво! — шепнула его спутница.

— Да... да, — вежливо ответил Прометей.

— Ах, как я люблю все прекрасное, — протянула Ирис мелодичным голосом. — Ничего на свете нет прекраснее... красоты. Особенно горы... Ах, если здесь остаться навеки.

Она взглянула тайком на своего соседа: в его глазах горело благодарное изумление. Это придавало бодрости. Будто сквозь туманы сна прозвучали ее слова:

— Что за прелесть парить, как орлы, над высотами гор... вдалеке от людского говора и шума... и жить в царстве красоты, которая... которая...

Она видела разгорающийся в глазах Прометея экстаз. Подавляя проявление радости, томно спрашивала:

— Там, среди страданий, была же ведь и радость... счастье?..

И заглянула ему прямо в глаза.

— Да... иногда, — ответил смущенный Прометей. — То есть... мне грезилось счастье.

— Так вот смотреть с горных высот на весь мир... на людей...

— Да.

Непривычный к обмену словами, он обдумывал, как раскрыть глубину своих мыслей этой прекрасной поэтической женской душе. Как?

— Собственно все, что бы я ни думал, — начал он, — все и всегда было о людях и для людей... Я никогда не мог о них забыть, несмотря на... на коршуна. А может быть, и благодаря ему. Признаюсь, порою я хотел потушить этот священный огонь, задушить его в сердце... Но огонь этот неугасим. Он бессмертен. Ведь я же сам, пряча вот в этих ладонях, вынес его с Олимпа.

— Ах, слыхала. О Прометее много писали. И, говоря откровенно, все эти восхваления казались мне иной раз преувеличенными. Только теперь, когда я сама...

— Я их действительно не заслужил, — пробормотало

божество. Через минуту исповедь его возобновилась: — Другая мысль неотлучно со мной, это мысль... о коршуне. Сперва я проклинал богов, наславших на меня эту птицу, страшился её клюва... потом страх претворился в чувство горечи... а там — и известной симпатии... случилось даже, что я тосковал по коршуну.

— О, я понимаю... — сочувственно шепнула девушка.

— Когда он долго не прилетал, я взывал к нему. Так понятно: ведь он питался кровью моего сердца. Значит, мы были в кровном родстве.

— А эта рана? Можно взглянуть? Как сестре?

— Простите, сейчас не время. Может быть, когда настанет час...

Настала долгая пауза.

Прометей, помедлив, заговорил снова:

— То, что ранит всего острее, то и милее всего. Я не похитил, я купил вам пламя: ценою крови. Пусть сто кар обрушатся на меня, в сто первый раз нарушу я волю богов! Во имя любви.

— Ах, любви... — мечтательно шепнула панна Ирис.

— Не раз, когда опускалась на горы и доли черная ночь и нигде — куда глазом ни кинь — не видно было ни огонька... тогда разгоралась рана в моем сердце и рубиновым костром светила во мраке. И там, на высокой скале, я чувствовал себя факелом, маяком, указывающим путь бездомным странникам!

Разгорались и слова раскованного, так что обрадованная панна Ирис не могла не перебить:

— О, я предчувствовала, что в вас таится поэт. Не правда ли?

— Нет, я не писал стихов, — последовал ответ, — я умел только слагать песни о своем... коршуне.

— Именно о коршуне? Я где-то даже читала их. Не спорьте: вы истинный поэт.

— О! — вздохнул Прометей.

И оба снова замолчали.

— Как это странно... игра судьбы, — возобновила беседу Ирис, — я всегда любила свои одинокие прогулки. Но я не была одинокой: как сквозь сон — я предчувствовала встречу. И вот сегодня...

— Я тоже, — отвечал ей в тон Прометей, — давно ли

я думал, как известно, о коршуне — и вот мы... Нет, нето: ты давно мне знакома, о женщина!

Ирис опустила ресницы и рассматривала кончик своего ботинка, ожидая признания. Но Прометей, словно студент на первом экзамене любви, как-то запнулся и потерял слова. Тогда панна Ирис, выждав затянувшуюся паузу, встала, вздохнув, с камня:

— Уже темнеет. Что там дома подумают? Вы меня проводите?

Он склонился в молчании, и оба шли по все расширяющейся долине.

— Все-таки... Какой вы неразговорчивый, — отзвук досады был в голосе панны Ирис.

— Простите... отвык от общества... одичал.

— О, мы научим.

Горы остались позади. Открывалась равнина. Прометей замедлил шаг и оглянулся.

— Что с Вами?

— Ничего... но как же мой коршун?

— Бросьте о нем. Прогоните самую мысль. Вот еще: довольно он вас поклевал. А вы уж и погрустнили... а еще Прометей. Идем.

Она взяла бога под руку. Беспокойство постепенно угасло в его глазах. Девушка приблизила плечико к плечу Прометея:

— Противный коршун. Гадкая птица! Знайте, я ревнива. Я прикажу ее застрелить.

— О боги, непреложны ваши приговоры.

II

— Любишь?

— Люблю.

Они сидели в парке, на скамье, плетеной из гнутых березовых прутьев. Сияло солнечное утро. Уже недели две, как Ирис и Прометей были обручены.

Отец панны долго противился их браку, не желая, как солидный коммерсант, иметь зятем человека с неясным прошлым и без прописки.

— Темная какая-то фамилия...

— Но, папуня. Весь мир говорит о нем...

— Я что-то так, краем уха...

— Как бы это вам объяснить, папа... Он экспроприровал огонь, на который у Олимпа имелась монополия.

— Нечистое дело. Как бы такой Прометай или там Прометей не...

— Чистейшее.

Но отец не давал себя убедить. Только когда Ирис, испробовав — при помощи теток — все способы воздействия, пригрозила своей смертью от любви, «папе» пришлось уступить; и то при условии, что Прометей займет — по протекции будущего тестя — скромное, но солидное место в банке.

Прометей не слишком охотно согласился на это. Только постепенное угасание когда-то безграничной и некритической любви к людям позволило ему — после колебаний — решиться на этот шаг.

Сейчас, чуть охлажденный, он даже избегал частых встреч с людьми. Но панна Ирис настойчиво требовала, чтобы он появлялся вместе с ней на публичных собраниях: пусть сохнут от зависти ее приятельницы, пусть видят, что ее жених не кто-нибудь, а Прометей.

Итак, они сидели на скамье в парке:

— Как ты прекрасен! — восхищалась невеста, ожидая по меньшей мере удвоенных восторгов со стороны жениха.

Но Прометей не доштудировал еще «пособия для женихов», к которому приложены примерные диалоги. Его знания в этой области были пока элементарны. Поэтому он отвечал благожелательным молчанием — и только.

Теперь, в своей модной паре, с округлившимся и порозовевшим лицом, видя свое отражение, мелькавшее в зеркальных стеклах витрин, он с трудом отличал себя от любого одетого с иголки приказчика в ателье мод.

— Мой Промочка! — шептала, лаская его глазами, Ирис.

Уху Прометея это уменьшительное имя показалось неприятным. Оно звучало почти укором, напоминанием о какой-то его вине... перед коршуном.

Кстати, где он теперь? Наверно, кружит над той, их скалой. А скала пуста. Устав описывать круги, опускает-

ся он на острый выступ камня, и голодный взгляд его скользит по...

— Куда ты смотришь? Так далеко-далеко? — спросила Ирис, приближая свое личико.

Взглянул на нее, будто и не слышал вопросов.

— Что с тобой? Смотришь и не видишь. Проснись.

— Мне кажется, я беглец... — медленно отозвался Прометей.

— Не понимаю.

— Да, беглец.

— Станный человек. Мало ты терпел? Ну, страдал — ну и хватит. И за чьи грехи?

— Да, конечно, хотя... Слушай, Ира. Что если я иногда буду возвращаться туда, на скалу... В отпуск к страданию. О, если б ты знала, какие мне там, на Гевонте, виделись сны...

— Изволь. Я сама отправлюсь с тобой. Ты знаешь, как я обожаю горы. Будем гулять и припоминать. Припоминать и гулять. Ах, как я ненавижу этого твоего коршуна! Мне думалось, что когда я буду твоей, ты и не вспомнишь эту проклятую птицу. Значит, я не даю тебе счастья?

— Ира! видишь ли, не всем это понятно, — но жертвенность правит духом. Есть чувство ответственности перед судом своего сознания. И никуда от него не скроешься.

— А в моих объятиях?

— Гм... когда смотрю в твои глаза, не вижу очей судьи, но стоит мне отвести взгляд и...

— Э. нервы, верь мне — нервы.

— Постой. И еще есть одно, что меня тревожит: там, в пустыне, я любил людей, а здесь, среди людей... это очень странно...

— А что нам до людей?

— Да, теперь будто каменная стена растет между мной и ими. Но я бы хотел спросить у гор...

— Прекрасно. Я уже говорила: едем. Я за тобой, как туман за облаком — по кручам, скалам; ты мне расскажешь о зачарованных кладах, о разбойниках...

— Тебя влечет эта сказочная страна?

— Нет слов. Только Татры — для свадебного путеше-

ствия слишком близко. Неудобно: дешево. Лучше в Италию. Но кто не едет теперь в Италию? Знаешь, отправимся на север. Ах, фиорды, фиельды. Я боготворю фильды!

— Всюду с тобой.

— Тогда... почему бы не в Крым? Это второй Неаполь... кипарисы! Только там близенько и Кавказ... Всюду эти отвратительные горы! Ах, что я... я хотела сказать, те места, где... где... хотя, ты ведь не был на Кавказе. Или был?

— Старо предание.

Пауза.

— Милый, я не раз хотела тебя просить... Обещай заранее.

— Говори.

— Набросай стихи. Об этом твоём коршуне. Кстати, я уже приказала его застрелить. Не пугайся. Напиши так, чтоб были и Татры, и буря, и громы, и то... как он разрывает тебе клювом сердце, и... с посвящением — мне.

— Попробую, — хмуро обещал Прометей.

— Все будет отлично. О мой поэт!

— Попробую... Как крепки твои путы, Ира.

III

После официальных «оглашений» состоялось и бракосочетание Прометея с панной Ирис. Затем свадебное торжество в их честь. Хотя о событии этом было заранее оповещено, «король репортеров» писал, что оно «всколыхнуло всю Варшаву до глубины глубин». «Уже с раннего утра, — читаем мы в самом серьезном из не-серьезных изданий, — перед костелом собрались толпы людей, привлеченных вестью о предстоящем браке славной своей красотой панны Ирис, дочери нашего знаменитого гражданина и купца, с известным поэтом и банковским служащим — Прометеем.

Уже засверкали электрические луны ламп, когда к костелу стали подъезжать экипажи. Из них выходили стройные дамы — весь цвет нашей столицы, и сопровождающие их кавалеры, во фраках со снежно-белыми манишками, которые с рыцарской галантностью поддержи-

вали тех, что, как богини с высот Олимпа, соскальзывали по подножкам фэтонов на землю.

Толпа, глазам которой редко представляется возможность насладиться столь поэтическим зрелищем, следила — в многозначительном молчании — за этим очаровательным хороводом.

Внезапно дрожь прошла по толпе. Появился, влекомый упряжкой белых коней, увитый розами экипаж: в нем, подобная дивному видению... невеста. — Она сияла, как утренняя заря, а он, ее избранник, словно Аполлон, одетый сумраком облаков, возносился над толпою смертных...

Апартаменты, предназначенные для свадьбы, специально были наняты в Грандотеле. Здесь все сверкало светом. Среди огней, роз и более прекрасных, чем даже розы, дам стиралась грань между явью и сном, вставала в свете электрических лампионов сказочная Тысяча и одна ночь. Как экзотический цветок — среди привычных глазу растений — выделяется красотой и костюмом невеста. Вот идет она, — нет — плывет по залу и ищет очами своего избранника. Он, поэт, ищет одиночества. Глаза их встречаются... Где-то щелест фонтана, поет соловей...» Далее следовало описание гарцующих танцев. Заканчивается репортерский отчет картиной ужина, перечнем блюд и вин; упомянуто и об атмосфере сердечности, тостах, а также о нескольких оригинальной, но подлинно поэтической реплике жениха на длинный ряд поздравлений.

Однако люди, скептически настроенные, твердили впоследствии, что не так уж идиллически, как описывала газета, закончилась эта свадьба. Промелькнуло даже слово: «скандал». От выяснения всех обстоятельств они стали еще туманнее.

Но мы с тобой, читатель, знакомые с Прометеем по предыдущим главам, знаем, с кем имеем дело, и то, что людям, непривычным к прометейскому жесту, могло показаться скандалом, для нас является лишь естественным проявлением его натуры.

Нам нетрудно догадаться, что самые приготовления к свадьбе, столь необычные для Прометея, должны были подействовать на него утнетающе. В состоянии ошелом-

ленности стоял он перед алтарем и повторял слова клятвы. Едва лишь кончился обряд, он почувствовал: что-то беззвучно захлопнулось за его спиной, точно калитка, предусмотрительно смазанная прованским маслом от скрипа. В замешательстве женатый Прометей оглядывался по сторонам. Он был похож на человека, ищущего в стене дыры — с тем, чтобы ускользнуть через нее. Но когда стало ясно, что уже поздно, что путь отрезан, он принял вид солидного гостя. Лицо его будто закаменело.

По пути из костела в Грандотель, когда проезжали по шумной улице, из общего гомона выделялись выкрики продавцов газет:

— Свадьба Прометея! Утопленник в бадье! Крушение!

Прометей нахмурился.

Ирис же, прижавшись к мужу плечом, шептала:

— Ах, как я счастлива.

Прибыли в отель. Прометей не выходил из состояния ошеломленности. Он слонялся из зала в зал, среди гостей, точно и сам был гостем — не слишком, притом, желанным. «Собственно, зачем я здесь?..» — мысль его была прикована к этому вопросу. Надо было куда-то идти, что-то делать. Но нет: калитка захлопнулась. Чьей волей? Не рукою ли судеб?

Хотелось любой ценой стряхнуть с себя это пренеприятное ощущение: наткнувшись на того или иного гостя, Прометей пытался улыбнуться, даже заговорить. Тщетно.

Переходя от одного человека к другому, он заметил, что они только слиплись в какие-то группки и группы, даже в подобие общества, что ли. Там, на скале, тая свой похищенный для людей дар, он не знал, что они такие. Он знал лишь человечество и богов.

«Что связывает, — думалось ему, — этих вот и меня?»

Неясное чувство кольцом сжимало голову Прометею: что-то открыто и что-то утрачено. Сознание вины, всегда в нем тлевшее, разрасталось в страх. Он искал глазами помощи. Где Ирис? С удивлением он увидел, что она в этой толпе — своя среди своих.

— Р-ронд! — закричал дирижер танцев. Все вокруг закружилось.

Прометей, отойдя в сторону, скользил взглядом по лицам, ища отклика своему немому зову. Тут только он заметил где-то в углу художника, лишь сегодня ему представленного. Он подошел к нему и спросил:

— Что вы тут делаете?

Художник поднял удивленные глаза.

— Я — на вашей свадьбе. Имел уже честь...

— Ага. Пустое. Пойдем... спрячемся, что ли.

И, потянув гостя за собой, увел его в боковую залу. Там было безлюдно. Выйдя на минуту, вернулся с бутылками в руках:

— Выпьем с горя... — бокалы вмиг были наполнены, — пей, приятель!

Осушил бокал — другой. Художник, не выходя из состояния удивления, осторожно поддерживал его.

— Знаешь мою историю? — резко спросил Прометей. — Оборачивается она, я бы сказал, довольно скверной исто... Пей!

— Знаю... как же... известно повсюду...

— Твое мнение?

— Полагаю, что пан должен был очень страдать...

— Дальше.

— За что боги и отблагодарили пана сегодняшним днем.

— О, месть богов сладостна... пьем!

Минутой позже, чувствуя, что собутыльник ждет объяснений, Прометей начал:

— Видишь ли... говорят: вино разжигает жар в крови. А я... в душе у меня будто его затоптали. Только пепел. Холодеющий пепел.

— Как же так?

— Пьем.

— А ведь такая прекрасная песня вышла — совсем недавно — из-под вашего пера: «Коршун».

— Д-да, «Поэзия — душеприказчик душ». Пей, друг. Тут тихо: «зал меж скал».

— Но что скажут гости?.. Ирис?..

— А нам что... пусть их чума!.. Пьем.

Прометеем овладела особая «варшавская откровенность».

— Слушай, брате... Ты был влюблен в Ирис. Не

спору. Она мне говорила об одном художнике... Ясно, это ты. Почему же ты медлил? Знаешь Стронжинскую долину?

— Нет.

— Все равно. Тогда бы не ты меня, а я тебя поздравлял бы. Подумать, как мы оба несчастны... Выпьем на брудершафт!

Пьют.

— Помни: никогда не ходи в Стронжинскую долину.

— А что там?

— Там... некогда... кружил мой коршун.

Раздался звонок. В дверях стояло двое лакеев, приглашая последовать к столу.

— Надо идти, — сказал художник, поддерживая за плечо пьяного Прометея.

— Постой... хотел тебе показать. Прочь, вы, рабы!

Лакеи исчезли. Новобрачный расстегнул манишку и обнажил грудь:

— Видишь этот шрам над сердцем?.. Только тебе, друг... Идем.

Гости уже размещались за столом. Прометей занял место рядом с Ирис; чувствуя на себе ее пронизательный взгляд, принял непроницаемо равнодушный вид. Прибор, предназначенный для художника, находился где-то у самого края стола.

Тут необходимо уточнить репортерский отчет: во время ужина легкий говор, напоминающий жужжание пчел, кружащих над цветами, действительно носился над столом, но вместо трюфелей — как писал «король репортеров» — были поданы обыкновенные грибы (известные у нас под названием: «совы»), паштета вовсе не было, после же «пира» были предложены вино и баварское пиво (шампанское пил только репортер — и то в воображении). Зато тосты провозглашались без счета, и вслед за каждым звучал хор на текст: «да здравствует».

Произносилась уже тридцать третья речь: устами председателя Купеческой ассоциации, человека солидного и почтенного, поднявшего бокал в честь жениха, имя которого — по словам оратора — живет всюду, во всех газетах и упоминалось даже в Ассоциации купцов в каком-то докладе.

Прометей слушал и пил, пил и слушал, становясь все мрачней и мрачней. В ответ на последнюю фразу председателя — «пусть он нам заблестает, как Сенкевич, и пусть наша торговая Ассоциация... и т. д.» — Прометей встал, выждал, пока все голоса стихнут, и начал так:

— Уважаемые и дорогие гости! Сердечно благодарен за встречные моему желанию шаги, которые приблизили меня к проблеме: что же общего между мной и вами? Вопрос этот — после нашего взаимознакомства — очень меня угнетал. Меня — не вас. И все же приношу искреннюю благодарность.

— Виват, Прометей! — крикнул кто-то из самых горячих энтузиастов. Виновник же торжества продолжал:

— Ответ все ясней и яснее. И, что бы вы теперь ни делали по доброй ли воле, или злой, меня уже это не огорчает, ибо ясность исцеляет. Вы здесь у себя, на своем месте. Только не знаю, как тут очутился я. Терпение — сейчас скажу понятней. Не думайте, что каждый, принявший облик человека, вам близок. Ранее и я так мнил. И не для того ли я — вот здесь, сейчас — среди вас, уважаемые?

— Виват! Хор!

— Тс... Тише.

Прометей долил себе в бокал, глотнул и продолжал речь:

— Существуют разные породы. Например: вы и я. Ничто нас не роднит, все разъединяет. Не признаю вашей отчизны, — вы моей.

— О!

— Вот видите: не понимаем друг друга, хотя и пользуемся одной и той же горстью слов. Как бы вам это популярнее... Возьмем не людей, собак. О собаках все можно. Так вот — есть разные породы псов: гончие, овчарки, дворняги...

— Ор-ригинально. Странная манера, — зазвучало стовсюду.

— Ньюфаундленд и дворняжка, — усилил голос оратор, — какая огромная разница! Но собаки чуют ее, а мы, люди...

— Промусь!—шепнула огорченная Ирис, коснувшись его локтя.

— Вот, например... кто-нибудь зовет меня «Филатка», в то время как моя настоящая кличка «Гектор».

Он снова наполнил свой бокал и обвел стол взглядом, ища художника:

— Где ты, друг? За наше здоровье.

Затем обернулся к изумленным гостям:

— Прошу извинить, что вашего здоровья не пью, поскольку сами вы слишком уж о нем заботитесь. О своем здоровье! От колыбели и... нет вам износу. Были и будете. Вам жить, а я... *potiturus sum*¹. Хотя род мой божественен...

— А ведь здорово заворачивает!

— Да, имена моих предков известны: служили вам как невольники, хотя и прославлялись как певцы: слагали канцоны и оды. Но в чью честь? В вашу честь. А когда вам грозила смерть, погибали за вас! Этих вы зовете героями. И если б остаться мне там, на скале, кто знает... Как бы это было хорошо: и для меня, и для вас. В сущности в каждом человеке, как бы мал он ни был, таится герой. В юности, а потом... У каждого из вас, люди, хранится воспоминание, давнее, разумеется. Вы так и начинаете обычно: «Когда еще я был соколом в Радоме...» И как гордо это звучит и будит почтение у слушателей. Так вот начну и я: когда я был прикован к скале, мне казалось, будто я звезда, сияющая над пустыней! Пусть вас не удивляет стиль: это называется «символизмом». Но к делу. Было нас двое: я и вечность. И третье — море, шумящее человечеству. Я не знал еще тогда, что человечество — это вы. Серьезная ошибка, не правда ли?

— О, как я вас тогда любил. Здесь, в этой грудной клетке, жил изловленный для вас божественный огонь. Мог ли я знать, что у вас есть свои теплые печи и очаги. Увидев меня с пламенем меж ладоней, вы, наверное, обозвали бы меня «поджигателем». Не правда ли? Вор у богов, поджигатель—у вас: где приклоню свою голову? Знаю, вы ненавидите все, что вам не на потребу. «Не играйте с огнем»,— учите вы своих детей. Все крылатое

¹ Я смертен (лат.).

вам подозрительно. Не оттого ли убили вы моего коршуна? Ничего: теперь и на мне его кровь!

Земля — ваша. Вы царствуете. Все вас прославляет: и шуршание кофейной мельницы, и грохот орудий. Для вас земля — как этот стол. И все, что на нем... нет, на ней: растения, и звери, и дождь, и свет солнца. Красота... но для вас это ничтожный пустяк. Мимо. Чего же вам еще? Я, безумец, думал: огня. Нет: с вас достаточно и тепла. Умеренная температура. Все для здоровья! О, как вы преисполнены мудрости и... предусмотрительности. Удивительно, как вы не выселили из вашего мира смерти. Ведь она тоже вредна для здоровья! Заметьте: я уже — по тысячелетней привычке — начинаю о вас беспокоиться. Пора кончать. Итак, убейте дух! Пусть растет и цветет, ветвится и лучится, во веки веков! Ваше здоровье (поднял бокал и осушил его).

Гром аплодисментов наполнил зал.

— Да здравствует! Ура! — прошумело отовсюду.

Прометей стоял недоумевая. Затем беиенство проступило на его лице. Такой ли реакции мог он ждать? Когда в зале несколько поутихло, он бросил:

— Разве вы не видите, что я вас ненавижу?!

— Bravo! Bravo!

Еще более шумный взрыв аплодисментов и новое «да здравствует».

Все выпитое вино ударило в голову Прометею. Он поднял бокал и ахнул им в лысину председателя.

Тут-то и разразился скандал. Все посрывались с мест. Ирис билась в истерике, три ее тетки упали в обморок. Среди переполоха и возгласов возмущения одно лишь пробивалось стройным согласным хором:

— По-ку-сил-ся на се-ди-ну!

Впоследствии иные из гостей вспоминали, крайне аф-фрапированные, как вдребезги пьяный жених выкрикивал что-то вроде «О мой коршун», «Западня», «Так им и надо», пока не свалился и не был перенесен на кушетку.

Однако скандал — как и все на земле — был забыт; тем более что Прометей благодаря связям тестя занял вскоре пост директора банка.

Сейчас он ведет жизнь солидного человека, одевается по моде, занимает респектабельную квартиру, правда, обставленную не закопанской, а венской мебелью, и помышляет о своем коршуне? Нет, о своем здоровье. Изредка только, когда выпьет лишний бокал вина, странное возбуждение овладевает экс-Прометеем. Тогда он берет за руку своего наиболее интимного друга, отводит его в сторону и, раздвинув края крахмальной манишки, показывает ему то место над сердцем, где когда-то зияла рана. Шрам от нее еле заметен. Заплыл жиром. Вскоре он станет и вовсе незримым.

Вацлав Грубинский

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ



ВАЦЛАВ ГРУБИНСКИЙ

Вацлав Грубинский (род. в 1883 г.), польский новеллист и драматург начала нынешнего столетия, сегодня почти забытый, свою литературную деятельность посвятил главным образом разоблачению мещанской лжеморали, хотя делал это в значительно более умеренных тонах, чем Запольская. Основным принципом его творчества, в противовес Пшибышевскому, с которым Грубинский имел много общего по своей творческой манере, была любовь к человеку, к тем здоровым началам, которые таятся в его душе. В то же время Грубинский воспринимал жизнь идеалистически, не стараясь понять управляющих ею социальных законов и сводя все конфликты к внутреннему разладу в человеческой психологии. Но даже при таком восприятии и понимании окружающей его жизни писатель создал ряд реалистических, чрезвычайно характерных для своего времени зарисовок, верно отображающих быт польского мещанства на переломе двух эпох.

В свое время новеллы Грубинского пользовались значительной популярностью в интеллигентской среде и печатались во многих журналах как в Галиции, так и в Варшаве. По своим литературным вкусам писатель примыкал к той части литературного течения «Молодой Польши», которая выдвигала на первый план вопросы эстетики, пропагандируя лозунг «искусство для искусства».

Основные сборники Грубинского: «Бай-Баю-Бай» (1920), «Львы и святой Грайоснав» (1924), «Человек с кларнетом» (1927).



ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ

Они сидели втроем за круглым столом. В углу переливалась огнями большая рождественская елка, так густо обвитая серебряными и золотыми нитями, что, казалось, стоит она, укрытая распущенными волосами, пышными, густыми, длинными, до полу, или в прозрачном плаще, или в блестящей чешуе. Множество маленьких электрических лампочек мерцало на темнозеленых ветвях, так что елка словно была осыпана бриллиантовым песком или звездной пылью.

— Ты жмуришь глаза, может быть, тебя раздражает елка? — спросила, обращаясь к мужу, хозяйка дома, стройная шатенка, лет двадцати восьми, с таким приятным голосом, что уж один звук его мог бы исцелять душевные раны.

— Ничуть, — возразил ей муж, стряхивая пылинку с рукава и устремив на елку свои синие глаза с каким-то

рассеянным, мечтательным выражением. — Она... знаешь, это даже странно... она светит, словно сквозь вуаль. Этот голубой свет не может раздражать. — Он взял с тарелки орех и потянулся за щипцами. — Он похож на лунный. Если бы я не боялся прослыть поэтом, я сказал бы, Марыхна, что у нашей елки голубые глаза.

Он раздавил орех щипцами. Сухо треснула скорлупа.

Зося и ее красивая мать тоже принялись щелкать орехи. Крепкая скорлупа падала на фарфоровые тарелочки, которые тихонько звенели.

Зося перелистывала большую нарядную книгу с картинками, раскрытую перед нею на скатерти, и грызла орехи, время от времени поглядывая на тихо мерцавшую в углу елку.

Прошла минута.

Жена отложила в сторону щипцы, потом порывистым движением опять потянулась за ними. Взяла из вазы орех.

— Который час, мой друг? — спросила она у мужа.

Он не отвечал.

Орех со звоном покатился по тарелке...

— Анджей!.. Что с тобой? Какой ты сегодня рассеянный! Я спрашиваю, который час.

Анджей очнулся.

— Прости, я задумался.

Он посмотрел на часы.

— Без нескольких минут девять. Время летит. Вот уже целый час, как мы зажгли елку, а мальчики Кароля почему-то до сих пор не пришли поиграть с Зосей.

— Лучше бы они совсем не приходили, папочка. Мне не хочется играть с ними. Здесь сегодня так хорошо: тихо, тихо!

Пан Анджей нежно посмотрел на девочку.

— Ты слышала, Марыхна? — сказал он жене с улыбкой.

Она, улыбнувшись в ответ, наклонилась через стол к их единственной дочке и ласково дотронулась рукой до ее пепельных волос.

— Вот уж скоро тебе пойдет десятый год, доченька, — сказала она. — Десятая весна жизни.

Зося перевернула страницу.

Помолчав, пани Марыхна сказала, глядя на мужа, лицо которого все еще хранило задумчивое выражение:

— Через три недели, да, Анджей?

Он не отвечал.

— Анджей! Ты опять не слушаешь?

— Слушаю, Марыхна. Извини, я думал об одном деле. — Анджей зашевелился в кресле. — Зося права: сегодня у нас такая удивительная тишина, что на меня нашла какая-то рассеянность. Что ты читаешь, Зося?

— Я не читаю, папа, я только смотрю картинки.

— Они тебе нравятся?

— Очень. Ох, смотри! Ей отрубают голову! Какая она красивая! А сабля как блестит!

— Что это за книжка?

— «Тысяча и одна ночь».

Снова треснул расколотый орех, и скорлупа посыпалась на фарфоровую тарелочку.

— Ага! Это очень интересные сказки! — с деланной живостью подхватил Анджей. — Когда я их читал в первый раз, я просто не мог оторваться. Но, представь себе, Марыхна, — повернулся он к жене. — Забавно, право, — ведь я так и не знаю, какой конец у последней сказки. Как-то так выходило, что мне ни разу не удалось дочитать эту книгу, хотя мне этого очень хотелось. И я до сих пор не знаю, чем кончилась эта занятная история.

— А начало ты помнишь? — спросила жена.

Зося подняла голову от книги.

— Помню отлично. Одному арабскому султану измен... одного султана обманула жена. — Пан Анджей серьезно посмотрел на Зосю и повторил: — Да, она обманула, солгала ему. Он очень рассердился и велел ее казнить.

— Кого? — спросила Зося, любившая точность, — султаншу?

— Да.

— Такую красивую! — ахнула Зося.

— Мужья не любят, чтобы их обманывали, детка, — сказал Анджей наставительно.

— А жены?

— Что жены?

— Жены любят?

Отец ответил только через две секунды.

— Никто этого не любит, Зося, — сказал он с достоинством. — Но султан ведь не обманывал жены.

— А если бы обманул, она тоже велела бы его убить?

— Нет, — ответил отец уже с легким нетерпением. — Только султан имеет на это право.

— А почему?

Вопрос привел Анджея в некоторое замешательство.

— Вырастешь, тогда поймешь.

— А я уже поняла, папа.

— Зачем же ты спрашиваешь?

— Султан убивал женщин оттого, что он мужчина и сильнее их, — почти с торжеством объявила Зося.

Пани Марыхна расхохоталась. Засмеялся и Анджей... но не сразу.

Глядя на родителей, развеселилась и Зося.

Анджей продолжал:

— Вот с тех пор султан решил жениться только на одни сутки. Каждый раз только на сутки.

— Как это?

— Он женился в полдень, а на другой день на рассвете его новой жене отрубали голову.

— За то, что она его обманывала?

— Нет, она не успевала его обмануть. Он ее казнил для того, чтобы она не могла этого сделать.

Подумав минуту, Зося спросила:

— А потом что было?

— Потом? Нашлась такая девушка, дочь одного ви-зиря, которая решила помешать султану каждый день жениться и казнить жен. Вот она вышла за него замуж — ее звали Шехерезада — и ночью начала рассказывать султану сказку. Рассказывала до самого утра, но кончить не успела. У султана глаза слипались, но ему так хотелось услышать конец, что он отложил казнь Шехерезады до следующего утра.

Прошел день, наступил вечер... Когда взошла луна, Шехерезада продолжала свой рассказ, но опять не успела его кончить до рассвета. А сказка была такая интересная, что султан опять отослал великана-палача с

кривой саблей и решил дослушать рассказчицу в следующую ночь. Но из этой сказки родилась другая, и так Шехерезада рассказывала султану дивные сказки тысячу ночей. А потом... А вот что было потом, я и не знаю. Да, дочка, не знаю, и мне так же, как султану, очень любопытно узнать! В самом деле, Марыхна, если ты помнишь конец, расскажи мне его коротко сегодня, ради сочельника. Будь моей Шехерезадой.

В неосвещенном углу за гданским буфетом начали глухо бить часы. Пан Анджей с беспокойством взглянул на свои ручные, потом торопливо потрогал воротничок и галстук, как бы проверяя, в порядке ли они.

Заметив это быстрое, как молния, движение, пани Марыхна промолвила с удивлением:

— Ты ждешь гостей?

Пан Анджей возразил почти естественным тоном:

— Гости? Почему это тебе пришло в голову? Потому что я посмотрел на часы?

В передней раздался звонок.

— Это Вицусь и Стефанек! — крикнула Зося и, вскочив со стула, побежала в переднюю.

Но это были не ее кузены. Она вернулась в столовую.

— Письмо! Письмо папе!

— Мне?

Пан Анджей казался удивленным. Недовольно взглянул на адрес, пожал плечами и нарочито медленно вскрыл конверт.

Прочел и сказал отрывисто:

— От пани Лили.

Небрежно держа письмо кончиками пальцев, он протянул его жене над хрустальной вазочкой, полной миндаля, чернослива, мармелада.

Пани Марыхна щелкала орехи. Она не взяла письма.

— Что же пишет Лили? — спросила она равнодушно.

— Что пишет? — повторил Анджей. Он опять, словно нехотя, взял в руки исписанный листок и пробежал его глазами весь — казалось, не только вдоль, но и поперек. — Что у них сегодня очень веселый сочельник... она устроила холостяцкий ужин... Гости девять человек, одни только мужчины... Что ей очень весело... но она хо-

тела бы увидеть и меня в их компании... Вот слушай, что она пишет: «Нам недостает ваших темносиних глаз в черных ресницах — у всех, кто собрался сегодня здесь, глаза черные или карие...» Видно, они там здорово дурачатся. Она, наверное, читала им вслух это письмо. Тебя она нежно целует и просит «милостиво дать мсье Андре отпуск на несколько часов, если он весь день вел себя примерно».

Наступило молчание.

— Ну, как ты думаешь, Марыхна?.. — спросил Анджей у жены.

— Что ж, если тебе хочется... — отозвалась она, как всегда, ласково.

Анджей достал папиросу, но не зажег ее.

— А что если в самом деле заглянуть к ним на полчаса? А? Пани Лили такая любезная... сегодня утром прислала тебе цветы. Она тебя просто обожает. А это кое-что значит, чорт возьми, — ведь вообще-то она не выносит женщин. Пожалуй, даже неудобно отказать, правда? Как тебе кажется, Марысь? Да, это будет проще всего: пойду. К тому же она живет так близко. Разумеется, надо сходить. На часок, не больше. И в таком случае мешкать нечего: чем раньше я пойду, тем скорее вернусь.

Он встал. Отодвинул кресло. Поцеловал в лоб нахмурившуюся Зосю... Как вдруг пани Марыхна сказала:

— А я только что собиралась рассказать тебе, мой друг, последнюю сказку Шехерезады. Ведь тебе, как и султану, очень хотелось ее услышать. Ну, да не беда, расскажу под утро, когда ты вернешься от пани Лили...

— Марыхна! — воскликнул Анджей с укором, плохо скрывавшим стыд.

— Не уходи, не уходи! — стала капризно просить Зося. — Пусть мамочка сейчас расскажет, я тоже хочу слушать! Утром? Я не хочу утром!

— Ну, хорошо, хорошо, — защищался муж и отец, смехом маскируя смущение. — Сажусь и весь превращаюсь в слух! Последняя сказка Шехерезады, наверное, была коротка — и я успею и выслушать ее и зайти к пани Лили выпить рюмку вина. Не правда ли, Марыхна?

Честное слово, я жажду узнать конец этой фантастической истории.

— Мне помешал звонок, — сказала жена. — Звонок и это неожиданное письмо. Если ты согласен побыть с нами еще несколько минут... Зося, сними локти со стола и не горбись, сиди прямо.

— Так вот, дорогой мой, в ночь тысяча первую... в тысяча первую ночь султан не стал слушать рассказ жены своей Шехерезады. Не захотел слушать — в первый раз за тысячу ночей. Он остановил ее жестом белой руки. И она умолкла, не докончив фразы — вот как она была послушна своему властелину. Она смотрела ему в глаза, ожидая, что он скажет. В покоях легла ночная тишина. До рассвета было еще далеко. И сказал султан:

— Шехерезада! Самая чудесная из твоих сказок — ты сама. До этого дня я хотел только их, а теперь хочу тебя. До сих пор меня удерживало при тебе любопытство, а теперь в моем сердце проснулась любовь. Люблю тебя, Шехерезада.

Лицо Шехерезады омрачилось.

— Будет так, как ты желаешь, — отвечала она мужу. Он нежно обнял ее.

Подставляя лоб для поцелуя, Шехерезада тихо спросила султана:

— Так, значит, тебе уже не интересно слушать меня?

— Нет. Я тебя люблю, — отвечал растроганно султан.

Шехерезада вдруг заплакала. Какой мудрец поймет женские радости и печали?

Прижимая ее к груди, султан захотел узнать, что означают эти слезы любимой жены.

Шехерезада посмотрела на него сквозь крупные капли, висевшие на ее ресницах.

— Теперь я отдана на волю ветра, — прошептала она.

— Не понимаю твоих слов, возлюбленная.

Она прильнула к нему и тихо стала изливать свое горе:

— Знаешь ли ты, мой щедрый господин, что такое любовь? Вольный ветер, который сегодня мчится на восток, а завтра на юг или на запад, изменчивый и капризный, ненадежный и неуловимый. Любовь неразумна, как

дтия. Минуту назад она посетила тебя — и ты вдруг возжелал бедную Шехерезаду, которую не любил тысячу предыдущих ночей. Сейчас любовь с тобой и ты наполнишь блаженством мою жизнь. Но, быть может, уже через семь дней, а то и семь часов, любовь покинет тебя так же неожиданно, как пришла. Ничто не удержит этой ветреницы: ни мои мольбы, ни твоя царская воля. Тогда я лишусь твоих милостей, о супруг мой, так же незаслуженно, как обрела их. Понимаешь теперь, отчего я так горько плачу? Я была госпожой, а стала рабыней. Будить в тебе любопытство было в моих силах, и оно отдавало тебя мне во власть. Но вот пришла любовь — и я в ее власти. А у нее нет сердца, и бессилен перед нею человек. Она, как ветер, пролетает среди нас, но она вольнее ветра, сильнее урагана, сладоостнее весеннего зефира и мимолетна, как мечта. Ты простер ко мне объятья, о любимый, синеглазый! Ты даришь мне несказанное счастье: это сделала любовь. Но ты отведешь от меня взор свой, и я стану тебе чужая, хотя ни в чем не измениюсь: и это сделает любовь. Она приходит и уходит. Она гостит, пока ей хочется, и улетает, когда вздумается. Она — шальная, она слепа, глуха, бесстыдна! Она — богачка, но богачка глупая. Она безрассудно расточает сокровища чувств, швыряет их в грязь и во дворцы, молодым и старым, святым и разбойникам, она не оставляет в покое даже могил. Так же бездумно отнимает она свои дары у счастливых и бросает их другим или уничтожает, губит. Она свирепствует среди людей, как страшная зараза. Вызывает горячку, бред, галлюцинации, а когда проходит (ибо она проходит!), оставляет по себе ненависть, щемящую грусть или пустоту. Не хочу я любви! Она меня унижит, она оскорбит, изранит душу. Любовь делает из человека пса, превращает мудреца в зверя, доброго — в негодяя, гордого — в попрошайку, весело смеющуюся девушку — в живой фонтан слез. Любовь, приходя к нам под видом счастья, терзает нас болью, сдирает с нас кожу, сдирает мясо с костей, обнажает сердце и тысячу раз убивает нас раньше, чем уложит в гроб. Я боюсь любви. Она страшна, а ты, господин мой, подносишь ее мне, как цветы в золотом сосуде! Ты открываешь мне объятья и радостно говоришь: «Шехере-

зада, я дарю тебе самую дивную правду жизни», и не ведаешь, что приносишь мне ложь. Ибо любовь сегодня — правда, а завтра — ложь. Ибо любви нельзя верить, как нельзя верить вихрю, а ты, позволив этому вихрю закружить меня, сулишь мне счастье. О султан, ты влил мне в сердце тревогу: ты любишь меня, а любовь проходит! Ты любишь меня так, словно существует только нынешний день. Словно на этот нынешний день не точит уже свой разбойничий нож день, которому имя «завтра». Ты полюбил меня — и вот я вся трепещу от счастья и бросаюсь в твою любовь, как в пропасть, познав жуткое блаженство полета в бесконечность. Но меня охватывает страх, безумный страх! Я вижу впереди рассвет, с которым приходит палач!

Шехерезада умолкла. Глаза ее сверкали, грудь вздымалась. Уста алели, как влажные рубины.

— Никогда еще ты не была так прекрасна! — сказал султан и приник к ее губам страстным поцелуем.

Пани Марыхна придвинула к себе стакан с остывшим чаем.

— Так кончаются сказки тысяча и одной ночи, Анджей,— сказала она после короткой паузы.

— В самом деле? В самом деле, Марыхна? — с трудом произнес Анджей и умолк.

— Постой, я тебе поправлю галстук, а то ты все его теребишь... боишься, что он недостаточно красиво завязан?

Она встала и подошла к Анджею.

— Не смейся надо мной, Марыхна, — сказал ее муж с непривычной для него живостью. — А ты хорошо рассказываешь! Очень выразительно... Спасибо, мой друг. Сказка твоя прелестна, — он встал. — Прелестна! Но боюсь, я из-за нее слишком поздно явлюсь к пани Лили. Это неудобно. Все мое время. Покойной ночи! — Он поцеловал руку жены, потом коснулся губами ее щеки. — О, какая горячая! И как ты покраснелась! Через час я вернусь. До свиданья.

— Зося, проводи папу в переднюю.

Пан Анджей вышел вместе с дочкой, которая по дороге цеплялась за его руку и все пыталась удержать, не дать ему уйти, — молча, без единого слова.

Через минуту со стуком захлопнулась дверь в передней. На пороге столовой появилась Зося.

— Выключи лампочки на елке, — сказала ей мать. — У меня глаза болят от света.

Зося подбежала к елке. Огоньки погасли.

— Как скучно стало! — вздохнула девочка.

Она подошла к матери и обняла ее. Пани Марыхна порывисто прижала ее к себе.

— Ой, как ты крепко обнимаешь, — засмеялась Зося. — Поцелуй! — она подставила лицо и вдруг с удивлением почувствовала, что глаза матери мокры. — Ты плачешь? — крикнула она в испуге.

Мать отвечала каким-то знакомым, сдавленным голосом:

— Это елка... не нравится мне наша елка в этом году...

Зося обхватила ее руками — крепко, крепко, изо всех своих сил... но детские ручонки были так слабы.

Корнель Макушинский

ИСТОРИЯ НИТКИ ЖЕМЧУГА



КОРНЕЛЬ МАКУШИНСКИЙ

Корнель Макушинский (род. в 1884 г.), выдающийся современный писатель юморист и автор многочисленных повестей для юношества, свою литературную деятельность начал в Кракове в первые годы нашего столетия. Основной темой его творчества является борьба со всякими проявлениями мелкобуржуазного снобизма, шляхетского гонора, мещанства в быту и в общественной жизни. Борьба эта тем более действенна, что юмористическое и сатирическое дарование писателя позволяет ему видеть все смешное, что скрывается в самых интимных тайниках человеческой души, и выносить это на общественный суд. При этом Макушинский почти незаметно, но всегда настойчиво указывает те пути, которые могут помочь человеку преодолеть замеченные недостатки. Особенно ценно в юмористических новеллах Макушинского то, что он рисует окружающий его мир в жизнерадостных тонах, показывая читателю, что за устройство лучших форм жизни стоит бороться и что это находится целиком во власти человека.

Детские повести Макушинского «Дедушкино наследство», «Большие ворота» и др. жизнеутверждающе, стремятся воспитать сильного, морально стойкого человека, способного переносить любые невзгоды и лишения во имя лучшего будущего.

В настоящее время писатель публикует на страницах польских журналов свои литературные воспоминания и участвует в общественной жизни страны.



ИСТОРИЯ НИТКИ ЖЕМЧУГА

Эта история, рассказываемая мной с большой грустью и довольно значительной горечью, может послужить ужасающим примером для людей, не признающих скрытой мудрости сомоновых притч и не замечающих маячащей вдали жалкой грани любого земного начинания. Эту историю можно читать про себя или вслух, можно и совсем не читать; про себя ее должны читать неудачники, вслух ее следует читать проповедникам. Не читать ее совсем, не опасаясь, что я обижусь, могут люди, приговоренные к бессрочному тюремному заключению, либо те, кто задумал повеситься. Этот рассказ подходит для любого возраста и состояния, а из него каждый узнает то, что следует ниже.

Пан Павел Керч был вполне счастливым человеком и поэтому пошел прогуляться в Лазенки¹. Это умозаклю-

¹ Лазенки — парк в Варшаве. (Прим. Ред.).

чение не так хамски просто, как может показаться на первый взгляд: при более глубоком анализе можно прийти к убеждению, что на предвечернюю прогулку выходят только люди совершенно счастливые или же абсолютно и безнадежно несчастные. Счастливый человек идет затем, чтобы с огромным душевным состраданием взглянуть на несчастных. Идет, чтобы сиять счастьем, любоваться цветами и позолоченной солнцем водой, а также и потому, что ему совершенно безразлично, где он прогуливается со своим счастьем, которое он носит в сердце, как безразлично и человеку, который не испытал в жизни счастья. Несчастному тоже все равно, куда он бредет со своей безнадежностью, и он не видит разницы, смотрит ли он на цветы, или на стулья своей квартиры. Он тоже появляется меж людей, чтобы иногда с обоснованным возмущением бросить взгляд на какую-нибудь сияющую физиономию. На прогулку не выходят только люди нерешительные, то есть такие, которые ожидают либо последнего счастливого слова (лотерейный выигрыш, скоропостижная смерть дяди), либо последнего удара судьбы. Перечисление всех разновидностей неудачников завело бы нас слишком далеко.

Что касается пана Керча, то он был человеком исключительно счастливым, что проявлялось даже в каждом его движении; он медленно шел, помахивая тростью и небрежно засунув другую руку в карман, в котором побрякивал в такт серебряной мелочью. Иногда он насвистывал, стреляя кругом улыбающимися глазами, и если бы по примеру нимф и фавнов он посмотрел в эту минуту на свое отражение в воде, то увидел бы не свое собственное лицо, а солнце, ибо из его глаз струились лучи на румяные щеки цвета великолепного спелого яблока. Сдвинутая на затылок первосортная шляпа открывала его светлое и княжески гордое чело. Даже жизнерадостная расцветка и манера повязывания галстука пана Павла обнаруживали обильный запас фантазии. Бант в девичьей косе не обладает столь пленительным обаянием, какое таилось в неповторимом галстуке пана Павла Керча.

Это был человек достаточно обеспеченный, один из тех, на которых подслеповатая судьба не косится и всег-

да что-нибудь подбрасывает им участливой рукой. Поэтому он мог ни о чем не заботиться, при условии, впрочем, не слишком больших требований к жизни.

Вдобавок он обладал женой совсем... совсем...

Эта женщина отличалась пышными и соблазнительными формами, ибо счастливые люди любят во всем изобилие и предпочитают скорее избыток, нежели недостаток. Избыток в комплекции пани Керч явился вместе с тем залогом ее сердечной доброты и безупречной нравственности, потому что она не была склонна утруждать себя романтическими передрыгами, особенно летом, когда упитанные люди всегда изводятся. Отсюда следует, что пан Керч, который, в основном, всегда был уверен в своей жене, особую уверенность в ней проявлял летом, из чего при благоприятных обстоятельствах можно сделать полезные выводы на тему зависимости женской добродетели от температуры.

Было как раз лето, и душа и сердце пана Керча пребывали в состоянии величайшего спокойствия. Оставив жену дремать после обеда, он вышел в город, вдел в бутоньерку необыкновенно алую розу, закурил очень душистую сигару и поступью легкомысленного счастливица и удачливого бродяги направился наслаждаться тенью Лазенковского парка. По дороге он то и дело без видимой причины улыбался сам себе, какой-нибудь встречной девчоночке или небесам. Нельзя все же сказать, что одиночное шатание проходило для пана Павла непронизовительно, поскольку он был одержим очень милой, хотя и трудно осуществимой манней запоминания номеров проезжавших извозчичьих пролеток. Готовился ли он быть статистиком, или профессором университета, или сыщиком — неизвестно, во всяком случае ни один извозчик не мог проехать мимо, не оставив в усиленно работающем сознании пана Павла глубокого следа в виде нескольких цифр.

Случалось не раз, что пан Керч сильно задумывался, вследствие чего стук колес и цокание копыт костлявого коня будили его внимание слишком поздно. Тем не менее этот глубокомысленный человек мгновенно приходил в себя, и, если даже возникала необходимость догонять пролетку, он всегда успевал заметить,

что экипаж, у извозчика которого изрытое оспой лицо и огненно-красный волдырь на левой стороне носа, а левый глаз лошади в состоянии полного бездействия, в то время как правый совершенно пассивен,— имеет номер такой-то.

Эти цифры, на первый взгляд как будто ничего не говорящие человеку с небольшим или даже без всякого философского образования, создавали пану Керчу канву для глубоких умозаключений. Он взвешивал их в уме, доискивался между ними и случайным седоком скрытой связи, необыкновенно тонким расчетом старался прологарифмировать по ним возраст лошади или предсказать будущую судьбу Автомедона¹. Я уже не касаюсь различных второстепенных выводов, длинную цепь которых развивал пан Павел.

Разве он не был счастливым человеком?

Вокруг лучезарной фигуры пана Керча распространялась какая-то неуловимая, чудесная поэзия, подобная радужному сиянию вокруг фонаря. Вот почему он чувствовал себя прекрасно, и столь же прекрасно чувствовал себя всякий, кто с ним сталкивался, ибо большим благодеянием для человека является встреча с мудрецом, который довольствуется малым, купаясь в счастье и душевном покое. Правда, пан Керч никогда и никому ничего не давал, но и ничего ни от кого не брал, — радостный и свободный духом.

Таким он был, когда 13 июня в шесть часов пополудни кружил легким шагом по гравию лазенковских аллей. Он разглядывал деревья и людей, цветы и облака, благословляя их своим просветленным взором. Улыбаясь, он как раз вошел в аллею, в которой обычно катаются богатые бездельницы, и, заметив издали подъезжающий экипаж, остановился, чтобы на всякий случай заметить его номер, тем более что не так уж много городских экипажей катит с таким шиком, с каким приближался этот.

В нем восседала донна, отличавшаяся редким изяществом, однако не столь совершенным, чтобы тут же

¹ Автомедон (гр. мифол.) — друг и возница Ахилла, а потом его сына Пирра. (Прим. Ред.).

нельзя было предположить, что ее дедушка не был когда-то дворником. Перед глазами пана Павла промелькнуло безусловно прекрасное, хотя холодное и мастерски набеленное лицо, которое его несколько не поразило, поскольку его внимание было целиком поглощено фонарями экипажа, на стеклах которых красной краской обычно обозначается номер.

— Номера нет! — констатировал он. — Это частный экипаж.

Правильность этого наблюдения подтверждалась также баронской короной, красовавшейся сбоку экипажа; пан Павел успел и ее рассмотреть — и тут же остолбенел. Правда, это случилось с ним впервые в жизни, тем не менее он остолбенел. Произошло это, по всей вероятности, только потому, что в тот момент, когда он сосредоточил пристальный и внимательный взгляд на аристократической эмблеме и, как следствие этого, молниеносно уяснил себе причину барски-высокомерного движения конских ног, похожего на движение ног какого-нибудь князя-подагрика, — он внезапно заметил соскользнувшую из экипажа на ступеньку, а со ступеньки на землю длинную нитку прекрасного, великолепного жемчуга.

Пан Павел невольно вскрикнул сдавленным голосом, как бы желая обратить внимание сидевшей в экипаже матроны, но экипаж, не останавливаясь, покатил дальше.

В этом месте можно и даже должно поделиться наблюдениями о том, как обычно поступает человек, заметивший, как кто-нибудь, идущий впереди, что-нибудь теряет. А вот как: безнадежно честный и легкомысленный человек стремительно бросается поднять оброненную вещь и затем бежит что есть сил, чтобы догнать потерявшего, которого по природной глупости всегда догоняет; тот становится тотчас весьма растроганным и сильно взволнованным, но смотрит на нашедшего с состраданием и думает в душе всегда одно и то же: «Идиот, но хорошо, что отдал!»

Человек менее легкомысленный, более уравновешенный, склонный поступать обдуманно, окликает неосторожного, но так неторопливо и негромко, что его слышит

только его собственная совесть, но очень редко может услышать потерпевший.

Человек совершенно не легкомысленный и вполне уравновешенный не бежит, не кричит, а, подняв найденную вещь, деловито оценивает ее и, если она оказывается дорогой, предусмотрительно прячет ее, а если это так — дешевый хлам — сдает в редакцию какой-нибудь газеты или в полицию.

Наконец последний метод является методом мудрецов и состоит в том, что мудрец прежде всего отвернется и всегда внимательно оглянется кругом, проверяя, не заметил ли еще кто-нибудь потерянной вещи, после чего наступает на нее ногой и начинает манипулировать носовым платком, который затем роняет и тут же поднимает, но уже не пустым, и, наконец, сходит со своего пути и направляется переулками домой. Только здесь, закрыв предварительно двери на ключ, он неторопливо изучает, что подарила ему судьба.

Эти методы, из которых три последних являются патентованными, а первый, в связи с поголовной общественной сознательностью, не имеет в сущности практического применения, — в соответствующий момент сами собой приходят в голову, без предварительного испытания. И хотя пан Павел Керч согласно второму методу и крикнул, но сделал это главным образом в силу исключительности потерянной вещи, инстинктивно же, как мудрец, он применил метод мудрецов, самый совершенный, предусмотрительный и верный из всех методов.

Экипаж был уже далеко, а он все еще стоял, так как волнение лишило его способности передвигаться. Мне знакомо это чувство еще с тех пор, когда мне сообщили, что я выиграл миллион в лотерее, что, к счастью, оказалось неправдой, не то мне пришлось бы тогда уплатить старый долг портному, что противоречит человеческой природе и совершенно не согласуется с понятием справедливости.

Только через некоторое время пан Керч повел вокруг глазом и убедился, что поблизости никого нет и что никто, кроме него, ничего не видел: однако на всякий случай, прежде чем подойти к тому месту, где во прахе зем-

ли валялся жемчуг, он сделал несколько шагов назад и вперед, хотя ноги под ним подкашивались, а на лбу выступил обильный пот. Когда он наклонился, схватил рукой огромную нитку жемчуга и, даже не посмотрев на него, так как его взгляд был непрерывно и сосредоточенно устремлен вперед, спрятал его в карман, — сердце его билось совсем не ритмично, и волна крови прилила к голове.

В этот момент что-то в нем надломилось, как будто его придавила тяжесть жемчуга, но, целиком охваченный лисьей заботой — поскорей оставить опасное место, пан Керч не располагал временем для философских размышлений. Это предрассудок, что только дикий и притом незаурядный индеец вроде «Кожаного Чулка», «Хитрой Лисицы» или «Пятнистого Ужа» так способен замести свои следы, что потом сам себя не может найти, — ибо каждый цивилизованный человек, когда ему представится возможность, достает из какого-то неведомого тайника для временного применения такой обильный запас воровской прыти, что его хватило бы на все племена апашей, сиуков и команчей.

Это можно выразить кратким афоризмом, что вор в человеке рождается и созревает мгновенно. В этом заключается бесспорное доказательство гибкости развития интеллигентности, которая способна чудесно ко всему применяться, так как воровское ремесло является трудным делом, хотя и не требует университетского диплома. Для всего на свете выработаны уже свои шаблоны и методы, и только в одном воровском ремесле удалось в девственной неприкосновенности сохранить некоторую естественность побуждения и самобытность исполнения, вследствие чего эту специальность с полным основанием можно отнести к свободным профессиям.

Пан Керч был как раз человеком интеллигентным, поэтому ему тем легче было подкрепить рассудком присущие каждому человеку и обычно дремлющие в нем способности. И он автоматически выполнял только то, что в данную минуту нашептывал ему воровской инстинкт. Инстинкт же обратился к нему с длинной и благоразумной речью:

«Пан Керч, — говорило ему что-то изнутри, — в настоящую минуту ты человек богатый. Мое почтение, пан Керч, прими мои сердечные поздравления. Но прежде всего никаких волнений и сделай веселое лицо».

Пан Керч вытер рукой вспотевший лоб и улыбнулся; он свернул в первую попавшуюся аллею и шел, то и дело меняя направление. Встречавшихся людей он видел словно в тумане. От времени до времени он запускал руку в карман и с каким-то благоговейным трепетом касался жемчуга, который свернулся в клубок, как уж, и, как уж, был холоден.

Сколько раз пан Керч ощущал этот дивный, чудесный холодок, сколько раз вздрагивал, и сердце его начинало биться сильнее, а рассудок принимался работать усерднее. Пану Керчу хотелось побежать вперед, вскочить в первую попавшуюся пролетку и тотчас умчаться домой, но рассудок схватил его за полу сюртука и настойчиво шептал:

«Не торопись, не торопись... Кто-нибудь может заинтересоваться, почему ты так спешишь, в то время как всю жизнь ты ходил важно и степенно... Нанимать извозчика нельзя! Не дай бог, останется след или тебя заподозрят, а тогда от извозчика можно будет узнать, откуда ты ехал... Ведь пролетка снабжена номером, пан Керч!»

И пан Керч продолжал идти с удивительным спокойствием, хотя душа его уже давно была дома и рассматривала жемчуг. Он вышел на оживленные улицы, где стали встречаться знакомые. Он не знал, хорошо это или плохо, но ему казалось, что он как будто немного бледен, а это кое-кому может показаться странным. Украдкой он взглянул на себя в зеркальное стекло витрины и вздрогнул, увидев свой силуэт весь увешанным нитями жемчуга и бриллиантовыми диадемами: как назло, он остановился перед большим ювелирным магазином. Он почувствовал, что бледнеет. Двинувшись дальше, Керч ускорил шаг, то и дело с непринужденным видом переходя с одной стороны улицы на другую.

А внутренний голос явственно говорил:

«Пан Керч, ты очень богат... Мое почтение! Но ни слова жене, слышишь, ни слова!..»

Над этой проблемой пан Павел призадумался; он изучал ее со всех сторон и, наконец, сам себе — на исторических примерах — доказал, что открытие тайны женщины никогда еще не доводило до добра. Это верно и неоспоримо. Много симпатичных людей и до сих пор еще сидит за решеткой только потому, что доверилось женщине.

— Женщина, — рассуждал пан Павел, — должна видеть счастье, но не должна знать его источника. А вдруг бабе взбредет на ум пойти в костел к исповеди, и ксендз, под угрозой потери царства небесного, велит ей поступить по совести? Что в данном случае лучше: потерять царство небесное или жемчуг?

При одной мысли об этом пан Керч затрепетал и сунул руки в карман.

— Ох, здесь!..

— Добрый вечер, пан Керч! — окликнул его кто-то в этот момент.

Пан Павел в ответ сделал одновременно два дела: улыбнулся и до смерти испугался. Он поспешил вынуть руку из кармана и, не переставая улыбаться, приподнял шляпу. Знакомый прошел совсем близко, но Керч его не узнал; ускорив шаг, он направился прямо домой, тем более что ему становилось все жарче и он все обильнее обливался потом.

Дома его напугал резкий свист; жена сидела около лампы и читала какую-то пухлую книгу, что Керчу было наруку, так как можно было притвориться, будто не хочешь мешать супруге, и уйти в свою комнату. Здесь он стал обдумывать, как бы незаметно закрыть дверь на ключ, но боялся, что это может привлечь внимание. После длительных размышлений ему пришла в голову гениальная идея, — и он вместе со своим сокровищем направился в тот уголок, в посещении которого благовоспитанный человек никогда ни пред кем не отчитывается. Закрывание в нем двери на запор тоже узаконено традициями благопристойности.

Он сидел тихо, как мышь. Когда он вынул жемчуг из кармана и взглянул, у него сразу же пересохло в горле: это была огромная связка крупных, тяжелых, чудесно сверкавших розоватых жемчужин.

Пап Керч пришел в изнеможение.

«Миллион!» — подумал он и шопотом принялся считать жемчужины, словно молясь на четках в этом неподходящем для молитвы месте. Он дошел уже, кажется, до девяностой, когда внезапно раздался деликатный стук в дверь.

— Ты заболел, Павлуша? — спрашивала жена.

Пан Керч вздрогнул и молниеносным движением спрятал жемчуг. Он понял, что потерял счет времени и просидел здесь по крайней мере полчаса; во всяком случае беспокойство жены имело основание. Поэтому он поспешил ее успокоить.

Вскоре, однако, пан Павел действительно почувствовал себя не совсем здоровым; усилием воли он еще владел собой, но чувствовал, что силы его оставляют и что сохранить вид спокойствия дальше будет все труднее и труднее. Правда, призвав себе на помощь актерские приемы, он улыбнулся, но руки его безобразно дрожали. Он не мог ничего есть, хотя должен был это делать, чтобы не обнаружить происшедшей в нем перемены. Ел он с трудом и отчаянием, и ему казалось, что он жует собственными челюстями собственное изболевшееся сердце. С каждой минутой становилось хуже, так как — в довершение всего — пугала надвигающаяся ночь.

Что делать с жемчугом? В костюме оставить его нельзя хотя бы потому, что жена по ночам всегда проверяет содержимое его карманов. Под подушку его не спрячешь, так как жене может притти в голову засунуть и туда руку. А если, вдобавок, жена почувствует внезапный прилив супружеской нежности и придет на его ложе? Да! Пан Керч чувствовал, что его начинает лихорадить.

До последней минуты он медлил с отходом ко сну, надеясь выиграть время для выработки плана. Планов было у него множество, но ни один не годился. Он нервно щурил глаза, мял салфетку и раздумывал, все более изнемогая, так что в конце концов с трудом поднялся со стула. Теперь он ждал счастливой минуты вдохновения, зная, что отчаяние подсказывает иной раз блестящие решения; знал он также и то, что подчас самая глупая и простая идея на практике оказывается гениальной. Остав-

шись один в своей общей супружеской спальне и получив таким образом минутку свободы, он быстро снял сапог и сунул жемчуг в его обширное нутро. Он знал, что в этот момент бледность заливает его лицо, поэтому, когда его половина пришла возлечь на ложе, как счастливый вепрь в мягком, теплом болоте, он отвернулся от света. Пружинный матрац неожиданно застонал, и через минуту в комнате воцарилась ритмично дышавшая тишина.

Пан Керч не спал. Он чутко прислушивался к мерному дыханию жены и, насвистывая носом, притворялся, что им тоже овладел сон, хотя в действительности он усталился на сапог и охранял его исключительно бдительным взором. Одновременно он раздумывал, что же, собственно, ему надлежит предпринять.

Отчаяние взглянуло на него из темного угла комнаты. Он не решался заснуть, опасаясь от чрезмерной усталости проспять утро, когда прислуга возьмет сапоги, один из которых стоит миллион. Он боялся пошевелинуться, чтобы не разбудить жену, которая будет изумлена его поведением, уже до этого показавшимся ей странным. А утомление только теперь точно разливалось в нем, и свинцовые веки сами смыкались, как крышка сундука.

Ужас... ужас... ужас...

Пан Керч слышал, как пробила полночь, слышал один, два, а там и три удара часов. Утомление перешло в боль, и все же он не уснул. Ему хотелось плакать, до такой степени он чувствовал себя несчастным и обиженным и вместе с тем страшно беспомощным. А тем временем в правом сапоге спокойным, беззаботным, холодным сном спал миллион.

Измученный мозг всегда такого счастливого пана Керча продолжал искать выхода. Пан Павел понял теперь, что со своим доходишком он был доселе нищим и по существу весьма несчастным. Кем он был? Что он стоил? Что мог сделать? Ничего. Кем же теперь является Павел Керч? «Я называюсь миллион», — восторженно прошептал он, не замечая, что ночной холод и лихорадка трясут его немилосердно. Он продолжал планировать: когда случай потери, который, несомненно, взволнует всю Варшаву, спустя год или два забудется, — он продаст жемчуг каким-нибудь способом, который обдумает позже,

пожертвовав, конечно, тысячу рублей на бедных, а затем...

В этот момент пан Павел взглянул на выступавший из темноты сапог и отчетливо увидел исходящее из него серебристое сияние. На мгновение он закрыл глаза, и перед ним тотчас же простерся волшебный рай и засверкали радужные картины, которые не могли все-таки усыпить терпеливую бдительность пана Павла. Он опять вытаращил глаза и затаил дыхание в груди, явственно ощущая пульсирование крови в висках и чувствуя, что волосы на голове становятся дыбом: вот из угла комнаты к начиненному жемчугом сапогу стал приближаться кто-то, протянув вперед две огромные, алчные воровские руки. Пан Керч хотел закричать, но не мог; от страха голос его увяз в горле. В безграничном ужасе он как можно шире открыл глаза и каждую секунду был готов броситься на защиту своего жемчуга. Таинственная фигура медленно двигалась в его сторону, увеличиваясь с каждым шагом. Безмолвная и затаившаяся, она была настолько неясна, что он не мог рассмотреть ее лица. Повидимому, она была в маске, и он различал только ее уродливые очертания.

Вот... вот она уже рядом с ним. Непреодолимый страх внезапно подбросил его тело вверх, он вскочил на кровати, готовый защищаться руками, ногами и зубами. Перед его глазами мелькали красные круги, вертевшиеся со все возрастающей быстротой, а в середине их, как в кошмарном ореоле, кто-то приближался. С ухваткой тигра пан Керч соскользнул с ложа и в свою очередь стал итти навстречу привидению, дрожа от холода и обливаясь уже не седьмым, а четырнадцатым потом. Охваченный отчаянием, он яростно двигался вперед, и, когда ему показалось, что цель уже близка, он весь напрягся, подскочил, чтобы схватить разбойника за горло, и одновременно наклонил голову, чтобы избежать ответного выпада врага. При этом он — на манер козла — ударил негодяя головой в грудь. Сраженный враг громко загудел, точно рухнул каменный дом, но продолжал невозмутимо стоять, ибо шкаф не склонен волноваться, если даже кто-нибудь принимает его за призрак. Воистину, глупая мебель.

Пан Керч застонал и очнулся. В голове он ощутил сильную боль, так как шкаф был прочный, дубовый; в глазах Керча на мгновение вспыхнул и погас семисвечный светильник. Одновременно пан Павел слышал пронзительный и отчаянный вопль своей супруги, а затем треск спичек. Ужас пани Керч был безграничен, даже грудь ее затряслась от страха при виде бледного мужа, который еле стоял на обнаженных косматых ногах, держа одной рукой за голову. Однако пан Керч быстро овладел собой и даже улыбнулся той улыбкой, которой покойник обычно улыбается потолку, хотя это и не рассеяло ужаса жены.

Бедняжка долго не могла уснуть, несмотря на уверения пана Керча, что ему приснился дурной сон, а именно, что кто-то хотел выколоть ему вилкой левый глаз, и он во сне схватился с разбойником. Пан Павел снова улегся на своем прокрустовом ложе с таким чувством, как будто он ложится в собственный гроб. Он был разбит душой и телом, голова его дьявольски болела, словно раскалывалась пополам, его душа, как зеркало, растрескалась на несколько кусков, а утомление и бессонная ночь добивали его медленно, умело, терпеливо и методично. Некоторое время все ему казалось безразличным, подобно человеку, который, будучи обессилен снежной метелью, ложится в конце концов в снег и ожидает смерти. Только бы уснуть... только бы уснуть... Внезапно в нем вспыхнуло желание смело встать, схватить этот злополучный сапог, временно превращенный в жемчужную раковину, и выбросить его через окно на улицу, — пусть его берет, кто хочет! Но этой определенно глупой затее воспротивилась благоразумная часть его души.

«Пан Керч, — зловещим шопотом внушал ему расшудок, — неужели ты сошел с ума? Ты хочешь выбросить миллион за окно? Не можешь немного потерпеть? Ради сотни рублей ты мог работать десять ночей сряду, а ради миллиона тебе вдруг жалко одной? Пан Керч, пан Павел Керч!»

Пан Керч признал все эти доводы вполне убедительными и одобрил их. Тем не менее он почувствовал себя таким несчастным, что из глаз его покатались крупные

слезы, похожие на жемчужины... Ему стало жалко самого себя.

«Почему, собственно говоря, черти впутали меня в эту историю?! Неужели жемчуг не мог найти кто-нибудь другой?»

Но как только он подумал такое, — мороз пробежал у него по коже при одном предположении, что ожерелье действительно мог найти кто-либо иной. Однако, поскольку самый закоренелый преступник не лишен крупницы совести, а пан Керч не был преступником, а только человеком сообразительным, в нем стало пробуждаться благоразумие:

«Если бы на экипаже был номер, я завтра же отнес бы и отдал. А теперь кому я отдам?»

Этому аргументу нельзя было отказать в убедительности, равно как и дальнейшим умозаключениям пана Павла на эту тему, из которых вытекало, что если кто так легко теряет тысячные жемчуга, тот, наверно, не беден, а между тем сколько слез и обид можно будет осушить и устранить с помощью богатства. Правда, в отношении утирания слез у пана Керча не было еще сформулированной программы, тем не менее он коснулся этого вопроса лишь для того, чтобы самому себе казаться порядочным. Впрочем, в эту минуту он чувствовал себя страшно обиженным, по его лицу струились его собственные слезы — не лучше и не хуже чужих.

Много, много еще передумал пан Павел, наполовину бредя, но мы не будем вышелушивать золотые зерна из плевел горячки. Как бы там ни было, неутомимый страж чудесных жемчужин так и не сомкнул в дальнейшем глаз, будучи готов пожертвовать за них жизнью. С каждой минутой они становились для него дороже, ибо тем ценнее становится для нас вещь, чем больше из-за нее человек выстрадал. Это прекрасное и мудрое положение, могущее служить для проповедей, имело реальное подтверждение в лице пана Павла, который с первыми лучами солнца тяжело поднялся с ложа. Он зашатался было, как пьяный, затем тихонько оделся и, завернув жемчуг в носовой платок, тщательно спрятал его в карман.

В тот же день вместе с пани Керч встало с постели и

ее беспокойство за мужа. Она пристально присматривалась к нему за завтраком, на минуту онемела и лишь через некоторое время заговорила:

— Ну и позеленел же ты, спаси нас боже! Что с тобой?

Пан Керч пробормотал что-то.

— Желчь, что ли? — допытывалась жена.

— Я плохо спал, — ответил пан Керч.

— Может быть, тебе повредил ужин? После баранины ты так наливался водой, словно у тебя уголь в желудке...

— Да нет же, представь себе, такой странный сон. Я тебе уже рассказывал: вилок прямо в глаз! Подумай только...

— Действительно, такой сон... Марыня!

Появилась Марыня, на редкость бестолковая, но исключительно преданная, внимательная, трудолюбивая и болтливая прислуга.

— Послушай, Марыня! Что это означает, когда снится, будто кто-то хочет выколоть вилок в глаз? Ты должна знать...

Пан Керч был очень недоволен, а Марыня долго, очень долго думала.

— А какая вилка была, серебряная?

— Какая вилка, Павлуша?

Пан Керч начал усиленно вспоминать.

— Ага, серебряная!

— Это плохо.

Супруги Керч с ужасом посмотрели на Марыню.

— А какой глаз? — спросила та.

— Левый...

— Тоже очень плохо! Правый — это бы лучше.

— Почему лучше?

— Потому что «правый глаз радость дает, левый глаз слезы льет»... — процитировала Марыня литовскую оккультистическую сентенцию. — И весь этот сон мне что-то не нравится; видно, случится в доме большое несчастье по причине найденной вещи.

Пан Керч был поражен, как громом; он изменился в лице, сначала побледнел, потом покраснел, наконец порывистым, исступленным движением схватил нож, точно

намереваясь вонзить его в выпяченную грудь верной и болтливой служанки. Правда, он не мог бы причинить ей большого вреда, так как, чтобы добраться до ее сердца через эти холмистые нагромождения и величественные верблюжьи горбы, нужен был гарпун, употребляемый для охоты на китов, — тем не менее он сильно напугал девушку.

Плохо начался этот день, очень плохо. Когда после вспышки пана Павла все в доме более или менее успокоилось и когда Марыня, перебив все мелкие и глубокие тарелки, несколько отошла, пани Керч занялась чтением газеты, а пан Керч, будучи сильно утомлен, задремал, с настороженностью журавля, в кресле.

— Ты знаешь? — внезапно спросила пани Керч.

— Ничего я не знаю, оставь меня в покое.

— Вероятно, красивый был жемчуг...

Пан Керч открыл глаза, как будто внезапно увидел призрак.

— Какой ж-жемчуг?..

Тогда ему громко прочитали:

«... Вчера баронесса Иза Гутта-Перча обронила бесценные жемчуга, принадлежащие к фамильным драгоценностям этой уважаемой семьи. Точно определить их стоимость невозможно, так как отдельные жемчужины представляли исключительную ценность. Самая большая средняя жемчужина, происходившая из сокровищницы индийского магараджи, стоила много человеческих жизней и много крови и, может быть, вследствие столь странного трагизма судьбы отличалась чудесным розовым оттенком. Эти жемчуга не имеют цены. Нашедший до сих пор не явился. Он получил бы десять процентов стоимости по оценке суда, то есть целое состояние. Увы, весьма сомнительно, чтобы в наше время нашелся столь честный человек, который возвратил бы найденные сотни тысяч...»

— Несомненно, нашел какой-нибудь вор, — вздохнула пани Керч, — честному человеку не везет...

Пан Керч упал в обморок...

.
.
.

С тех пор прошло две недели.

По свету бродил призрак человека, который когда-то назывался Павлом Керчем; он пожелтел, исхудал, его постоянно лихорадило: в течение двух недель этот человек не сомкнул глаз. Жена смотрела на все это с ужасом, горевала, служила молебны, — ничто не помогало. Иногда больной дремал днем, но от малейшего шороха просыпался; тогда он испуганно вскакивал и хватался за странно вздувшуюся грудь. Казалось, что между грудью пани Керч и грудью ее супруга не было теперь никакой разницы. Объяснялось это тем, что пан Керч хранил свое сокровище на груди в замшевом мешочке.

Нередко он по целым часам просматривал энциклопедический словарь или перелистывал груды ювелирных каталогов; пан Керч перечитал все, что только можно было найти относящегося к жемчугу. Есть он не мог, зато выпивал море воды и в конце концов дошел до того, что был не в состоянии держаться на ногах. Он упразднил почтенный институт общей спальни и спал в отдельной комнате, двери которой снабдил сложными замками, а в окно велел вделать решетку. Не подлежало ни малейшему сомнению, что пан Керч сошел с ума или по крайней мере сходит с ума постепенно, в рассрочку; во всяком случае такое мнение сложилось у пани Керч, которая однажды внезапно упала перед ним на колени и стала умолять, чтобы он обратился за советом к врачу. Она не решалась прямо сказать, чтобы он подверг освидетельствованию свою голову, и поэтому решила обратить его внимание на какую-нибудь другую часть тела... лишь бы согласился...

— Павельчик, — начала она, — сходи к врачу...

Пан Керч рассеянно взглянул на нее.

— Ради бога сходи!

— Не пойду, у меня все в порядке...

— Как в порядке? Пусть врач исследует хотя бы твою грудь.

О, злополучное слово! Услышав его, пан Керч пришел в бешенство, и вот супружеское счастье улетело, как птичка, ибо пан Керч, как тигр, бросился на жену и в исступлении избил ее. При этом в руке его осталась прядь, трогательная прядь льняных волос.

Это было началом трагедии.

Пан Керч заметил, что движение благотворно отражается на его нервной системе, и поэтому стал чаще применять этот лечебный метод. По истечении нескольких недель уже не проходило ни одного дня без такого «гимнастического упражнения», что повлекло весьма серьезные последствия. Вопли пани Керч докатились сначала до улицы, а затем и до консистории, и в один прекрасный день пан Керч остался в одиночестве, получив разлучение супругов от стола и ложа, ибо из этих двух предметов, не считая гроба, складывается, собственно, легализованная супружеская жизнь.

Тогда он стал поколачивать прислугу, от которой отделался еще проще.

Наконец он остался совсем один, и тогда первой его мыслью было: теперь-то он сможет хорошенько выспаться.

В течение целого дня он рассматривал свое сокровище: ощупывая каждую жемчужину, сто раз подряд их пересчитывая, определял стоимость каждой в отдельности и всех вместе, освещал их со всех сторон, надевал на шею и часами простаивал перед зеркалом. А под вечер он занялся странным делом: передвинул кровать вверх ножками и в одной из них принялся настойчиво сверлить дыру; он измучился и вспотел, но, наконец, завернув жемчуг в вату, засунул его в отверстие ножки, заткнул деревяжкой, перевернул кровать и впервые улегся на ней по-настоящему.

Крайнее изнеможение обессилило его, и он тут же уснул. Спал он непробудным сном, но все же в полночь вскочил, зажег свечу и снова перевернул кровать ножками вверх, чтобы убедиться в целостности сокровища. Он прекрасно сознавал, что ведет себя как сумасшедший, но иначе он не мог.

На следующий день пан Керч озабоченно обдумывал, как следует действовать, чтобы без риска продать жемчуг, подсчитывал свое близящееся богатство и строил планы на будущее. В перспективе была, конечно, Америка, где он проведет конец своей жизни в достатке, больше — в роскоши, которая вознаградит его за теперешние испытания. К сожалению, до этого еще далеко.

По временам, подобно последним каплям дождя после бури, в газетах появлялись заметки, сообщавшие, что знаменитые жемчуга баронессы Гутта-Перча исчезли бесследно. Очевидно, все ювелиры мира были извещены о пропаже, повидимому, полиция всего земного шара была на-чеку. Несмотря на свою удрученность, пан Керч испытывал некоторую гордость. «Все ювелиры мира и полиция всего земного шара», — а здесь он один со своим сокровищем — мудрый и неуловимый.

Одного только он не заметил, а именно того, что разучился смеяться. Глядя в зеркало, он видел до крайности запуганное лицо, провалившиеся, лихорадочно блестящие глаза и пожелтевшую кожу. Руки его отчаянно дрожали, и даже передвигался он с трудом. В квартиру он никого не пускал, снабженные увесистой цепью двери приоткрывал лишь настолько, чтобы можно было взять приносимую ему пищу. Он забыл обо всем мире, точно так же, как и все забыли о нем, как если б он умер. Впрочем, ему самому казалось, что он уже в гробу, и только надежда воскресения в славе и богатстве поддерживала в нем тлеющую жизнь.

В подобных терзаниях прошел, наконец, еще целый год.

Пан Керч начал подумывать о приведении своих планов в исполнение. И вот в один из дней пан Керч в течение нескольких часов продал за бесценок свое имущество, уложил вещи, перекрестился и отправился в Париж. По каталогам он знал наизусть все фирмы: по целым дням бродил он по улице Ройяль и по Rue de la Paix, останавливаясь перед каждой ювелирной витриной и осторожно заглядывая внутрь магазинов.

Наконец он снизал с шелковой нити три самых маленьких жемчужины, отправился в костел и там долго и усердно молился. Потом, смертельным усилием воли преодолев смертельную же тревогу, он уверенно, исключительно уверенно вошел в магазин самого крупного парижского ювелира.

— Чем могу служить?

Керч пошатнулся но, овладев собой, вынул прелестные розовые жемчужины, завернутые в шелковистую бумагу.

— Мне хотелось бы это продать!.. — тихо, но почти не-принужденно произнес он.

Седой старичок-ювелир, прежде чем взглянуть на жемчужины, стал присматриваться к посетителю, притом очень пристально; когда пан Керч встретился с его взглядом, он подумал, что есть еще время скрыться, но страх приковал его ноги к месту.

— Что это такое? — спросил ювелир.

— Жемчуг... три жемчужины... очень красивые...

— Покажите, пожалуйста.

Старичок взял их в пальцы, подошел к свету и стал рассматривать. Он перенес взгляд с жемчужин на Керча, а затем снова стал изучать драгоценности. У Керча дыхание замерло в груди; он начал дрожать всем телом и ждал, следя воспаленным взглядом за руками ювелира, который вдруг покраснел, быстро завернул жемчужины в бумажку и, возвращая их Керчу, сказал повышенным и раздраженным тоном:

— Немедленно убирайтесь отсюда, пока я не позвал полицейского!

— Иисусе, Мария! — воскликнул Керч сдавленным голосом и оленьим прыжком мгновенно очутился за дверь.

Его лоб покрыла испарина, страх гнал его по улицам; он вскочил в авто и велел ехать на другой конец Парижа, то и дело оглядываясь, не преследует ли его кто-либо. Он не сразу мог собраться с мыслями и сообразил лишь, что старик-ювелир несомненно очень порядочный человек: узнал жемчуг и не задержал продавца, хотя легко мог бы это сделать. Даже предупредил его об опасности.

В отеле Керч провел ужасную ночь. На следующий день он был уже на пути в Венецию.

Прошел месяц, прежде чем он решился зайти в ювелирный магазин на площади св. Марка; возможно, что он и не проявил бы подобной отваги, если бы к этому не вынуждали его чрезвычайные, но закономерные обстоятельства: деньги кончались, в кармане оставалось всего несколько франков.

Повторилась парижская история, но с другим результатом. Его принял очень вежливый, обходительный моло-

дой ювелир. Он осмотрел три жемчужины и улыбнулся. Это было хорошим признаком.

«Он их не знает!» — подумал Керч и приободрился.

— Вы желаете их продать? — спросил ювелир.

— Собственно говоря, нет, — очень хитро отвечал Керч, — но они мне не нужны.

— У вас еще есть такие?

— Конечно, разумеется... Могу поискать...

— Точно такие же?

При этом ювелир опять улыбнулся.

— И такие, и побольше... Это фамильные...

— Можно взглянуть?

Керчу стало как-то безразлично.

«Или богатство, или тюрьма, — подумалось ему, — пора кончать...»

Он вынул из кармана огромную нитку жемчуга и осторожно положил ее на стекло стола.

Ювелир взял жемчуг и, не переставая улыбаться, стал весело взвешивать его в руке.

— Могу, пожалуй, купить, — сказал он, — но все вместе.

Небо разверзлось перед Керчем. Ювелир же продолжал смотреть на него с загадочной улыбкой.

— Сколько вы за них хотите?

Керч высчитал уже давно.

— Миллион двести тысяч! — отчеканил он, мысленно решив сбросить эти двести тысяч при окончательной сделке.

— Я дам вам... сколько же вам за это дать? Видите ли, мне нужен этот жемчуг для подарка кухарке: могу предложить вам двадцать франков... Впрочем, дам тридцать, чтобы не торговаться. Но шутка вам удалась. Этот миллион был великолепен...

И ювелир рассмеялся во все горло.

— Этот жемчуг фальшивый?

— Что? А вы этого не знали?

У Керча что-то случилось с горлом, он побледнел и ничего не ответил. Ювелир сочувственно посмотрел на него.

«Несчастный безумец!» — подумал он и, возвращая Керчу жемчуг, добавил:

— Возьмите его обратно, повидимому, вы очень его цените и любите.

Из глаз пана Павла Керча полились такие крупные слезы, как самая большая из его жемчужин. Его грудь сотрясали рыдания. Да он его очень любит. Дрожащими руками он взял жемчуг и, шатаясь, вышел.

В тот же день в номере венецианской гостиницы повесился некий Павел Керч из Варшавы. Это самоубийство получило огласку благодаря своей оригинальности: несчастный повесился на огромной нитке жемчуга.

Густав Даниловский

ПОЕЗД
ПАН ТОНКИЙ



ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ

Густав Даниловский (1871—1927), прозаик и поэт, родился в городе Цивинске, Казанской губернии, в семье ссыльного участника восстания 1863 года. Гимназию кончил в Варшаве, а высшее образование получил в Харьковском техническом институте. Еще будучи студентом, сблизился с революционно настроенной молодежью и вскоре стал деятельным участником социалистического движения. Литературную деятельность начал в последние годы прошлого века, публикуя ряд своих новелл в варшавских журналах «Иллюстрированный Еженедельник», «Правда» и др. В 1900 году вышел из печати первый сборник его новелл «Него», принесший ему заслуженный успех. В последующие годы издал поэму «На острове», повести «Былое» и «Ласточка».

За участие в революционном движении был арестован и заключен в тюрьму, что послужило темой для его сборника очерков «Тюремные впечатления и зарисовки». Большое влияние на творчество Даниловского имела русская революционно-демократическая литература, в частности Салтыков-Щедрин.

Даниловский был одним из ведущих представителей литературного течения «Молодая Польша», но занимал там особое место, в творчестве своем сочетая романтическую фантастику с острой социальной тематикой. В этом отношении особенно интересна его повесть «Ласточка», рассказывающая о революционных связях русской и польской молодежи накануне революции 1905 года.

В дальнейшем примкнув к Пилсудскому и став одним из деятельнейших его сотрудников, Даниловский закончил жизнь как один из апологетов польского буржуазного государства.



ПОЕЗД

Город Рышвиль рос с поразительной быстротой.

Молодежь слушала с некоторым недоверием, как старики говорили, будто они отлично помнят то время, когда здесь стояли крытые соломой хаты, дымилось несколько жалких фабричных труб и по пальцам можно было перечесть железные крыши домов, выделявшиеся среди соломенных, точно редкие цветки повилика среди желтых полос льна.

Теперь повилика совершенно заглушила лен.

Громадные строения раскинулись на высоком берегу, а низкие домишки и хаты вовсе исчезли или перекечевали вниз — туда, за реку. На том самом обрыве, где когда-то рос лес, ценою затраты миллионов рублей был воздвигнут величественный вокзал — гордость Рышвиля.

Вместо деревьев выросли алебастровые колонны, поддерживающие хрустальный свод с золочеными фресками.

Под мраморные арки через каждые несколько часов въезжал запыхавшийся поезд. Здесь он останавливался, здесь кончался и железнодорожный путь — почти на самом краю обрыва, — и приезшему достаточно было сделать несколько шагов, чтобы очутиться рядом с начальником станции, который всегда в момент прихода поезда стоял, опершись на балюстраду, и глядел в пространство.

Вид был поистине прекрасный. Мраморные плиты террасы, возвышавшиеся над рекой, розовели в солнечных лучах. Шагов на двести ниже балюстрады тянулась широкая лента реки. Она играла всеми цветами радуги — от бледнозолотого до кроваво-пурпурного. И тут же рядом высились громадные здания Рышвиля, над которыми клубились бесконечные струи дыма. На противоположном отлогом берегу чернели тесно прижавшиеся друг к другу низкие домики, дальше маячил лес, а над ним умирало огромное солнце.

Начальник станции глядел вдаль и предавался всевозможным мыслям. Он думал о том, что если придется соорудить мост и продолжить железнодорожный путь, то это испортит пейзаж, а надобности в этом нет никакой, так как жители отлогого берега и без того поспевают в город на работу. Затем он взглянул на часы — он ждал еще одного поезда. Это был экспресс, с которым на рассвете выехали на маевку за город, на одну из ближайших станций, дети перворазрядного пансиона.

«Солнце заходит... Он должен скоро прибыть», — подумал начальник и зашагал по мозаичной дорожке, ведущей к конторе.

На половине пути он заметил телеграфиста, без шапки бежавшего ему навстречу. В руках его была какая-то бумага.

— Откуда?

— С третьей станции перед Рышвилем, — пролепетал запыхавшийся телеграфист, необычайно расстроенный и бледный.

Начальник стал читать, но не мог сразу понять, в чем дело.

Телеграмма гласила:

«Начальнику станции Рышвиль. Поезд с детьми не

остановился на станции. Промчался мимо, несмотря на наши сигналы. Причина до сих пор неизвестна. О дальнейшем будет сообщено».

— Давно получена?

— Четверть часа тому назад.

— Что за чушь, — шепнул начальник станции и, сильно встревоженный, быстрее зашагал к своей конторе.

— Ну, что там еще сообщают? — спросил он входя.

— Как раз принимаю депешу, — ответил один из чиновников и, склонившись над узкой бумажной лентой, стал медленно читать по слогам:

«Начальнику станции Рышвиль. На пятой версте от третьей станции найдены машинист и кочегар — оба мертвые. Лежали, сплетясь в один клубок. По всем видимостям, между ними произошла драка. Кондуктор соскочил на ходу. Никаких объяснений дать не может. Он весь искалечен и ежеминутно теряет сознание. Поезд мчится сам. Следующая станция предупреждена», — кончил он подавленным голосом.

Наступила долгая томительная пауза.

— Что же будет?! — шепнул кто-то наконец.

— Что будет?! — точно эхо, повторили все.

— Ничего! — громко произнес пришедший в себя начальник станции. — Линия свободна, котел паровоза достаточно крепкий — не лопнет. Возвращайтесь все к своим занятиям. Ни слова никому! Не тревожить публику! Я иду за начальником движения.

— А вы телеграфируйте пока на вторую и первую станцию, чтобы дали дальнейшие сведения, — бросил он, уходя, одному из телеграфистов.

— Слушаюсь! — ответил тот и склонился над аппаратом.

Между тем на перроне начинались движения и шум. Весь цвет Рышвиля шел встречать своих детей.

К огромному асфальтовому подъезду вокзала ежеминутно подкатывали роскошные экипажи самого разнообразного вида. Подъезжали просторные ландо, влекомые тяжеловесными першеронами... Останавливались высокие фаэтоны, запряженные рослыми чистокровными жеребцами, и узкие одноконные пролетки; за ним шли низкие,

причудливого вида коротко подстриженные пони, весело побрякивая колокольчиками и таща за собой экипажи.

Хлопанье бичей, окрики кучеров смешивались со стуком колес и лошадиным ржанием.

Элегантно одетые мужчины выскакивали первыми и помогали выйти из экипажей изящным дамам.

На перроне, так недавно еще совершенно пустом, стало тесно. Казалось, мозаичная его дорожка превратилась вдруг в сказочный движущийся луг, покрытый пестрыми цветами. Из снежно-белых облаков муслина вырастали яркие розы, голубые васильки, желтые бессмертники, цветы с лепестками в полоску и в точку или многоцветные, как анютины глазки. Немало было и сверкающих драгоценностей—от чистых, как слеза, жемчугов и переливающихся бриллиантов до пурпурных кораллов и кровавых рубинов.

Из этих пестрых цветных окаймлений выплывали пышные бюсты, обнаженные плечи, стройные шеи, головы, обрамленные волнами волос разнообразных оттенков, из-под которых сверкали белизной гордые лбы и ярче бриллиантов горели глаза. Над всем этим стоял смешанный запах духов, а сверху лились струи электрического света, от которого туалеты сверкали еще ярче, лица, нежные и холеные, в большинстве своем красивые, среди которых попадались и невыразительные, тупые или же, особенно у мужчин, увядшие и до странности истомленные.

В то время как эта многоцветная толпа разговаривала, смеялась, обменивалась поклонами и рукопожатиями, в телеграфной конторе неумоимо стучали аппараты и из них тянулись узкие бумажные ленты, полные злых вестей, возбуждающих у чиновников беспокойство и тревогу. Нетерпеливые взгляды их все время были устремлены на закрытые большие двери—все ждали появления высшего начальства и какого-либо распоряжения.

— Наконец! — пронесся шопот.

Двери раскрылись, и в них показался начальник движения, а за ним начальник станции.

— Ну, что там?! — сухо спросил первый.

— Плохо, — ответил один из чиновников, протягивая бумагу.

— Я не спрашиваю, как, а что там, — проворчал начальник движения и начал читать вполголоса:

«Поезд миновал и нашу вторую станцию на полном ходу. Пассажиров мы не видели. Очевидно, они ничего не подозревают. Паровоз как будто в порядке. Вся линия предупреждена. Ждем ваших сообщений».

— Чего они смеются?! — процедил сквозь зубы начальник движения, нетерпеливо обернувшись в сторону перрона, откуда доносились отзвуки смеха.

Затем сев, он оперся головой на руки и с минуту пробыл в молчании. Весь персонал впился взглядом в его мрачное лицо, ожидая, что он скажет.

— Бумаги! — послышался короткий приказ.

Целый ворох бланков через секунду лежал перед ним. Он взял один из них, задумался, затем быстро написал:

«Начальнику первой станции. Обратите особое внимание на паровоз и сообщите, сколько верст, судя по дыму и пару, он еще может пройти, с какой приблизительно скоростью идет и не замедляет ли хода?»

— Телеграфировать немедленно, — приказал он.

Чиновник быстро схватил бумажку, а остальные стали внимательно прислушиваться к стуку аппарата, чтобы таким образом уловить содержание телеграммы.

— У вас есть какой-нибудь план действия? — обратился начальник движения к шефу станции.

— А у вас? — раздраженно ответил тот.

— У меня? Нет! — прозвучал ответ.

— Тогда будем терпеливо ждать, — прошептал начальник станции и сглатывая нервно подергивать свою всклокоченную бородку.

Наступила минута долгой мучительной тишины — так что можно было отчетливо слышать стук продолжавших подъезжать экипажей и отрывистые слова и восклицания сновавшей по перрону толпы.

Вдруг раздался звонок.

Все сорвались со своих мест.

Начальник движения подбежал к аппарату, склонился над заскользившей лентой бумаги. За ним подо двинулся к ленте и весь персонал.

— «Миновал нашу станцию,—читал по слогам начальник. — В окнах вагонов не заметили никого. Очевидно, все спят, не подозревая опасности. Пара и топлива в паровозе, к сожалению, много. Последнюю версту поезд пробежал в течение одной минуты. Ход не уменьшается».

— Что же делать?! — воскликнул он надорванным голосом.

Все переглянулись и застыли — каждый в той позе, в какой стоял, и бледные лица их при голубом свете электрических ламп были похожи на гипсовые маски.

— Что делать? Посоветуйте же! — крикнул, наконец, не своим голосом начальник движения.

— Пустить навстречу другой поезд, — робко шепнул кто-то.

— А кто его поведет! — возразил голос из угла.

— Сделать насыпь, — предложил еще кто-то.

— Может быть, вы предложите проложить мост через реку? — насмешливо проговорил начальник станции. — Это был бы столь же практический совет.

Снова воцарилась тишина. На лицах отобразились подавленность и беспомощность. Глаза всех умоляюще устремились на начальника движения. Он молчал. Лицо его стало пепельно-серым, губы искривились. Наконец он несколько раз провел рукой по лбу и простонал голосом, полным отчаяния:

— Тут ничем не помочь! Идемте, господа. Надо им все сказать.

Держа в дрожащих пальцах телеграмму, сгорбившись, тяжелыми шагами направился он к перрону. За ним длинной цепью потянулся весь персонал.

Внезапное появление этой сумрачной вереницы людей вызвало на перроне общее волнение.

— Что случилось?.. Что это за траурная процессия?.. — посыпались со всех сторон вопросы.

А они молча протискивались сквозь толпу, опустив головы, медленно, как бы желая оттянуть решительный момент раскрытия тайны.

В конце балюстрады процессия остановилась. Начальник движения, почувствовав, что дальше идти некуда, обернулся, взглянул на горевшие любопытством лица, еще больше побледнел и начал:

— Уважаемые рышвиляне! Мы получили телеграфное сообщение, которое я считаю своим долгом передать всем...

— Что-то недоброе! — слышался голос сбоку.

— Крушение!? — раздалось несколько вскриков.

— Тише! — командовал кто-то.

— Тише! — слышалось со всех сторон.

Все замолчали, начальник же стал читать короткие, как выстрелы, слова телеграмм, все более страшные, все более отчетливые и полные угрозы, оловом падавшие в сердца слушающих.

— «Ход поезда не уменьшается...» — закончил он.

Подняв глаза, он мог подумать, что перед ним толпа трупов, нарядившихся в пестрые саваны. Лица у всех были иссиня-бледные, губы белые, глаза же мутны, точно матовое стекло.

Стоявшие позади еще не разобрали, о чем шла речь, но чувствовали, что произошло нечто необычайное и при этом страшное.

— Что случилось? Говорите же! — поднялась буря нервных вопросов, и по мере того как раздавались короткие ответы, буря эта стихала и наконец сменилась могильной тишиной.

Но вот оцепеневшая толпа на минуту пришла в себя. Все глаза уставились на бледное лицо начальника, требуя от него объяснения, утешения, спасения. Он же, почувствовав на себе взгляды толпы, отвернулся и машинально посмотрел в сторону реки.

Тысяча глаз последовала за его взглядом, и страх охватил всех. Эта выющаяся лента воды под обрывом была более чем выразительным ответом.

Молча, с широко раскрытыми глазами, обливаясь холодным потом, смотрели все на реку и не были в силах оторвать взгляд от сверкающей волны, которая, злобно ворча, вспененной грудью билась о плиты мраморной террасы.

Через минуту застывшие сердца стали биться в бешеном ритме, точно птицы в клетке, а затем слышались и короткие рыдания, слившиеся в один общий стон.

Этот первый крик боли до тех пор, казалось, онемев-

шей толпы пробудил от глубокого раздумья стоявшего в стороне человека.

Человек этот выделялся в этой нарядной толпе не только своей простой серой одеждой, но и лицом, почти бронзовым, как бы загоревшим от солнца или закоптелым от дыма. Черты лица его были грубее, чем у окружающих, но говорили об энергии и воле. Все это, вместе с монументальной атлетической фигурой, придавало ему, в особенности среди этих утонченных, хрупких людей, привлекательность здоровой, естественной красоты.

Человек этот, слушавший все молча, внезапно отделился от толпы и быстрым уверенным шагом пошел вдоль рельс, удаляясь от Рышвиля.

Меньше чем в двух верстах от станции поперек дороги возвышался предназначенный для пешеходов мост, под которым проходили поезда.

В этом месте человек сошел с полотна дороги, быстро вскочил на насыпь и через мгновение стоял на мосту.

Солнце уже скрылось, только белые облака розовели еще по краям горизонта. На лиловом фоне неба резко выделялись темные силуэты телеграфных столбов и деревьев. Впереди желтело полотно железной дороги и блески две серебряные линии рельс.

Скоро и последние отблески вечерней зари угасли. Деревья, столбы и рельсы — все это, одно за другим, утонуло в сумерках. Наступила та короткая мертвая минута, когда день уже кончился, а ночь еще не наступила.

Кругом было серо и совершенно тихо.

Подул тихий ветерок, развеял ароматы полей и лугов и застыл в долине. Лазоревое небо стало темносиним, и тихо вынырнула летняя ночь, загоревшись огнями печальных звезд.

Человек снял шапку, растегнул на груди куртку и жадно впивал свежий, холодный воздух. Он то оглядывался в сторону Рышвиля и видел тогда бледную струю электрического света, то испытующе всматривался в темную даль и настороженно прислушивался.

— Кажется, уже! — шепнул он, наконец, про себя, и ноздри его раздулись.

Действительно, вдали замелькали две огненные точки, выраставшие с каждой минутой. Вскоре можно было уже

ясно различить, что это два больших рефлектора приближающегося поезда. Затем показалась и паровозная труба, в воздухе повисло облако дыма, смешанного с искрами. Из ночной тьмы выплывал огромный паровоз и, глухо сопя, точно громадное чудовище, надвигался все ближе и ближе. В его равномерном ворчании чувствовалась слепая сила неукротенной стихии и безжалостное равнодушие бездушной машины. За ним неслись рабски послушные вагоны.

В первом находился учительский персонал. Там царила мертвая тишина, прерываемая дыханием учителей и учительниц, расположившихся на скамьях и спавших мертвым сном: без грез и сонных видений.

На их увядших лицах застыло выражение равнодушия донельзя усталых и изживших жизнь людей. При бледном свете тускло горящего фонаря они производили впечатление покрытых пылью статуй, которые ветер обросил с пьедесталов и положил вповалку.

Несмотря на то, что в вагоне было душно, некоторые из них укутали лица, как будто чего-то стыдились или боялись света. Эти, наверно, не знали сейчас, куда они едут и что их ждет в конце пути. Для них умереть значило не проснуться. В следующих вагонах, размещенные по старшинству, ехали дети — мальчики и девочки различного возраста и роста.

Старшие преимущественно спали, утомленные маевкой, но не так спокойно, как их учителя. Дыхание их было быстрое и не столь равномерное.

Некоторые хватались руками за перила скамей, как бы силясь оторваться от сна. Но через минуту руки бесильно опускались, а из груди вырывался вздох — жалоба на свое бессилие.

На лицах одних лежала печать какой-то невыразимой тоски. Глаза иных были полуоткрыты, и в них можно было прочесть выражение необычайного ужаса и немой скорби. Немало глаз источало крупные слезы. Многих мучили какие-то кошмары, и они беспокойно метались, ловя побледневшими губами воздух. Были и такие, что, казалось, видели чудесные, упоительные сны. Они мечтательно протягивали вперед свои худые руки, а на иссохших от жажды губах их играла улыбка, в которой все

же было больше грусти, чем радости. Всех объединяло какое-то мрачное предчувствие неосознанной тревоги, которая, казалось, кружила в сумраке над всем этим спящим поездом.

Младшим эта тревога не давала уснуть. Прижавшись друг к другу, стоя парами или маленькими группками, они тихо беседовали. Какой-то мальчик, сидя на полу и полсжив голову на колени девочки, непрерывно просил ее: — Дай мне отдохнуть! — и губы его дрожали от подавленного плача.

Она положила свои маленькие ручки ему на лоб и спросила:

— Так тебе хорошо?

— Да, так хорошо, — ответил он с блаженством на лице.

— Почему? — спросила она, склонившись над ним.

— Потому что так я ни о чем не думаю, — прошептал он, обнял ее шею и закрыл глаза.

В другом углу, у окна, бледный мальчик с необыкновенно нежным и грустным профилем, указывая другим на летящие снопы искр, говорил:

— Искрятся, чтобы погаснуть...

— А что от них останется? — шепнул кто-то.

— Дым, — ответил тот, и холодная дрожь пробежала по его телу.

Теперь он сидел молча и казался таким худым, а на лице его было столько боли, что одна девочка, подумав, будто он голоден, предложила ему пирожное.

— Я не хочу есть, но чувствую какой-то страшный голод и пустоту здесь, — указал он рукой на грудь.

В конце вагона небольшая группа детей пыталась открыть плотно закрытые двери.

На висках у них выступили росины пота, а в глазах отражалось сильное напряжение. Когда же один из них, споткнувшись, упал, остальные окружили его с жалобой на устах — «Как мы слабы!» — и начали тихо плакать.

Тем временем свечи в фонарях догорали, и по мере того как становилось все темнее, усиливался плач и росла таинственная тревога.

Перепуганные дети крепче жались друг к другу.

Но неугомонный стук колес заглушал жалобы и рыдания, а паровоз, покрыв веером дыма весь поезд, летел все вперед и вперед, увлекая за собой сонные и плачущие вагоны на смерть и гибель.

По мере приближения поезда росло напряжение разноречивых чувств, замкнутых в груди человека, ожидающего на мосту.

Мысли, быстрые, как молнии, загорались в его мозгу.

— Оно мчит их, это чудовище, — шептал он, — прямо на гибель Рышвиля.

Он понимал, что никакой мертвой преграде не задержать бешеного бега разъяренной машины, но достаточно уверенной в себе сознательной силе вторгнуться внутрь ее, чтобы покорить слепых богов.

Он загорался стремлением к этой борьбе, и вместе с стремлением росли в нем силы. Ему казалось, что голова его достигает туч, а звезды висят над его челом.

Красная луна показалась из-за леса и осветила темноту ночи. В ее фантастическом свете стоявший на мосту человек казался привидением — так бледно было его лицо, мечущее молнии. Он наклонился вперед, грудь его быстро вздымалась, взгляд впился в рефлекторы близящегося поезда, — двум враждебным силам предстояло вот-вот сразиться на жизнь и смерть.

Мгновенье, и паровоз был уже только в нескольких саженях от моста. Огромные фонари его залили красным пламенем деревянные быки моста; по лицу стоявшего на нем человека пробежало еще более яркое пламя.

Он шагнул к перилам моста, к самому краю его и точно собрал все тело в кулак, готовясь к прыжку.

В этот момент из трубы паровоза вырвались новые клубы дыма и заволокли все кругом...

Между тем Рышвиль переживал тяжелые минуты, мучительные, как бессонная ночь.

Грозная весть с быстротой молнии облетела город, рождая всюду стоны, плач, тревогу и отчаяние.

Во всем Рышвиле в этот вечер не было человека, который оставался бы спокойным: у каждого в поезде была хоть частица его крови и сердца в лице его потомков.

Несмотря на то, что наступила уже глубокая ночь, никто в городе не спал.

Те, что не поместились на вокзале и на прилегающей к нему площади, высыпали на балконы, которые стали похожи на клумбы цветов. Но лица людей были блее белых поддерживавших эти балконы кариадид.

Это мучительное ожидание грозной катастрофы доводило всех до умоисступления.

— Пусть происходит! Лишь бы скорей!

Эта мысль вибрировала в мозгу каждого, хотя никто не решался высказать ее вслух. Несмотря на то, что можно было с математической точностью предсказать, что алебастровая балюстрада не выдержит напора поезда, что он неминуемо должен рухнуть в пропасть и утонуть в реке,— все же сквозь отчаяние, беспокойство и тревогу изредка вспыхивала ни на чем не основанная надежда.

Рышвиляне не могли поверить, чтобы та самая сила, которая доставляла им хлеб с отдаленных полей и руду с гор, вдруг обратилась против них и одним ударом уничтожила все их потомство. А когда полученные точные сообщения, вид кончающегося здесь, на краю пропасти, железнодорожного пути, рев волн, выплывающих пену на мрамор, уничтожили последнее сомнение, — они еще придумывали самые невероятные средства спасения, лишь бы отогнать призрак катастрофы.

На перрон собрали всех отцов города, созвали пожарную команду, расставили вдоль пути солдат.

Женщины с распущенными волосами и обезумевшими глазами срывали с рук и шеи драгоценности и бросали их в реку. Что их толкало к этому? Желанье умиловить стихию или стыд от сознания, что они так празднично одеты в день смерти своих детей?

Изредка слышались вопросы:

— Зачем углубили реку? Отчего нет моста на противоположный отлогий берег?

Но после каждой вспышки исступления изможденная толпа на минуту успокаивалась, и тогда наступала поистине трагическая пауза.

На лицах горели пятна кирпичного цвета, челюсти ляскали, как в лихорадке; иные же лица были бледны

как полотно, и из неподвижных глаз катились слезы, крупные и тихие.

Электрические лампы лили на толпу голубые потоки света. Вокзальный свод искрился сиянием золоченых фресок. Среди прерывистых всхлипываний раздавался звон раскачавшихся колоколов, бивших тревогу.

И вот в один из таких моментов, тяжелых, как предсмертная агония, какой-то старец, у которого в поезде были правнуки, бросился на колени и стал осенять свою трясущуюся от ужаса голову знаменiem креста. И в то же самое мгновение кто-то крикнул душу раздирающим голосом:

— Идет!

И тоже упал на колени.

— Идет! — страшный крик этот вырвался из тысячи грудей и пронесся над толпой, подкашивая ноги.

— Отче наш, иже еси на небеси, — стонал весь дрожавший от страха старик.

— Отче наш... — повторили сквозь рыдания все и устремили мокрые от слез глаза к небу. Но увидели вместо неба лишь золоченые фрески хрустального свода.

Старик отшатнулся, но только на миг, руки его задрожали еще сильнее, и он снова начал молиться:

— Да святится имя твое! — повторяла за ним толпа.

— Да приидет царствие твое, — произнес он чуть тише.

— Да будет воля твоя, — прошептал он и вдруг умолк, так как чувствовал, что никогда не искал царства божьего на земле, не взывал ни к воле бога, ни к имени его, а богохульствовать в такую минуту он не смел, ибо вдали все отчетливее вырисовывались зловещие глаза приближающегося паровоза.

— И отпусти нам грехи наши, яко и мы отпускаем... — забормотал старик и вдруг схватился за голову. — Прости мне ложь мою! — простонал он и упал на каменные плиты.

Толпа ревела, обезумевшая от грызущего сознания, что даже молитвы ей не дано.

Поезд между тем вкатывался под арку.

Какая-то новая страшная буря вырвавшихся из глубины стонов свалила толпу наземь, и перрон был похож на луг, скошенный единым взмахом косы. Стало страшно.

Только звоны рышвильских колоколов становились все неистовее и глухо ворчал разъяренный паровоз, застилая дымом лежавших на земле.

Вдруг резкий свисток прорезал воздух.

Все колокола Рышвиля замолкли.

Заторможенный сильной рукой, поезд остановился, как врытый.

А когда дым рассеялся, впереди паровоза в кровавом свете рефлекторов показался человек.

Серая куртка его была расстегнута на груди, жилы на висках раздулись, а лицо горело огнем. В руке он держал обломок алебастровой балюстрады, которая, рухнув, как бы указывала путь через реку.

Пылающие глаза свои он устремлял туда на дальний берег.

Там разгорались золотые зори, точно солнце возвращалось на небо, а в ночной тишине над спокойными волнами реки раздавался сигнальный звон. Он звучал, как ранняя песнь жаворонка, и в нем был слышен призыв:

— Подымайтесь!..

П А Н Т О Н К И И

Иногда, чорт знает откуда, нападает на человека тоска и гложет сердце. Душа размечтается, и взбудораженный мозг, как бурное море — раковины, выбрасывает мысли, странные подчас как эти раковины: одни пустые, в других — жемчужины.

И я был в таком странном настроении: отчего? — Не знаю. Может быть, оттого, что я был одинок и так далеко от...

Ноя привык к одиночеству. Видно, всему виною был ветер, что метался и выл, да река, катившая куда-то вдаль свои серые волны, да еще и песня бурлаков, грустная, монотонная, как и их жизнь, как тяжелый их труд.

Вечер сумерками наполнил комнату, и тогда я подумал, что досадно человеку подняться, например, на второй этаж, позвонить, спросить: дома ли хозяин? — и услышать сердитый ответ: «Это не здесь; звоните этажом выше...» Хотя, быть может, стократ досаднее по ошибке

появиться на свет в этом мире и остаться в нем лишь потому, что нет лестницы к более высоким этажам-звездам...

А потом ни с того ни с сего я думал: смерть — ловкий мастер. Только появится, хочешь к ней приглядеться получше, чтобы узнать, что это за птица... и вдруг — фью!.. а тебя уж и нет... И так и не увидишь мастера по той простой причине, что глаза твои остекленели и тебе уж не шевельнутся, не вздрогнуть, даже в объятиях любимого существа.

— Благодарю вас! — прозвучал голос, — первая мысль дает сигнал, что мы сродни. А вторая, хоть ей цена и невелика, но на безрыбьи и рак рыба, когда вокруг такое убожество мысли... Никто этого, пожалуй, не знает лучше меня.

Тут мой гость взял стул и продолжал, усаживаясь:

— Простите, что я пришел так поздно, но в другое время я обычно сижу, или, вернее, лежу дома; я не откомендовался — это излишне, впрочем, у меня так мало времени... можете называть меня, как хотите, хотя бы — пан Тонкий, тончайший.

Посетитель действительно был ужасающе худ; я заметил: фрак висел на нем, как на вешалке, а блестящие ботинки с очень тонкими подошвами были явно велики ему и болтались на ногах; лица же я — из-за худобы его и сумерек — не разглядел.

— Я назвал вас родственным мне, — он говорил удивительно глубоким и приятным голосом, — потому что я тоже, как и вы, по какой-то ошибке появился на этом вашем свете, на земле. Моя нянька выразила это иначе: «Малыш не подходит к люльке». Был ли я больше чем надо, или меньше? Я так и не узнал. Помню только, что и в дальнейшем мне постоянно мешало отсутствие «подходящести». Слово это не мной придумано: его создал один мой знакомый, старый слесарь-механик, любивший говорить: «Подходящесь», видите ли, пане, это главное в любой работе; без этого ничего не выйдет! Первейшая машина остановится и ни с места! как заколдованная, — если без «подходящести».

Это был единственный человек из мне известных, который, несмотря на «видите ли, пане», высказывал гениальные мысли.

Детство свое я плохо помню. Жили мы в деревне. Отца я не знал, — только мать. Она, повидимому, слишком уж крепко «подходила» сердцем к моим братьям и сестрам. Я уже и здесь был «неподходящ»: поэтому со мной обращались не совсем так, как с другими. Я это прекрасно видел, но не знал тогда, что я сам не такой, как другие, что у меня много недостатков: невероятный сорви-голова, я с ужасающей быстротой рвал — по деревьям и крышам — свою одежду, да и сам ходил весь в синяках и ссадинах. Однажды я пытался удрать в Америку, чтобы отыскать «духа джунглей»; но хуже всего была почти болезненная чувствительность души и сердца. То, что других могло лишь чуть-чуть задеть, меня глубоко ранило. Это несоответствие между наносимым ударом и его отзвуком в моем сердце было источником многих зол — как для меня, так и для окружающих.

Добавьте к этому вечную дисгармонию между моей психикой и действительностью — и вам не покажется странным, что я и сам часто не понимал себя и уже почти никогда не понимали меня мои близкие.

Такие недоразумения были печальны и неизбежны.

Это и являлось главным источником наносимых мне обид, хотя в сущности никто не хотел меня обижать. Так я говорю теперь. В те дни, однако, я не умел справедливо оценить происходящее. Что ж удивительного? Трудно и взрослому трезво судить, когда у него болит голова или сердце; еще труднее ребенку, особенно если его неудержимо влечет туманная даль и то, что за туманом.

Однако иногда задумывался и я (чаще всего ночью), когда все спали, а на небе горели печальные звезды и луна.

Но думал я все же о пустяках. Я мечтал, например, о том, как бы из светлых лучей, золотыми нитями ниспадающих с луны, свить веревку, подняться по ней туда, ввысь, и усесться на луне, как на тарелке; но тут же спохватывался, что, сделай я так, опять бы изорвалась одежда, мама стала бы сердиться, к тому же и тарелка, наверно, горячая: как же на ней усидеть?

Я размышлял также о том, что луна тоже провинилась, что ей приходится вечно блуждать одной, как и мне, и никогда не видеть солнца? И мне жаль было грустную луну, поворачивавшую ко мне свое бледное лицо в тишине бессонных ночей. Тогда меня охватывала непонятная тоска: я зарывался в подушку и тихо плакал... Иногда плач переходил в рыдания... Тогда, боясь разбудить родных, я кусал зубами подушку и молчал.

Никто не просыпался. Утомленный рыданиями, я засыпал. И мне грезились самые удивительные вещи. Иногда чудилось, будто мать подходит ко мне, тихонько наклоняется и целует так, как целовала Маринку, Юзю и маленького Казика.

Я очень полюбил этот сон. Поэтому скоро он перестал мне сниться.

Когда мне шел двенадцатый год, все мы переехали в город. Вначале мне это казалось ужасным. Нехватало простора, воздуха, свободы — все это причиняло мне страдания. Человек, однако, может вынести и самое худшее; в этом его главное отличие от животного.

В довершение зла я начал ходить в школу. В первые же дни я узнал нечто такое, что должно было сыграть немаловажную роль в моей жизни. Помню, что это произошло приблизительно так: учитель стал настойчиво меня расспрашивать, кто на перемене вымазал всю печку чернилами? Сначала я упорно молчал; наконец я осмелился заметить, что нельзя же выдавать товарищей... Три часа карцера были ответом на мои дерзкие слова. Я горько плакал; дома меня, правда, не ругали, но сделали замечание, что таких вещей не говорят. Тогда-то я впервые узнал о существовании «таких вещей». В этот вечер — и не раз в дальнейшем — я упорно думал о них, о «таких вещах», — и ничего не мог придумать, между тем мне постоянно приходилось с ними сталкиваться.

Уже на первом курсе университета я сказал «такую вещь» одному из профессоров, поступившему несправедливо... В ответ на это мне было предложено покинуть — на некоторое время — храм науки. Длительные поиски работы и хорошее знание химии помогли мне получить выгодную должность на одном пригородном заводе.

Главный администратор, мой начальник, был даже до-

волен мною, — он упрекал меня лишь в том, что я мало интересуюсь непорядками на заводе.

Я решил исправиться.

Какой-то злой рок надоумил меня заметить, что заводские часы плохо ходят: утром спешат, а вечером отстают. Трудно придумать больший непорядок. Очень довольный, я поспешил к начальнику, чтобы сообщить ему об этом. По пути я всем рассказывал о своем открытии. Не могу описать вам, каково было мое удивление и разочарование, когда я услышал сердитый и насмешливый ответ: «Мы должны с вами расстаться, наивный вы человек: таких вещей не замечают и не кричат о них на все четыре стороны!»

Я уехал. Тот старый слесарь-механик снабдил меня на дорогу изречением о важном значении «подходящести».

Он был немного пьян в этот день и, как всегда в таких случаях, словоохотлив.

— Я вам советую, — говорил он, — обточите себе по мерке лоб и совесть: иначе ржа разъест.

— А где же напильник и мерка, старик? — спросил я.

— Гм, напильник? — ответил он. — Жизнь, пане; мерка — люди!

Добряк провожал меня со слезами; я к нему искренне привязался. Поэтому он вскоре умер.

Меня очень огорчила вся эта история, и я опять начал упорно задумываться, как отличить «такие вещи» от этих. Ведь я всегда говорил правду. Трудно допустить, чтобы именно она — правда-истина была «такой вещью» и что ее следует избегать. Ведь мир восхищается истинной: слово это произносят с благоговением. Истинная наука, истинное правдивое искусство — словом, это синоним всего прекрасного.

Мне было тогда девятнадцать; сумасшедшим меня еще не считали; не удивительно потому, что столь упорное обдумывание вопроса привело меня к некоторым определенным выводам.

Во-первых, я убедился в том, что я действительно не вполне «подходящ» для мира и что попал сюда по какой-то досадной ошибке: мне бы, собственно, жить где-то в ином мире, но вдруг в недобрый час прокричал

петух, и я очутился на земле. Раз, однако, это случилось, ничего не поделаешь: надо подумать насчет «подходящести» — вот и все! Но как? Как?!

«Такие вещи» вызвали во мне подозрение, что люди лгут и так привыкли ко лжи, что верят иногда в искренность своих слов и (что еще хуже) любят красивые лгушие слова: благородство, самопожертвование, истина и т. п. и не потому ли так часто их и произносят?

Таким образом, слова затрудняют понимание мира и дают обманчивое представление о людях, хорошо разобратся в которых, с точки зрения «подходящести», было для меня слишком важно, чтобы я так легко мог отказаться от этого.

Поэтому я начал думать, нельзя ли проникнуть в мысли людей не в обход им, а напрямик, непосредственно, научиться читать их тут же по их мозгу, как по книге. Вскоре я стал автором этого печального изобретения.

Если вы наблюдали когда-нибудь пушечный выстрел на расстоянии, то вы заметили, вероятно, что по свету, направлению дыма и звуку можно приблизительно определить путь снаряда и даже его величину, хотя огонь, дым и звук — это нечто совершенно иное, нежели природа самого снаряда.

Так и мысли, хотя они отличны от материи, однако, постоянно сопровождаются известными необходимыми изменениями и движениями в веществе нашего мозга.

Если это так, то я вполне мог допустить, что эти изменения, вибрации материи, как и все явления вообще, должны сопровождаться некоторыми колебаниями температуры, а быть может и электрическими явлениями. Точно измерить их, найти соответствующий масштаб — и проблема чтения мыслей будет разрешена.

Мои предположения полностью подтвердились.

Я нашел вещество, чрезвычайно чувствительное и изменяющееся в объеме под влиянием специфических термо-электрических колебаний мыслящих клеток мозга, этого содержимого черепной коробки.

Больше всего времени я потратил на изготовление шкалы, столь сложной, что предпочитаю умолчать о ней, так как я не мог бы в течение всего разговора дать вам даже приблизительное представление о ее сложности.

Через полтора года мой прибор был готов, но он был слишком громоздок и тяжел, почти с вашу чернильницу. Я решил добиться минимального размера, надо было чтобы мыслечет укладывался на голове человека незаметно: в противном случае люди, пожалуй, нарочно старались бы думать не своими мыслями, неискренне...

Я был уверен, что добьюсь своего, так как не бывает таких технических трудностей, которые нельзя преодолеть силой труда и постепенно устранить.

Однажды утром я закрепил последнюю спириллу прибора — и мысли людей раскрылись передо мной...

— Какой-то сумасшедший! — произнес я мысленно.

— Вы ошибаетесь, — ответил гость, — я не сбежал из дома умалишенных.

Мурашки пробежали у меня по телу. Некто Тонкий в точности знал, что я думаю.

И, загадочно улыбаясь, он достал из жилетного кармана странной формы розовый предмет, чуть побольше грецкого ореха.

— Вот мой прибор — он телесного цвета, так как предназначается для лысых; точно такой же, только немного больше и темной окраски, находится у вас в волосах.

Я поднял руку.

— Оставьте! — остановил меня гость. — Это нам значительно облегчит беседу.

Я опустил руку. Пан Тонкий продолжал:

— Если бы это изобретение сделал какой-нибудь ученый, он назвал бы его по меньшей мере электро-термо-микро-тахи-метр; я же его просто окрестил: «приборчик». Два таких «приборчика», один розовый, другой темный, я всегда носил при себе; длинная прозрачная проволока из открытого мною неометалла, пропущенная в кант брюк, позволяла мне даже с значительного расстояния закидывать «приборчик» на головы наблюдаемых мной индивидов. Все удалось прекрасно; но...

— Что «но»? — спросил я быстро, крайне взволнованный.

— Но и здесь, как всегда, меня ждало разочарование.

— Почему?

— Очень просто: люди почти совершенно не думают. Почти. Процент действительно мыслящих голов состав-

ляет лишь незначительное число, и это, заметьте, среди так называемой интеллигенции.

Посудите сами: разве можно назвать мыслью набор фраз, нахватанных где и как попало? Это мыслеподобие имеет такое же отношение к настоящему процессу мышления, как плохие фотографии к живому человеку, как звуки испорченного фонографа к подлинному голосу. Этот процесс происходит почти машинально, часто даже независимо от воли и сознания индивида. Такие головы — а такими оказались даже головы многих ученых — подобны мешкам, наполненным разным старьем и дребеденью, из которых время от времени вываливается какой-нибудь предмет: то старый заштопанный носок Канта, то стоптанный башмак Гегеля.

Какую же ценность могли представлять для меня мысли, еще меньше говорящие о содержимом той головы, в которой они блуждают вслепую, нежели голоса заправских критиков о действительной ценности произведения или звуки шарманки о духе воспроизводимой ею мелодии?

А таким «шарманочным» тембром отличались головы почти всей интеллигенции: мозг напоминал бездарно составленный каталог; вся же мнимоумственная деятельность сводилась к быстрому отыскиванию цитаты.

Диапазон мыслей этих людей потрясаяще ограничен; всего лишь несколько элементов: почему? сколько?.. когда обед?.. два раза пиво! — Я пас! ваша бита! — вот почти все.

К тому же мне очень хотелось найти соотношение между мыслью и словом.

Что же оказалось? Никакого постоянного соотношения не существует.

Иногда мысль явно противоречит словам; иногда даже говорится то, что думается... но чаще всего мысли идут своим путем, слова — своим.

Помню мое удивление, когда я впервые положил розовый «приборчик» на лысину весьма уважаемого советника.

Стрелка не двигалась, хотя советник в это время произносил блестящую речь о благородных задачах учреждения, которое он возглавлял.

Я уже стал думать, не испорчен ли прибор? Однако вскоре, к моему крайнему удивлению, прибор стал показывать мысль: «Что заказать к ужину — раков или цыплят?» — именно в тот самый момент, когда дрогнувшим от умиления голосом советник произносил: «Мы делимся своим скромным хлебом насущным с нашими меньшими братьями».

Дело шло о распределении наградных по случаю Нового года.

Мысли живой, подлинно творческой, проникнутой чувством и силой, я долго и долго не мог увидеть. Позже я все же встретился с ней и, должен вам сказать, что довольно часто я видел ее там, где меньше всего мог ожидать.

Иногда она расцветала в головке размечтавшегося ребенка, струилась по пышным волосам девушки, глядящей вдаль, или сверкала на лбу утомленного трудом рабочего. Поистине прекрасное зрелище! Стрелка дрожит, будто охваченная страхом, беспокойно бежит по раскаленной шкале — видишь нечто новое, только-только родившееся!

Часто такая мысль еще не вполне ясна, она лишь пробивается, как первый золотой луч сквозь утренний туман. Сбивчивая, неопределенная, она напоминает мелодию, подбираемую на струнах скрипки. Это еще абрисы звуков, не связанные в аккорды; однако чувствуешь, что вскоре они поплывут широкой волной — чистые, мелодичные и прекрасные.

В такие минуты я с дрожью думал, что будет с моим прибором, когда он встретит ослепительную, великую, пламенную мысль гения? Взорвется, расплавится, улетучится! Для такой мысли мне пришлось бы вместо стальных зажимов поставить алмазные столбики, а хрустальной шкале придать масштаб бесконечности.

Но напрасно я беспокоился: мой «приборчик» ни разу даже не испортился. Но сколько предстояло мне тщетных поисков, аккумуляирования благо-и злоглупостей и всякого хламособора, чтобы натолкнуться — хоть изредка — на красивую, оригинальную мысль!

Между тем находить ее становилось все труднее. Представьте себе, что впервые за последние три года

я только сегодня встретил у вас в мозгу мысли, заслуживающие внимания; зато каталогов, мешков с цитатами — все больше и больше, рухляди и убожества столько, что невольно возникает во весь рост вопрос: не раздробится ли и не механизироваться ли со временем вся работа мозга до такой степени, что ее можно будет заменить каким-нибудь хитроумным прибором?

Нередко меня охватывало такое разочарование, что я готов был отдать свое изобретение за что угодно — за луч счастья, за частицу любящего сердца, — почему бы нет?!

Некто Тонкий замолк и опустил голову на руки, так что я видел его длинные пальцы, тонкие, почти прозрачные, сияющие каким-то, казалось, фосфорическим блеском.

Меня охватило безумное желание овладеть его прибором.

— Милостивый государь! — начал я. — Подарите мне один такой «приборчик».

Видя, что он молчит, я быстро добавил: — Или продайте! — и стал лихорадочно рыться в карманах.

Но я извлек лишь два талона на обед и измятую рублевку.

Впервые мне стало досадно, что мои ресурсы столь ничтожны.

— Это немало, — ответил некто Тонкий, странно улыбаясь; — все же я не продам вам свой «приборчик». Я его, быть может, и уступил бы кому-нибудь, но лишь по той цене, какой он мне достался.

— За сколько? — спросил я.

— За одно подлинное страдание.

Тут некто Тонкий протянул костлявую руку к моей голове, снял «приборчик» и сунул его в карман.

Думая, что он собирается уходить, я возобновил свои настойчивые просьбы.

— Нет, я вам желаю добра, — сказал он и добавил тише. — Всегда одна и та же история: мы никогда не знаем, куда идем и что таится на дне желанного кубка; однако, когда вы узнаете, какую шутку сыграл со мной этот «приборчик», думаю, что у вас пропадет всякая охота приобрести его.

И Тонкий умолк.

Стало уже совершенно темно и тихо; слышно лишь было, как ветер, стеная и плача, бился в окна своей воздушной грудью.

— Хотя, кто знает? — начал гость опять. — Мы будто нарочно ищем щелчков. Вы сами набиваетесь на щелчок, милостивый государь. Говорю вам это я, который не лучше, но и не хуже вас; с тех пор как помню себя, я стремился туда, где моему сердцу была уготована боль разочарований. Забывая обо всем, я вновь и вновь восклицал: «Приди, волшебная, упоительная, испепеляющая жаром, жаждущая слез и крови сердца — любви!»

— Ах! — из моей груди вырвался вскрик удивления и протеста.

— Некогда и я бы так воскликнул, — насмешливо сказал некто Тонкий, — быть может, даже еще громче.

— Однако, когда пользуешься взаимностью... — прервал я.

Моего гостя передернуло.

— Откуда вы это знаете? — вспыхнул он, а потом ядовито прибавил. — Разве, говоря это, вы не похожи на того крестьянина, который очень хвалил булку с маслом, а на вопрос — ел ли он ее? — спокойно ответил: «Нет, но мой брат видел, как ее барский лакей ел». Я же хорошо знаю, во что превращается это лакомство, когда масло вдруг растает... И сухая корка застрянет в глотке и душист; и это удушье схватило меня за горло в момент разочарования, когда я скорбел великой скорбью тех неиспаримых, чья пытливая мысль разбивает всегда все мечты. Они знают, что опять восстановят эти руины и что здание снова рухнет на них и вечно будет то, что уже было.

— Вернемся к фактам. Я так устал, что уступил прекращающимся уговорам семьи уехать и закончить образование.

Общая радость воцарилась в семье. Все были уверены, что я встал наконец на правильный путь — «взялся за ум». Я не рассеивал этих иллюзий; все стало мне до такой степени безразлично, что я начал даже делать визиты и «интересоваться» окружающим.

Мы встретились впервые незадолго перед отъездом. Я сразу обратил на нее внимание. Она не была краси-

цей, но была миловидна, у нее было какое-то загадочное выражение фиалковых глаз и выразительный рот; казалось, что губы ее все время шепчут одно слово: «Приди!»

Я сразу заметил опасность, тем более что девушка казалась совершенно иной, чем я. А сходство натур — в любви не годится.

Я решил ее избегать, инстинктивно боясь влюбиться. К тому же взаимность казалась мне невозможной; я уж слишком привык к тому, что меня ранит всегда рука, которую я хочу пожать.

Между тем я заметил нечто, не укладывавшееся в моей голове: ее рука явно тянулась к моей, ее глаза искали встреч с моими, а губы все явственнее и явственнее шептали заколдованное слово.

Первые дни мне казалось, что я теряю рассудок, что мир перевернулся, звезды лежат на земле, на мостовой расцвели цветы, люди любят друг друга, как братья... золото потеряло у них свою силу... я «подхожу» к миру, мир ко мне, а жизнь мелодичнейшая опера без скуки антрактов. Короче: я окончательно потерял голову.

Теперь я бывал только там, где мог встретить ее. Мы обменялись лишь немногими словами, но зато тысячами взглядов и улыбок. В канун моего отъезда (так по крайней мере все полагали, хотя я уже не собирался уезжать) мы решили устроить вскладчину пикник.

В полдень вся компания отправилась за город.

Как водится, обыватель, поскольку он уж потратил деньги, считает своим долгом восторгаться каждой былинкой, каждым деревцом, петь хвалебные гимны природе, а в душе тосковать по трактирной стойке, удобному стулу и кружке пива.

Раньше я не вынес бы этого. Но в этот день я готов был обнять этих чудаков. На душе у меня было светло и радостно.

День был действительно прекрасный. Великолепное солнце сияло на голубом небе, золотые лучи, пронизывая листву деревьев, падали на малахит травы. Ветерок шелестел в лесу, неся запахи лугов и цветов, и замирал, упоенный чарами весны.

Мне же улыбалась еще и другая весна, она смеялась — вся розовая, с белой лентой в золотых волосах...

в глазах у нее были фиалки; ее рот был жемчугом среди роз.

Между тем день быстро клонился к вечеру. Солнце светило уже не так ярко, лес затих. Воцарилась такая необыкновенная тишина, что даже самая прозаическая душа ощутила бы какой-то таинственный трепет. Разговоры и смех внезапно умолкли. Общество, разбившись на маленькие группы, преимущественно пары, отправилось в лес.

Мы очутились вдвоем.

Какое-то таинственное, почти грустное предчувствие смутно волновало мне душу. Мы шли в молчании по узкой тропинке. По бокам молодые кусты тихо вздрагивали, прижимаясь друг к другу, точно в испуге, и в этой их дрожи было странное беспокойство.

— Куда ведет эта дорога? — спросила она.

— К реке, — ответил я, поравнявшись с ней в том месте, где тропинка вдруг расходилась и лес кончался.

Перед нами блеснула желтая полоса песка, тоскливая и однообразная.

Вдали вилась большая серая лента.

— Вот река, — сказал я.

Она ничего не ответила, только подошла к большому камню, который, казалось, подымался из песка навстречу угасающему солнцу.

Ее маленькие ступни погрузились в сырой песок.

— Ой, ой! — кокетливо вскрикнула она и, слегка приподнимая розовую кисею, вспорхнула, как пестрый мотылек, и почти упала на серый камень, который вдруг ожил и просветлел от прикосновения ее белых рук. Лицо ее порозовело от вечерней зари и быстрого бега, грудь вздымалась учащенно.

— Отдохнем! — сказала она.

Я сел ниже, почти у ее ног. Под нами река катила свои мутные, сверху отливавшие бронзой волны.

Солнце опускалось все ниже и скрывалось за горой, наконец, оно почти скрылось. Белые облака зарделись кровавым румянцем.

— Вы уезжаете завтра? — произнесла она первая.

— Так говорят, — ответил я и взглянул на нее.

Она отвела глаза и устремила свой взор вдаль. Ею

овладела истомой. Губы были полуоткрыты, и вся она, казалось, шептала: «Приди ко мне! Забудь обо всем!»

У меня закружилась голова.

К счастью, в камышах поднялся ветер и промчался над водой, неся прохладу. Далеко, на другом берегу, неясно виднелись какие-то полуразрушенные стены; дальше чернел лес; спускалась тихая ночь. Небо все больше бледнело. Несколько звезд заблестели на нем, словно на-вернувшиеся слезы... Было очень тихо — только голны шумели, и вздыхал ветер.

Вдруг из-под ее ног оторвался комок земли и угал в воду. Послышался всплеск. Два перепуганных кулика поднялись с берега и, тоскливо крича, летали над самой водой и били крыльями.

— Что это? — прошептала она, хватая меня за руку, и при этом наклонилась ко мне так близко, что у меня потемнело в глазах.

— Ты моя! — ответил я.

— Мой! — вздохнула она.

Я коснулся губами ее губ... Что было после, я не помню... только знаю, что когда я пришел в себя... мы оба стояли... я держал ее за руки, и все существо мое было переполнено кровью, слезами, счастьем и безумием.

Нас позвали. Мы возвращались молча. Была уже ночь. На небе светила луна и мерцали мирнады звезд.

В этом месте гость замолчал, снова опустил голову на руки, а его тонкие пальцы были так прозрачны, что я мог видеть ужасающую худобу его печального лица и выражение его огромных глаз, упрямое, почти безумное. Вскоре, однако, он поднял голову, опустил руки на колени и сухо сказал:

— На следующий день я должен был уехать. То, что мы помолвлены, должно было оставаться тайной, пока я не окончу университет. По крайней мере так решила ее тетка и моя мать. Мы должны были смягчать разлуку письмами. Я согласился и на это, и на отъезд. Все произошло так неожиданно, внезапно, все превосходило мои самые заветные и смелые мечты.

В дороге я немного пришел в себя и начал уже более трезво думать о нашей будущей жизни. С наслаждением

представлял себе, как широко она откроет глаза, когда я покажу ей свое изобретение, ибо от нее я не хотел ничего скрывать; наоборот, я горячо желал, чтобы наши мысли и сердца слились воедино. Отнюдь не хотел я подавлять ее волю своей: лишь объять своим сердцем ее сердце, своей мыслью ее мысль, — в этом виделось мне счастье.

Это желание меньше всего было результатом моих взглядов; оно было естественной потребностью одинокого существа, которое долго скиталось по жизни, а теперь всей душой устремилось к любимому человеку.

На третий день после приезда в мою комнату постучался кто-то, показавшийся мне голубем из Ноева ковчега. Этот «голубь», одетый в мундир с желтыми кантами, был обладателем большой кожаной сумки и красного носа, а в руках держал письмо — первое письмо от нее, понимаете, милое, хорошее письмо...

Неделю спустя пришло второе письмо, уже не такое. Третье шло еще дольше, было коротким, серым, бесцветным. Четвертое лишь соблюдало приличия. Пятого я не мог дожидаться. Наконец шестое... не пришло вовсе.

А я все время писал и вкладывал в слова все больше ума и сердца, хотя ясно видел, что между нами что-то не ладится.

Вы понимаете, что не очень приятно, летя в пропасть, ухватиться за какую-то ветку и, вися над бездной, видеть, как эта слабая нить спасения трещит и обрывается.

Быть может, еще хуже очутиться одному в пустыне с безумной жаждой в груди и видеть вокруг лишь мертвый, безжалостный, горячий песок, а над головой раскаленное, безумным жаром дышащее солнце.

Но это — мое «это» — было стократ хуже!

Пропасти можно грозить кулаком, пустыню ненавидеть, солнце проклинать, песок попирашь ногами. А тут и пожаловаться не смеешь, потому что любишь крепко и должен в одном сердце уметь соединять и муку, и любовь, отчаяние и надежду. А если минуту подумать спокойно, безжалостный ум подскажет: «Разве можешь ты требовать, чтобы она вернула к жизни бывшее чувство, если ты сам не властен приказать сердцу молчать?»

На рождество, полный мрачных предчувствий, я ехал

домой; нужно было снова ее увидеть, чтобы воочию убедиться в том, о чем говорили или, вернее, чего мне уже не говорили ее письма, потому что я их давно не получал.

Мы встретились раз, другой, третий.

Все меньше искренности было в наших отношениях. Однако мы продолжали считаться помолвленными. Я ни разу не спросил ее прямо, хотя все время думал об этом. Я не применил к ней свое изобретение. Я просто боялся.

Где-то на дне моего сердца таилась глупая, ни чем не основанная надежда, минутами она вспыхивала — и в мире становилось светлее... Мне думалось: до конца учения еще год... кто знает, что случится за это время? Быть может, все еще обернется к лучшему.

Я походил на банкрота, который уже много раз проверял плачевное «итога» своего счета и снова продолжает проверять; все надеется на ошибку, боится правды — не хочет признать свою несостоятельность.

Как-то вечером я вышел от любимой очень подавленный, почти лишенный иллюзий. Я бродил как во сне — где и сколько времени, не знаю. Когда я очнулся, передо мною расстилалось белое поле, по которому гулял ветер, крутя столбами снежную пыль. Высоко надо мной стояла луна, окутанная туманом. Кругом — жуткая пустота. Между тем наверху матовое небо принимало окраску свинца и одевалось темной пеленой. Снежный столб внезапно упал, и ветер притих на минуту, но тут же сорвался еще более неистовый и бросил мне в лицо горсть льда.

Я понял, что начинается метель, и поспешил вернуться в город. Было уже далеко за полночь, когда я добрался до дома. Только тогда я заметил, что пальцы у меня онемели, стали как деревянные; я с трудом разделся; однако холода не чувствовал: наоборот, грудь так горела, что я сбросил одеяло и долго не мог уснуть.

Когда я открыл глаза, мне сказали, что я очень болен и три дня был без сознания; я узнал также, что вчера присылали от нее узнать, как я себя чувствую? Услышав это, я почувствовал слабость, слезы заволокли глаза. Надежда возвращалась. В эту минуту я решил обязательно выздороветь и был уверен, что выздоровею. Вскоре появились два врача.

Я был в прекрасном настроении. Когда они меня выслушивали, я прикрепил к одному из них мой «приборчик». «Чорт его знает, что с ним», — думал он. В ту же минуту второй глубокомысленно изрек: «Я вполне согласен с вашим диагнозом».

— Ничего сказать, хорош!.. — весело засмеялся я.

Вечером опять пришла от нее горничная. Ее ввели ко мне, чтобы она воочию убедилась, что я жив.

— Как там... барышня? — спросил я.

— Ничего, хотела даже сегодня притти сюда, но пошла гулять, так как барыня сказала, что это не принято.

Достаточно было мне услышать это роковое слово, чтобы потерять всю веселость. Я сразу почувствовал, что мне становится хуже. Мои мысли улетели от любимой, на минуту помутились, а потом обратились к смерти.

И вдруг я почувствовал своего рода облегчение: я вспомнил, что есть нечто, что само — рано или поздно — подойдет каждому. Придет это странное и неизвестное и принесет успокоение, безмятежное и вечное.

И чем больше я об этом думал, тем привлекательнее казалась мне смерть, оклеветанная людьми, заманчивая. Ко всему этому присоединилось любопытство. Я вспомнил, что читал когда-то странную книгу. Местами веселая, чаще грустная — она тогда уже заинтересовала меня. Сердило лишь одно: я долго не мог уловить ее основную идею, мне казалось, что книга лишена смысла. Только прочитав последнюю страницу, я все понял.

Сейчас у меня возникла мысль: не является ли смерть такой последней страницей жизни?

В комнате было темно, когда я открыл глаза. Рядом с кроватью сидела сгорбленная старушонка; я узнал ее. Это была Антоновна, ходившая обычно за умирающими. Немного дальше я увидел обращенное к окну лицо моего товарища, юриста. А в трех шагах от меня была она: одной рукой держала она темную шляпу, на другую склонила голову. И глаза мои и душа снова устремились к ней. Я хотел говорить, но не мог промолвить ни слова: я только смотрел из-под странно отяжелевших век на ее тонкий профиль, облитый светом лампы, немного грустный и как будто глубоко задумавшийся.

«Она думает обо мне...» — я был уверен в этом, и мне захотелось увидеть эту ее мысль.

Слабеющей рукой я достал из-под подушки свой «приборчик», прикрепил его к прозрачной проволоке... но вдруг заколебался.

Мною овладела странная боязнь.

Поэтому я сначала положил его на растрепанную голову Антоновны.

«Не знаю, что и делать, если этот мешок с костями сегодня не окаменеет. Завтра у меня заказ на старого советника». Так приблизительно выглядела мысль старухи...

«Этой бабке я мог бы оказать немалую услугу», — подумал я, приближая прибор к голове юриста.

Мысли моего товарища я не сразу мог понять.

— Что это такое? — шептал я, видя какие-то обрывки фраз: «В расцвете сил... подающий надежды. Незабвенный... стоим над могилой?»..

Вскоре, однако, все стало ясно, — почти до веселости: меня сместило оригинальное положение. Я понял, что присутствую при составлении надгробной речи, адресованной мне, как покойнику.

Однако скоро мне это надоело: было похоже, что речь будет очень длинной, полной высокопарных избитых фраз. Я снял «приборчик» как раз в тот момент, когда мой товарищ колебался, что признать за мной: исключительные или выдающиеся способности? Впрочем, я знал, что он меня переоценит; ведь по отношению к мертвым люди становятся снисходительными и сердечными. Это, быть может, своего рода благодарность за их своевременный уход.

Теперь я взглянул на девушку: она сидела все время в той же позе, такая же грустная, прекрасная и задумчивая. Взволнованный я протянул к ней дрожащую руку, коснувшись «приборчиком» светлого золота ее волос, и с замиранием сердца ждал.

Стрелка стояла на месте: девушка ни о чем не думала.

Это продолжалось минуту. Вдруг стрелка дрогнула, легко прошла по шкале, и мысль стала отчетливой:

«Неприятно носить траур на святках».

Не могло быть более правильной мысли: теперь я согласен с этим, но тогда я почувствовал, точно кто-то сжал мое сердце клешнями, а рот наполнился горечью. Какая-то острая смесь боли и гнева наполнила мою грудь. Я хотел вскочить, хотел кричать и жить! жить назло всем! Страшным усилием я немного приподнялся на постели...

Вдруг я услышал из другой комнаты тоненький голосок маленького Казика:

— Мамочка! Если он умрет, я не пойду в школу?..

— Не говори об этом! — был ответ.

— Почему?

— Видишь... бывают такие вещи...

— Но все же у меня был бы свободный день, правда? — продолжал лепетать малыш, и в его голосе было такое искреннее желание праздника и такая детская наивность, что я сразу смягчился.

Какая-то слабость овладела мною; я приподнялся на подушках и видел точно сквозь туман прекрасное лицо моей бывшей невесты и задумчивую синеву ее глаз. Туман, однако, все густел и превратился в большую ленту жемчуга; он плыл широкой дорогой, полный странного аромата и какой-то непонятной мелодии. Нега и сладость этого момента были так сильны, что если бы я мог еще говорить, то последним вздохом я простил бы всех и сам умолял бы о прощении.

На следующий день во вполне «подходящем» мне гробу лежало мое тело; четыре свечи струили свое равнодушное пламя. Маленький венок полузавядших цветов робко прижимался к гробу. В церкви было пусто и холодно.

Я вскочил со стула. Некто Тонкий умолк. И точно рассеялся в сумерках. Я кинулся к двери: она была, как всегда, закрыта на крючок. Я подбежал к окну. Улица была пуста. Значит, галлюцинация. Дождь падал большими каплями, монотонно стуча по крышам.

Усталость мозга, только и всего.

Стефан Жеромский

СУМЕРКИ

ЗАБВЕНИЕ

ДОКТОР ПЕТР



СТЕФАН ЖЕРОМСКИЙ

Стефан Жеромский (1864—1925), крупнейший польский романист, новеллист и драматург начала XX века, родился в деревне Стравчины, Келецкого воеводства, в семье арендатора небольшого имения. Детские годы писателя прошли в местах, где еще живы были традиции восстания 1863 года, и это имело заметное влияние на первые его литературные опыты. Среднее образование получил в Кельцах, в русской школе, описание ее дано писателем в романе «Сизифов труд». Учился в Ветеринарном институте в Варшаве, зарабатывая деньги на жизнь уроками и службой в помещичьих домах. Писать начал рано, но долгое время журналы возвращали ему рукописи, и только в 1889 году появились первые его новеллы в варшавских журналах под псевдонимом Маврикий Зых. Уже в этих произведениях определяется творческое лицо Жеромского как неоромантика. С 1892 года Жеромский служит библиотекарем в польском музее в Рапперсвиле (Швейцария), откуда возвращается в 1896 году в Варшаву, где работает в библиотеке Замойских.

В романе «Бездомные», изданном в 1899 году, Жеромский рисует борьбу выходца из народа доктора Юдыма с косностью польской интеллигенции, за преобразование жизни польского общества и справедливость, но действует Юдым как одиночка, не имея никаких союзников, не находя дороги к пролетариату. Это и определяет его бездомность. В 1925 году выходит роман «Ранняя весна», в котором писатель подвергает резкой критике польское буржуазное государство, созданное в 1918 году, показывая всю несостоятельность и лживость тех концепций, на которых оно основано.

Литературное наследство Жеромского огромно, но многие из его произведений, защищающие принципы реформизма, подвергались строгому и справедливому осуждению передовой польской критики, понимавшей всю их реакционную сущность, а сегодня, в условиях новой народно-демократической Польши, звучат полнейшим историческим анахронизмом.



СУМЕРКИ

Среди толстых стволов елей, одиноко торчащих на краю вырубki, покрывшей пятнами множества черных пней скат гнилозеленого взгорья, заходило растворяющееся в медном блистании солнце. Закат был похож на прозрачную пыль, нависшую неподвижным пластом над далеким горизонтом. Отблески его еще горели на краях туч, окрашивая их золотом и багрянцем, врезались меж серых клубящихся извивов и стеклились на водах.

По бороздам жнивья и зяблевых осенних пашен, по заболоченным лужкам и свежевыкорчеванным участкам, на которых еще стояли дождевые лужи после недавней бури, поблескивали, точно куски пережженного стекла, ржавые пятна. На серые, прибитые ливнем пласты земли падала нестерпимая для глаз фиолетовая тень, наносные песчаные холмы желтели, трава на обочинах и кусты на межах были окрашены в необычные, меняющиеся цвета.

В глубокой ложине, окруженной с востока, севера и юга подковой холмов, обезображенных вырубкой протекал ручей, разливающийся в затоны, плавни, болота и протоки. Ручей этот возникал именно здесь, в ложине, беря начало из просачивающихся подпочвенных источников. Вокруг вод, на буром торфянистом покрове, росли густые камыши, стройный тростник, аир и кусты низкорослого ракитника. Неподвижная красноватая вода просвечивала теперь из-под крупных листьев и шершавых водорослей, бледнозелеными пятнами покрывшими ее поверхность.

Стайкой прилетели чирки, с вытянутыми шейками покружились над водой, нарушая тишину мелодичным, звенящим свистом крыльев, описали в воздухе все уменьшающиеся эллипсы и вдруг нырнули в тростники, с шумом разбивая грудью водяную гладь.

Смолк гудящий полет бекасов, глухая перекличка дергачей, затихло смешливое посвистывание куликов, исчезли даже стрекозы с сизыми или прозрачными, как стекло сетчатыми крылышками, вечно трепыхающимися у зарослей камыша. Только по лоснящейся глади воды бродили еще неутомимые водяные пауки на своих похожих на ходули и тонких, как волос, ногах, оканчивающихся громадными, пропитанными жиром ступнями,—да работало двое людей.

Болота были частью имения. Прежний молодой владелец блуждал по ним со своей лягавой за чирками и бекасами до тех пор, пока не истребил всех лесов, не оставил незасеянными полей и, вылетев в трубу из своих родовых владений, опомнился лишь в Варшаве, где в настоящее время продает в киоске газированную воду.

Когда место его занял новый помещик, поумнее, он сразу забегал по полям с меркой и частенько, остановившись среди болот, глубокомысленно ковырял в носу. Он даже шарил руками в трясине, копал ямы, мерил, нюхал, пока не придумал какой-то диковины. Велел управителю ежедневно нанимать мужиков для разработки торфа, ил вывозить на поля тачками и складывать там в кучи, а ямы рыть до тех пор, пока не образуется достаточное место под пруд. Тогда укреплять запруду, выемку под другой пруд рыть ниже — и так до тех пор, пока не наберется их больше десятка. Тогда прорезать в запрудах

проходы, напустить воды, построить шлюзы и разводить рыбу.

Вывозить торф сразу нанялся Валек Гибала, безземельный батрак, снимавший жилье в близлежащей деревушке. Гибала у прежнего владельца был в кучерах, но при новом не сумел удержаться. Новый помещик и новый управитель, во-первых, сразу же уменьшили оплату и натурой и деньгами, а во-вторых, всюду доискивались воровства. У прежнего хозяина каждый возчик отсыпал у своей пары коней полгарнца овса, чтобы вечером отнести его к шинкарю Берлину в обмен на табак, папиросную бумагу, чарку водки. С приходом нового управителя штука эта была сразу разгадана, а так как под руку как раз подвернулся Валек, управитель наградил его зуботычиной и прогнал со службы.

С тех пор Валек с женой ютились в деревне, у чужих людей, так как с выданным управителем свидетельством нечего было и думать о том, чтобы найти новое место.

Во время страды им то тут, то там, у мужиков, удавалось немного подработать, но зимой и перед новой жатвой приходилось терпеть жестокий, неописуемый голод. Огромный, широкоплечий мужик с железными мускулами иссох, как шепка, почернел, сгорбился, ослаб. Баба — на то она и баба, прихватит у кумушки грибов, малины, земляники насобирает, снесет в имение или к еврею, смотришь, и заработала хоть на буханку хлеба, а мужику без еды в дни молотбы не выстоять. Поэтому, когда управитель объявил о рытье прудов на торфянике, у обоих супругов даже глаза загорелись. Ведь за каждую вырытую сажень управитель обещал по тридцать копеек.

Валек каждый день брал с собой бабу на рытье. Она нагружает тачки, а он по доскам, проложенным через трясины, вывозит ил в поле. Работа у них спорится. Дали им две большие и глубокие тачки: не успеет Валек подкатить порожнюю, а уж другая нагружена, — ему только набросить лямку через плечо и толкай в гору. Железное колесико пронзительно визжит; липкая черная текучая, проросшая корешками грязь хлупает и бесформенными комьями падает на обнаженные до колен мужицкие ноги. Когда тачка скачет на стыках досок, лямка врежется Валеку в спину и плечи, выдавливая на рубахе черную по-

лосу вонючего пота, руки ломит в локтях, ноги, постоянно мокрые от ила, зябнут и костенеют, но две сажени вырыты за день — от рассвета до заката, — а от этого в кармане нет-нет да и заведется грош-другой.

Супруги наделись, что к концу осени отложат рублей тридцать, заплатят за жилье, купят бочку капусты, мер пять картошки, сермягу, сапоги, две юбки и фартук для бабы, полотна на рубахи и как-нибудь перебыют-ся до весны, подрабатывая у людей где молотьбой, а где тканьем.

Но вдруг управителю показалось: тридцать копеек за сажень, а не слишком ли это жирно? Пронюхал он, что не каждый согласится от зари и до зари рыться в болоте, что, видно, Валека с бабой сильно прижало нуждой, если, не задумываясь, бросаются и на такую работу. — По двугривенному за сажень, — говорит, — согласны, так хорошо, а нет, так нет...

У мужиков в такую пору не заработаешь, в именни при молотилках и машинах и своими людьми обходятся — выбирать не из чего. Валек после такой новости пошел в корчму и с горя напился, как скотина. На другой же день поколотил жену и потащил ее с собой на работу.

С этого времени — при коротком осеннем дне — они выкидывают те же две сажени, но не прекращая работы с рассвета и до поздней ночи.

Вот и теперь исподволь надвигается темень; далекие светлосиние леса почернели и тают в сером полумраке, на воде гаснут блики, от стоящих на фоне заката елей падают огромные тени. На вершинах холмов, на вырубке, лишь алеют еще кое-где пни да одинокие валуны. От этих светящихся точек отражаются слабые и бледные отсветы и, попадая в глубокую пустоту, создаваемую среди предметов неполной темнотою, колеблются, ломают свои контуры, мгновение дрожат и гаснут, гаснут один за другим. Деревья и заросли теряют свою объемность, выпуклость, естественную окраску и торчат в сером пространстве, словно плоские абсолютно черные силуэты самых причудливых форм.

Густой сумрак опускается над ложиной, веет холодом, насквозь пронизывающим человека. Сумерки надвигаются невидимыми волнами, ползут по склонам холмов, впи-

тая в себя уже мертвые краски жнивья, болот, песчанников и валунов.

Навстречу волнам мрака с болот поднимаются иные волны — белесые, прозрачные, еле-еле зримые, ползут струями, клубами, обвиваются вокруг кустарника, дрожат и уминаются над поверхностью воды. Холодный влажный ветерок перемешивает их, гонит по дну лощины, растягивает по земле, как длинную домотканую холстину.

— Туман надвигается... — шепчет жена Валека.

Наступает как раз тот момент в жизни сумерек, когда все видимые очертания словно рассыпаются в прах и небытие, когда над поверхностью земли серая пустота заглядывает в глаза и щемит сердце какой-то непонятной тоской. Валькову бабу охватывает страх. Волосы ежатся у ней на голове, по телу пробегают мурашки. Туманы ползут, как живые существа, крадутись окружают ее, забегают сзади, возвращаются, таятся и снова лавиной все настойчивее бросаются на нее. И вот кладут уже на нее свои влажные руки, до костей проникают в тело, першат в горле и щекочут грудь. Тогда она вспоминает про ребенка. С полудня она не видела его: спит одиноко там, в запертой избе, в липовой колыбели, подвешенной к потолочной балке на березовых жгутах. Плачет там, верно, захлебывается... Мать слышит этот жалобный плач, похожий на писк коршуненка. Он звенит у нее в ушах, давит на какое-то место в мозгу, заставляет ныть сердце. Весь день не думала о нем, потому что тяжкий труд рассеивает всякую мысль, мутит ее и почти подавляет, но теперь вечерний страх заставляет ее сосредоточиться, уцепиться мыслями за ее крошку...

— Валека, — говорит она тревожно, когда мужик подкатывает тачку, — сбегая я в избу, наскребу картошки?..

Гибало не отвечает, словно и не расслышал, берется за тачку и двигает, приседая, точно мешок ржи на десятичных весах. Когда он возвращается, жена просится снова:

— Валюся, сбегать?..

— Эх... — нехотя буркнул мужик.

Знает она его гнев, знает, как он умеет садануть под ребро, схватить железной рукой, тряхнуть раз, другой, а потом швырнуть человеком, словно камнем, прямо в камыши. Знает, как он умеет, сорвав с головы косынку, на-

мотать на кулак ее волосы и проташить трепещущую по земле или, в ярости, вырвать из болота лопату и ударить по голове, не задумываясь, убьет или не убьет.

Но сильнее страха в ней нетерпеливая забота о ребенке, перерастающая в боль. Порою ей хочется бежать: вст только сползти на четвереньках в балочку, перепрыгнуть через ручей, а потом бежать напрямик через борозды, через пашни. Наклоняясь и нагружая тачки, она летит уже мыслью, скачет, точно ласка, почти уже чувствует боль от бега босиком по жнивью, поросшему мелким терновником и ежевикой... Острые комочки, кажется, колют не только ступни, но пронзают и сердце. Вот добежит она до хаты, деревянной затычкой отодвигает засов, в лицо ей ударило тепло и удушливый запах жилья, — на цыпочках подтягивается она к колыбели... Убьет ее Валек, вернувшись домой, замучает, — ну и пусть — это уже потом...

Но как только появляется из тумана Валек, страх перед его кулаком охватывает ее. Опять она молит его покорно, хотя и знает, что этот злодей не отпустит ее:

— Девчонка-то, может, задохнулась от плача...

Мужик ничего не ответил, скинул с плеча лямку от тачки, подошел к жене и кивком головы указал ей на колышек, до которого должны они сегодня дорыть. Потом взялся за лопату и начал раз за разом набрасывать ил на свою тачку. Делает он это яростно, быстро, не переводя дыхания. Набросав полную тачку, двинул ее и покатиł быстро-быстро, крикнув отбегая:

— Толкай и ты свою, лентяйка...

Женщина поняла эту милостивую уступку, как дань ее материнской любви, эту неуклюжую доброту, как жестокую и суровую ласку, потому что, когда они оба накидывают землю, работу можно окончить гораздо быстрее.

Теперь она старалась во всем подражать его торопливым, но расчетливым движениям, набрасывала липкую грязь вчетверо скорее — уже не силсю мускулов, не с мужицкой, расчетливой экономией усилий, — одним лишь напряжением нервов. В груди она чувствовала резь, под припущенными веками мелькали пестрые цветные пятна, подступала тошнота, а из глаз стекали горькие слезы,

крупные слезы бессмысленного страдания — скользили в этот холодный, вонючий перегонной. После каждого взмаха лопаты посматривает она украдкой на колышек, далеко ли до него; когда тачка полна, подхватывает ее и мелким шагом бежит вперед, стараясь и в этом подражать мужику.

Туманы поднялись высоко, заволокли болотные заросли, неподвижной стеной остановились над головами ольховника. Деревья выделяются из туманов пятнами неопределенного цвета и гигантской величины, а двое жалких людей, бегущих поперек лощины, похожи на мечущиеся чудовищные призраки.

Головы их опадают на грудь, руки совершают все одни и те же движения, туловища наклонены до самой земли...

Колесики тачек постукивают и пронзительно визжат, волны тумана, похожие на молоко, разбавленное водой, колышутся среди черных холмов.

В глубине небес разгорелась одинокая вечерняя звезда, поблескивает, мигая, и бросает сквозь вечерний мрак свой убогий огонек.

ЗАБВЕНИЕ

Лесничего Лялевича мы предупредили, что на другой день перед рассветом будем у него и он поведет нас к тому, только ему известному протоку над прудом, где водятся молодые утки «клапачи».

Сказано — сделано: пришлось встать во втором часу ночи, натянуть охотничьи сапоги и итти. Вот и шагаем мы сейчас с паном Альфредом, покуриваем папиросы и лениво болтаем. Идем мы среди полей по твердой меже. Пригнувшиеся к земле колосья созревающей ржи почти касаются наших лиц — на каждом из них висят громадные капли росы. С наслаждением отводишь рукою мокрые колосья и отпускаешь, чтоб они хлестали тебя по лицу. Пахнет хлебами...

Порок тянет от Вислы — не ветер, но крепкий холод, словно влажное дыхание окутанной ночью земли. Он не колышет стену ржи, но гладит колосья, чуть касаясь их

губами. Оброненные капли слетают с шелушинок колосьев, припадают к их стопам, омытым от пыли, и там висят до рассвета. Издалека, из ольховых рощиц над речкой, долетает соловьиная песня. Нежные призывы: приди, приди, приди! — летят над полями и, никем не услышанные, никнут среди трав. Наступает продолжительная тишина, пока вдруг не вырвется из нее *stoccato* буйной, нежной, страстной, всеобъемлющей любовной песни. Но и она умолкает среди далеких росных полей... Тогда призадумавшиеся ольхи слушают порывистые, радостные вспышки голоса, похожие на звуки поцелуев. Но нам недосуг слушать Шопена ольховой рощи.

Мы вступаем уже на раздольные луга. Над лесом темнота начинает сквозить — она еще не рассеивается, но уже редет. Словно догорает там зарево пастушечьего костра. Вокруг нас еще настолько темно, что мы едва замечаем Пэка, нашу лягавую, бегущую в двух шагах перед нами. Бредя по высокой траве, мы приблизились к лесу и идем по опушке, проросшей вереском, спотыкаясь о кротовища и натыкаясь на кусты можжевельника. На лугах перекликаются коростели, где-то вдали отвечает на их зов первая перепелка и мелодичный ее голос отдается в лесу. Как-то веселей идти в темноте под ее призывы: жать иди, жать иди!..

Словно потоки, наплывают и окружают нас влажные волны лесного холода, пропитанные запахами земляники, можжевельника, сосновой живицы, молодой метлики, всем этим неопишным, влажным, удушливым, грустным, но таким же животворным запахом леса, окутанного утренними туманами. Он пахнет, как букет диких злаков.

Наконец среди сосновых ветвей начинает проступать бледно-голубой небесный свод. Кажется, что лес наполняется прозрачным эфиром. Неподвижно, устало, словно погруженные в истому, клонятся к земле сосновые ветви. Очертания толстых, в бурых сермягах, стволов сосен уже вырисовываются из мрака, но еще тонут, словно рыба в воде, и, выделяясь пятнами на сплошном цветном фоне, расплываются в этом сером рассвете. Уже можно различить над лугами туманы и падающую на них под необычно острым углом тень леса. И вот на наших глазах совершается ожесточенная борьба, грандиозное сра-

жение тьмы и света, стремительное и в то же время не-приметное, как течение времени. Перед нами проходят все эпизоды нападения, изматывания и разгрома... Каждый измеряется временем, существует, живет, борется, умирает — и тем страшней, что без криков, без малейшего отзвука. Но вот тьма начинает сдавать. Перед восходом солнца есть такая минута, когда тьма опадает в глубину кустов можжевельника и лозы, скрывает лицо в траве, крадется между стеблей, оврагов и борозд, приближается к лесу и, наконец, стремглав бросается туда, чтобы затаиться там под охраной сосен, дышать мраком и с бешенством смотреть на светлеющие поля. Именно с этой минуты смелее кричат коростели, чайки заводят свое протяжное «ку-вык», и, как трудолюбивый пахарь, поднимается петь свой гимн труду любимейший брат полей — жаворонок.

Наша поросшая травой стежка, пересеченная высохшими лужами и корневищами деревьев, иногда выбегает на луг, чтобы затем снова повернуть к лесу. Когда, послушные ее извивам, выходим из лесу, то то и дело принимаем отдаленные кусты за пасущихся лошадей и приближаемся к ним с необыкновенной осторожностью, видимо только затем, чтобы потом, когда они предстанут перед нами в своей непритворности, осыпанные с ног до головы белой росой, ударить их ногой с плохо скрываемым раздражением.

Наконец возле леса багряным пламенем вспыхивает заря. Окаймляются золотисто-алыми лентами края белых облачков, раскинутые по небу, как капризные мазки, протянутые кистью на не начатой еще картине. Чудится, что какая-то рука порывисто срывает с горизонта черный покров и остатки темноты всачиваются в землю. Пробуждаются села с их стреловидными тополями, кажущимися синеватыми в ясности зари, оживают купы деревьев, дороги, ласковые поля и полосы далеких черно-синих лесов, как огромные застывшие волны.

Мы подходим уже к сторожке Лялевича, стоящей на песчаном холме, навеянном ветрами между сосен.

Лялевич уже сидел на пороге. Когда мы приблизились, он вскочил и мял в руках шапку с зеленым околышем и, кланяясь, по-офицерски щелкал каблуками. Это

улыбающийся полнолицый, круглый человечек, все зубы которого кажутся коренными.

— Ну как, Лялевич, утки будут? — поинтересовался пан Альфред.

— Тучи, вельможный пане, тучи!

— Тогда в дорогу! Веди.

Мы закурили, переложили свои двустволки с левого плеча на правое — и двинулись. Лялевич шагал впереди, я последним. Белесые туманы клубятся, кружатся на месте, перевиваются, точно столбы дыма. Иногда видны среди них верхушки деревьев и кусты, словно черные пятна, тотчас утопающие во мгле. По росе, белой как молоко, отпечатываются темнозелеными, почти черными полосами следы наших сапог.

— Ну и денечек же будет! — выпалил Лялевич, видимо желающий из чувства вежливости начать разговор.

— Уу-мм! — пробормотал пан Альфред.

Внезапно Лялевич остановился и даже присел на корточки.

— Эгей-гей! Вот так птичка! — прошептал лесничий, всматриваясь в землю. На мокрой траве виден был свежий, идущий по направлению к лесу след телеги.

— Доски, вельможный пане, доски из лесопильни крадет, — добавил он, чуть не задыхаясь от волнения.

— Пойдемте, но тихонечко, — прошептали мы почти одновременно и двинулись по следу к лесу.

Подкравшись к лесосеке, послали мы Лялевича в разведку, а сами уселись в тени. Лесничий, как лисица, вышел на поляну, где торчали пни, ухмыльнулся и (не могу утверждать) чуть ли не облизнулся даже — и кивнул нам пальцем.

Мы подошли: в зарослях орешника стояла телега с запряженной в нее худой лошадежкой. Телега была маленькая, никудышняя, с пересохшими спицами колес. «Передок» с «последком» соединен был только жердью, а на осях лежали боковины с высокими кольями. По правой стороне дышла стояла кляча, привязанная к валькам вековыми гужами. Были они, наверно, одних лет с лошадей. Неподшитый хомут натер ей челку до крови, деревянные оглобли покалечили бока, старые удила разъели губы. Хомут сполз у нее с шеи на уши,

так как она опустила голову и, закрывая глаза с выражением беспредельной усталости, пощипывала траву. Слепни и оводы садились ей на шею, впивались в острую, как пила спину, сосали под брюхом, лезли в глаза. Она не пыталась их отгонять, а если — кой когда — и махнула хвостом, то скорее по привычке, бессознательно. Дряблая кожа висела на ней, как пальто на скелете, а надорванные ноги еле удерживали тяжесть костей. Она не обратила на нас ни малейшего, даже мимоletного внимания, хотя Лялевич уже мастерил что-то возле напильника, осматривая веревку, прикрученную к кольям и служившую, видимо, вместо вожжей. Велели ей тут стоять — стоит, снимут кожу — пускай снимают..

— Богатая, чорт возьми, упряжка — проворчал лесничий. — Хотя бы обрезок ремня... Веревка на веревке, — добавил он огорченно.

Мы в ожидании уселись под сосной. Лялевич высунул из-за кустов голову, подмигивает, улыбается: вот он, преступник — Вицек Обаля.

Идет Обаля крадучись, бочком по кустарнику, несет на плече четыре доски. Озирается вокруг, прислушивается, порой присядет. Только красная круглая его шапка нет-нет да и мелькнет среди зарослей.

— Четырехдюймовки, — шепчет нам над ухом лесничий, таинственно, словно на исповеди.

Вот уже Обаля рядом, осталось ему только вскинуть доски на телегу и удирать — но тут, словно из-под земли, вырастает перет ним Лялевич, кланяется и говорит: — Бон-дзюр. Обаля...

Мужик швырнул доски на землю, сплюнул и стоит. Что-то общее, похожее было теперь между ним и его кобылой. Худой, высохший, почерневший, низкорослый, с необыкновенно выпуклыми плечами — он производил впечатление какого-то приспособления для поднятия тяжестей, чего-то вроде живого рычага. Из-под огромной, как подушка, красной шапки вылезали волосы, длинные, без блеска, видимо давно нечесанные, так как висели в них соломинки и стебли сена. Одет он был в два куска полотна: посконную рубаху до колен, похожую на юбку, перевязанную у ворота красной тесемкой и перетянутую на бедрах пояском, и старые посконные же штаны, но

такие грязные и изодранные, что, глядя на них, хотелось закричать во весь голос: «А ну, Обаля, давай-ка твои штаны на парижскую выставку, — пусть знает цивилизованный мир, что и ты производишь предметы комфорта по мере сил и возможностей!» Колени мужика были согнуты раз и навсегда, словно у кузнечика, и на этих коленях в штанах были дыры, не просто прорванные, а протершиеся, круглые, как от прожога. Глядя на его поросшие грязью ноги, с искривленными пальцами, с ногтями, как у зверя, со сплюснутыми и вывернутыми пятками, мне казалось, что цивилизация не внесла, наверно, в гардероб Обаля еще ни одной пары сапог.

А лицо его не было некрасиво: обыкновенное лицо крестьянина, как бы вырезанное из песчаника начинающим скульптором — непонятно холодное, спокойное, поистине бесстрастное лицо джентльмена. От носа к бороде сбегали две глубокие морщины, кожа в которых была несколько бледнее, чем на лице и шее, черных от загара.

Мы встали с земли — и только тогда Обаля нас заметил. Стянул с головы шапку, пятерней отвел волосы со лба и, кланяясь нам, замел шапкой землю.

— Благословен Иисус Христос! — сказал он спокойно.

— А во веки веков, во веки веков, мой братец! — продолжал пан Альфред. — Хорошо ты господу славишь...

Мужик хоть бы что. Смотрит на нас нехотя. Ждет.

Пан Альфред сел возле него на пень и сказал:

— Мой Обаля... ведь Обалей ты называешься, правда?.. Так вот, мой Обаля, как думаешь, хорошо ли это, что ты среди белого дня идешь в чужой лес и так вот, без всякого смущения, берешь, что тебе понравится? Скажи мне: красиво ли это? И кары господней ты не боишься и вообще... Ну, и как тут считать тебя соседом, гражданином, братом, так сказать?..

— Милости прошу...

— Да перестань ты, прошу я тебя, перестань же. В тюрьму я тебя за эти доски упрячу, не то я скоро от вас пойду с сумой по свету. Понимаешь меня?

— Понимаю, вельможный пане.

И пока Обаля старался «понять», Лялевич подошел к нему незаметно и так ловко схватил его за чуприну,

что мужик и не заметил. Не прошло и секунды, как мне представилась возможность наблюдать операцию так называемого «мордобития». Правой рукой Лялевич бил, а левой держал Обалю за космы. Время от времени мужик отмахивался от него рукой, словно от назойливого комара, и говорил спокойно:

— Отцепись, Лялевич, отцепись...

— Между глаз! — подсказал пан Адольф леснику, угощая меня тем временем папироской и любезно подавая зажженную шведскую спичку.

Дал мужику и промеж глаз, дал и по зубам, по носу, по шее раз, другой, третий, четвертый, пятый... Я увидел, как из мужицкого носа тонкой струйкой сочилась кровь. А Лялевич все бьет, только подсказывает.. Наконец послышался душераздирающий, ужасный, отвратительный плач убиваемого человека, и внезапно искривленные пальцы впились в горло лесничего. Тогда пан Альфред вскочил сам и дал Обале только один удар, так называемый «dugch», куда-то в подбородок, — но такой, что от него, как говорится, мужик накрылся ногами и камнем полетел в кусты. Там его лесничий еще немного потоптал каблуками и вернулся к нам вспотевший и красный.

Немного позже поднялся мужик, сплевывая кровью и отирая губы рукавом рубахи. Оказалось, что даже всех пяти пальцев не отпечаталось на щеке, хотя традиция требовала этого обязательно... Отплевался мужик, отсопелся, протер подбитые глаза и принялся сматывать с колышка веревку.

— Лялевич, сходите в полдень к пану Видерману и попросите его написать жалобу на Обалю за кражу досок, — торжественно произнес пан Альфред.

Мужик обнял помещику ноги.

— Милости вашей прошу, вельможный пане!.. Подари мне теперь те доски.

— Видишь ты его, сукина сына... какой любитель сыскался! — запищал лесничий.

— Подарите, вельможный пане!

— С чего бы это мне дарить их тебе, мой Обаля?

— В первый это раз и последний, вельможный пане. Ни разочка я здесь не был и не буду... Гроб-то ведь надо сколотить, а тут нужда такая, хоть плачь.

— Какой еще гроб?

— Для парнишки. Сын у меня, выходит, помер, Войтек.

— Вот ты и воруеть? Даже на гроб воруеть? Подумай только, Обаля, какой ты прохвост...

— Так откуда же взять-то? где взять? — спросил мужик. Тут похороны, ксендзу, его милости, пять рублей, за место на кладбище рубль, а мы с сыночком вот уже месяц картошки не видели. Простите, вельможный пан, смилуйтесь...

— Посмотрю я, мой Обаля, правду ли ты говоришь, что сын у тебя действительно умер. Веди нас.

Мужик вскинул доски на телегу, стегнул лошадь, и мы двинулись. Обаля шел впереди тяжелым шагом возле лошади, широко расставляя ноги и то и дело похлестывая вожжами.

И лошадь и человек шли как-то спотыкаясь.

Мы снова вышли на луга. Чудеснейший, великолепный, словно возвышающийся над любым его описанием солнечный щит поднялся над лесами. Туманы прозрачными облаками уносились к небу — только роса еще, как белая скатерть, лежала на лугах.

Небольшая деревушка ютилась невдалеке от стены леса. Хата Обаля выстроена была недавно, ей нехватало кровли над левой ее частью, двор был не огорожен, а в нескольких шагах поднималась небольшая рига, соединенная с конюшней.

— Где же покойник твой? — спросили мы, задержавшись возле навозной ямы, занимавшей половину двора.

— В риге лежит.

— Ты женатый?

— Нет... вдовый.

— Веди к покойнику, покажи-ка его.

Своим медвежьим шагом Обаля пошел вперед, открыл дверцу и впустил нас внутрь маленькой и пустой риги. В одном закроме на сухом хворосте было немного скошенного сена, в другом, на рассыпанном снопу соломы лежал труп пятнадцатилетнего мальчика. Под кровлей, в гнездах, весело чирикали воробы.

Мальчик был таким же худосочным, как и его отец, у него были такие же черные ноги со сплюсненными

ступнями, только волосы его были причесаны, а лицо умыто. В набожно сложенных руках землистого цвета держал он выстроганный из палочки крестик. Над ним столбами вились комары и мухи, садились на лицо, впились в уголки губ. Обаля двинулся с веткой, чтобы их отогнать. Когда возвращался он к нам обратно, глаза его помутнели, словно жидкость налита была у него под веки.

— От чего же он умер? — спросил пан Альфред, собираясь уходить.

— Кто ж его там знает. Скрутило — ну и вот.

— Одним паршивцем меньше! — рассмеялся в нашу сторону лесничий.

Обаля поднял на него глаза, загоревшиеся на минуту удивительным желтым блеском.

— Есть у тебя еще дети?

— Нету, вельможный пане, один он у меня был... один.

Видно, молния горя ударила его в грудь, когда он произносил это слово. Так странно он его выговорил. Потом подпер кулаком голову, расставил ноги и смотрел до безумия горьким взглядом, ничего не выражающим, похожим на широко открытую рану. Смотрел, смотрел и, запустив внезапно руку в космы своих волос, дернул их изо всей силы.

Через секунду был он уже спокоен, так же холоден, как раньше, и с выражением тупой озабоченности в глазах принялся вытаскивать из клетушки козлы, топор, скобель, пилку, плотничий шнур, разведенную в черепке политуру и собрался мастерить гроб.

— Помогли бы, что ли, Игнац... — просительно произнес он, обращаясь к лесничему.

— Пш... пшел, дурень! Нужно мне здесь с тобой... Признайся вот лучше пану, как это вы рожь лушили. Вот ведь, собачьи дети, перед самой жатвой, к примеру, как нынче, идет этакий в поле и на рассвете вылушивает это молочное зерно. А как наберет с сенной мешок, шаст в хату и варит на молоке похлебку.

— А за эту сегодняшнюю кражу, ты уж так и знай, жалоба пойдет куда следует. Впрочем, если хочешь, можем и сами рассудить...

— Так уж лучше сами, вельможный пане, отработаю...

— Ээ... На отработку я не согласен. Дашь четыре рубля и рубль на костел, а нет — пойдешь в холодную. Подумай до утра, если хочешь, а уж если нет, то я завтра жалобу подам. Будь здоров, мой Обалья.

Мы вышли. Пан Альфред быстро пересек двор и вышел на дорогу, я же остановился у ворот, чтобы послушать разговор Лялевича с мужиком, так как Лялевич остался еще на секунду в сарае. Выглянув оттуда и увидев, что пан Альфред далеко, он повернулся к Обале и быстро зашептал:

— Не бойтесь Винценты, ничего... уломаю я его... ничего не бойтесь... А там прибегу сюда с рубанком, так мы гробик обстругаем как надо, пусть только домой пойдут эти лягавые. Прибегу сюда, прибегу...

Поспешно выбежал он и, догнав помещика, стал доказывать ему необходимость наказать Обалью, но так как у Обали всего и добра, что два морга сыпучего песка, то для него это и наказанием не будет, если он отправится в тюрьму. Заправский вор из него только выйдет — вот и вся музыка.

— Посмотрим, посмотрим там: а, впрочем, отвязись... — заключил, наконец, пан Альфред и приказал лесничему идти вперед.

Вскоре вышли мы через деревянную ветхую греблю на огромную плотину тянувшегося на несколько моргов пруда. Там окружил нас неописуемый птичий гомон. Жалобно пищат в тростниках скворцы, кувыкают водяные курочки, посвистывают бекасы, гудят выпи, крикают невидимые стаи уток, грустно подпевают, ритмично взмахивая крыльями, кулики, колышутся чайки, куют железо на ветках ольхи сорокопуты, а высоко на стволах сосен обучают своих детей матери вороны, отвратительно при этом каркая.

Мне приказали остаться на плотине, чтобы стрелять уток «с лету», а пан Альфред и Лялевич, обогнув пруд, скрылись у меня из виду.

Казалось мне, что силы меня покидают. Я лег на землю, твердо решив не подниматься, хотя бы случилось землетрясение или даже совсем близко проехал экипаж, переполненный прелестными дамами. Я постановил, лежа

на спине, смотреть на небо, на качающиеся вершины сосен и ольх, смотреть, как посреди озера вздымается вода и волны, увенчанные пеной, бегут к берегу, чтобы обрызгать торчащие саблями стебли аира, что пригибаются, прислоняют к воде свои лица и, чудится, в восторге дрожат от единственной, еле слышимой мелодии плещущих волн. По временам от сильного порыва ветра стройные стволы сосен склонялись, становясь похожими на огромные причудливые существа.

В вышине с криком перелетали с дерева на дерево вороны, и порою крик их становился таким настойчивым, как призыв на помощь. Присмотревшись внимательно, я понял причину их беспокойства.

На одной из самых высоких сосен сидел мальчишка и длинной палкой выталкивал из гнезда молодых, еще не умеющих летать воронят. Приподнявшись, я заметил второго мальчишку: сидя на земле, он ловил падавших птенцов. Поминутно черный, противный вороненок камнем падает на землю. Одни издыхают сразу, другие еще поднимают свои непропорционально большие головы на неоперившейся еще шее и неуклюже шагают по траве. Тогда маленький охотник догоняет беглецов с криком:

— Куда тебя, шут гороховый, куда?..

Он хватается беглеца за крыло и ударяет головой о дерево, а то и так обрезает ему ножом голову. Главный лесничий покупает их по три гроша за пару.

Мать ворона, как безумная, мечется вокруг, садится чуть не на плечи юному смельчаку, хватается клювом за палку или ветки над его головой, как долотом стучит клювом по дереву, откусывает мелкие веточки и каркает хриплым, неестественным, отвратительным голосом отчаяния. Когда мальчишка выбросит птенца, она бросается к земле и, волоча крылья, разевает клюв, хочет каркнуть, но голоса нет, машет крыльями и скачет к ногам мальчишки, обезумевшая, смешная, как будто первая из своего рода решила самоубийство. Когда перебьют всех ее детенышей, она взлетает на дерево, навешает опустошенное гнездо и, кружась над ним, думает о чем-то...

Я снова лег навзничь. Какое мне дело? Знаю, что где-то там кипят громы чувств, для которых мы, так на-

зываемые цивилизованные люди, находим лекарство в самоубийстве...

...Я позавидовал Обале и вороне. Они скоро забудут. И чем бы утолилась их адская, неизведанная, ужасная, непонятная душевная мука, как провели бы они сегодняшнюю ночь одни в пустых своих гнездах, если бы не этот божественный, прекрасный, благотворный, лучший из законов природы — мудрый закон забвения? Для них «жить» значит «забыть» — и добрая природа позволяет им забыть сразу...

Ах, как я им завидовал...

ДОКТОР ПЕТР

В комнате пана Доминика Цедзины темно и тихо, хотя старик не спит. Опершись спиною на подушки, он полулежит на постели, погруженный в странные мысли, доведенные до небывалой силы ночной тишиной. А ночь смертельно тиха. Свет луны, пробившись через толстый слой инея побелившего стекла, точно известкой, освещает старую мебель, две стены, часть потолка и пола и стоит на них неподвижно, словно оцепенел от холода, — такой же свет, наверно, освещает колоды, в эту ночь гниющие на дне рек, скованных льдом. В щели, за печью, трещит по временам сверчок, в углу комнаты глухо стучат старомодные стенные часы, последний свидетель былой роскоши. Песнь сверчка и тупой стук маятника доставляют старику странное, не поддающееся определению облегчение. Если б не эти, полные сострадания, звуки, у него, пожалуй, сердце разорвалось бы от напора бурных, беспокойных чувств и наплыв тяжелых мыслей лишил бы его рассудка. Когда из темных углов комнаты начинают выползать призраки страха, когда в душе разгорается бессильная тоска и слезы отчаяния жгут веки, — сверчок начинает трещать громче, и чудится тогда ясно, будто он отчетливо, слог за слогом говорит: «Призывай его в день скорби, и он утешит тебя, и будешь чтить его». Эти странные слова — не то совет, не то молитва, таящиеся в шопоте ночного червячка — единственная и

последняя точка опоры для выбившихся из обычной колеи мыслей одинокого человека.

Несколько раз уже вставал он и зажигал свечу, думая, что при свете ему станет спокойнее. Напрасно. Чуть только он зажжет спичку, сейчас же бросается в глаза ему письмо сына, и он припоминает, где и в чем заключается источник его страданий. Его охватывает желание еще раз стать лицом к лицу со своим несчастьем, в наболевшей душе — жалкая отвага человека, грусти которого нет исхода: впустить зонд глубоко в рану, хорошенько ее исследовать, убедиться наглядно и неопровержимо, что она неизлечима, — и пусть себе там все хоть молнией спалит!

Он надел очки, отодвинул письмо за свечку и медленно, вполголоса принялся читать:

«Дорогой отец! Из всех моих золотых грез чорт свернул себе цыгарку и раскурил их. Когда-то я гордился своими способностями к математике: глаза у меня вылезали на лоб от гордости, когда товарищи подтрунивали надо мною, что я, мол, уже в утробе матери, в чине шестимесячного эмбриона, ожидая той минуты, когда выберусь в эту юдоль дифференциального исчисления, от скуки решал алгебраическую задачу о курьерах. Теперь я проклинаю и эти мнимые способности мои и все эти глупые исчисления. Если бы я пас коров на лугу или даже поросят... Но что уж тут поможет говорить обиняками. История вот какого характера. Недельки три тому назад приглашает меня к себе профессор и дает прочитать письмо некоего Джонатана Мундслея, химика, бывшего профессора одного из английских университетов. Сей господин, покинув кафедру, устроил себе частную лабораторию и просит нашего «старика» указать ему наиболее способного из ассистентов политехникума, которому он хотел бы доверить управление опой. Обещает платить двести франков в месяц, дать квартиру, всякие материалы, каких только ни пожелает химическая душа, отопление и другие прелести — ну, и почти полную свободу в работе. Когда я прочел — слог за слогом — письмо, профессор отнял его у меня, старательно сложил, спрятал в ящик, скорчил свою обычную гримасу и, протянув мне флегматически конечность, сел за свой стол и

уткнул нос в бумаги. Я с недоумением глядел на его лысый череп, когда этот старый чудачина проворчал:

«Я уж туда написал... Надо взять с собою теплые брюки и шерстяные носки. Понятное дело... туман, сырость. Город Гулль у моря. Если у вас нет денег, могу одолжить триста франков без процентов на три месяца. Да... только на три месяца».

Признаюсь, я тут одурел совсем. Неужели ж это мне,— думал я,— предстоит, приняв на себя образ самого способного из химиков, ехать в шерстяных носках к морю, в город Гулль? Отчего это не кому-нибудь другому выпало на долю такое почетное отличие, такое счастье? Разве это не счастье? В лаборатории Мундслея, не заботясь о завтрашней обеде и сегодняшних заплатах на сапогах, можно ведь работать не только над приобретением новых знаний, но и развивать выскобленные из собственных мозгов гипотезы.

Эта химия умеет выкидывать свои собачьи штуки... Раз уж погрязнешь в ней да еще понюхаешь этих нераскрытых, но вечно манящих тайн,— такая на тебя нападает дьявольская страсть отыскивать всякие новые «течения», что и о шерстяных носках позабудешь! Притом же, папочка, увидеть Англию, ее великую промышленность, эти чудеса цивилизации, эти колоссальные скачки человеческого гения! Я откланялся и вышел. Посидел немного на улице Штапфервеге, а оттуда, влекомый каким-то беспокойным чувством, двинулся в город. Однако, вместо того чтобы созвать публику к Кропфу, где традиция строжайше повелевает вспрыскивать исключительные события, я пошел на берег озера. Не помню, как я очутился на дороге, ведущей в Вестмюнстер¹. Темный туман купался в бурливых волнах; иногда выделялись из него красноватые, изборожденные обрывы и склоны гор, похожие на фантастические острова. Жалобно кричали чайки, парившие над самой водой.

«Итак, я еду,— думал я,— еду в страну земноводных англичан, еду к морю, к далекому, неведомому морю...» Напрасно так долго лелеял я надежду, что поеду в дру-

¹ Все эти имена связаны с швейцарским городом Цюрихом. (Прим. Ред.)

гне края, что после восьмилетней разлуки увижу другую картину. Напрасно в течение последних трех лет я посылал столько почтительных и любезных посланий в Лодзь, Згерж и тому подобные Пабьяницы, покорнейше прося места с жалованьем в сорок, тридцать, даже — чорт побери — двадцать пять рублей в месяц. Напрасно я превозносил свои химические таланты, рассказывал о своих аттестатах, изобретениях, обещал придумать новый способ печатания узоров на ситцах... Я только скомпрометировал себя в своих собственных глазах и пред святой наукой. Там евреи и немцы давно уж все изобрели, заткнули все места и двигают вперед крупную промышленность. Разлетелись впух и впрах мечты мои о том, как я возьму тебя, мой старичок, mit Pompe und parade, к себе, как мы понашьем себе новых нарядов (одних козловых сапог по две пары на брата), как накупим табаку, сахару, чаю, ветчины — чорт знает чего еще, — как мы станем по вечерам, как последние сапожники, играть напропалую в домино, вспоминать священной памяти Козиков... Козиков!.. Помнишь ли, отец, песчаный косогор за нашим садом, с кривыми соснами, поросший низкой, шершавой травой? Я сам не знаю, отчего я так люблю вспоминать эту дыру. Помню, раз... После долгих и сильных морозов, после тяжелой зимы, наступил первый теплый, почти жаркий день. Это был один из первых дней марта. Около полудня вдруг неожиданно обнажилась верхушка косогора, вылезла из своей снежной скорлупы и зачернела на белом горизонте, словно горб какого-то чудовища. Я стоял в это время у окна и отвечал урок репетитору, — помнишь его, папа? — лохматому Кавице. Что-то меня так и дернуло. Не знаю, как это я отвертелся от урока, выбежал во двор, созвал собак и помчался во всю прыть через пашни, через луга, без шапки... До нынешнего дня не изгладилась из души моей эта минута, эти чувства, точно это было вчера. По хвоям, по веткам, по коре сосновых стволов стекали огромные светлые капли, тяжело падали в сугробы и просачивались через них насквозь; каждая оцепеневшая былинка, каждый пенёк, камень, каждое дерево — все вокруг впитывало в себя, всеми своими порами всасывало лучи солнца и в одно мгновение становилось очагом тепла. Вокруг

деревьев, кустов, сухих стеблей куколя, вокруг камней и колышков ежеминутно образовывались огромные ямы, и в них показывался светлый выпучий песок. Каждое его зернышко, насыщенное теплом, казалось, разгоралось и пылало, разливая на замерзших соседей живительное пламя. Песчинки подогревали снег снизу, кусты и деревья плескали на него теплыми каплями, насыпи и поля, казалось, облегченно вздыхали, освободившись от тяжести. С дальних полей шли густые испарения и, словно теплые клубы дыма, кружились и стлались над равнинами, трепетали и светились над холмом.

Стая воробьев грелась, сидя на ветках сухой вербы и встревоженно чирикая. Распущенные, как у индюков, крылья стряхивали с веток лед и уцелевший иней, клювы их нетерпеливо стучали о гниль, обвешанную сосульками. И мне тогда казалось, что вся эта стайка поет прекрасную, никогда еще не слышанную песнь, проникающую до мозга костей. И вот потекли первые весенние воды, обильные, быстрые, как слезы неожиданного счастья. Они сочились по бороздам, пробивали себе глубокие русла в посиневших колеях, прорезанных санными полозьями, струились поверх снежной пелены и тихо, радостно журчали. В нашем ручье вода поднялась, образовались шумливые водовороты, обнажились берега, и гноисто-желтая жидкая, размокшая глина медленно сплывала по ним. Стволы прибрежных берез погрузились в реку и корнями жадно всасывали ее животворную влагу.

Я просто одурел от радости: прокладывал путь ручейкам, облегчал падение крохотным водопадам, строил плотины... Всей душою радовался, что стало тепло оцепеневшим былинкам, что уж ни один воробей не замерзнет, и в первый раз в жизни протягивал свои детские ручки к великой тайне природы...

Есть ли еще там это место? Вопрос, достойный головы и пера доктора Петра Цедзины — не правда ли? Ах, да... Человек, у которого отрежут изувеченную руку, постоянно чувствует боль в пустоте, простирающейся во всю длину руки. Часто после крепкого сна просыпаюсь я с этой неотступной болью, вытесняющей пустоту. Вот придет новая весна... Я увижу ее в тумане, закопченном фабричною сажей, — и там, как и здесь, будут терзать меня

когти призрака, глубоко проникшие в душу... И так всегда без конца...

Я и забыл, о чем, собственно, хотел тебе писать, мой Старик... Один я на свете, и ты лишь один у меня, как бы вторая моя половина, оторванная и далеко-далеко томящаяся в тюрьме половина моей души. Не сердись на меня за то, что я пишу тебе неинтересные вещи — я пишу это как будто себе самому... И вот, когда я стоял на берегу озера, мне было очень мерзко. Большие, прозрачные, светлозеленые волны катились одна за другою из какого-то неведомого места, скрытого в тумане, ударялись о берег, разбивались об острые камни, и каждая из них, скользя в глубину, казалось, шептала со вздохом: «Ты — словно муравей, выросший в лесу, которого ветер вдруг занес на средину пруда...»

Пан Доминик со злостью бросает письмо и, подперев руками подбородок, сидит, нахохлившись, как коршун. Фантастические, отвлеченные представления уже не мучают его, зато поднимаются и тянутся вереницей логические, но не менее болезненные мысли. Отчего жизнь пришла к такому концу? Где причины всего этого? Отчего единственный сын не слушает ни просьб, ни заклинаний, ни увещаний, ни приказаний и, вместо того чтобы оправдываться, пишет какие-то сентиментальные, непонятные вещи? Отчего он не возвращается? Если б он только приехал — по протекции, похлопотав немного, можно было бы найти для него прекрасное место, барышню с приданым... Отчего бы нет? — Ясное дело. Человек не может жить и работать, — отвечает сам себе пан Цедзина, — если кто-то не жил до него и не работал для него. Кто ж этот кто-то? — Отец. Одним рождением на свет божий отец еще не дает сыну жизни — он дает ему только обещание жизни, воспитание начинает ее, и затем уже только наследство укрепляет ее и дополняет. В этом и заключается источник неизбежности наследования в роде человеческом. Оно является узлом, который связывает умирающие поколения с нарождающимися, оно вытекает из того, что является необходимым с точки зрения потребностей тела, оно создает и увековечивает семью. Семья без наследования — это какой-то бессмысленный, тяжелый союз, пытка, навязанная человеку Провидением... Вот та-

кое-то проклятие лежит и на нас с тобой, Петрусь. Наследование прежде всего является отличительным признаком человечности; благодаря ему, вместе с плодами трудов, отец передает сыну плоды своих впечатлений, дум, открытий и догадок, словом — всего того, что сам он мог добыть лишь путем долголетнего опыта... Сын, начиная с того места, где остановился отец, идет дальше и дальше по пути обогащения, а также интеллектуального развития, — и вот, таким образом, труд поколений переходит из рук в руки, накапливается, развивается, поддерживается и образует пьедестал, на котором возносятся все выше и выше... цивилизация. В растущем прогрессе человечества если кто однажды утратит свою нить, то уж больше ее не охватить, — и если отец не умел трудиться, сын страдает безвинно, и несчастье это переходит к нему с кровью и плотью отца. Наследство удерживает детей в пределах домашнего очага и удовлетворяет последнюю и потому, быть может, такую сильную страсть старости — страсть общения с потомками...

— Я лишился всего этого, — шепчет пан Доминик, сжимая виски, — и лишился безвозвратно. Голос старости вопрошает, где дух мой и плоть моя, а я похож на скульптора, у которого в назначенный срок требуют законченную статую, между тем как у него только идеальный образ в душе и ни куска глины в руках. Восемнадцатилетнего юношу пустил я одного, без копейки за границу... что же странного в том, что он вырос и стал иным, совершенно не соответствующим моим представлениям, современным человеком. И чем же привлеку я его к себе? Любовью, безысходной тоской?.. Что нас связывает? Одна разве фамилия, которою он, по-новомодному, совсем не дорожит. Он уже современный человек: он сделает с собой, что захочет и как захочет. В мои времена сын находился во власти отца, повиновался ему, и почитал его, и не имел права уйти от него под страхом сурового осуждения общества. Не огорчал он отца, потому что над ним тяготел неумолимый и властный, хоть и неписанный закон. А теперь уж нет его, с той поры как исчез наш дворянский обычай. Сыновья наши разбрелись по свету... Они ищут новой истины. Не обращая внимания на усталость, на жару, они стремятся все вперед

по тяжелой тернистой дороге — им кажется, что за ближайшей горбиной этой дороги лежит не только это сокровище, но и счастье души. Нас в этой погоне за истинной удерживала мудрость родителей, доказывавшая нам, что эта надежда — лишь пустой соблазн. Их не удержит ничто, в душах их нет «мягких волокон» нежности. Слабы и ничтожны были их отцы. Да, велика наша вина... да наша ли только? Мы все, члены обширной дворянской семьи, составляли как бы особое общество, мы были ценным зерном, возросшим на поте черни, как на навозе. Разве мы не двигали прогресс, не создавали цивилизацию, не развивали и не совершенствовали свою мысль? Дух времени рассеял нас между простонародьем, словно взял кто-то четверть прекрасной пшеницы и всеял ее в поле простого гороха. Мы разбились на единицы, выродились и почти совсем исчезли. Что ж из того, что я сумел приспособиться, что пошел на службу к первому попавшемуся ублюдку, баловню судьбы, к сыну какого-то лавочника, к выскочке, который всевозможными протекциями, стипендиями «с левой руки», униженным целованием манжет добился диплома инженера и возможности наживать капиталы на железных дорогах? Что из того, что я вырвал из сердца свои гордые мысли с такой болью, точно выломал себе кости из суставов, — что я научился гнуть спину и работать, как последний из моих прежних батраков? Что из того, что, подавив в себе отвращение, я завертелся на карусели современных понятий? Я не перестал быть собой и до мещанства не опустился. Во сто раз хуже всего этого то, что я не понимаю своего сына, никогда не буду его другом, никогда не буду достоин его сочувствия, его — единственного существа моей крови. И ничего уж более не случится в этой паршивой жизни, кроме одного достопримечательного происшествия: смерти. Петрусь поедет в Англию. Это значит, что, когда я буду умирать, когда какой-нибудь жалостливый человек вызовет его телеграммой, он, при величайшей поспешности, сможет приехать только на следующий день после моих похорон. После моей жалкой смерти... никогда, никогда уж не погладить мне рукой его волос, не услышать его голоса! Я забыл, как он говорит, и никак не могу припомнить этот голос.

Он все мне чудится в чужих голосах, все кажется, будто вьется вокруг меня, но все это не то. И никогда не увидят сына мои глаза, не увидят его широких, мужественных плеч. Он такой был тогда худенький, бледный в тот вечер, когда я провожал его, не думая, что это уж навсегда. И до самого конца буду я все прислушиваться, буду ждать, как дурак, до последней минуты жизни — напрасно!..

В эту минуту старый шлятич снова чувствует холодное дуновение недобрых предчувствий.

— Он обо мне совсем позабудет, — шепчут побледневшие губы. — Не подумает обо мне ни разу... Да и только ли... не подумает? Он добровольно, нарочно прервет всякие отношения, перестанет писать, отречется совсем. В мозгу у него появятся разные странные мысли. Что такое, собственно, отец? — задаст себе вопрос какой-нибудь современный философ. И накопит кучу доказательств и с неоспоримой ясностью представит вам ту истину, что связь сына с отцом — это обман чувств, что известный моральный навык, который ввиду таких-то и таких-то причин следовало бы совершенно искоренить. Быть может, даже... о ужас!.. он будет вполне прав. Он совсем не будет ни подл, ни глуп, а только образован. Никто его за это не осудит, никто даже и не обвинит. Разве есть на это закон?

— Нужно искать спасения, — бормочет старик, ломая руки.

Холодные капли пота выступили у него на лбу, сердце бьется резкими, громкими, медленными ударами. Напрягая всю силу своего духа, сосредоточивая все свое существо, всю глубину своего нравственного я, он силится поднять свой ум, вздыбить его и бросить на борьбу с софизмами сына.

— Я тебе покажу, дурак, я тебе объясню, я докажу, что ты лжешь, — говорит он глухим, твердым голосом.

Но мучительный, напряженный бесплодный пароксизм сознания подсказывает ему лишь странные, шаткие доводы. Старик хватается за них, но тут же отталкивает, ищет новых и снова отслеживает еще более жестокие, еще более низкие мысли сына: так борзая идет по следу серны зимой, во время метели, когда ветер то и дело замечает этот след.

«Химия умеет выкидывать свои собачьи штуки...» И вот ради нее он едет на край света. Что тут значит какой-то старый дед, у которого судьба одно за другим отняла все, до последнего лоскутка, до последней иллюзии.

Всей силой своего отцовского сердца проклинает он эту науку. Какое-то ученье, что-то такое, чего нельзя ни уничтожить, ни даже возненавидеть, — как смерть — отняло у него его родное дитя.

— Отдай мне его! — стонет отец. — Отдай мне его на один лишь день. Больше не прошу.

Где-то далеко, далеко, среди снежных сугробов раздается вдруг свист пролетающего поезда: неожиданный, пронзительный, словно крик о помощи. И снова наступает глубокая тишина. Свет луны медленно крадется к постели старика, а он, свернувшись в клубок, мечется, тихо плачет в своем темном углу и все повторяет свою однообразную, безысходную жалобу.

* * *

Пан Теодор Бияковский окончил Институт инженеров путей сообщения как раз в такое время, когда неизбежные экономические условия раскрыли бумажник и нашептывали: «Ну-ка грабь-загребай, прекрасный молодой человек!» Не только пресса пела гимны в честь молодого инженера и озаряла его бенгальскими огнями, но и добавок ко всему разумные девы, которые, как известно, всегда лучше других умеют уловить дух времени, зажгли внезапно свои светильники, обнажили свои лебединые груди и, бодрствуя, поджидали, не постучится ли к ним «позитивный жених». Пан Теодор еще лучше, чем девы, постиг дух времени и решил жениться подобающим образом. Он стал бывать в доме одного богатого варшавского канатчика, очаровательная дочка которого тщательно хранила в своей памяти несколько первых страниц произведения Бокля.

Пан Теодор родился в городе Варшаве, чуть ли не на Крахмальной улице, где отец его содержал на углу скромный, бедный, но опрятный трактирчик. В детские и отроческие годы маленький Теось вместе со всей верени-

цей младших и старших братьев и сестер играл, с позволения сказать, в уличной канаве, выбивал стекла у соседей евреев и, по всем вероятностям, остался бы навсегда в состоянии варварства, если бы не одно случайное счастливое обстоятельство. Хозяйка того дома, в котором помещалось учреждение старого Бияка, дама, уже тронутая зубом времени, существо необыкновенно чувствительное, в одно прекрасное утро была поражена камнем, метко пущенным из рогатки рукою маленького сорванца. Камень застрял в самой прическе, и это стоило старой деве нескольких дней плача и нравственных страданий.

Она приказал позвать к себе Теося, долго смотрела на него и наконец произнесла:

— Ступай, дитя, учить тебя велю я¹.

Мальчик оказался необыкновенно способным, быстро прошел подготовительный курс и даже тайком от почти всегда пьяного отца выдержал экзамен в гимназию. Там он переходил из класса в класс с наградами, был тихим и скромным учеником. Опекунше своей он писал на именины поздравительные стихи, целовал колени и руки, а после ее смерти пришлось ему, сиротке, немало целовать манжет, прежде чем ему удалось поступить в высшую школу, где он окончил математический факультет, и потом с помощью разных знакомств попал в институт.

Все это пошло у него как по маслу. Я не стану воспевать всех его успехов, походов, хлопот, перемен образа мыслей и места жительства — скажу только, что он строил много прекрасных мостов, больших вокзалов, проложил много верст железнодорожных путей и что не прошло и десяти лет после окончания курса, как наш «прекрасный молодой человек» имел уже капитал в несколько десятков тысяч рублей, помещенных солидно и без риска. Должности при управлении железных дорог его не прельщали, он предпочитал всегда вести компанию с денежными тузами и принимал участие в постройке новых путей. Деньги текли в его карманы по широкому руслу: нередко мелкая услуга, льстивое словечко, ловкая, совершенно невинная с виду операция, наконец даже

¹ Слова из стихотворения Марии Конопницкой «Перед судом». (Прим. ред.)

просто удачно и метко пущенная «по-варшавски» острога — все это вновь наполняло бумажник, временно опустевший после какой-нибудь инженерской пирушки. Я уж не говорю о результатах глубоко и систематически обдуманных планов действий.

...Обласканный судьбою, инженер наш, надо отдать ему справедливость, не забыл своей бедной семьи с Крахмальной улицы. Он вел за собою целый отряд не только братьев, но также близких и дальних родственников, и каждый из них, под бдительным оком благодетеля, ходил при часах и тратился на модные костюмы. На южном берегу Крыма пан Теодор владел роскошной виллой, где царила его прекрасная цветущая супруга, некогда читательница Боклей и Миллей. Там было чудесно: вдали волновалось море, вокруг раскинулся целый лес тропических растений. Казалось, пан Теодор будет весь свой век почитать в минуты досуга то одну, то другую страницу из Декамерона (серьезные книги он роздал на память недосыпающим телеграфистам), как вдруг неожиданно явился демон тревоги...

...В те времена как раз начали в царстве Польском строить новую железную дорогу; пан Теодор явился и взял новую дистанцию.

Вскоре после того как были начаты работы, припелся к нему разорившийся дотла помещик Доминик Цедзина. Сначала он исполнял на строящемся полотне обязанности простого надсмотрщика, погонщика человеческого стада, но впоследствии обратил на себя милостивое внимание нашего предпринимателя и был приспособлен к другим целям. Странно выглядел этот изящный, высокий старик, с гордой, барской осанкой, всегда элегантно и чисто одетый, гладко причесанный и тщательно выбритый, когда стоял неподалеку от дверей перед Бияковским, небрежно раскинувшимся в кресле. А инженер испытывал какое-то особенное наслаждение, держа бывшего помещика у дверей и говоря ему: «Пойдете вы, мой пан Цедзина...» или «Столько уж раз я вам повторял, пане Цедзина...» или «Нужно быть бестолковым, пане этот... пане Цедзина, чтобы...»

Лицо старого шляхтича никогда не обнаруживало ни тени гнева, ни следа обиды, ни изумления. Порою только

по его сжатым губам пробегала грустная, почти детская улыбка, поблекшие глаза затуманивались еще больше и, казалось, ничего не видели. Но никогда унижение, терзавшее его душу, не вырывалось наружу ни в одном слове, ни даже в тоне голоса.

«В этом тоже достоинство,— думал он про себя.— Я и так пан, а ты и так хам...»

Одна лишь радость, одна надежда была у этого человека. Как только наступал вечер и рабочие, в платье, пропитанном потом, бросали лопаты и, наскоро поужинав, засыпали каменным сном, а господа инженеры усаживались играть в винт,— Цедзина шел вдоль полотна, направляясь к ближайшему местечку.

И тогда он высоко и гордо держал свою голову, глаза его загорались блеском и губы шептали: «Петрусь... ах, Петрусь».

Он стучался в окно почтмейстеру и вежливым, трепетным голосом спрашивал, нет ли письма Доминику Цедзине. И если получал это желанное письмо, быстро удалялся, лаская рукою конверт и прижимая его к своим губам. Придя в свою жалкую комнатку, он ставил подле кровати свечу и принимался читать. Он читал медленно и как-то очень странно: не прочитывал всего письма сразу, но вылавливал одну, две фразы, несколько слов — и клал письмо обратно в конверт. Случалось иногда, что конец письма он прочитывал только на третий день по получении. Если, бывало, его раздражали, если кто-нибудь обижал его, если он вдруг чувствовал, что что-то начинает сжимать ему грудь, будто железным обручем, и кровь ударяет ему в голову,— он лишь нащупывал боковой карман сюртука, где лежала пачка писем от сына,— и спокойствие возвращалось к нему снова. Во всякую минуту отдыха, во время ли обеда, или небольшого перерыва в работе, он вынимал листочек и начинал вдумываться в какую-нибудь, казалось бы обыкновенную фразу. И тогда светлая, как луч солнца, улыбка озаряла его деревянное лицо и сгоняла застывшее на ней выражение страдания.

В расстоянии версты от конца прокладывавшейся насыпи, составлявшей часть дистанции пана Теодора, торчала посреди полей довольно большая гора, обросшая

можжевельником и увенчанная серой зубчатой цепью известковых скал. Гора эта принадлежала поместью Заплотье, а поместье — некоему Юлию Полихновичу. Инженер, вскоре после начала работ обратил внимание на эту возвышенность, произвел исследования над скалами, нашел в них в изобилии углекислую известь с небольшим количеством посторонних примесей, заметил, что склоны и обрывы обнаруживают прекрасные слои отменно хорошей глины. Последствием всего этого было то, что через несколько дней по приезде он взял с собою пана Цедзину и поехал с ним в фольварк господина Полихновича. Уже надвигались сумерки, когда бричка их подъезжала к Заплотью... Имение было расположено у самого подножия горы. Широкий четырехугольник сохнувших тополей окружал постройки. А сами они находились в плачевном состоянии; старая винокурня стояла в развалинах и воздевала к небу обдранные стропила, словно кости скелета; наклонялись к земле крыши овин; там и сям торчали жерди развалившихся заборов. Каменистая и для разнообразия украшенная угрожающими выбоинами дорога проходила через нечто вроде ворот и вела к усадьбе. Огромная черная крыша господского дома съезжала со стен назад и одним своим краем доходила почти до земли.

Когда бричка наших дельцов остановилась у крыльца, в двух окнах дома горел огонь. В дверях показалась чья-то фигура.

— Это ты, Шулим? — громко спросил стоявший на пороге.

— Нет, это не Шулим, — ответил Бияковский. — Помещик дома?

— Кто же там, чорт возьми?

— Помещик ваш дома?

— Помещик?

— Можно его видеть?

Фигура исчезла и в ту же почти минуту свет в окнах потух. Наши путешественники взошли на крыльцо, но дверь оказалась запертой. Бияковский постучался.

Никакого ответа.

— Странное дело, — заметил пан Доминик.

Инженер сошел с крыльца и заглянул за угол дома,

ища другого входа. Там, повидимому, были двери: кто-то бегал, какие-то белые фигуры то входили во двор, то выбегали в сад, таща какие-то тяжелые предметы, нечто вроде шкафов, зеркал, диванов, столов, кроватей, картин.

— Вот необыкновенный дом! — говорил про себя чрезвычайно заинтересованный странным явлением инженер. — Этот помещик, повидимому, переезжает отсюда, чорт возьми?.. В такую пору... пане Цедзина...

Пан Доминик грустно покачал головой и тихо вздохнул.

Из-за крапивы и кустов сирени выглянула, наконец, какая-то баба, подошла к Бияковскому и стала нахально разглядывать посетителей.

— Вы кто такие? Откуда?

— Мы с железной дороги, нам надобно поговорить с здешним помещиком, — сказал ей пан Цедзина. — У нас дело к барину. Хотим у него купить камень... Слышишь? Дома твой барин? Можно его видеть?

— Это барина, что ли? — переспросила баба.

— Понятно, что не тебя.

В эту минуту из темноты высунулась другая тень.

— Господа инженеры... ага... Пожалуйста, милости просим... Марина, беги лампу зажги... Вели все вносить назад. Пожалуйста, господа... Позвольте представиться: Полихнович.

Двери, ведущие с крыльца в сени, снова открылись, и приезжих ввели в большую комнату с очень низким потолком. Там было много разной мебели и всяких предметов, и все это как-то оригинально размещено: комод был выставлен на середину комнаты, на нем лежало несколько картин в толстых позолоченных рамах и зеркало, стол был завален кучей ремней, уздечек, кнутов, хлыстиков, подпруг, ягдташей; раскрытый сундук был полон грязного белья и поношенного платья. На кровати, покрытой рваным одеялом, развалилась огромная собака из породы догов, а на выдавленном диване спал маленький мохнатый песик. Хозяин старался с помощью усиленного выкручивания фитиля получить от закопченной лампочки больше света. Это был молодой человек, лет тридцати, немного сгорбленный, с увядшим, изношенным лицом.

— Садитесь, господа,— говорил он, сбрасывая со стульев на пол разбросанные части мужского костюма и предлагая гостям хромы стулья.— У меня тут немного по-холостячки, да уж что тут поделаешь с этими секвестраторами... Финтик, вон, подлец!

Лохматая собачонка неохотно подняла голову и, махая хвостом, сползла на пол.

— Вот, милостивый государь,— начал Бияковский,— каково наше дело: вам принадлежит гора, неподалеку от которой мы проводим железнодорожное полотно?

— Гора? «Свинская кривда»? Ну да, мне она принадлежит... Так что ж из этого?

— Она вам не приносит никаких доходов?

— Какие же доходы я могу иметь от такой горы? Смеетесь вы надо мною, что ли?

— Пастбище верное,— робко вставил Цедзина.

— Какое там пастбище! — возмущился Полихнович.— Камень на камне да несколько кустиков можжевельника. Так, отхожее место для овсянок... хотели вы, верно, сказать. Но в сущности почему вас так интересует эта гора?.. Финтик! Вон, подлец!..

Собачка опять соскочила с дивана, на который она было взобралась.

— Короче говоря,— продолжал инженер,— я бы купил у вас камень с этой горы и право рыть там глину. Вы согласны?

— Камень? А, правда... Пожалуй, даже с большим удовольствием.

— И сколько бы вы за это взяли?

Полихнович принялся вертеть в руках папиросу, заложив при этом ногу на ногу таким образом, что острый носок его сапога почти касался носа, и — молчал. Наконец, когда процесс всаживания папиросы в трубку был окончен, он окружил себя клубами дыма и выпалил:

— Я вам уступлю это за восемьсот рублей.

Бияковский громко расхохотался.

— Семьсот рублей!.. Что вы говорите! И это за «отхожее место для овсянок»... Ха-ха!.. Знаете ли, что...

— Не семьсот, а восемьсот сказал я. Говорите, сколько вы дадите. Не люблю я, когда мне смеются в

лицо. Финтик, я тебя за дверь выкину, шутник ты этакый, заработаешь у меня!

Собачка опять сползла с дивана. Бияковский перестал смеяться.

— Вы думаете, милостивый государь, что вы имеете дело с профаном,— говорил молодой помещик, прищуривая левый глаз.— Я, милостивый государь, учился в Дублянах, в агрономической школе, и знаю, что стоит глинозем, смешанный с известным количеством песку и отнюдь не жирный... Найдите-ка мне тут где-нибудь в окрестности такую глину и такой камень.

— Как знать?.. Может быть, и найду,— ответил инженер вставая и собираясь уходить.

— Ну... сколько ж вы дадите?.. Скажите.

— Во всяком случае не более ста рублей.

Господин Полихнович погрузился в глубокое раздумье.

— Давайте, так и быть, наличными двести рублей... и пусть там черти...

— Нет, милостивый государь,— спокойно произнес Бияковский.

— Ну, это трудно... Даете сто пятьдесят?..

Инженер иронически посмеивался себе в усы.

— Тогда давайте напишем контракт... что уж там... Вы, может, напьетесь чаю?

— Вот еще, чаю! — неожиданно раздался голос из соседней комнаты.— Вы будете угощать, а я сама не знаю, откуда вам достать этого чаю... Ишь ты!

— Молчать, обезьяна! — сказал Полихнович, не поворачивая даже головы.— Вы, может, закусите, господа, простоквашей с картофелем?..

— Нет, покорнейше благодарим. Я вам плачу сто рублей... контракт напишем с двумя подписями... свидетель есть, вот пан Цедзина...

— Пан Цедзина! — воскликнул молодой человек, окидывая гостя сверкающим взглядом.— Пан Цедзина, владелец Козикова?

— Да, бывший...

— Да неужели? Уже вас вытурили? Ха-ха... Вот так погром на помещиков! Что ж, теперь дороги строите?..

— Работаю,— скромно ответил пан Доминик.

— Так... Ну, что ж делать!.. Давайте напишем кон-

тракт этот. По крайней мере будет хоть что всадить завтра в зубы господам евреям.

Контракт был написан, и поздно ночью Бияковский вместе с Цедзиной уехали из имения.

Спустя несколько недель у подножия горы уже работала машина для выделки кирпичей, а на скалах копошились человеческие фигуры. Сам инженер то и дело появлялся на вершине горы и пытливый, задумчивый взглядом окидывал расстилавшееся перед ним внизу пространство.

Был конец августа, время пахоты. На полях Полихновича царила глубокая тишина. Бияковский не был знаком с сельским хозяйством, с трудом даже отличал колос пшеницы от ячменя, тем не менее особое предрасположение, оказываемое владельцем Заплотья паровым полям, обратило на себя его внимание. Длинные серые полосы земли, когда-то изрезанной ровными грядами, наводили уныние своим кладбищенским видом. Местами однообразный цвет пустопорожних полей прерывался небольшим куском сжатого поля или грядами картофеля, но за ними он тянулся снова и исчезал вдали, сливаясь с пастбищами и землей, не годной для посева.

Молодой помещик приходил ежедневно на гору, сидел на камень, выкуривал папиросу за папиросой и заводил беседу.

— Ваше имение, — сказал ему однажды Бияковский, — когда глядишь на него отсюда, с горы, похоже на труп.

— Скажете... На труп?.. Мне после отца досталось имение в плохом состоянии, пришлось завести плодосменную систему...

— Плодосменную? Где же тут и какие плоды вы меняете? Тут я вовсе не вижу никаких плодов.

— Как никаких?

— Я, положим, не знаю в этом толку, но я не вижу ни ржи...

— А фасоль?

— Какая фасоль?

— Ну, и вы еще беретесь критиковать. Вон, видите там эту зеленую полосу?

— Что же вам за выгода от этой зеленой полосы или хотя бы от этой самой фасоли? Ржи я не вижу.

— А вон то жнивье-то после чего?.. После капусты с бараниной, что ли?

— Да ведь помилуйте, мужик в два раза больше ржи засекает.

— Так он и портит землю, сея рожь за рожью... Вы только позвольте мужику, так он вам и на Театральной площади насажает картошки, но из этого отнюдь не следует, что мы должны подражать его примеру и губить поля. Тут, правда, надо бы иметь немного капитала...

Не помню точно, как это случилось, но факт тот, что минута эта наступила. Когда засвистели первые локомотивы на новой железной дороге, Жюль Полихнович уезжал из Заплотья, увозя с собой в дорожной сумке несколько сотен рублей. Поместье с паровыми полями, с пустыми амбарами и целым хвостом долгов перешло в собственность инженера Бияковского. Новоиспеченный помещик некоторое время с особенным наслаждением обозревал пустые поля, готовую рухнуть дворянскую усадьбу и высокие тополи с высохшими верхушками. Собственное имение! Старый дом — мечтал он — будет для управляющего; на возвышении, фасадом к полотну, он выстроит скромную, но хорошенькую виллу. Но слишком долго инженер наш был практическим человеком, чтобы идеальные мечтания о вилле могли отодвинуть на второй план мысль о пустеющих полях.

Что делать с этими полями? Неужели и впрямь поселиться в таком Заплотье и начать накопленные денежки вкладывать в пашни, амбары и овчарни? Ездить каждое воскресенье с семейством в деревенский костел, угождать и молиться господу богу, чтобы он не побил рожь градом и чтоб уберег от поджогов?

Приезжать на лето к себе в деревню, любоваться с супругой закатом солнца, бегать (все с той же супругой) по душистым лугам за пестрыми мотыльками, читать Джиованни Боккаччио под тенью вековых лип, удить пескарей — что и говорить, соблазнительные удовольствия; но торчать тут зимой и глазеть на проезжающие пезда — это по меньшей мере неразумно.

Совершенно другого рода чувства волновали душу пана Доминика Цедзины. Приобретение инженером име-

ния подало ему надежду получить место управляющего, вернуться в деревню, к земле, вести хозяйство, как душе угодно, жить под кровлею старой усадьбы. И его старания угодить Бияковскому, повиновение и необыкновенная исправность переходили всякие границы.

«Этот инженеришка знает хорошо,— размышлял старый шляхтич,— чего стоит пан Цедзина. Он знает, что это не шарлатан, который гонится за выгодой, знает, что Цедзина умрет с голоду, но не тронет того, что принадлежит хозяину; что он вытянет из себя жилы для того, кому служит,— оттого что это человек, обладающий качеством, неизвестным людям настоящего времени, смешным, маленьким качеством старых дворян — честью.

Но не сбылись надежды пана Доминика.

Появились колонисты, люди, предложившие инженеру разбить поместье на мелкие участки. Хорошенько обдумав, расплатившись с долгами, Бияковский распродав поля и оставил за собою лишь постройки, каменистую гору и небольшой клочок пахотной земли за садом.

И вскоре вся картина этого куса земли изменилась до неузнаваемости. Лохматые колонисты притащились на господские поля со своими женами, ребятами, со скотом, телегами и всеми пожитками. Худые их клячи тащили из лесу бревна и горбыли, колеса телег проторяли новые дороги вдоль девственных меж; копались колодцы, вязались плетни и наспех строились дома. По целым дням слышался стук топоров. Жалкие пастбища, поросшие низкой кудрявой травкой, которые, если взглянуть исторически, со времен колесника Пяста вплоть до воспитанника дублянской школы Полихновича, служили лишь местом для забав и прогулок быстроногих зайцев, пустые участки под лесом и мертвые поля приобрели теперь такую высокую ценность, что сделались составною частью многих человеческих жизней. Множество глаз смотрели с беспокойством на эти клочки земли, и много сердец строили на них все свои надежды.

Когда наступила осень, на поля вышли плуги и перевернули пласт земли, поросший травой.

Когда наступила весна, у подножья горы, носившей среди крестьян название «Свинской кривды», валили огромные клубы дыма. У самого склона горы пыхтел

громадный паровой цилиндр, выбрасывая в сырой туман целые снопы искр. Длинная переключина тянулась от закопченной трубы к подножию белых известковых скал. В нескольких сотнях шагов, ближе к усадьбе, подымалась стройная красная труба кирпичного завода.

Клубы, дыма, ползущие по небесному своду, приманили из дальних, спрятавшихся в лесах деревень толпу голоштанников с впалыми животами. Пришли и предстали пред ясные очи творца цивилизации. Инженер взглянул оком мудреца на их исхудалые тела, на заросших грязью детей, на жалкие остатки одеяния их жен, дочерей, любовниц — и милостиво предоставил им место в прогрессе человечества.

Из горбылей были выстроены жилые помещения в указанных инженером местах, и там разместили пришельцев. Начальство над всеми работами было поручено пану Доминику Цедзине, который поселился в двух жилых комнатах бывшей усадьбы. Инженер покинул свое имение и отправился туда, куда призывали его неотложные дела. Перед отъездом он научил старика, как тот должен решать общественные вопросы, где ему устраивать глиняные копи, как ссыпать в печь глыбы и делать из них своды, как узнавать по цвету извести, что углекислота из нее удалена, и т. п.

И вот потянулись однообразные, ровные и долгие-долгие дни добросовестной работы. Управляющий подымался на рассвете, будил и вел на работу рабочих, и только поздняя ночь гнала его обратно в старый дом.

Вековые камни стонали под ударами молота, обваливались целые утесы, подкапываемые неутомимыми тружениками, сбрасывались с вершин и дробились на мелкие кусочки громадные глыбы, поднятые усилиями человеческих рук. Углубления от втыкания железных ломов, выбоины и ямы, выдолбленные острием тяжелой железной кирки, остались навсегда, словно безмолвные свидетели того, сколько вложил туда человек своей мускульной силы. С помощью двух рычагов — лома и кирки — были свергнуты с оснований целые скалы, были разрушены колоссальные формации. Недостаток орудий был возмещен простой «сноровкой», выдумкой не мозга, а, вернее, мускулов. Каждый день на рассвете начина-

лась борьба каменных глыб с их крушителем. Прежде чем погибнуть под дерзким натиском человека, они мстили ему, чутко следили за каждым мгновением слабости. Если как-нибудь неосторожно освобождалась их скрытая энергия, нависшие обрывы срывались неожиданно, как громовой удар, убивая и калеча; каждый камень, прежде чем удавалось его втолкнуть в жерло печи, до последней минуты давил, ранил, мстил за себя своей тяжестью, твердостью, острой поверхностью, обжигал огнем, душил дымом, как смертельный враг, губя и подтачивая жизнь своих мучителей.

Бесформенные, обнаженные обрывы и обломанные вершушки стоят на этом поле битвы, словно надгробные плиты и саркофаги.

* * *

Пан Доминик уснул только на рассвете. Это был не здоровый, укрепляющий сон, а так, старческая полудремота. Мучительное, ноющее страдание не прошло, не утихло, но, как топор палача, тяжелое и неотступное, нависло сонным кошмаром над его истерзанной душой. Снилось ему, что он стоит на размокшей плотине, на берегу замерзшего пруда. Лед на нем синий, слабый, набухший водой. Вдруг он заметил, что с противоположного конца пруда к нему идет туманная фигура. Призрак шел, тихо качаясь, описывая плавные полукруги и чуть-чуть касаясь ногами зеркальной поверхности. И вдруг — в одно мгновение — он видит, как у самого берега, почти у его ног, прокатилась огромная волна, лед потрескался на мелкие кусочки, и по воде поплыли мокрые, светлые как лен, волосы. Чудные кудри то разбегались по воде, сливаясь как бы в корону, то прилипали мокрыми прядями ко лбу, к белому лбу Петруся. Старик пытается крикнуть, но что-то сжало ему горло и заложило его как будто бы сгустками застывшей крови; он хочет броситься в воду, но, неизвестно почему, никак не может опуститься в нее. Наконец ему удастся сунуть туда руки по локоть — и холод, леденящий, ужасный, смертельный холод пробегает у него по жилам, наполняет сердце. Если б он мог издать стон, хотя бы один стон, крик... если бы он мог хоть вздохнуть...

Вставало утро, и при свете его забелели замерзшие стекла. Послышался стук дверей в бараках для рабочих, хруст снега под ногами людей и голоса. Пан Цедзина очнулся и тяжелым взглядом обвел свою комнату. Он почувствовал маленькое облегчение, когда убедился, что все, что он только что видел, было только сном. Но увы! Тоскливые мысли, тяготившие его перед сном, возвратились и, точно злые, беспощадные пчелы, стали жалить его сердце. Зловещее отвращение к этой комнате, к наступающему дню, к себе самому охватывало его душу.

Полуодетый, он сел на постель и тупым, бессильным взглядом смотрел в угол комнаты. Неслышно для самого себя, одними губами, он прошептал:

— Хоть бы уж, чорт меня побери... умереть...

В окно постучались: это, конечно, один из работников, исполняющий обязанности сторожа, дает знать управляющему, что принес охапку дров — топить печь. Пан Доминик не шевельнулся с места. С безотчетной ненавистью, с безумным отвращением ко всему крепко сжимались кулаки. Вся сила сознания сосредоточилась на одной — такой простой — мысли:

— Хоть бы уж...

Стук в окно повторился, и чей-то незнакомый голос громко спросил:

— Пан Доминик Цедзина дома?

Старик вскочил на ноги. Все равно, кто бы ни стучался там, — лишь бы кто-нибудь чужой, какой-нибудь незнакомый человек, лишь бы не этот сторож в пропотевшем тулупе.

— Пане Цедзина! — крикнули за окном.

Вся кровь вдруг хлынула к сердцу старика. Он быстро натянул на себя длинные сапоги, накинул на плечи лисий полушубок и, подбежав на цыпочках к окну, стал дуть на стекло и протирать в иное круглую дыру. Вдруг он бросил это занятие и быстро отвернулся к стене. Он весь изогнулся, глаза ему что-то затуманило, лицо болезненно передернулось, руки конвульсивно сжались.

— Если там, за окном, — тихим, ровным голосом заговорил он, обращаясь неизвестно к кому, — если это там Петрусь, то я отдам... ты знаешь, что я не солгу... я отдам тебе... — Он еще раз крепко-крепко стиснул свои ру-

ки и спокойно направился к двери. Сняв крючок, вышел в сени, широко раскрыл дверь на крыльцо и остановился на пороге. На тропинке стоял молодой человек в коротком пальто, с дорожным чемоданом в руках. В бледноголубом полусвете утра старик не мог различить черт его лица, но тот сделал шаг вперед и тихо, с глубокой нежностью промолвил:

— Отец...

Старый Цедзина, глухо рыдая, протянул руки и охватил гостя долгим, нежным, ненасытным отцовским объятием.

Потом, оторвавшись, он начал с силой тащить его в комнату, лепеча какие-то отрывистые куски слов и глотая их вместе со слезами. Он вырвал у сына из рук чемодан, растянул на нем пальто, выставил из шкафа на стол все бутылки — с уксусом, с керосином, со скипидаром и с водкой, искал рюмку в куче ремней и разного железного хлама в углу комнаты и все еще дрожащими губами бормотал:

— Писал... в Англию... в город...

Доктор Петр следил за всеми движениями старика растроганным взглядом и не мог выговорить ни слова. Пан Доминик, наконец, опомнился первый.

— Замерз... да? — спросил он, прикрывая ладонью глаза, как будто смотрел на солнце.

— Нет...

— Ну да, скажешь! Вот я сейчас печку затоплю.

Он бросился за печь и стал выбрасывать оттуда сухие дрова на середину комнаты. Весь раскрасневшись и запыхавшись, клал он их потом в печь.

— Оставь, отец, — сказал ему молодой доктор, — тут и так тепло. Мне бы поспать немного.

— Святая правда! Что я за болван такой. Мальчик столько ехал! Идем, идем, принесем кушетку... у меня осталась еще наша зеленая кушетка... знаешь... зеленая...

Они вошли в смежную холодную комнату, заваленную всякой старой рухлядью, и принялись передвигать старинную фамильную кушетку с раздвижным верхом.

Пан Доминик разостлал на ней свою постель и уложил сына спать. А сам, забавно выворачивая ноги, чтобы ступать на цыпочках, вышел из дому. Доктор Петр, как

только положил голову на подушку, впал в сонное забытие, какое обыкновенно наступает после сильной усталости от продолжительной езды в вагоне. Веки у него слипались, но ему не давало заснуть нечто вроде беспрестанного шума электрических звонков, притаившихся в нервах. По дороге, на бесконечном количестве станций, звоночки эти звучали за окнами вагона непрерывными, резкими, навязчивыми и до того несносными звонами, что стали, наконец, сливаться в ушах в один зуд. Ему казалось, будто все еще тянется последняя, третья сряду, ночь, проведенная им в вагоне. И будто он дремлет не под отцовской кровлей, а в узком купе, упершись головой в дрожащую деревянную стенку. И все еще слышится ему стук колес о концы стянутых морозом рельсов на перегоне, когда поезд мчался на север от Одерберга, — и этот унылый, однообразный шум оцепеневшей земли, глухо стонущей под рельсами: это я, это я, это я... И казалось, до сих пор еще видит он полуоткрытыми глазами обширную, необъятную голую равнину, какой явилась она ему, прижавшемуся лицом к стеклу, — пустыню, засыпанную снежными сугробами. Вдалеке, в ясном свете луны, слабо чернеют мужицкие хаты. Длинным рядом стоят они у горизонта — много их, много... В груди путешественника бьется уже не сердце мужчины, что пережило столько разочарований, нет — сердце ребенка, доступное минувшим страданиям. Точно острая колючка терна, пронизывает его не то детская жалость, не то глубокое раскаяние, и губы робко шепчут:

— Боже, недостойн я...

Пан Доминик вернулся на цыпочках, неся связку сухих щепок, и стал растапливать печку. Словно сквозь туман, видел доктор его сгорбленную спину и седые, коротко стриженные волосы. Минутами ему чудилось, что эта дорогая голова соскальзывает куда-то и исчезает, оставляя после себя только огромную тень, преломившуюся на стене и потолке. Неровный, прерывающийся сон смыкал ему глаза... Когда он почти проснулся, у печки, как и прежде, сидел старик, лицом повернувшись к огню. У дверец печки тлела уже только небольшая кучка углей. Легкий бледнофиолетовый пепел понемногу покрывал их, а по нему там и сям ползали розовые искорки. Пан До-

миник смотрел на искры и шевелил усами, как будто рассказывал этим мерцающим огонькам какие-то таинственные истории. Время от времени он протягивал руку и отодвигал пенку в горшочке молока, приставленном к углям.

У изголовья постели доктора стояли старые часы. Маятник качался над самой его головой. Когда он двигался налево, в тень, на засиженную мухами поверхность его падал узким клином свет, и тогда казалось, будто старый маятник разинул рот и заливается радостным смехом. Внутри ящика, покрытого слоем многолетней пыли, раздается неустанный хриплый стук колес, будто биение сердца старого механизма. Его мелодичный шопот носится над головой лежащего в полусне и звучит, как знакомая, любимая, грустная и невыразимо нежная песня.

«Ты не знаешь,— поет он,— ты не знаешь, дитя, что такое тоска... Погляди ты только, погляди-ка, соия, подыми веки. Видишь ты эту слезу, что, скатившись из глаз старика Цедзины, повисла на кончике самого длинного волоса в левом его усе? Какая она тяжелая, какая огромная эта слеза, какая чудовищно огромная слеза! Пац!— вот она скатилась со стуком из головку левого сапога. Что это? Что это? Вот катится другая, еще крупнее, еще тяжелее... Кап! — уже висит на усах. А старик боится, боится, как бы она не упала на кочергу и громким стуком не спугнула твоего сна. Гляди, как потешно, как смешно и неловко он снимает ее с усов двумя пальцами. Эти слезы,— рассказывают старые часы,— были тоненькими, тоньше, чем нить паутины, волоконцами в сердце, в том месте, где таится пикогда не заживающая ранка тоски. Было их много, много, и у каждой кончик был острый, как жало комара. Сидели они одна подле другой рядком и носили громкое название бацилл тоски. У многих эти проказницы высосали душу, у многих сглодали рассудок... да, да, почтенный организм... А ты, могучий, явился и отравил их одной лишь единственной сыновнею лаской.

И умерли они одна за другою, и каждая расплылась в огромную слезу счастья. Ах, подумай только.. если бы хоть одна из этих слез упала на твою душу... Подумай только— ведь она смысла бы тебя с лица земли, — ах, только подумай...»

Внезапно в движении колес и валиков говорливого старикашки наступил катаклизм, точно часы сами своими собственными зубами прикусили себе язык. Раздался хриплый, тупой звон, поднялась возня, стук—и медленно, с важностью, неумело подражая голосу кукушки, пробило десять. Молодой человек, полуоткрыв глаза, глядел в окно, оттаявшее под лучами веселого солнца. Он видел кусочек равнины, искрящийся хрустальными снежинками, полосу дальнего леса и клочок безоблачно-ясного бледного неба. Божественное вдохновение пролилось в его душу. Он чувствовал ясно, что секунда, которая сейчас проходит, что эта крохотная частичка времени — в промежутке между одним и другим качанием маятника — это высший, важнейший, кульминационный момент, это зенит молодости, единственный на всю жизнь. Что могло быть раньше и что может еще быть потом? Какое чувство можно сравнить с этим моментом, когда, кажется, глубоко, проникновенным взором обнимаешь весь жизненный путь, веря, — что я решу в эту минуту, будет не только умно и честно, но и хорошо?..

«Нет, не поеду я ни в какую Англию, — думал доктор Петр. — Нас не проведешь! Отъезжаю профессору его триста франков... ведь заработаю же я здесь, хотя бы пришлось навоз копать...»

* * *

После нескольких морозных дней и ночей наступила оттепель. Пропала чудная прозрачность воздуха; не стало нежных, пушистых снежинок, что носились над твердыми как камень полосами снега; исчез розовый иней, искрившийся под лучами солнца, что так украшал сухие ветки тополей, тоненькие прутья смородины и мертвые былинки, выглядывавшие из-под снега. С самого утра капали с крыш большие грязные капли, в воздухе повисли клубы серо-желтого пара, смешивавшиеся с дымом, ползущим по крышам. У горизонта скопился густой, непроницаемый туман и казался страшной тяжестью, под которой прижались к земле и холмы, и леса, и дальние деревни.

Было около часу дня, когда пан Доминик возвращался в наемной бричке из уездного городка. Худые кресть-

янские клячи вязли в топком снегу, полозья ташились по земле, как скалки по катку, и то и дело подпрыгивали вверх или падали в выбоины и лужи. Старик кутался в порыжелую шубу, нахлобучив шапку на глаза, и, покуривая недорогую сигару, думал: было время, ездил он четверкой мерингов, в роскошных санях, с ямщиком в ливрее с золотыми галунами, было время — кутался он в теплую дорогую медвежью шубу... Боже добрый, земля дрожала, бубенчики слышны были за полмили, кони фыркали, мужики и евреи стояли без шапок... А как там теперь — кто знает? Никогда еще езда на санях по пустому полю не доставляла ему такого удовольствия, как теперь, когда он едет в деревенской повозке... Дома ждет его пан доктор Петр Цедзина. Ха-ха!.. Но, но, лошадки! Трогайте быстрее. Еще вон только один лесок, потом маленькая лошина за Заплотьем...

«Любопытно знать,—думал пан Доминик,—сделал ли и переписал ли Петрусь счета? Думал, верно, что я ему дам по целым дням по хатам слоняться (верно, девок учит по-немецки...) и праздновать святого лентяя. Нет... посиди-ка, господин химик, за приходе-расходными графами, понаставь цифр, напиши красивым почерком ведомости для господина инженера, выручи старика отца. Даром, что ли, стану я тебе возить табак да сардинки?

Лошади въехали во двор и остановились у крыльца. Пан Цедзина слез и вошел в сени, шумно отряхивая с сапог снег. В дверях комнаты стоял доктор Петр.

— Что это? Голова у тебя болит, что ли?!—воскликнул пан Доминик.

— Нет, с какой бы стати! — принужденно ответил сын.

— Что же ты такой бледный и как будто больной?

Действительно, у молодого человека был не совсем веселый вид.

Выражение глаз стало странно холодным и затуманилось грустью. Он шагал по комнате из угла в угол, нервно покуривая папиросу.

— Вот я велю сейчас Ягне борщ подать, так ты у меня сразу придешь в себя. Без борща, скажу я тебе, человеку всегда как-то не по себе.

— Я не стану есть, да и вообще... у меня мало времени.

— У тебя мало времени?

— Да,—резко произнес Петр,—я... видишь ли, отец... я должен ехать. Делать нечего... я должен ехать, чтобы занять это место в Гулле.

Пан Доминик не сказал ни слова: Не снимая ни шубы, ни шапки, он сел на стул и опустил голову. Он не смотрел, что делает сын,— он ничего не видел, чувствовал только, что у него спирает дыхание, что ему душно. Ему хотелось бы выйти освежиться на холодном воздухе, собрать свои мысли, но он не мог двинуться с места. Молодой человек приводил в порядок бумаги и записные книги, разбросанные на столе. Он взял в руки небольшую старую, засаленную записную книжку, обвязанную грязной тесемкой, и перелистал ее.

— Отец,— произнес он с грустью и сожалением,— в этой книжке я нашел, что на мне тяготеет долг, который я должен уплатить безотлагательно.

— Оставь ты меня в покое, оставь! — ответил старый Цедзина, опуская голову на руки.

— Прежде чем уеду, я должен объяснить тебе, отец, почему у меня явилось это решение.

— Что ты мне объяснишь, глупец, что? — вскипел старик. — Поезжай, если на то твоя воля. Только, ради бога, прошу тебя, не расточай передо мною твоей премудрости.

— Я хочу поговорить с тобой искренно и откровенно о деле, имеющем для меня очень важное значение. Четыре года тому назад ты мне прислал в разные сроки двести рублей. В следующем году тоже двести рублей. Потом двести пятьдесят рублей и в прошлом году опять двести. Всего восемьсот пятьдесят. Жалованье, которое ты получаешь, это триста рублей в год. Откуда это?..

— Милейший сынок... не вздумай только делать меня вором. Если ты внимательно просмотрел счета, то ты должен был заметить, что я не присвоил себе из денег Бияковского ни одной копейки. Все есть в ведомостях. Что я не продавал тайком ни известки, ни кирпичей, в этом ты тоже можешь убедиться из счетов. Наконец я даю тебе свое честное слово... у меня на совести нет ни одной копейки Бияковского. Бог мне свидетель!

— Да, это совершенная правда.

— Раз ты выступаешь в роли обвинителя, ты должен кое-что понимать в делах. Весь секрет состоит в том, что Бияковский предоставил мне право на получение дивиденда, правда довольно оригинального. На продаже он никогда не хотел мне его дать, а на мои настойчивые требования всегда отвечал одним и тем же припевом: «Ведите дешевле производство... а то, что на этом сэконо-мится, то ваше». Он обещал и рабочим сначала по трид-цать копеек. Я им потом дал по двадцати, ну, и разу-меется, они согласились, потому что больше нигде не заработают, а тут у них заработок верный. Вот та-ким-то образом у меня и собралось немного денег для тебя.

— Да, вот это-то именно я и нашел в счетах...

— И в этом весь секрет, обвинитель. Вором я еще не был и, даст бог, не буду.

— И я не хочу им быть, отец. И потому я должен отдать эти восемьсот пятьдесят рублей.

— Кому ты станешь их отдавать? Я этих денег не приму... знай это... не приму. Я не мог давать тебе на содержание и ученье больше, видит бог... но что я мог... я старался хоть немного выполнить свои отцовские обя-ззанности.

— Это не ты, отец, давал мне на 'ученье, и не тебе я должен возвратить этот ужасный, тяжелый долг...

Доминик Цедзина высоко поднял брови и с изумле-нием глядел на сына.

— Ты помешался, мой милый Петрусь, не иначе. Что ты тут такое городишь?

Доктор Петр сел за столик, взял лист белой бума-ги и медленно заговорил:

— Ценность каждого товара по окончании производ-ства состоит из постоянного капитала (обозначим его буквой С), из капитала непостоянного, то есть зарабо-тной платы (положим, V) и из так называемой прибавоч-ной стоимости, или прибыли, что я обозначу буквой Р. Отношение прибавочной стоимости к непостоянному ка-питалу, или прибыли к заработной плате — $P:V$, показы-вает высоту прибавочной стоимости или норму эксплоа-тации. Рассчитаем, отец, со всею точностью приход и расход...

Только к вечеру кончился ожесточенный спор между отцом и сыном. Оба они смолкли, наконец, под влиянием того упрямства, которое замыкает сердца так плотно, как замыкается крышка гроба над дорогим трупом.

Старик равнодушно и презрительно смотрел, как доктор Петр возится с укладыванием своего чемодана. Время от времени насмешливая улыбка скользила по его губам, и глаза сверкали гневом. После долгого молчания он высокомерно и равнодушно промолвил:

— А тут ты положительно ничем не мог бы заработать, чтобы удовлетворить свою сумасбродную фантазию?

— Нет, отец, не мог бы так скоро, как я этого хочу. Там у меня место и сравнительно недурное жалование.

— Место можно найти и тут. Бияковский...

— Я никогда и ничего общего не желаю иметь с господином Бияковским. Никто мне никогда не протезировал, кроме моих знаний и моей работы.

— Ты же писал мне, что тебе протезировал какой-то профессор, — сухо сказал отец. — Ты сам себе противоречишь, господин философ.

— Нет. Профессор назвал мою фамилию, так как, согласно просьбе, нужно же ему было указать чью-нибудь фамилию. Он указал мою, потому что находил это вполне справедливым ввиду моей добросовестной работы и склонности к самостоятельным исследованиям.

— Рассуждение, достойное знаменитого физика. Бияковский точно так же нашел бы вполне справедливым ввиду... и так далее...

— Никто добровольно не заражается паршой... Ну, так и мне хорошо, покуда я чист...

Старик рассмеялся. Снова наступило молчание. Но вот молодой человек снял с крючка свое пальто и стал лениво натягивать его на себя.

— Так ты всерьез?.. — спросил пан Доминик.

— Да, отец.

— Ох, сын мой, смотри, как бы не наказал тебя за это бог.

— Первый платеж я надеюсь выслать в мае. Вот в этой книжке я высчитал, сколько следует каждому за четыре года. Так ты, отец, пожалуйста, добросовестно...

— Ступай прочь, дурак! — грубо крикнул пан Доминик в припадке бешеного гнева.

Руки у него дрожали, глаза сверкали зловещим огнем.

Доктор Петр, бледный как полотно, подошел к нему со слезами на глазах и склонился к ногам отца. Старик оттолкнул его, отошел в угол и повернулся спиной. Он слышал, как дверь тихо скрипнула и заперлась за уходящим сыном, слышал сухой лязг засова, но не пошевелил головой. Мало-помалу он погружался в состояние апатии и такого глубокого равнодушия, что оно граничило чуть ли не с чувством удовольствия.

«Хорошо, что я сказал ему «дурак», — подумалось ему, — это ему пойдет впрок...»

Так прошло несколько минут. Он поднялся и выглянул в окно. На дворе не было никого. В лучах заходящего солнца отчетливо выделялись все предметы. На стеклах мороз рисовал свои фантастические узоры, они росли на глазах, тянулись снизу вверх. Старик с интересом засмотрелся на них и думал о чем-то из далекого, далекого прошлого. На мгновение он почувствовал себя маленьким мальчиком: он сидит в прекрасной усадьбе, возле своей матери, доброй, милой, красивой матери, и глядит на ветвистые узоры окна... Ему скучно, ему хочется плакать и капризничать, только вот эти ползучие побеги, эти веточки и зубчатые листики так занимают его, так забавны.

Из глубокой задумчивости его вырвал только далекий свист локомотива. И этот звук причинил ему такую боль, как удар молотком по голове. Он надел шапку и вышел из комнаты.

К железнодорожной станции медленно подходил поезд, копошась и утопая в снежных сугробах и как будто разрывая и сверля их своим железным туловищем. Пан Доминик широким шагом направился к вокзалу. Сумерки быстро надвигались, и по мере того как сгущалась темнота, все ярче блестели фонари на железнодорожной линии, словно добрые духи, предупреждающие о большой опасности. Когда пан Цедзина был уже на половине дороги, он заметил издали силуэт человека, идущего от станции. Он облегченно вздохнул, в надежде, что это воз-

вращается доктор Петр. Вскоре он поравнялся с этим человеком: это был рабочий с кирпичного завода, молодой и веселый парень.

— Ты куда ходил? — угрюмо спросил его управляющий.

— На станцию.

— Зачем?

— Вещи нес за молодым барином...

— За каким молодым барином?

— А за паном Петром.

— Уехал? — равнодушно спросил старик.

— Так точно, уехали, барин.

— Ты видел?

— Да как же не видеть? Ведь сам ему и чемодан в машину занес.

— Говорил он тебе что-нибудь?

— Э... говорить-то не очень много говорил.

— Ступай домой.

Парень быстро пошел краем дороги. Потом он перескочил через канаву и пошел к горе прямо полем.

Пан Доминик все смотрел ему вслед, даже тогда, когда тот уже скрылся в глубокой тени, падавшей от горы.

Лицо старика стянулось и стало меньше, нос выгнулся и вытянулся до подбородка, глаза закрылись. Он все стоял на месте и ежеминутно протягивал руку, как будто хотел позвать работника. Затем медленно тронулся с места и пошел, уже без всякой определенной цели, не сознавая даже, в каком направлении. Идя, он наклонялся к земле и при свете последних проблесков вечерней зари узнавал глубокие следы ног сына, оставшиеся в мягком снегу, которые теперь сострадательный мороз укреплял для него на этом ужасном пути. Над каждым из этих следов он останавливался, шупал его палкой... Над каждым из груди его вырывался тихий долгий стон, похожий на жалобный вой ветра над могилами кладбища.

Анджей Струг

ПАН И БАТРАК
НА ВОКЗАЛЕ



АНДЖЕЙ СТРУГ

Анджей Струг (1873—1937), писатель публицист, был выходцем из среды зажиточного мещанства. Настоящая его фамилия Тадеуш Галецкий. Уже в ранней молодости, на школьной скамье, знакомится Струг с участниками кружков революционной молодежи и вскоре становится одним из активных участников польского социалистического движения, проявляя себя как отличный конспиратор и талантливый организатор нелегальной партийной печати. Принимает деятельное участие в революции 1905 года, воспетой им позже в ряде новелл и повестях («Подземные люди» («Подпольщики»), «Завтра» и «История одного снаряда»). В противовес другим писателям «Молодой Польши», Струг считал, что главной, ведущей силой революции являются не отдельные личности, а рабочие массы как коллективный организатор победы. В ряде своих произведений, а особенно в повести «Наши отцы», Струг проводит ошибочную аналогию между движением национально-освободительным и народно-революционным, становясь на позиции польского социал-шовинизма.

Как и Даниловский, Струг в годы первой империалистической войны становится одним из рьяных сторонников Пилсудского, вступает в легионы, а в начале двадцатых годов избирается в члены польского сената. После фашистского переворота Пилсудского в мае 1926 года Струг открыто заявляет себя противником диктаторского режима, борется с ним в печати и в своих публичных выступлениях, отказывается принять звание члена польской профашистской Литературной академии и становится одним из руководителей демократической литературной молодежи.

Все это вызвало преследование Струга со стороны пилсудчиков, продолжавшееся до последнего дня жизни писателя. Похороны его превратились в антифашистскую манифестацию.



ПАН И БАТРАК

Пан Злотовский, разъяренный и красный как рак, ходил взад и вперед от дверей до стены по узкому пространству между нарами. Ни на какие вопросы не отвечал, ни на кого не глядел, только исступленно гремел кандалами. То вдруг на глазах у него появлялись слезы. То казалось, что он сейчас набросится с кулаками на кого-либо из присутствующих. Чувствовалось, что близится нечто очень скверное.

Из двенадцати постоянных обитателей камеры № 7 спокойствие сохранял один только ксендз Бойдол. Он давно уже был болен туберкулезом и лежал почти при смерти в своем углу. Лишь порою он с трудом приподнимал голову и глядел страдающими глазами, не в состоянии понять, что происходит вокруг. Остальные шумно разговаривали, пререкались, приставали к пану Злотовскому, расспрашивали о подробностях инцидента, давали ему всевозможные советы и справедливо упрекали

его в том, что своим своевольным поступком он втянул их всех в это неприятное дело, угрожающее наказаниями и преследованиями.

Особенно горячился старый Мишталь, пекарь, просидевший недавно за что-то две недели в темном карцере.

— Чорт подери! Месяц было спокойно, человек только успел притти в себя, и вот тебе — снова исторчя. Его милости не по нраву пришлось. Знай, мол, наших, вынь да положь. Вот она — шляхетская солидарность!

— Пан Валерий, ложись сейчас же на нары и начни громко стонать. Притворись, что ты тяжело болен, доктор не выдаст тебя. Тебе ничего не сделают, а потом как-нибудь обойдется. Дадим знать Мухину, пусть приедет, сунет что-нибудь жене помощника, вот как-нибудь все и обойдется.

— Ого... За такое оскорбление самого смотрителя... Вы что думаете? Это ведь тюрьма, каторга! Послушайте лучше меня: параграф пятый о лишенных всех прав и сосланных на бессрочные каторжные работы... Я, как юрист...

— Я не юрист, но знаю, что вся Россия держится на взятках. Нужно на этот раз дать больше, пусть даже сто рублей. У Валерия денег, слава богу, хватает.

— Денег-то у него хватает, а вот пятой клепки в голове нет. Ты с ума, что ли, сошел? Такое отколоть, да еще кому? Самому смотрителю!

— Нет, тут никакие деньги не помогут. Беда стряслась, и ничего не поделаешь! Выпорют, пан Валерий, — решительно заявил староста камеры, лесничий пан Влочевский, знаток тюремных порядков, авторитетно предрекавший исход каждой стычки с начальством.

— О мать божья, пречистая! Надо было уж вам промолчать на этот раз, стерпеть как-нибудь...

Этого уж пан Зотовский никак не мог вынести. Остановился как вкопанный и закричал своим громовым басом:

— А ты, хам, молчи, когда тебя не спрашивают! Держи язык на привязи, не то все зубы выбью!

Франек Васяк, бывший батрак из Злотоволи, оробел и замер на месте с широко разинутым ртом. Ему сдела-

лось как-то не по себе. Он весь съежился, плотнее закутался в свою арестантскую куртку.

— Да я, ваша милость, ничего плохого не хотел сказать, я от доброго сердца...

— Ну что вы, пан Валерий, к чему так раздражаться? Тут нужно обсудить...

— Коллега Злотовский демонстрирует свою демократичность. Это убедительней всех его полемических утверждений,— саркастически процедил адвокат Стидло, который был мелким чиновником в уездной ссудной кассе, но зато занимал важное положение при Жонде народовом¹, за что получил двадцать лет.

Когда пан Злотовский вернулся и показался на пороге камеры, все в ужасе замолчали. В первую минуту никто даже не двинулся с места, чтобы поддержать его и проводить до нар, хотя он еле держался на ногах. Пан Злотовский тяжело навалился плечом на дверь, так что задвижки и засовы глухо застонали. Остановился и смотрел на товарищей. В его взгляде был какой-то полный отчаяния вопрос и безумная улыбка. В лице не было ни капли крови, оно только нервно подергивалось, губы дрожали, словно он готов был сейчас разрыдаться, а зубы стучали, как в приступе лихорадки. Из-под накинутой на плечи куртки размеренно и быстро падали на грязный пол капли крови.

Придя в себя, все бросились к нему. Проводили до нар, уложили лицом вниз, и маленький Котяткевич, помощник фельдшера, засучив рукава, принялся за перевязку. Осторожно, теплой водой и чистой мягкой тряпочкой обмыл он исполосованную спину. Злотовский лежал без движения. Лицо его было зарыто в соломенную подушку, он тяжело дышал. В камере разговаривали шопотом. Одни помогали фельдшеру, другие, мрачно задумавшись, сидели на нарах.

Франек принес в большом чайнике теплую воду и, налив ее в миску, стоял на колечках возле пана Злотовского и помогал фельдшеру. Страх и ужас сжимали ему

¹ Польское повстанческое правительство в 1863 г. (Прим. Ред.)

сердце. Произошло что-то совершенно непостижимое и невероятное. С тем, что его пана арестовали, заковали в кандалы и угнали в Сибирь, Франек уж как-то примирился. Но то, что произошло сейчас, переходило всякие границы. Помещик Зотовский, владелец Зотово-воли, Злотей и Злотувки, пан с головы до пят, пан от деда и прадеда, выпорот розгами до крови, опозорен, унижен...

Пан Зотовский цеплялся пальцами за сенник, хватался за подушку, потом вдруг застонал. Его тяжкое стенание, равномерное и глубокое, разносилось по камере.

— Ничего, сейчас пройдет, — успокаивал его фельдшер. — Сейчас все кончится. Побегу в аптеку за мазью. Намажу, обвяжу, и все. Ничего больше не будет болеть. А потом — только спокойно лежать и спать. Через неделю все пройдет. Еще минуточку...

Но пан Зотовский стонал все сильнее. Тогда староста Влочевский, умный и старый человек, хорошо понимавший состояние души товарища, начал убеждать его:

— Успокойся, Валерий, не терзай себя понапрасну. Никакого позора тут нет, честь твоя не затронута. Сам ведь понимаешь, где находишься ты и все мы. Каторга! Сегодня тебя, а завтра меня. Нечего тут стыдиться! И кого ты стыдишься? Нас? Глупости! Пора уже забыть все, что было раньше...

Пан Зотовский отвернулся от стены, и глаза его, полные слез, встретились с испуганным взглядом Франека, который стоял на коленях тут же, возле нар, и держал обеими руками большую миску с водой. Зотовский долго смотрел на него. Наконец заговорил, всхлипывая, с нежностью и мольбой в голосе:

— Прости меня, Франек, прости мне обиду и несправедливость к тебе...

Франек от неожиданности попятился назад и пролил из миски на землю добрую половину воды.

Обитатели камеры № 7 в общем жили мирно. После многих переселений и перемещений здесь в конце концов подобрались люди, которые чувствовали себя в своем кругу. В других больших камерах приходилось сидеть со всяким уголовным сбродом, который, пользуясь своим большинством, вводил свои бандитские нравы и гнусные каторжные законы. Здесь из двенадцати заключенных только двое было чужих, да и эти в конце концов никому не мешали, ибо один из них «Михаил — божий человек», молчаливый мистик-сектант, жил как бы вне реального мира, а другой, кавказский горец, слабоумный, успешный навсегда уже успокоиться, не знал никакого другого языка, кроме своего родного. Общался с ним только пан Стисло, не потерявший еще способности шутить. По нескольку раз в течение дня он подходил к кавказцу и строго спрашивал:

— Кто ты?

— Гухремас Оглы Кувардыс Хатан Цавель Теймур,— покорно отвечал тот, и беседа кончалась.

Не обходилось, конечно, без того, чтобы товарищи не поспорили или даже поссорились то по идейным или политическим вопросам, то из-за каких-либо бытовых обстоятельств: за-за чайника, параши или какой-нибудь миски.

Но староста Влочевский умел всегда примирить повздоривших и сохранять согласие и дружбу. Это были все до одного люди почтенные и уважающие друг друга. Сидели вместе уже около года и если не полюбили, то во всяком случае привязались друг к другу. Знали друг друга насквозь и рассказали уже, и не раз, обо всем, что было интересного в их жизни, всякий уже составил себе мнение об остальных товарищах, определил и установил свое отношение к каждому в отдельности.

Жизнь в камере была сносная — спокойная, унылая, скучная. В течение первого года никого не посылали на работу. В течение этого первого года люди тяжело привыкали к своей участи, к кандалам и день за днем мучительно отрывались от прежней жизни и от всего того, что осталось у них там, на родине.

Каждый носил глубоко в себе свою печаль, свое горе и вздыхал над ним. Повседневная жизнь тоже утверждала свои права и свои законы. Жили кое-как, лишь бы день прошел. Ели, спали, разговаривали, ссорились, пели, скучали, вздыхали, развлекались, как могли, даже смеялись.

Установились формы совместной жизни, привилегии для отдельных лиц, особенные обязанности для других, определились давнишние привычки каждого.

Все знали, что пан Клямборовский, ресторатор из Опатова, человек порядочный, но профессиональный и испытанный лгун. Обедая, однако, как и вообще всем питанием, ведал сам пан Злотовский, кухня которого славилась когда-то на весь уезд, а обязанности повара исполнял Франек. У каждого был свой собственный и особый взгляд на причины поражения восстания, но в спорах об этом победителем всегда выходил помощник адвоката пан Пучало, который всех умел забросать словами и переубедить, каждый раз, впрочем, иными доводами.

Самым богатым из всей этой компании был помещик Злотовский, самым ученым пан Пучало, самым умным староста Влочевский, самым остроумным пан Стисло и самым глупым Франек.

Все относились чуть свысока к маленькому фельдшеру Котяткевичу и добродушно подтрунивали над ним. А пан Стисло относился не без пренебрежения вообще ко всем и трунил над всеми изощренно, а порой и злобно. Все заботились о больном ксендзе Бойдоле, который постоянно и тщетно призывал их быть ревностнее в вопросах веры. Все обходились с Франеком, как со своим батраком, а он работал за всех так, словно был у них на службе и получал за это плату. Но особенно усердно и в первую очередь служил он своему бывшему помещику.

* * *

Вначале свежи еще были воспоминания. Люди переживали во второй, в десятый раз то, что было так давно и в то же время так недавно. Они в душе никак еще не

могли примириться с тем, что все это миновало и потеряно навсегда. Кое-кто еще грозился отомстить, иной еще тайно на что-то надеялся. Шли оживленные обсуждения, возникали споры, чуть ли не доходившие до драки, с воодушевлением рассказывали о своих подвигах и обо всем, что видели, и никому не надседало слушать длинные повествования о битвах, о боевых приключениях, о тайной работе заговорщиков.

Не один из них, прошедший в кандалах через сто этапов до Нерчинских рудников, полагал, что он совершил новый подвиг, что этими муками своими он как-то послужил родине. Не один из них вначале принимал мужественно свои страдания, а кандалы носил с достоинством и гордостью.

Однако время постепенно и незаметно снимало эти торжественные покровы с мученичества. Пережитые события вытеснялись из души и переходили в память. Все отчетливей выступала мрачная сибирская действительность: сегодня, завтра, через год или через пятнадцать лет — все будет, как было. Всегда будут решетки на окнах и кандалы на ногах. Будет надзиратель с нагайкой в руке, конвой с заряженными ружьями и соседи по каторге, неотделимые от каждой мысли, от каждого вздоха, — убийцы, преступники, бродяги. Навсегда далекими и как бы уже чужими становились дорогие сердцу, те, которые живут своей собственной, чужой жизнью где-то там, неведомо где, на далекой, навсегда утраченной отчизне. И приходит в голову рожденная отчаянием, но и разумом мысль: зачем жить? Поразмыслив так, кто вешался на ремне от кандалов, кто готовил себе тайне яд, кто искал ссоры с конвойным на работе, чтобы умереть от пули. А остальные? Остальные жили.

Серый каторжный день стирал с души налет красоты и благородства, подбавлял — капля по капле — горечь, и каждому становилось уныло и мерзко. И измученный человек говорил себе: «Мне все равно».

Пал духом и пан Зотовский. Секли его розгами раз, другой, третий. Били его кулаками, невзирая на его шляхетский гонор, били по его панскому лицу, как когда-то надсмотрщики в Златоволе, Злотей и Злотувке проезжались по мужицким лицам. Присмирел, научился подчи-

няться. Выпрямлялся, вытягивался в струнку, стоял «руки по швам», когда в камеру входил надзиратель, или помощник надзирателя, или какой-нибудь хлыщ из тюремной канцелярии. На работе снимал шапку и спокойно, мертвым взглядом смотрел в лицо проходящему чиновнику. Работал наравне с другими — в стужу, в жару, по колени в воде или среди удушливой алебастровой пыли каменоломен. И в те, прежние, времена помещика пронибал иной раз пот, когда, сидя на лошади, наблюдал он за работой обливавшихся потом жнецов. Это действовало на нервы. А теперь он сам работал в поте лица своего наравне с другими, и руки у него были такие же огрубевшие и черные, как у Франека.

У себя в имении помещик знал суть каждой работы, ему известно было, кто работает плохо, он покрикивал и подгонял такого и арапником учил уму-разуму. А здесь Франек учил его, как работать. В первое время Франек не раз даже выполнял вместо пана весь дневной урок, а потом посвящал его самого в хитрую мужицкую науку, учил, как нужно обманывать надсмотрщика, который стоит над ними с кнутом в руке.

И Франек похваливал этот каторжный труд:

— Здесь не так за нами присматривают, не так следят, как надо. Здесь работа куда легче, чем у нас в имении.

Разбредись по другим каторгам, по широкой Сибири и еще куда-то дальше старые товарищи первых лет каторги. Умер, наконец, ксендз Бойдол, повесился ночью на решетке веселый пан Стисло, оставив товарищам коротенькое письмецо, в котором значилось: «Сделайте то же самое!» И ресторатор Клямборовский лгал уже на том свете, потому что как-то на работе солдаты отшибли ему прикладами внутренности. Болел, хирел, лгал, все больше путая, и наконец умер. Пана Влочевского перевели на Кару; двое, отбывшие свой короткий четырехлетний срок, ушли на поселение.

Ловкий Мишталь завел собственную пекарню и написал жену с детьми, пан Пучало начал страдать маньей величия и где-то в больнице по целым дням и ночам писал какой-то большой трактат о каких-то больших проблемах.

Остался в старой тюрьме пан Злотовский вдвоем с Франеком среди чужой толпы уголовных. Издевались каторжники над польским паном за то, что он был паном, издевались над панским слугой Франеком за то, что он верно служил своему помещику. Донимали их обоих, потому что оба они были им чужие, да еще и бунтовщики. Со временем привыкли к этому оба, но пану было тяжелее. Пану было о чем пожалеть, было о чем вспомнить. А Франеку — о чем же?

— Ваша милость,—шептал он,—не надо так много думать, вспоминать. Нехорошо так долго в одно и то же место глядеть. И зачем это вы так всматриваетесь в эту мертвую стену?

— Не понимаешь ты этого, Франек. Один может терпеть, а другой не может. Тебе лучше.

— Известно, лучше. Я о себе не говорю. Что я? Мужики всегда ко всему привычны. Я понимаю, что вам тяжело. Если бы у меня где-нибудь было таких три имения, и столько леса, и лошади, и скотина, и такая красивая жена, и такие красивые дети, во мне бы все переворачивалось. Знаю.

— Не в этом дело, Франек. Не понимаешь ты.

— Понимаю, ваша милость, ой, понимаю! И в этом дело, и еще в другом. Когда нам в первый раз казенные рубахи выдали, рубаха эта по мне была, я всегда такие носил, а вы, небось, долго мучились, пока кожа ваша к грубому холсту привыкла? И все так здесь, на каторге. Панам всегда в неволе тяжелее.

— Неволя неволей. Но скажу тебе, Франек, я предпочел бы сидеть один в темной яме, к стене прикованный, чем всегда и постоянно находиться вместе с этим ужасным сбродом, чем стоять навывтяжку с непокрытой головой перед каким-нибудь прохвостом, чем это вот божье солнце только и видеть на каторжной работе.

— Ой, нет, ваша милость! Среди людей легче, хоть это все бандиты, убийцы, богохульники. Легче уж работать, хоть работа каторжная. Без работы, да без этой их воровской ярмарки, да без шума постоянного человек совсем бы погиб. Застоялась бы у него в сердце кровь, и уж ни на что такой человек не был бы годен, заела бы

его «миланколия» или, сохрани бог, сделал бы с собой что-нибудь недоброе, вот вроде как блаженной памяти пан Стисло.

— Умный был Стисло. Все думали, что он пустомеля, потому что всегда над всеми шутил. А поступил умнее всех. Ну, скажи на милость, зачем мне жить? Зачем ты живешь? Ведь и меня, и тебя осудили на всю жизнь — бессрочно.

— Таких, как мы с вами, в Сибири очень много. Как же это столько людей могут не выжить? А такая смерть тяжкий грех, смертный грех. Человеку вовсе так делать не подобает. Нет.

— Глупый ты, Франек. Не то ты говоришь. Отвечай на то, о чем тебя спрашивают. Я говорю, что лучше ничего, чем такая жизнь. Ну, а ты что?

— Неверно, ваша милость. Как же это ничего может быть больше, чем что-нибудь, пусть даже и самое плохое. Я верю, и вы, пан, верите, хотя по-своему, по-пански, и в рай, и в ад, и в жизнь загробную. Верим мы с вами оба, потому что это истинная правда. Ну и что даст это самоубийство? И пану Стисло казалось, что там темная ночь или вовсе ничего; любил покойник, прости ему господи, глумиться над святыми вещами. А теперь, небось, сам видит, что натворил. За такой грех, за самовольную смерть в аду он или, если была на то милость великая божья, в чистилище. Пусть он теперь скажет, где ему лучше и где ему хуже. Ох, воротился бы он к нам, несчастный, воротился бы, да не может.

— Ты разговариваешь совсем как покойный ксендз Бойдол, но ведь я тоже католик. А я бы ни на минуту не задумался, если бы не надеялся еще, что мне убавят срок.

— И правда, убавят. Такой бандит, как Харитон Плесков, зарезал семь человек, а вышел же он третьего дня на свободу. Двадцать лет его кончились, на каторге все время исправный был, никого больше не убил, вот его и выпустили. А что же мы? Нас отпустят через пятнадцать лет, нет, даже через десять лет. Мы еще поживем, пан.

— Для убийц один закон, для нас другой. Нам ни манифеста, ни амнистии не будет.

— Будет, будет, только терпение нужно. Пока все это еще свежо, у правительства злоба не унялась. Но пройдет лет пять...

— Ну и глупый же ты человек. Пять лет! Не понимаешь ли ты, что ли, что я за это время с ума сойду или умру от тоски. Я больше не могу! Ни года, ни даже полугода... О боже милосердный...

Помещик вдруг замолчал и закрыл лицо руками. Судороги отчаяния сжали ему горло. Дыхание становилось все сильнее, все прерывистей...

— Ладно, ладно, поплачьте над собой, поплачьте. Повздыхайте вволю. Да только к стенке повернитесь тихо да с головой укройтесь. Не то стервы эти опять издеваться начнут. Разбойники собачьи, преступники, язычники проклятые, души пропащие, разве они как все люди... Разве они...



Пани Злотовская посылала мужу все, что могла, чтобы хоть как-нибудь скрасить его жизнь на каторге. Не плохо было бы ему, да и Франеку, если бы они могли всем этим воспользоваться. Но им почти ничего не отдавали. Ни одежды, ни белья, ни подушки. Случалось, передадут из милости какую-нибудь книжку или несколько жалких рублишек — из всех тех денег, которые поступали от жены в канцелярию. Время было суровое. Взятки брали, благодарили, обещали. Брали большие взятки и в Иркутске, и в Петербурге, но на этом дело и кончалось. Пробовала опечаленная жена выкупить мужа за большую сумму у высших чиновников, пробовала за меньшую у местных. Присылала в Сибирь своего человека, дельного и не без веса.

Он старался, как мог, изловчался, сыпал деньгами пани Злотовской, пил с чиновниками, играл с ними в карты и проигрывал, делал все, что мог, и ничего не сделал.

Пан Злотовский не хотел и близко подпускать к себе жену и детей. Заупрямился. Строго запретил им приезжать. Грозился, что если они сделают это без его разрешения, не выйдет к ним на свидание. Жена, зная упрям-

ство мужа, повиновалась, хотя горько плакала. Не понимала мужа и решила, что у него появились какие-то необъяснимые странности. Не мог этого никак понять и Франек.

— И почему это вы, ваша милость, не допускаете к себе ни пани, ни паничей, ни паненки? И пани было бы легче, и вам тоже. Да и дети подросли, красивыми, наверно, стали. Ведь уже восемь лет...

— Молчи, Франек, раз уж в этих делах ничего не смыслишь.

— Заупрямились, ваша милость, прощения прошу, да и только. Чего тут понимать?

— Глупый ты, Франек. И не говори мне об этом. Ты думаешь, что я хоть один день смогу прожить после того, как их собственными глазами увижу? Сердце у меня бы лопнуло. Сколько раз я тебе это говорил?

— У других панов такое же сердце, как у вас, ваша милость, а все-таки не так они поступают. Другой наскребет несколько тысяч злотых, а если у него нет, то жена занимает и едет к нему. А что деньги для вас или для пани...

— Другие — это другие. А я не такой. Понимаешь?

В слезах писала мужу письма жена его. Плакал, читая их, и пан Злотовский, но все же упорствовал.

Писали и дети. Написал, как умел, свое первое письмо незнакомому отцу и Тадзик, младший сынок пана Злотовского, появившийся на свет уже после того, как отца сослали.

Дорогой папа!

Я уже такой большой, что умею сам писать. Когда мы все поедem к тебе? Мамуся плачет и хочет поехать к тебе, и Юрек хочет поехать, и Янка хочет поехать, и Витек хочет поехать, и я хочу поехать больше всех. У нас теперь очень жарко, и сегодня была гроза, и гроза сломала самую большую грушу в саду. Очень жаль, потому что груши еще зеленые. У нас уже есть щенки от Норы. Родилось семь щенков, а мой самый красивый и зовут его Пипчо, и это ему очень подходит. Так что прошу тебя, папуся, сейчас же напиши нам всем, когда приехать, по-

тому что все хотят ехать, а я очень хочу познакомиться со своим папусей. Целую тебя в губы, ручки и ножки.

Тадзьо Злотовский.

Злотовский не писал жене о настоящей причине своего упорства. Не говорил правды и Франеку. Свято хранил в себе свои сокровенные тайны. На это у него пока хватало сил. Крепок был еще в нем шляхетский гонор и внутренний, самый глубокий в человеке стыд.

Ужасно скучал, но не хотел, чтобы жена и дети увидели его таким несчастным, в кандалах, с обритой наголо головой, в арестантской одежде, во всем его позоре. Не хотел унизиться перед врагом, обнаружив свое горе, не хотел обнять плачущую жену на глазах у надсмотрщиков и с их разрешения. Не хотел, чтобы его кровавые слезы и большую любовь видели палачи, которые обращались с ним, как с собакой, и глумились над ним, как над собакой...

А на самом дне его души таилась еще одна, скрытая в темном стыдливом уголке, странная и глубокая причина. Насильники лишили его всяких человеческих прав. У него все отняли. Недействительным стал по закону и его брак с любимой женщиной. Она, если бы пожелала, могла быть свободной. И поэтому он уже ничего не желал, считал себе не вправе требовать чего-нибудь от жены, не хотел ничего от нее принимать. Никакого смысла в этом не было.

Понимал это и сам Злотовский, и он, однако, терзал и себя и свою несчастную жену, создавая ненужную фикцию. Но человек начинает жить фикцией, когда его лишают настоящей человеческой жизни.

Как же мог понять это простой, неграмотный крепостной мужик Франек? Он все время приставал к своему пану, уговаривал, искушал женой, что хороша «как роза», детьми, выросшими такими красивыми. Не раз Злотовский впадал в ярость и кричал на Франека по-своему, по-пански:

— Молчи, дурак, раз ты ничего не понимаешь!

Годы шли, а Франек был все такой же глупый. Надоело это пану Злотовскому, и он решил учить его. Туго подвигалось учение. С большим трудом научился Франек читать, писать, немного считать. Но помещик заставлял его учиться и мучил его так, что Франек обливался потом.

Учил его пан Злотовский, что земля круглая и вращается вокруг солнца по небу. Рассказывал о разных теплых странах и о чужих народах. О том, как тяжело было людям начинать жизнь на земле, о далеких временах, о славных королях и о народах, которые жили меж собой в вечной войне — многие вымерли и лишь некоторые уцелели.

О Польше, за которую воевал Франек, за которую носил теперь кандалы.

О шляхте — ученой и умной, и о мужиках — темных и глупых. О том, как хотела шляхта Польшу от неволи спасти, и о том, что из-за темноты мужицкой все рухнуло.

Учился Франек с трудом, но старательно. Очень уж велико было в нем желание узнать все. Пан Злотовский рассказывал, а он слушал.

Но когда Франек кое-чему научился, он осмелел и сам начал задавать пану вопросы:

— Так ли это, скажите на милость, всегда было на свете, что один богат, а другой беден? С самого начала, что ли, или потом только?..

— Мне, по моему глупому разумению, думается, что шляхте надо было сперва хоть несколько лет мужиков уму-разуму поучить, а потом уж восстание начинать. Все бы пошло. А почему так не сделали?

— Мне думается, что среди всех этих убийц, воров и бандитов, которые сидят с нами, половина, может быть, таких, которые не по злобе своей зло чинили, а по нужде, нужда их заставила. Из-за голода, из-за горя тяжелого, из-за того, что они одни в беде остались, люди их бросили. Вы этого не знаете, потому что вы с ними дела не имеете — и правильно, а я их всех знаю. И чего только иной из них не порасскажет. Прямо страх берет! А су-

дят его судьи, которым не надо ни красть, ни убивать, потому что они с малых лет обучены, и от родителей им много денег достается, и за то, что судят, немало получают. Есть, наверно, такие книги, в которых написано, что все это неправильно?

— Ваша милость, а ведь из-за этих денег больше всего беды на свете. Несправедливость большая, как если бы, к примеру, один своим кровавым потом заработанные деньги потерял, а другой — лентяй и бездельник — нашел бы и прожил. Из-за этого все доброе гинет. Каждый только и думает, как бы побольше денег у ближнего выманить. Не должно ведь так быть, чтобы какая-то дрянная разрисованная бумажка, как, скажем, сто рублей, такую уж силу имела...

Каких только вопросов не задавал Франек. На разные вопросы и помещик отвечал по-разному. Иногда разглагольствовал пространно и охотно, иногда наворачивал мудреные слова, но не всегда о том, о чем шла речь. Порой начинал злиться и ничего не отвечал. Не раз впадал в гнев и набрасывался на Франека с руганью и приказывал молчать, и в таких случаях обычно задавал ему столько уроков, что Франек, сообразив это, стал долго про себя размышлять, прежде чем спросить:

— Мне думается...

Много вопросов накопилось в голове у Франека. Он гордился тем, что много уже знает, но хотелось знать еще больше. Начал уже самостоятельно читать, а пан Злотовский объяснял ему теперь только непонятные места. Писал он уже довольно хорошо и охотно переписывал из книги в тетрадь длинные, особенно понравившиеся ему отрывки. Любил в разговоре с паном вставить мудреное иностранное словечко и сам изумлялся, что он такой умный.

А время в их тюремной жизни не шло, а стлалось, как густая едкая пыль. Тянулись дни и часы, они не считали ни месяцев, ни лет, потому что им нечего было больше ждать, потому что в их каторжной жизни не было никаких событий.

Вдыхали эту тюремную пыль времени и пан и батрак,

один — с тупым, безнадежным равнодушием ко всему, другой — с мужицкой выносливостью, которая издревле спасает крестьянина от всех бед.

Плюнул пан Злотовский на все, что делается на свете, давно махнул рукой на самого себя, — пусть меня чорт возьмет, — и черти взяли его. Франек держался стойко, как пырей на крестьянской пашне. Говорил: надо терпеть — и жил всегда одинаково, после многих лет каторги так же, как и в первый день. Помещик редко и украдкой поплакивал, слуга каждый день и громко вздыхал.

Опадала на них пыль потихоньку, незаметно, но непрерывно. Стлалась вокруг понемножку, вырастала в толстый слой, накаплилась, и каторжные будничные дни утапывали ее. Год прибавлялся к году, но времени не убывало, потому что оба были осуждены на всю жизнь — бессрочно.

Однажды после работы сидел Франек, задумавшись над книжкой, и считал что-то по пальцам, а пан Злотовский, лежа рядом на нарах, заговорил с ним, как учитель с учеником. Собственно говоря, пан Злотовский давно уже перестал обучать его, потому что вот уже несколько лет, как на него напала меланхолия, но Франек продолжал теперь свое образование, сам читая разные книжки, которые барыня все еще посылала мужу, хотя он почти никогда их и в руки не брал. Подтрунивал пан над Франеком и прозвал его ученым. Но по привычке все еще приохочивал его к чтению. Поэтому он и теперь ему сказал:

— Чего это ты не читаешь, а только о глупостях думаешь? Свечи жаль?

— Это я, ваша милость, высчитываю, что сегодня как раз исполнилось двенадцать лет со дня нашей битвы под Млодеевым. В это самое время шли мы тогда ночью в страшный ливень по дороге в Добжиялов. Молнии, как сто чертей, сверкают одна за другой. Люди промокли, ругаются, есть хотят, спать (три ночи мы тогда не спали!). Я в передовом охранении, а вы здесь же, с нами, на Лысом. Чуть молния сверкнула, мелькнуло что-то вдали, и я подумал: «Кто то мчитса к нам на белом коне, надо крикнуть, не то раздавит...» А в эту минуту врывается

в самую гущу улан, двоих с ног свалил. Стащили его с коня, стали расспрашивать, что и как. Сняли с него сумку и, при фонаре, за бумаги... Подъехал генерал, и начали совещаться. А мы стоим. Совещаются, совещаются, солдата допрашивают и допрашивают, а он от страха все рассказывает. Как крикнет генерал:

— Хлопцы, чорт подери, выше головы и марш вперед! За два часа дойдем, а через три будем жрать, пить и спать! Три эскадрона уланов ночуют в Млодееве! Сопровождают корпусную кассу, амуницию, провиант. Все будет наше! Две роты пехоты — пушки ночью не в счет. Выходит — по-трое на одного. Спят, черти, спокойно. Вырежем всех до последнего! За наши бессонные ночи, за наши голодные животы, за то, что убивают раненых, за эту баню, которую они нам устроили под Юшчем, под Чампковым!.. Неудачи быть не может, надо только шагать и шагать что есть духу, чтобы поспеть до рассвета.

Генерал кричит, а тут пром удар за ударом, а за каждым ударом грома блеск и блеск молнии... А мы как гикнем да как двинем! Через час мы уже с тракта в поле вышли, разбудили по пути крестьян, набрали человек двадцать, — хорошо они нам помогли, — дорогу указали. И все было так, как обещал генерал. Сперва вы подкрались с нами к деревне и приказали всем:

— Тихо... Тихо...

Пан Злотовский соскочил с нар так, что кандалы зазвенели, а храпевший сосед Тригубов, свирепый бандит, проснулся и начал скверно, по-каторжному, ругаться.

— Замолчи, разбойник, а ты, Франек, спи и не морочь голову по ночам. Нашел время вспоминать. Я ничего не помню и не хочу помнить! Понимаешь?

— Да я так, ничего. Я вот только подумал, как это может быть, чтобы уже двенадцать лет с тех пор прошло? Я все это так вижу, будто вчера. Когда же это их столько понасобиралось?..

— Дурак! Когда понасобиралось! Пусть будет двенадцать, пусть будет хоть сто двенадцать. Ты попрежнему будешь гнить среди бандитов.. Нашел о чем рассказывать. Все к чорту пошло вместе с нами. Только дураки вспоминают. Спи!

Франек послушно погасил свечу и сразу же заснул. А пан Злотовский до утра ворочался на нарах и звенел кандалами.

Прошло несколько лет. И еще несколько.

Изю дня в день в пять утра резкий бой барабана, будивший каторжников, отрывал пана Злотовского от снов, уносивших его в далекое прошлое. Изю дня в день, просыпаясь, он слал проклятье новому проклятому дню. Изю дня в день, возвращаясь к омерзительной жизни, он ругал Франека ни за что ни про что — так повелось уже много лет кряду.

Изю дня в день Франек бормотал по утрам свои молитвы. Изю дня в день спешил за кипятком, чтобы пораньше подать пану чай. Добродушно вздыхал, выслушивая ворчание пана, и не отвечал на несправедливые придирки, как бы понимая, что не его каждое утро бранит пан Злотовский, а свою тяжелую жизнь...

Изю дня в день, изю дня в день...

Но вот однажды оборвался звено в кандалах пана Злотовского. Задумался узник. Его тотчас повели в кухню, чтобы починить кандалы. За несколько минут спаяли заново звено и заклепали его. Дело обычное, но пан Злотовский был взволнован.

— Гляди, Франек, железо сдало, а человек выдерживает.

— Перетерлось от ходьбы. Мои еще мало износились, потому что я хожу по-здешнему: маленькими шажками. А у вас, как и прежде, шаг широкий, нетерпеливый. Трется цепь на ноге, дергается, вот и сломалась.

— Не об этом речь. Позор, говорю я, так долго носить цепи, что железо стерлось! Подлец такой человек, мерзкий раб! Или не надо было дать заковать себя... А если уж заковали — подохнуть во-время. А человек все выносит. Такого нечего жалеть. Чорт возьми! Почему мы дали взять себя живьем в этой корчме? Что ты, дурак, выиграл?

— Выиграть мы не выиграли, но когда корчму вместе с нами подожгли, когда у нас уже совсем не было патронов, что было делать?..

На семнадцатом году совсем не стало сил у пана Злотовского. Он ничем уже больше не терзался, только жил

изо дня в день в совершенном оцепенении. Не ждал амнистии, по которой вздыхали заключенные, не обращал внимания на то, что жена ему в течение стольких лет постоянно и каждый раз по-новому писала о каких-то хлопотах, о каких-то глупых своих надеждах. Даже уже не испытывал знакомого искушения: покончить с собой. Все равно! Дни шли своей чередой, и все они были похожи друг на друга, серые, будничные, мерзкие, каторжные дни. Влачилось отвратительное время, влачил и пан Злотовский свои дни без мыслей, без сожалений о погибшей своей судьбе.

Не интересовался он больше письмами, приходившими из дому. Охладело его сердце к верной жене, которая состарилась в тоске по нем, и к незнакомым детям, воспитывавшимся и выросшим без него. Ни разу за весь этот год не написал он домой. Письма теперь вскрывал Франек и читал их пану Злотовскому, а то они так и лежали бы забытыми и непрочитанными.

— Ох, как же это так, ваша милость? Для того разве пишут такие замечательные письма пани, и паничи, и паненка, чтобы их в канцелярии писаришки подлые читали? Если бы они знали об этом там, в Злотополе, как бы они огорчились. Сами вы не пишете, ну уж пусть так. Раз не можете, ничего не поделаешь. Но прочесть написанное не так уж трудно.

Не мог Франек видеть оцепенения своего пана. Жаль ему было пани и особенно паненку Янку, которая писала отцу такие трогательные письма, что при чтении слезы на глазах выступали. Очень жаловалась Янка на то, что отец не пишет. Просила, умоляла, чтобы прислал в ответ одно слово, чтобы позволил приехать.

Франек безустали говорил об этом пану, а пан свое:

— Отстань, дурак, не твое дело! — потом умолкал, как если бы стал глухим или словно у него вовсе не было сердца.

Наконец Франек решился самовольно, втайне от пана, написать пани Злотовской и паненке письмо обо всем подробно, ничего не скрывая. Осмелился Франек посоветовать пани и детям, чтобы они, не дожидаясь разрешения пана, приехали поддержать его и спасти:

«...Потому что уж очень ему плохо, как никогда еще

не было. Не разговаривает, есть не хочет, ни на кого не глядит, а только всегда смотрит прямо перед собой. Смотрит и будто ничего не видит. И так уже два месяца. Подумайте, не следовало бы вам приехать помочь несчастному пану? Он попрежнему не хочет вашего приезда, но если бы вы, милостивая пани, проделали бы для него такой путь, сердце его, наверно, смягчилось бы».

Писал, как умел, а письмо получилось совсем не плохое. Все написал о пане Злотовском, все, что нужно было, только об одном забыл, о себе. Подписался просто Франек, справедливо полагая, что о нем все уже знают из прежних писем пана. Но когда письмо пришло в Злотоволю, никто в доме не знал, кто такой Франек, кто этот простой человек, который вмешивается в их семейные дела и дает советы.

Прошло около двух месяцев, пока получился ответ. Франек читает это письмо вслух пану:

— «...Писал нам о тебе, муж мой, какой-то добрый человек, какой-то Франек, который находится вместе с тобой, и рассказал он нам много прискорбного. Кто он? Как его фамилия? За что осужден? Кланяйся ему от нас и поблагодари на добром слове. Вы, как видно, недавно вместе, потому что ты никогда раньше о нем ничего не писал.

Не по себе как-то стало Франеку, стыдно чего-то, поглядел он украдкой на пана, но тот смотрел безжизненными глазами в одну точку, и неизвестно было, слушает ли он, и неизвестно было, как всегда, о чем он теперь думает.

* * *

Видит Франек — с каждым днем все хуже становится пану. Крепкий шляхтич был пан, на голову выше Франека, шире в плечах и гораздо сильнее. Только слишком уж панской была эта сила.

Грызла его тоска, грызла, пока совсем, видно, не дошло до края.

Не посылали больше Злотовского на работу. А через несколько недель он перестал даже разговаривать. От-

правили его в больницу, и, когда уводили его, попросился с ним Франек у порога, поцеловал руку и заплакал. Не обратил пан на это внимания, потому что был уж не в полном сознании. Чувствовал Франек, что пан скоро умрет и что он никогда в жизни не увидит его больше.

Остался один, без родных, без близкого человека, без товарища стольких лет. Не мог найти себе места, все ему сразу опротивело. Притих, с людьми не разговаривал, грустил.

Сосед Трегубов, этот свирепый бандит, который около пяти лет спал рядом с ним и около пяти лет издевался над Франеком, сказал:

— Тяжело тебе без службы, мужик, некому служить, некому руки целовать. Пойди, дурак, ко мне на службу. Я тебе еще лучшим хозяином буду...

Скучал Франек по своему пану, справлялся о его здоровье, посылал записки. Но барин не отвечал, и фельдшер говорил, что он умирает. Франек вздыхал еще сильнее, начинал тосковать и думал уже о пане как о покойнике. Размышлял о том, какова-то будет кончина этого большого пана, пана с головы до пят, пана от деда и прадеда, владельца Злотоволи, Злотей и Злотувки.

Вспоминал давние времена, когда он только поступил в имение Злотоволя батраком. Пан был для него, что солнце на небе, он не смел даже в глаза ему взглянуть. Богатый, гордый, такой здоровый и красивый. Любили его люди, хотя он вспыльчивый был и всегда ходил с кожаным хлыстом, от удара которого было так больно, как от железного прута. Справедливый был, требовал, чтобы работали, но за то и о людях заботился. Плохо только вот то, что очень он уж управляющих да этих чортовых надсмотрщиков распустил, отдал им людей на расправу. Из-за этих остервенелых холопов и особенно из-за одного изверга-управляющего, Падуха, в Злотоволе был такой же ад, какой был в то время во всей округе да и вообще повсюду.

Пять лет уже прослужил он и еще ни разу с паном не разговаривал. Но вот на шестом году во время уборки опрокинул он свой воз на межу, подпорка у него на оси

сломалась. А по жнивью едет на Лысом сам пан,— подъезжает и начинает кричать; дождь собирался, пора была самая горячая.

— Я не виноват, простите, ваша милость,— подпорка сломалась! Воз сам наклонился на сторону...

— Я, что ли, должен за твоими подпорками смотреть? Почему у тебя воз не в исправности? Чего глядел, собака, утром, когда в поле выезжал?

И стег, стег, прямо с лошади — будто каленым железом по спине провел. Долго помнил Франек горький вкус помещичьего хлыста. Но обиды на пана не затаил и по-прежнему любил глядеть, как помещик разъезжает на Лысом по полю, потому что очень уж было приятно смотреть и на красивого пана и на красивого панского жеребца.

Потом наступили другие времена, и стали люди в деревнях говорить, что война будет, что шляхта воевать будет за крепостных крестьян. По-разному говорили крестьяне, по-разному действовали помещики. Злотовский хозяин сразу же со своими сговорился. Еще за год до войны они перестали ходить на барщину, а если кто ходил, то получал поденные. Так было во всех имениях Злотовских.

Собирались на эту войну, говорили всякое, правду и неправду, ходили среди народа слухи странные и совсем неправдоподобные. Народ слушал, волновался и сам не знал, чего ему ждать. Потом началось по-настоящему, но крестьянам все еще ничего не было известно. Мало кто верил, но все ждали.

В мае прошел мимо Злотей какой-то большой отряд и расположился в лесу. Из имения послали на пятнадцать подвод все, что нужно было: овес, сено, картофель, сало, солонину, несколько бочек водки с винокурни, трех волов погнали на бойню, баранов штук двадцать. За подводами ехали сам помещик с помещицей. Приехали в лес — очень уж Франеку интересно было посмотреть это польское войско. Помещик с командирами время проводит. Падух велит все с возов сгружать, подгоняет, подталкивает, как на всякой работе.

Франек с одним батраком скатывали с воза бочку с водкой. Что-то случилось, и бочка опрокинулась, разо-

шлись клепки и обнаружилась течь. Как начал Падух ругаться, как начал бить! Рассек Франеку губу до крови, а Франек стоит, только глаза пялит.

Неподалеку проходил седой невысокий командир отряда, курил сигару и поглядывал на все из-под очков. Подошел ближе, добродушно улыбнулся и спросил:

— Чего это ты, любезный, так гневаешься? Что эти негодяи натворили?

— Бочку разбили, ваша милость. Убыток на тридцать злотых, пожалуй...

— Ну и негодяи! Только помни, любезный, что здесь я начальник, и без моего разрешения никто не имеет права распоряжаться. А у нас в отряде строгий закон — бить кого бы то ни было даже офицерам запрещается. А вот врага бить — приказано. А они, крестьяне эти, враги, что ли, или солдаты переодетые?

Падух вытаращил глаза, ничего не понимая. Начальник спросил еще раз, все так же добродушно:

— Враги они, что ли?

— Нет, ваша милость, это наши батраки из Злотей.

— И ты, любезный, говоришь, что они на целых тридцать злотых убытку причинили?

— На сорок, пожалуй, ваша милость, по меньшей мере.

— Сорок так сорок, я тебе верю. Хлопцы! — крикнул начальник — и сразу же примчалось несколько человек. — Отвести его к дежурному! Пусть сейчас же распорядится — сорок ударов, не меньше, не больше, за самоуправство в лагере.

Прибежал Падух к помещику, жалуется, стонет от боли, плачет. Рассвирепел от гнева пан Злотовский, когда узнал, что с его человеком сделали. Сердится, а старый командир только руками разводит и добродушно улыбается.

— Военный закон, господин помещик, закон, мой любезный. У вас еще, как видно, секут, а у нас уже перестали. Что поделаешь?

Понял тогда Франек, что правое это польское дело.

А месяц спустя помещик сам собирался в далекий путь. Четырех лошадей запрягли в телегу, нагрузили вся-

ким добром, оружия много — как на большую охоту. Позади шел, как на ярмарку, на привязи Лысый. Ехать с помещиком должен был только старый кучер Вайдецкий. Но в последнюю минуту помещик решил, что надо взять еще кого-нибудь в помощь. Подумал и велел позвать Франека, отозвал его в сторону и спросил:

— Франек, ты знаешь, куда я еду?

— Откуда я могу знать, ваша милость. Не знаю.

— Всего ты не знаешь, но что-нибудь ты знаешь.

— Ваша правда.

Собственно говоря, все дворовые знали, что помещик едет на войну.

— Хочешь поехать со мной? Видишь ли, одного Вайдецкого на пятерых лошадей мало. Будешь при мне для услуг и при лошадях, харчевых будешь получать по два злотых в день. Если нас не убьют, получишь большую награду, а если тебя убьют, то похоронят. Едешь?

— Что ж. Как прикажете...

— Садись тогда на козлы. Вайдецкий, трогай. Стой!

Спрыгнул помещик, обнял плакавшую жену, поднял вверх одного за другим детей, перецеловал их, сел и поехал.

* * *

Пан Злотовский тяжело болел. Много недель пролежал он, ожидая смерти; он не надеялся уже выздороветь, да и не хотел. Доктор так до самого конца и не узнал, что это была за болезнь. Пробовал лечить и так, и этак, потом ему надоело, прекратил все и перестал даже заглядывать к больному каторжнику. Лечил его фельдшер, как умел и как взбредет в голову. То велел ему много есть, то морил голодом, то пускал кровь, то клал на живот лед, то горячие компрессы. Больной не разговаривал и совершенно не двигался; то ли он не мог, то ли не хотел. Больничные служащие делали с ним все что вздумается, — он ни на что не обращал внимания. Не до того ему было.

Во все время болезни пан Злотовский обдумывал один

и тот же — важный и трудный — вопрос. Днем и ночью решал он его, напрягая мысль.

Зачем человек живет?

Погружался в эти размышления постепенно и с каждым разом все глубже и глубже. Забыл о своей судьбе, — она казалась теперь чем-то мелким и не имеющим значения. Забыл о жене и детях, о своих имениях, о Златоволе, Злотей и Злотувке, забыл о Польше.

Только когда наступал жар, выплывали из забвения пережитые события и мелькали перед ним в хаосе и беспорядке. Они манили его, утешали, овладевали его обезволенной душой и уносили ее назад, в те давно отжившие времена.

...Сверкание снега, до неба рукой достать, в душе отвага, сила и победа, грудь напоена холодным чудесным воздухом, глаза, блуждающие по бескрайним далям, болят от наслаждения.

Горы, горы, льды, скалы, леса, равнины, деревни, города — весь мир. Вершина Юнгфрау! И она...

Первый в жизни бурный и прекрасный роман с значительно старшей, чем он, умной, жестокой и очаровательной госпожой «Аспазией» Легановской, вдовой двух богатых мужей и наследницей их состояния, ославленной на всю округу и на весь край, пренебрегающей мнением света, живущей в своем волшебном замке в старинном Гродзанове и принимающей одних только мужчин. Та, которая замучила за короткое время своей адской любовью двух мужей, разыгрывала роль Аспазии и жила в атмосфере легенды, возмущения и тайной зависти. Та, с которой пан Златовский объездил пол-Европы, с которой в течение полугода растаяли его Лазоры и Тлустец, недавно унаследованные после смерти матери.

Тогда, на вершине, он оторвал взгляд от мира и посмотрел в страшные, устремленные вдаль глаза женщины.

— Когда я буду умирать, когда наступит мой последний час, знаешь, о чем я подумаю? Зачем я жил? И ответу: затем, чтобы здесь, сейчас, вот это одно мгновение быть с тобой...

Женщина улыбнулась, не отводя взгляда от далей.

...Весна, вечер в парке, где-то поет соловей, одуряюще пахнет жасмином. Кругом столько чудеснейшего счастья. О чем поет соловей? О том, что должно случиться. Первый сладкий поцелуй — невеста... И долго, не прерывая лобзаний, твердит он девушке, что это самое святое в человеке, что только для этого стоит жить...

...Радость, гордость, какое-то волнение, полное благодатных слез. Первый ребенок, сын, его наследник, Юрочка.

— Это самая большая моя радость. Ничего более великого не может настать в моей жизни,— говорит он жене.

...А когда двинулись из-под Млодеева, после победы, с добычей, ведя пленных, среди радостно поющих солдат, сказал он своему товарищу:

— Это самый прекрасный день в моей жизни. Нет большей радости, чем бороться и побеждать!

Но пробуждался от бреда и снова спрашивал: для чего человек живет? Предъявлял счет своей жизни, так как знал, что умирает. Не мог, однако, ничему подвести итог. Было в его судьбе и хорошее, и плохое, и всякое,— и все же он не мог взвесить и решить — стоило ли жить.

Тяжело было умирать, не зная, остался или не остался после тебя хоть какой-нибудь след. Принесли ли людям пользу твои каждодневные страдания в течение семнадцати лет? Если нет, то в чем же смысл человеческой жизни?

Эти тяжелые размышления мучили его и выматывали последние силы. В конце концов не осталось сил и не осталось мыслей. Одно только утешало его: скоро он, наконец, отдохнет. И чем ближе была смерть, тем более чуждым становилось для него все то, что привязывало его к миру, что наполняло его когда-то тоской.

Не мучила уже мысль, что он больше не увидит ни жены, ни детей, ни родной земли. Казалось, что и жена, и дети давно умерли и уже оплаканы им. Единственное живое существо, которое он еще помнил и с которым в душе прощался, был Франек,— может быть потому, что к

нему одному он был — чисто пространственно — ближе, чем к другим, связанным с его жизнью. Собственный дом, родные места и родимый край казались ему какими-то неопределенными, призрачными видениями, неизвестно, существовавшими ли когда-то в действительности. Собственная его судьба переплеталась в помутившейся голове с жизнью других знакомых ему людей, с воспоминаниями об их страданиях, радостях и разных событиях из их жизни. С каждым днем он становился все равнодушной к себе, а там устремил и мысль и взор в какое-то неясное пространство, где в пустоте лениво плыла, клубясь и свертываясь, серая мгла.

Серая мгла висела под потолком больничной палаты, на который были обращены глаза больного. Потом она заслонила грязную беленую стену и в течение нескольких дней окутала собой все: больных каторжников, их стоны и разговоры, больницу, каторгу, Сибирь, весь мир.

Развертывалась и свертывалась эта мгла в какие-то странные очертания, в какие-то странные сны. То тянула его к себе — и он придвигался к ней своей тяжелой больной головой, то снова опускалась и наваливалась на него всей своей тяжестью. Душила, мучила немилосердно.

В ее серых извивах, полных убийственной скуки, неясно и смутно вырисовывались какие-то призрачные очертания, чудовищные, ни на что не похожие образы. И от них рождалось в душе исполненное содрогания предчувствие каких-то неразгаданных и непостижимых последних жизненных мыслей.

Пан Зотовский искренне жаждал умереть, и все же ужасная тревога охватывала его, когда в глаза ему заглядывал призрак смерти. Во весь голос молил бы он о спасении, если бы у него было немного сил, чтобы извлечь из горла хоть слово. В отчаянии, покрытый струями холодного пота, бессильно раскрывал он рот и шевелил губами, силясь позвать кого-нибудь, чтобы сказать еще что-нибудь в свои последние минуты. Боролся со своей слабостью, чтобы вызвать к жизни остатки сил, но его беспомощный, тихий, как дыхание, шопот тонул в больничной комнате:

— Франек!.. Франек!..

Однако верный слуга услышал его зов.



Мужик всегда останется мужиком. Совсем распустился Франек без панского присмотра. Семнадцать лет неотступно следил за ним пан, а вот третий месяц, как его с ним не было,— и совсем пропал мужик. Франек жалел пана, жалел и никак не мог утешиться. И начал он от жалости этой попивать подкрашенную водку, настоянную для большей крепости, по-каторжному, на отваре из махорки. Спутался со всякой «шпаной», стал запанибрата со всяким сбродом. По целым ночам играл в карты и всегда проигрывал,— куда же ему было обыграть этих тертых каторжных шулеров. Проиграл все свои вещи, осталась у него только рубаха, та, что на нем, штаны, халат да «коты» на ногах. Даже подкладки из-под кандалов проиграл. Но к вещам пана, оставшимся в сундуке на его попечении, он не прикасался. Ничего не трогал, хотя считал их уже своей собственностью, потому что знал: пан не вернется.

— Что это тебя мучает, мужик, чего вздыхаешь? — спрашивал сосед Трегубов. — Все еще своего паршивого пана жалеешь? Боишься его? У тебя полон ящик хозяйских вещей, на полгода на водку хватит... Дурак, даром столько лет прослужил,— в долгу у тебя твой паршивый пан! Возьми что-нибудь и поставь — выиграешь и отыграешь все сразу... — так искушал его сосед Трегубов, свирепый бандит.

А с другой стороны второй сосед, тот, который занял опустевшее место пана Зотовского, растравлял его рассказами о своих похождениях. Это был известный по всей Сибири Мельниченко — преступник, потерявший веру и честь, насилующий и убивавший женщин.

За частоколом каторги постоянно вертелись и заглядывали в щели между сваями распутные девки, любовницы каторжников. Кто украл много денег или выиграл, либо выманил и был в состоянии подкупить сторожа, к тому их и впускали, чтобы они выудили у него и остальные... Это было обычным делом на каторге, и хотя Франек видел это на протяжении семнадцати лет,

сейчас ему казалось, будто страшные искушения впервые предстали его глазам.

И однажды ночью, когда кругом все спали, он встал, крадучись, как вор, залез под нары и заглянул в первый раз в сундук помещика.

Целую неделю хлестал Франек водку и угощал всех, щедро награждал девок, играл в карты, нанял музыканта-цыгана, который ходил за ним из камеры в камеру и для большего веселья пиликал что-то на скрипке. Делал все так, как было принято на каторге, гулял во-всю, неистово, беспутно, по-каторжному. Издевались над ним все, кто пил его водку, грабил его деньги, делил с ним веселье.

Говорили: щедрые поминки справляешь по пану; стало быть, любил ты его. И пели охрипшими от водки голосами пьяную «панихиду» по умершему. Франек три раза на дню оплакивал пана и три раза на дню орал, держась за бока:

— Нет теперь никого надо мной! Я теперь сам себе пан. Я вольный человек, каторжник, для меня законы не писаны, что хочу, то и делаю...

— Правильно, правильно, мужик, — трунил сосед Трегубов, который смотрел на выходки Франека, как на своего рода театр.

Но все же настал такой день, когда Франек проиграл последнюю вещь своего пана, проиграл и сундук, проиграл все свое будущее наследство. И завалился пьяный спать.

А на другой день каторжники животикн надрывали, глядя на выражение его лица, на его беспредельную скорбь. Франек ревел благим матом и называл себя подлым вором. Горько жаловался, что вот остался одинешенек, как сирота, заброшенный на край света, к самым последним людям.

— Теперь повесься, мужик, — советовал Трегубов, — только это тебе и осталось. Ни один верный пес не живет после смерти своего хозяина, тоже подыхает. Таков уж собачий закон. Ремень ты пропил, так я тебя, так уж быть, по-соседски — веревкой ссужу. Бери!

Боялся Франек спросить фельдшера, что за эту неделю с паном стало. Очень ему стыдно было. Лучше б уж всему конец. Но вдруг снова нападала на него неуждержимая тоска, и он горячо молился, чтобы пан прожил хотя бы еще несколько дней, лишь бы он мог увидеть его и как следует проститься.

Наконец больничный слуга сказал ему, что пан еще дышит, хотя — вот уже почти две недели — ничего не ест и не открывает глаз. Страшно обрадовался Франек, что пан еще жив. Теперь он во что бы то ни стало должен увидеть его. Он не просил разрешения, потому что знал: его не пустят даже за ограду, разве только если он, Франек, очень тяжело заболит. Притвориться тяжело больным он не умел, поэтому, не долго думая, приподнял с земли тяжелую каменную глыбу, лежавшую у забора, и опустил ее себе на ступни ног. Франека подняли и отнесли в больницу.

А барин в это время шептал в агонии:

— Франек... Франек...

* * *

Франек кричал что было сил, когда доктор осматривал его раздробленные пальцы на ногах. Жалел, но слишком поздно, что по глупости своей подставил под глыбу обе ноги, когда достаточно было и одной, чтобы попасть к пану. Когда его принесли в палату и положили на больничную койку, он стонал от боли, но все же с любопытством оглядывал больных. Их было шестеро, но пана Зотовского меж ними не было. Должно быть, уже умер, отнесли в покойницкую. К чему же моя болезнь?! Мужик окончательно расстроился.

Только немного погодя, взглядевшись пристальней в одну седую голову, неподвижно лежавшую неподалеку на подушке, закричал: «О боже!» — он узнал помещика. Слез кое-как с койки и пополз к нему на четвереньках.

Долго не мог притти в себя, увидев, как ужасно изменился его пан за эти три месяца. Не в том дело, что стал он седой как лунь. Нет — все в нем в корне изменилось. Ничего не осталось от прежнего помещика Зотовского, и Франек удивлялся даже, как это он его узнал.

А потом догадался: он видел когда-то отца своего пана, совсем уже старого, жившего в Варшаве:

— Ох, бедняга ты, бедняга несчастный! Что с тобой сделали!

А помещик открыл глаза и посмотрел на Франека. Долго вглядывался, пока глаза не застлало слезами. Потом на старом изможденном лице начало пробуждаться какое-то выражение, пробежала какая-то дрожь и, наконец, среди густой сети морщин проступила ласковая улыбка, какой никогда раньше Франек у пана не видел. Лицо у него было очень старое, но казалось, что улыбается маленький ребенок, ничего еще не понимающий, совсем глупый. Зашевселились и бледные губы, что-то зашептали. Франек приблизил ухо к этим губам и слушал:

— Это ты... Франек... ты?..

— Я, ваша милость. Мы теперь вместе будем, я тоже болен. Вместе будем.

— Я умираю... умираю... Ты любишь меня?

— Ох, бедняга вы несчастный, конечно люблю, а то как же... Как же мне не любить? Вот даже ноги покалечил, чтобы... уж очень хотелось сюда попасть, повидаться с вами.

Пан Златовский посмотрел на забинтованные ноги слуги — и понял тогда Франек, что тот еще находится в полном сознании. Вдохнул тяжело и ударил себя кулаком в грудь.

— Негодяй я последний, вор несчастный! Я все ваши вещи пропил и прогулял. И сундучок тоже. Дьявол меня попутал, потому что от горя я уже и не знал, что делать. Очень уж меня жалость мучила, а эти стервы все подговаривали меня, на беспутство тянули, Трегубов и этот новый, Мельниченко. Этот еще хуже, чем тот. Сам не знаю, как это случилось. Так уж прости ты меня, пане, в твой последний час, прости эту подлость мою, а не то никогда не найти мне себе покоя.

Пан Златовский снова зашевелил губами, и Франек снова приложил к ним ухо и слушал внимательно, с открытым ртом, чтобы не проронить ни слова:

— Глупый ты... Я тебя обидел... Это я тебя в беду... На всю жизнь... Это я тебя наказал... На всю жизнь... Из-за меня... Прости меня, Франек... Я больше уже не

пан... умираю... Все пошло не так, как надо... Подлый мир... Твоя мужицкая недоля... Прости...

Франек очень испугался и не знал, что ответить пану. Погладил его по седой вспотевшей голове и сказал, как ребенку:

— Оба мы будем здоровы, и оба еще вернемся в Злотоволю. Вы будете отдыхать после этой неволи, а мне, старику, управляющий даст какую-нибудь легкую работу — дорожки в саду подметать, или веревки из соломы вить, или орехи и грибы в лесу собирать... так, за миску похлебки.

— Глупый, когда вернемся... Будешь жить со мной в усадьбе, как брат... Великая моя вина... Если выживу... Вознагражу... А ты меня прости...

— Не надо никакого прощения... Вы всегда были хорошим паном, лучшего и не надо. Где это видано, чтобы пан с батраком...

— Я уже не пан... говори мне «ты»... Может быть, выживу... Награжу... Не так я с тобой обходился, как надо было, эти семнадцать лет! Говори мне «ты». Я приказываю!

— Ох, к чему это... Как же так...

— Глупый ты... Если умру, а тебя выпустят, напиши письмо пани, нет... лучше паненке Янке... Чистая душа... Молодой панич — он странный. Слишком умный... Мы не такие были... Напиши, чтобы тебе на дорогу денег... Поедешь... земли моргов двадцать, лес на избу. Двух лошадей, двух коров... И денег пусть дадут...

— Ох, слишком много, ваша милость.

— Молчи... Слушай! Молодому пану все расскажи... как мучился отец его в цепях... Позор... Бритый лоб... Розги... По морде били... Все расскажи... Научи его... Пусть уважает людей... Слишком поздно все это... Семнадцать лет думал... Только в последний час... Пусть все по-иному... Уж ты догляди!

Еще долго шептал помещик, но, несмотря на все усилия, Франек ничего уж не мог понять. Вздрагивали синие губы, а глаза раз за разом смыкались для вечного сна.

Всю ночь просидел Франек возле пана, глядел на него с жалостью и вздыхал. Он забыл о своей боли в покале-

ченных ногах и ждал, не откроет ли пан глаза и не скажет ли еще хоть слово.

На рассвете вздремнул немного, и ему приснилось, что едет он со снопами с поля в душный, знойный день перед грозой, — далеко где-то уже грохочет в небе. Но что-то сломалось в телеге, накренилась телега в сторону, а тут, как назло, случилась межа... Бух передними колесами о межу, и все рухнуло. А тут, как из-под земли, сам помещик на Лысом.

— Ах ты, такой сякой!.. — и как стегнет раз, другой по спине, по пропотевшей рубаше — будто железом каленым ожег.

Очнулся Франек от этой боли и видит: глядит на него пан умоляющими глазами. Вскочил, наставил ухо, слушает. Очень обрадовался — совсем ясно шепчет пан, значит выживет:

— Помнишь, стегнул я тебя хлыстом на уборке?.. Горячая была пора... Не сердись, Франек... Я уже не пан... Прости в последний час... Очень уж горячая была пора... Гроза надвигалась... Уж никогда никого... Во всей Польше... По-другому надо, по-другому... Я уже все понял... Семнадцать лет...

Оторопел Франек, остолбенел от этих слов. Трудно было ему поверить, что пан всю жизнь помнил о таком пустяке, хотя за семнадцать лет ни разу об этом ни единым словом не обмолвился. Страх объял его; неужели пан знал, что ему приснилось? Значит, это последняя его минута, — только в час смерти происходит с людьми такое. И начал он тогда громко читать молитвы от «Отче наш» и до конца. А потом, всхлипывая, все повторял: «Упокой, господи, душу раба твоего...»

Пан Злотовский слушал с большим вниманием, полужакрыв глаза. Лицо его изменилось, еще больше побледнело, еще больше вытянулось. Время шло, а Франек все молился, все повторял, как бы в забытьи, свое «упокой господи».

И неизвестно, как долго продолжалось бы все это, если бы не пришли арестанты-санитары. Они стащили тело пана с нар, расковали его и в тот же день вывезли из тюрьмы на вечную волю.

Франек остался один и жил еще долго, даже слишком

долго. Он так и не дождался ни свободы, ни обещанных моргов, ни коров, ни лошадей из златовского имения. Не виноваты были в этом ни покойный пан, потому что он был уж на том свете, ни его наследники, которые хотя и свято хранили память об умершем, но ничего не знали больше ни о Франеке, ни об отцовском завещании. Не посмел мужик напомнить о себе, стыдился, глупый, просить господ о помощи, и так и прошла — день за днем — его незаметная жизнь. Был он уже глубоким стариком, когда лежал в каторжной больнице, сраженный последней болезнью, а до его освобождения было все так же далеко, — ведь он был осужден на всю вечность, бессрочно. Ни на что он уже не надеялся и умер по-крестьянски, тихо, незаметно, не задавая себе вопросов, стоило ли жить, и нужна ли была кому-нибудь эта его долгая, тяжелая жизнь.

НА ВОКЗАЛЕ

Душной июльской ночью на шумном, переполненном торопливой толпой железнодорожном вокзале отыскал его неутомимый, вечно настороженный полицейский взгляд. С невероятными предосторожностями у всех входов, выходов и даже на перроне была выставлена охрана, а жандармскому начальнику, как он и приказывал «в случае чего», сразу сообщили по телефону.

Наконец... наконец!

Пойман известный неизвестный. Поймана личность, вот уже на протяжении двух лет известная всему полицейскому миру, ускользающая из рук, как змея, личность, подробно описанная в жандармских инструкциях и секретных циркулярах, личность, на которую заведено специальное «дело», впитывающее донесения агентов не только из всех уголков страны, но даже из-за границы, целые трактаты и мелкие рапорты.

Наконец-то развеется ее тайна, — улыбаются блудливые полицейские глаза, оживляются хмурые лица сыщиков. Красота! — потирают от удовольствия руки, а от зависти втихомолку кланут удачливого дружка.

— Сукин сын этот Винничук, счастливчик.

— Ведь я бы тоже его узнал, так почему же именно мне приказали стоять на площади и караулить извозчиков? Жирный кусок всегда Винничуку перепадает, а чем он, спрашивается, лучше нас? Четвертая награда!.. Где же тут справедливость? Эх, уж и скажу же я начальнику...

— Триста рублей награды! Господи, господи... Кому повезет, тому повезет...

— Ну, господа, теперь держись! На этот раз Винничуку нельзя простить. Одну-то «катьку» он, подлец, пропить с нами обязан. До копейки! О меньшем и речи быть не может, всего третья часть, это ведь не слишком много. Ну и трахнем же мы, господа, по этому случаю!..

— Да вы погодите,— усомнился четвертый агент, страдающий грудью скептик и мизантроп, слегка кособокий после той памятной ночи, когда его кто-то невидимый ни за что ни про что отдубасил палкой.— Постойте вы, пока что он еще не ваш. Случается, что подобная сволочь, окруженная со всех сторон, вырывается внезапно из рук и исчезает, словно провалившись сквозь землю. Не раз уже так бывало. Наверняка он наш лишь тогда, когда ему руки за спину скрутят да еще парочку раз съездят по морде. Знаю я этих сволочей, знаю... А если у него, к тому же, револьвер, тогда смотри, как бы не пришлось пить на поминках. Теперь они, разбойники, стреляют!

— Эх, служба ты наша, служба...

Так, в тесной комнатухе, приютившейся в проходе из багажной в третий класс, затерявшейся среди лабиринтов огромного вокзала, толковали между собой только что сошедшие с постов полицейские. В той комнатухе в темном углу, откуда можно внезапно появиться в заклеенном расписаниями поездов зале и так же внезапно скрыться обратно.

Возле высоких дверей второго класса, заметно нервничая, прогуливаются два господина. Вот один зажигает спичку, закуривает, второй же внимательно изучает какое-то распоряжение, приклеенное к стене. Возле буфетной стойки стоит третий. А четвертый сидит на диване и, кажется, дремлет...

Но он давно видит все, что творится вокруг, видит каждого из шпииков.

Он уже успел взвесить все свои шансы, осмотреть каждый выход, измерить взглядом силу каждого из подстерегающих его сыщиков. Не выйдет... Еще минутой назад можно было пробовать, но теперь уже поздно. Поезд отошел, зал поразительно пуст, пуст перрон, опустела привокзальная площадь...

Вот и конец — видно, это конец...

Неимоверным усилием воли он старается вспомнить содержимое своего бумажника, потом карманов.

Куда, к какому карману потянуться рукой, чтобы уничтожить?.. Чем может скомпрометировать он друзей?.. Какой бумажкой, какой запиской? И с неизмеримой радостью убеждается, что на этот раз нет при нем ничего, кроме записной книжки, испещренной иероглифами собственной выдумки, шифром, которого не сумеет разгадать никто.

Чудесно! Ведь так не хочется сейчас думать, так не хочется ни о чем думать.

Чемодан с листовками не в счет. Кому могут повредить эти листовки? Только и всего, что материальная потеря...

Все, кажется, все... Что же они медлят, чего ждут эти гады? Ведь у них все готово. Вот и отдых. Наконец... наконец!..

Да и не все ли равно? Ей-богу!.. Случайность, просто случайность...

Три месяца все твердили одно:

— За границу... за границу... в горы!..

Альпинистом сделать его хотели!.. Слыханное ли дело?

— И чтобы ты раньше чем через год не возвращался, на глаза не показывался!.. За границу!

— Как миленького тебя отправим...

— Что?! Ты еще здесь? В Варшаве?! И часами просиживаешь в кафе? Хочешь, чтобы тебя прямо с улицы взяли?

Надоели ему своими разговорами, собрался он и поехал.

Удивительно, даже денег ему наскребли на дорогу.

И, кстати, чемоданчик с листовками дали, да несколько поручений в Ченстохов, да пару сообщений в Завертье, да кое-что в Сосновец. Ведь это все по пути!..

Говоря откровенно, он уже разучился отдыхать, зато привык к поездкам, к постоянной смене ночлегов, к вечному бдению и приключениям так, как привыкает филлистер к своим туфлям... Но за последнее время вокруг него стало как-то тесно, чересчур тесно. Из Варшавы его выкурили, в Ченстохове он среди бела дня убегал от погоны, прямо вдоль улицы, в Домброве еле ушел от облавы, кольцом окружившей домик, в котором он жил. Тогда-то он и повредил себе ногу, соскочив впотьмах с какой-то угольной насыпи. В Вильне ему тоже не пришлось засидеться, встретился там с глазу на глаз со знакомым шпиком, поднявшим в тихой литовской столице такую тревогу, что пришлось ему уходить из этого города пешочком, да еще ночью.

Не помогали ему никакие переодевания, включая и цилиндр, не помогала специально запущенная борода и даже гусарские усы — все равно, его узнавали.

Последние несколько месяцев он прямо-таки выл от тоски в каких-то ужасных Сувалках, вспахивая страшную целину тамошних общественных интересов. Видимо, от этой тоски он и начал там кашлять, потом болеть... В первый раз слег на неделю, во второй — пролежал три.

Партийные врачи раздели его донага, целый час ворочали с боку на бок на твердой кушетке, причем лица их были такими серьезными, какими только и могут они быть у молодых врачей, еще не испорченных частной практикой.

— Ехать! Лучше всего было бы в Рейнерц.

— А может быть, все-таки в Меран?

— Рейнерц, только Рейнерц! Неужели вы, коллега, не читали последнего номера «Медицинской газеты»?

— Меран, коллега, Меран! Прочтите шестой номер «Клиники», профессор де Лавальер в своем отличном реферате пишет...

— Простите, вы, господа, чорт возьми, рассуждаете так, словно перед вами лежит Рокфеллер...

— Ну, тогда Закопане.

— Да, прежде всего воздух...

- И отказ от всяких дел, от всяких...
- Полнейший отдых!
- И прогулки в горы...
- Только не слишком утомительные.

Нелегко, однако, «прогуляться» в горы. Господин, стоявший у буфетной стойки, подходит к господину с папиросой. Они что-то лихорадочно обсуждают. Теперь они даже не маскируются. Ну что ж, придется вставать, придется итти, а жаль.

Вокзальный диван с истерзанными пружинами казался ему теперь таким уютным. Какая-то пассивность, какое-то благостное равнодушие овладели всем его существом. Он с искренним удовольствием, свободный от всяких забот и желаний, смотрел на этих нервничающих господ, на искусственные пальмы, на чучело совы, торчащее среди бутылок, на электрические лампы и стальные потолочные балки... Ему было приятно думать о том, что, начиная с той минуты, когда эти господа изрекут неизменную формулку «пожалуйста», он будет свободен на долгое, неопределенное время, свободен от любых самостоятельных движений, от всяких планов, от необходимости думать и необходимости исполнять...

Можно будет и пальцем не пошевелинуть — вот это да!

Только теперь, в течение этих пятнадцати минут напряженного ожидания, он уверовал в то, о чем ему столько времени до обалдения твердили все: друзья, подруги, врачи...

«Да, я устал, загнали меня, как волка после трехдневной облавы... Видно, нет у меня уже сил, а то бы я что-нибудь предпринял и уж во всяком случае не сидел бы так спокойно».

Но он сидел и, кажется, даже дремал. Спокойствие его раздражало сыщиков, раздражало ужасно. Было ясно, что он их давно заметил и наблюдает за ними. Пусть бы он лучше двигался, пусть бы нервничал, пусть бы потянулся к карману, как делают это застигнутые врасплох: что-то порвать, что-то уничтожить...

— Он что-то неладное задумал, на что-то решился, ой, берегитесь вы его и ни на шаг от дверей, — шепотком приказывает старший полицейский. — Смотрите за

каждым его движением и, как только он ползет в карман, хватайте за руки! Спокойненько, без скандала, но держите крепко... Такой способен стрелять...

Нервничая все сильнее, сыщик побежал к телефону поторопить начальство...

— Еду, уже еду... Ну как он там?

— Сидит смиренхонько — но ничего неизвестно...

— А вы как думаете?

— Думаю, он будет стрелять, это ведь не плотица...

— Только брать его живьем и... смотрите, смотрите, он может отравиться! На руки ему смотрите!

— Смотрим... Но надо бы скорей, ради бога...

— Через четверть часа буду!.. Уже еду.

Буфетчицы постукивают тарелками, бренчат ложечками; по залу тяжелым шагом проходит носильщик в синей рубашке, и в гулкой пустоте вокзала грохочет топот его сапог. Какой-то железнодорожник, находящийся на ночном дежурстве, подходит к стойке подкрепиться стопкой.

— Чистой...

Выпивает и, закусывая, осторожно оглядывается, чтобы хоть мельком взглянуть на диван, где сидит эта таинственная личность. Насчет облавы знает уже весь вокзал. Знают на телеграфе, в багажной кассе, в камере хранения. Перешептываются служащие, шепчут повсюду — сенсация! То и дело кто-нибудь прошмыгнет по залу и снова исчезнет со своим возбужденным и испуганным взглядом.

Секунда беспокойства. Почему они медлят? Чего ждут? Неужели они надеются на то, что он сам встанет и отдастся им в руки. Сам скажет: берите же меня... Довольно паясничать. На этот раз вам удалось. Удалось, так берите, держите...

Секунда внезапного сомнения. Словно молния проносится мысль: ошибка, нервы. Быть может — ведь ничего нет, нет шпиков, нет облавы, — все это лишь галлюцинация, усталость мозга и больше ничего. Встать и идти, встать и идти. Никто тебя не задержит...

И снова спокойствие, снова усталая улыбка. Да и не все ли равно? Ему хочется только зевнуть, просто зевнуть...

Но вот все вокруг загудело, загремело под навесом перрона и сразу стихло, догасая пронзительным шипением где-то в углу.

В зале заройлось от людей. Неудержимый, шумный поток ворвался в тройные двери, словно кто-то внезапно швырнул в них горсть песка. Пассажиры идут, бегут, торопятся, тяжело дышат... с багажом, узлами, чемоданами... женщины, дети, старцы... говор, смех, крики. Толпы носильщиков в синих рубахах... Торопятся к выходу, толкаются, обгоняют друг друга, словно напуганы чем-то, словно бегут от кого-то...

Это поезд от границы.

Лишь секунду глядит он на них, на эту непонятную толпу, широко раскрытыми глазами. Глядит как сквозь сон, еще ничего не соображая...

И вдруг в его груди медленно разгорается огонь желанья.

Мгновенно выпрямляется стальной клинок его воли, пробуждается могучая сила жизни. Ослепительная молния надежды поднимает его на ноги и каждым ударом громко стучащего в груди сердца зовет: «Спеши! Спеши!»

Спеши! Спеши...

Он потонул в шуме, растворился в толпе, сросся с серой человеческой массой и позволил нести себя вперед, только вперед...

Вот выход... вот и выход!..

Владислав Реймонт

НА ВЫРУБКЕ

С У Д

*

ВЛАДИСЛАВ РЕЙМОНТ

Владислав Реймонт (1867—1925), один из крупнейших польских писателей реалистов, лауреат Нобелевской премии, родился в деревне Кобеле Вельке, в семье деревенского органиста. Детство провел в деревне, затем был определен в гимназию, но, не окончив ее, поступил работать к кустарю. Восемнадцатилетним юношей примкнул к провинциальной артистической труппе, с которой несколько лет разъезжал по уездным городам Польши. Пытался вступить в монастырь, занимался многими профессиями, но с 1893 года окончательно определился как писатель, публикуя в журналах ряд своих новелл («Ночь под рождество», «Сука» и др.), обративших на себя внимание реалистической манерой письма и глубоким знанием изображаемой жизни.

Повести «Комедиантка» и «Ферменты», написанные в конце девяностых годов прошлого столетия, построены на фактах из богатой биографии писателя и прозвучали как протест против мещанства. Жизни лодзинских текстильщиков посвящен роман «Земля обетованная», но писатель, правильно критикуя тяжелые условия труда рабочих, стоит в нем на позициях буржуазного реформизма.

Подлинную славу принес Реймонту его четырехтомный роман «Мужики», реалистически изображающий жизнь польской деревни, ее классовое расслоение и противоречия. Настоящим героем этого романа является крестьянская община, а события его разворачиваются по временам года (осень — зима — весна — лето), причем главной движущей силой выводит Реймонт борьбу за землю и жизнь. Одной из лучших страниц романа является борьба крестьянской общины против помещика, стремящегося подчинить себе деревню, но писатель ошибочно считает ведущей силой этой общины зажиточное крестьянство.

Последующие романы Реймонта: «Год 1794», «Последний сейм Речи Посполитой» и «С холмской земли», уже значительно менее интересны, чем «Мужики», поставившие имя писателя в ряд лучших писателей реалистов,



НА ВЫРУБКЕ

— Ну-ка, Вавжон, вставай! Налакался и будешь здесь валяться, словно барин, а мне одной не управиться. Того и гляди, приедет Рафал. Ну!

Она принялась настойчиво трясти мужа, лежавшего в углу избы на куче соломы, сброшенной с кроватей.

— Отстань, ты, баба, отойди, — сердито пробурчал Вавжон и повернулся лицом к стене.

— Надо бы вынести все на двор, тогда легче будет класть на телегу. Зерно еще не ссыпано в мешки, опять и картошку надо выбрать из подклети. Господи, столько дела, у меня уж руки опускаются, а он, знай, дрыхнет, вместо того чтобы мне помочь. Вавжон! — крикнула она злобно, подбегая к мужу. — Не встанешь, так я тебя сейчас так огрею, что ввек не забудешь!

— Добром говорю тебе: отстань, — мягко сказал Вавжон, лег на живот, уткнул голову в солому и неподвижно застыл, не обращая внимания на окрики и попреки жены.

— Бедная я, сирота горемычная! Только и радости от мужика, что приходится теперь искать чужого угла, буд-

то нищим, и в такую пору, когда собаку жалко на двор выгнать. Хозяйская дочь пойдет по людям искать заработка, что твоя бродяга безродная или голь перекатная! — причитала Вавжониха.

Она сняла со стен образа, завернула их в платки и вынесла во двор под навес. На пороге она останавливалась и вглядывалась в блестящую размытую дорогу, пролежавшую вдоль свежей лесной вырубki, широко раскинувшейся вокруг избы и заваленной кучами ветвей и грудami срубленных деревьев. Она смотрела, не едет ли Рафал, который обещал перевезти их вещи в деревню, но на дороге ничего не было видно, кроме низко нависшей сизой мглы и больших луж. Мелкий, пронизывающий холодом дождь лил не переставая. Она тяжело вздохнула, шумно вытерла нос, с сожалением повела глазами по избе, из которой приходилось выселяться, и направилась в другую сторону дома к корове, стоявшей посредине двора, куда уже были вынесены кормушка и лестница и где стоял желтый с бордовыми цветами застекленный поставец с окрашенными голубой краской полками, деревянные стулья, скамьи, столик, на котором виднелось небольшое черное, обвитое четками, распятие, ведра, мешки с картофелем и много всякой рухляди, беспорядочно сваленной в кучу. Огромная пятнистая свинья лежала на земле, привязанная за ногу к молодому дубку, росшему как раз против окна; она тяжело хрюкала, так как ее сосали и толкали головами розовые поросята.

— Сивуля моя, сивуля! — прошептала Вавжониха, ласково глядя корову по обвисшему горлу. Сивуля вытянула голову и широким шершавым языком стала лизать ее обнаженные до плеч руки. Слезы затуманили глаза Вавжонихи, она отошла от коровы и медленно направилась в сени.

— Куцусе, ку-цу, ку-цу! — принялась она скликать кур, сидевших рядышком на плетне, бросила им для приманки пригоршню зерна и стала ловить, связывать крылья и укладывать кур в большую корзину. Затем она снова выглянула наружу. По тропинке, тянувшейся от дальней деревни по краю лесосеки и чуть заметной сквозь туманную завесу дождя, шла какая-то девушка.

— А ну, быстрее, Марыся! — прокричала она, грозя девушке кулаком.

Босая Марыся с накинутым на голову платком, так что была видна лишь часть ее посиневшего от холода лица, подбежала к матери и вытащила из-под передника бутылку водки, три булki и кусок красной кровяной колбасы.

— Где ты так долго пропадала, по халупам шлялась?

— Вот уж и долго, вот уж и по халупам! Такой конец дороги, что я измучилась, как собака, а матуля говорит, что долго! Сбегали бы сами, а то отец бы пошел,—жалобно ответила девушка, потирая ногу о ногу и согревая дыханьем посиневшие руки.

— Будешь ты еще мне тут огрызаться, дура несчастная! —хватила ее мать кулаком по спине.

Марыся заплакала, присела перед печью, в которой еще догорали последние огоньки, и стала греть руки, а Вавжониха продолжала выносить остатки домашнего скарба, все время поглядывая на пустынную, как и прежде, дорогу. Она то хлопала дверьми, то вдруг сердито толкала ногой старого, похожего на волка бурого пса, который обнюхивал все углы и, опустив хвост, лениво бродил по избе, не зная, где найти себе место.

В избе воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом барабанившего в окна дождя и доносившимися с лесосеки отдаленными ударами топоров, рубивших деревья. Мутные изжелта-серые сумерки заполняли очищенную от вещей избу и сливались с черным, закопченным потолком. Ободренные стены еще более посерели.

Пролитая вода образовала на глиняном полу скользкую, вязкую прязь, в которой рылись носами две утки в поисках корма. Через разбитые стекла маленького окна под крышей врывался ветер с дождем, шелестя и двигая разбросанной соломой и шевеля свесившимися с потолка полосками красной бумаги с вырезанными на них кружочками и зубчиками, украшавшими ранее потолочные балки.

Вавжониха вышла на опустевшие задворки, усеянные гниющими листьями росшего вдоль ограды вишняка, которые, подобно кровавым лепесткам, падали на навозную кучу и на прогнувшуюся крышу полуразрушенного хлева.

Она направилась к амбарчику, стоявшему поодаль посредине небольшого поля, перекопанного после картофеля и заваленного высохшей ботвой и гнилыми клубнями, нашла для коровы какой-то еще зеленой травы, грустно посмотрела вокруг и повернула обратно, все время утирая слезы, которых уже не могла удержать. На пороге она остановилась, схватилась за голову и устремила в серое пространство неподвижный, как-то сразу потускневший взгляд.

— Боже мой! Боже ты мой! — тихо и скорбно шептала она, снова принимаясь выносить и приводить в порядок убогий скарб. Сердце ее билось, охваченное огромной тревогой и болью разлуки с этой избой, в которой они прожили столько лет, — и эта боль так судорожно его сжимала, что она присела на пороге и дала волю слезам, тихо и глубоко вздыхая.

Вавжон продолжал лежать, поворачиваясь с боку на бок, протер кулаком покрасневшие глаза и тоже принялся вздыхать, но так громко, что Бурек подходил к нему, тихо скулил, скреб лапой по его полушубку и повиливал хвостом; убедившись, что хозяин не обращает на него ни малейшего внимания, он отошел к печке, спокойно уселся возле Марыси и задремал, сонно глядя в догоравшие уголья.

Наконец под вечер приехал Рафал в телеге, запряженной парой тощих кляч.

— Слава Иисусу Христу! — проговорил он, входя с кнутом в руках в избу.

— Вовеки, — ответил Вавжон, поднимаясь ему навстречу. — Здравствуй, кум, дай тебе бог здоровья, что ты про нас не забыл.

— Да уж... вот только дождь хлещет так, что глаза заливают, грязь на дороге по ступицу, а холодно так, что пробирает хуже, чем зимой.

— Ну, надо укладываться, чтобы до ночи поспеть в деревню.

— Да уж не иначе, — согласился Рафал, поставил кнут в угол, погрел руки у печи и, достав голый рукой раскаленный уголек, сунул его в погасшую трубку, после чего присел на оставшийся еще у окна сундучок и стал попыхивать дымом на всю избу.

Вавжониха поставила на подоконник водку, разложила колбасу и булки.

— Вавжон, выпей-ка с Рафалом.

— Ну, стоило вам тратиться, — отнекивался мужик, жадно вдыхая запах чеснока, долетавший от колбасы, которую Вавжониха разрезала складным ножом.

— За ваше, Рафал!

— Будьте здоровы!

Вавжон выпил, сплюнул, вытер рукавом губы и налил снова.

— Ягна, вот и тебе, — что уж там, выпей кружечку.

Ягна чуть отвернувшись и стала медленно пить, а мужики не спеша разламывали черствые булки и ели их с колбасой.

— Ну, еще по одной, чтобы нам благополучно доехать.

— Пей с богом!

— Барин продал лес на шинпанское, так мы уж по этому случаю выпьем очищенной. Чтоб тебе, шляхтишка поганый, черти на том свете смолы не пожалели! — с ненавистью прошептал Вавжон, глядя через окно на чуть маячившие в синеватой мгле контуры помещицкой усадьбы.

— Что правда, то правда. Теперь даже кнутовище или, к примеру, держалку для сохи придется покупать, — грустно вздохнул Рафал. — Пока стоял лес, то хошь оно и боязно было, хоть ты и стерег подходяще, а все ж хворосту, али грабика, или сосенку, или, скажем, жердочку нет-нет да прихватишь. И грибочки всякие перепадали, и ягоды дети собирали, а то иной раз завалящего зайчишку вежливым манером подшибешь или пташку какую, а теперь что? Плохо, что и говорить, плохо! Совсем плохо!..

— Ну, еще по одной, последней! Бурек, на и тебе колбасы; пользуйся, раз уж твой хозяин после двадцати лет должен итти по чужим углам горе мыкать, пользуйся, сирота!

Пес глухо завыл, как будто понял, а Ягна, прислонившись к печке, судорожно плакала.

— Э... раз козе смерть! Придет горе: с сухого воза слезай прямо в море, — с расстановкой проговорил Ра-

фал, выбил золу из трубки, спрятал трубку за пазуху и вышел.

Стали поспешно грузить вещи на телегу, выносили все, что у них было, с глубокой тоской переступая порог избы, не глядя друг на друга и не произнося ни слова. Когда все было уже уложено и Рафал увязывал вещи на телеге скрученной из соломы веревкой, чтобы ничто не свалилось, Вавжон вывел корову и привязал к ее рогам новую веревку.

— На, Марыся, веди!

Девушка покрыла голову платком и пошла, с усилием ведя за собой упиравшуюся корову, которая поворачивала свою большую голову к избе и мычала, как бы предчувствуя, что ее ведут на скитания.

— Ну, что ж, едем, — предложил Рафал.

— Сейчас, сейчас! — отозвался Вавжон и в последний раз вошел в избу. За ним и Ягна. Они тоскливо озирались кругом, ходили по углам, разгребали солому, разглядывали стены, но уйти им почему-то не хотелось. Они бессознательно оттягивали минуту разлуки с этими стенами.

— Едем, Вавжон, уже смеркается! — крикнул через окно Рафал.

— Иди, Ягна, иди! Ничего не поделаешь, Христос нас не оставит.

Он вывел жену и захлопнул за собой дверь.

— Стало быть, во имя отца, и сына, и святого духа едем! — мрачно проговорил Вавжон, ту же затянул ремень на полушубке, стиснул зубы — и все двинулись.

Ягна вела на веревке свинью и почти кричала рыдая. Вавжон шел позади всех, угрюмо глядя на груды ободранных от коры стволов, похожих на голые трупы, устилающие побоище, на кучи уже пожелтевших ветвей, на бесчисленные пни, которые тысячами белели по обеим сторонам дороги, на глубокие рытвины, наполненные водой и ржавой хвоей, на обнажившиеся теперь тропинки, вьющиеся во всех направлениях и заваленные деревьями.

Все это было ему хорошо знакомо, он знал здесь каждую канаву, каждую хворостину, почти каждое дерево потолще, каждую просеку, которые, наподобие улиц,

перерезали лес в нескольких направлениях: двадцать лет он прослужил лесником в этом лесу. Здесь в юности он пас скот, только здесь он жил и как будто сросся с этими деревьями, безотчетно ощущая родство с этими великанами, которые лежали теперь мертвые, без крон, без ветвей, без жизни, подобные печальным телам, попираемым ногами. Не одолели лес бури, не покорили молнии, не раз ударявшие в него, не осилили морозы, от которых зачастую лопались деревья. Но вот пришел топор, и лес пал мертвым. Что ему оставалось здесь делать? Стеречь у евреев штабеля дров в качестве батрака ему не хотелось, и он предпочел идти по свету в поисках работы, чем глядеть на все это.

Он окидывал пылающим взором все пространство лесосеки, по которому сновали кучки людей с пилами и топорами, проезжали груженные бревнами телеги и раздавался неясный, тонувший в отдалении и мгле шум человеческих голосов, грохот телег, стук топоров и конское ржание.

Он неторопливо шлепал по грязи, время от времени поддерживая плечом телегу на выбоинах, иногда отстранял ногой пса, если тот подбегал слишком близко к нему, и шел, становясь все мрачнее. Грудь жгло, словно он захлебнулся спиртом. Этот треск срубаемых стволов и глухие удары топоров, долетавшие до него, как будто разили его самого, отрубая каждый раз по куску души. Он все крепче сжимал зубы, ему хотелось броситься на землю и кричать изо всех сил от безграничной жалости, что овладела им. Но он продолжал идти и идти. Дождь лил все сильнее и становился холоднее. Невзрачные, еще не срубленные березы над канавой сбрасывали последние пожелтевшие листья, они летели по ветру, словно слезы, и, как тяжелые слезы, падали на дорогу, на пни, на ветви, на низкие кусты ежевики, на жалкий орешник, на карликовые сосенки, которые дрожали, точно от холода, и тихо роптали. На нескольких засохших обнаженных елях суежилась целая стая ворон, каркавших печальную песню о том, что уже негде вить гнезда и негде укрыться.

Порыжевшая истоптанная трава и папоротники валялись в грязи и желтых опилках, которые лежали большими пятнами, точно потоки лесной крови. Стадо щипа-

ло на полянке никлую траву, и коровы поминутно мычали. Несколько ребятишек сидело у заливаемого дождем костра, из которого поднимался грязный дым, рваными полосами расстилавшийся по лесосеке, словно ладан из кадила, которым окуривают покойников.

Печаль и глубокая тоска, наполненная стоном умирающих деревьев, охватывала затуманенный мир и пронизывала душу Вавжона все углубляющейся скорбью и таким гневом, что он готов был грызть камни, о которые спотыкался. Он сжимал кулаки, скрежетал зубами, полужакрывал глаза, чтобы ничего не видеть, и все ускорял шаг.

— Раз козе смерть,—решиительно повторил он, озлобленно толкая ногой то пеньки, то ветки, то засохшие лопухи, которые, наподобие шляп, свисали над придорожной канавой.

Под огромным раскидистым дубом на опушке леса, уцелевшим единственно потому, что на нем была прибита икона божьей матери, прикрытая кисейными занавесками, Вавжон сел, чтобы немного отдохнуть. Дуб насчитывал несколько столетий, он был весь покорежен, истерзан молниями, дуплист и протягивал к небу уродливо изогнутые могучие сучковатые ветви, покрытые наростами и шишками, словно богатырские руки, и шумел сухими листьями. Это был пункт, до которого обычно доходил Вавжон во времена своей службы, так как дальше начиналось пахотное поле, и отсюда он возвращался. А теперь... теперь он переступает этот священный порог леса и уж не вернется больше, так как идет в изгнание.

— Чтоб вам!.. Чтоб вам!.. — Его внутренности пронизала такая страшная боль, что он даже схватился за живот и застонал.

— Вавжон! Иди скорей, Рафал не станет ждать, уже смеркается.

— Убирайся ты, сука, а то убью! — прошипел Вавжон в бешенстве.

— Ого, насосалась свинья сивухи и пойдет теперь по дорогам таскаться!

— Говорю тебе, баба, отстань, не то пожалеешь.

— Как бы не так! Оставь тебя здесь, а потом самой таскать фухлядь в халупу. Ну, пойдем, Вавжон, — доба-

вила она ласковее, склонив над ним красное, заплаканное лицо, и стала тянуть его за рукав.

— Говорю тебе, стерва, уходи — стало быть, уходи, а не то изобью, как скотину!

Ягна дернула его сильнее. Вавжон вскочил, хватил жену по голове подвернувшейся веткой, бросил на землю, раз и другой пнул ногой, подхватил веревку которой была привязана свинья, вырвавшаяся во время этой схватки у Ягны из рук, и крупными шагами двинулся вперед. Вавжониха с громким плачем поднялась и пошла за ним. Вороны большой стаей кружились над дубом и печально каркали, а на дорогу с лесосеки выходили коровы, позванивая колокольчиками, и кто-то пел крикливым голосом.

Стадо прошло и скрылось в тумане сумерек, отдаленное пение доносилось все слабее.

Последние звуки растаяли в плеске дождя и рассеялись в пространстве. Внезапно стемнело, мир окутала сырая темень ноябрьской ночи, и все слилось в одну грязную, потемневшую и слепую массу. Только старый дуб сонно ворчал, роняя листья на поля, и от лесосеки, от сухих елей, от берез и ветвей плыл какой-то глубокий стон, какие-то напевы отчаяния звучали скорбными ритмами: лес умер, умер, умер!

С У Д

Внезапно дверь с шумом распахнулась, и ветер хлынул в избу, а из темных сеней грозной молчаливой толпой, не здороваясь, стали проталкиваться мужики, так что мельник опустил даже ложку на стол и, придерживая качавшуюся от напора воздуха лампу, водил по ним удивленными глазами.

— Многовато вас! — пробормотал он.

— А еще больше во дворе дожидается, — сказал Енджей, выступая вперед.

— Дело, что ли, какое?

— Известно, не болтать пришли, — отозвался кто-то, прикрывая дверь.

— Так присаживайтесь, а я управлюсь с ужином.

— На здоровье. Обождем.

Мельник принялся поспешно, с хлюпаньем доканчивать ужин, а мужики уселись — одни на скамьях, другие грели спины у печки, пытливо поглядывая на Енджея, который, сев у стола и облокотившись, глубоко задумался.

— Собачья пора, а? — заговорил мельник.

— В марте, как в квартире!

— Обыкновенно — перед весной.

На этом разговор оборвался. Только ложка мельника скребла в тишине по изгибам миски, да на дворе кто-то сбивал о перекладину грязь с сапожищ, да ветер иногда с шумом бился о стены, так что они дрожали, и дождь барабанил по запотевшим стеклам.

— Ядвися! — позвал мельник, вытирая рукой усищи.

Из соседней горницы появилась одетая по-городскому, дородная и очень красивая девушка, быстро окинула взглядом мужиков и, собрав миски, вышла, покачивая крутыми бедрами.

— Какое же у вас дело? — начал мельник, щелкая по табакерке.

Но ни одна рука не потянулась к табаку. Все лица внезапно насупились, кое-кто откашливался и озабоченно почесывал затылок, и все глядели на Енджея, который выпрямился и, устремив на мельника бледные, упорные глаза, медленно проговорил:

— Мы пришли, чтобы вы нам выдали воров...

Мельник отпрянул назад, вытаращил глаза, развел руками и пролепетал:

— Во имя отца и сына! А почему я знаю?..

— Мы так полагаем, что, кроме вас, знать про них некому, — сказал Енджей тише и встал. Мужики в свою очередь тоже поднялись со скамей и, став в круг неколебимой стеной, вперили в мельника жадные и острые, похожие на ястребиные когти, глаза, так что тот даже покраснел.

— Мы пришли к вам за правдой! — с силой прошептал Енджей.

— И вы должны ее нам сказать, должны! — глухо и сурово вторили ему мужики.

— Какую правду? С ума вы спятили? Откуда мне знать? Разве я в компании с ворами, что ли? — скорого-

воркой отвечал мельник, прикручивая трясущимися руками фитиль.

— Слов нет, вы человек честный, но воров вы знаете. Как же иначе? Осенью у вас увели лошадей, а вы хоть бы что, недавно у вас украли деньги, говорят, вы даже поймали вора в чулане, и опять ничего, — ни в суд не подали, ни даже стражнику не заявили.

— А зачем? Чтобы еще потерять? Что мне помогут суд или стражники? Поймают, скажем, этот ветер в поле и приволокут ко мне на веревке? Пусть им на страшном суде воздадут за мою обиду.

— Выходит, страшновато вам выдать воров?

— Кабы я знал, неужто простил бы убытки и не выдал? Даром мне, что ли...

— Заладили свое, — резко перебил его Енджей. — Не спорить мы с вами пришли, а добиться правды; нам недосуг, весь народ на дворе и по халупам дожидается, — чество просим, скажите, кто украл у вас деньги?

— Кабы я знал, тогда б и суды, и вся деревня знали, — горячо оправдывался мельник, тревожно поглядывая на упрямые, недоверчивые лица, но Енджей сделал нетерпеливое движение, грозно сверкнул глазами и, схватив его внезапно за грудь, кратко и решительно произнес:

— Неправду вы говорите! Но если подтвердите присягой в костеле — поверим и оставим нас в покое.

Мельник даже присел и заговорил с притворным смешком:

— Ну и ну! Вижу, у вас шуточки на уме, словно на масленицу... ясное дело, если вы к кому-нибудь гурьбой заявитесь да кольями попугаете, он поклянется во всем, что вам нужно... Истину вам говорю, ничего я не знаю, не знаю никаких воров. Хотите—верьте, хотите—нет, но присягать меня не приневолите, поскольку вы не суд... — и он встал, надменно поводя глазами.

— А вот мы пришли как суд, справедливо карающий! — проговорил Енджей так властно, что мельник в испуге отшатнулся и не мог выжать из себя ни слова.

Мужики стояли в угрюмом молчании, глядя на него сверкающими глазами и переминаясь с ноги на ногу. Они были так грозны и исполнены такого сурового достоин-

ства, что мельник растерялся и только вытирал пот на лысине и полными ужаса глазами бегал по их ожесточенным и неуступчивым лицам, понимая, что здесь не до шуток и что готовится что-то страшное.

Наконец он присел на скамью и, то и дело нюхая табак, готовился принять какое-то решение, как вдруг Енджей приблизился к нему и торжественно произнес:

— И правду сказать не хотите, и присягнуть боитесь. Выходит, стало быть, что вы с ворами в сговоре!

Мельник сразу вскочил так, словно поблизости грянул гром, и скамья грохнулась наземь.

— Иисусе, Мария! Я заодно с ворами! И вы мне это говорите!

— Сказал и еще раз повторю!

— И мы повторим то же самое! — загалдели мужики хором, и все руки потянулись к нему, а суровые лица наклонились, точно острые ястребиные клювы, готовые к нападению.

На шум вбежала Ядвися и остановилась как вкопанная.

— Что тут творится? — тревожно спросила она.

Кулаки опустились, мужики стали откашливаться, а кто-то сердито сказал:

— Нечего тут бабам околачиваться. Подслушает и пойдет языком трепать.

— Ступай, откуда пришла.

— Гусей тебе щупать, а не в мужицкие дела нос совать! — все громче орали мужики, так что вконец рассерженная Ядвися убежала, хлопнув дверью.

А Енджей, размахивая рукой, продолжал:

— Так вот, говорю вам, мельник, наступила уже пора судить и карать!

— И навести порядок на свете!

— И зло истребить, чтобы по правде все было, — падали грозные, тяжелые слова, а сжатые кулаки мелькали перед посиневшим лицом мельника.

— Побойтесь бога! Чего вы хотите, люди? В чем я провинился? — бормотал перепуганный мельник, озираясь вокруг, но Енджей, не обращая на него внимания, заговорил быстро, тихо и так сурово, что мороз пробирал по коже:

— Не хочет сказать—стало быть, виновен. Берите его, мужики, на суд, к костелу... Все пойдут на суд, кто обижал народ, на суд праведный и на тяжелую кару. Берите его, мужики!

— Иисусе, Мария! Люди!.. — в смертельной тревоге вопил мельник, беспомощно озираясь, когда мужики лавой двинулись к нему. — Люди... ну, как я скажу!.. Клятву давал. Спят меня либо убьют, ежели выдам... Боже милосердный! Пустите меня! Все скажу! Скажу! — захрипел он, когда его уже схватили десятки рук и тащили к двери.

Долго не мог он произнести ни слова и, свалившись на стол, тяжело дышал. Его обступили кругом, кто-то дал ему напиток, а другие дружески успокаивали:

— Ничего не бойтесь,—кто с народом заодно, у того волос с головы не спадет.

— Но только уж — говорить всю правду.

— Мы знали, что вы честный и назовете разбойников.

Мельник извивался и телом и душой, как прижатый ногой вьюн, его бросало то в жар, то в лютый холод, он то бледнел, то краснел. Готовый уже на все, он внезапно встал, но прежде чем начать говорить, заглянул в соседнюю горницу.

Ядвися промелькнула в дверях, как бы отпрянув от них. После этого мельник посмотрел еще через окно на двор и только тогда, выступив перед миром, перекрестился и прошептал:

— Как на святой исповеди, правду говорю: оба Гайды и Старший.

Настала тишина, все сидели как вкопанные, значительно поглядывая друг на друга, сопя и хрипло вздыхая. Наконец первый отозвался Енджей:

— Мы так и думали, да уверенности не было. А теперь уж знаем, что нам требуется. Знаем, сучья их маты! А, разбойники чортовы! — грохнул он кулаком по столу. — Сорную траву с поля вон, чтоб не разрасталась. Оба Гайды! Отец с сыночком, а на придачу Старший? Ну, во имя божие, пойдем к ним, а вы, пан мельник, с нами, чтоб сказать им правду в глаза...

— И пойду, и скажу! Будто камень свалился с груди! Встану и скажу: разбойники и воры! Господи, знал ведь

я, что они творят, но боялся слово сказать. Чтоб вас колесовали за мой грех, ведь мне совестно было глянуть людям в глаза, когда они отрещивались от воровства. Увели у меня коней, шельмы, я через Старшего дал выкуп... не отдали... А потом застиг их в чулане... обобрали меня до последней копейки... ножом грозили... присягнуть заставили, что не выдам! Ах, разбойники!

— Вся округа терпела от них!

— Сколько лошадей у мужиков забрали, сколько коров, сколько всякого добра!

— Все им сходило с рук, потому что Старший глядел на все сквозь пальцы и делился с ними...

— Пировали за наш счет, так пусть теперь расплачиваются...

— Если все говорят, так и я скажу, — отозвался кто-то, — знаю я, что Гайды выдали начальнику ксендза за то, что он сулил подлясякам...¹

— Вот те раз... даже ксендза продали?..

— Похоже, барышень с почты, что детей обучали, тоже они выдали?

— Они! Они! Известное дело, — яростно поддакивал мельник.

— Стало быть, и тех евреев в лесу, не иначе, они порешили.

— Вестимо, Гайды! Они... Сволочи! Предатели! Разбойники! — раздавались брань, проклятия, топот ног и стук палок. Гнев закипал в сердцах и ширился, глаза пылали, а сжатые кулаки подымались над головами.

— Покончить с ними! Наказать сукиных сынов! На суд их! На суд...

— Так идем скорей, чтоб не убежали! — воскликнул Енджей.

— Шкуру с них спустить!

— Кольями, как бешеных собак, пока не подохнут! — выкрикивали мужики, толпясь в дверях.

Мельник потушил свет и вышел вслед за ними.

¹ Подлясяк — житель Подлясья. Подлясье, Подлясье или Подляхия — одна из старинных областей Польши, охватывавшая нынешнюю Седлецкую и части Ломжинской и Люблинской земель. (Прим. ред.)

Как только все высыпали на двор, Ядвися выбежала и, притаившись у стены, испуганно глядела, куда это они пустились в такую ночь и зачем?

А ночь была настоящая мартовская, холодная, ветреная и сырая. Взлохмаченные тучи мчались по свету, дождь со снегом бил в лицо, так что дух захватывало, ветер бушевал в садах и дул со всех сторон, а с размякших полей, где местами на обнаженной черной земле белели снежные бугры, тянуло сырой изморозью, до мозга костей пронизывающей холодом. Но, невзирая на гнилую пору, мужики шли решительно и уверенно, так что грязь расступалась под их ногами. Они двигались пригнувшись, гуськом, мимо низких халуп, которые, подобно уставшим кумушкам, присели у дороги и съежились в садах, так что сквозь качавшиеся деревья виднелись только покрытые снегом крыши, похожие на белые бабы чепцы.

Енджей шел впереди, вполголоса отдавая распоряжения; то и дело кто-нибудь вырывался из ряда, подбегал к окнам и кричал:

— Выходи! Пора!

Свет мгновенно гас, скрипели двери, черные тени тянулись от халуп и, ощупывая палками дорогу, молчаливо присоединялись к толпе.

Шли все теснее и осторожнее, внимательно оглядываясь по сторонам.

Вдруг Енджей опасливо оглянулся, явственно расслышав хлопание грязи: кто-то бежал за ними, а вдоль плетня кралась чья-то тень. Но как только люди остановились, все стихло и исчезло. Только ветер шумел попрежнему, и то здесь, то там из-под завалинок яростно лаяли собаки.

Пошли еще медленнее. Не один уже тревожно крестился, не один вздыхал, не одного мороз пробирал по коже. И все же никто не проронил ни слова, никто не отступил, все дружно стремились вперед, подобно неустойчивой грозной туче, которая, медленно двигаясь, незаметно растет и вдруг разражается громом или осыпает землю градом.

Проходя мимо ярко освещенной корчмы, кое-кто втягивал носом отрадный аромат и был не прочь зайти по-

греться, но Енджей никого не пустил, собрал всех в кучу и вывел на середину дороги, потому что изба стражника стояла почти рядом. Уже издали белели ее стены, а через освещенные окна доносились плясовые звуки гармонии.

Они остановились напротив, почти не дыша, а Енджей шептал парням:

— Следите внимательно и, как только ударят в колокол, валите гурьбой в избу, сразу хватайте его за голову и вяжите. Только, чтоб он у вас не вырвался, а то наделает беды... Не шумите, а то спугнете еще.

Несколько парней молча разошлись в темноте.

Толпа уже быстрее двинулась напрямик на большую площадь в конце деревни, где мерцало несколько огоньков; а в промежутке между ними, на фоне оснеженных полей, высились стены костела и чаща деревьев, точно темнеющая гора, чуть колеблемая ветром.

Дом Гайдов стоял возле костела, немного в стороне от дороги, и был прикрыт довольно большим садом, так что свет из его окон мерцал сквозь густые кусты и ветви, точно волчий глаза. Теперь толпа направилась прямо к нему, а так как грязь была по колено и лужи разлились озерами, а кучи обледевшего снега преграждали путь, то шли по следу, обходя препятствия, как будто нарочно удлиняя дорогу, — и все же через две-три минуты очутились у плетня. Енджей наказал не шуметь, а сам, крадучись, сторонкой подошел к окнам и заглянул.

В просторной белой, увешанной образами избе горела свешивающаяся с потолка лампа, а под ней за столом сидело несколько человек, занятых ужином и тихой беседой. В печи разгорелся такой яркий огонь, что половина горницы была залита светом, в сиянии которого ходила какая-то девушка, укачивая на руках плачущего ребенка...

— Они дома, дома, — прошептал Енджей, вернувшись к толпе. Сильно дрожа, он с трудом приказал, чтобы половина людей отделилась стеречь дом со стороны полей и двора.

Но затем, овладев собой, он смело направился к изгороди; уже подходили к крыльцу, когда внезапно во

дворе жалобно завывли собаки. Люди начали останавливаться.

— Это наши управляются с ними. Идем! А если будут обороняться — кольями их, иродов, не жалеть! — и Енджей, потащив за собой мельника, перекрестился и решительно вошел в сени; вслед за ними плечом к плечу шли мужики.

В избу вошли скопом, уверенно и мрачно.

Поднялась суматоха. Гайды с разинутыми ртами выскочили из-за стола, но старик хозяин опомнился первый, опустил на стул, увлекая за собой сына, и воскликнул с притворной усмешкой:

— Мое почтение! Го! го! Такие гости! И мельник! И Енджей! Целая компания.

— Присаживайтесь, хозяева! — добавил молодой Гайда, бегая полными ужаса глазами по лицам мужиков, и, не сознавая, что делает, протягивал ложку к миске.

Но никто не присел, никто не протянул руки для приветствия, все неподвижно стояли, как столбы, только Енджей выступил вперед и сурово проговорил:

— Бросьте еду, у нас есть дела и поважнее.

— Дела? А нам важнее ужин! — заносчиво проворчал старик.

— Говорю, брось — значит, брось! — прогремел Енджей.

— Ишь, какой начальник... в чужой халупе приказывает...

— А вот и приказываю, а ты должен исполнять, живодер!

Гайды вскочили. Их обуял страх; лица их стали бледны, головы тряслись, но они, как волки, оскалили клыки и были готовы на все.

— Что вам нужно? — глухим, шипящим голосом спросил младший.

— Судить вас, разбойники, и покарать! — грозно вскричал Енджей. Эти слова обрушились на них, как потолок, точно придавив их к земле.

Жуткая тишина обдала их дуновением смерти, на миг даже дыхание у них замерло, только ребенок продолжал плакать все громче. Внезапно Гайды бросились к двери,

младший сверкнул ножом, а старик схватил топор; но прежде чем они пустили их в ход, мужики навалились, как буря, раздались глухие удары палок, десятки рук хватали их за голову, горло и грудь и, словно жалкие кустики, оторвали от земли.

Буря забушевала в избе, поднялся крик и суматоха; скамейки, мебель полетели во все стороны, женщины подняли плач; все сплелось в клубок, который среди проклятий, возни и рева покотился по полу, раз-другой ударился о стены и рассыпался.

Гайды лежали на земле, связанные веревками, как бараны. Они орали изо всех сил, с руганью вырываясь из пут.

— К костелу их, там рассудим! — приказал Енджей.

Их вытащили из халупы и почти поволокли через площадь, усердно подгоняя палками, так как Гайды продолжали уиираться и кричали во всю глотку. Женщины бежали по бокам, причитая и умоляя сжалиться, но их, как сук, отгоняли пинками ног.

— Ударить в набат, пусть вся деревня собирается! — крикнул мельник.

Пошел густой снег, так что стало немного светлее.

Колокол загудел глухо, как на пожар, и бил уже непрерывно, мрачно и страшно. С колокольни с карканьем поднялось воронье и кружилось над костелом, а от деревни с криками бежала толпа женщин и детей.

— Сжальтесь, люди! Спасите! Господи! — рычали Гайды, отчаянно отбиваясь, но никто им не отвечал, и толпа продолжала итти в глубоком молчании. В тишине все вошли за ограду и бросили связанных у порога костела.

— Чем мы провинились? За что? Спасите! — завопили они снова, пытаясь подняться, но чьи-то ноги прижали их так, что они свалились, как колоды, продолжая ругаться и грозя всей деревне страшной местью.

А Енджей стал на пороге костела, прислонился спиной к дверям, снял шапку и громко воскликнул:

— Родные братья, поляки!

Бабий гомон умолк. Народ стал в круг и, склонив головы под густо падавшим мокрым снегом, внимательно слушал.

— Скажу я вам, братья: как весной выходит хозяин с острой бороной в поле, чтобы очистить от сорняков осеннюю пахоту, прежде чем бросить в землю зерно, так и на свете наступила пора вырвать зло с корнем... За это уж взялись по другим гминам и приходам: уже прогнали писаря в Ольше, убили воров в Воле и выгнали их из Грабицы. И делают люди это сами, сами, — потому что свет так уж плохо устроен, что ты, мужик, трудись, выматывай жилы, плати подати, давай рекрутов, а если тебя обижают — один бог тебе остается да эти вот напрасные жалобы.

— Ой, правда! правда! — подтвердили в толпе, вздыхая.

— Так вот, говорю вам, пришло время, когда народу не на кого оглядываться, только на самого себя! Сам он должен себе помогать, сам обороняться от лиха и сам добиваться справедливости! Мы ждали долгие годы и терпели всякое зло, но никто нас не спас, никто нам не помог! Известно, суды не для правых, начальство не для мужиков, опека не для обиженных! Это знает каждый, у кого есть еще мозги в голове. Коли нет уже иного спасения, надобно действовать так, как в других деревнях.

— Убить сволочей! Прикончить! Разорвать! — яростно закричали все, бросаясь с палками на Гайдов.

— Угломонитесь! Стойте! — вскричал Енджей, прикрывая их собой. — Погодите! Известно, это разбойники, воры и предатели, которых нужно покарать. Но сперва пусть выступит самолично каждый, кто против них что имеет, и скажет им свою обиду в глаза. Потому что суд мы творим, а не разбой. И не для мести мы их взяли, а для справедливой кары.

Народ сбился в кучу — каждому было как-то не по себе выступать первым. Потом поднялся гомон, все заговорили сразу, припоминая свои обиды и грозно наступая на связанных. Наконец мельник вышел вперед, поднял руку и торжественно произнес:

— Свидетельствую перед богом и людьми, что они украли у меня лошадей и четыреста рублей. Я поймал их... Ножом вынудили меня поклясться, что не выдам! Местью грозили. Разбойники это последние!

— А я свидетельствую, что Гайды украли у меня ко-
рову,— сказал другой.

— А у меня забрали свинью.

— А у меня кобылу с жеребенком,— заявил новый
голос.

Народ слушал в грозной тишине.

Внезапно снег перестал падать, ветер разбивался о
стены костела и качал деревья, пригибая их со стоном
к земле, по небу мчались большие бурые тучи, а мощ-
ные и тяжелые голоса обвинения падали непрерывно. Но
Гайды кричали:

— Неправда! По злобе оговаривают! Это взяли воры
из Воли! Не верьте!

Однако выступили другие, с еще более тяжкими об-
винениями.

А напоследок припомнили им убитых евреев, выдан-
ных девушек, и преданного ксендза, и какой-то поджог, и
пьянство со стражниками, и непосещение костела; какие
кто знал грехи, торопливо собирал их и с бешенством
сваливал на головы воющих Гайдов. Поднялся чудовищ-
ный шум, один старался перекричать другого, все грози-
ли и метали проклятья, каждый ожесточался и рвался к
убийству, так что Енджей, будучи не в силах их удер-
жать, сердито крикнул:

— Заткните-ка пасти, дайте мне сказать свое!

Шум немного стих, только бабы, по своему обыкнове-
нию, не унимались.

— Признаетесь?—спросил он, наклонившись над свя-
занными.

— Нет! Мы не виноваты! Неправду говорят, по зло-
бе! Присягнем! — с отчаянием кричали они.

— Признавайтесь, легче будет кара,— кротко уве-
щал он.

— Убить сукиных сынов! Забить палками! Разбой-
ники, воры, предатели они! Смерть живодерам! — заора-
ли все сразу, поднимая колья и кулаки, так что Гайды
завыли от страха, начали метаться, хватались зубами
за сапоги, целовали ноги, ошалелыми голосами умоляя
о помиловании.

Их еще прикрывали мельник, Енджей и несколько бо-
лее спокойных мужиков, старающихся удержать разъ-

яренных, которые налетали как буря, крича и размахивая кольями. Особенно свирепо насакивали на них бабы.

Становилось страшно, все перед костелом забурлило, исступленные крики угрюмо гудели, как и этот неустанно бивший набат.

— Нужно ксендза перед смертью! Ксендза! — вскричал вдруг мельник.

Все притихли. Кто-то побежал за настоятелем.

— А может, повременить с наказанием до завтра? — предложил мельник.

Но все завопили, громыхая кольями:

— Покончить с ними! Разбойникам ксендз не нужен! Пусть подышают, как собаки. Нечего ждать. А то еще убегут и казачков приведут! Прикончить их!

Но, почувствовав, откуда может притти спасение, Гайды стали отчаянно умолять:

— Помилосердствуйте, люди добрые! Хотим исповедаться! Дайте ксендза... Ксендза!..

На их беду ксендза не оказалось дома — он уехал еще под вечер.

— Так пускай исповедаются перед всем народом! — предложил кто-то.

— Идет! Пусть покаются. Пусть скажут правду, — поддакивали другие.

Кто-то развязал Гайдам руки и поставил на колени перед порогом.

— Открыть костел! Будут исповедоваться! Открыть! — раздались многочисленные голоса, но Енджей остановил их:

— Не нужно! Грешно вводить в дом божий таких разбойников, хватит с них, что дозволяем стоять на освященном месте. А ну, угомонитесь! — прикрикнул он на шумевших баб и, наклонясь над Гайдами, сказал:

— Так сознавайтесь, говорите, но только чистую правду! Народ волен простить вам ваши прегрешения! — он стал рядом на колени, а его примеру последовали остальные, тяжело вздыхая и осеняя себя крестным знаменем.

Гайды невнятно бормотали что-то, озираясь по сторонам.

— Ясней! Громче! Господа бога хотят обманывать!— заорали на них.

Старик Гайда, словно душа его растаяла от страха, задрожал, разразился плачем и среди тяжелых рыданий стал каяться в своих грехах.

Воцарилось гробовое молчание, все затаили дыхание, даже кашель прекратился, и в темноте слышался лишь этот плаксивый голос, как будто растекавшийся струей крови, да в вышине гремел набат и шумели, раскачиваясь, деревья.

Ужас охватил души, волосы поднимались дыбом, ошеломленные люди били себя в грудь, по временам вырывался скорбный стон, какой-то беспредельный страх пронизывал сердца леденящим холодом, потому что Гайда хотя и сваливал все время вину на сына и стражника, все же признавался не только в том, в чем его обвиняли, но и во многих других, еще худших преступлениях...

Кончив, он упал ниц, раскинув руки, и стал бить головой о порог, моля среди стонов о милосердии, так что многие, по его примеру, заплакали, но мужики закричали:

— Пускай теперь покается Кацпер! Кацпер! А ну живее, разбойник! — И принялись толкать его в бока палками и бить ногами. Он бешено заклокотал:

— Сами вы разбойники! Безвинных мучить надумали! Сами вы воры и предатели... Вшивота! Сволочи! Голытьба! — неистово ругался и грозил он, так что старик стал его упрашивать:

— Смирись, сынок! Покайся! Может, простят! Смирись!..

— Не хочу! Не стану просить милости у разбойников! Бешеные псы! Голытьба! Не нужно мне исповеди! Пускай убивают! Пусть только осмелятся, песья кровь! Завтра войско оплатит за меня! Пускай только меня тронут! — рычал он как зверь, и, вскочив на ноги, стал бить ближайших мужиков кулаками и с остервенением бросался на всех. Старик рванулся за ним, продираясь молчком, как волк.

Поднялся невообразимый шум. Их мгновенно одолели и, словно кучу тряпья, швырнули на прежнее место, а Енджей злобно воскликнул:

— Бежать собрались! Местью прозят! Разбойники и воры отпетые! Покарайте их, люди! Прикончить их, как бешеных собак! Бейте все! Все! Бей, кто в бога верует!— кричал он свирепая.

Народ заколыхался, как бór, и ринулся на разбойников. Сотня кольев взметнулась и упала с глухим грохотом; раздался неистовый рев, как будто провалился весь мир. Взмах свирепая буря и также внезапно стихла. В темноте были слышны только удары кольев, топот, бабий визг, хрипение, проклятья и порой дикие, ужасные вопли убиваемых.

Вскоре перед костельным порогом чернела бесформенная масса, вдавленная в снег и грязь, и висел тошнотворный запах крови...

Колокол умолк, но люди еще не отдышались, как из деревни пришло известие, что стражник бежал.

Парни подбегали, один за другим, рассказывая и галдя:

— Стражник убежал! Как только забили в набат, мы вошли в избу, но его уже не было...

— Через чулан удрал! Мельникова дочка предупредила!..

— Известно, мы видели, как она туда вошла! Она!

— Неправда! — вскричал мельник, подняв кулаки.

— Все знали, что она была стражниковой полюбвицей, все! — орали бабы, и каждый, кто что знал, рассказывал свое, как вдруг Енджей отозвался:

— Слушайте, люди! Братья! Надо его догнать... Покараем каждого, кто будет обижать народ, кто будет красть и выдавать! Садись на коней—и в погоню! На коней, хлопцы! Он подался в город! Догнать его и притащить живого или мертвого! Скорей, люди! Чтоб не навредил нам беды! Скорей!..

Все побежали взапуски к деревне. И вскоре несколько десятков мужиков уже мчалось разными дорогами в город, так что у коней играла селезенка и грязь летела брызгами из-под копыт.

Деревня почти совсем опустела.

Лишь на погосте горестно рыдали какие-то женщины.

А посреди дороги, не глядя на дождь со снегом, бивший в лицо, тащился домой мельник. Он часто останавли-

ливался, с трудом переводил дыхание, иногда пошатывался, иногда замирал, как вкопанный, иногда тихо и скорбно шептал слова, вырывающиеся откуда-то из глубины измученного сердца:

— Вот какая ты, дочь! Вот какая! Стражникова любовница! — беспомощно повторял он.

И грозно сжимал в руке палку, дрожал как в лихорадке, и слезы крупным градом катились по его лицу.

Мария Домбровская

УТЕШЕНИЕ



МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ

Мария Домбровская (род. в 1892 г.), одна из виднейших современных польских писательниц, дебютировала в начале двадцатых годов сборником новелл «Люди оттуда», посвященных жизни польского крестьянства и традиционной проблеме взаимоотношений между деревней и помещичьей усадьбой. Уже в этих новеллах писательница четко определила свою общественную позицию, став на сторону угнетенных и показав, что их внутренний мир значительно полнее мира людей, стоящих по другую сторону. Не вдаваясь в глубокий социальный анализ классовых противоречий, Домбровская сумела показать, что правда находится на стороне польского крестьянина, что именно крестьянство, кровно связанное с землей, является ее подлинным устроителем и хозяином.

Самым крупным произведением Домбровской является ее реалистическая трилогия «Дни и ночи», представляющая собой хронику жизни польской интеллигенции междувоенного периода. Роман этот справедливо считается одним из лучших произведений так называемого периода двадцатилетия (1918—1939 гг.) и занимает прочное место в современной польской литературе.

Демократические тенденции Домбровской нашли свое наиболее полное воплощение в условиях новой народно-демократической Польши, претворяющей в жизнь мечты писательницы. Книги ее только теперь нашли дорогу к массовому читателю, по достоинству оценившему реалистический талант Домбровской.



УТЕШЕНИЕ

До самой середины июня стояла очень холодная погода. Но зато во второй половине наступила такая жара, какая редко бывает и в пору жатвы. Птицы молчали, изнемогая от зноя. И только в траве, казалось пышущей жаром, раздавалось жужжание разных неунывающих насекомых.

Опасаясь наступления еще большего зноя или гроз, в усадьбе начали спешно купать овец. Поставили загородку у пруда и вгоняли в него стадо за стадом.

Овцы толклись на одном месте, силясь сгрудиться как можно теснее. Ягнята будто приклеились к матерям, но их отделили и заперли. Тоскливое блеяние наполняло меланхолией знойную тишину утра.

Выпуская последнее стадо из овчарни, Витек в волнении хватался за сердце. Не знал, что с теми,

которых уже отправили, опасался, как бы с ними чего-нибудь не случилось, и сердце у него замирало от страха.

По дороге, напрягая зрение, заметил уже издалека, что люди бестолково бегают между загоронок и задевают шесты.

Перепуганные овцы все разом, как одно большое руно с тысячью ног, кидались то в один, то в другой угол своей ненадежной клетки.

У Витека лицо стало темнокрасным.

— Уж перепугали их, дьяволы! Жить не дают бедным тварям,— проворчал он и послал туда свою собаку. Белая овчарка быстро помчалась к мальчишке, который нарочно пугал овец, укусила его и сразу же возвратилась к хозяину. Парень завопил, что она ему разорвала одежду и укусила до крови.

Но на него не обратили внимания, все были заняты более важными делами.

Худощавый пастух теперь сам метался, и казалось, что под раздуваемыми ветром шароварами и рубахой из грубого холста не было совсем тела. Изможденное лицо, освещенное сердитыми темноглубыми глазами, часто хмурилось и багровело.

— Загоняй! — кричал он своему псу. — Загоняй!

Пес, не имевший имени, поглядывал понимающими глазами, носился вокруг, скреб траву задними лапами и суетливо, но умело загонял овец.

Люди входили в воду, в которой отражались вербы, росшие на берегу. Говорили друг другу, где дно илистое, где — песок и камни. Пруд весь колыбался, то отходил от берегов, то разливался по ним. Шум и крик неслись над всей усадьбой. Витек рычал, глядя на собаку:

— Не так берешься! Не с той стороны! Осторожнее, бедельник, выпустишь ягнят!

Пес тоже делал сегодня все не так.

Налаявшись вволю на людей, овец, на воду, он грыз кору верб и в конце концов, с немалым трудом пробравшись сквозь колючие заросли, появился на другом берегу пруда и снова принялся лаять на людей, мывших овец. Наконец оба они — и пес и Витек — охрипли и немного

успокоились. Все на минуту притихло. Слышались только хлопание и плеск воды. Душный запах мокрой шерсти носился в воздухе.

Но, отдохнув, Витек начал снова:

— Баранов! Баранов! Начинай с племенных! Эй ты, вон та брюхата, осторожнее! Веселей работай, скорее! Пусти их! Не там! Не там! Где у тебя голова? Что делаешь, холера?

Барин появился на другом берегу пруда, весь сверкающий белизной своего ослепительного кителя.

Люди, под предлогом работы, старались уходить все дальше в воду, чтобы охладить разгоряченное тело. Два парня тащили овец по доскам в пруд.

Там их терли, мыли, а они отрывисто блеяли и потом бежали, захлебываясь, испуганные, через пустую загородку, а вода текла с них ручьями.

В два дня всех перемыли.

Вода в пруде снова неподвижно грелась на солнце, серая, загрязненная. Лужайку за прудом овцы так залили водой, что трава под жгучими лучами солнца начала желтеть и вянуть.

Стрижку производили в сарае. Витек был зол и разгорячен. Руки его так и мелькали, он задыхался, лицо посинело. Приходилось помогать связывать овец перед стрижкой, а ему так было жаль животных, что он даже ногами топал.

Стрижку производили не одни женщины, брали и мужчин, если они были знакомы с этим нелегким делом. Стриг даже один конюх.

Стадо толпилось в пустых сусеках, а люди сидели на гумне и у каждого была зажата между колен связанная овца.

Громадные плоские ножницы щелкали, резко пищали. Работавшие иногда переговаривались, смеялись чьей-нибудь шутке. Духота стояла страшная. Над гумном, где они работали, в глубине серого от зноя неба, над горизонтом, казалось, цвели бледные розы.

Увидев это, женщины, более внимательные к таким вещам, стали говорить:

— Будет гроза. Так парит, так парит, что невозможно!

И смутная тревога рождалась от этих слов.
Кто-то вздохнул и затынул:

Эх, лучше бы камни в поле не валялись,
Лучше бы сироты на свет не рождались!
Толкнет камень всякий, кто пройдет дорогой,
Так вот и со мною, сиротой убогой.

— И кому это охота петь в такую жару? Маринке? Ну, у этой всегда песни на уме!

Когда последние овцы были связаны, Витек встал у ворот сарая, потом присел на розовевшем камне. Белый пес обошел вокруг и улегся у его ног.

Оба — хозяин и собака — неподвижно смотрели в необозримое поле еще зеленой пшеницы, по которому словно волны ходили.

На место, где они сидели, надвинулась тень большого тополя, не видного отсюда. Наступал вечер.

Увидев тень, Витек встал. Вскочил и пес.

— Ну, теперь можно и попить, — сказал пастух и зачерпнул кружкой воды из ведра.

Пес, не спеша, осторожно тоже заглянул в ведро и, опершись одной лапой о край, так же осторожно лизнул поверхность воды.

— Пошел! — раздались крики со всех сторон, и он отскочил.

Витек посмотрел без всякой радости на груды мешков, набитых шерстью. И сказал без мысли, с выражением безграничной усталости:

— Столько намучились и животных намучили — и кому от этого польза будет?

Он чувствовал, что могло бы от этого быть много доброго, да только раньше, чем до этого дойдет, может быть и миру конец будет.

А пока он утешался тем, что по крайней мере овцам теперь будет легче. Теперь они ходили белые, стройные, как изображения агнца в костеле. Коротко остриженная шерсть делала их похожими на ягнят, молодыми и веселыми.

Витек рассчитывал про себя, через сколько времени у них снова отрастет шерсть. Но этого ему не суждено было увидеть.

Однажды в полдень, перед самой жатвой, люди стали спрашивать друг у друга:

— Что это Витека с овцами сегодня не видать?

— Может быть, он далеко пасет и ему туда обед снесли,— объясняли некоторые.

Подошел приказчик и тоже очень удивился. Витек, по его словам, пас там, где всегда, на пригорке около Чайкова, и не так далеко, чтобы невозможно было притти обедать.

Стало тревожно.

— Овцы не пришли,— сообщали друг другу люди при встрече.

Косцы перестали точить косы, и, когда прекратился этот шум, наступила зловещая тишина.

Среди ленивого жужжания потревоженных шмелей, цепляясь и путаясь в гибких стеблях, люди бежали прямо через межу. Бежали туда, где Витек пас овец.

Это было на пригорке меж двух полей пшеницы; поблизости не работали, и никто ничего не видел. Витек лежал ничком у края зреющей нивы.

Овчарка сидела подле него и ловила мух. Овцы тихо щипали траву на пригорке. Увидев людей, собака бросилась к ним, но воротилась с дороги и снова села подле хозяина.

Тотчас дали знать в усадьбу, и оттуда была послана телега.

Мужики выбегали из изб.

— Это за Витеком поехали!

Жена Витека стояла в телеге, судорожно держась за перекладину. Ее так и подбрасывало.

— Господи! — кричала она всю дорогу. — Господи!

Привезли Витека и осторожно положили на землю у кузницы.

— Сердце бьется? — спросил барин.

— Слышно еще,— отвечали, еле переводя дух, люди, которые его привезли. Они бестолку суетились вокруг, натыкаясь друг на друга.

— Пускай кто-нибудь один скачет во весь дух в дом за барыней!

— И эфиру принеси! Сейчас тащи эфир! — кричал вдогонку барин.

— Землей его забросать до половины!
— Земля болезнь вытянет!
— Мокрой земли ему на голову! Должно быть, солнечный удар!

— Водой его! Водой!

Прибежал кузнец. Начали на Витека прыскать водой, вытащили ему язык, прикладывали ухо к груди.

— Эфиру! — кричал барин, стоя на коленях перед распростертым на земле телом Витека.

Побежали в дом. Один, другой, третий.

Все побежали.

— Эфиру! Эфиру! — звучало в прохладных покоех.

Барыня с барышней бросились искать. Люди ходили за ними по пятам, шлепая босыми ногами.

Все нашлось, но уже ничто не могло помочь, потому что Витек умер, совершенно и окончательно. Даже тело успело похолодеть.

Жена плакала, билась головой о пыльную землю, на которой спал вечным сном худой, похожий на тень пастух.

Барин промолвил: «Успокойтесь», и хотел поднять женщину с земли. Но она обернула к нему залитое слезами лицо, и зубы ее оскалились, глаза засверкали. Она закричала хрипло:

— Пусть зараза падет на ваших овец, при них он замучился до смерти!

И завывала среди жуткой тишины:

— И кому все это было нужно! Какой кому толк от всего этого!?

Люди возмутились: не за барина обиделись, а за овец. Овцы-то чем же виноваты?

— У него огонь был в нутре: все равно он должен был умереть,— возражали они.

Положили Витека на телегу и посадили туда же плачущих детей.

Но жена, словно помешавшись от горя, не хотела верить, что он умер, и не позволяла готовить все к похоронам.

Уложила труп под перину, отгоняла от него веткой мух и просила детей не плакать, не шуметь, чтобы не беспокоить «татуса», который очень болен.

Упросила, чтобы ту же самую телегу погнали тотчас за ксендзом в Тыкадлово и попросили его приехать с дарами, но захватить и лекарств, которыми он так чудесно исцелял людей.

Соседи шептались с ужасом, что от тела уже «слышен дух», но из жалости приходили осведомляться, не пришел ли больной в себя.

— Очнется, очнется!—отвечала женщина шопотом.— Он озяб,— так под периной отогреется.

— Надо ей втолковать,—говорили друг другу, уходя, посетители.— В такую жару тело за ночь начнет разлагаться, и трупный яд попадет в постель.

В сумерки те, кто пришел из усадьбы, рассказали, что барин уже распорядился, чтобы сколотили гроб, и его делает плотник в каретном сарае.

Над деревней, над домом, над садом, казалось, все молчало, как всегда, когда смерть бывает так близко.

Поздно вечером Витиха в тяжелом горе вышла и присела на лавочку перед хатой.

Кто-то приближался во мраке. Это был белый пес Витека. Несмело остановился у кустов бирючины. Когда его позвали, подошел, сел у ног женщины и положил ей на колени свою белую лапу. Так они сидели довольно долго, пока на дороге не показался Дереш, которого назначили пастухом.

— А нету у вас того пса? — спросил он.— Как будто я его здесь видел.

Овчарка залезла под скамью, а оттуда юркнула в хворост, лежавший у хлева.

Вдова вошла в избу. Две соседки сидели у окна в неприятном ожидании. Дети спали.

— Знаете, люди добрые,— сказала вошедшая,— когда эта собачка пришла и лапу вот так мне положила на колени, тут меня разом словно толкнуло — и поверила я, что мой-то и вправду богу душу отдал.

— Аминь,— откликнулись бабы вставая.

Вдова встала на стол и остановила часы.

Новый пастух заглянул в дверь.

— Не прибегал пес?

— Нет,— ответила женщина и завела, как полагалось:

— Иисус, господь наш, дай ему вечный покой!

Тут постучали в окно: ксендз приехал.

Настала ночь, и собралось в избу много людей, чтобы бодрствовать над покойником и петь над ним те песни, что всегда поются над умершими.

Наутро разрешено было всем, кроме батраков, которые жали в поле, итти на погребение.

Витек умер на работе, как солдат на посту, и его понесут руки трудящихся.

И хотя до Тыкадлова было только три версты, столько людей теснилось к гробу, что несли его не на плечах, как обычно, а множество рук подняли его высоко, высоко.

Несли: старший конюх Даранчук, конюхи Банасяк и Майковский, и Униславский, и Калюжный, и Зимный, приказчик Посилек и приказчик Богусяк, сторож Зняйка, огородник Пахула, каретный мастер Сикорский, кузнец Серый и многие другие.

Шли быстро, и гроб торжественно и печально плыл над толпой.

Женщины догоняли, и их накрахмаленные юбки шуршали на бегу, а дети бежали по дорожке за рвом, вспотев и тяжело дыша.

— Иди с другими детьми тропкой! Там дорога гладкая, ножки у тебя не заболят. Проводи его, Эльця,— говорила вдова младшим детям и бежала за гробом, блестящим на солнце.

За деревней поднялся сильный ветер, засыпал лицо пылью. Людям приходилось закрывать глаза и итти так, только изредка приоткрывая их, чтобы видеть дорогу. Когда миновали поселок Еленовку, стал виден издали тыкадловский костел. Слышен был колокольный звон, но ветер словно крал и отбрасывал в сторону звуки.

Когда поднялись на пригорок к костелу, замолкли похоронные напевы. Шествие вступило в ворота. Ветер шумел в могучих деревьях перед костелом и, казалось, потрясал стены старого храма.

Поставили гроб на катафалк, так бережно и осторожно, словно боялись, как бы бедный, свалившийся в поле Витек по крайней мере здесь не ушибся.

После непродолжительной тишины ксендз начал:

— Блаженной памяти Ян Витек поступил в Русочине в пастухи после Шимандеры и служил лет шесть, а до этого где-то в другом месте — двадцать лет. Он не знал в жизни ничего, кроме работы, и так замучился на этой работе, что Иисус поспешил призвать его к себе, чтобы он там остыл и отдохнул. За душу раба божия Яна помолитесь, люди.

Со вздохом опустилсЯ на колени у алтаря и тихонько молился. Люди молились вслух, отчетливо, все разом, а служка тихо ходил у алтаря и гасил свечи.

Наконец ксендз вышел из алтаря и пошел за крестом. Гроб подняли снова. Люди выходили, не толкаясь, уступая друг другу дорогу. Казалось, все уже вышли, но нет: всё еще шли и шли.

Свернули налево, — и встретил их шелест деревьев на кладбище. Остановились у свежевыврытой могилы.

— Вот и нет Витека, — говорили русочинцы.

— И отчего ему бог послал внезапную смерть?

Старая Кучиха сказала:

— Еще у меня перед глазами стол в сарае, где мы овец стригли. Совсем он тогда замучился: только как кончили, взял кружку и сказал: «Теперь можно и попить».

Когда погребение окончилось и все разошлись, старый нищий, сидевший у костела, когда выносили гроб, тоже куда-то поплелся, опираясь на свою палку.

Шел, весь накрываясь на одну сторону, словно ветер его хотел смести с земли, часто останавливался, переводя дух, — и пел.

Пел о душе, расстающейся с телом, и песня мешалась с знойным, сухим ветром.

Пел о душе-голубице, что, вылетев из тела, искала себе места успокоения в лесу, в воде, в огне. И каждый раз, прерывая эту одиссею ищущей души, останавливался, тяжело дыша, читал «вечную память» и шел и пел дальше.

Навстречу старику шли люди из Тыкадлова, не бывшие на погребении. Спрашивали:

— Уже похоронили?

— Уже, уже, — отвечал нищий. И, пройдя мимо людей, снова принуждся перекиривать ветер и глотать пыль.

Наконец умолк и шел, пока не оказался далеко за селом, в поле.

Нашупывая дорогу палкой, цепляясь за кусты боярышника, за легкие, как золотая пыль, метелки донника, дед выбрал место в борозде под грушей и уселся. Неведомо зачем шел, неведомо почему остановился и сел здесь.

Ветер здесь был тише, налетал только порывами, качал высокими травами, сбрасывал дикие груши деду на плечи, и они прыгали как живые.

Сидя в благоухающей траве, он говорил себе:

— Как разрослось все, как разрослось! Какая земля у нас благодатная.

Глядел с веселым одобрением на огромный колючий чертополох, на суетливых шмелей, цеплявшихся за все, что росло здесь, на белую повилику, сплывавшую с боярышника, на приятно пахнущую ромашку и мелкие алые гвоздички, на все остальное, что пышно цвело вокруг. От всей души любовался на это буйное цветение.

Густав Морцинек

ШАРМАНЩИК



ГУСТАВ МОРЦИНЕК

Густав Морцинек (род. в 1891 г.), современный польский писатель, уроженец Верхней Силезии. Литературную деятельность начал в тридцатых годах, выступив в периодической печати с циклом рассказов, посвященных жизни польских шахтеров и горнорабсчих, собранных позже в книгу «Сердце за дамбой». В этих произведениях он реалистически изобразил тяжелое положение трудящихся в условиях панской Польши, где вся угольная и горнорудная промышленность принадлежала иностранным концессиям и картелям. Однако, изображая невыносимую эксплуатацию рабочих, Морцинек ограничивался критикой существующих порядков, не пытаясь давать более глубоких обобщений и указывать путей борьбы с польским капитализмом. Более того, он иногда сбивался на пропаганду тех идей, которые были краеугольным камнем политики Пилсудского.

Наибольшей популярностью пользовался роман Морцинека «Пройденный штрек», в котором писатель показал жизнь польских шахтеров. Ему принадлежит также ряд книг для детей.

Гитлеровская оккупация и события второй мировой войны многому научили писателя. После освобождения Польши Советской Армией и установления народно-демократической власти Морцинек одним из первых включился в ряды польской интеллигенции, борющейся за создание новых форм жизни в стране. Его послевоенные произведения и активная политическая деятельность свидетельствуют о том, что писатель нашел свой идеал и стремится к его претворению в жизнь. Но и среди прежних произведений Морцинека есть немало таких, которые помогают читателю понять всю глубину происходящих в Польше перемен, и в первую очередь это касается его новеллы «Шарманщик».



ШАРМАНЩИК

Все были крайне обеспокоены, только безногий Калябус ни о чем не беспокоился.

— Еще такого не бывало, чтобы хоть как-нибудь да не устроилось! — убежденно говорил он, и горняки с уважением слушали его, этого человека без ноги.

Шахта опустела уже давно, еще несколько месяцев тому назад, когда последняя вагонетка угля была выдана на-гора. С того времени и бездействовали на отшлифованной тысячами ног блестящей каменной площадке заброшенные, безнадзорные шахтные механизмы. Возле них возился только кривой Глушек, протирал их пучком пакли, смазывал и не давал им ржаветь.

Раз в неделю в машинном зале наступал большой праздник, а в котельной раздавался сердитый крик лысого Кубошека. Семь котлов бездействовали, под восьмым с самого утра разжигали огонь, и Кубошек следил за

работой манометра. Когда манометр начинал действовать и стрелка подходила к красной черте, а из клапанов котла начинал вырываться пар,— он парадно восседал на истрепанном высоком металлическом кресле, открывал вентиль, схватывал жадными руками, как шофер баранку, блестящее колесо регулятора пара и ждал.

Когда, наконец, над его головой раздавался звонок, он медленно поворачивал штурвал, и машина будто просыпалась.

В шахту спускались смотрители и штейгеры, несколько часов бродили по гулким галлереям и проходам, заглядывали во все уголки, освещали фонарями своды, осматривали крепления, на четвереньках залезали в забои, удивлялись разрушению, беспокойно постукивали по стенкам, затем с облегчением возвращались к стволу и гурьбой поднимались наверх.

Позднее, в канцелярии, штейгеры писали саженные рапорты, невольно радуясь тому, что и пан заведующий шахтой будет чесать себе голову, будет бегать от окна к окну, бормотать какие-то немецкие проклятия и волноваться еще сильнее, нежели сами шахтеры.

Около ворот штейгеров ожидали шахтеры.

— Как там с моим пластом, пан штейгер? — спрашивал один.

— Считай, что его и нет. Сдавило так, что и мыши не пролезть!..

— А в пласте Гильды?

— Хо-хо!.. Воды по пояс!..

— Проклятье!

— Да!.. По пояс, а может, и выше!..

— А что на наклонной галлее у третьего спуска?

— Ничего, стоит. Даже стойки грибами обросли!..

— А когда же все это кончится?

Штейгер сожалеюще смотрит на спрашивающего, пожимает плечами, лениво сплевывает и отрывисто хохочет.

— А это ты, дурной чорт, спроси у своей бабы!.. — и степенно отходит, уверенный, что хорошо ответил. Действительно: откуда он может знать, когда кончится безработица?.. Глупый вопрос!..

Безногий Калябус тоже расспрашивал штейгеров, что там делается в шахте, хотя и работал уже больше года

наверху в табельной. Когда его товарищи беспокоились, что шахта приходит в упадок, он совсем не волновался, больше того — радовался: «А пусть, бестия, обвалится!» и стучал деревянной култыжкой по каменистой дороге. Тогда все смотрели на его ногу и соглашались с тем, что Калябус, пожалуй, прав.

Из-под помятой штанины безногого выглядывал конец деревяжки, плохо скованной внизу, черной и ветхой. Над коленом штанина вздувалась уже незначительно. Каждый знал, что там кончается деревянная култыжка и начинается настоящая нога.

— Калябус, а как это было с вашей ногой?—спрашивали товарищи.

— Да ведь знаете сами?..

— Ну, знаем, а вот этот парень не знает! — указывали товарищи на кого-либо, кто и в самом деле не знал этой истории.

— А на шарик дашь?

— Дам!

— Ну, давай! — и Калябус жадно протягивал пальцы к мешочку с табаком.

Набирал добрую щепоть, скатывал ее в шарик и закинул в рот. Потом, смакуя, долго жевал табак, густо сплевывая желтой, вонючей слюной и рассказывал. Присутствующие ждали только конца, зная, что это самое интересное и смешное.

— ...и ладно. Сдавалось, что уже конец мне. Нога лежит под камнем, а камень такой большой, как сто дьяволов... Товарищи стараются изо всех сил, а камень — хоть бы что!.. А пан инженер говорит, что дело плохо... Ну, потом прилетел тот худющий Вытшенс и говорит, что знает, чем помочь... «Ну, так скажи, чорт!» — говорит пан инженер. И что же вы думаете сделал этот бестия?.. Взял такой фланшенцуг, пан инженер — тот назвал это каким-то сложным блоком... Ну, да, знаете — тот, что поднимает грузы или вагонетки... или еще что!..

— Знаем, знаем!

— Ну, вот и ладно!.. Тот блок привязали к стойке, цепь притянули к ноге...

— А почему не взорвали камень динамитом?..

— Глупый ты, как козел!.. Если бы взорвали, то меня бы убило, да?.. Так вот я и говорю... ногу привязали к цепи, а потом начали этим блоком тянуть. Тянут, тянут... я кричу, как дикий осел! Ну, потом у меня потемнело в глазах... А когда меня в госпитале воскресили, уже ноги не было!.. Оторвали мне ее, как будто из теста была слеплена!..

— А потом что?..

— ...потом приходит в госпиталь тот худющий чорт, Вытшенс, и спрашивает, как я себя чувствую... Ну, я молчу. Потом и говорю ему: «Наклонись-ка, чорт, скажу тебе!» Он наклонился, а я ему хрясь в морду!.. — «Вот, говорю, тебе, чорт морской, за ту мою ногу, что ты оторвал!»

— Ну, да — говори!.. Так и сделал?!

— Точно так! Так и сделал!.. Ну, Вытшенс уставился, как дурак, а я его еще раз — трах в морду!.. Получай, чорт морской, за мою ногу!..

Шахтеры давились смехом, их забавляло, что Калябус таким необычным способом отблагодарил Вытшенса за свое спасение.

Случай тот долгое время был предметом разговоров на шахте. Его живо обсуждали, и каждый удивлялся необычайной выдумке Вытшенса. Те, которые присутствовали при спасении Калябуса, объясняли, что по существу не было другого выхода. Вернее, было два выхода: либо отравить Калябуса, стонущего в окровавленной пыли, с ногой, придавленной огромной глыбой песчанника, либо все равно отнять ему ногу.

— Это ему, однако, мог сделать врач! — говорили те, что никогда не спускались в шахту.

— Эх вы, глупые! — объясняли шахтеры. — Как же это спустить врача в шахту, когда случай произошел далеко от ствола, человек едва дышит, истекает кровью, а на голову сыплются куски с разрушенного свода?.. Ждать, пока остальное завалится и совсем парня придавит?.. И так уж опасность грозила тем, кто его спасал...

— А Калябус совсем не вопил, — поясняли другие, — потому что когда его ударило и придавило ногу, он уже был без сознания. Потом только, правда, он стонал и мычал, как корова при отеле!

Присутствующие недоверчиво качали головами, шахтеры же торжествовали — «вот, мол, какие мы люди!»

С того времени прошло больше года, а Калябус все не мог простить Вытшенсу потерянной ноги. И хотя друзья доказывали ему, что если бы не Вытшенс, то не выйти бы ему живому из-под камня, — Калябус все время таил вражду и месть в своем простецком сердце.

— Не прощу! — упорно говорил он. — Не прощу этого, будь ты хоть сам дьявол!..

Кроме того, что ни день — вырастала в нем ненависть и к шахте. Теперь он радовался, что вследствие остановки работ обваливаются своды в галлереях, что крепления забоев ложатся вповалку, раздавленные тяжестью обвала, что вода заливает нижние горизонты и что если так продолжится еще с год, то шахта «сдохнет», как он говорил.

После излечения Калябуса определили в табельную у спуска в шахту. Здесь он отбирал и выдавал горнякам номерки. А когда все шахтеры спускались вниз, он сдавал рапорт штейгеру.

— Номер 87 — пьяный, на пласт не вышел! Номер 378 — баба у него родила, пришлось остаться дома... Номер 35 — лодырничает, даже на соленую воду не работает, дьявол!.. А номер 521, пан штейгер, настоящий котище!.. Полез куда-то к девочке, она и скрутила его по рукам и ногам — даже на работу не вышел!.. Номер 201 — вчера убит в третьем горизонте.

Калябус перечислял по порядку каждый рабочий номер, каждую марку, почти в одиночестве блестящую на черном крючке посреди огромной, тоже черной табельной доски. Штейгер тут же записывал фамилии владельцев марок в замазанную угольной пылью книжку.

Калябус не пропускал ни одного случая, чтобы чем-нибудь не досадить Вытшенсу. Когда последний подходил с лампой к кошку табельной, все шахтеры, находившиеся поблизости, настораживались и ждали. Калябус всегда выкидывал что-нибудь такое, над чем можно было вдоволь посмеяться. Однажды он подал Вытшенсу его марку, измазанную снизу навозом, в другой раз окунул марку в серную кислоту, а как-то даже накалил медяш-

ку на огне лампы и, когда Вытшенс протянул за ней руку, Калябус снял марку проволокой с огня и бросил ему прямо на ладонь. Вытшенс сыпал проклятьями, страшно бесился, обещал переломать ему ноги, а Калябус удовлетворенно хохотал и стучал крюком по своей деревянной култыжке.

— Это тебе за мою ногу, сатана отъявленная!—кричал он.— Это за мою ногу!..

Затем наступила безработица, и Калябус уже потерял возможность издеваться над Вытшенсом.

— Хо-хо! — говорил он, сидя с приятелями в кабачке.— Это ничего! Он меня еще вспомнит!..

Шахтеры думали, что еще плохого может он учинить Вытшенсу. Все знали, что Калябус не способен на такую месть, которая могла бы возмутить людей против него.

— Не убьет же он его,— успокаивали они друг друга,— нет, не убьет! Он все же неплохой человек. Побить Вытшенса — куда там, не справится,— мешает деревяжка... Разве что разбить окна камнями или отравить собаку. Да на это он не пойдет, ведь у Калябуса все же доброе сердце...

Потом настали худые времена, когда шахтерам пришлось копать землю и добывать уголь для себя.

За шахтой, на бесхозяйном песчаном пустыре, копали они свои нищенские «шахты». Огромное пространство бесплодной земли было изрезано оврагами, ярами и впадинами, местами наполненными гниющей водой, в которой тонули иной раз дети и разлагались трупы дохлых собак. Здесь даже сорная трава не могла расти и только ребята устраивали жестокие побоища, разбивая друг другу головы камнями и поднимая адокий крик и вой. И вот теперь этот бесхозяйственный пустырь зачернел, как людской муравейник.

Шахтеры копали глубокие колодцы, устраивали над ними козлы, сбитые из досок, на козлах ставили коловороты с навитой на них веревкой, к которой привязывали старые ведра и спускали импровизированные «бадьи» в свои горе-шахты. На дне колодцев трудились опытные старые шахтеры. Они прорубали проходы в пласте угля, подрубали стенки, забивали клинья и ссыпали выработку

в ведра. Задевая за стенки, ведра ползли вверх по узкому горлу колодца, поднимались на поверхность и радовали глаза людей надеждой на возможность хоть немного заглушить ненавистный голод.

Забойщики укрепляли своды немногочисленными стойками, трудно дышали в сладковатом угольном угаре. Нагие до пояса, они сильно потели и частенько посматривали наверх, не рушится ли свод на голову, не грозит ли обвалом. Свод только поблескивал в красноватом свете карбидных лампочек, как бы спеленутый черным туманом, и чуть слышно потрескивал.

Затем в колодцах обнаружился угольный газ: метан. Двух шахтеров подняли наверх без признаков жизни. Тогда при входах в «шахты» появились кустарные, собственной выдумки, вентиляторы. Сделанные из консервных банок и приводимые в движение рукой или ногой, ворочали они своими смешными жестяными крыльями, а от них, по старым заржавелым трубам, проникал слабый ветерок, оживляя измученные легкие веяньем наружного воздуха, и разрежал газ.

Калябус, как и все, имел свою нищенскую «шахту». Назвал он ее громко: «Президент». Сообща с тремя товарищами он тоже «добывал» уголь. Двое из них усердно копались под землей, сам он совместно с молодым Вавжицким крутил коловорот, чаще же выполнял эту работу один, так как Вавжицкий должен был «делать ветер», то есть нагнетать воздух через «вентиляционную установку».

Когда Калябус в одиночку работал на самодельной лебедке, он упирался деревянной своей култыжкой в землю, напирал плечом на рукоять коловорота и надсадно крутил его.

За углем приезжали крестьяне, покупали его за бесценок, а Калябус сыпал тяжкими проклятиями и жаловался, что мало зарабатывает.

Потом случилось, что раз и другой вместо угля вытащили из «шахты» человеческие трупы. Некоторые были уже тронуты тлением, другие — окровавленные, но с еще теплящимися остатками уходящей жизни, иные — изуродованные, раздавленные.

Такая «добыча» случалась все чаще. Одновременно и

управление шахтой начало принимать свои меры, добиваясь, чтобы власти ликвидировали «шахты».

— Они создают нам конкуренцию! — вопили господа из дирекции.

— Чересчур много смертных случаев — вторила им угодливая пресса.

Наконец явилась полиция, с ней пришли штейгеры с динамитными патронами, и «шахты» были уничтожены. Прodelьвалось это просто: в каждый угол колодца всаживали по одному заряду, зажигали бикфордов шнур и уходили. Шнур горел рыжим огнем, полз по земле, сыпал темными искрами, а потом к небу вздымалась огромная и тяжелая туча черной пыли.

Через несколько дней на бесхозном пустыре зияли огромные воронки и еще бóльшие впадины, еще более глубокие ямы.

Неподалеку стояли шахтеры, смотрели на уничтоженные «шахты», до боли стискивали кулаки и яростно чертыхались.

В семье Калябуса наступил голод. Страшный, трижды проклятый голод. Жена ревела и громко жаловалась на свою судьбу. Только теперь Калябус начал волноваться. Его двенадцатилетний сынишка, не обращая внимания на грозные события, продолжал снова бегать на освободившийся от горняцкого «нашествия» пустырь, камнем разбивал головы своим сверстникам, а они ему, — и все это должно было означать войну между немцами и поляками.

— Знаешь что, старая? — сказал Калябус жене, когда уже совсем нечего стало есть.

— Что?.. — всхлипнула та.

— Пойду за подаянием!.. С моей деревянной ногой... мне люди скорей подадут грош, а?

И пошел.

Странствуя, он неторопливо ходил по деревням, заглядывал в халупы, просил хлеба или пару грошей, а вечерами и ночлега. Сначала он не мог сжиться с новой «профессией», несмело входил в дома, робко стучал в двери или ворота и, когда кто-нибудь отворял, несвязно бормотал свою просьбу и стучал деревянной култыжкой по плиткам пола в сенях. Потом он немного привык.

Умел уже по первому взгляду определить: отправят его ни с чем или подадут что-нибудь. Однако мысль, что он опустил до положения нищего, его угнетала.

— Эх, чорт! — ругался он про себя, греясь на солнышке возле дороги и считая собранные медяки. — Это я, старый шахтер, должен теперь дверные ручки чистить?!. Какой поганный конец уготован человеку!..

Ему стало несколько легче, когда он доплелся как-то до одинокой халупы около леса и попросился там на ночлег. Хозяин долго не хотел его пускать, но, наконец, сжалился и позвал в хату.

— Не хотел вас пустить — и так уж у меня лежит один в сарае... — пояснил он.

— Что за человек?

— А черти его там знают!.. Какой-то старый нищий... Пришел с шарманкой, лег под сараем и упокоился. Была комиссия, сказали, что капут ему!.. Велели мне положить труп в сарай, а завтра приедут за ним из Катовиц...

— А шарманка?..

— Да она там, при нем...

— Так я ее себе возьму, а?..

— Берите!

Утром Калябус сходил в сарай, прочитал над трупом молитву, поднял старое платье, которым был накрыт покойник, горестно вздохнул, потом взял на спину шарманку и пошел. По дороге он встретил повозку, едущую за умершим нищим.

С этого дня Калябуса уже не мучила совесть. Он останавливался где-нибудь посреди деревни, перед облюбованным им домом, и начинал играть. Шарманка хрипела, в ее репертуаре не было ни псалмов, ни духовных напевов — одни только странные какие-то мелодии. Калябус слышал их еще давно, из окна дома пана инженера, когда стоял на дороге и наблюдал, как инженерова дочка крутит маленькую ручку граммофона. Панна напевала при этом что-то о тоске, о бубликах, о Ревекке и о том, что боится спать одна.

Бабы, слушавшие диковинную музыку, заламывали руки и долго чертыхались, а парни, толпившиеся поблизости, подпевали песенкам, а потом и насвистывали их.

Мелодии, непрерывно наигрываемые шарманкой, понравились Калябусу. Были они какие-то и грустные, и плясовые, так что он во время игры покачивал головой в такт музыке и мерно двигал бедрами, забывая про свою деревянную ногу.

Около шарманщика постоянно теснилась огромная толпа детворы, девушки выходили из домов, выносили ему куски хлеба, намазанного маслом, или порядочный кус колбасы и несколько грошей. Парни, что постарше, скользили взглядами по девичьим фигурам, небрежно облакачивались на изгородь и также покачивали в такт головами и насвистывали напев.

Через неделю Калябус вернулся домой. Принес несколько золотых, большой кусок сала, кольцо колбасы и флягу водки.

Сошлись шахтеры. Все были чрезвычайно удивлены, что Калябус явился с шарманкой. На языке у них острыми иглами топорщились проклятия, слова горькие, полные обиды и гнева на голод и безработицу, слова, которыми они хотели пожаловаться ему на собачью жизнь. Но Калябус не слушал их. Вернее, не хотел слушать: слишком много видел и слышал он во время своего недолгого путешествия.

Он молча установил свою шарманку на козлы, и коловорот ручки потянул за собой мелодию. Шахтеры начали вслушиваться. Потом прибежали дети; за ними приплелись и бабы, худые и измотанные нуждой; за бабами девчата и парни. Калябуса окружили тесным кольцом и слушали, а он, постукивая в такт деревянной своей култыжкой, улыбался всем и мерно покачивал головой.

Шарманка пищала и хватала воздух, как человек, задохнувшийся угольной пылью, а из-за красных занавесок, натянутых на переднюю ее стенку, лилась странная мелодия, заставлявшая людей забывать тоску, точащую сердце. В потускневших глазах людей снова начали поблескивать живые огоньки, поднимались понурые головы, перед глазами как бы открывался далекий мир, где нет безработицы, нет голода.

Старые шахтеры припоминали давние годы, женщины вздыхали и, казалось, видели: весенняя ночь... они мол-

ды и хороши, их груди полны, кровь горяча... вот лежат они на пахучем сене в сладком изнеможении, перебирают горячими пальцами волосы на чьей-то юношеской голове...

Девушки лениво изгибали стан, тайком поглядывая на парней. Парни отвечали взглядами на взгляд, усмехались своим мечтаньям.

Закончив игру, Калябус встал и пошел в дальний конец шахтерского поселка.

— А что слышно с Вытшенсом? — спросил он товарища, который его провожал (с ним он когда-то работал в одном горизонте).

— Гм... Вытшенс... Разве не знаете?

— Не-ет...

— Гм... Вытшенс скоро поедет!..

Калябус даже приостановился и недоверчиво посмотрел на приятеля.

— Это ему за мою оторванную ногу... — буркнул он.

— Эх, Калябус! И к чему плести такое!

Они прошли часть дороги в молчании. Калябус думал о Вытшенсе, которому скоро умирать. Не знал он теперь — радоваться ему или сожалеть. Жалко ноги, но и Вытшенса, пожалуй, тоже... Его вражда к Вытшенсу походила теперь на запыленное окно, сквозь которое пробиваются лучи солнца. А может быть, это и не было враждой?.. Жалко только, что...

Калябус задумался потому, что не мог найти ответа: какое это было чувство?

— Так вы, Копочко, говорите, что Вытшенс скоро... поедет?

— Угу...

— А что ж его так доняло?

— Чахотка. Доктор говорит, что это какая-то скоротечная чахотка...

— А отчего?

— От голода... Голодал бедняга. Здорово голодал!.. Ну, потом еще простудился, когда из своей «шахты» поднялся потный наверх. Было это еще с самого начала, как только стали копать... Ну, еще холодно было! Поднялся сильно потный, без рубахи... Ну, такой глупый!.. Вот и поедет теперь!

Калябус уже не чувствовал неприязни к Вытшенсу. Он даже не обижался на него за оторванную ногу.

— Да, это правда! — бормотал он. — Если бы не Вытшенс — не было бы меня на свете!

Он попрощался с товарищем на перекрестке дороги и зашагал к дому Вытшенса.

Около крыльца увидел он его жену. Под стеной халупы, освещенной солнцем, лежала разобранный деревянная кровать. Женщина лила кипящую воду в ее щели и углы.

— Добрый день, пани Вытшенс! Как поживаете? — спросил Калябус.

Тошая Вытшенсиха вытерла фартуком нос и горько вздохнула.

— Как горох при дороге...

— А что делаете?

— Шпарю клопов. Они, змеи, рады бы совсем сожрать моего малого!

Он стал около нее, наблюдая, как женщина тонкой лучинкой копалась в щелях кровати. Из щелей выползали большие, растолстевшие, рыжие клопы. Вытшенсиха тотчас же хватала горшок с водой и выплескивала ее на них. Ошпаренные клопы падали на землю. Две курицы с жадностью глотали их.

— А как старик?

— Войдите, посмотрите на него!

Калябус вошел в хату и снова почувствовал, что уже нет в нем прежней неприязни к Вытшенсу.

Вот он лежит навзничь, на убогой, подпертой кирпичом кровати, и дышит тяжело, с хрипом. Лицо его желтое, осунувшееся, глаза воспаленные и запавшие. В них еле теплится жизнь.

— Как вы себя чувствуете, Вытшенс?

Больной с трудом поднял голову и зашелся сухим, тяжелым кашлем. Выплюнув черный сгусток крови, он снова лег и посмотрел в потолок.

— Собираетесь в последний?..

Вытшенс подтверждающе кивнул головой.

— Ну, ну — куда торопиться! Каждый туда пойдет... Я тоже!

Вытшенс чуть поднял руку и тяжело опустил ее. Калябус понял, что больной равнодушен к его шутке.

— Хотите водки?

Тот отрицательно покачал головой.

— А помните... ногу мне оторвали?.. Вот эту! — Калябус высунул свою деревянную култыжку из штанины.

Вытшенс посмотрел на деревяжку и ничего не ответил, а Калябус поставил свою шарманку на козлы и установил механизм на самую красивую из ее мелодий.

— Хотите, я вам сыграю?

Вытшенс с усилием кивнул головой.

Калябус обрадовался. Ему казалось, что если он сыграет Вытшенсу перед смертью, то душа его не будет мучиться ни в аду, ни в чистилище, а пойдет прямо в рай, на небо, как бы по ровному проходу к стволу. А потом подойдет к площадке, посмотрит вверх, станет в клеть и... фьюить в небо!.. Как заправский забойщик, возвращающийся на-гора.

Калябус улыбался этим мыслям, искренне радуясь их стройности — хорошо придумано! Потом стал к шарманке, оперся на ящик локтем, а правой рукой взялся за рукоятку.

— Ну, так слушайте, Вытшенс! Будет чудесная музыка! Под такую и умирается легче...

И заиграл. Шарманка сначала протяжно заскрипела, потом пискливо вздохнула, а затем уже по комнате потекла медленная, ритмичная, грустная мелодия танго. Она легко, как бы на кончиках пальцев, скользила по хате. Нежная и ласкающая, она наполняла смрадный воздух комнаты ароматом неведомых цветов. Иногда шарманка скрипела испорченным механизмом, иногда тяжело сопела, но потом мелодия снова текла размеренно, тихо, усыпляюще.

Вытшенс слушал. Сперва моргал веками, поворачивал голову на подушке, чтобы лучше слышать, поглядывал на шарманку, но потом начал тяжело дышать, как бы борясь с кем-то или одолевая какую-то придавившую его тяжесть. Исхудалые пальцы сплелись, потом устало упали на одеяло.

А Калябус все играл. Он заслушался знакомым мотивом, поддался овладевшему им видению: вот он снова

шагает по той галлерее, о которой думал перед этим. Двигаясь, он мерно покачивает зажженным шахтерским фонарем, тени причудливо скачут по стенкам в полушаге от него, а за ним следом ступает душа Вытшенса. Идет она с зеленоватым лицом, изнуренная, шатающаяся от изнеможения, как уставший доотказа, возвращающийся наверх забойщик...

Шарманщик кончил играть. Заскрипела последняя нота мелодии, музыка оборвалась, и наступила тишина.

Калябус посмотрел на Вытшенса.

Тот лежал навзничь на кровати, уже похожий на труп, тяжело дышал, плотно закрыв глаза и крепко сжав веки, а ладони его были стиснуты, будто хотели удерживать уходящую жизнь...

Адольф Рудницкий

КОНЬ



АДОЛЬФ РУДНИЦКИЙ

Адольф Рудницкий (род. в 1909 г.), современный польский писатель, литературную деятельность начал в тридцатых годах, выступив в демократической печати с рассказами из жизни польских ремесленников. Широкую известность приобрел после опубликования психологической повести «Крысы» и повести «Солдаты» (1933), в которой дал яркую картину жизни польской казармы времен диктатуры Пилсудского, разоблачающую буржуазный национализм польской военщины, тяжелое положение национальных меньшинств в армии, изощренную систему издевательств над человеком. Повесть эта была переведена на русский язык и известна советскому читателю.

Рудницкий был участником литературной группы «Предместье», вокруг которой группировались все наиболее передовые писатели Польши тридцатых годов, и занимал в ней одно из ведущих мест. На материале первых дней польско-германской войны 1939 года он написал цикл новелл «Сентябрь», как бы являющийся продолжением повести «Солдаты». Цикл новелл «Шекспир», изданный отдельной книгой в 1948 году и описывающий жизнь еврейской интеллигенции в условиях гитлеровской оккупации Польши, был выдвинут на соискание премии журнала «Возрождение» и получил высокую оценку квалификационной комиссии.

В настоящее время Рудницкий активно работает в созданном после освобождения Польши Союзе польских писателей и часто выступает как публицист на страницах рабочей печати.



КОНЬ

I

Положив узелок на порог, чтобы освободить руки, портной Якуб Каган запер дверь квартиры на замок и направился к своему соседу, сапожнику Пфенигу.

— Здравствуйте, — сказал он, входя в маленькую комнатку, служившую одновременно и мастерской, и кухней, и спальней.

— Здравствуйте, в дорогу, вижу, собрались? — Сапожник перестал стучать молотком, чтобы не заглушать слов.

— В дорогу, — подтвердил портной. — Семь лет в моем возрасте — это немалый кусок жизни. Хочу повидать его перед смертью.

Сапожник Пфениг знал, о ком идет речь.

— Мириам, — обратился портной к девочке, стоявшей у печки, — уезжаю и отдаю ключ в твои руки. Оставляю тебе несколько грошей на молоко для кошки. Загляды-

вай к ней, скучно ей будет без людей. Не прошу тебя взять ее к себе, боюсь, как бы мыши у меня не расшалились.

— Все будет в порядке, — ответила девочка. — Не беспокойтесь о доме, сделайте все, что вам нужно, и возвращайтесь благополучно домой. — Немного погодя она добавила: — Привезите вашего сына Захариуша. Интересно, узнаю ли я его? Ведь он носил еще меня на руках. Скажите ему, что мы все ждем его.

— Прощайте, — сказал Якуб Каган, протягивая сапожнику руку.

— Прощайте... — ответил сапожник. Он не любил да, может, и не умел разговаривать. В городе его прозвали Тихоней.

— Всего доброго, — добавила девочка. Она была бледная, а глаза у нее были большие, зеленые, приводившие всех в изумление: большие зеленые глаза встречаются редко.

Было, наверно, часов шесть вечера. Жара начинала спадать. Портной Каган обошел домик и зашагал по грязному двору, загроможденному бочками с керосином. Домик, двор и бочки принадлежали пани Котовской, одинокой и очень богатой женщине. Домик был ветхий, пригодный скорее под склад для бочек с керосином, чем для жилья, но портной Каган и сапожник Пфениг были люди непритязательные. Горбатый Виктор, приказчик Котовской, прервав на секунду работу, удивленно посмотрел на старого портного, который быстро прошел мимо него и направился — глухими и безлюдными переулочками — к вокзалу.

У Якуба Кагана сегодня был праздничный вид. Пожалуй, слишком праздничный, так как не гармонировал как-то с его серым, изможденным лицом и остроконечной, поседевшей уже бородкой. На нем был черный лапсердак, круглая бархатная шляпа, штиблеты — весь его праздничный наряд, который он извлек из шабасового шкафа. В тех местах, где нет евреев, его могли бы принять за ксендза. Он воткнул палку в узелок, в который были уложены смена белья, буханка хлеба и щепотка соли, и перекинул его через плечо, как это делают крестьяне.

Он уезжал к сыну.

В последние годы он все чаще, затормозив педаль своей машины, останавливал рукой ее колесико и предавался тяжелому раздумью. «Я одинок,— говорил он себе,— один, как камень. Так одинок, что нет уж охоты ни жить, ни работать».

После смерти жены люди советовали ему жениться вторично:

— Где это слыхано — еврей без жены? Дом без еврейки?

Еврей без жены, что человек без руки, дом без еврейки, как телега без колес.

Но Якуб Каган был очень привязан к своему сыну Захариушу, которого из-за его огромного роста прозвали Конем. Отец был маленький, тщедушный, как недоразвитый ребенок, а сын, наоборот, огромный. У него были плечи атлета, руки, как у грузчика, волосы, словно у девушки, глаза, точно у младенца, и выглядел он, как великан, о котором говорят, что он похож на большое дитя. Кроткая улыбка не сходила у него с лица. Якуб любил своего сына и постоянно твердил себе: «Нет, не будет у него мачехи».

Сват частенько заходил проведать упрямого глупого еврея, который забыл, что и по закону-то ему нельзя жить без жены. А то как же! Зачем же тогда женщины? Приходил и уходил ни с чем.

Отец и сын сидели, бывало, друг против друга. Сын пел, отец думал: «Мой Конь поет, как птица...» Отпустил он его от себя тогда только, когда другого выхода не было, когда уж до петли доходило.

Под вечер Якуб Каган бросал обычно работу и отправлялся молиться вместе с другими портными.

— Отец,— сказал однажды Захариуш,— все-то ты к богу норовишь, а ведь умные люди давно доказали, что бога нет.

Ничего на это не ответил старик, весь день молчал. После смерти матери Захариуш спал на ее постели. Якуб Каган лежал и молчал, переворачивался с боку на бок, порой глубоко вздыхал, но ничего не говорил. В конце концов, однако, не выдержал и сказал глухим голосом:

— Стало быть, у тебя это уже так далеко зашло.

— Разве ты хочешь, чтобы я тебе лгал? Да, я человек сознательный.

— Сознательный человек в восемнадцать лет... Уже не сделали ли тебя сознательным те сходки, что собираются на задворках пекарни Гонсиоровского? Захариуш, — повысил он голос, — стало быть, ты начинаешь впутываться в такого рода дела?

Захариуш приподнялся на постели.

— Отец, — спокойно ответил он, так как в любом положении умел сохранять спокойствие, — это обязанность всякого трудящегося и мыслящего человека. Когда надо перестраивать мир, каждая пара человеческих рук может пригодиться.

— Выходит, ты хочешь перестроить мир? Захариуш, дикий конь! У тебя руки не для того, чтобы перестраивать мир, а для того, чтобы шить брюки. Не впутывайся, слышишь, не впутывайся! Люди не любят этого!

— Мне кажется, отец, что уже поздно говорить об этом. Сегодня днем арестовали Давида.

Якуб Каган не на шутку испугался:

— Давида, твоего товарища? — он вскочил с кровати, прошелся несколько раз по комнате и вдруг принял решение.

— Послушай, ты уедешь в Варшаву. У меня там есть знакомый, на улице Новолипки, Зельманович, портной, такой же, как мы. Напишу ему, он позаботится о тебе. Да в конце концов ты уже не ребенок, сам можешь заработать себе на хлеб. Когда все успокоится, вернешься.

Захариуш уехал. Да, Якуб Каган признавал, что решение его было неправильное, безумное. Какой выход он нашел! Отослал сына в Варшаву, туда, где все портные красные. Но когда он понял это, было уже слишком поздно.

Сын поселился у Зельмановичей, работал вместе с ними и подружился с Рубином Зельмановичем, который был старше его. По письмам Якуб Каган догадывался, что Конь не только не оставил опасных мыслей о «перестроении мира», а наоборот, увязал все глубже. В чем состояло это «увязание»? Этого Якуб Каган не понимал как следует, но говорил про себя: «Сделался красным,

коммунистом». Его бросало в дрожь от этого иностранного слова, и, хотя он произносил его правильно, оно всегда звучало для него необычно.

Бранил сына, как только мог. «Захариуш, — писал ему, — Конь, ты скачешь вслепую на свою и мою гибель. Откуда у тебя такие мысли? Не давайте, — говорят умные люди, — не давайте детям красивых игрушек, не балуйте их, не приучайте к беззаботной жизни, ибо в этом источник всех несчастий. Приучишь ребенка к легкой жизни, и ребенок твой будет обречен на гибель. Но ты ведь играл обрезками материи, пуговицами, пряжками, черным хлебом питался, откуда же у тебя такие мысли? Говоришь о Варшаве, об Островской улице, Милой, Волинской¹, что это задворки, грязные задворки города, — а погляди, сколько людей живут там и как они счастливы... Ненасытность, завидующие глаза — вот в чем ваше главное несчастье. Не хотите довольствоваться малым и поэтому не видите радости в жизни. Слишком много книг позволял я тебе читать. По совести говоря, я предпочел бы, чтобы ты выучился на доктора. Беспокоят меня твои слова. По совести говоря, я предпочел бы, чтобы ты стал доктором... Шей брюки и выпрягайся. Не доедешь, Конь, не доедешь. Пусть люди идут своей дорогой, а ты иди своей».

«Конь, Давид еще видит. Несколько дней назад забрали Клейна, Вольфа... Были и у меня, спрашивали о тебе, ищут тебя. Плачут матери на Домбровской улице, отцы ходят с опущенными головами и молчат. До какого несчастья хочешь ты довести нас, Конь? Разве для того ты сменил адрес, чтобы издалека наслать на меня гибель? Не твое дело вмешиваться. Пусть другие ломают себе шею, а ты не вмешивайся...»

Захариуш написал в ответ:

«Отец, не только на Домбровской улице плачут матери. Плачут и на Новолипках, на Воле, и на Дикой. Повсюду плачут матери и молчат опечаленные отцы. Что же из того? Чем сильнее плач, тем светлее будет потом радость».

Около года длилась переписка. Якуб Каган хорошо

¹ Улицы в Варшаве, бывшие средоточием еврейской бедноты. (Прим. ред.)

помнил тот день: была пятница, метель, выюга, люди, проходившие по улице, были похожи на движущиеся холмики снега. Прервал работу, надо было пойти в лавку за сахаром, за свечами, потом в чулан за углем. Ругался. Нет, такая жизнь и вправду не в радость... Покупать, варить, мыть посуду, топить печку, выгребать золу, мыть пол. Да, в самом деле — еврей без жены, что человек без руки... Эх, только бы вернулся Захариуш, — повторял он про себя. — Женится, и, может быть, будем жить вместе... Посмотрим, как оно будет, — во всяком случае самому стряпать уже не придется... Поставил варить обед и снова принялся за работу. Снег все валит да валит. Нет, сегодня никто уж к нему не придет. Вдруг дверь с шумом открывается, и входит почтальон. Письмо какое-то чужое. Не понравилось сразу ему это письмо. Рубин Зельманович сообщал об аресте сына.

Решетка?

Она не только Захариуша отделила от мира. Портной Каган мог теперь сказать, что она, эта решетка, вросла и в его жизнь. Он уже не чувствовал себя связанным, как прежде, с синагогой и с теми, кто ее посещал. Новые события заставили его посмотреть открытыми глазами на дела, которых он раньше старался не замечать. Они уже не были для него далекими, где-то за семью горами, не имеющими к нему, Якубу Кагану, никакого отношения. Наоборот, он принимал в них участие, самое горячее участие, если не сам, то плотью от плоти своей, своим собственным сыном. Он теперь был еще более одинок, чем прежде. Но чем глубже становилось его одиночество, тем сильнее начинал его интересовать недавно еще столь далекий ему мир, далекие люди, отдаленные события.

Страдал как отец — так, как может страдать за другого только связанный с ним узами самого близкого родства. Слышал, что в тюрьме бьют, — и он горячо молился, чтобы сына его пощадили. Как каждый отец, помнящий еще слабое тельце сына-младенца, он не мог представить себе взрослого сына здоровым и крепким. Думал о нем как «о хрупком глиняном сосуде». Сколько раз откладывал поднесенный ко рту кусок хлеба при одной только мысли, что его единственный сын, может быть, страдает сейчас от голода. Дошла до него весть, что Захариуша

три месяца держали в карцере за то, что не хотел надеть тюремную одежду. Целую неделю старый портной спал на голом полу. Только кошка, прогуливавшаяся по нему, как по неживому предмету, была свидетельницей его горьких слез.

Боялся поднять глаза, когда впервые ему разрешили свидание — через решетку — с сыном. Тюремный надзиратель сидел тут же. Не видел надзирателя, не видел сына. Уставился на пуговицу на его одежде.

— Захареле, — назвал его так, как называл в детстве, — Захареле...

Слезы душили его, но он держался.

— Здравствуй, отец, я очень рад, что ты пришел, — ответил сын таким голосом, словно беседовал, вернувшись домой свободным человеком.

Так он сказал. Но отец был старым человеком и понимал душу слов.

— Дитя мое, чего тебе здесь нехватает? — спросил он.

— Не все то, чего мне нехватает, можно передать, но не забудь о куреве.

— Что еще, дитя мое? Что еще? — поднял глаза.

— Успокойся, отец.

— Разве ты не видишь, что я уже совершенно спокоен, — и тут только он разрыдался.

Потом уже не плакал. Время от времени приезжал в тюрьму. Готовился к этим свиданиям, как верующий к молитве. Ездил, чтобы повидаться со своим таким большим сыном. Говорил ему:

— Уже месяцем меньше.

— Вот сам видишь, отец! — отвечал сын. — Пять лет ведь не вся жизнь.

Вскоре после освобождения Захариуш прислал письмо из Варшавы. Портной глубоко задумался над ответом. Первая мысль была — настоять, чтобы сын немедленно вернулся домой. Но ему все яснее и яснее становилось, что возвращение это — дело не простое. Сын его вступил на дорогу, с которой не захочет сойти. Дом в сарае Котовской не мог уже быть ему домом. Нужен был новый дом.

Дом! Якуб Каган понимал все отчетливее, что люди до тех пор могут жить спокойно, пока их дом — это дом,

гавань, тихое пристанище. Он сам — Якуб Каган — всё хуже чувствовал себя в своих клетушках, его мысли уже не умещались в них, убегали вдаль. Он не мог уже сказать себе: здесь живу, здесь умру. Наоборот, не хотел здесь жить, не хотел здесь умирать. Когда он получил известие о смерти старого Зельмановича, на него напала такая тоска, что он решил бросить все и поехать в Варшаву.

— Увижу его и вернусь, — говорил он себе, затаив в глубине души слабую надежду, что, может быть, удастся устроиться вместе с сыном...

Ночь в июле коротка, но езда тянулась бесконечно. Вначале в купе было тесно, затем стало пусто, а потом оно снова наполнилось людьми. Старый Каган время от времени погружался в дремоту, но когда просыпался, минуты казались ему часами. Тяжелые кошмары мучили его в минуты дремоты, кошмары, которые рассеивались в свете мечтаний о большом сыне с ясными добрыми глазами.

Поезд прибыл в семь часов. Утро давно уже расстиралось над полями, но в Варшаве оно было еще таким свежим, словно наступило только несколько минут тому назад. Центр города был похож на дом, который приводят в порядок после того, как его только что покинули гости. Кое-где можно было увидеть ночных сторожей с электрическими фонариками на груди и в плотно застегнутых плащах, как будто их пробирал ещё ночной холод. Тут и там мелькали в легких платьях уличные девицы со следами усталости на лице. Дворники поливали тротуары.

— Варшава... — прошептал Каган. — Значит, это Варшава. А где же здесь Железная улица? — Улица, расспросами о которой он успел надоесть всем своим спутникам. Улица, на которой жил его сын. — И далеко ли до Новолипок?

II

Квартира Зельмановичей на улице Новолипки помещалась на пятом этаже: две небольших комнатки с кухней были обставлены с той старательностью, которую проявляют бедняки, когда у них чуть-чуть поправляются дела. Отказывая себе в самом необходимом, приобре-

тают они «гарнитур» дешевой, но «шикарной» мебели: огромный шкаф, две кровати, два ночных столика, стол. Хорошие времена проходят, а мебель остается. Такая именно мебель из соснового дерева загромождала комнату, в которой находился сейчас Якуб Каган. Горящими, полными ужаса глазами смотрел он на Рубина Зельмановича и непрерывно повторял:

— Разве человек — булавка? Разве он такой маленький, как булавка, чтобы мог затеряться и чтобы неизвестно было, что, где и как? Разве он — булавка? Почему вы не смотрите мне в глаза?

Рубин, тридцатилетний мужчина, с худым и продолговатым лицом, с блестящими, полными сочувствия глазами, только один раз взглянул на Кагана, когда тот вошел в комнату. У него замерло сердце. Голова его была забинтована, и эта повязка сильно волновала приезжего. Неоднократно хотел спросить, в чем дело. Но не спрашивал, сам не зная почему.

— Это ведь не умещается в голове. — Каган приложил палец к виску. — Человек пропадает, как булавка. Выходит из дому, оставляет в комнате все так, как если бы через пять минут должен был вернуться, улыбается хозяйке, просит купить сахару и хлеба, оставляет на столе открытую книгу, недописанное письмо, сорочку на спинке кресла, выходит, говорит «до свидания», и никто не знает, что и как? Это ведь не умещается в голове. Двенадцать дней не подает признаков жизни... Где его искать? Может быть, он уехал? Но об отъезде он обыкновенно предупреждал. Может быть, переехал к кому-нибудь другому? Почему вы молчите? Почему вы даете мне говорить вместо того, чтобы говорить самому. Что я о вас знаю?.. Мой сын, но знаю ли я его?.. Я ведь ничего не знаю...

— Не знаю, — ответил Рубин, как бы припертый к стене. Подошел к окну, уставился на крыши домов. Боялся встретиться взглядом со старым отцом. — Не знаю... Еще ничего не знаю.

— Были здесь друзья у Захариуша? Женщина?

— Нет, у Захариуша не было женщины.

Наступило молчание. Портной Каган мерил комнату маленькими шажками. Несколько раз поднимал вверх го-

лову, как бы собираясь спросить о чем-то очень важном, но тут же опускал ее и снова принимался ходить по комнате.

— Вы ведь старые друзья?

— Да.

— Раз так, то скажите, посоветуйте, что делать? Где искать его в этом котле? На земле, под землей, где?.. Перестаньте смотреть в окно.

Рубин оторвал взгляд от крыш, посмотрел на комнату, на высохший олеандр, но не видел ни комнату, ни олеандр, ни человека. Сказал:

— Мы тоже его ищем. Всюду, где только есть хоть тень надежды...

Снова наступило молчание. Каган сел за стол, подпер голову рукой и задумался. Рубин окинул его теперь внимательным взглядом: такой слабый, как он все это выдержит?

— Случалось ли когда-нибудь, — заговорил Каган, глядя на повязку, — случалось ли когда-нибудь, чтобы он исчезал на некоторое время?

Рубин утвердительно кивнул головой, но тут же опроверг это:

— Нет, не случалось... Не помню...

— А может быть, его снова арестовали? Того, кто уже раз сидел, полиция из своих рук не выпускает, так я слышал...

— Нет, он не сидит, — тихо проговорил Рубин.

— И не исчез, и не сидит, так как же?

Рубин опустил голову.

Каган подскочил к нему:

— Вы ведь все знаете!.. Почему вы заупрямились и молчите? Отцу надо все рассказать!.. Отец должен все знать.

— Я... я не знаю, — ответил Рубин, как малый ребенок. — Мы ничего не знаем... Нужно подождать.

— Дал вам живого человека, единственного сына, и что вы с ним сделали?

— Не мы... Нужно подождать... Уже скоро...

— Кто это Стефан? — спросил вдруг Каган.

— Стефан? — Рубин вздрогнул. — Кто говорил вам о Стефане?

— Хозяйка с Железной улицы... Сказала, что это его близкий друг.

— Да, друг. — Рубин смотрел теперь прямо в глаза старому портному. — О нем... Еще несколько дней... Только несколько дней...

Портной Каган взглянул на побледневшее лицо товарища своего сына и сказал:

— Я вижу, что мне уже нечего ждать... Заездили вы моего бедного Коня...

III

День был знойный, город раскален, как печь, люди обливались потом, перебегали с солнечной стороны на теневую, мечтали о траве, о воде и — как в феврале, во время трескучего мороза — мечтали о доме, дом снова становился мечтой. Да, все хотели спрятаться, укрыться от солнца. Но Рубин приходил в ужас от мысли, что надо возвращаться домой. Он не работал сейчас, июнь плохой месяц для портных. Мать с младшим братом он отправил на одну из подваршавских дач, а дома его ждал Каган, которого он поселил у себя. Три дня прошло уже с тех пор, как он приехал. Нет, Каган не верил ему. Смотрел недоверчиво и повторял: «Вы все знаете». Хорошо еще, что не настаивал, что соглашался ждать. Но однажды подошел и крикнул ему прямо в лицо: «Расскажите мне все, все! Не хочу больше ждать!..» Однако сразу оборвал и будто успокоился.

Рубина он оставил в покое, а сам бегал по городу, советовался с людьми. Возвращался запыхавшийся, желтый, измученный, со всевозможными планами: «Надо дать объявление в газете, в кино, заявить в полицию». Бегал, как одержимый, по раскаленному от зноя городу, кружил по незнакомым улицам, возвращался с этими своими планами, но сам же и отбрасывал их: стоило ему взглянуть на Рубина, и становилось ясно, что все это бесполезно. По целым дням ничего почти не ел, бродил, вглядываясь в дома, в мостовую. С болью в сердце наблюдал Рубин, как мечется несчастный отец. Да, Рубин знал гораздо больше.

Вошел в квартиру. Три дня у Якуба Кагана в глазах был один и тот же вопрос. Рубин боялся этого вопрошающего взора. Прошло немало времени, пока он решился начать. Говорил тихо, но спокойно.

— Вы спрашивали о Стефане... Стефан был одним из главных в нашем движении. Он обладал всеми данными для того, чтобы стать во главе. После выхода из тюрьмы Захариуш только на короткое время вернулся к машине, потом встретился со Стефаном. Стефан взял Захариуша к себе и давал ему очень важные поручения. Взял его к себе и пленил. Захариуш сблизился с человеком, который олицетворял идею. Для чистых сердец нет большей радости, чем увидеть веру сердца, облеченную в плоть и кровь. Люди с маленьким сердцем, те не в состоянии поверить в превосходство человека, у которого глаза и нос такие же, как и у других. Порой кажется даже нецелесообразной эта законспирированность природы в ее высоких взлетах. У Захариуша было чистое сердце...

Якуб Каган слушал с широко раскрытыми глазами, как бы ничего не понимая.

— Захариуш любил Стефана так, как любят человека, который много дает и многому учит. Любил его улыбку, манеру разговора, походку; волна нежности поднималась в нем каждый раз, когда он повторял его слова. Когда переходили улицу, брал его за руку, как мать своего маленького ребенка. Он готов был ради него остановить уличное движение — от избытка уважения, от любви. Должен сказать вам, что как ни тяжела была его жизнь, Захариуш все же был счастлив...

— Был? — Якуб Каган весь затрясся. Вцепился в говорящего руками и приблизил свое измученное лицо к его лицу.

— Вы отец Захариуша Кагана, прекрасного, стойкого товарища. Не буду ничего от вас скрывать. Десять дней тому назад Стефан и Захариуш вышли вместе из дому. Шпики пристрелили их обоих. Тела бросили в реку. Недели тому назад вода выбросила труп Стефана. Мы похоронили его с подобающими почестями. Полиция устроила нам кровавую баню на кладбище, — на моей голове до сих пор остались еще следы... Сегодня мне сообщили,

что на улице В. лежит тело Захариуша... Нас ожидают трудности... Соберитесь с силами. Ваше присутствие...

Рубину не пришлось окончить фразу... Лицо портного Кагана смертельно побледнело, маленькая фигурка его зашаталась. Рубин подхватил его, словно небольшую, но тяжелую колоду, отнес на кровать и побежал за водой. Когда вернулся, вода уже оказалась ненужной. У портного Кагана глаза были открыты, он уставился в одну точку на полу. Кивком головы отказался от воды. Немного погодя омочил в ней руку и потерял виски. Поднялся с кровати и в первый раз за последние пятнадцать минут взглянул на Рубина.

— Пойдемте, — сказал он.

Жара на улице не уменьшалась. Прохожие были одеты легко, редко на ком был пиджак. Каган, в своем черном лапсердаке и широкой бархатной шляпе, на окраинных улицах казался грозным таинственным существом. Он разрешил Рубину вести себя, и тот молча держал его за руку. Сели в трамвай и поехали на улицу В. Дворник спросил, зачем они пришли. Рубин ответил. Их направили в зал, помещавшийся в подвале. Свет в этом зале был мягкий и приятный, как в костеле, запах ударял в нос и застилал туманом глаза.

IV

Солнце все еще неистовствовало, хотя было уже после полудня. Якуб Каган вошел в общину, чтобы закончить формальности, связанные с похоронами сына. Рубин расстался с ним у самого здания.

Чиновник, задававший ему вопросы, был низкого роста, бочкообразный, с толстым анемичным лицом, на котором терялись его маленькие глазки. На голове у него была ермолка, а сверх сорочки надет жилет. Такова, очевидно, была здесь мода, так как за соседним столом, на лево от Кагана, сидел другой чиновник, одетый точно так же. Это был тучный еврей с толстым, пышущим здоровьем лицом, румяные щеки просвечивали сквозь редкую черную бородку, как спелые яблоки. Этого еврея звали Хаим Лейзер, и он был главным лицом по всем похорон-

ным делам. Вначале он не обращал никакого внимания на вошедшего, но, по мере того как излагались подробности дела, стал прислушиваться внимательнее. Наконец он заговорил:

— Найденный в яме?.. И лежит на улице В?.. Числится как самоубийца...

Каган повернул голову в сторону говорившего:

— Что вы сказали?

— Да, так числится,— тянул чиновник.— Несколько дней тому назад к нам уже доставили одного человека оттуда. Из-за недосмотра мы допустили, чтобы он был похоронен в таком месте, которое принадлежит умирающим с верой в бога, а не идущим против божьей воли и руководствующимся только своей собственной как в жизни, так и в смерти. Этот самоубийца...

— Самоубийца, говорите вы? — произнес Каган с каменным спокойствием в голосе.

— Знаете ли вы, мой милый, что как тот, так и сын ваш были коммунистами. А такие люди, как он, могут покончить с собой по любому поводу. В бога они не верят, что ж может их остановить? Вы из маленького местечка, и вы не знаете этих волков. А известно ли вам хотя бы, что он был коммунистом?

— Коммунистом...— голос Кагана оставался все таким же спокойным...— Коммунистом, говорите вы? — Каган подошел к столу Хаима Лейзера.— Для вас коммунистом... Может быть, вы хотите послушать, какая была у него жизнь? По двенадцать часов за машиной летом и зимой. Ел то, что ему подсовывала скупая рука бедного портного, имел одну пару брюк — ту, что на нем, и никогда не жаловался. Каждую свободную минуту проводил за книгой. Возвращаюсь раз в пятницу вечером, свечи давно догорели, а он лежит и читает при едва мерцающей лампе. Хлеб и вода, работа и книги. И так неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, пока жил со мной. И никогда ни одной жалобы. Весел и распеваает, как птица на дереве. Потом это несчастье в Варшаве. Потом пять лет по разным тюрьмам, три месяца в карцере, на каменном полу, политом водой. Никогда ничего для себя... Ни единой женщины... Конь, который не позволил себя выпрячь, пока не дотащил свой груз

до конца... Такой была его жизнь. А смерть? Может быть, описать вам, как он выглядит теперь? Глаза, выеденные рыбами, волосы, содранные с черепа, на руках и на ногах следы крыс... На плечах следы пуль... Коммунист...

— Все равно. Человек не самому себе обязан своей жизнью.— В словах Хаима Лейзера уже не было прежней уверенности.— И не имеет права покончить с ней, когда ему вздумается... Самоубийца...

— Но ведь это ложь! — крикнул вдруг Яқуб Каган.— Сущая ложь! И вы знаете, что это ложь... Знаете, что его убили... Подло, бесчеловечно... Купили вас... Дали знать. Изругали вас, раздражили, и вот теперь вы вымещаете свою злобу на самых незащищенных, несчастных людях, вы, друзья волков, враги человека!.. Бойтесь скандалов на кладбище... Но я не позволю позорить эту молодую душу. Разве может быть больший стыд, чем тот, на который вы хотите обречь и его и меня?.. И за что?..

Анемичный чиновник вытаращил свои рыбки глаза на вышедшего из себя старика и то и дело повторял:

— Ша, ша, ша.

V

Он сидел перед тщательно одетым, седоватым мужчиной с деревянным лицом. Сытость и довольство отражало это лицо, оберегаемое от зноя и холода, от чрезмерных волнений и горя — от всего того, что так хорошо изведано Каганом. Он сидел перед председателем общины. Комната была просторная, вся утопала в тени, за окнами росли деревья.

Теперь уже в голосе Якуба Кагана не было прежнего спокойствия.

— Он был у меня единственный.— Страх и мучительная боль сквозили в этих словах.— Ничего при жизни я не дал ему. Теперь, когда он умер, как я могу позволить, чтобы о нем говорили как о самоубийце? Это ведь ложь! Весь мир знает, что это ложь! Почему вы даете распоряжение хоронить его ночью, как собаку?

Председатель отвечал тихо, так тихо, что Кагану пришлось наклониться, чтобы расслышать его.

— Хаим Лейзер сказал вам, что можно сделать и что нужно сделать.

— А вы? Разве вы тоже считаете, что я должен похоронить свое дитя без людей и без бога? Вы глава общины, отец трехсот тысяч евреев. Кому же мне рассказать об обиде, которую нанесли моему ребенку? К кому же мне пойти с моим изболевшим сердцем? Отец еврейской общины... Евреи, евреи — вы не перестаете повторять это слово... Я здесь, ваш брат, и в чем же ваше братство?..

Председатель ответил так же тихо, как раньше:

— Хаим Лейзер сказал, что вы ему растерзали сердце... Не расспрашивайте слишком много, так должно быть... Так хотят те, кому мы подчинены... Катафалк придет ночью. Все будет приготовлено. Хаим Лейзер позаботится, чтобы все было в порядке... Студенты-эндеки¹ требуют, чтобы им выдали еврейские трупы... Это все, что я могу вам сказать. Надо хоронить. И как можно скорее.

Якуб Каган оставил здание общины. Шел вдоль стен, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дух. Никогда еще не чувствовал он так сильно, как сейчас, свое одиночество. Был один как перст в этом городе. Разве не готов он был броситься в ноги, чтобы вымолить... что? Человеческое погребение. Но перед ним не было живого человека, перед ним стояла стена.

Решетка?

Ощутил ее снова и так сильно, как никогда до сих пор, — решетку, отделяющую одного человека от другого. Ощущал и видел ее, ощущал и видел свою невыразимую беспомощность. С ним делали все, что хотели. Он был как бы привязан к колу, вокруг которого разожгли костер. Якуб Каган, бедный местечковый портной, чувствовал эту решетку, но не знал ей названия, словно человек, который на вновь открытом им материке начинает метаться, пораженный неизвестной болезнью.

Медленно подвигался он вперед по улицам в направлении Новолипок. Время от времени ловил чей-то про-

¹ «Народные демократы» — польская реакционная партия.
(Прим. ред.)

бегавший по нему взгляд, видел лица, но лица эти не были лицами людей, это были создания, с которыми он, Якуб Каган, не имел ничего общего. Прислонился к дверям какой-то маленькой лавчонки. Худенькая женщина, продавщица, пододвинула ему стакан воды.

— Пейте, пейте. Боже, какого горя теперь не увидишь...

Рубин пришел домой. Почти у самого входа, с лицом, обращенным к двери, на краешке стула, сидел отец Захариуша. Он, казалось, спал. Тяжело было дыхание этого слабого и как бы настороженного существа. У него было совершенно желтое лицо, глубоко запавшие глаза, выступающие скулы, вытянувшиеся худые щеки — одна единственная искорка жизни теплилась еще на этом лице, да и та, казалось, сейчас погаснет. Рубин на цыпочках подошел к кровати и сел. Не хотел тревожить сон старика. Но Каган не спал.

Он открыл глаза и сказал:

— Велят хоронить ночью...

VI

Нет, Хаим Лейзер не был человеком без сердца. Он прислал даже машину, котрую на варшавском жаргоне называют «автокатафалк». Прислал уже после полуночи на тихую улицу В., где ждал портной Каган. Из машины вышел шофер, вместе с человеком с исхудалым лицом и рыжей бородкой. От него пахло кладбищем.

— Кому здесь нужно отдать последний долг? — спросил он громко. Ушел, немного погодя вернулся с шофером.

Портной Каган хотел пешком проводить гроб сына на кладбище — так, как это полагалось по закону, но человек с рыжей бородкой посмотрел на него с укоризной.

— Автокатафалк, — сказал он, — делает шестьдесят километров в час. Сейчас ночь, на улицах пусто, и мы поедем полным ходом. Садитесь с нами.

Усадили его между собой, похвалили за то, что он такой маленький, как ребенок, и не занимает много места.

Включили мотор. Темно и глухо было на варшавских улицах. Ночь — после жаркого дня — утопала в звездах. Благоухали липы.

Их ждали двое могильщиков. У самой стены при свете фонарей выкопали могилу. Выкопали и засыпали. Закончив работу, один из могильщиков, лицо которого тонуло во мраке, опершись на заступ, протянул руку за чаевыми. Товарищ, повыше ростом, остановил его:

— У таких не берут.

Сказал и двинулся вперед. Второй могильщик пошел за ним.

— Почему, — спросил он, — не берут? Он похож на богатого раввина.

— В Галиции все евреи похожи на раввинов, — ответил высокий.

Портной Каган остался один у могилы сына. Видел при свете свеч, как засыпали тело комьями сырой земли, как могила заполнялась, как сравнивалась с землей. Глаза его высохли до дна, в горле было сухо, словно его залили смолой. Он ничего уже не слышал, ничего не видел — иссохший человеческий стебель, камень, поросший мхом. Кругом, среди камней и деревьев, царила тишина, тишина царила на небе, жестоком в своем величии, насмешливым в своей красоте, холодном, как ледяное царство. Тишина царила над городом, застывшим в истоме сна. Редкий, как бы заблудившийся гудок автомобиля, далекий скрежет трамвайных вагонов доносились сюда, как единственные признаки жизни. Тишина царствовала на этой земле смерти. В окаменении, бесчувствии и как бы в небытии пребывал сейчас портной Каган. Порою в нем пробуждалась жизнь — в коротком, отрывистом, глухом и сдавленном стоне. В этих столах был весь путь его сына — Коня, который не позволил себя выпрячь. Были в этих столах нежные слова, никогда не высказанные, никогда не проявленная ласка, — ведь бедные люди стыдятся теплых слов и нежных ласк, — была скорбь и жалоба на несправедливость. Эта несправедливость жгла слабое тело, обвисшее, словно рубище, над могилой единственного. Звезды на востке начинали бледнеть.

Когда звезды исчезли и ослепительно прекрасные огни зари зажглись на небе, группа молодых людей пришла

на свежую могилу и тесным кольцом окружила изнуренного страданием отца. Их было человек тридцать, а может, и больше; они несли охапки цветов, много цветов. Сильные руки оторвали отца от сырой могилы, заботливо и нежно растирали его застывшее тело. Молодые пыльные люди окружили старого отца, и он снова обрел зрение, а уши его начали снова воспринимать голос жизни. Кругом говорили. Говорили об обидах, несправедливости, о человеке,— люди здесь будто снова обрели человеческий язык. И в этих замечательных, прекрасных речах то и дело слышалось имя Захариуша. Потом среди деревьев и могил, под небом, пылающим огнями утренней зари, зазвучала песня. Портной Каган не знал ее, слышал впервые, но это пение вернуло ему способность чувствовать и волноваться. И только теперь, в такт этому пению, под небом, воспламенившимся лишь в одном месте и еще темным в другом,— отец Захариуша, старый портной Каган, заплакал.

Но в этом плаче жила надежда — надежда, которую пробуждает человеческая любовь.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Валериан Арцимович. Пути польской новеллы.	3
--	---

ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ

Биографическая справка	16
Пасха у князя Радзивилла Сиротки. Перев. С. Кржижановского	17

ЭЛИЗА ОЖЕШКО

Биографическая справка	30
Звенья. Перев. Ф. Шейн.	31
А... В... С... Перев. Ф. Шейн.	54

БОЛЕСЛАВ ПРУС

Биографическая справка.	82
Что случилось со Стасем. Перев. Е. Рифтиной.	83
Жилет. Перев. В. Арцимовича.	128
Михалко. Перев. В. Арцимовича.	137

МАРИЯ КОНОПНИЦКАЯ

Биографическая справка.	160
Глупый Франек. Перев. Е. Живовой.	161
Дым. Перев. Е. Живовой.	185

ГЕНРИХ СЕНКЕВИЧ

Биографическая справка.	196
Бартек победитель. Перев. под ред. Е. Рифтиной.	197
Старый слуга. Перев. Я. Кротовской.	250

АДОЛЬФ ДЫГАСИНСКИЙ

Биографическая справка	261
Автобиография осла. Перев. <i>С. Миллер</i>	265
Философ и прачка. Перев. <i>Е. Рифтиной</i>	287

МАРИАН ГАВАЛЕВИЧ

Биографическая справка	332
Дело чести. Перев. <i>М. Абкиной</i>	333

ГАБРИЭЛЯ ЗАПОЛЬСКАЯ

Биографическая справка	372
Гонорка. Перев. <i>П. Арго</i>	373

КАЗИМЕЖ ТЕТМАЕР

Биографическая справка	388
Как умер Якуб Зых. Перев. <i>М. Абкиной</i>	389

ВЛАДИСЛАВ ОРКАН

Биографическая справка	398
Свадьба Прометея. Перев. <i>С. Кржижановского</i>	399

ВАЦЛАВ ГРУБИНСКИЙ

Биографическая справка	418
Последняя сказка Шехерезады. Перев. <i>М. Абкиной</i>	419

КОРНЕЛЬ МАКУШИНСКИЙ

Биографическая справка	430
История нитки жемчуга. Перев. <i>К. Дунин-Борковского</i>	431

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ

Биографическая справка	454
Поезд. Перев. <i>М. Живова</i>	455
Пан Тонкий. Перев. <i>С. Миллер</i>	468

СТЕФАН ЖЕРОМСКИЙ

Биографическая справка	488
Сумерки. Перев. <i>В. Арцимовича</i>	489
Забвение. Перев. <i>В. Арцимовича</i>	495
Доктор Петр. Перев. <i>М. Троповской</i>	503

АНДЖЕЙ СТРУГ

Биографическая справка.	540
Пан и батрак. Перев. <i>Е. Живовой</i>	541
На вокзале. Перев. <i>В. Арцимовича</i>	574

ВЛАДИСЛАВ РЕЙМОНТ

Биографическая справка.	582
На вырубке. Перев. <i>К. Дунин-Борковского</i>	583
Суд. Перев. <i>К. Дунин-Борковского</i>	591

МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ

Биографическая справка.	608
Утешение. Перев. <i>М. Абкиной</i>	609

ГУСТАВ МОРЦИНЕК

Биографическая справка.	620
Шарманщик. Перев. <i>Я. Немчинского</i>	621

АДОЛЬФ РУДНИЦКИЙ

Биографическая справка.	636
Конь. Перев. <i>Е. Живовой</i>	637

*Редактор В. Арцимович
Технический редактор
Д. Ермоленко.
Корректор Р. Гольденберг*

*

*Сдано в набор 9/V-49 г. Подписано к печати
26/VIII г. А-10703. Формат $84 \times 108^{1/2}$.
Тир. 30.000 Объем $41^{1/4}$ п. л. 31,94 уч.-изд. л.
Зак. 845. Цена 11 р. 50 коп.*

*

*6-я типография Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Москва, 1-й Самотечный, 17.*

